Н.С.
ЛЕСКОВ
3

Н.С.
ЛЕСКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Н. С. ЛЕСКОВ

# СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

## В ОДИННАДЦАТИ ТОМАХ

Под общей редакцией:

В. Г. БАЗАНОВА, Б. Я. БУХШТАБА,
А. И. ГРУЗДЕВА, С. А. РЕЙСЕРА,
Б. М. ЭЙХЕНБАУМА.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

# Н. С. ЛЕСКОВ

# СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

## ТОМ ТРЕТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

*Подготовка текста и примечания*
И. З. СЕРМАНА

# ОСТРОВИТЯНЕ

## ПОВЕСТЬ

> Овцы царя Авгиаса не вместе, в стадах разделенных, —
> В кругах разных пасутся; одни по долинам
> Вдоль берегов Элизента, другие у вод освященных
> Старца Алфея, иные по злачным Бупроза вершинам,
> Прочие в здешних окрестностях. Каждое стадо
> Вечером с пастбищ собрать нам в овчарни отдельные надо.
>
> *Идиллия Феокрита.*

Очень давно когда-то всего на несколько минут я встретил одно весьма жалкое существо, которое потом беспрестанно мне припоминалось в течение всей моей жизни и теперь как живое стоит перед моими глазами: это была слабая, изнеможенная и посиневшая от мокроты и стужи девочка на высоких ходулях. В тот день, когда я увидел этого ребенка, в Петербурге ждали наводнения; с моря сердито свистал порывистый ветер и носил по улицам целые облака холодных брызг, которыми раздобывался он где-то за углом каждого дома, но где именно он собирал их — над крышей или за цоколем — это оставалось его секретом, потому что с черного неба не падало ни одной капли дождя. В этот ненастный, холодный день она вышла на грязный мощеный двор из-под черной арки ворот в сопровождении еще более ее изнеможенного итальянского жида, который находился с нею в товариществе по добыванию хлеба, и в сопровождении целой

толпы зевак, с утра бродивших для наблюдения, как выступают из берегов Лиговка, Мойка и Фонтанка. Бледный, чахоточный жид, сгибаясь в три погибели, нес покрытую клеенчатым чехлом шарманку; праздные люди гордо несли на своих лицах спокойную тупость бессмыслия. Девочка на ходулях была самым замечательным лицом во всей этой компании и с помощию своих ходуль возвышалась наглядным образом надо всеми. По силе производимого ею впечатления с нею не мог соперничать даже ее товарищ, хотя это был экземпляр, носивший, кроме шарманки, чахотку в груди и следы всех страданий, которыми несчастнейший из жидов участвует с банкиром Ротшильдом в искуплении грехов падшего племени Израиля. Во-первых, девочка была богиней: на ней был фантастический наряд из перемятой кисеи и рыжего плиса; все это было украшено гирляндами коленкоровых цветов, позументом и блестками; а на ее высоком белом лбу лежала блестящая медная диадема, придававшая что-то трагическое этому бледному профилю, напоминавшему длинный профиль Рашели, когда эта пламенная еврейка одевалась в костюм Федры. Нет сомнения, что вошедшая на ходулях девочка тоже должна была воплощать в себе понятие о каком-то трагическом величии. Она вошла твердою и спокойною поступью, и когда сопровождавший ее жид завертел свою шарманку, она запела:

В Нормандии барон,
Большой любитель псов,
Жил с деревенской простотою.

В ее голосе, которым она пропела эту рыцарскую песню, было столько же скромной твердости, сколько в ее тихом шествии на ходулях; но эта рыцарская песня не нашла сочувствия ни в ком, кроме одной слабонервной дворняжки, начавшей подвывать певице самым раздирающим голосом и успокоившейся только после пинка, отпущенного ей сострадательным прохожим.

Несравненно более общего внимания у зрителей девочка встретила тогда, когда она проплясала перед ними на ходулях какой-то импровизированный matelot. [1] Я видел, как при самом начале этого танца все самые тупые

[1] Матлот *(франц.)*.

лица осклабились и праздные руки бессмысленно зашевелились, а когда девочка разошлась и запрыгала, каждую секунду рискуя поскользнуться и, в самом счастливом случае, только переломить себе ногу, публика даже начинала приходить в восторг. Из всех людей, стоявших на дворе, и из всех глазевших на эту пляску в окна лишь одно мрачное лицо еврея упорно хранило свое угрюмое выражение, да еще было спокойно лицо самой танцорки. Черные глаза жида то обходили дозором окна всех окружающих двор пяти этажей, то с ненавистью и презрением устремлялись на публику партера, вовсе и не помышлявшую достать из кармана медный грош на хлеб голодному искусству.

— Если бы она плясала в длинном платье, она бы по крайней мере вымела бы мне двор, — проговорил присутствовавший в партере дворник.

Дворник сделал именно такое заключение, какое он должен сделать: «собаке снится хлеб, а рыба — рыбаку». Естественней этого ничего быть не может.

По мановению дворника прежде всех и проворнее всех поспешила исчезнуть под аркою ворот захожая публика, наслаждавшаяся par grâce[1] всеми вокальными и хореографическими талантами девочки на ходулях; за публикой, сердито ворочая большими черными глазами в просторных орбитах, потянул, изнемогая под своей шарманкой, чахоточный жид, которому девочка только что успела передать выкинутый ей за окно пятак, и затем, уже сзади всех и спокойнее всех, пошла сама девочка на ходулях. Она удалялась в том же спокойном и гордом молчании, с которым входила назад тому несколько минут на этот двор, но из глаз моих до сих пор не скрывается ее бледный спокойный лоб, ее взор гордый и профиль Рашели, этой царственной жидовки, знавшей с нею умерший секрет трогать до глубины онемевшие для высокого чувства сердца буржуазной Европы. Память моя в своих глубочайших недрах сохранила детский облик ходульной плясуньи, и сердце мое и нынче рукоплещет ей, как рукоплескало в тот ненастный день, когда она, серьезная и спокойная, не даря ни малейшего внимания ни глупым восторгам, ни дерзкими насмешкам, плясала

[1] Бесплатно *(франц.)*.

на своих высоких ходулях и ушла на них с гордым сознанием, что не даровано помазанья свыше тем, кто не почувствовал драмы в ее даровом представлении.

Я никогда ни одного слова не рассказывал о том, как приходила эта девочка и как она плясала на своих высоких ходулях, ибо во мне всегда было столько такта, чтобы понимать, что во всей этой истории ровно нет никакой истории. Но у меня есть другая история, которую я вознамерился рассказать вам, и эта-то история такова, что когда я о ней думаю или, лучше сказать, когда я начинал думать об одном лице, замешанном в эту историю и играющем в ней столь важную роль, что без него не было бы и самой истории, я каждый раз совершенно невольно вспоминаю мою девочку на ходулях. И так как они не разлучались в голове моей и глядели на меня обе, когда я думал только об одной из них, то я не хочу разлучать их перед твоими глазами, читатель. Тебе было б жалко, как они заплакали бы, заплакали бы разлучаясь, эти милые дети.

Я лучше желаю, чтобы в твоем воображении в эту минуту пронеслось бледное спокойное личико полуребенка в парчовых лохмотьях и приготовило тебя к встрече с другим существом, которое в наш век, шагающий такой практической походкой, вошло в жизнь, не трубя перед собою, но на очень странных ходулях, и на них же и ушло с гордым спокойствием в темную, неизвестную даль.

Маничка Норк! где бы ни была ты теперь, восхитительное дитя Васильевского острова, по какой бы далекой земле ни ступали нынче твои маленькие, слабые ножки, какое бы солнце ни грело твое хрустальное тело — всюду я шлю тебе мой душевный привет и мой поклон до земли. Всюду я шлю тебе, незлобный земной ангел, мою просьбу покорную, да простишь ты мне, что я решаюсь рассказать людям твою сердечную повесть. Протяни мне твои маленькие прозрачные ручки; дохни на эти строки твоим чистым дыханием и поклонись из них своей грациозной головкой всему широкому миру божьему, куда случай занесет неискусный рассказ мой про твою заснувшую весну, про твою любовь до слез, про твои горячие, пламенные восторги! И чувствует сердце мое, что дошла до тебя моя просьба; я слышу откуда-то, из какого-то сурового далека твой благословляющий голос, вижу твою

милую головку, поэтическую головку Титании, мелькающую в тени темных деревьев старого, сказочного леса Оберона, и начинаю свой рассказ о тебе, приснопамятный друг мой.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я обязан представить вам героиню моей повести и некоторых лиц ее семейства. Маничка Норк была петербургская, василеостровская немка. Ее мать, Софья Карловна Норк, тоже была немка русская, а не привозная; да и не только Софья Карловна, а даже ее-то матушка, Мальвина Федоровна, которую лет пятнадцать уже перекатывают по комнатам на особо устроенном кресле на высоких колесцах, так и она и родилась и прожила весь свой век на острове. Отца своего Маничка Норк не помнила, потому что осталась после него грудным ребенком: он умер, когда еще старшей Маниной сестре, Берте Ивановне, шел всего только шестой год от роду. Софья Карловна Норк овдовела в самых молодых годах и осталась после мужа с тремя дочерьми: Бертой, Идой и Марьей, или Маней, о которой будет идти начинающийся рассказ. Муж Софьи Карловны, Иоган-Христиан Норк, был по ремеслу токарь, а по происхождению петербургский немец. Он был человек пунктуально верный, неутомимо трудолюбивый и безукоризненно честный. Работая всеми этими качествами, Иоган-Христиан Норк за сорок лет неусыпного труда успел сгоношить себе кое-какую копейку и, отходя к предкам, оставил своей верной подруге, Софии Норк, кроме трех дочерей и старой бабушки, еще три тысячи рублей серебром государственными кредитными билетами и новенькое токарное заведение. София Норк, схоронив мужа, не опустила ни головы, ни рук. Оплакав свою потерю, она стала думать, как ей прожить с детьми своей головою. Софья Карловна была в состоянии это обдумать, потому что у нее от природы был ясный практический смысл и она знала свое маленькое дело еще при муже. Еще и ему она была серьезною помощницею. Не говоря о том, что она была хорошей женой, хозяйкою и матерью, она умела и продавать в магазине разные изделия токарного производства; понимала толк в работе настолько,

что могла принимать всякие, относящиеся до токарного дела заказы, и — мало этого — на окне их магазина на большом белом листе шляпного картона было крупными четкими буквами написано на русском и немецком языках: *здесь починяют, чистят, а также и вновь обтягивают материей всякие, дождевые и летние зонтики.* Это было уже собственное производство Софьи Карловны, которым она занималась не по нужде какой крайней, а единственно по страстной любви своей к труду и из желания собственноручно положить хоть какую-нибудь, хоть маленькую, хоть крохотную лепту в свою семейную корвану. Результаты, однако, скоро показали, что лепта, добываемая Софьею Карловною через обтягивание материей всяких, дождевых и летних, зонтиков, совсем и не была даже такою ничтожною лептою, чтобы ее не было заметно в домашней корване; а главное-то дело, что лепта эта, как грош евангельской вдовицы, клалась весело и усердно, и не только радовала Иогана-Христиана Норка при его счастливой жизни, но даже помогала ему и умереть спокойно, с упованием на бога и с надеждой на Софью Карловну.

— Софья! — говорил он, мучительно борясь со смертью, — дети... я на тебя... на тебя надеюсь...

— О, мой Иоганус! — отвечала, рыдая, Софья Карловна.

— Маньхен... — продолжал, хрипя, умирающий, — береги ее... мою горсточку... мою маленькую...

— О, всех! всех, мой Иоганус! — отвечала опять Софья Карловна, и василеостровский немец Иоган-Христиан Норк так спокойно глядел в раскрывавшиеся перед ним темные врата сени смертной, что если бы вы видели его тихо меркнувшие очи и его посиневшую руку, крепко сжимавшую руку Софьи Карловны, то очень может быть, что вы и сами пожелали бы пред вашим походом в вечность услыхать не вопль, не вой, не стоны, не многословные уверения за тех, кого вы любили, а только одно это слово; одно ваше имя, произнесенное так, как произнесла имя своего мужа Софья Карловна Норк в ответ на его просьбу о детях.

Но дороже всего не то, что Софья Карловна умела хорошо сказать это слово; это, конечно, важно было только для умиравшего, а для оставшихся жить всего важнее было, что всю музыку этого слова она выдержала.

Токарное производство мужа после его смерти у Софьи Карловны не прекратилось и шло точно так же, как и при покойнике, а на другом окне магазина, в pendant[1] к вывеске о зонтиках, выступила другая, объявлявшая, что *здесь чистят и переделывают соломенные шляпы, а также берут в починку резиновые калоши и клеят разбитое стекло.* Прошел год, два, пять лет, — вывески эти неизменно оставались на своих местах; Софья Карловна неизменно содержала то же самое заведение и исправно платила деньги за ту же самую квартиру на Большом проспекте. В это время дети подросли, бабушка совсем выжила из века, хотя, впрочем, все-таки по-прежнему ездила в своем колесном кресле, а Софья Карловна все трудилась, трудилась без отдыха, без сторонней помощи и вся жила в своих детях. Берта и Ида ходили в немецкую школу и утешали мать прекрасными успехами; любимица покойника, Маньхен, его крохотная «горсточка», как называл он этого ребенка, бегала и шумела, то с сафьянным мячиком, то с деревянным обручем, который гоняла по всем комнатам и магазину.

«О, мой Иоганус!» — думала Софья Карловна, вздыхая и уныло глядя на резвившегося ребенка.

— О, мой милый Иоганус! — говорила она вслух, ловя убегавшую Маньхен и прижимая девочку к своему увядшему плечу, откуда трудовой пот давно вытравил поцелуи истлевшего Иогануса, но с которыми, может быть, не хотела расставаться упрямая память.

Так опять шли годы. Состояние Норк, благодаря неусыпным трудам матери, не расстроивалось; фрейлейн Берта «отучилась» в школе и прямо со скамьи сделалась невестой некоего Фридриха Шульца, очень хорошего молодого человека, служившего в одной коммерческой конторе и получавшего большое содержание. Приданым за Бертой Ивановной пошли: во-первых, ее писаная красота и молодость, а во-вторых, доброе имя ее матери, судя по которой практичный Фридрих Шульц ждал найти доброе яблочко с доброго дерева. Берта его не обманула. Вторая девица Норк, Ида Ивановна, только что доучилась; а одиннадцатилетнюю Маничку только отвели в школу.

---

[1] В соответствии *(франц.)*.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

В народных сказках наших часто сказывается, что из трех детей, рожденных от одних и тех же родителей, третий, самый младший, задается либо всех умнее, либо всех сильнее, либо всех счастливее и удачливей. Ходя по русской земле, зашла эта сказка и в семью покойного русского немца Иогана Норка. Маня была дитя совершенно, что говорят, «особенное», какое-то совсем необыкновенное. Умна и пытлива она была необычайно; доброте и чистосердечию ее не было меры и пределов: никто в целом доме не мог припомнить ни одного случая, чтобы Маничка когда-нибудь на кого-нибудь рассердилась или кого-нибудь чем-нибудь обидела. Все знавшие этого ребенка удивлялись на него и со страхом говорили: ох, она не будет жить на свете!

— Нет, нет и нет, — настаивала старая русская кухарка Норков, — что наша барышня, Марья Ивановна, не жилец на этом свете, так я за это голову свою дам на отсеченье, что она не жилец.

Кухарке головы не отрубили, и Маша росла на общую семейную радость и утешение.

Для матери и рассыпа́вшейся пеплом бабушки этот ребенок был идолом; сестры в ней не слыхали души; слуги любили ее до безумия; а старый подмастерье Норка, суровый Герман Верман, даже часто отказывал себе в пятой гальбе пива единственно для того только, чтобы принести завтра фрейлейн Марье хоть апельсин, хоть два пирожных, хоть, наконец, пару яблок. Одним словом, Маня была домашний идол в полном значении этого слова. Одно только в ней сызрана начало тревожить ее мать и бабушку — это какой-то странный, необъяснимый для них перелом в ее характере, подготовленный, конечно, ее слишком ранним развитием и совершившийся на девятом году ее детской жизни. Перелом этот выразился тем, что неудержимая резвость и беспечная веселость Мани вдруг оставили ее, словно отлетели: легла спать вечером одна девушка, встала другая. Думали, что она больна, попробовали полечить — ничего не помогло; добивались у нее, не видала ли она чего-нибудь необыкновенного во сне, — это стало сильно досаждать девочке, она расстроилась и заплакала. Ее оставили в покое, думая, что это она так

загрустила и что это непременно пройдет. Опять ошиблись: ни игры, ни шалости больше не манили к себе Маню — возвратить ее к ним не было никакой возможности. Маня, которую, щадя ее слабое здоровье, долго не сажали за книжку, вдруг выучилась читать по-немецки необыкновенно быстро; по-русски она стала читать самоучкой без всякого указания. С этих пор ее нельзя было разлучить с книгою. Ручным работам она училась усердно и понятливо, но обыкновенно спешно, торопливо кончала свой урок у старой бабушки или у старшей сестры и сейчас же бежала к книге, забивалась с нею в угол и зачитывалась до того, что не могла давать никакого ответа на самые простые, обыденные вопросы домашних. Ни веселого хохота, ни детских игр не знала с этих пор Маня; все те, небольшие конечно, удовольствия, которые доставляла ей мать, она принимала с благодарностию, но они ее вовсе не занимали. Чтение развивало в ней страшную впечатлительность, которая обратила на себя серьезное внимание родных только после следующего случая. Взяла ее замужняя сестра один раз в театр на «Уголино», и сама была не рада с нею ни спектаклю, ни жизни. Маня разрыдалась в ложе и после того шесть недель вылежала в нервной лихорадке. Каждую почти ночь во время болезни она срывалась с кроватки, плакала и кричала:

— Съешьте меня! Меня, меня съешьте скорей!

Впечатлительности девочки стали бояться серьезно. Ее старались удалять от всего, что могло, по соображению родных, сильно влиять на ее душу: отнимали у нее книги, она безропотно отдавала их и, садясь, молчала по целым дням, лишь машинально исполняя, что ей скажут, но по-прежнему часто невпопад отвечала на то, о чем ее спросят. Родные теряли голову с этой восприимчивостью Маши. Как тщательно они ни берегли ее, невозможно же все-таки было удалить ее от всего, что различными путями добивалось в ее душу, с чем говорило ее чуткое сердечко. Оно говорило с визгливою песнью русской кухарки; с косящимся на солнце ощипанным орлом, которого напоказ зевакам таскал летом по острову ощипанный и полуголодный мальчик; говорило оно и с умными глазами остриженного пуделя, танцующего в красном фраке под звуки разбитой шарманки, — со всеми и со всем умело говорить это маленькое чуткое сердечко, и унять его говорливость,

научить его молчанию не смог даже сам пастор Абель, который, по просьбе Софьи Карловны Норк, со всех решительно сторон, глубокомысленно обсудил душевную болезнь Мани и снабдил ее книгами особенного выбора.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мое знакомство с семейством Норк началось в гораздо позднейшую эпоху, чем Манино детство, и началось это знакомство довольно оригинальным образом и притом непосредственно через Маню.

Дело это-таки, впрочем, уж было давненько. Жил я тогда на Васильевском острове, неподалеку от известной немецкой школы. Один раз летом возвращался я откуда-то из-за Невы; погода была ясная и жаркая; но вдруг с Ладоги дохнул ветер; в воздухе затряслось, зашумело; небо нахмурилось, волны по Неве сразу метнулись, как бешеные; набежал настоящий шквал, и ялик, на котором я переправлялся к Румянцевской площади, зашвыряло так, что я едва держался, а у гребца то одно, то другое весло, не попадая в воду и сухо вертясь в уключинах, звонко ударялось по бортам. Кое-как я перебрался на свой остров и чуть только ступил на берег, как хлынул азартнейший холодный ливень; ветер неистово засвистал и понесся вдоль линий; крупные капли били как градины; душ был необыкновенный. Я бросился бежать, как поспевали ноги, словно ребенок, преследуемый страшными привидениями, и, влетев на свой подъезд, совсем было сбил с ног спрятавшихся здесь от дождя двух молоденьких девочек. Обе они были мокрехоньки и робко жались у стенки. На обеих на них были коричневые люстриновые платьица и черные переднички с лифами и гофрированными черными же обшивками. Поверх платьица на одной из девочек, черномазенькой и востролиценькой брюнеточке, была надета пестрая шерстяная тальмочка, а на другой, которую я не успел разглядеть сначала, длинная черная тальма из легкого дамского полусукна. На голове первой девочки была швейцарская соломенная шляпа с хорошенькими цветами и широкой коричневой лентой, а на второй почти такая же шляпа из серого кастора с од-

ною черной бархаткой по тулье и без всякой другой отделки. У обеих на руках висели зеленые шерстяные мешочки, в которых сквозь взмокшую материю ясно обрисовывались корешки книг и пинали.

— Бедные две девочки, как тут приютились у нас на подъезде! — сказал я, представляясь в виде Язона мутным очам добродетельнейшей в мире чухонки Эрнестины Крестьяновны, исправлявшей в моей одинокой квартире должность кухарки и камердинера и называвшей, в силу многочисленности лежавших на ней обязанностей, свое единственное лицо собирательным именем: *прислуги*.

— О мейн гот! дас ист шреклих! [1] — заговорила моя «прислуга».

— Да, — говорю, — позвать бы их к нам, Эрнестина Крестьяновна, чтоб не простудились они там стоючи мокрые на сквозном ветру.

— О ja, ja! Gott bewahr! [2] — залепетала «прислуга» и побежала на лестницу.

— Ну сто? — начала она, появляясь через минуту назад с растопыренными руками и с неописанным смущением на лице: — один как совсем коцит, а другой совсем не коцит; ну, и сто я зделяйть?

Я вышел на подъезд сам. Девочки по-прежнему жались у стенки; черненькая несколько выдавалась вперед, а другая совсем западала за ее плечико.

— Войдите, сделайте милость, к нам, пока перейдет дождик, — сказал я, обращаясь к обоим детям безразлично.

Черненькая взглянула на меня быстро, но ничего не ответила, а по глазам ее видно было, что ей тут очень неловко и что она решительно не прочь бы зайти и пообогреться в комнате.

— Пожалуйста, зайдите! — повторил я и в эту минуту заметил из-под локтя передней девочки крошечную ручонку, которая беспрестанно теребила и трясла этот локоток соседки изо всей своей силы.

— Мы вам ничего худого не сделаем; нам только жаль, что вы здесь стоите, — обратился я к черненькой

---

[1] О боже мой! Это ужасно! *(нем.)*.
[2] О да, да! Боже сохрани! *(нем.)*.

и снова заметил, что ручонка ее соседки под ее локотком задергала с удвоенным усердием.

— Она не хочет, а я без нее не могу, — отвечала, краснея и застенчиво улыбаясь, черненькая девочка, и чуть только она произнесла эти слова, как беспокойная ручка, назойливо теребившая ее локоток, отпала и юркнула под мокрую черную тальму.

— Как вам не стыдно бояться!

— Я ничего не боюсь, — чуть слышно прошептала задняя девочка и в ту же секунду тронулась с места; черненькая тоже пошла за нею, и обе рядышком они вступили в мои апартаменты, которые, впрочем, выглядывали очень уютно и даже комфортно, особенно со входа с непогожего надворья. Впрочем, теперешний вид моего жилья очень много выигрывал оттого, что предупредительная Эрнестина Крестьяновна в одну минуту развела в камине самый яркий, трескучий огонек.

Завидя в передней гостей, «прислуга» моя выбежала уточкой и начала около них кататься, стаскивая с них мокрые тальмы и шляпы, встряхивая их юбочки и обтирая их козловые сапожки.

Через минуту гостьи, держась рука за руку, робко вступили в мою зальцу и, пройдя три шага от двери, тотчас сделали мне самый милый книксен.

— Пожалуйте сюда, к камину, — попросил я их в кабинет.

Девочки двинулись вперед, снова держась рука за руку, и, оглянувшись по новой комнате, обе стали у огня.

— Садитесь, — попросил я их, пододвигая им два кресла.

Девочки вместе поклонились, очень оригинально уселись вдвоем на одном кресле, расправили юбочки и сушили ножки.

— А я сицас будить горяций кофе давай, — радостно объявила Эрнестина Крестьяновна и уплыла в кухню.

Я стал себе свертывать папироску и молча рассматривал моих гостей. Обе они были не девочки и не девушки, а среднее между тем и другим, как говорят — *подросточки*. Черненькой на вид было лет пятнадцать, и правильные, тонкие черты ее лица обещали из нее со временем что-то очень красивое; но это должно было случиться, когда линии лица протянутся до назначенных им точек и живые

краски юности расцветят детскую смуглость нежной, тонкой кожи. Другая, которая, стоя в коридоре, все западала за свою подругу, была совсем в ином роде: по росту и сложению ей можно было дать лет тринадцать, а по лбу и бровям гораздо более, чем ее подруге. Эта девочка была некрасивая и никогда не обещавшая быть красавицей, но вся она была какое-то счастливейшее сочетание ума, грации и прелести. Фигурка ее была необыкновенно стройная, такая «миньонная», волосы тонкие, легкие, светло-пепельного цвета; носик строгий, губки довольно полные; правильно оканчивающийся подбородок и удивительной тонкости и белизны шейка, напоминающая красивую и гибкую шейку цыцарки. Но всего замечательней в этом лице были глаза, эти окна души, как их называли поэты, — окна, в которые внутренний человек смотрит на свет из своего футляра. Большие бирюзовые глаза эти были непременно очень близоруки. Это заключение возникло у меня вследствие того, что девочка при каждом относящемся к ней вопросе поворачивалась к говорящему всем телом, выдвигала несколько вперед головку и мило щурила свои глазки, чтобы лучше разглядеть того, кто говорил с нею. Ничего в мире нет мудренее и неразгаданнее таких близоруких глаз. Можно подумать, что они долго глядят не видя ничего, кроме света, и вдруг сосредоточатся на чем-нибудь одном, взглянут глубоко и тотчас же спрячутся за свои таинственные ресницы, точно робкие серны, убегающие за нагорные сосны.

Замечают, что большинство близоруких людей бывают очень мечтательны и что у них весьма часто бывает сильно развита фантазия. Может быть, в этом замечании есть своя доля правды.

В то время, когда я, рассматривая моих гостей, предавался всем этим соображениям, «прислуга» вошла и поставила на стол поднос с тремя чашками горячего кофе.

— Фрейлейн, битте зер, тринкен зи шнеллер кафе, [1] — пригласила Эрнестина Крестьяновна.

Черненькая девочка толкнула слегка локотком пепельную блондинку, и обе ни с места.

Я встал и подал им кофе.

---

[1] Барышни, пожалуйста, пейте скорей кофе *(нем.)*.

— Ах, поставьте, мы возьмем сами, — отвечала, конфузясь, брюнетка.

Она встала, отряхнула начинавшие высыхать юбочки и, подойдя к столу, кликнула:

— Маньхен!

— Мм! — отозвалась Маньхен и, полуоборотясь, прищурила глазки.

— Бери же! — произнесла, продолжая беспрестанно меняться в лице, чернушка.

Маня еще прищурилась, пока рассмотрела стоящий на столе кофе и торопливо отвечала по-немецки:

— Ich danke sehr, Klara; ich will nicht. [1]

— Отчего же вы не хотите согреться? — спросил я как сумел ласковее.

— Благодарю вас, — отвечала чистым русским языком Маня.

— Вы церемонитесь?

— Нет... я... не озябла.

— Чашка кофе все-таки вам не повредит.

Маня опять прищурила глазки, встала и, слегка покачиваясь на своих ножках, подошла к столику.

Теперь я рассмотрел, что платья обеих девушек были не совсем коротенькие, но на подъеме так, что все их полусапожки и даже с полвершка беленьких чулочек были открыты. Дождь на дворе не прекращался; ветер сердито рвал в каминной трубе и ударял в окна целыми потоками крупного ливня; а вдалеке где-то грянул гром и раскатился по небу.

— Гром! — проговорила Маня.

— Да, а вы боитесь грома?

— Я? Да, я боюсь грома; а моя мама... Ида... Они знают, что я боюсь.

— Хотите, мы пошлем сказать, чтобы о вас не беспокоились? Далеко вы живете?

— Вот тут, всего через две линии; тут магазин наш, магазин Норк.

Я отвечал, что знаю, где их магазин.

— Но посылать, пожалуйста, не надо.

— Нет, нет, не надо, как можно! — заговорила она, увидя, что я хотел повернуться к кухне.

---

[1] Большое спасибо, Клара; я не хочу *(нем.)*.

— Нет, прошу вас, пожалуйста, не посылайте бедную старушку.

Я вызвался сходить сам.

— Ах, нет, пожалуйста, не надо!

— Но ваши будут беспокоиться.

— Нет, пожалуйста... Они догадаются, что мы с Кларинькой куда-нибудь зашли. Теперь я вспомнила, что они подумают, что мы ждем в школе.

Сколько я ни старался уговаривать Маньхен, она ни за что не соглашалась ни пустить меня по дождю, ни послать «бедную старушку».

А погода действительно разыгралась во всю свою финскую мочь; все небо заволокло черною, свинцовою тучею; удары грома катились быстрее и непосредственнее вслед за скользившими зигзагами молнии.

— Маня, сколько здесь книг! — сказала из угла, стоя у моего книжного шкафа, Кларинька.

Маня сощурила глазки и, держа в зубках отломленный кусочек сухарика, наклонила головку вперед по голосу Клары.

— Где? — спросила она очень внимательно и необыкновенно тихо.

— Вот целый шкаф.

Маня так и пошла к шкафу с чашкою в руках и кусочком сухарика между зубками.

— Вы любите книги? — спросил я, подходя вслед за нею к шкафу.

— Да, я люблю, — уронила она едва слышно.

— Сколько их тут! — удивлялась Клара.

Маня воззрилась в корешки книг, как газель в лесную чащу; сухарик так по-прежнему оставался неразгрызенный в ее зубках.

— Вы много читаете? — спросил я Клару.

— Я? Нет; я так читаю... когда захочется; а она всегда читает.

— Маньхен! — добавила она, — посмотри, целый Пушкин.

Маня передвинулась молча и опять стала глядеть в переплеты; я не сводил глаз с ее живых, то щурившихся, то широко раскрывающихся глаз и бледного, прозрачного личика.

*

Она читала названья книг с такою жадностию, как будто кушала какой-нибудь сладкий запрещенный плод, и читала не одними глазами, а всем своим существом. Это видно было по ее окаменевшим ручкам, по ее вытянутой шейке, по ее губкам, которые хотя не двигались сами, но около которых, под тонкой кожицей, что-то шевелилось, как гусеница.

Так прошло семь или восемь минут. Маня все стояла у шкафа, и червячок все ворочался около ее губок, как вдруг раздался страшный удар грома и с треском раскатился по небу. Маня слабо вскрикнула, быстро бросила на пол чашку и, забыв всякую застенчивость, сильно схватилась за мою руку.

Разлетевшаяся вдребезги чашка и зазвеневшая по полу ложечка испугали ее еще более.

— Идти! идти! — прошептала она, схватившись в испуге за мою руку и совсем подбиваясь под мой локоть.

Я не мог понять, что значит ее *идти,* и старался как умел и как мог ее успокоить, но она все тревожилась, вздрагивала, зорко смотрела вперед и каждый раз крепче жалась ко мне при всяком новом ударе.

— Как жаль, что вы так боитесь грома! — начал я, когда гроза утихла и небо стало понемножку светлеть и разъясниваться.

Маня молча взглянула на меня, потом на разбитую чашку и пролитый кофе и опять прошептала:

— *Идти.*

— Теперь невозможно идти.

Девушка задумалась.

— Вас, верно, напугал кто-нибудь?

— Н-нет... это так... влияние...

Все существо Мани опять разом выразило, что ей очень тяжело от этого *влияния,* и тоненький червячок снова забегал под кожей около ее губок.

— Идти, — заговорила она, крепко сжимая мою руку, — нужно скорее идти... идти...

Она задрожала и жалась ко мне с выражением ужаса и как будто с мольбой, чтоб я удерживал ее, чтоб не пускал ее куда-то *идти.*

Гроза стихла.

Я ничего не стал расспрашивать Маню об этом, как она называла, «влиянии», и как только немножко распо-

годилось, оделся и пошел проводить их. Магазин Норк был от моей квартиры в нескольких минутах ходьбы. Мы все втроем перешли это расстояние очень скоро и едва успели взяться за дверную ручку, как в магазине раздался сумасшедший крик, и в одно мгновение Маня совсем исчезла в какой-то необъятной куче светлого ситца. Ситец этот закутывал Маню, шевелился около нее, пожирал ее и издавал слабое, почти мышиное пищание, а вдалеке, где-то комнаты за две, послышалось дерганье, как будто кто-то тянул слабою рукою колодезный цебор. Звуки эти все слышались ближе и ближе, и, наконец, в противоположной двери показалось высокое железное кресло с большими колесами, круглые ободы которых были тщательно обмотаны зеленой суконной покромкой. На этом кресле, положа руки на ободья колес, сидела сама старость с младенчески шаткой головой и ушедшими в затылок глазами. Темный полосатенький капот и белый чепец, которым была покрыта подъехавшая фигура, слегка тряслись и дрожали. Даже пестрый шотландский плед, закрывавший недвижимые ноги старушки, слегка шевелился.

При появлении этого кресла ситец, поглотивший Маню, заворошился еще сильнее; из него поднялись две красноватые руки, взмахнули на воздухе и опять утонули в складках, а насупротив их показалась пара других, более свежих рук, и эти тоже взмахнули и также исчезли в ситцевой пене. Затем показалась головка Мани, а возле нее, у самых щек, отцветшая женская голова с полуседыми локонами и гладко причесанная белокурая головка девушки, волоса которой громко объявляли о своем ближайшем родстве с волосами Мани. Это были ее мать и сестра Ида, а в дверях на кресле — Манина бабушка.

Мы с девочкой Кларой двое оставались сторонними зрителями этой сцены, и на нас никто не обращал ровно никакого внимания. Маню обнимали, целовали, ощупывали ее платьице, волосы, трогали ее за ручки, за шейку, ласково трепали по щечкам и вообще как бы старались удостовериться, не сон ли все это? не привидение ли? действительно ли это она, живая Маня, с своей маленькой и слабою плотью?

Мне очень хотелось уйти и не мешать этой семейной сцене, но в то же время я чувствовал необходимость

рассказать в оправдание девушек, где они были и по какому случаю попали ко мне.

— Ах, как мы вас можем благодарить! Я не умею сказать вам, как я вам благодарна, — отвечала мне восторженно Софья Карловна, когда Маня перешла в объятия бабушки, а я наскоро рассказал кое-как всю эту историю.

Софья Карловна непременно просила меня остаться пить чай; она говорила, что сейчас будет ее зять, который уже целый час рыщет с своим знакомым, художником Истоминым, по всему острову, отыскивая везде бедную Маню. Я отказался от чаю и вышел.

Софья Карловна, прощаясь, взяла с меня слово, чтобы я непременно зашел к ним и был бы их хорошим знакомым. Я дал такое слово и сдержал его, даже во втором отношении.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На другое утро ко мне зашел незнакомый, очень щеголевато и в то же время очень солидно одетый, плотный, коротко остриженный господин с здоровым смуглым лицом, бархатными бакенбардами и очень хорошими черными глазами. Он назвал себя Фридрихом Шульцем; сказал, что он зять мадам Норк и что пришел поблагодарить меня от тещи и от себя за внимание, оказанное вчера детям. Фридрих Шульц говорил немного, держался с тактом и вообще вел себя человеком выдержанным. В заключение своего короткого визита он выразил надежду, что мы будем знакомы, и мы с ним простились.

Через день после визита, сделанного мне Шульцем, я отправился к Норкам узнать о здоровье Мани. Это было перед вечером. Маня сама отперла мне двери и этим сделала вопрос о ее здоровье почти неуместным, но тем не менее меня все встретили здесь очень радушно, и я очень скоро не только познакомился с семейством Норков, но даже стал в нем почти своим или, по крайней мере, очень близким человеком.

Здесь я должен сделать некоторое, весьма короткое впрочем, отступление для того, чтобы познакомить чита-

теля со всеми лицами семейства Норков в ту именно пору, к которой относится этот рассказ, и при этом показать их чистенькое жилище.

Самым старым лицом здесь была утлая бабушка Норк. Ей было уже восемьдесят три года; она была некогда и умна, и красива, и добродетельна; нынче она была просто развалина, но развалина весьма опрятная, не обдававшая ни пылью, ни плесенью и не раздражавшая ничьего уха скрипом железных ставень, которые во всех развалинах так бестолково двигаются из стороны в сторону и несносно скрипят на заржавевших крючьях. У старушки Норк оставалось довольно ума и очень много сердца для того, чтобы любить каждый листочек дерева, выросшего из ее праматеринского лона, и между всеми этими веточками и листочками самым любимым листком старушки была опять-таки та же младшая внучка, Маничка Норк. О Софье Карловне мы знаем достаточно, чтобы не говорить о ней в особенности. Она осталась навсегда доброю матерью и хорошею хозяйкою, но с летами после мужа значительно располнела; горе и заботы провели у нее по лбу две глубокие морщины; а торговые столкновения и расчеты приучили ее лицо к несколько суровому, так сказать суходельному выражению, которое замечается почти у всех женщин, поставленных в необходимость лично вести дела не женского хозяйства. Берта Ивановна Шульц была прежде всего и больше всего красавица, здоровая, свежая, белая, роскошная, очень добрая, угодливая, верная жена, страстно нежная мать и бесценная хозяйка. Лучшим аттестатом семейным добродетелям Берты Ивановны был муж ее, Фридрих Фридрихович Шульц. Всегда практически умный, здоровый и веселый, Фридрих Шульц, в качестве мужа Берты Ивановны, раздобрел еще более; его веселый смех со времени женитьбы стал слышаться еще чаще и громче, а на лице его явилось еще более самоуверенности. В этой самоуверенности, которая лежала на лице Шульца, не было, впрочем, ничего заносчивого и обидного. Только при взгляде на свою жену или при разговоре о ней Фридрих Шульц примешивал к своей безобидной самоуверенности некоторую надменность.

— Ну-ка, — говорило тогда его лицо гостям, угощавшимся у его хлебосольной трапезы, — ну-ка, скажите-ка, мои голубчики, у кого из вас есть такая жена?

— А ни у кого у вас нет такой жены, да и ни у кого не может быть такой жены, — добавляло оно, следя за плававшей лебедью Бертой Ивановной. — А вот посмо́трите, какой еще я куплю моей Бертиньке дом — так тоже у вас ни у кого и дома такого никогда не будет.

Ссор и неладов у этого супружества никогда не бывало. Ибо если иногда Берта Ивановна, отягощаясь далеко за полночь заходившими у мужа пирушками, и говорила ему по-немецки: «Лучше бы они, Фриц, пораньше к тебе собирались», то Фридрих Фридрихович обыкновенно отвечал на это своей жене по-русски: «Эй, Берта Ивановна, смотрите, чтобы мы с вами, мой друг, как-нибудь не поссорились!» — и тем все дело и кончалось.

Ида Ивановна, остававшаяся до сих пор девушкою, была иной человек, чем ее сестра Берта Шульц, и совсем иной, чем сестра ее Маня. Ида была очень недурна собой. Рост у нее был прекрасный и фигура очень стройная, так что, глядя сзади на ее роскошные плечи, гибкую талию и грациозную шейку, на которой была грациозно поставлена пропорциональная головка, обремененная густейшими русыми волосами, можно было держать пари, что перед вами женщина, не раз заставлявшая усиленно биться не одно мужское сердце; но стоило Иде Ивановне повернуться к вам своим милым и даже, пожалуй, красивым лицом, и вы сейчас же спешили взять назад составившееся у вас на этот счет предположение. У Иды Ивановны был высокий, строгий профиль, почти без кровинки во всем лице; открытый, благородный лоб ее был просто прекрасен, но его ледяное спокойствие действовало как-то очень странно; оно не говорило: «оставь надежду навсегда», но говорило: «прошу на благородную дистанцию!» Небольшой тонкий нос Иды Ивановны шел как нельзя более под стать ее холодному лбу; широко расставленные глубокие серые глаза смотрели умно и добро, но немножко иронически; а в бледных щеках и несколько узеньком подбородке было много какой-то пассивной силы, силы терпения. В губах у старшей девицы Норк было нечто общее с Манею, но это *нечто* и здесь было совершенно неуловимо. Оно и здесь тоже совсем не принадлежало самим устам Иды Ивановны, а это именно был опять такой же червячок, который шевелился, пробегал

по ее верхней губе и снова скрывался где-то, не то в крови, не то в воздухе.

Самые уста Иды Ивановны были необыкновенно странны: это не были тонкие бледные губы, постоянно ропщущие на свое малокровие; это не был пунцовый ротик, протестующий против спокойного величия стального лица живых особ, напрасно носящих холодную маску Дианы. Уста Иды были в меру живы и в меру красны; но и опять вы почему-то понимали, что они никогда никого не поцелуют иным поцелуем, как поцелуем родственной любви и дружбы. Оставив пансион, Ида Ивановна на другой же день поставила себе стул за прилавок магазина и сделалась самой усердной и самой полезной помощницей своей матери. Софья Карловна не ставила Иду Ивановну никому в пример и даже не так, может быть, нежно любила ее, как Маню, но зато высоко ее уважала и скоро привыкла ничего не предпринимать и ни на что не решаться без совета Иды. О том, что Ида Ивановна тоже девушка, что она тоже может кого-нибудь полюбить и выйти замуж, в семействе Норк, кажется, никто не подумал ни одного раза. Даже практическому Шульцу, относившемуся к свояченицам и к теще с самым горячим участием, и ему сдавалось, что Ида совсем что-то такое, так собственно и рожденное исключительно для семьи Норков и имеющее здесь, в этой семье, свое вековечное место. Есть такие странные девушки, так уже вот и прикрепленные на всю жизнь свою к родимой семье. Так это на них и знаменуется: взглянешь и сейчас это видишь. Таких девушек очень часто приходится встречать в нашем сельском духовенстве и особенно много их в благовоспитанных семьях небогатых петербургских немцев. Чуть не с колыбели какая-то роковая судьба обрекает их в хранительниц родительской старости да в няньки сестриных детей, и этот оброк так верно исполняется ими до гроба. Они делаются *крепкими* своему положению до того, что упасть, или немножко пошатнуться, или скользнуть, хотя немножечко, одной ногою, для них уж невозможно. Не знаю, надобно ли к этому уж прямо родиться или можно себя приучить жить для таких целей, но знаю, что такова была именно Ида, хотя на прекрасном лице ее и не было написано: «навек оставь надежду». Печать иная почивала на этом облике: вам вверить ей хотелось все, что

вам мило и дорого на свете, и ваше внутреннее чувство вам за нее клялось, что ни соблазн любовных слов, ни золото, ни почести, ни диадема королевы врасплох ее застать не могут и не возьмут ее в осаду. Око ее было светло, сердце чисто.

В заключение упомяну еще о подмастерье Германе Вермане, который сам себя не отделял от семейства Норков и которого грех было бы отделить от него в этом рассказе.

Герман Верман был небольшой, очень коренастый старик, с угловатою головою и густыми черными, с проседью, волосами, которые все называли *дикими* и по которым Ида Ивановна самого Вермана прозвала «Соважем».[1] Соваж был старик честнейший и добрейший, хороший мастер и хороший пьяница. По наружности он более был похож на француза, чем на немца, а по нраву на англичанина; но в существе он был все-таки немец, и самый строгий немец.

Жили Норки в небольшом деревянном доме на углу одной из ближайших линий и Большого проспекта, дома которого, как известно, имеют вдоль фасадов довольно густые и тенистые садики, делающие проспект едва ли не самою приятною улицею не только острова, но и всего Петербурга. В пяти окнах, выходивших на линию, у Норков помещался магазин и мастерская, в которой жил и работал с учениками Герман Верман. Жилые комнаты (которых счетом было четыре) все выходили окнами в густой садик по Большому проспекту. Здесь, тотчас влево от магазина, была большая, очень хорошо меблированная зала, с занавесками, вязанными руками Иды Ивановны, с мебелью, покрытою белыми чехлами, и с хорошим фортепьяно. Далее шла маленькая гостиная для коротких друзей. Это просто был кусок спальни Софьи Карловны, отделенный красивыми ширмами красного дерева и установленный мягкою голубою мебелью. За ширмами была самая спальня. Другие две комнаты, выходившие окнами на двор, отделялись от двух первых широким, светлым коридором. В угле коридора, совершенно в сторонке, была комната бабушки, а прямо против импровизированной гостиной — большая и очень хорошая комната Иды

[1] Дикарь *(франц.)*.

и Мани. Комната эта была их спальнею, и тут же стояли два маленькие письменные столика. Далее, в конце коридора, сейчас за комнатою девиц, была кухня, имевшая посредством особого коридорчика сообщение с мастерскою, где жил Герман Верман; а из кухни на двор шел особый черный ход с деревянным крылечком.

Квартира эта по улице была в первом этаже, но со стороны двора под нею был еще устроен невысокий полуэтаж, и как раз под одним из окон девиц выходило крыльцо этого полуэтажа, покрытое широким навесом кровельного железа.

Жило семейство Норков как нельзя тише и скромнее. Кроме каких-то двух старушек и пастора Абеля, у них запросто не бывал никто. С выходом замуж Берты Ивановны, которая поселилась с своим мужем через два дома от матери, ежедневным их посетителем сделался зять. Шульц вместе с женою навещал тещину семью аккуратно каждый вечер и был настоящим их семьянином и сыном Софьи Карловны. Потом в доме их, по известному читателям случаю, появился я, и в тот же день, вслед за моим выходом, Шульц привез художника Истомина.

Художник Роман Прокофьевич Истомин еще очень незадолго перед этим событием выделился из ряда своих товарищей одною весьма талантливою работою, давшею ему сразу имя, деньги, знакомства многих великих мира сего и расположение множества женщин. Все это вместе взятое, с одной стороны, делало Истомина уже в то время лицом довольно интересным, а с другой — снабжало его кучею врагов и завистников, которых всегда так легко приобретает себе всякое дарование не только в среде собратий по профессии, но и вообще у всего мещанствующего разума, живо чувствующего бессилие своей практической лошади перед огневым конем таланта. Талантливости Истомина не отвергал никто, но одни находили, что талантливость эта все-таки не имеет того значения, которое придают ей; другие утверждали, что талант Истомина сам по себе велик, но что он принимает ложное направление; что деньги и покровительства губят его, а в это время Истомин вышел в свет с другою работою, показавшею, что талант его не губится ни знакомствами, ни деньгами, и его завистники обратились в злейших его врагов. Истомину шла удача за удачею в жизни и необыкновенное счастье

в любви. У него бывали любовницы во всех общественных слоях, начиная с академических натурщиц до... ну, да до самых неприступных Диан и грандесс, покровительствующих искусствам. Последнее обстоятельство имело на художественную натуру Истомина свое неотразимое влияние. Красивое, часто дышавшее истинным вдохновением и страстью, лицо Истомина стало дерзким, вызывающим и надменным; назло своим врагам и завистникам он начал выставлять на вид и напоказ все выгоды своего положения — квартиру свою он обратил в самую роскошную студию, одевался богато, жил весело, о женщинах говорил нехотя, с гримасами, пренебрежительно и всегда цинически.

Я слышал об Истомине много хорошего и еще больше худого, но сам никогда не видал его. Известно мне было, что он существует, что он едва ли не один из самых замечательных молодых талантов в академии, что он идет в гору — и только. Знал я также, что Истомин состоит в приятельских отношениях с Фридрихом Шульцем, а от Иды Ивановны слыхал, что Шульц вообще страстный охотник водить знакомство с знаменитостями и потому ухаживает за Истоминым.

— Это ахиллесова пята нашего Фрица, — шутила Ида.

Только я и знал об Истомине. В доме Норков со дня своего первого посещения он не был ни разу, да и нечего было ему здесь и делать в этой тихой, скромнейшей семье.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Сблизясь с семейством Норков, я, разумеется, познакомился ближе и с Фридрихом Шульцем. Человек этот, как я уже сказал выше, с первой же встречи показался мне образцом самой хорошей порядочности, но... бог его знает, что в нем было такое, что как-то не располагало к нему и не влекло. Фридрих Фридрихович был и хлебосол и человек не только готовый на всякую послугу, но даже напрашивавшийся на нее; он и патриотизму русскому льстил, стараясь как нельзя более во всем русить; и за дела его можно было только уважать его, а все-таки он

как-то не располагал человека искренно в свою пользу. Определительно в нем чувствовался недостаток простоты, благоуханно почивавшей в воздухе, которым дышало семейство Норков. Зайдешь, бывало, к Фридриху Фридриховичу — он встречает радушно: «Добро пожаловать! — кричит, бывало, еще чуть ногу на порог переставишь. — Проходите, батюшка, к моей бабе, а я тут с людишками поразверстаюсь», — докончит он, указывая на стоящих артельщиков. Кажется, будто и чистосердечно, и приветливо, и просто, а чувствуешь, что нет во всем этом ни чистосердечия, ни простоты, ни привета. Пойдешь к Берте Ивановне — та тоже встретит с улыбкой, с вечно одинаковой, доброй улыбкой; расскажет, что ее Фриц совсем измучился; что они ездили вчера смотреть Газе и что Газе в Лудовике, по ее мнению, гораздо лучше, чем в Кромвеле, а что о Раабе и о Гюварт, право, гораздо больше говорят, чем они заслуживают. Но и от этой доброй улыбки Берты Ивановны и от этих ее рассказов не согревается душа и не теплеет на сердце. Проболтаешь с полчаса, входит Фридрих Фридрихович, отдуется, упадет с видом утомления на диван и, разгладив бархатные бакенбарды, начинает:

— А у меня, милостивец мой, опять какой мудреный крендель нынче завернулся. Тут, прости меня господи, с этой ерундой с своей не можешь никак себя хорошенько сообразить, а вчера только приезжаю, застаю повестку, что молодые Коровниковы выпросили меня себе попечителем. Ну помилуйте, скажите, что это такое?! Ведь это же, наконец, наказание! «Разве мало, говорю, у вас, господа, своих русских? Найдется, чай, довольно охотников мильонным состоянием опекать». Нет, свое твердят: «Мы вас, Фридрих Фридрихович!» — «Да что, говорю, вас! кислый квас! Что такое неправда за *меня?* что я, в самом деле, за такое особенное? ведь я, говорю, господа, немец, шпрехензидейч, Иван Андрейч, колбасник!» Нет, опять свое: *вы да мы, мы да вы,* да и давай целоваться. Ну, что вы тут с таким народом прикажете разговаривать?

Поставит, бывало, Фридрих Фридрихович в самое неприятное положение таким, совершенно, впрочем, правдивейшим, рассказом и смотрит в глаза, пока ему сочинишь какую-нибудь любезность. Впрочем, если он заметит,

что уж вы очень затрудняетесь, то, не дожидаясь ответа, крикнет:

— Бертинька! а ну, дай нам, матушка, что-нибудь такое позабавиться.

И из комнаты Берты Ивановны тотчас же появляется поднос с холодною закускою, графинчиком Doppel-corn,[1] бутылкой хересу и бутылкой портеру.

— Без соли, без хлеба — худая беседа. Наш брат, русский человек, любит почавкать, — начинает Фридрих Фридрихович, давая вам чувствовать, что когда он десять минут назад называл себя немецким человеком, то это он шутил, а что, в самом-то деле, он-то и есть настоящий русский человек, и вслед за этой оговоркой Шульц заводит за хлебом-солью беседу, в которой уж гостю приходится только молчать и слушать Фридриха Фридриховича со всяческим, впрочем, правом хвалить его ум, его добродетель, его честность, его жену, его лошадь, его мебель, его хлеб-соль и его сигары.

У Норков же было совершенно иное. Проходишь, бывало, через магазин — Ида Ивановна чаще всего стоит с каким-нибудь покупателем и продает ему папиросную машинку или салатную ложку; поклонишься, проходя, как попало Иде, она кивнет головою, тоже чуть заметно, и по-прежнему ведет свое дело с покупателем. Придешь в залу — никого нет, но все смотрит так приветно: и фортепиано и закрытая чехлами мебель как будто говорят вам: «Здравствуйте-с! просим покорно садиться». Вы и садитесь. Так именно было со мною в третье посещение Норков. Я прошел мимо Иды Ивановны, стоявшей в магазине, и сел, не зная, что мне делать, но чувствуя, что мне совсем здесь хорошо и ловко.

Через две или три минуты Ида Ивановна сбыла с рук покупателя и показалась в зале. Выйдя из магазина, она в обеих руках держала по ломтю спелой дыни, посыпанной сахаром.

— Нехорошая дыня, — сказала она, протягивая мне ломтик в своей тонкой белой руке, и в то же время сама начала другой.

— Нет, ничего, — отвечал я, отведав дыни.

---

[1] Доппель-корн *(нем.)*.

— Водянистая; нынче лето такое гадкое, все фрукты какие-то водянистые.

— А что ваша сестра?

— Маня? Она все возится с вашими книгами.

— А я ей еще принес.

Ида Ивановна покачала головой и выговорила:

— Вы нам ее совсем испортите. Подите к ней, если хотите, в ее комнату.

— Можно?

— Отчего же? Там убрано. Я одна тут; мне нельзя отойти от магазина; мамы нет дома, а бабушка уж закатилась и спит.

Я поблагодарил и коридорчиком прошел к комнате Иды и Мани.

— Войдите, — сказала Маня, когда я второй раз постучался у ее двери.

Я застал Маню, сидевшую на окне, с которого до половины была сдвинута синяя тафтяная занавеска. На коленях у Мани лежала моя книга.

— Здравствуйте! — сказала она, щурясь и осторожно спуская на пол свои крошечные ножки. — А я так и думала, что это вы.

— Отчего же это вы так думали?

— Так... читала и как-то про вас вспомнила, а вы и пришли. Садитесь.

Я сел. Маня выбежала на минуту и вернулась с пепельницею, сигарою и спичками.

— Курите, — сказала она, ставя предо мною спички и подавая мне сигару.

Я поблагодарил.

— Это Фрицева сигара: он всегда хорошие сигары курит; вы попробуйте.

Я взял сигару и закурил: сигара точно оказалась очень хорошею.

— Довольны вы книгою? — начал я, чтобы с чего-нибудь начать.

— Да, — отвечала торопливо Маня. — Это так по-русски; такое... действительное.

— Вы любите более действительное?

Девушка задумалась.

— Я много читала, — начала она тихо, — но вы меня не расспрашивайте. Я все читаю. Это вот хорошая

книга, — продолжала она, указывая на мой томик «Записок охотника», — нравится мне, а я не могу рассказать почему... Так, какое-то влияние такое... Жаль прочесть скоро. А другие книги читаешь... даже спешишь. Так читаешь... — Маня махнула ручкой.

— Без влияния?

Девушка смотрела на меня долго и, пожав плечиками, сказала:

— Я не знаю, право, какое ж другое слово?

Мне стало стыдно своей попытки слегка подтрунить над Маней.

— Видите, — говорила она, робея и потупляя глазки, — Шиллера, Гете, Ауэрбаха — все это я брала у Фрица; все кое-как знаю; и еще разные там книги у него брала... а это новое совсем, и такое понятное... как самой будто все это хочется почувствовать: ведь это ж влияние значит?

— Вы знаете, — говорила она мне, прощаясь, — вы не думайте, что мои родные в самом деле сердятся, что я читаю книги. Фриц сказал, что ваши книги мне всегда можно читать, и мама мне тоже позволила.

— Очень рад, — отвечал я и ушел, пожав ей ручку.

Фридрих Фридрихович, значит, ко мне благоволил, и я дал себе слово дорожить этим благоволением для Мани.

Так прошло нашему знакомству, надо полагать, месяца три или четыре. В это время я познакомился у Шульца с несколькими знаменитостями, впрочем не первой руки, — и, между прочим, с Романом Прокофьичем Истоминым. При всех предубеждениях против этого человека он мне очень понравился. Кроме таланта, выразительной наружности и довольно редкой в русском художническом кружке образованности, к нему влекла его хорошая, страстная речь, гордое пренебрежение к врагам и завистникам и смелая, твердая решимость, соединенная (когда он хотел этого) с утонченнейшею мягкостью и теплотою обращения. Я на Романа Прокофьевича тоже, кажется, произвел впечатление довольно выгодное, и со второго или третьего свидания мы стали держать себя по отношению друг к другу добрыми приятелями. Это еще не решено, да и вряд ли когда-нибудь будет решено, почему с одним человеком почти ни с того ни с сего легко сходишься, сам того не замечая, а с другим ни от того ни

от сего, при всех усилиях сойтись, никак не сойдешься. Почти совершенно друг друга путем не зная и не ведая, сошлись мы с Романом Прокофьевичем так, что вдруг очутились на одной квартире. Он напал случайно на очень хороший бельэтаж небольшого домика; в этом бельэтаже приходилось по три одиноких комнаты со сторон и посередине необыкновенно изящный круглый зал, оклеенный темносиними парижскими обоями с широким золотым карнизом. Я взял себе три комнатки налево, а Роман Прокофьич три комнаты направо да этот очаровательный зал под мастерскую. Дверь из залы на мою половину заперли, завесили синим сукном, и зажили мы с Истоминым, сходясь часто, но никогда не мешая друг другу не вовремя. Ко всему этому для меня было большой находкой, что Истомин, часто, и не заходя ко мне из-за своей стены, рассеивал налегавшую на меня тоску одиночества музыкою, которую он очень любил и в которой знал толк, хотя никогда ею не занимался путем, а играл на своем маленьком звучном пианино так, сам для себя, и сам для себя пел очень недурно, даже довольно трудные вещи.

Живя в таком близком соседстве я, против всякого желания, убедился, что Истомин действительно был женским кумиром. Минуту, кажется, трудно было улучить такую, когда б у него не была в гостях какая-нибудь женщина, и все это были женщины комильфотные — «дамы сильных страстей и густых вуалей». Невольно слыхал я из-за моих дверей и нежные ласки, и страстные, кровь кипятящие вздохи, и бешеные взрывы ревности, и опасения, и страхи, и те ехидные слова, которыми страсть оправдывает себя перед рассудком, и привык я ко всему этому очень скоро и на все это не обращал давно никакого внимания.

— Я очень часто слышу, любезный Истомин, что говорят ваши дамы, — раз или два намекал я моему соседу.

— Нельзя же, голубчик, без этого — надо же им гденибудь и поговорить, — отвечал он мне, словно не понимая моего намека.

Так мы и жили. К нам обоим заходил иногда Фриц Фрицевич (так звал Шульца Истомин), и мы частенько навещали Фрица Фрицевича. Навещая нас, бездомников, Фридрих Фридрихович являлся человеком самым

простодушным и беспретендательным: все ему, бывало, хорошо, что ни подашь; все ловко, где его ни посадишь. Зайдя же ко мне второй раз, он прямо спросил:

— А не пьют ли у вас в деревне в это время водки?

— Извините, — говорю, — Фридрих Фридрихович, водка есть, но закусить, кажется, нечем.

— Ну, что там, — отвечает, — за закуска еще; истинные таланты не закусывают. А вы вот, — говорит, — поаккомпанируйте-ка!

Я опять извиняюсь; говорю:

— Рано, не могу утром пить.

— Ну, да я, впрочем, солист, — отвечал Шульц и спокойно выпил вторую рюмку.

Таков он был и всегда и во всем, и я и Истомин держались с ним без всякой церемонии. К Норкам Истомин не ходил, и не тянуло его туда. Только нужно же было случиться такому греху, что попал он, наконец, в эту семью и что на общее горе-злосчастие его туда потянуло.

Об этом теперь и наступает повествование.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Раз, вскоре как стала зима, сижу я у себя и работаю. Вдруг, этак часу в первом, слышу звонок. Является моя «прислуга» и шепчет:

— Там один какой-то дама вас спрасивать.

Выхожу я — смотрю, Ида Ивановна сидит на диване и улыбается, а возле нее картонный ящик и большущий сверток в толстой синей бумаге.

— Здравствуйте! — говорит Ида Ивановна. — Устала я до смерти.

— Кофе, — говорю, — чашечку хотите?

— А крепкий, — спрашивает, — у вас кофе варят?

— Какой хотите сварят.

— Ну, так дайте; только самого крепкого.

«Прислуга» моя захлопотала.

— А ведь я к вам это как попала? — начала с своим обыкновенным спокойствием Ида Ивановна. — Я вот контрабанды накупила и боюсь нести домой, чтоб не попасться с нею кому не следует. К Берте зайти еще пуще

боюсь, чтобы не встретиться. Пусть это все у вас полежит.

— Извольте, — говорю, — с радостью.

— Нет, в самом деле, это не то что контрабанда, а разные, знаете, такие финти-фанты, которые надо сберечь, чтоб их пока не увидали дома. Дайте-ка мне какой-нибудь ящик в вашем комоде; я сама все это хорошенько уложу своими руками, а то вы все перемнете.

Я очистил ящик; Ида Ивановна все в него бережненько посложила.

— Вы знаете, что это такое? — начала она, садясь за кофе. — Это здесь платьице, мантилька и разные такие вещицы для Мани. Ведь через четыре дня ее рождение; ей шестнадцать лет будет — первое совершеннолетие; ну, так мы готовим ей сюрпризы, и я не хочу, чтобы кто-нибудь знал о моем подарке. Я нарочно даже чужой модистке заказывала. Вы тоже смотрите, пожалуйста, не проговоритесь.

— Нет, зачем же!

— То-то: зачем! Это всегда так, ни зачем делается. Я тогда утром пришлю девушку, вы ей все это и отдайте.

— Хорошо-с, — говорю, — Ида Ивановна, — и тотчас, как проводил ее за двери, отправился на Невский, взял новое издание Пушкина и отдал его Миллеру переплесть в голубой атлас со всякими приличными украшениями и с вытисненным именем Марии Норк.

Вечером в тот же день я зашел к Норкам и застал в магазине одну Иду Ивановну.

— Послушайте-ка! — позвала она меня к себе. — Вот умора-то! Бабушка посылала Вермана купить канарейку с клеткой, и этот Соваж таки протащил ей эту клетку так, что никто ее не видал; бабушка теперь ни одной души не пускает к себе в комнату, а канарейка трещит на весь дом, и Манька-плутовка догадывается, на что эта канарейка. Преуморительно.

— Да чего это, — говорю, — Ида Ивановна, так уж очень со всем этим секретничаете?

— Ах, как же? Ведь уж если все это делать, то надо сюрпризом! Неужто ж вы не понимаете, что это сюрпризом надо?

При всем желании Иды Ивановны ничем не нарушать обыденный порядок весь дом Норков точно приготовлялся

к какому-то торжественному священнодействию. Маня замечала это, но делала вид, что ничего не понимает, краснела, тупила в землю глаза и безвыходно сидела в своей комнате.

Наступил, наконец, и долгожданный день совершеннолетия. Девушка Иды Ивановны ранехонько явилась ко мне за оставленными вещами, я отдал их и побежал за своим Пушкиным. Книги были сделаны. Часов в десять я вернулся домой, чтобы переодеться и идти к Норкам. Когда я был уже почти совсем готов, ко мне зашел Шульц. В руках у него была длинная цилиндрическая картонка и небольшой сверток.

— Посмотрите-ка, отец родной! — сказал он, вытаскивая из картонки огромную соболью муфту с белым атласным подбоем и большими шелковыми кистями.

— Прелесть, — произнес я, погладив рукою муфту.

Фридрих Фридрихович подул против шерсти на то место, где прошла моя рука, и, встряхнув муфту, опустил ее снова в картонку.

— А эта-с штукенция? — запытал он, раскатав дорогой соболий же воротник, совсем уж готовый и настеганный на шелковую подкладку.

— Хорошо.

— Оцените?

— Рублей триста.

— Пятьсот!

— Очень хорошо.

— А Бертинька повезла этакую бархатную нынешнюю шубку на гагачьем пуху; знаете, какие нынче делают, с этакой кружевной пелериной. Понимаете, ее и осенью можно носить с кружевом, и зимой: пристегнула вот этот воротничишко — вот и зимняя вещь. Хитра голь на выдумки; правда? — воскликнул он, самодовольно улыбнувшись и ударив меня фамильярно по плечу.

— Да это все кому же?

— Да Маньке же, Маньке! — Шульц переменил голос и вдруг заговорил тоном особенно мягким и серьезным: — Ведь что ж, правду сказать, нужно в самом деле, как говорится, соблюдать не одну же форменность.

Где это и при каких это случаях *говорится,* что «нужно соблюдать не одну форменность», — это осталось секретом Фридриха Фридриховича. Он очевидно цацкался пе-

редо мною с своими дорогими подарками и, попросив меня одеваться поскорее, понес свои коробки к Истомину.

Через пять или десять минут я застал их с Истоминым, рассуждавших о чем-то необыкновенно весело. Рядом с муфтою Мани на диване лежала другая муфта, несколько поношенная, но несравненно более дорогая и роскошная.

— Эта, ваше степенство, не по нашим капиталам, — говорил Фридрих Фридрихович, выводя пальцем эсы по чужой муфте, которая, видимо, сбила с него изрядную долю самообожания. — Какие ручки, однако, должны носить эту муфту?

— Ручки весьма изрядные, — отвечал, тщательно повязывая перед зеркалом галстук, Истомин. — Насчет этих ручек есть даже некоторый анекдот, — добавил он, повернувшись к Шульцу. — У этой барыни муж дорогого стоит. У него руки совсем мацерированные: по двадцати раз в день их моет; сам ни за что почти не берется, руки никому не подает без перчатки и уверяет всех, что и жена его не может дотронуться ни до чьей руки.

Фридрих Фридрихович вдруг так и залился счастливейшим смехом.

— Ну что ж, он ведь и прав! Муж-то, я говорю, он ведь и прав! — взвизгивал Фридрих Фридрихович. — Она ведь за *руки* только не может трогаться.

Я видел в зеркало, как Истомин, снова взявшийся за свой галстук, тоже самодовольно улыбнулся.

— Понюхайте-ка, — сказал, завидя меня и поднимая муфту, Фридрих Фридрихович, — чем, сударь, это пахнет?

Не понимая в чем дело, я поднес муфту к лицу. Она пахла теми тонкими английскими духами, которые, по словам одной моей знакомой дамы, сообщают всему *запах счастья.*

— Счастьем пахнет, — отвечал я, кладя на стол муфту.

— Да-с, вот какие у Романа Прокофьича бывают гостьи, что все от них счастьем пахнет.

Шульц опять расхохотался.

— А позвольте-ка, господа, лучше прибрать это счастье к месту, — проговорил Истомин, — сравнили, и будет ею любоваться, а то чего доброго... ее тоже, пожалуй, кое-кто знает.

— Ну-с! так во поход пошли гусары? — спросил Шульц, видя, что Истомин совсем готов.

Я взял мою шляпу и мои книги, обернутые яркою цветною бумагою.

— Тоже подарок? — спросил Шульц.

Я отвечал утвердительно.

Истомин остановился посреди комнаты.

— Что ж это, господа? — заговорил он. — Ведь это уж нехорошо: все вы с подарками, а я с пустыми руками.

— Ну, ничего! что там еще за подарки! Вы нечаянный гость; я скажу, что утащил вас насильно, — убеждал его Фридрих Фридрихович.

— Да! да позвольте-ка-с еще! У меня и у самого сейчас найдется для нее подарок, — воскликнул Роман Прокофьич и, торопливо вытащив из-за мольберта один из стоявших там запыленных картонов, вырезал из него прихотливый, неправильный овал, обернул этот кусок бумагою, и мы вышли. Не знаю почему, но мне было ужасно неприятно, что Истомин, после этого цинического разговора о дамской муфте, идет в дом Норков, да еще вместе с нами, и в этот святой для целого семейства день совершеннолетия Мани. Тем, кто знаком с предчувствиями, я могу сказать, что у меня были самые гадкие предчувствия, и они усилились еще более, когда перед нами отворилась дверь в залу и от стены, у которой стояло бабушкино кресло и сидело несколько родных и сторонних особ, отделилась навстречу нам фигура Мани, беленькая и легонькая, как морская пена.

Я никогда не забуду всех мельчайших подробностей здешней картины, навсегда запечатлевшейся в моей памяти.

Вся зала была обновлена в это самое утро. Обновление ее состояло в том, что на окнах были повешены новые занавесы; с фортепиано была снята клеенка, бронзовые канделябры были освобождены из окутывавшей их целый год кисеи, и обитые голубым рипсом стулья и кресла нескромно сбросили с себя свои коленкоровые сорочки. Кроме того, почти во всю залу (она же и гостиная) был разостлан огромный английский ковер, принесенный с собою в приданое еще бабушкой. Вдоль одной стены, прямо против двери, на своем подвижном кресле сидела сама бабушка. Старушка была одета в белом пикейном капоте

с множеством кружевных обшивок и кругленькими, похожими на горошинки, беленькими же пуговками. На старческой голове бабушки был высокий полуфламандский чепчик с туго накрахмаленными оборками и полосатыми лентами, желтой и ранжевой. Рядом с креслом старушки, в другом кресле, помещался пастор Абель в длинном черном сюртуке и белом галстуке. Возле пастора сидела мадам Норк, тоже в белом платье и с натуральными седыми буклями; у плеча мадам Норк стоял Герман Верман, умытый, вычищенный и долго чесавшийся, но непричесанный, потому что его «дикие» волосы ни за что не хотели ложиться и топорщились по обыкновению во все стороны. На Германе Вермане был светло-коричневый фрак, белый жилет, очень кургузые синие панталоны и красный галстук, едва схватывавший огромнейшие тугие полисоны немилосердно накрахмаленной манишки. Далее сидела Ида Ивановна, Берта Шульц, булочница Шперлинг и ее дочь, наша старая знакомая, подруга Мани, Клара Шперлинг. Кроме пастора и Вермана, все решительно были одеты во все белое, а черненькая Клара Шперлинг смотрела настоящей мухой в сметане.

Маня стояла между бабушкой и пастором, который говорил ей что-то такое, что девушку, видимо, приводило в состояние некоторой ажитации, а у ее старой бабушки выдавливало слезы.

При нашем появлении в дверях пастор и бабушка разом освободили ручки Мани, и девушка, заколыхавшись как кусок белой пены, вышла навстречу нам на середину комнаты.

Далее Шульц не пустил ее. Он поднял торжественно перед собою ладонь и дал почувствовать, что сейчас начнется что-то такое, требующее благоговейшей тишины и внимания.

С этим он кашлянул, поднял на Маню самый официальный взгляд и произнес:

— Сестра!

— Тсс! — пронеслось по зале; впрочем, и без того никто не нарушал ни малейшей тишины.

— Приветствую тебя в этот торжественный день твоей жизни! — начал Шульц тоном и дикциею проповедника. — Приветствую тебя не как ребенка, а как женщину — как человека, который отныне получает в обществе свои права

и принимает свои обязанности перед семьей и перед обществом. Дай бог... (пастор, а за ним и все присутствующие при слове «бог» поднялись с мест и стали. Шульц продолжал еще торжественней...) Дай бог, повторяю я, преданнейший слуга и брат твой, усердно моля за тебя умершего на кресте спасителя, чтобы все великие и святые обязанности женщины стали для тебя ясны, как ясно это солнце, освещающее дорогой для всех нас день твоего совершеннолетия (солнце ярко и весело смотрело в окна через невысокие деревья палисадника). Дай бог, чтобы зло и неправда человеческая бежали от тебя, как тьма бежит от лучей этого солнца! Honestus rumor alterum patrimonium est, говорит мудрая латинская пословица, то есть: хорошая репутация заменяет наследство; а потому более всего желаю тебе, чтобы в твоем лице и мы и все, кто тебя встретит в жизни, видели повторение добродетелей твоей высокопочтенной бабушки, твоего честного отца, душа которого теперь присутствует здесь с нами (Софья Карловна заморгала глазами и заплакала), твоей матери, взлелеявшей и воспитавшей своими неусыпными трудами и тебя и сестер твоих, из которых одной я обязан всем моим счастьем! (Берта Ивановна заплакала; Шульц подошел, поцеловал руку жены, тоже отер слезу и закончил.) Девица Мария Норк! дорогая новорожденная сестра наша, прими наше братское приветствие и осчастливь себя и нас воспитанием в себе тех высоких качеств, которых мы вправе ждать от твоего прекрасного сердца.

Произнеся эту, всеконечно заранее обдуманную речь, Фридрих Шульц вдруг стал на колени, взял Маню за обе руки и сильно растроганным голосом, в котором в самом деле дрожали искренние слезы, проговорил:

— Матушка! Машуточка! утешь-оправдай на себе нашу родную русскую пословицу, что «от яблоньки яблочко недалеко катится!»

Шульц взял и поклонился Мане в ноги, веско ударив лбом в пол.

Маня быстро опустилась, схватила зятя за плечи и оба вместе поднялись на ноги.

Фридрих Фридрихович поцеловал ее в губы и потом еще раз поцеловал одну за другою обе ее руки.

Я подошел и в замешательстве тоже поцеловал Манину руку. Маня, у которой глаза давно были полны слез,

смешалась еще более, и рука ее дрогнула. За мною в ту же минуту подошел Истомин, сказал что-то весьма почтительное и смело взял и также поцеловал руку Мани. Девушка совсем переконфузилась и пошатнулась на месте.

На ее счастье, Шульц, который в это время успел уже обмахнуть голубым фуляром свои панталоны и лацканы фрака, сказал:

— Позволь, матушка, отдать тебе на память об этом дне вот эти безделушки.

Он вынул муфту и воротник и, подавая их Мане, добавил:

— Пусть это будет дополнением к подарку сестры твоей Берты.

— На что так много? — заговорила Маня, потерянно глядя во все стороны и прикладывая к пылающим щекам свои ручки.

— Марья Ивановна! — позвольте мне просить вас принять и от меня на память вот это, — сказал я, подавая ей пять томов Пушкина.

Маня прищурила глазки, взглянула на переплет, протянула мне обе ручки и отвечала:

— Благодарю вас: я возьму.

— А я, Марья Ивановна, не знал, что сегодня день вашего рождения и что я вас увижу нынче, — начал Истомин. — Я принес вам то, что у меня было дома, и вы тоже будете так снисходительны — возьмете это от меня на память о моем знакомстве с вами и о вашем совершеннолетии.

Истомин сбросил с картона бумагу и подал его Мане; та взглянула и зарделась.

Все мы подошли к картону и все остановились в изумлении и восторге. Это был кусок прелестнейшего этюда, приготовленного Истоминым для своей новой картины, о которой уже многие знали и говорили, но которой до сих пор никто не видал, потому что при каждом появлении посетителей, допускавшихся в мастерскую художника, его мольберт с подмалеванным холстом упорно поворачивался к стене.

На поднесенном Мане куске картона, величиною более полуаршина, была молодая русалка, в первый раз всплывшая над водою. Этюд был писан в три тона. Русалка, впервые вынырнувшая со дна речки, прыгнула

на сонный берег, где дикий тмин растет и где цветут, качаяся, фиалки возле буквиц. Вся она была целомудренно закрыта тмином, сквозь стебли которого только кое-где чуть-чуть очерчивались свежие контуры ее тела. Одна голова с плечами любопытно выставлялась вперед и внимательно смотрела удивленными очами на неведомый для нее надводный мир. Никакое другое искусство, кроме живописи, не могло так выразить всего, что выражала эта восхитительная головка. Любопытство, ужас, восторг и болезненная тревога — все это разом выступало на этих сломанных бровках, полуоткрытом ротике, прищуренных глазках и побледневших щеках. Но всего более поразило всех в этой головке какое-то странное, наводящее ужас сходство русалки с Манею. Это не был верный голбейновский портрет и не эффектная головка Грёза: это было что-то такое... как будто случайное сходство, как бы портрет с двойника, или как будто это она, Маня, но в лунатизме, что ли, или в каком-то непонятном для нас восторженном состоянии.

— Она впервые видит свет. По мифологии, у них тоже есть совершеннолетие, до которого молодая русалка не может всплыть над водою, — начал мягко и приятно рассказывать Истомин. — Это очень поэтический славянский миф. Вообразите себе, что она до известных там лет своей жизни жила в кристальных палатах на дне реки; слыхала там о кораблях, о бурях, о людях, о их любви, ненависти, о горе. Она плавала в глубине, видала, как в воду опускается столб лунного света, слышала на берегах шум другой жизни; над головою ее пробегали корабли, отрезавшие лунный свет от дна речного; но она ничего, решительно ничего не видала, кроме того, что там есть у них под водою. Она знает, что ее мать когда-то утонула оттого, что был когда-то человек, который любил ее, потом разлюбил, «покинул и на женщине женился»; но как все это там? что там такое? какие это живые люди? как там, над водою, дышат? как любят и покидают? — все это ей совершенно непонятно. И вот ее совершеннолетие исполнилось; здесь вы видите, как она только что всплыла; надводный воздух остро режет ее непривычное тело, и в груди ей больно от этого воздуха, а между тем все, что перед нею открылось, поражает ее; вдруг все это, что понималось смутно, уясняется; все начинает ей говорить своим

языком, и она... Видите... Здесь, на этом куске, впрочем, нет этого, а там — на целой картине тут влево резвятся другие русалки, хохотуши, щекотуши — все молодые, красивые... Одна из них слышит, что

Птичка под кустами
Встрепенулася во мгле...

Другая шепчет:

Между месяцем и нами
Кто-то ходит по земле...

А эта вся... одна, закрывшись диким тмином, в сто глаз и столько же ушей все слушает, все видит; и не птичка, не тот, кто ходит где-то по земле, а *все, все разом* оковало ее, и вот она, вы видите, какая! Не знаю, впрочем, сумел ли я хоть плохо передать холсту, что думал и что хотелось бы сказать этой картиной чувству, — докончил тихо Истомин, осторожно поставив картон на свободное кресло.

Истомин был очень хорош в эту минуту. Если бы здесь было несколько женщин, впечатлительных и способных увлекаться, мне кажется, они все вдруг полюбили бы его. Это был художник-творец, в самом обаятельном значении этого слова. Фридрих Фридрихович, глядя на него, пришел в неподдельный художественный восторг. Он схватил обе руки Истомина, сжал их и, глядя ему в глаза, проговорил с жаром:

— Вы будете велики! Вы будете нашею гордостью; вы будете славою русского искусства!

Истомин покраснел, обнял Шульца и торопливо отошел к окошку, и — чудо чудное! на глазах его вдруг мелькнули первые слезы.

Черт его знает, до чего он становился прекрасен в этом расстройстве!

Я подошел к окну и стал рядом с Истоминым.

— Дьявол бы совсем взял эту глупость! — начал он мне на ухо, стараясь в то же время сморгнуть и утереть свою слезу. — Выдумать еще надо что-нибудь глупее, как прийти на семейный праздник для того, чтобы поздравить девушку, и вдруг самому напроситься на общее внимание!

Истомин нетерпеливо дернул зубами уголок своего платка и сунул его сердито в карман фрака.

Он был совершенно прав. О Мане и ее празднестве совершенно забыли. Все столпились около этюда, который теперь держал в руках пастор Абель. Даже старушка-бабушка взялась руками за колеса своего кресла и поехала, чтобы соединиться с прочими у картины. Пастор Абель держал картину в одной левой руке и, сильно откинувшись головою назад, рассматривал ее с чинной улыбкой аугсбургского исповедания; все другие жались около пасторовых плеч, а выехавшая бабушка зазирала сбоку. Однако старушке было очень хорошо видно картину, потому что она первая заговорила:

— Aber warum?.. [1] как она совсем выглядит похожа на Маньхен!

Все в одну минуту оглянулись на Маню, которая стояла на своем прежнем месте и смотрела на Истомина, вытягивая вперед голову, точно хотела сейчас тронуться и подбежать к нему.

— Есть сходство, — произнес с достоинством пастор.

— Совсем Маня! — подтвердила с восклицанием Ида Ивановна.

— Роман Прокофьич! Зачем это такое сходство? Ведь это не нарочно писано; я сам видел, как вы вырезали этот кусок из целого картона, — заговорил Фридрих Фридрихович.

Истомин обернулся, закинув назад рассыпавшиеся черные кудри, и, делая шаг к сгруппировавшейся семье, сказал:

— Это?.. это художественная вольность, которую вы должны простить мне и которую никто не вправе поставить нам ни в суд, ни в осуждение. Фантазия сама по себе все-таки фантазия человеческая; она слаба и ничтожна перед осуществленною фантазиею природы, перед натурою. Я очень долго бился с этой головкой, и она мне все не удавалась. Для таких лиц нет много натурщиц. Наши натурщицы все слишком обыкновенные лица, а остановить первую встречную женщину, которая подходит под ваш образ, слишком романтично, и ни одна не пойдет. Настолько нет ни в ком сочувствия к искусству. В тот именно день, когда, помните, Марья Ивановна в бурю долго не приходила домой и когда мы ее искали, я в первый раз

---

[1] Но почему? *(нем.)*.

увидел ее головку и... это была именно та головка, которой мне недоставало для картины.

— Зачем же вы ее, мой голубчик, вырезали-то? — говорил с добродушным упреком Фридрих Фридрихович.

— А что-с?

— Да ведь она ж нужна вам.

— Я теперь сто раз кряду нарисую вам ее на память, — отвечал небрежно Истомин.

— Только она что-то, знаете, как будто... изменена в чем-то.

— Да, выражение, конечно... Это делает масса новых впечатлений, которые охватывают ее... Это так и нужно.

— И есть что-то страшное, — заметила бабушка.

— Да-да, именно страшное есть, — утверждал пастор, вертя мизинцем свободной руки над бликами, падавшими на нос и освещенную луной щеку русалки.

— Гм! наша Маньхен попадает на историческую картину, которою будут восхищаться десятки тысяч людей... Бог знает, может быть даже и целые поколения! — воскликнул весело Фридрих Фридрихович, оглядываясь на Маню, которая только повернулась на ногах и опять стояла на том месте, не сводя глаз с Истомина.

— Извольте, фрейлейн Мария, вашу картину, — произнес пастор, подавая ей картину.

Маня взяла этюд и, зардевшись, сделала Истомину полудетский книксен.

— Нет, господа, уж потрудитесь ваши подарки сами положить на ее совершеннолетний столик, — попросила нас Софья Карловна.

— Пожалуйте! — позвала она, подходя к двери своей крошечной гостиной.

Мы все довольно торжественно прошли с своими приношениями через маленькую гостиную и коридорчик и вступили в комнату новорожденной. Комната эта была вся освежена и глядела олицетворением девственного праздника Мани. На окнах были новые белые кисейные занавески с пышными оборками наверху и с такими же буфами у подвязей; посередине окна, ближе к ясеневой кроватке Мани, на длинной медной проволоке висела металлическая клетка, в которой порхала подаренная ба-

бушкой желтенькая канарейка; весь угол комнаты, в котором стояла кровать, был драпирован новым голубым французским ситцем, и над этою драпировкою, в самом угле, склоняясь на Манино изголовье, висело большое черное распятие с вырезанною из слоновой кости белою фигурою Христа. Вся девственная постелька Мани, ничем, впрочем, не отличавшаяся от постели Иды Ивановны, была бела как кипень, и в головах ее стоял небольшой стол, весь сверху донизу обделанный белою кисеею с буфами, оборками и широкими розовыми лентами по углам. На этом столе посредине помещался на большом подносе очень хороший торт с латинскими буквами M и N. Около торта размещались принесенные сегодня пастором: немецкая библия в зеленом переплете с золотым обрезом; большой красный дорогой стакан с гравированным видом Мюнхена и на нем, на белой ниточке, чья-то карточка; рабочая корзиночка с бумажкою, на которой было написано «Клара Шперлинг», и, наконец, необыкновенно искусно сделанный швейцарский домик с слюдовыми окнами, балкончиками, дверьми, загородями и камнями на крыше. На чистом липовом ящике, из которого домик этот был вынут и в который он снова мог вдвигаться, на дощечке было тщательно выписано имя Германа Вермана, а ниже год, месяц и число настоящего празднества. Рядом с этим белым столом стоял роскошный, ажурный рабочий столик, отделанный внутри зеленою тафтою. Это был подарок матери. На этом столике лежало бархатное пальто, принесенное Бертой Ивановной, и сюда же Шульц положил соболевый воротник и муфту. Я положил сочинения Пушкина к стене на белом столике, а Истомин поставил на эти книги свою картину.

— Какая прекрасная работа! — сказал он, рассматривая деревянный швейцарский домик.

— Это наш добрый Герман сделал, — отвечала ему Софья Карловна.

— Прелестная, замечательная работа! — продолжал Истомин, обращаясь к Герману.

Тот заложил большой палец правой руки в петлю своего коричневого фрака и поклонился Истомину с достоинством.

Пастор, Ида и все, кроме бабушки, были в этой комнате, и целой компанией все снова возвратились в залу,

где нас ждал кофе, русский пирог с дичинным фаршем и полный завтрак со множеством всякого вина. Софья Карловна беспрестанно выбегала и суетилась, Маня сидела возле бабушки; Берта Ивановна усердно кушала, держа как-то на отлете оба тоненькие мизинца своих маленьких белых ручек. Мужчины все ели очень прилежно, но Ида Ивановна все-таки наблюдала за ними и, стоя у стола, беспрестанно подкладывала то тому, то другому новые порции.

— Ешьте, — говорила она мне, кладя второй кусок очень вкусной рыбы.

— Полноте, Ида Ивановна! не могу никак, — отпрашивался у нее я.

— Ешьте-ка, ешьте, — отвечала она с вечным своим спокойствием, не принимая от меня никаких оправданий. С другими она поступала совершенно так же, только вместо фамильярного *ешьте* на все их отговорки тихо отвечала им *кушайте*.

— Не выбрасывать же стать, — шепнул я ей возле ее локтя.

Ида Ивановна с едва заметной улыбкой толкнула меня в плечо и опять потащила кому-то новый кусок жаркого.

Фридрих Фридрихович не уступал свояченице: как она угощала всех яствами, так он еще усерднее наливал гостей то тем, то другим вином. Даже когда пустые блюда совсем сошли со стола и половина Маничкиного торта была проглочена с шампанским, Фридрих Фридрихович и тогда все-таки не давал нам отдыха.

— Позвольте, господа, — говорил он, не выпуская никого из-за стола. — Это все требуется непременно допить.

— Помилуйте, Фридрих Фридрихович, куда же нам еще пить! — отмаливались гости ввиду целых трех бутылок шампанского с подрезанными проволоками у пробок.

— Нет, позвольте! Это совсем невозможно так оставлять, — убеждал Фридрих Фридрихович. — Открытую бутылку нельзя оставлять в хозяйстве. Это, во-первых, значит, зло оставлять, а потом от этого, наконец, прислуга балуется.

— Пожалуйте-ка, — относился он, приближая горлышко бутылки к стакану пастора.

— О, их кан нихт, либер гер[1] Шульц! — отмаливался пастор.

— Ничего, господин пастор, ничего; это вас подкрепит, — убеждал Шульц и, дополнив стакан его аугсбургского преподобия, относился с теми же доводами к другим.

— Это вас подкрепит, — говорил он, упрямо заставляя нас непременно допить все, и прибавлял: — Пожалуйста, господа! пожалуйста, потрудитесь! пожалуйста, прошу вас, чтоб после нас люди не баловались.

Пастор, отстрадав, стукнул пустым стаканом и отдулся, а Шульц наступал на него снова, приглашая выпить «в пользу детских приютов».

— Капли не выпью больше, господин Шульц, — отказывался пастор.

— В пользу детских приютов-то, господин пастор?

— Ни за что, господин Шульц.

— В пользу детских приютов ни за что?

— О mein Gott![2] — вздыхал сдававшийся на сильные доводы пастор.

Шульц налил ему стакан и внушительно заметил, что в пользу детских приютов и думать нельзя отказываться.

И в пользу детских приютов было действительно допито все так, что людям после нас уж не над чем было баловаться.

Вино решительно на всех оказало свое, пока, впрочем, только хорошее влияние. Все сделались сердечнее и веселее.

Истомин, вставши из-за стола, отнесся с большими комплиментами к Верману.

— О, помилюйте! — сконфузился старый токарь, попрежнему стараясь усмирить свои торчащие волосы.

— Я вам говорю не любезность, а я вам говорю просто, что я не видал такой легкой и отчетливой работы; это просто художественная... прекрасная вещь, — настаивал Истомин.

— Ню, что это? Это, так будем мы смотреть, совсем как настоящая безделица. Что говорить о мне? Вот вы!

---

[1] О, я не могу, дорогой господин (*нем.*).
[2] О боже мой! (*нем.*).

вы артист, вы художник! вы можете — ви загт ман дизе?..[1] *творить!* А мы, мы люди... мы простой *ремесленник*. Мы совсем не одно... Я чувствую, как это, что есть очень, что очень прекрасно; я все это могу очень прекрасно понимать... но я шары на бильярды делать умею! Вот мое художество!

Истомин с неподдельным жаром взял Вермана за обе руки и, привлекая его к себе, сказал:

— Всякий, кто чувствует прекрасное, тот, либер гер Верман, художник и истинный художник.

Истомин поцеловал старика и так крепко поцеловал его и обнял, что обе крюковатые ножки Соважа приподнялись от пола, дрыгнули на воздухе и показали свои подошвы.

Маничка смотрела на все это и (может быть, мне это показалось) смотрела теперь именно тем самым взглядом, каким глядела из-за тмина и буквиц истоминская русалка.

Сильно подгулявшие разошлись по домам гости Норков, и разошлись с тем, чтобы вечером непременно сойтись здесь снова. Шульц хотел, чтобы мы все провели вечер у него.

— У меня свободней, очень дольше побаловать будет можно, — убеждал он тещу, говоря, что здесь у нее неловко беспокоить бабушку; но сама бабушка, которой ближе всех касалась эта отговорка, решительно восстала против перенесения Маниного праздника из материнского дома к зятю.

— Ну, так ко мне, господа, завтра зубы полоскать? — приглашал неотступный Шульц.

— Это можете, — сказала ему с тихой улыбкой близко стоявшая Ида.

— Могу-с?

— Можете, а сегодня это очень странно, что вам за фантазия пришла уводить к себе наших гостей!

— Ну да, да; у вас, Ида Ивановна, всегда все странно. У вас, — продолжал, выходя, Шульц, — все это... цирлих-манирлих... все это на тонкой деликатности; а у нас, знаете, все попросту, по-мужицки. Так? — спросил он, ударив по плечу довольно крепко Истомина. Тот сильно

---

[1] Как это говорится? *(нем.)*

вздрогнул и рассердился, не знаю, за то ли, что Шульц так пошутил с ним, или за то, что он сам вздрогнул.

Так окончился наш сытный завтрак, а в восемь часов вечера мы снова были у Норков.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Несмотря на то, что семейство Норк, как я уже один раз сказал, жило очень скромно и мне никогда не доводилось видеть у них почти никого сторонних, но в этот вечер оказалось, что знакомство у них все-таки гораздо обширнее, чем я предполагал. Кроме семейства пастора, который явился с женою и двумя взрослыми дочерьми, набралось еще штук до восьми молодых немецких дам и девиц. Мужчин, правда, было немного: всего три какие-то неизвестные мне солидные господина, молодой помощник пастора, учитель из Анненшуле, неизбежный на всяком земном пространстве поляк с черными висячими усами, которого Шульц весьма фамильярно называл почему-то «паном Кошутом», и сын булочника Шперлинга, свежий, веселый, белокурый немец, точно испеченный в собственной булочной на домашних душистых сливках и розовом масле. Вечер шел по-немецки. Солидные господа и пастор сели за карты, курили гамбургские сигары и потягивали некрепкие пунши, а остальное все немилосердно плясало. Плясал Шульц, плясала Ида Ивановна, плясала Софья Карловна, хотя и отказывавшаяся и, наконец, даже вовсе не отказавшаяся от гросфатера, который, при общих аплодисментах, протанцевала с зятем. Не танцевала решительно только одна бабушка, которая не могла оставить своего кресла, но и она сидела весь вечер и любовалась молодыми. На счастье ее, действительно было чем любоваться. Известное дело, что если не гнаться за легкостью построения рук и ног да не требовать от каждого лица особого выражения, то едва ли где-нибудь в Петербурге можно набрать столько свеженьких лиц, белых плеч и хороших бюстов, сколько увидишь их, находясь между добродетельнейшими васильевскими островитянками немецкого происхождения. Разгоревшись от кадрилей и вальсов, пышные гостьи Норков были точно розы: одна

другой краше, одна другой свежее, и все их сочные бюсты и все их добродетельные уста говорили в одно слово:

— Oh! Wir möchten *noch* ein bischen tanzen! (О, мы хотим *еще* танцевать!)

Но лучше всех, эффектней всех и всех соблазнительней на этом празднике все-таки была дочь хозяйки, Берта Ивановна Шульц, и за то ей чаще всех доставался и самый лучший кавалер, Роман Прокофьич Истомин. Как только Роман Прокофьич первый раз ангажировал Берту Ивановну на тур вальса и роскошная немка встала и положила свою белую, далеко открытую матовую руку на плечо славянского богатыря-молодца, в комнате даже все тихо ахнуло и зашептало:

— Ein hübsches Pärchen! (Красивая пара!) Nu da ist Mal ein Pärchen! Ein bessers Paar kann's nicht! (Вот так пара! Лучше этой пары уж быть не может!)

Один из солидных гостей, стоя на этот случай у дверей залы, забыл, где он и с кем он говорит, и, изогнувшись сладострастным сатиром, таинственно шептал на ухо Шульцу:

— Вот бы, я говорю, этой даме какого мужа-то надо.

— И я то же самое думаю, — отвечал спокойно Фридрих Фридрихович и с невозмутимой уверенностью в своем превосходстве продолжал любоваться могучим Истоминым, поворачивающим на своей руке вальяжную и, как лебедь, красивую Берту Ивановну.

Чуть только эта пара окончила второй круг и Истомин, остановившись у кресла Берты Ивановны, низко ей поклонился, все, словно по сигналу, захлопали им в ладоши и усерднее всех других хлопал сам пробиравшийся к жене Фридрих Фридрихович.

— О вы! — говорил он, улыбаясь и грозя пальцем стоявшему возле Берты Ивановны Истомину. — Нет, уж вы меня извините, я с вами мою жену на необитаемый остров ни за что не отпущу.

Берта Ивановна вспыхнула. Истомину тоже эта выходка не понравилась.

— Отчего же это? — отвечал он с недовольной гримасой Шульцу.

— Отчего? Ну, батюшка, не хитрите, мы вас не сегодня знаем! Нет, Бертинька, нет, мой друг, как ты хочешь, а я тебя с ним на необитаемый остров не отпущу.

— Фридрих! — произнесла, краснея и качая с упреком головкой, Берта Ивановна, которую все это конфузило, но в то же время, однако, было в свою очередь и довольно приятно.

— Ну, ну, ну, мамушка, пущу уж, пущу, — отвечал Фридрих Фридрихович, целуя женину руку и отходя затем под руку с тещей в сторонку для каких-то хозяйственных совещаний.

Всех незаметнее на этом танцевальном вечере были Ида Ивановна и Маня. Ида Ивановна танцевала много и с чисто немецким упоением, но все-таки она была совершенно незаметна, а Мани совсем даже было и не видно. Истомин, как вежливый кавалер, пригласил на одну кадриль и один вальс Иду Ивановну и потом ангажировал на следующий вальс Маню. Миниатюрная Маня рядом с Истоминым смотрела совсем ребенком. Крошечной, грациозной пташечкой она носилась возле сильной фигуры Истомина, совсем лежа на его руке и едва касаясь пола своими крохотными, вовсе не немецкими ножками. Бал Норков заходил уже за полночь; где-то за стеною начал раздаваться стук посуды и ложек, и солидные господа уже не раз посматривали на свои брегеты. Танцам приходил конец; нужно было ужинать и после ужина расходиться, а сочные плечи и добродетельно-пряные уста еще просили потанцевать.

— Oh! nur *noch* ein Mal! Nur noch ein einziges kleines Mal! (О! *еще* один разочек! Один маленький, крошечный разочек!) — говорили, складываясь сердечком, пряные губки.

Фридрих Фридрихович вступился за их спасенье; он дал солидным господам по настоящей гаванской сигаре, попросил тещу повременить с ужином; усадил Иду Ивановну за рояль и дал черноусому поляку поручение устроить какую-нибудь мазурку похитрее.

— Пан Кошут! бондзь-ну пан ласков, зробь нам мазуречку... этакую... — Шульц закусил губу и проговорил: — Этакую, чтоб кровь старая заговорила.

— Mogę, moj pane, mogę, [1] — отвечал, расшаркиваясь, пан Кошут и вдруг вошел в свою сферу.

---

[1] Могу, пане, могу *(польск.)*.

Он попросил немножко в сторону одну из дочерей пастора и, переговорив с нею, объявил оригинальную мазурку *par confidence.*[1] Условиями этой мазурки требовалось, чтобы дамы сели по одной стене, а мужчины стали по другой, напротив дам, и чтобы дамы выбирали себе кавалеров, доверяя имя своего избранного одной общей доверенной, которою и взялась быть младшая дочь пастора. Каждый мужчина должен был угадать, какая дама его выбрала, выйти и перед тою остановиться. Если же мужчина ошибался — при чем обыкновенно начинался веселый хохот, — то плохой отгадчик, при общем смехе, возвращался с носом на свое место и выходил следующий, и затем, когда эта пара кончала, дама, избравшая прежнего кавалера, отосланного за недогадливость за фронт, должна была сама встать, подать руку недогадливому избраннику и танцевать с ним. Разумеется, при таких условиях, особенно с незнакомыми почти дамами, мужчины беспрестанно ошибались, и при смене каждой пары в зале Норков начинался самый веселый хохот. Наконец дошла очередь и до Истомина. Он стал предпоследним, после него оставался только один дирижер мазурки, сам черноусый Кошут. Истомин заметил давно, что все, подходившие к Мане, отходили от нее ни с чем и что она сама никого не выбирала, и потому, как только до него дошла очередь, он прямо разошелся к Мане, остановился перед нею и поклонился.

Маня слегка покраснела и тихо сказала:

— Я вас не выбирала.

Все дружно засмеялись.

Истомин засмеялся так же искренно, как все те, кому он доставил это удовольствие, и, махнув рукою, спешным шагом удалился к мужской стене.

На его место, разглаживая усы, выступал поляк.

— На ура иду! — сказал он, сталкиваясь с Истоминым и, остановясь перед Манею, щелкнул каблуками и поклонился à la Кшесиньский.

Ко всеобщему удивлению, Маня встала и подала ему свою ручонку.

Ида Ивановна заиграла. Поляк вежливо остановил ее и вкрадчивым голосом сказал:

---

[1] По доверенности *(франц.)*.

— Нельзя ли старую мазурку Хлопицкого?

Ида Ивановна покопалась в куче лежавших на фортепиано нот, достала оттуда одну тетрадь, положила ее на пюпитр, и раздался Хлопицкий.

Поляк сжал ручку Мани, выпал левой ногою, топнул, и пошел, и пошел. Как перышко, привязанное к легкой воланной пробке, мелькала возле него Маня. Отчаянным мазуром летал он, тормоша и подбрасывая за руку свою легкую даму; становился перед нею, не теряя такта, на колени, вскакивал, снова несся, глядел ей с удалью в ее голубиные глазки, отрывался и, ловя на лету ее руки, увлекал ее снова и, наконец, опустившись на колено, перенес через свою голову ее руку, раболепно поцеловал концы ее пальцев и, не поворачиваясь к дамам спиною, задом отошел на свое место.

Зальца трещала от рукоплесканий, и переконфуженная Маня не знала, куда ей смотреть и куда ей деваться.

После такого танцора нелегко было пуститься в мазурку даже и в этом приятельском, фамильном кружке, и Истомин начал надеяться, что авось-либо его никто не выберет.

Но... в ряду дам шел тихий смех, шепот и подергивание.

— Aber *das muss;* nichts zu machen, *das muss, das muss,* [1] — повторяла стоявшая у женского фланга дочь пастора, и вот величественная Берта Ивановна, расправляя нарочно долго юбку своего платья, медленно отделилась от стула и стала застенчиво, но с королевской осанкой.

— Das muss! das muss! — настойчиво кричали ей сквозь веселый смех со всех сторон женщины.

Берта Ивановна засмеялась и, закусив нижнюю губку, тронулась королевской поступью к Истомину. Они подали друг другу руки и стали на место.

Ида Ивановна смотрела на них молча и серьезно: в это время Ида Ивановна смеялась. Нет, в самом деле, удивительная девушка была эта Ида Ивановна! При своей великой внешней скромности она страсть как любила пошалить, слегка подтрунить над кем-нибудь, на чей-нибудь счет незлобно позабавиться; и умела она сшалить так,

---

[1] Но *так должно;* ничего не поделаешь, *так надо, так надо (нем.).*

что это почти было незаметно; и умела она досыта насмеяться так, что не только мускулы ее лица, а даже самые глаза оставались совершенно спокойными. Надо было очень хорошо знать эти глаза, чтобы по легкому, едва заметному изменению их блеска догадаться, что Ида Ивановна хохочет во всю свою глубоко спрятанную душу.

В эту минуту ей хотелось посмеяться разом над madame[1] Шульц и над Истоминым, и она оставила их постоять на виду до тех пор, пока мешавшаяся Берта Ивановна раскраснелась до non plus ultra[2] и, наконец, крикнула:

— Да ты по крайней мере играй же, Ида!

— Играйте, Иденька! — проговорили на женской стороне.

— Spielen Sie doch, Ida,[3] — одновременно крикнули ей с некоторою строгостию зять и Софья Карловна.

— Я не знаю, какую они хотят мазурку?

Берта Ивановна назвала очень лянгзамную мазурку; Ида заиграла ее уж совсем *langsam.*[4]

Это собственно и было, впрочем, нужно. Держась редкого, медленного темпа музыки, Истомин без всякого мазурного ухарства начал словно репрезентовать под музыку свою прекрасную королеву, словно говорил: а нутека — каковы мы вот так? а нуте-ка посмотрите нас еще вот этак? да еще вот этак?

Никто им, этим красавцам, не хлопал; но все на них смотрели с удовольствием.

— Красивая пара! прелесть какая красивая! — опять шептали о них потихоньку.

Берта Ивановна с Истоминым должно быть это слышали, а если не слышали, так чувствовали. Берта Ивановна не гнула головы набок, как француженка, и не подлетала боком, как полька, а плыла себе хорошей лебедью и давала самый красивый изгиб своей лебяжьей шее. Ида тоже любовалась сестрою, и ей вздумалось еще подшутить над нею. Она быстро переменила аккорд и заиграла вальс. Истомин улыбнулся Иде Ивановне, проворно обнял та-

---

[1] Мадам *(франц.).*
[2] Дальше идти некуда *(лат.).*
[3] Играйте же, Ида *(нем.).*
[4] Медленно *(нем.).*

лию madame Шульц и начал по-прежнему вальсировать, грациозно поворачивая свою роскошную даму. Иде Ивановне было и этого мало: дав паре сделать два круга по зале, она неожиданно заиграла самую странную польку. Художник и сама madame Шульц засмеялись.

— Хорошо же! — сказал Истомин и, сложив свои руки на груди, стал полькировать с Бертой Ивановной по самой старинной моде. Развеселившаяся Берта не дала сконфузить своего кавалера: шаля, закинула она назад свои белые руки и пошла в такт отступать. Гости опять начали им аплодировать и смеяться.

— Ах вы, ненавистные красавцы! никак не собьешь их! — спокойно шепнула Мане Ида Ивановна и вдруг громкими аккордами взяла:

Уж как по мосту-мосту,
По калиновому...

— Вот что!.. Ну, так выручайте же, Берта Ивановна! — крикнул Истомин и пошел русскую, как и сам известный цыган Илья ее не хаживал.

Не посрамила и Берта Ивановна земли русской, на которой родилась и выросла, — вынула из кармана белый платок, взяла его в руку, повела плечом, грудью тронула, соболиной бровью мигнула и в тупик поставила всю публику своей разудалою пляскою. Поляк с своей залихватской мазуркой и его миньонная дамочка были в карман спрятаны этой парой.

Полы машутся, раздуваются... —

пел, хлопая ладошами, Фридрих Фридрихович, не зная, что бы ему еще можно сделать от радости. На выручку ему Истомин подхватил:

То-то лента, то-то лента,
То-то алая моя!
Ала, ала, ала-лà —
Мне сударушка дала.

С этим Истомин повернул Берту Ивановну за одну ручку около себя, низко ей поклонился по-русски и посадил ее на место.

— Сто-то-то-й! стойте! стойте! стойте! — кричал сквозь аплодисменты и крики *bravo*[1] Фридрих Фридрихович. — Нет! по-нашему, по-русски, так не расходятся!

Истомин нагнулся и поцеловал у Берты Ивановны руку.

— Н-нет-с! Нет-с! и это все не то, не то! Это опять позаморски, а у нас *кто с кем танцует, тот того и целует,* — говорил Шульц, сводя за руки Истомина с своею женою.

— Фридрих! Фридрих, ты с ума сошел! — шептала, красная как вишня, Берта Ивановна.

— *Кто с кем танцует, тот того и целует,* это раз сказано и навсегда крепко, — настаивал, ничему не внимая, неумолимый Шульц.

— С моей стороны препятствий нет, — отвечал Истомин.

— А жена, как дьякон читает, должна во всем повиноваться своему мужу, — зарешил Шульц.

— Ну, Фридрих! — сказала, улыбнувшись, Берта Ивановна и подвинула свою голову к художнику весьма спокойно, но тотчас же оторвала свои влажные уста от сухих пунцовых губ Истомина.

— О мой Фридрих, как я устала! — произнесла она торопливо, кидая на плечи мужа обе свои руки и поспешно целуя его в обе щеки, как бы желая этими законными поцелуями стереть с своих губ поцелуй Истомина.

— Это поцелуй позволительный, — говорил Шульц, объясняя свою оригинальную выходку несколько изумленным немцам.

— Позволительный или позволенный, вы хотите сказать? — спросил Истомин.

— И позволительный и позволенный, — отвечал Фридрих Фридрихович.

Художник молча отошел к окошку и надулся.

В зале стали накрывать на стол; дамы вышли поотдохнуть в спальню Софьи Карловны, а мужчины жались по углам.

— Что с вами такое вдруг сделалось? Какая муха вас укусила? — спросил я, взяв за руку Истомина, на лице которого я уже давно привык читать все его душевные движения.

---

[1] Браво *(итал.)*.

— Так... не по себе, — отвечал он нехотя.

— Пульс неровный и частый, — пошутил я, держа его за руку.

— Какой уж, однако, в самом деле, колбасник этот Шульц; терпеть я его не могу в некоторые минуты! — проговорил, нервно кусая ногти, Истомин.

Пунцовые губы его тихо вздрагивали под черными усами и говорили мне, что в беспокойной крови его еще горит влажный поцелуй Берты Ивановны. Если бы пастор Абель вздумал в это время что-нибудь заговорить на тему: «не пожелай жены искреннего твоего», то Роман Прокофьич, я думаю, едва ли был бы в состоянии увлечься этой проповедью.

У маленького столика, перед соленой закуской, поданной к водке за минуту до ужина, Шульц опять было начал шутить с Истоминым.

— Нет, батюшка мой, на дуэль! и слушать ничего не хочу; на дуэль! Помилуйте, совсем сбил бабу с толку: и по-русски плясать пошла и сама его выбирает себе. Нет-с, мы с тобой, родной мой, без дуэли не кончим!

— Кончите, — сухо ответил Истомин и отошел к большому столу.

Он упорно промолчал все время за ужином, ел очень мало и почти ничего не пил. От угощений Шульца он отделывался нетерпеливо и решительно:

— Не хочу и не буду пить.

— В пользу детских приютов! — упрашивал Шульц.

— Довольно повторяться; все это совершенно напрасно будете говорить, — отвечал он хлебосольному Шульцу.

Как все женские любимцы, Истомин был очень капризен, и чем более за ним ухаживали, чем более его умасливали, тем он обыкновенно становился хуже. Его нужно было не раздражать и не гладить по головке, а оставлять самому себе, пока он уходится в совершенном покое.

Практический Шульц или не знал этой струнки в Истомине, или поддерживавшееся понемножечку целый день слегка праздничное состояние головы Фридриха Фридриховича делало его несколько бестактным. Чем Истомин более ершился, тем внимательнее и любезнее становился к нему Фридрих Фридрихович. Знакомство с знаменитостями было у Фридриха Фридриховича действительно его

ахиллесовою пятою. Эта слабость заставляла его делать из Истомина известность столь крупную, какою он в самом деле не был, — льстить ему и поблажать его разнузданности, которую художник считал в себе страстностью. Теперь эта слабость Шульца разжигала в нем желание во что бы то ни стало показать своим, что этот замечательный художник Истомин ему, Фридриху Шульцу, приходится самый близкий друг и приятель. Если брать мерилом дружбы деньги, что, может статься, будет и не совсем неосновательно, то если бы Истомин попросил у Шульца взаймы на слово десять тысяч рублей, Шульц бы только обрадовался возможности услужить ими своему другу; если бы у него на этот случай не было в руках таких денег, то он достал бы их для друга со дна моря. А какой ему Роман Прокофьич был друг? Да никакой!

О господи, господи! сколько удивительных коньков есть у странствующего по лицу земли человечества! И чего ради все это бывает?! Чего ради вся эта суета, давка и напраснейшая трата добрых и хороших сил на ветер, на призрак, на мечтание! Сколько в самом деле есть разных этих генералов Джаксонов, и на сколько ладов каждый человек умудряется умереть за своего Джаксона!

Роман Прокофьич был не худой человек в иных случаях, даже добрый человек, способный иногда растрогаться чужим горем до слез, увлечься до некоторого самоотвержения, но *любить* он никого не мог, потому что *нечем* ему было любить. У него с рода-родясь не было никаких друзей, а были у него только кое-какие невзыскательные приятели, с которыми он, как, например, со мною, не был ничем особенно связан, так что могли мы с ним, я думаю, целый свой век прожить в ладу и в согласии вместе, а могли и завтра, без особого друг о друге сожаления, расстаться хоть и на вечные времена. Женщин же, которые его любили и которых он и сам в простоте сердца называл своими «любовницами», он обыкновенно ставил в положения тайных наложниц — положения, исключающие из себя все, что вносит в жизнь истинную поэзию и облагораживает ближайшие отношения женщины к человеку, перед которым она увольняет сдерживающую ее скромность.

Роман Прокофьич, впрочем, был человек необезличевший, и женщины любили его не за одну его наружность.

В нем еще цела была своя *натура* — натура, может быть, весьма неодобрительная; но все-таки это была *натура* из числа тех, которые при стереотипности всего окружающего могут производить впечатление и обыкновенно производят его на женщин пылких и всем сердцем ищущих *человека,* в котором мерцает хотя какая-нибудь малейшая божия искра, хотя бы и заваленная целою бездною всякого греховного мусора.

Вы можете считать его даже уродом, даже уродом, пожалуй в наш век и невозможным, но тем не менее он живой человек, и на Васильевском острове еще непременно есть зеркала, в которые он и до днешнего дни смотрится.

На Васильевском острове есть свои особенные, островские доживающие типы; это, так сказать, *василеостровские могикане.* В ряду этих могикан самые оригинальные и близкие к уничтожению — прихотники, люди, кажется, нигде, кроме Острова, невозможные; люди, усвоившие себе свои, весьма исключительные прихоти и возводящие эти прихоти во что-то законное и неотразимое. Здесь еще, да, здесь, не в далеком провинциальном захолустье, а в Петербурге, в двух шагах от университета и академий сидят, например, как улитки, уткнувшись в самый узкий конец своей раковины, некоторые оригинальные ученые, когда-то что-то претерпевшие и с тех пор упорно делающие в течение многих лет всему обществу самую непростительную гримасу. Они употребляют все зависящие от них средства быть не тем, чем они созданы, изолироваться и становиться «не от мира сего». Должно признаться, что некоторые из них достигают в этом искусстве до такого совершенства, что действительно утрачивают, наконец, всякую способность понимать свое время: один такой оригинал, выползая на минуту из своей раковины, положим, не находит для себя безопасным ни одного кресла в театре; другой стремглав бежит от извозчика, который по ошибке завернет с ним не в тот переулок, куда ему сказано; третий огулом смущается от взгляда каждого человека, и все они вместе готовы сжечь целый исторический труд свой, если на них искоса посмотрит кухарка, подавшая приготовленное для них жаркое. Ни прежняя жизненная деятельность, ни новые труды не дают основания сомневаться, что у этих людей головы способны работать

здраво, когда захотят, чтобы они работали. Выпяливать глаза и забиваться в угол для этих людей, очевидно, их прихоть: им, вероятно, и самим нелегко служить этой прихоти, но они непреклонны; девиз их русская пословица: «тешь мой обычай, пляши в головах». Отстать от этой прихоти — для них значит перестать быть самими собою: в ней крепость их слабости.

Еще более странных и еще менее достойных извинения прихотников встречается здесь среди людей, надышавшихся в юности воздухом василеостровской Академии художеств и восприявших на себя ее предания. Вечное детство и, к несчастию, весьма нехорошее, испорченное детство этих людей поистине изумительно. Германский студент, оканчивая курс в своем университете и отпировав с товарищами последнюю пирушку, перестает быть беспокойным буршем и входит в общество людей с уважением к их спокойствию, к их общественным законам и к их морали; он снимает свою корпоративную кокарду и с нею снимает с себя обязательство содержать и вносить в жизнь свою бурщескую, корпоративную нравственность. Бурш спешит сделаться гражданином страны своей и человеком *своего времени*, принося внутреннюю присягу совести перед кодексом нравственности более широким, чем кодекс, регламентирующий несложные отношения одинокого бурша. Таким образом, буйный бурш, как бы он ни провел время своего студенчества, не вносит из своей корпорации в общество никаких преданий, обязывающих его враждебно идти вразрез со всеми людьми земли своей. Не то представляет наш художник, и именно в это время уже решительно только один наш, русский художник, человек по преимуществу еще очень мало развитый или, чаще всего, вовсе неразвитый и кругом невежественный. С тех пор как Екатерина Вторая построила на островской набережной Большой Невы храм *свободным художествам*, заведение это выпустило самое ограниченное число замечательных талантов и довольно значительное число посредственности, дававшей некогда какие-то задатки, а потом бесследно заглохшей. Все эти таланты и посредственность, а вкупе с нею и вся художественная бездарность вынесли из воспитательной среды этого заведения художественные прихоти великих дарований: они любят поощрять в себе разнузданность страстей и страстишек,

воспитывают в себе характеры примитивные и бредят любовью к женщинам и любовью к природе, не понимая самых простых обязательств, вытекающих из любви к женщине, и не щадя природы человека в самых глубочайших недрах человеческого духа. Все поколения русской художественной семьи, начиная с тех, которые видели на президентском кресле своих советов императрицу Екатерину, до тех, при которых нынче обновляется не отвечающее современным условиям екатерининское здание, — все они отличались прихотничеством, все требовали от жизни чего-то такого, чего она не может давать в это время, и того, что им самим вовсе не нужно, что разбило бы и разрушило их мещанские организмы, неспособные снести осуществления единственно лишь из одной прихоти заявляемых художественных запросов. Кроме известного числа ловких людей, которые в известной поре своего возраста являют одинаковую степень сообразительности, не стесняясь тем, прошла ли их юность под отеческим кровом, в стенах пажеского корпуса, в залах училища правоведения или в натуральных классах академии, кроме этих *художников-практиков,* о которых говорить нечего, остальное все очень трудно расстается с отживающими традициями. На нашей уже памяти доживало поколение художников, проводивших бóльшую половину своей жизни в пьяном виде. Академическое предание убеждало этих людей, что трезвый, воздержный и самообладающий художник вовсе не художник; оно оправдывало эту порочную слабость, делало ее принадлежностью художника и насаждало около стен василеостровской академии целый класс людей, утверждавших за собою право не владеть собою, ибо страсти их велики без меры и головою выше всяких законов. Сила предания тиранствовала над этими нравами до тех пор, пока общественное чуждательство от сближения с людьми, пьянствующими ex professo,[1] вдруг показало тогдашним художникам, что они могут остаться за флагом, ибо на смену их является новое поколение, не манкирующее явно благопристойностью. Освободив себя от тирании этого предания, нынешний художник уже не пренебрегает многим, что может быть пришлифовано к нему, не нарушая его художественного настроения: он от-

[1] Со знанием дела *(лат.)*.

дал публичным канканерам свои небрежно повязанные галстуки, уступил «болванам петербургского нигилизма» длинную гривку и ходит нынче совсем человеком: даже немножко читает. Оцивилизовавшись внешним образом, василеостровский художник, однако, упорнейшим образом хранит в себе еще последнее завещание старых преданий: он боится давать взрасти внутри себя человеку самообладающему. Он и до нынешнего дня верит, что это самообладание может уничтожить в нем художника, и считает своею обязанностью приносить все в жертву прихотей, по преданию отличавших прежних людей его среды. Выражается это очень странно, в виде *страстности;* но это не страстность, заставляющая современного человека хоть на минуту перенестись в эпоху нибелунгов, олимпийских богов и вообще в эпохи великих образов и грандиозного проявления гигантских страстей: это в жизни прихоть, оправдываемая преданиями; в творчестве — служение чувственности и неуменье понять круглым счетом ровно никаких задач искусства, кроме задач сухо политических, мелких, или конфортативных, разрешаемых в угоду своей субъективности. Это просто неотразимое влияние кружка и особенностей воспитания, исключающих у нас возможность появления Рубенса, Тинторето, Тициана и Веласкеца, но зато производящих бездарнейших людей да учителей рисования или чиновников академии да художников Истоминых. Здание Академии художеств начинают исправлять и переделывать в год открытия другого здания, в котором общество русское, недавно судимое при закрытых дверях, само в лице избранных людей своих станет судьею *факта* по совести и по убеждению внутреннему. Вровень с карнизами этого здания приподнимется и станет во главе угла камень, который долго отвергали зиждущие: встанет *общественное мнение,* встанет *правда народа.* Опера-фарс «Орфей в аду», поставленная на русской петербургской сцене зимою, предшествовавшею открытию в столице здания суда, представляла *общественное мнение* одетым в ливрею, дающую ему вид часовой будки у генеральского подъезда; но близок час, когда дирекция театров должна будет сшить для актрисы Стрельской, изображающей *«общественное мнение»,* новую одежду. Рисунок этой одежды пускай внимательно обсудят

последние могикане екатерининского храма «свободным художествам», ибо в этой одежде общественное мнение выйдет из будки, наложит свою правдивую десницу на все дела, ныне снисходительно оправдываемые заблуждениями, и нелицеприятно скажет свое безапелляционное: *виновен*.

Каковы бы ни были свойства тех печальных случайностей, которые дали строителю академии Кокоринову мысль, совершив свою работу, удавиться в построенных им стенах, а великому в истории русского искусства Карлу Брюллову другую, несколько банальную мысль снять на границе России белье, платье и обувь и нагишом перейти в Европу, где его иностранные друзья приготовили ему новое, не бывавшее в России платье, — тут, в обеих этих выходках — строителя академии и знаменитейшего из ее профессоров, есть что-то, отчего можно задуматься. Ученики Брюллова должны бы, кажется, припомнить этот аллегорический призыв к обновлению и сбросить свои демонические плащи, время которых, увы! невозвратно минуло. В наше время неудобно забывать, что как выпяленные из орбит глаза некоторых ученых, смущающихся взглядами подающей им жаркое кухарки, обусловливают успех людей менее честных и менее ученых, но более живых и чутких к общественному пульсу, так и не в меру выпяливаемые художественные прихоти и страсти художников обусловливают успех непримиримых врагов искусства: людей, не уважающих ничего, кроме положения и прибытка, и теоретиков, поставивших себе миссиею игнорированье произведений искусства и опошление самих натур, чувствующих неотразимость художественного призвания.

Время громко говорит художникам: берите из своих преданий все, что не мешает вам быть гражданами, полными чувств гражданской доблести, но сожгите все остальное вместе с старыми манкенами, деланными в дни младенчества анатомии и механики, и искреннее подайте руку современной жизни.

Как ни старо аллегорическое сравнение жизни с морем, но не мешает иногда вспомнить и старое. Море выбрасывает все, что не умеет держаться на его волнах, борясь с дыханием бурь и с грозой непогоды, но оно вы-

брасывает и то, что падает на дно его бездн, будучи чуждо этим глубоким безднам.

Возвращаемся, впрочем, к нашим пирующим немцам и к их своенравному гостю.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Чем упрямее дулся Роман Прокофьич, тем усердней волочился за ним Фридрих Фридрихович. Не находя места прямому ухаживанию, он начинал это издали, самыми окольными путями. Маневры Шульца в этом случае были презанимательны, и хотя это довольно часто напоминало «намеки тонкие на то, чего не ведает никто», но Истомин понимал их, и все это, что называется, его все более накручивало и заводило. А Фридрих Фридрихович все-таки продолжал усердствовать. Он даже до того увлекся своей внимательностью, что в присутствии всех солидных немцев и самого пастора Абеля начал окончательно объявлять себя человеком русским и отдавать тонкое предпочтение всему русскому. Никогда не изобличая особенного знакомства с русской историей и геральдикой, Шульц вдруг заговорил о Строгановых, о госте Петре Строганове и немце Даниле Эйлофе, восставших за Шуйского против царика Тушинского. Тут в этих речах было все: и желание бортоваться борт о борт с фамилией Строгановых, и похвала Эйлофу, «немцу греческой веры», и похвала самой вере греческой, и готовность Шульца во всем сделаться вторым Эйлофом.

От старых дней Шульц перешел и к настоящему времени.

— Что ж, — говорил он с мягчайшею скромностью. — У нас, в России, теперь, особенно при нынешнем государе, житье людям самое лучшее, как в чужих краях.

От вопросов столь крупной, так сказать, государственной важности дело точно в том же направлении доходило и до частностей: Шульц начал хвалить нашу общественную жизнь, наш Петербург с его каналами, мостами и дворцами.

Кто-то похвалил Берлин.

— Помилуйте! — вступился Шульц. — Ну что там за

Берлин! воробью летом напиться негде; а ведь у нас, ведь это я, ей-богу, не знаю — ведь это Венеция!

— Да и лед в мае плавает, — подсказал Истомин.

Шульц рассмеялся и ударил Истомина товарищески по плечу.

В это время кто-то заговорил о театрах; какие театры в Берлине и в Вене; вспомнили о Янаушек и о Газе.

— Что ж Газе! Ну, что ж такое Газе! — восклицал с кислою миною Фридрих Фридрихович поклонникам немецкого Гаррика. — Видел-с я и Газе и Дависона, а уж я не говорю об этом черте, об Ольридже... но... но, я спрашиваю вас... ну что же это такое? Конечно, там в Отелло он хорош, ну ни слова — хорош; но ведь это... ведь это все-таки не то же, например, что наш Василий Васильевич, который везде и во всем артист.

На лицах немцев выразилось общее недоумение и даже перепуг.

Один недоумевающий немец, остолбеневший с куском говядины во рту, торопливо пропустил глоток вина и спросил:

— Это какой Василь Васичь?

— Да Самойлов-с.

— А-га, Самойлов! — произносил недоумевающий немец, точно проглатывал в несколько приемов большую маринованную устрицу.

— Да-с, да, Самойлов! Что может сравниться, я говорю, когда он произносит это, знаете: «О, защитите нас, святые силы неба!» О, я вам скажу, это не шутка-с!

— Очень хорошо, — соглашался недоумевающий немец, проглатывая вторую устрицу.

— Ну, зато уж опера русская! — заводила, покачивая головою, булочница Шперлинг.

— Да, опера того... нехороша была, не теперь-с, а *была!* — отвечал с соболезнованием Фридрих Фридрихович, — но певцы хорошие все-таки всегда были. Итальянцы там, конечно, итальянцами; но да-с, а я ведь за всех этих итальянцев не отдам вам нашего русского Осипа Афанасьевича. Да-ас! не отдам! Осипа Афанасьевича не отдам!

— Кто это Осип Афанасьевич? — осведомлялся опять недоумевающий немец.

— Осип Афанасьевич! А вы такой башибузук, что не знаете, кто такой Осип Афанасьевич! Откуда вы приехали?

— Что ж такое... я ведь, кажется... ничего... — бормотал, испугавшись, немец.

— Ничего! Нет, я вас спрашиваю: откуда вы к нам в Петербург приехали?

Немец встревожился и даже перестал жевать. Меняясь в лице, он произнес:

— Да, да, да; конешно, конешно... ich weiss schon...[1] это высочайше...

— Перестаньте, пожалуйста, бог знает что говорить, это высочайший бас! понимаете вы: это Петров, бас! Осип Афанасьевич — наш Петров! — разъяснил ему более снисходительно Фридрих Фридрихович. — Певец Петров, понимаете: певец, *певец!*

— Петттроф, певец, — улыбался, блаженно успокоившись, немец.

— Да-с; это бархат, это бархат! Знаете, как у него это!

Друзья! там-там-там-там-та-ра-ри,
Друзья! том-том-та-ра-ра-ра,
Трам-там-там-там-там-та-ра-ри,
Тром-том-том-та-ра-ра-ра!

Фридрих Фридрихович напел кусочек из известной в репертуаре Петрова партии Бертрама — и взглянул исподлобья на Истомина: тот все супился и молчал. С каждым лестным отзывом Фридриха Фридриховича, с каждой его похвалой русской талантливости лицо художника подергивалось и становилось нетерпеливее. Но этой войны Истомина с Шульцем не замечал никто, кроме Иды Ивановны, глаза которой немножко смеялись, глядя на зятя, да еще кроме Мани, все лицо которой выражало тихую досаду.

Гости поотошли в сторону от своих обыкновенных тем и говорили о музыке или собственно бог знает о чем говорили.

Собственная особа Фридриха Фридриховича все больше увлекалась артистическим патриотизмом: он сорвался с петель и уж немножко хлестаковствовал:

[1] Я уже знаю *(нем.)*.

— Самойлов... — говорил он. — Я с ним тоже знаком, но это... так вам сказать, он не простец: он этакий волк с клычком; Ришелье этакой; ну а Петров, — продолжал Шульц, придавая особенную теплоту и мягкость своему голосу, — это наш брат простопо̀р; это *душа!* Я, бывало, говорю ему в Коломягах летом: «Ну что, брат Осип Афанасьич?» — «Так, говорит, все, брат Шульц, помаленьку». — «Спой», прошу, — ну, другой раз споет, а другой раз говорит: «Сам себе спой». Простопо̀р!

Слушая Фридриха Фридриховича, гости, ожидавшие ужина, так и решились держаться артистических вопросов.

Кто-то начал рассказывать, что Леонова «тоже воспевает», а кто-то другой заметил, что надо говорить не «воспевает», а «поят»; еще кто-то вмешался, что даже и не «поят», а «спаивают», и, наконец, уж вышло, что никто ничего не мог разобрать. Опять потребовалось посредство Фридриха Фридриховича, который долго разъяснял разницу понятий, выражаемых словами: «пить», «петь», «паять», «воспевать» и «спаивать». Выходило черт знает что такое несуразное, что Леонова то поет, то пояет, то воспевает, то спаивает. Ухищряясь выговаривать искомое слово как можно правильнее, кто-то один раз сказал даже «потеет»; но Фридрих Фридрихович тотчас же остановил этого филолога, заметя ему:

— Ну, уж сделайте вашу милость — все, что вам угодно, только не потеет. Этого даже, пожалуйста, и не говорите никогда; никогда этого нигде не говорите, потому что это не говорится-с, да, не говорится-с.

После ужина гости скоро стали прощаться. Семейство пастора и все солидные господа и их дамы разошлись первые. Фридрих Фридрихович удержал в зале только меня, Истомина, поляка, испеченного в собственной булочной розового Шперлинга и одного солидного господина.

— Ведь это напрасно, — говорил ему Истомин, — я ничего не стану пить.

— Ну-с, это мы будем видеть, как вы не выпьете! — отвечал Шульц.

Истомин поставил на стол свою шляпу, взял с окна принесенный Манею том Пушкина, придвинулся к столу и начал смотреть в книгу.

Через залу прошла в магазин (из которого был прямой выход на улицу) Берта Ивановна. Она не хотела ни торопить мужа домой, ни дожидать его и уходила, со всеми раскланиваясь и всем подавая руки. Ее провожали до дверей Ида Ивановна и Маня. Я встал и тоже вышел за ними.

— Устала ужасно я, — жаловалась Берта Ивановна, когда я застегивал на ней шубу.

— Очень уж вы, — говорю ей, — расплясались.

— Ах, я ведь люблю поплясать!

— И ваш Истомин-то... Ну, я не думала, что он такой кузнечик, — проговорила Ида Ивановна.

— Совсем странно, — тихо сказала Маня.

— Он совсем испугал меня... Ну, Фридрих! ну, погоди, я тебе это припомню! — закончила Берта Ивановна, относясь к зале, из которой слышался голос мужа.

Я проводил Берту Ивановну до дому и тем же путем возвратился. Когда я пришел назад, в магазине была совершенная темнота, а в зале компания допивала вино и Фридрих Фридрихович вел с солидным господином беседу о национальных добродетелях.

— О, не думайте! — говорил он солидному господину. — Наш немецкий народ — это правда, есть очень высокообразованный народ; но наш русский народ — тоже очень умный народ. — Шульц поднял кулак и произнес: — Шустрый народ, понимаете, что называется шустрый? Здравый смысл, здравый смысл, вот чем мы богаты!

— Ну да; ну позвольте: теперь будем говорить Петербург. — Немец оглянулся по сторонам и, видя, что последняя из дам, Ида Ивановна, ушла во внутренние апартаменты, добавил: — Женитьбом пренебрегают, а каждый, как это говорится, имеет своя сбока прибòка. Чем это кончится? Это как совсем Париж.

— «Сбоку припека» говорится, — поправил Фридрих Фридрихович и продолжал в другом тоне: — Ну, только тут надо соображать, какие тут есть обстоятельства. Это нельзя не соображать.

— Это совсем не отвисит от обстоятельствов, — отвечал, махнув рукою, немец.

— То есть, положим, по-русски говорится *не зависит*, а не «не отвисит», ну, уж пусть будет по-вашему: от чего же это, по-вашему, отвисит?

— От свой карахтер.

— Гм!.. Нет-с, этак рассуждать нельзя.

— Это верно так, что от карахтер. Вот будем говорить, чиновник — у него маленькие обстоятельства, а он женится; немецкий всякий женится; полковой офицер женится, а прочий такой и с хороший обстоятельство, а не женится. Наш немецкий художник женится, а русский художник не женится.

— Это камушек в ваш огород, — сказал Шульц, трогая Истомина за руку.

Истомин молча приподнял голову, спросил: «что?» — и хлебнул из непочатого стакана.

— Художник-с, — начал Фридрих Фридрихович, не отвечая Истомину и касаясь теперь руки солидного гостя, — совсем особое дело. Художник, поэт, литератор, музыкант — это совсем не фамилийные люди. Это совсем, совсем не фамилийные люди! Им нужно... это... впечатление, а не то, что нам с вами. У нас с вами, батюшка мой, что жена-то? копилка, копилка. Ну, а их одна вдохновляет так, другая — иначе, их дело такое, а не то что по-нашему: сидеть да женины ноги греть. Это совсем не то, что мы с вами: им жен не нужно.

— То есть нам жен нет, может быть вы хотите сказать, — вмешался тихо Истомин. — Нам нет жен; еще не выросли они на нашу долю, любезный Фридрих Фридрихович.

— Чужие на вашу долю выросли, ха-ха-ха! — Шульц так и раскатился.

— Чужие! то-то вот вы заливаетесь, а вместо того лучше путем-то скажите-ка, где эти женщины для нас, пролетариев? Не вы ли вашу Кларочку так воспитываете?

— И очень, батюшка, Роман Прокофьич, и очень, государь мой, и очень.

— Ну, как же!

— Да-с, да; а вы вот скажите, бывали ли... есть ли, наконец, у художников идеалы-то простые? Можете ли вы себе представить, какую бы вы себе хотели жену?

— Могу-с и представляю.

— Кто это, например?

— Анна Денман.

— Что сие такое за Денман?

— Денман?.. Денман... это *сие,* которое ни за какие коврижки не покупается, Фридрих Фридрихович. Денман — это англичанка, жена скульптора, Джона Флаксмана. А хотите знать, что она сделала? И это расскажу вам. Когда Флаксман женился на ней, ему сказал приятель: «Вы, Флаксман, теперь погибли для искусства». — «Анна, я теперь погиб для искусства?» — говорил, придя домой, Флаксман. «Что случилось с тобою? Кто это сделал?» — встревожилась Денман. «Это случилось в церкви, — отвечал Флаксман, — и сделала это Анна Денман», и все ей рассказал. «Анна Денман не погубит таланта», — отвечала жена и повезла Флаксмана в Рим, во Флоренцию; она одушевляла его; терпела с ним всякую нужду; она сама сделалась художником и вдохновила мужа создать великую статую великого Данте — Данте, которого тоже вела женщина, его бессмертная Беатриче. Понимаете, благодетель мой Фридрих Фридрихович! что для художника возможна подруга, очень возможна; да понимаете ли, какая подруга для него возможна?.. Пусть ваша Клара будет Анною Денман.

— О! очень пусть; очень.

— Ну, вот тогда и еще кто-нибудь, кроме Флаксмана, скажет во всеуслышание, что «жена не помеха искусству». Только ведь, батюшка Фридрих Фридрихович, кто хочет взростить такое чистое дитя, тот не спрашивает дочку: «Клаpенька, какой тебе, душечка, дом купить?», а учит ее щенка слепого жалеть, мышку, цыпленка; любить не палаты каменные, а лужицу, что после дождя становится.

— А что ж, я был бы очень рад.

— Э, полноте-ка, пожалуйста! Ну на что вам все это в вашей дочери? Что мы в самом деле такое, все-то какие есть искусники? Ведь уж как вы там хотите, а ваша лисья шуба вам милей Шекспира?.. что? Ей-богу, правда! Не думаете ли вы взаправду, что мы какая-то соль земли? напротив, вы и сами того убеждения, что мы так, что-то этакое, назначенное для вашего развлечения, какие-то этакие брелоки, что ли, к вашей цепочке. Ведь так? Вот этакой меховщик Кун, что ли, который вам шубы шьет, какой-нибудь Никита Селиванович, который своим братом-скотом торгует; банкиры, спекулянты пенькового буяна, да что-нибудь еще в этом роде — вот это люди!

Они действительно дела делают, которые все сейчас можно привесть в копейки, — они, значит, и нужны, а мы... да в самом деле, пусть черт сам разберет, на что мы? — Ни богу свечка, ни черту ожег.

— Черта не поминай! черта, братец, не поминай! от этого, мужик говорил, худо бывает. Лучше богу помолись, так он тебе и жену даст, — умилительно фамильярничал Фридрих Фридрихович.

— Да; вы небось молитесь!

— А то как бы вы думали?

— Ну, вам и книги в руки. — За это же бог и дал вам Берту Ивановну...

— Копилку свою.

— Да, копилку, и очень красивая копилка; и у вас всегда все пуговицы к рубашкам пришиты, и вы можете спать всегда у белого плечика. — Чудесно!! И всему этому так и быть следует, голубчик. У Берты Ивановны Шульц есть дом — полная чаша; у Берты Ивановны Шульц — сундуки и комоды ломятся от уборов и нарядов; у Берты Ивановны Шульц — муж, нежнейший Фридрих, который много что скажет: «Эй, Берта Ивановна, смотрите, как бы мы с вами не поссорились!» Берта Ивановна вся куплена.

Шульц самодовольно улыбнулся.

— Что, угадал ведь я? — продолжал Истомин. — А в будущем у нее и состояние, и почет, и детская любовь, и общее уважение, — так чего же ей бояться или печалиться, и как ей не целовать вас сладко! Не так ли-с?

Шульц с улыбкой качнул головой и проговорил:

— Ну, рассуждайте, рассуждайте!

— Да-с, так-с это, именно так-с, — продолжал Истомин. — И все это так именно потому, что сынове мира сего мудрейши сынов света суть, *в своем роде*. Праздник на вашей улице. Женщины, не наши одни русские женщины, а все почти женщины, в целом мире, везде они одной с вами религии — одному с вами золотому богу кланяются. Всегда они нас продадут за вас, будьте в этом благонадежны.

— А с вами нас обманут?

— Ну, ведь сердце, батюшка Фридрих Фридрихович, не щепка, а праздность, как вам должно быть из прописи известно, есть мать всех заблуждений и пороков. Да и то

ведь, что ж *обманет*... какой там обман?.. пошалит, то есть, безделицу — только и всего. Не убудет же ее оттого, что кто-нибудь ее отметит своим минутным вниманием.

— Ха-ха-ха — отметит! это пустяки называется!

— Да, пожалуй что и в самом деле пустяки.

— Ну, покорно вас благодарю.

— Не за что еще пока, — отвечал небрежно Истомин и непосредственно начал: — Знаете, Фридрих Фридрихович, в человеческой породе бабы-то, воля ваша, должно быть смысленнее самцов.

— Право!

— Право-с. — Вы вон-с изволите говорить, «что нам все нужно *разнообразие»*. Правда? Ведь вы именно это думали: *разнообразие,* и даже разнообразие именно, в самом узком значении?

— Н-ну... — начал было Шульц.

— Нет, позвольте! — перебил его Истомин. — Я очень устал, и мне говорить не хочется; но уж не знаю, зачем-то, однако, я нахожу нужным заплатить вам за откровенность откровенностью. Вы и вот все такие хорошие люди, как вы (само собою, в искренность этих слов вы верите), — так все такие-то вот люди наши злейшие враги и предатели. Да-с, предатели. Привечая и лаская нас, первые вы стараетесь гадить нам всеми возможными средствами и преимущественно гадить у женщин. Вы им представляете нас чудаками, химеристами, потому только, что мы на вас не похожи, и потому, что вам выгодно делать нас шутами. «Точно, мол, душечка, он интересен — приятно быть с ним вместе; но а представь-ка ты, что бы с тобой было, если бы ты была его, а не моя?» Это все очень умно с вашей стороны, только очень толсто, нехитро. Женщины вообще ведь по натуре и не очень доверчивы, и не очень робки, и совсем не так целомудренны, как практичны. Запугать вы их нами не запугаете, а любопытство их раздразнить — раздразните, — вот вам и рога за ваши старания.

— Чужеядны вы, господа.

— Да, птицы небесные! не жнем, не сеем, а живы; но дело-то все не в том! А зачем вы, под видом дружбы и доброжелательства, мараете нашу репутацию? зачем вы нас унижаете, возвышая как будто нас над целою

толпою? Почем вы знаете, что мы не любим, да и любить не можем? А может быть, нам *некого* скорей любить? Натурщиц полногрудых, что ли? или купчих шестипудовых? или кисейных барышень? чиновниц, и день и ночь мечтающих о шляпках? иль этих Мессалин сластолюбивых? Кого ж? кого, по-вашему, я должен полюбить? Молчите? Слава богу! А вы теперь скажите, или намекните, или так хоть в ту сторону кивните пальцем, где, по вашим соображениям, находится *женщина,* не ваша женщина, а *наша,* которой мила жизнь наша, а не ваша: женщина, которая мне обещала бы поддержку на борьбу со всякою бедою, которая бы принесла хоть каплю масла для той искры, которая меня одушевляет! Ваши женщины! Бог с ними совсем! Прийти тайком, соорудить рога оленьи мужу — они готовы; но чтоб с нами наше горе черпать, нужде в глаза смеяться, любить мой труд, мою работу... Нет! Она скорей убьет все искорки таланта, а не раздует, не освежит его и не согреет. «Вот, скажет, Фридрих Фридрихович — вот муж примерный! Жена его спит на лебяжьем пуху; купается в розовом масле, а ты...», да и пойдет меня... мою свободу, мою свободу; будет мне в моих глазах же гадить! Станет упрекать меня за то, что я пренебрегаю так какой-то вовсе мне не нужной чепухою; станет равнять меня с купцом или с казнокрадом!.. Да нет, оставьте, господа, вы говорить о нас, попорченных и сумасбродных людях! Кого вы называете любовницами нашими?.. Да разве в самом деле есть, что ли, женщины, способные любить? Не верьте, не верьте, батюшка Фридрих Фридрихович! Никто нас не любит. Просто соскучатся с благоразумными мужьями, да пошалят; а где там им, грешным, любить!

Истомин нетерпеливо качнул головою и произнес:

— Баловницы они, а не любовницы, — и опять раскрыл том Пушкина.

— Ну да, — заговорил Фридрих Фридрихович, — женщины... того... Они, конечно... мало еще всему этому сочувствуют; но ведь если все станут сочувствовать, то...

— Что такое *все?* что *все?* — нервно перебил его Истомин.

Шульц снова просыпал кое-как свою фразу.

— Все! все! — тихо и снисходительно повторил художник. — Да вы хоть вот это б прочитали, — продолжал он,

глядя в раскрытую страницу на «Моцарте и Сальери», — что если б все так чувствовали, тогда б не мог

И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни,
Все б предались свободному искусству!
Нас мало, избранных счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.
Не правда ль? Но я нынче нездоров:
Мне что-то тяжело; пойду засну.
Прощайте.

— *И прощайте,* и это тут написано? — спросил Шульц.

— Вот, представьте себе, и это здесь написано, — отвечал Истомин, пожимая всем руки и торопливо выходя из залы.

Только что мы с ним переступили в темный магазин, как Истомин нервно вздрогнул, схватил меня за плечо и, тихо вскрикнув: «Кто это?» — вдруг остановился. От серого пятна, которым обозначалось окно, медленно отделилась и, сделав несколько шагов, стала миниатюрная фигура.

— Марья Ивановна! это вы? — спросил Истомин.

Фигура ничего не ответила, но тронулась тихо вдоль стены к двери, как китайская тень. Это была Маша. Истомин взял ее за руку и крепко поцеловал в ладонь.

Когда я пожал руку Мани, рука эта была холодна как лед, и в тихом «прощайте», которое выронила мне Маня, было что-то болезненное, как далекий крик подстреленной птицы.

Долго я проворочался, придя домой, на моей постели и не мог уснуть до света. Все смущал меня этот холод и трепет, этот слабый звук этого слабого *прощайте* и тысячу раз хотелось мне встать и спросить Истомина, зачем он, прощаясь, поцеловал Манину руку, и поцеловал ее как-то странно — в ладонь. Утром я опять думал об этом, и все мне было что-то такое очень невесело.

Часу в двенадцатом на другой день зашел ко мне Фридрих Фридрихович.

— Долго, — спрашиваю, — вы еще посидели после нас?

— А нет, — говорит. — Вдруг, как этот наш раздраженный маэстро ушел, мы все раззевались и пошли.

Опять мне это не понравилось. Значит, с выходом Истомина, на его словах оборвалась и речь человеческая. Хорошо, говорят, тому, за кем остается последнее слово в беседе!

А Фридрих Фридрихович, черт его знает, со вчерашнего похмелья что ли, вдруг начинает мне шутя сообщать, что Берта Ивановна дома его порядочно выпудрила за то, что он заставлял ее целоваться с Истоминым. «Говорит, просто, говорит, как удав, так и впивается. Если б, говорит, ты не стоял возле меня, так я бы, кажется, не знала, что с собой делать?»

— А вечером же, глядите, не забудьте, приходите на полоскание зуб.

Что-то ужасно мне не хотелось, но, однако, обещал, что приду.

— И удава тащите.

Я обещал и это; но удав не пошел.

— Черт с ним совсем, — сказал он, когда я передал ему Шульцево приглашение и рассказывал, как тот усердно его просит.

Истомин наотрез отказался и, усевшись за пианино, начал что-то без толку напевать и наигрывать.

Я ушел *один*.

Полоскание зуб совсем не задалось: сам Шульц встал после сна невеселый, мне тоже не хотелось ни пить, ни говорить; Берте Ивановне, очевидно, хотелось спать, а Ида с Маней пришли на минутку и скоро стали снова прощаться. Я встал и пошел вслед за ними. Шульц и не удерживал; он сам светил нам, пока мы надевали свои шубы, зевал и, закрывая рукою рот, говорил:

— А тому удаву скажите, что это не по-приятельски. Я ему за это, как придет, стакан рейнвейну за шиворот вылью.

— Кто это «удав»? — спросила, идучи дорогою, тихо Ида.

Я говорю:

— Истомин.

— Уж и правда.

— Что это?

— Удав.

— Он вам не нравится?

— Не нравится.

Ида сделала гримасу.

— А за что, смею спросить?

— Он духов вызывает.

— Как это, — говорю, — духов?

— А так... привидений. Те лучше, которые вокруг себя живых людей терпят.

Ну, думаю себе, удав, удав! И сел этот удав в моем воображении около Мани, и пошел он обвиваться около нее крепкими кольцами, пошел смотреть ей в очи и сосать ее беленькую ладонь.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Пробежал еще месяц. Живем мы опять спокойно, зима идет своим порядком, по серому небу летают белые, снеговые мухи; по вонючей и холодной петербургской грязи ползают извозчичьи клячи, одним словом все течет, как ему господь повелел. В Романе Прокофьиче я не замечаю никакой перемены; а между тем в нем была некоторая перемена, только не очень явно давала она себя почувствовать. Художественно ленивый и нервный Истомин стал еще нервнее, беспечней и ленивей. Месяца три спустя после Маниного праздника я как-то вдруг заметил, что Истомин уже совсем ничего не работает и за кисть даже не берется. Картина стояла обороченная к стене, и на подрамке ее лежал густой слой серой пыли. Увеличилась несколько обычная лень и ничего более, думал я и опять совсем забывал даже, что Истомин ничего не работает и валяется. Но мало-помалу, наконец, внимание мое стало останавливаться на других, более странных явлениях в характере и привычках Истомина. Роман Прокофьич прежде всего стал иначе относиться к неоставлявшим его дамам сильных страстей и густых вуалей. Перешвыривая ими с необыкновенною легкостью и равнодушием, он прежде всегда делал это очень спокойно, без всяких тревог и раздражений, а с некоторого времени стал вдруг жаловаться, что они ему надоедают, что ему нет покоя, и даже несколько раз выражал

намерение просто-запросто повышвыривать их всех на улицу. Наконец в одно серое утро, валяясь в своем черном бархатном пиджаке по богатому персидскому ковру, которым у него была покрыта низенькая турецкая оттоманка, он позвал при мне своего человека и сказал ему:

— Янко! Сделай ты милость, вступись в мое спасенье.

Янко остановился и глядел на него в недоумении.

— Будь благодетель, освободи ты меня от всяких барынь.

— Слушаю-с, Роман Прокофьич, — отвечал Янко.

— Какие ж ты для этого полагаешь предпринять меры?

— А пущать их к вам, Роман Прокофьич, не буду.

— Это — довольно тонко и находчиво; я это одобряю, Янко, — отвечал спокойно Истомин и заговорил со мною о скуке, о тоске, о том, что ему главным образом Петербург опостылел и что с весною непременно надо уехать куда-нибудь подальше.

В это время Истомин очень много читал и даже собирался что-то писать против гоголевских мнений об искусстве; но писания этого, впрочем, никогда не происходило. Он очень много читал этой порою, но и читал необыкновенно странно. Иногда он в эту полосу своего упорного домоседства молча входил ко мне в своем бархатном пиджаке и ярких канаусовых шароварах, молча брал с полки какую-нибудь книгу и молча же уходил с нею к себе.

Я заставал его часто, что он крепко спал на своей оттоманке, а книга валялась около него на полу, и потом он вскоре приносил ее и ставил на место. В другой раз он нападал на какую-нибудь небольшую книжонку и читал ее удивительно долго и внимательно, точно как будто или не понимал ее, или старался выучить наизусть. Долее всего он возился над Гейне, часто по целым часам останавливаясь над какою-нибудь одной песенкой этого поэта.

— «Трубят голубые гусары», — сказал я однажды, заходя к нему и заставая его лежащим с маленьким томиком Гейне.

— Что? — спросил он, наморща брови.

Я опять повторил строфу легкого стихотворения, которое некогда очень любил и очень хвалил Истомин.

— Кой черт *гусары!* — отвечал Роман Прокофьич. — Я все читаю об этой «невыплаканной слезинке». Эх, господи, как люди писать-то умеют! что это за прелесть, эта крошка Вероника! её и нет, а между тем ее чувствуешь, — проговорил он лениво, приподнимаясь с оттоманки и закуривая сигару.

— «Она была достойна любви, и он любил ее; но он не был достоин любви, и она его не любила» — это старая история, которая будет всегда нова, — произнес он серьезно и с закуренной сигарой снова повалился на ковер, закрыл ноги клетчатым пушистым пледом и стал читать далее.

Через заклеенную дверь я слышал раз, как он громко декламировал вслух:

С толпой безумною не стану
Я пляску дикую плясать
И золоченому болвану,
Поддавшись гнусному обману,
Не стану ладан воскурять.
Я не поверю рукожатьям
Мне яму роющих друзей;
Я не отдам себя объятьям
Надменных наглостью своей
Прелестниц...
Нет, лучше пасть, как дуб в ненастье,
Чем камышом остаться жить,
Чтобы потом считать за счастье —
Для франта тросточкой служить.

Я слышал также, как после этой последней строфы книга ударилась об стену и полетела на пол.

Через минуту Истомин вошел ко мне.

— А что вы думаете, — спросил он меня снова, — что вы думаете об этой «невыплаканной слезинке»?

— А ведь вы больны, Роман Прокофьич, — сказал я ему вместо ответа.

— Должно быть, в самом деле болен, — произнес Истомин.

Он приподнялся, посмотрел на себя в зеркало и, не говоря ни слова, вышел.

Ладить с Романом Прокофьичем не было никакого средства. Его избалованная натура кипела и волновалась беспрестанно. Он решительно не принимал никого и высказывался только самыми странными выходками.

— Знаете, — говорил он мне однажды, — как бы это было хорошо пристрелить какую-нибудь каналью?

— Чем же это, — спрашиваю, — так очень хорошо бы было?

— Воздух бы немножко расчистился, а то сперлось уж очень.

Роман Прокофьич поставил на край этажерки карту, выстрелил в нее из револьвера и попал.

— Хорошо? — спросил он, показывая мне туза, пробитого в самое очко, и вслед за этим кликнул Янка.

— Милый Яни! Подержи-ка, — сказал он, подавая слуге карту.

Янко спокойно поставил на своей стриженой голове карту и деликатно придерживал ее за нижние углышки обеими руками.

Истомин отошел, приподнял пистолет и выстрелил: новая карта опять была пробита в самой середине.

Я знал, что такие забавы у них были делом весьма обыкновенным, но все-таки эта сцена встревожила меня, и притом в комнате становилось тяжело дышать от порохового дыма.

— Пойдемте лучше ко мне! — позвал я Истомина.

— А здесь разве не все равно?

— Теперь здесь действительно воздух очень сперт.

— Да, здесь воздух спирается, спирается, — заговорил Истомин, двигая своими черными бровями. — Здесь воздух ужасно спирается, — закончил он, желая придать своему лицу как можно более страдания и вообще скорчив грустную рожу.

Это было невыносимо противно. Перед кем это, для кого и для чего он ломался?

И несколько дней все он ходил смирнехонек и все напевал:

Любить мечты не преступленье,
И я люблю мою мечту.

Надоела уж даже мне эта песня.

Шульц, встречаясь со мною у Норков, очень часто осведомлялся у меня об Истомине.

— Что наш жук-отшельник делает? — спрашивал он.

Я отвечал, что хандрит.

— Заряжается, верно, чем-нибудь! — восклицал Шульц. — Я знаю эти капризные натуры: вдохновения

нет, сейчас и беситься, — самодовольно разъяснил он, обращаясь к Иде Ивановне и Мане.

Ни та, ни другая не отвечали ему ни слова.

У этих обеих девушек Фридрих Шульц большим расположением похвалиться не мог.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Чудачества Истомина продолжались. Он, как говорил о нем Шульц, все не переставал *капризничать* и не возвращался к порядку. Видно было, что ему действительно приходилось тяжело; становилось, что называется, невмочь; он искал исхода и не находил его; он нуждался в каком-нибудь толчке, который бы встряхнул его и повернул лицом к жизни. Но этого толчка не случилось, и придумать его было невозможно, а, наконец, Истомин сочинил его себе сам.

В один из тех коротких промежутков этой беспокойной полосы, когда Истомин переставал читать запоем, страстно увлекаясь и беснуясь, и, наоборот, становился неестественно смирен и грустный бродил тише воды, ниже травы, я зашел к нему прямо с улицы и сказал, что на днях дают обед для одного почтеннейшего человека, которого очень уважал и почитал Истомин.

— Я, — говорю, — записал на обед и себя и вас, Роман Прокофьич!

— Очень, — отвечает, — мило сделали. А сколько денег?

Я сказал.

Истомин взял свое портмоне и, подавая мне ассигнацию, тепло пожал мою руку.

— Пойдете? — спросил я.

— Как же, непременно пойду.

В день этого обеда Истомин с самого утра не надевал своего пиджака и был очень спокоен, но молчалив. За юбилейным обедом он равнодушно слушал разные пышные и сухие речи; ел мало и выпил только два бокала шампанского.

Все время обеда мы сидели с ним рядом и после стола вместе вышли в небольшую комнату, где собралась целая

толпа курящего народа. Истомин сел у окна, вынул дорогую баядеру, закурил ее и равнодушно стал смотреть на плетущихся по взмешанному, грязному снегу ванек и на перебегавших в суете пешеходов. Против Истомина, в амбразуре того же окна, сидела не молодая и не старая дама, которая еще не прочь была нравиться и очень могла еще нравиться, а между ними, на лабрадоровом подоконнике этого же самого окна, помещался небольшой белокуренький господинчик с жиденькими войлоковатыми волосами и с физиономией кладбищенского, тенористого дьякона. Дама не без эффекта курила очень крепкую сигару, а белокурый господин тянул тоненькую мариландскую папироску. Обе эти особы вели оживленный разговор об искусстве вообще и в различных его применениях в жизни. Дама была из тех новых, даже самоновейших женщин, которые мудренее нигилистов и всего доселе появлявшегося в женском роде: это демократки с желанием барствовать; реалистки с стремлением опереться на всякий предрассудок, если он представляет им хотя самую фиктивную опору; проповедницы, что «не о хлебе едином человек жив будет», а сами за хлеб продающие и тело и честную кровь свою. Бестолковее и гаже этого ассортимента фраз ходячих в юбках, кажется, еще ничего никогда не было. Перед мало-мальски умным и логическим человеком они бывают жалки до самой последней степени: масса противоречий сбивает их. Дама, о которой идет речь, беспрестанно путалась во всех своих положениях и кидалась из одной стороны в другую, как нарочно открывая кладбищенскому дьякону полнейшую возможность побивать ее на всех пунктах. Около этой пары, к которой случайно помещался ближе всех Истомин, сгруппировалась очень густая толпа, внимательно следившая за их речами. Дама при всей своей внешней храбрости очевидно мешалась и, как я сказал, беспрестанно впадала в противоречия. Все свои усилия она устремляла только на то, чтобы не соглашаться, частила, перебивала и городила вздор. Тенористый вахлачок, напротив, говорил с невозмутимым спокойствием и таким тоном, каким, вероятно, Пилат произнес свое *еже писах — писах*.

Он решительно утверждал, что художество отжило свой век и что искусство только до тех пор и

терпимо, пока человечество еще глупо; да и то терпимо в тех случаях, когда будет помогать разуму проводить нужные гражданские идеи, а не рисовать нимф да яблочки.

— Но вы забываете, что у всякого свой талант... — перебивала дама.

— А что такое талант? — спокойно вопрошал тенористый дьякон и опять ядовито захихикал.

— Да вы знаете ли искусство-то? понимаете вы что-нибудь в искусстве? — частила дама, бог знает как передавшаяся вдруг совсем на сторону чистого искусства для искусства.

— Знаю-с; знаю, — отвечал, звонко прихихикивая, тенористый дьякон. — Если толстая голая женщина нарисована, так это, значит, Рубенс упражнялся. Большой бесстыдник!

Тенорист опять захихикал, кашлянул и отмахнулся рукою от налегшей на него струи сигарного дыма. Из толпы высунулись вперед две шершавенькие мордочки, оскалили зеленые зубы и также захохотали.

Я случайно взглянул на Истомина: он сидел вытянув ноги и сложив их одну на другую; сигару свою он держал между двумя пальцами правой руки и медленно пускал тоненькую струйку синего табачного дыма прямо в нос тенористому дьякону.

— Так, по-вашему, что ж, художников надо выгнать, что ли? — приставала дама.

— Выгнать-с? — Нет, это Платон предлагал увенчать всех этих бесстыдников лаврами и потом выгнать, а по-моему, на что на них лавры истреблять.

— Платон это говорил о поэтах.

— Это все равно-с; жрецы свободного искусства!

Тенорист снова захихикал и снова закашлялся еще сильнее. В нос ему так и била тоненькая дымовая струйка, вылетавшая крутым шнурочком из-под усов Истомина и бившая оратора прямо в нос.

— Их к делу надо обратить, — продолжал он, отмахнувшись от дыма.

— Да-с, землю пахать, что ли? — допрашивала с азартом дама.

— Кто к чему годен окажется: кто камни тесать, кто мосты красить.

— Прекрасно-с, прекрасно! только как вы этого достигнете?

— Чего-с это?

— Того, чтоб художники обратились в ремесленников.

— Исправительными мерами-с.

— Га! то есть сечь их будете?

— Это по усмотрению-с, по усмотрению, — отвечал беленький тенор, глядя в толпу и по-прежнему стуча по стене задниками своих сапожек.

— Это прелесть! это чудо что такое!.. Это совершенство! — восхищалась дама, покрывая все довольно громким смехом. — Представьте себе, господа, бедного Рафаэля, который мазилкой мост красит на большой дороге! или Канову, который тумбы обтесывает!.. Это чудо! Это совершенство! прелесть! Ну, а певцов, скульпторов, музыкантов, актеров: их всех куда девать?

— Зачем же их девать куда-нибудь? Перестанут им деньги давать, так они сами и петь и плясать перестанут.

— То-то! а ведь их много; пожалуй, еще отпор дадут, — частила, вовсе уж не вслушиваясь, дама.

— Ну, не дадут-с... — при этом слове тенористый дьякон вздрогнул и быстро отодвинулся от подлезшей к его лицу новой струи дыма.

— Почему? — спросил его резко Истомин.

— Что это? отпор-то? Да какой же отпор? Картинки как-то на дрезденский мост потребовались, так и тех пожалели.

— Это совсем не идет к делу.

— А мы разве с вами о делах говорим?

Тенор захихикал и добавил:

— Смешно!

— А вы не смейтесь, — остановил его, бледнея, Истомин.

— Отчего же-с? Это правительством не запрещено.

— Оттого, что мне это не нравится.

— Напрасно-с.

— Напрасно! Вы говорите — *напрасно!* А что, ежели я, *бесстыдник,* художник Истомин, сейчас после этого «напрасно» объявлю, что всякому, кто посмеет при мне сказать еще хотя одно такое гнусное слово об искусстве, которого он не понимает, то я ему сейчас вот этими самыми руками до ушей рот разорву?

Истомин встал, прижал ногою колена тенора к подоконнику и, взяв сигару в зубы, показал ему два большие пальца своих рук.

— Я тогда ничего-с более не скажу, — отвечал, нимало не теряясь и по-прежнему хихикая, тенористый дьякон.

— То-то, надеюсь, что не скажете! — отвечал, доканчивая свою нелепую выходку, Истомин и смешался с толпою.

— Доказал, однако! — иронически проговорила, высовываясь из толпы, прежняя шершавая мордочка.

— Да-с; я полагаю, что у этого человека очень развито правое плечевое сочленение, а это очень важно при спорах в России, — отвечал мордочке тенор и легко снялся с подоконника.

Через полчаса я видел, как Истомин, будто ни в чем не бывало, живо и весело ходил по зале. С обеих сторон у его локтей бегали за ним две дамы: одна была та самая, что курила крепкую сигару и спорила, другая — мне вовсе незнакомая. Обе они залезали Истомину в глаза и просили у него позволения посетить его мастерскую, от чего он упорно отказывался и, надо полагать, очень смешил их, потому что обе они беспрестанно хохотали.

Беловойлочный противник Истомина тоже сидел здесь, на одном из диванов этой же залы, и около него помещались два молодые господина, смотревшие не то обиженными ставленниками, не то недовольными регистраторами духовной консистории.

Ставленники бросали на художника самые суровые взгляды, но, однако, никакого нового столкновения здесь не произошло. Но угодно же было судьбе, чтобы Истомин, совершив одно безобразие, докончил свой день другим, заключил его еще более странной и неоправдываемой выходкой. Совсем в шубах и шапках мы натолкнулись на эту тройку между двойными дверями подъезда.

— Не могу-с, не могу, — говорил, пробираясь впереди нас и хихикая, тенор. — Ничего-с здесь не могу говорить, рот разорвут.

— Полно острить-то! — произнес сзади его Истомин и, взявшись за края его меховой шапки, натянул ему ее по самую бороду. Тенор издал из-под шапки какой-то глухой звук и, как страус, замотал головою во все стороны.

Оба ставленника разом принялись сдергивать с учительской головы ни за что не хотевшую слезать шапку.

Истомин был очень весел, смеялся и, придя домой, начал переставлять и перетирать в своей мастерской давно забытые подмалевки и этюды.

На другой день, часу в девятом утра, только что я отворил дверь в залу Истомина, меня обдал его громкий, веселый хохот, так и разносившийся по всей квартире. Истомин уже был одет в канаусовых шароварах и бархатном пиджаке и катался со смеху по ковру своей оттоманки.

— Здравствуйте! — весело произнес он, протягивая мне руку и обтирая платком выступившие от хохота слезы. — Садитесь скорей или лучше прямо ложитесь загодя, а то Меркул Иванов вас сейчас уложит.

Меркул Иванов был огромный, трехэтажный натурщик, прозывавшийся в академии Голиафом. Он был необыкновенно хорошо сложен; слыл за добродушнейшего человека и пьянствовал как настоящий академический натурщик. Теперь он был, очевидно, после каторжного похмелья и, стоя у притолоки Истомина, жался, вздрагивал и водил по комнате помутившимися глазами.

— Вот послушайте, — начал Истомин. — Я говорю Меркулу Иванову, чтоб он более не пил; что иначе он до чертиков допьется, а он, вот послушайте, что отвечает.

— Это помилуй бог, Роман Прокофьич, — зацедил сквозь зубы, вздрагивая, натурщик.

— Да... а он говорит... да ну, рассказывай, Меркул Иваныч, что ты говорил?

— Я-то, Роман Прокофьич... что это... помилуй бог совсем; я крещеный человек... как он может ко мне подходить, дьявол?

— А что ты видаешь-то?

— Хxxxарррри этакие... маски... Роман Прокофьич... это золото... уголь сыпется... — рассказывал, отпихиваясь от чего-то ладонью, натурщик. — Ну, что только чччеерта, Роман Прокофьич... Этого нникак он, Роман Прокофьич, не может. Он теперь если когда и стоит... то он издалли стоит... он золллото это, уголь, все это собирает... а ко мне, Роман Прокофьич, не может.

Смешно это, точно, рассказывал несчастный Голиаф, но уж Истомин смеялся над этим рассказом совсем паче

естества, точно вознаграждал себя за долговременную тоску и скуку. Он катался по ковру, щипал меня, тряс за руку и визжал, как ребенок, которому брюшко щекочут.

— Ну, а клодтовский форматор же что? — заводил опять натурщика Истомин.

— Т-тот... тот, Роман Прокофьич, действительно что допился, — отвечал, вздыхая, Меркул Иванов.

— То-то, расскажи им, расскажи, как он допился?

Меркул Иванов повернул голову исключительно ко мне и заговорил:

— Уговорились мы, Роман Прокофьич, идти...

— Ты им рассказывай, — перебил его Истомин, показывая на меня.

— Я и то, Роман Прокофьич, им это, — отвечал натурщик. — Уговорились мы, Роман Прокофьич, — продолжал он, глядя на меня, — идти с ним, с этим Арешкой, в трактир... Чай, Роман Прокофьич, пить хотели. В третьей линии тут, изволите знать?

— Ну, знаю! — крикнул Истомин.

— Я и говорю ему: «Не пей, говорю, ты, Арешка, водки, потому видишь, говорю, как от нее после того тягостно. Приходи, зову его, лучше в шестом часу ко мне и пойдем в третьей линии чай пить». Только он что же, Роман Прокофьич? Я его жду теперь до седьмого часу, а е-его ппподлеца — вот нету. Я теперь, разумеется, пошел зззa ним. Пррихххажжу, а он, мерзавец, лежит в мастерской теперь под самыми под этими под канатами, что, изволите знать, во второй этаж формы подымают. Голова его теперь пьяная под самыми под этими канатами, и то-тоисть по этим, Роман Прокофьич, по канатам... чертей! То есть сколько, Роман Прокофьич, чертей везде! И вот этакие, и вот этакие, и вот этакие... как блохи, так и сидят.

Меркул Иванов плюнул и перекрестился.

— Гибель! — продолжал он. — Я тут же, Роман Прокофьич, и сказал: пропади ты, говорю, со всем и с чаем; плюнул на него, а с этих пор, Роман Прокофьич, я его, этого подлого Арешку, и видеть не хочу. А на натуре мне эту неделю, Роман Прокофьич, стоять не позвольте, потому, ей-богу, весь я, Роман Прокофьич, исслабел.

Тешил этот наивный рассказ Истомина без меры и развеселил его до того, что он вскочил и сказал мне:

— Не пройдемся ли проветриться? погода уж очень, кажется, хороша.

Я был согласен идти; погода действительно стояла веселая и ясная. Мы оделись и вышли.

Не успели мы сделать несколько шагов к мосту, как нагнали Иду Ивановну и Маню: они шли за какими-то покупками на Невский.

— Мы пойдем провожать вас, — напрашивался я к Иде Ивановне.

— Если вам нечего больше делать, так провожайте, — отвечала она с своим всегдашним спокойно-насмешливым выражением в глазах.

Я пошел около Иды Ивановны, а Истомин как-то случайно выдвинулся вперед с Манею, и так шли мы до Невского; заходили там в два или три магазина и опять шли назад тем же порядком: я с Идой Ивановной, а Маня с Истоминым. На одном каком-то повороте мне послышалось, будто Истомин говорил Мане, что он никак не может забыть ее лица; потом еще раз послышалось мне, что он нервным и настойчивым тоном добивался у нее «да или нет?», и потом я ясно слышал, как, прощаясь с ним у дверей своего дома, Маня робко уронила ему тихое «да».

Вечером в этот день мне случилось проходить мимо домика Норков. Пробираясь через проспект, я вдруг заметил, что в их темном палисаднике как будто мигнул огонек от сигары.

«Кто бы это тут прогуливался зимою?» — подумал я и решил, что это, верно, Верман затворяет ставни.

— Herr Wermann,[1] — позвал я сквозь решетку палисадника.

Сигара спряталась, и что-то тихо зашумело мерзлым кустом акации.

— Неужто вор! но где же воры ходят с сигарой? Однако кто же это?

Я перешел на другую сторону и тихо завернул за угол.

Не успел я взяться за звонок своей двери, как на лестнице послышались шаги и в темноте опять замигала знакомая сигара: это был Истомин.

---

[1] Господин Верман *(нем.)*.

«Итак, это он был там, — сказала мне какая-то твердая догадка. — И что ему нужно? что он там делал? чего задумал добиваться?»

Это обозлило меня на Истомина, и я не старался скрывать от него, что мне стало тяжело и неприятно в его присутствии. Он на это не обращал, кажется, никакого внимания, но стал заходить ко мне реже, а я не стал ходить вовсе, и так мы ни с того ни с сего раздвинулись.

Я имел полное основание бояться за Маню: я знал Истомина и видел, что он приударил за нею не шутя, а из этого для Мани не могло выйти ровно ничего хорошего.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Опасения мои начали возрастать очень быстро. Зайдя как-то к Норкам, я узнал, что Истомин предложил Мане уроки живописи. Это «да», которое я слышал при конце нашей прогулки, и было то самое «да», которое упрочивало Истомину спокойное место в течение целого часа в день возле Мани. Но что он делал в садике? Неужто к нему выходила Маня? Не может быть. Это просто он был *влюблен,* то есть сказал себе: «Камилла быть должна моей, не может быть иначе», и безумствовал свирепея, что она не *его* сейчас, сию минуту. Он даже мог верить, что есть какая-то сила, которая заставит ее выйти к нему сейчас. Наконец, он просто хотел быть ближе к ней — к стенам, в которых она сидела за семейною лампою.

Уроки начались; Шульц был необыкновенно доволен таким вниманием Истомина; мать ухаживала за ним и поила его кофе, и только одна Ида Ивановна молчала. Я ходил редко, и то в те часы, когда не ожидал там встретить Истомина.

Раз один, в самом начале марта, в сумерки, вдруг сделалось мне как-то нестерпимо скучно: просто вот бежал бы куда-нибудь из дому. Я взял шапку и ушел со двора. Думал даже сам зайти к Истомину, но у него не дозвонился: оно и лучше, потому что в такие минуты не утерпишь и, пожалуй, скажешь *грустно,* а мы с Романом Прокофьевичем в эту пору друг с другом не откровенничали.

Пойду, думаю, к Норкам, и пошел.

Прохожу по проспекту и вижу, что под окном в магазине сидит Ида Ивановна; поклонился ей, она погрозилась и сделала гримаску.

— Что это вы, Ида Ивановна, передразнили меня, кажется? — говорю, входя и протягивая через прилавок руку.

— А разве, — спрашивает, — видно?

— Еще бы, — говорю, — не видеть!

— Вот завидные глаза! А я о вас только сейчас думала: что это в самом деле такая нынче молодежь стала? Помните, как мы с вами хорошо познакомились — так просто, славно, и вот ни с того ни с сего уж и раззнакомливаемся: зачем это?

Я начал оправдываться, что я и не думал раззнакомливаться.

— Эх вы, господа! господа! ветер у вас еще все в голове-то ходит, — проговорила в ответ мне Ида Ивановна. — Нет, в наше время молодые люди совсем не такие были.

— Какие ж, — спрашиваю, — тогда были молодые люди?

— А такие были молодые люди — хорошие, дружные; придут, бывало, вечером к молодой девушке да сядут с ней у окошечка, начнут вот вдвоем попросту орешки грызть да рассказывать, что они днем видели, что слышали, — вот так это молодые люди были; а теперь я уж не знаю, с кого детям и пример брать.

— Это, — говорю, — кажется, ваша правда.

— Да, кажется, что правда; сами в примерах нуждаетесь — садитесь-ка вот, давайте с горя орехи есть.

Ида Ивановна двинула по подоконнику глубокую тарелку каленых орехов и, показав на целую кучу скорлупы, добавила:

— Видите, сколько я одна отстрадала.

— Ну-с, рассказывайте, что вы поделывали? — начала она, когда я поместился на другом стуле и вооружился поданной мне весовой гирькой.

— Скучал, — говорю, — больше всего, Ида Ивановна.

— Это мы и сами умеем.

— А я думал, что вы этого-то и не умеете.

— Нет, умеем; мы только не рассказываем этого всем и каждому.

— А вы разве все равно, что все и каждый?

— Да-с — положим, что и все равно. А вы скажите, нет ли войны хорошей?

— Есть, — говорю, — китайцы дерутся.

— Это все опять в пользу детских приютов? — умные люди.

— Папа, — говорю, — болен.

— Папа умер.

— Нет, еще не умер.

Ида рассмеялась.

— Вы, должно быть, — говорит, — совсем никаких игр не знаете?

— Нет, — говорю, — знаю.

— Ну, как же вы не знаете, что есть такая игра, что выходят друг к другу два человека с свечами и один говорит: «Папа болен», а другой отвечает: «Папа умер», и оба должны не рассмеяться, а кто рассмеется, тот папа и дает фант. А дальше?

— Дальше? — дальше Андерсена сказки по-русски переводятся.

— Ага! то-то, господа, видно без немцев не обойдетесь.

— Он, спасибо, Ида Ивановна, не немец, а датчанин.

— Это — все равно-с; ну, а еще что?

— Выставка художественная будет скоро.

— Не интересно.

— Неф, говорят, новую девочку нарисует.

— Пора бы на старости лет постыдиться.

— Красота!

— Ужасно как красиво! Разбейте-ка мне вот этот орех.

— Истомин наш что-то готовит, тоже, кажется, из мира ванн и купален.

Ида улыбнулась, тронула меня за плечо и показала рукою на дверь в залу. Я прислушался, оттуда был слышен тихий говор.

— Он у вас? — спросил я полушепотом.

Ида молча кивнула головою.

Слышно было, что говорившие в зале, заметя наше молчание, тоже вдруг значительно понижали голос и не

знали, на какой им остановиться ноте. Впрочем, я не слыхал никакого другого голоса, кроме голоса Истомина, и потому спросил тихонько:

— С кем *он* там?

— Чего вы шепчете? — проговорила, улыбаясь, Ида.

— Я не шепчу, а так...

— Я так... Что так?.. Как это всегда смешно выходит! Ида беззвучно рассмеялась.

Это и действительно выходит смешно, но только смешно после, а в те именно минуты, когда никак не заговоришь таким тоном, который бы отвечал обстановке, это бывает не смешно, а предосадно.

Если вам, читатель, случалось разговаривать рядом с комнатой, в которой сидят двое влюбленных, или если вам случалось беседовать с женщиной, с которой говорить хочется и нужно, чтобы другие слышали, что вы не молчите, а в то же время не слыхали, о чем вы говорите с нею, так вам об этом нечего рассказывать. Тут вы боитесь всего: движения вашего стула, шелеста платья вашей собеседницы, собственного кашля: все вас, кажется, выдает в чем-то; это всего вам неловко. Для некоторых людей нет ничего затруднительнее, как выбор камертона для своего голоса в подобном положении.

— Мутерхен[1] моей нет дома, — проговорила, тщательно разбивая на окне новый крепкий орех, Ида.

— Где же это она?

— У Шперлингов; там, кажется, Клареньку замуж выдают.

Разговор опять прервался, и опять Ида, слегка покраснев и закусив нижнюю губу, долго стучала по ореху; но, наконец, это кончилось: орех разбился. Стала тишь совершенная.

— Вон Соваж пошел домой, — проронила, глядя в окно, девушка.

Я хотел ответить ей *да,* но и этого не успел, и не успел по самой пустой причине — не успел потому, что в это мгновенье в зале передвинули по полу стул. Он, конечно, передвинулся так себе, самым обыкновенным и естественным образом; как будто кто пересел с места на место, и ничего более; но и мне и Иде Ивановне вдруг стало

[1] Матушка *(нем.).*

удивительно неловко. Сидевшим в зале тоже было не ловче, чем и нам. Ясно, что они чувствовали эту неловкость, ибо Истомин тотчас забубнил что-то самым ненатуральным, сдавленным голосом, и в то же время начало слышаться отчетливое перевертывание больших листов бумаги. Истомин произносил имена Ниобеи, Эвридики, Психеи, Омфалы, Медеи, Елены.

Маня только пискнула один раз, что-то в роде «да» или «дальше» — даже и разобрать было невозможно.

— Что это, они гравюры рассматривают?

Ида кивнула утвердительно головою и опять с двойным усилием ударила по ореху.

Мы больше не могли говорить друг с другом.

Истомин повыровнял голос и рассказывал в зале что-то о Киприде. Все слышались мне имена Гнатэны, Праксителя, Фрины Мегарянки.

Дело шло здесь о том, как она, эта Фрина,

...не внимая
Шепоту ближней толпы, развязала ремни у сандалий,
Пышных волос золотое руно до земли распустила;
Перевязь персей и пояс лилейной рукой разрешила;
Сбросила ризы с себя и, лицом повернувшись к народу,
Медленно, словно заря, погрузилась в лазурную воду.
Ахнули тысячи зрителей, смолкли свирель и пектида;
В страхе упав на колени, все жрицы воскликнули громко:
«Чудо свершается, граждане! Вот она, матерь Киприда».

— Ну-с; и с тех пор ею плененный Пракситель навеки оставил Гнатэну, и ушел с Мегарянкою Фрине, и навеки ее сохранил в своих работах. А когда он вдохнул ее в мрамор — то мрамор холодный стал огненной Фриной, — рассказывал Мане Истомин, — вот это и было то чудо.

— А бабушка давно закатилась? — спросил я, наконец, Иду.

Девушка хотела мне кивнуть головою; но на половине слова вздрогнула, быстро вскочила со стула и громко проговорила:

— Вот, слава богу, и мамаша!

С этими словами она собрала горстью набросанную на окне скорлупу, ссыпала ее проворно в тарелку и быстро пошла навстречу матери. Софья Карловна действительно в это время входила в дверь магазина.

В эти же самые минуты, когда Ида Ивановна встречала входящую мать, я ясно и отчетливо услыхал в зале два, три, четыре раза повторенный поцелуй — поцелуй, несомненно, насильственный, потому что он прерывался робким отодвиганием стула и слабым, но отчаянным «бога ради, пустите!»

Теперь мне стали понятны и испуг Иды и ее радостный восклик: «Вот и мамаша!»

Это все было совершенно по-истомински и похоже как две капли воды на его всегдашние отношения к женщинам. Его правило — он говорил — всегда такое: без меры смелости, изрядно наглости; поднесите все это женщине на чувствительной подкладке, да не давайте ей опомниваться, и я поздравлю вас с всегдашним успехом.

Здесь были и смелость, и наглость, и чувствительная подкладка, и недосуг опомниться; неразрешенным оставалось: быть ли успеху?.. А отчего и нет? Отчего и не быть? Правда, Маня прекрасное, чистое дитя — все это так; но это дитя позволило насильно поцеловать себя и *прошептала*, а не *прокричала* «пустите!» Для опытного человека это обстоятельство очень важно — обстоятельство в девяносто девяти случаях изо ста ручающееся нахалу за непременный успех.

Так точно думал и Истомин. Самодовольный, как дьявол, только что заманивший странника с торной дороги в пучину, под мельничные колеса, художник стоял, небрежно опершись руками о притолки в дверях, которые вели в магазин из залы, и с фамильярностью самого близкого, семейного человека проговорил вошедшей Софье Карловне:

— Тебя, о матерь, сретаем собрашеся вкупе! Приди и открой нам объятия отчи!

— Ах, Роман Прокофьич! — отвечала старуха, снимая с себя и складывая на руки Иды свой шарф, капор и черный суконный бурнус.

— И вы тоже! — обратилась она, протянув другую руку мне. — Вот и прекрасно; у каждой дочери по кавалеру. Ну, будем, что ли, чай пить? Иденька, вели, дружочек, Авдотье поскорее нам подать самоварчик. А сами туда, в мой уголок, пойдемте, — позвала она нас с собою и пошла в залу.

В зале, у небольшого кругленького столика, между двумя тесно сдвинутыми стульями, стояла Маня. Она была в замешательстве и потерянно перебирала кипу желтоватых гравюр, принесенных ей Истоминым.

— Рыбка моя тихая! что ж это ты здесь одна? — отнеслась к ней Софья Карловна.

Маня посмотрела с удивлением на мать, положила гравюру, отодвинула рукою столик и тихо поправила волосы.

— Тебя, мою немушу, всегда забывают. Молчальница ты моя милая! все-то она у нас молчит, все молчит. Идка скверная всех к себе позабирает, а она, моя горсточка, и сидит одна в уголочке.

— Нет, мама, со мною здесь Роман Прокофьич сидел, — тихо ответила Маня и нежно поцеловала обе материны руки.

На левой щечке у Мани пылало яркое пунцовое пятно: это здесь к ее лицу прикасались жадные уста удава.

— Роман Прокофьич с тобой сидел, — ну, и спасибо ему за это, что он сидел. Господи боже мой, какие мы, Роман Прокофьич, все счастливые, — начала, усаживаясь в своем уголке за покрытый скатертью стол, Софья Карловна. — Все нас любят; все с нами такие добрые.

— Это вы-то такие добрые.

— Нет, право. Ах, да! что со мной сейчас было...

Софья Карловна весело рассмеялась.

— Здесь возле моих дочерей, возле каждой по кавалеру, а там какой-то господин за мною вздумал ухаживать.

— Как это, мамаша, за вами? — спросил Истомин, держась совсем членом семейства Норков и даже называя madame Норк «мамашей».

— Да так, вот пристал ко мне дорогой в провожатые, да и только.

Мы все рассмеялись.

— Ну, я и говорю, у Бертинькиного подъезда: «Очень, говорю, батюшка, вам благодарна, только постойте здесь минуточку, я сейчас зайду внучков перекрещу, тогда и проводите, пожалуйста», — он и драла: стыдно стало, что за старухой увязался.

— Молодец моя мама! — похвалила уставлявшая на стол чайный прибор Ида.

— Да, вот подите, право, какие нахалы! Старухам, нам, уж и тем прохода нет, как вечер. Вы знаете ведь, что с Иденькой в прошлом году случилось?

— Нет, мы не знаем.

— Как же! поцеловал ее какой-то негодяй у самого нашего дома.

— Вот как, Ида Ивановна! — отозвался, закручивая ус, Истомин.

— Да-с, это так, — довольно небрежно ответила ему, обваривая чай, Ида.

— Ты расскажи, Идоша, как это было-то.

— Ну что, мама, им-то рассказывать; это еще и их, пожалуй, выучишь этому секрету.

— Ну, полно-ка тебе врать, Ида.

— Мне даже кажется, что Роман Прокофьич в этом чуть ли не участвовал.

— В чем это? Бог с вами, Ида Ивановна, что это вы говорите?

— А что ж, ведь вы тогда не были с нами еще знакомы?

— Ну да, как же! станет Роман Прокофьич... Перестань, пожалуйста.

— Перестану, мама, извольте, — отвечала Ида с несколько комической покорностью и стала наливать нам стаканы.

Во все это время она не садилась и стояла перед самоваром на ногах.

— Видите, — начала Софья Ивановна, — вот так-то часто говорят *ничего, ничего;* можно, говорят, и одной женщине идти, если, дескать, сама не подает повода, так никто ее не тронет; а выходит, что совсем не ничего. Идет, представьте себе, Иденька от сестры, и еще сумерками только; а за нею два господина; один говорит: «Я ее поцелую», а другой говорит: «Не поцелуешь»; Идочка бежать, а они за нею; догнали у самого крыльца и поцеловали.

— Так и поцеловали?

— Так и поцеловали.

— Ида Ивановна! да как же вы это оплошали? Как же вас поцеловали, а? — расспрашивал с удивлением Истомин.

— Очень просто, — отвечала Ида, — взяли за плечи, да и поцеловали.

— И вы ему не плюнули в лицо?

— Ну, так! чтоб он еще меня приколотил?

— Эк куда хватили — так уж и приколотит?

— А что ж? от вас всего дождешься, — добавила, улыбаясь, Ида.

— Мнения, стало быть, вы о мужчинах невысокого, Ида Ивановна?— пошутил художник.

— Извольте, мама, вам чаю, —проговорила Ида матери, а Истомину не ответила ни слова, будто и не расслышала его вопроса.

— Благодарю, Идочка.

Софья Карловна хлебнула чаю и вдруг затуманилась.

— Ужасно, ей-богу! — начала она, мешая ложкой. — Береги, корми, лелей дитя, ветра к нему не допускай, а первый негодяй хвать ее и обидит. Шперлинги говорят: устроим уроки, чтоб музыке детей учить. Конечно, оно очень дешево, но ведь вот как подумаешь, что надо вечером с одной девкой посылать, так и бог с ними, кажется, и уроки.

— Ничего, — сказала, подумав, Ида.

— Как, мой дружок, ничего-то? Ты девушка взрослая, а она дитя.

— Это еще ведь не скоро, мама; тогда успеем еще подумать.

— Успеть-то, конечно... А я это... Да ну, видела я, Идочка, жениха. Не нравится он мне, мой дружочек: во-первых, стар он для нее, а во-вторых, так что-то... не нравится: а она, говорят, будто его любит, да я этому не верю.

— Не знаю, мамочка.

— Говорят, что любит; да только вздор это, я думаю. Уж кто кого любит, так это видно.

Ида промолчала и, взяв в руки одну из принесенных сюда сестрою гравюр, посмотрела ее и тотчас же равнодушно положила снова на место.

— У вас, Ида Ивановна, есть идеал женщины? — спросил Истомин.

— Есть-с, — отвечала, улыбнувшись, Ида.

— Покажите нам ее здесь.

— Здесь нет ее.

— Кто же это такая? Антигона, верно?

— Нет, не Антигона.

— Нет, без шуток, скажите, пожалуйста, какой из всех известных вам женщин вы больше всех сочувствуете?

— Моей маме, — ответила спокойно Ида и отправилась к бабушке с кружкою шалфейного питья, приготовленного на ночь старушке.

— Роман Прокофьич! — тихо позвала Софья Карловна художника.

Истомин нагнулся.

— Какая, я говорю, у меня дочь-то!

— Это вы об Иде Ивановне?

— Да, Идочка-то; я о ней вам говорю. Ведь это, истинно надо сказать правду, счастливая и пресчастливая я мать. Вы знаете, как это странно, вот я нынче часто слышу, многие говорят, и Фриц тоже любит спорить, что снам не должно верить, что будто сны ничего не значат; а я, как хотите, ни за что с этим не могу согласиться. Мы все с Авдотьюшкой друг другу сны рассказываем. — Старуха подвинулась к Истомину и заговорила: — Представьте вы себе, Роман Прокофьич, что когда я была Иденькой беременна... Маничка, выйди, моя крошечка; поди там себе пелериночку поправь.

Маня, слегка покраснев, встала и вышла за сестрою.

— Да; так вы представьте себе, Роман Прокофьич, девять месяцев кряду, каждую ночь, каждую ночь мне все снилось, что меня какой-то маленький ребенок грудью кормит. И что же бы вы думали? родила я Идочку, как раз вот, решительно как две капли воды то самое дитя, что меня кормило... Боже мой! Боже мой! вы не знаете, как я сокрушаюсь о моем счастье! Я такая счастливая, такая счастливая мать, такие у меня добрые дети, что я боюсь, боюсь... не могу я быть спокойна. Ах, не могу быть спокойна!

Истомин, мне показалось, смутился при выражении этой внезапной и неудержимой грусти Софьи Карловны. Он хотел ее уговаривать, но это ему не удавалось.

— Представьте себе, если посудить здраво, — продолжала старуха, — ведь сколько есть на свете несчастных родителей — ведь это ужас! Ведь это, Роман Прокофьич, самое большое несчастие. У кого нет детей, говорят, горе, а у кого дурные дети — вдвое. Ну, а я — чем я этого достойна... — старуха пригнулась к полу и, как будто поднимая что-то, с страхом и благоговением шептала: — Чем

я достойна, что у меня дети... ангелы?.. Мои ангелы! мои ангелы! — заговорила она громко при появлении в эту минуту в дверях обеих дочерей своих.

— Иденька! Иденька! дитя мое! друг мой! — звала она и, раскрыв дрожащие руки, без всякой причины истерически заплакала. — Идочка! ангел, министр мой, что мне все что-то кажется страшное; что мне все кажется, что у меня берут вас, что мы расстаемся!

Она обхватила руками шею дочери и, не переставая дрожать и плакать, жарко целовала ее в глаза, в лоб и в голову.

— Успокойтесь, мама, я всегда буду с вами.

— Со мною, да, со мною! — лепетала Софья Карловна. — Да, да, ты со мною. А где же это моя немушка, — искала она глазами по комнате и, отпустив Иду, взяла младшую дочь к себе на колени. — Немуша моя! рыбка немая! что ты все молчишь, а? Когда ж ты у нас заговоришь-то? Роман Прокофьич! Когда она у нас заговорит? — обратилась опять старуха к Истомину, заправляя за уши выбежавшую косичку волос Мани. — Иденька, вели, мой друг, убирать чай!

Ида кликнула кухарку и стала сама помогать ей, а Софья Карловна еще раз поцеловала Маню и, сказав ей: «Поди гуляй, моя крошка», сама поплелась за свои ширмы.

— Идочка! бабушка давно легла? — спрашивала она оттуда.

— Давно, мамаша, — ответила Ида, уставляя в шкафы перемытую посуду, и, положив на карниз шкафа ключ, сказала мне: — Пойдемте, пожалуйста, немножко пройдемтесь, голова страшно болит.

Когда мы проходили залу, Истомин стоял по-прежнему с Маней у гравюр.

— Куда ты? — спросила Маня сестру.

— Хочу пройтись немножко; у меня страшно голова болит.

— Это вам честь делает, — вмешался Истомин.

— Да, значит голова есть; я это знаю, — отвечала Ида и стала завязывать перед зеркалом ленты своей шляпы. Ей, кажется, хотелось, чтобы и Маня пошла с нею, но Маня не трогалась. Истомин вертелся: ему не хотелось уходить и неловко было оставаться.

— Ида Ивановна, — спросил он, переворачивая свои гравюры, — да покажите же, пожалуйста, какая из этих женщин вам больше всех нравится! Которая ближе к вашему идеалу?

— Ни одна, — довольно сухо на этот раз ответила Ида.

— Без шуток? У вас нет и идеала?

— Я вам этого не сказала, а я сказала только, что здесь нет ее, — произнесла девушка, спокойно вздергивая на па́жи свою верхнюю юбку.

— А кто же, однако, ваш идеал?

— Мать Самуила.

— Вон кто!.. Родители мои, что за елейность! за что бы это она в такой фавор попала?

— За то, что она воспитала такого сына, который был и людям мил и богу любезен.

Истомин промолчал.

— А ваш идеал, сколько я помню, Анна Денман?

— Анна Денман, — отвечал с поклоном художник.

— То-то, я это помню.

— И должен сознаться, что мой идеал гораздо лучше вашего.

— Всякому свое хорошо.

— Нет-с, не все хорошо! Если бы вы, положим, встретили свой идеал, что ж бы, какие бы он вам принес радости? Вы могли бы ему поклониться до земли?

— Да.

— А я свой мог бы целовать.

— Вот это в самом деле не входило в мои соображения, — отшутилась Ида.

— Да как же! Это ведь тоже — «всякому свое». В песне поется:

Сей, мати, мучицу,
Пеки пироги;
К тебе будут гости,
Ко мне женихи;
Тебе будут кланяться,
Меня целовать.

Роман Прокофьич, видно, вдруг позабыл даже, где он и с кем он. Цели, ближайшие цели его занимали так, что он даже склонен был не скрывать их и поднести

почтенному семейству дар свой, не завертывая его ни в какие бумажки.

Ида не ответила ему ни слова.

— Мама! — крикнула она, идучи к двери. — Посидите, дружок мой, в магазине. Запирать еще рано, — я сейчас вернусь.

Мы обошли три линии, не сказав друг другу ни слова; дорогой я два или три раза начинал пристально смотреть на Иду, но она не замечала этого и твердой походкой шла, устремив неподвижно свои глаза вперед. При бледном лунном свете она была обворожительно хороша и характерна.

Когда мы повернули к их дому, я решился сказать ей, что она, кажется, чем-то очень расстроена.

— Нет, чем же расстроена? У меня просто голова болит невыносимо, — ответила она, и с тем мы с нею и простились у их подъезда.

«А что это Софья Карловна все так совещательно обращается к почтенному Роману Прокофьичу? — раздумывал я, оставшись сам с собою. — Пленил он ее просто своей милой короткостью, или она задумала женихом его считать для Мани?»

«Не быть этому и не бывать, моя божья старушка. Не нужна ему Анна Денман, с руки ему больше Фрина Мегарянка», — решил я себе, и не один я так решил себе это.

Вскоре после того, так во второй половине марта, Ида Ивановна зашла ко мне, посидела, повертелась на каком-то общем разговоре и вдруг спросила:

— Вы, кажется, немножко разладили с Истоминым?

— Не разладил, — отвечал я, — а так, что-то вроде черной кошки между нами пробежало.

— Я это заметила, — отвечала Ида и через минуту добавила: — Если вы нас любите, поговорите-ка вы с ним хорошенько...

Удивительные глаза Иды Ивановны диктовали, о чем я должен поговорить.

— Хорошо, Ида Ивановна, я поговорю.

— Вы помните, как мы с вами ели недавно орехи?

— Помню-с.

— Я думаю, ни один человек в своей жизни не съел за один раз столько этой гадости, сколько я их тогда

перегрызла. Это, понимаете, отчего так елось?.. Это я себя кусала, потому что во мне вот что происходило.

Ида, сердито наморщив лоб, повернула рукою возле своего сердца.

— У меня ужасный слух, особенно когда я слышу то, чего не хотела бы слышать.

Она вздохнула.

— Я обо всем поговорю, — сказал я.

Девушка пожала мне руку, сказала: «Пожалуйста, поговорите» и ушла.

На другой день я зашел утром к Истомину. Он был очень приветлив и держал себя так, как будто между нами перед этим не было никакого дутья друг на друга.

— Вы не знаете, — начал он весело, — какие на меня нынче посыпались напасти? Я ведь вчера совсем чуть не рассорился с Шульцем.

— За что это?

— А вот подите! Берта Ивановна рассуждала обо мне, какой я негодный для жизни человек, и сказала, что если бы она была моею женой, так она бы меня кусала; а я отвечал, что я могу доставить ей это удовольствие и в качестве чужой жены. Я, мол, очень люблю, когда хорошенькие женщины приходят в такое состояние, что желают кусаться. А она, дура, сейчас расплакалась. Да, впрочем, черт с ними! Я был и рад; очень уж надоело это столь постоянное знакомство.

— А у Норков как?

— Там... мы занимаемся, — сказал, принимая серьезное выражение, Истомин.

— И успеваете?

Художник взглянул на меня, улыбнулся и, расправляя ус, отвечал:

— И успеваем.

— А далее что будет, Роман Прокофьич?

— А-а! Вы, верно, ко мне и волей, и неволей, и своей охотой. Почтенное семейство, верно, уж не радо и дешевизне? Успокойте их, пожалуйста: это ведь полезно девочкам — это их развивает.

— А если этого развития, Роман Прокофьич, не желают совсем? Если его боятся?

— Да вздор все это! совсем никто ничего и не боится; а это все Идища эта сочиняет. Этакой, черт возьми,

крендель выборгский, — проговорил он с раздражением, садясь к столу, и тут же написал madame Норк записку, что он искренно сожалеет, что, по совершенному недосугу, должен отказаться от уроков ее дочери. Написав это, он позвал своего человека и велел ему отнести записку тотчас же к Норкам.

После этого мы опять встречались с Истоминым изредка и только на минуты, а к тому же настала весна — оба мы спешили расстаться с пыльным Петербургом и оба в половине апреля уехали: я на Днепр, а Истомин — в Ялту.

В последнее время моего пребывания в Петербурге мы с Идой Ивановной ничего не говорили о Мане, и я, признаюсь, не замечал в Мане никакой перемены; я и сам склонен был думать, что Ида Ивановна все преувеличивает и что опасения ее совершенно напрасны, но когда я пришел к ним, чтобы проститься перед отъездом, Ида Ивановна сама ввела меня во все свои опасения.

Это было вечером, в довольно поздние весенние сумерки. Мани и madame Норк не было дома. Я только простился с старушкой-бабушкой и вышел снова в магазин к Иде Ивановне. Девушка сидела и вязала какую-то косынку.

— Присядьте, — сказала она. — Посидимте вдвоем напоследях.

Я сел.

— Истомин тоже едет? — спросила Ида.

— Да, он едет.

— Зачем он перестал совсем бывать у нас? Как это нехорошо с его стороны.

— Ведь вы же сами, Ида Ивановна, — говорю, — этого желали.

— Нет, я этого никогда не желала, — отвечала она тихо, покачав головою. — Я желала, чтобы не было более уроков — это правда, я этого желала; но чтобы он совсем перестал к нам ходить, чтобы показал этим пренебрежение к нашему семейству... я этого даже не могла пожелать.

— Да что ж вам до этого пренебрежения?

— Да я совсем не о пренебрежении говорю.

— А для всего другого это еще лучше.

— Нншнет! Из-звините! не лучше, а это очень нехорошо; «для всего остального» это ужасно нехорошо! Я понимаю эту скверную, злую тактику, и вы ее тоже сейчас поймете, — сказала она вставая и через минуту возвратилась с знакомым мне томом Пушкина.

— Это что такое? — спросила она, поднося к моим глазам развернутую книгу и указывая пальцем на клан-цифру.

— «Моцарт и Сальери», — прочитал я.

— А это? — спросила Ида тем же тоном и водя пальцем по чуть заметным желтоватым пятнам на бумаге.

— Слезы, что ль? — отвечал я, недоумевая.

— А это слезы! — произнесла, возвысив голос, Ида и с холодным презрением далеко отшвырнула от себя книгу.

Так я оставил семейство Норков на целое лето.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Украинская осень удержала меня до тех пор, пока белые днепровские туманы совсем перестали о полуночи спускаться облачною завесою и зарею взмывать волнами к голубому небу. Я переехал днепровский мост в последних числах ноября месяца; прострадал дней десять в дороге и, наконец, измученный явился в Петербург. Здесь уже было очень холодно и по обыкновению сыро, что, впрочем, все-таки идет Петербургу гораздо более, нежели его демисезонное лето, которое ему совсем не к лицу, не к чину и не к характеру, которое ему никогда не удается, да и вовсе ему не нужно: зима с окаменевшею Невою, с катками, оперой и с газом в фонарях ему гораздо больше кстати.

А летом скучен этот город
С его туманом и водой!

Не дай вам бог, свежий человек, приехать сюда впервые летом: здесь нет ничего, чем тепло и мило лето в наших пыльных Кромах и в Пирятине:

Нет милых сплетен — все сурово;
Закон сидит на лбу людей,
Все удивительно и ново,
А нету теплых новостей.

Своею волею я никогда не поеду в Петербург летом и никому этого не посоветую. В тот год, к которому относится мой рассказ, я приехал сюда осенью, запасшись той благодатной силой, которую льет в изнемогший состав человека украинское светлое небо — это чудное, всеобновляющее небо, под которое знакомая с ним душа так назойливо просится, под которое вечно что-то манит неизбалованного природой русского художника и откуда — увы! — также вечно гонят его на север ханжи, мораль и добродетель. Истомина я уже застал в Петербурге; он вернулся сюда назад тому месяца два, успел осмотреться и работал; даже, по собственным его словам, очень усердно и очень успешно работал. Встретились мы с ним приятелями; рассказали друг другу, как кто провел лето; а о Норках ни я его ничего не спросил, ни он мне не сказал ни слова.

Мне, как обыкновенно бывает после долгой отлучки, предстояло много неприятных хлопот: прозябшая квартира отогревалась плохо; везде, кроме одной комнаты, примыкавшей к мастерской Истомина, под потолками держалась зелеными облаками вредная сырость; окна холодно плакали и мерзли: все было не на своем месте, и ни к чему не хотелось притронуться. «Прислуга» моя, соблюдавшая до сих пор непростительную экономию в топливе, теперь, в моих же интересах, непременно хотела привести все в должный порядок двумя своими старческими руками, и оттого все у нас с нею шло ужасно медленно. Прошла неделя со дня моего возвращения в Петербург, а я все еще ютился в одной комнате: ни к кому из знакомых не показывал глаз и только сумерками выходил пройтись по набережной и тем же следом назад домой.

Два или три раза, когда я возвращался с этих прогулок, навстречу мне на нашей лестнице попадалась какая-то востроглазая черненькая девочка лет восемнадцати, одетая в темное шерстяное платье, фланелевый клетчатый салоп и красный терновый капор. Так как по этой лестнице в целом этаже не жило никого, кроме меня и Истомина, то мне несколько раз приходило в голову, что это за девушка и куда она ходит? Я даже осведомился об этом у своей Эрнестины Крестьяновны, но моя «прислуга» не могла дать мне на этот счет никакого

определенного ответа. Потом случилось мне как-то дня через два выйти из дому часу в девятом вечера, и только что я переступил порог своей двери, как у дверей Истомина предстал мне знакомый красный капор. При моем появлении капор быстро повернулся ко мне спиною и сильно дернул два раза медную шишку звонка.

Дверь Истомина отворилась, и голос Янка сказал гостье:

— Оборвешь так, востроглазая!

Что же еще было добиваться, что это за девица? Человек же был и Янко; нужен же был, разумеется, и ему свой роман в жизни.

Позднейшие обстоятельства показали, что правильное появление вечерами на нашей лестнице этой востроглазой девушки в самом деле было достойно особенного внимания, но что хотя Янко, в качестве живого человека, имел полнейшее право на собственный роман в Петербурге, однако же тем не менее эта востроглазая особа совсем не была героинею его романа.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Есть на свете такие люди (и их очень немало), которые необыкновенно легко привязываются ко всему: к местам, к людям, к собакам, к изношенным туфлям, к дерзкой прислуге и к старому халату. Такие люди разлучаются с предметами своей привязанности только в случае самой крайней необходимости или по причинам, от них не зависящим; да и то для некоторых из таких людей всякая подобная разлука необыкновенно тяжела и долгое время совершенно невознаградима, а иногда и совсем непереносна. Я знал одного человека, очень умного, образованного и в своем роде стоика, который с геройским мужеством переносил от своей жены самые страшные семейные сцены за привязанность к старому ватному халату; и у этого халата ниже поясницы давно была огромная дыра, обшлага мотались бахромою, углы пол представляли ряд сметанных на живую нитку лент, или покромок. Этот привязчивый человек, опасаясь за судьбу своего износившегося друга, сам тщательно за-

пирал его в гардеробный шкаф и всячески охранял его от рук давно покушавшейся на него супруги. Но, несмотря на все это, драгоценный халат все-таки в один прекрасный день исчез из гардероба и на месте его висел новый. Таким это было горем для моего знакомого, что у него чуть не развилась настоящая nostalgia[1] со всеми явлениями рекрутской тоски по родине. Прошли с тех пор целые годы, а он все, глядишь, при каком-нибудь разговоре о хороших вещах и заговорит: «нет, вот, господа, был у меня один раз халат, так уж никогда у меня такого халата не будет — мягонький, приятный!»

— Да помилуйте, — утешали его, — у вас и этот халат прекрасный.

— Ну, уж какой же это прекрасный халат! Как его можно назвать прекрасным! — возражал мой знакомый. — Тот халат, я вам говорю, был такой, что сидишь в нем, бывало, точно в литерной ложе в Большом театре.

Я тоже имею несчастие принадлежать к несчастному разряду людей, одаренных непрактичною способностью привыкать и привязываться к вещам, к местам и — что всего опаснее — к людям.

Пока моя запущенная квартира устроивалась и приводилась в порядок, я по необходимости держался одного моего кабинетца или даже, лучше сказать, одного дивана, который стоял у завешенной сукном двери на половину Истомина; и так я за это время приучился к этому уголку, что когда в жилище моем все пришло в надлежащий порядок, я и тогда все-таки держался одного этого угла.

Один раз, в самые сумерки, усталый более чем когда-либо, я почувствовал легкую нервную дрожь, завернулся в теплый мерлушечий тулупчик, прилег в уголок дивана и забылся очень крепким и сладким сном. Снилась мне золотая Украйна, ее реки, глубокие и чистые; седые глинистые берега, покрытые бледно-голубою каймою цветущего льна; лица, лица, ненавистно-милые лица, стоившие стольких слез, стольких терзающих скорбей и гнетущего горя, и вдруг все это тряслось, редело, заменялось темным бором, в котором лохматою ведьмою носилась метель и с диким визгом обсыпала тонкими, иглистыми снежинками лукавую фигуру лешего, а сам леший сидел где-то

---

[1] Тоска *(греч.)*.

под сосною и, не обращая ни на что внимания, подковыривал пенькою старый лыковый лапоть. Сменялась и эта картина, и шевелилось передо мною какое-то огромное, ослизшее, холодное чудовище, с мириадами газовых глаз на черном шевелящемся теле, по которому ползли, скакали, прыгали и спотыкались куда-то вечно спешащие люди; слышались сиплые речи, детские голоса, распевающие под звуки разбитых шарманок, и темный угол моей комнаты, в окне которой слабо мерцал едва достигавший до нее свет уличного фонаря. Мне все спалось; спалось несколько слабее, но еще слаще, и, ютясь все крепче в уголок моего дивана, я вдруг услыхал, как чей-то маленький голос откуда-то из-под шерстяной обивки говорил кому-то такие ласковые речи, что именно, кажется, такие речи только и могут прислышаться во сне. Никак я не мог запомнить этих хороших слов и стал просыпаться.

— Мой идол... идол... *и-д-о-л!* — с страстным увлечением говорил маленький голос в минуту моего пробуждения. — Какой ты приятный, когда ты стоишь на коленях!.. Как я люблю тебя, как много я тебе желаю счастья! Я верю, я просто чувствую, я знаю, что тебя ждет слава; я знаю, что вся эта мелкая зависть перед тобою преклонится, и женщины толпами целыми будут любить тебя, боготворить, с ума сходить. Моя любовь читает все вперед, что будет; она чутка, мой друг! мой превосходный, мой божественный художник!

Роман Прокофьич сделал слабое, чуть слышное движение.

— Постой, постой! — остановил его маленький голос. — Останься так; постой передо мною на коленях. Я так люблю ласкать тебя, мой славный. Ты так *высок,* что я не достаю твоих кудрей, когда ты встанешь. А я люблю! как я люблю вот эти черные — вот эти демонские кудри!.. Ох, когда б ты знал, как я люблю тебя, мой Ромцю! Как много я тебе желаю счастья, славы и... любви... Постой, постой!.. дай мне сказать тебе про все. Ты знаешь... я дышать не могу, когда вдвоем с тобою. В груди тут у меня, нет... этого... нет ничего того, что там у всех бывает, а только — сердце. Огромное, во всей груди все сердце... и в этом сердце все огонь; огонь и рана — Ромцю... И мне так хочется тогда... вот и теперь... такое что-то сделать для тебя... что было б выше сил моих... Когда бы

ты знал, как хочется мне быть для тебя несчастной... такой несчастной, чтобы мое несчастье испугало бы всех... а чтобы ты... О, чтобы ты был счастлив! счастлив!.. и чтобы это счастье я тебе купила! Но... я не знаю... а ты не говоришь, что сделать для тебя. Как мне погибнуть? как? Учи меня, учи, учи скорее, Ромцю...

Маленький голос задрожал и продолжал, трясясь и млея:

— Мне снилось раз, какое счастье... Не помню, я чего-то начиталась, усталая уснула и вижу, что на тебе венок; и что тебя везут в какой-то колеснице; что женщины все на коленях стоят перед тобою и говорят про что-то, про славу, про любовь или еще про что-то... а я ничего не умею сказать тебе. Не умею даже сказать, что я люблю тебя и... Постой, Ромцю! Постой, не уходи... Я бросилась под лошадей твоих и их копыта, и эти острые колеса впились мне в грудь... и так легко мне было, Ромцю. Ах, как легко! ах, как легко! — какое было счастье! О, где тот Рим, в который я могу нести вслед за тобой твой мольберт, холст, твою палитру, краски... Боже! Боже! какие горести, какое зло ты можешь мне послать, чтоб я забыла за ними благословлять тебя, если только один луч его славы упадет на мою голову? Оставь, брось этот страшный город! Брось деньги, брось, возненавидь их... Пойдем! Пойдем отсюда, мой Ромцю! Мы станем жить одни, тихонько; к нам не заглянет скука — не бойся. И когда ты будешь счастлив, славен... и тогда... О, что ж тогда?.. О, говори мне, что ж тогда, когда все будут знать, что я тебя лелеяла, что я тебе служила?.. что я твой друг!..

— Что ты моя любовь.

— Что я твоя любовь!.. О нет, не нужно, чтобы это знали, пока я буду жить... Нет... тогда... я поскорей умру, и на моей могиле пускай напишут, что *ты* любил меня! Живой ты мне одной, наедине... скажи одно *спасибо*.

— А ты мне чем ответишь?

Вышла коротенькая паузка, после которой слабый голосок стыдливо и восторженно сказал:

— Я чем отвечу?

— Поцелуем?

— Да.

— Одним?

— Ах, полно говорить об этом! Миллионом, если хочешь.

— Миллион! миллион! ох, как далеко тот миллион!

Истомин смолчал секунду и прошептал:

— Сейчас... теперь... сию минуту...

— Руки! руки больно! руки!

— Один сейчас, в задаток! Сейчас, сейчас — он все равно один из моего миллиона.

— Один... ты лжешь; ты страшен...

— Нет, нет, ничего, не бойся. Я ведь один.

Она была в смущении и молчала.

— Отказ?

— Нет; на, целуй.

— Да; раз... один; но бесконечный! — и он смял и задушил ее в своих объятиях.

Позднее опять слышался разговор, но такой частый, что его понять было невозможно; слова неслись как мелкий песок, сгоняемый ветром с пригорка в долину. Мне опять стало спаться и стала сниться эта долина, сухая, серая, пыльная, без зелени, совсем без признака жизни; ветер гнал в нее тучи песчаной пыли, свивал их столбом облачным и шибко поднимал вихрем к небу. В самой середине этого крутящегося серого столба мелькала тоже совершенно серая, из пыли скатанная человеческая фигура; она долго вертелась валуном и, наконец, рассыпалась, и когда она рассыпалась, я увидал, что это была бабушка Норк.

Я проснулся совсем; за стеной у меня было все тихо; на улице мерцали фонари; где-то ныла разбитая шарманка, и под ее унылые звуки разбитый голос пел:

Танцен дами, стид откинов,
Кавалерен без затей,
Схватит девишка, обнимет
И давай вертеться с ней.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Был вскоре за этим новый человеконенавистный петербургский день с семью различными погодами, из которых самая лучшая в одно и то же время мочила и промораживала. Пробитый насквозь чичером, чередовав-

шимся с гнилою мокрядью и морозом, я возвратился домой с насморком и лихорадочным ознобом и, совсем больной, укутавшись потеплее, повалился на свой уютный диван. Дышалось мне тяжело, и во всем теле беспрестанно ощущалась неприятная наклонность вздрагивать; но тем не менее я, должно быть, заснул очень скоро, потому что скоро же очень из моей пустой и темной залы стали доноситься до меня мягкие, но тяжелые медвежьи шаги, сап, глубокие вздохи и какое-то мягкое кувырканье. Прошла еще пара минут, и в дверях, прямо против моего лица, показался на задних лапах огромный, бурый с проседью медведь. Он держался одною переднею лапою за притолку, медленно покачивался и, далеко высунув свой пурпурно-красный язык, тяжело дышал и щурился. От него, как от раскаленной чугунной печки, било в меня несносным, сухим жаром; лишенный всякого эпителия, тифозный язык моего гостя мотался и вздрагивал; его липнущие маленькие глаза наводили дрему непробудную. Медведь подошел к моему дивану, закрыл мое лицо своей пушистой грудью и начал лизать мою голову своим острым языком. Не мог я определить — хорошо мне от этого или худо; не мог я крикнуть, не в силах был повернуться. Сгорая сухим жаром горячки, я беспрестанно путался в каких-то нелепых представлениях, слышал то детский шепот, то медвежьи вздохи, то звон и заунывную песню «про солому». Это становилось несносно; хотелось во что-нибудь вслушиваться, что-нибудь понять и проснуться, но развинченное тело лежало пластом, и всякие трезвые впечатления были чужды больной моей голове. В таком состоянии прошло, должно быть, очень много времени, прежде чем окружающий меня горячий воздух стал как будто немного тонеть, разрежаться, и с тем вместе заворочался и начал спускаться к ногам давивший меня медведь.

Едва он чуть поосвободил мою голову, до моего слуха сейчас же, с первою же струйкою свежего воздуха, донеслось какое-то знакомое, необыкновенно ласковое слово.

Я ту же секунду по этому голосу узнал знакомый маленький голос, но мозг мой все-таки беспрестанно сбивался с пути, усыпал и путался. Ласковые слова долетали до меня с различными перерывами и по

временам совсем как-то доходили звуками без значения.

— Я не могу, — говорил мужской голос, — я люблю тебя, тебя одну, и тебя первую люблю я. Я чувствую, что при тебе только я становлюсь хоть на минуту человеком.

— Не говори этого, Ромцю; ты сам не знаешь, чего ты хочешь, — отвечал маленький голос.

— Я решил это, — говорил Роман Прокофьич, — слышишь, я решил. Я готов сделать это против твоей воли.

— Поди, поди лучше сюда и сядь!.. Сиди и слушай, — начинал голос, — я не пойду за тебя замуж ни за что; понимаешь: *ни за что на свете!* Пусть мать, пусть сестры, пусть бабушка, пусть все просят, пусть они стоят передо мною на коленях, пускай умрут от горя — я не буду твоей женой... Я сделаю все, все, но твоего несчастья... нет... ни за что! нет, ни за что на свете!

— О чем ты плачешь?

— О том, что ты меня не понимаешь. Ты говоришь, что я ребенок... Да разве б я не хотела быть твоею Анной Денман... Но, боже мой! когда я знаю, что я когда-нибудь переживу твою любовь, и чтоб тогда, когда ты перестанешь любить меня, чтоб я связала тебя долгом? чтоб ты против желания всякого обязан был работать мне на хлеб, на башмаки, детям на одеяла? Чтоб ты меня возненавидел после? Нет, Роман! Нет! я не так тебя люблю: я *за тебя* хочу страдать, но не хочу твоих страданий.

— О боже мой, о боже мой! как хороша, как дивно хороша ты, Маня! — прошептал Истомин.

— Опять все красота!

— Всегда о красоте. Она моя! моя! Скажи скорей: моя она?

— Твоя.

— Уйди ж теперь.

— Зачем?.. Куда идти?

— Беги, спасайся... Ты думаешь, я человек? Нет; я не человек: в меня с твоим вчерашним поцелуем вошел нечистый дух, глухой ко всем страданиям и слезам... беги... Он жертвы, жертвы просит!

— Жертвы!

— Да! тебя, тебя он требует на жертву.
— На жертву?.. Я готова.
— Ребенок! понимаешь ли, что ты сказала? Понятно ли тебе, какой я жертвы требую?
— Нет, — решительно ответила Маня.
— О дьявол! тебе такого чистого ягненка еще никто не приносил на жертву!
— Я ничего не понимаю. Мне жаль тебя, мой Ромцю; жаль, тебя мне жаль!
— Так поцелуй меня скорее.
— Целую; на, целую!
— Целуй... так, как ты меня целуешь... да, как ты сестер целуешь... иначе ждет беда!.. Нет; я не поцелую тебя!
И долго, долго было и тихо и жутко; и вдруг среди этой мертвой тишины сильный голос нервно вскрикнул.
— Я погублю тебя!
И в то же мгновение прозвучало тихое, но смелое:
— Губи!
«Маня! Маня!» — усиливался я закричать сколько было мочи, но чувствовал сквозь сон, что из уст моих выходили какие-то немые, неслышные звуки. «Маня!» — попробовал я вскрикнуть в совершенном отчаянии и, сделав над собой последнее усилие, спрыгнул в полусне с дивана так, что старые пружины брязгнули и загудели.
На этот шум из-за истоминских дверей ответил слабый, перекушенный стон.
Как ошеломленный ударом в голову, выскочил я в другую комнату и прислонился лбом к темному запотевшему стеклу. В глазах у меня вертелись тонкие огненные кольца, мелькал белый лобик Мани и ее маленькая закушенная губка.
Я перебежал впопыхах свою залу, схватил в передней с вешалки пальто, взял шляпу и выскочил за двери. Спускаясь с лестницы, слабо освещенной крошечною каминною лампою, я на одном повороте, нос к носу, столкнулся с какой-то маленькой фигурой, которая быстро посторонилась и, как летучая мышь, без всякого шума шмыгнула по ступеням выше. Когда эта фигурка пробегала под лампою, я узнал ее по темному шерстяному платью, клетчатому фланелевому салопу и красному капору.

Спешными и неровными шагами обогнул я торопливо линию, перебежал проспект и позвонил у домика Норков.

Мне отперла Ида Ивановна. Держа в одной руке свечу, она посмотрела на меня без всякого удивления, отодвинулась к стенке и с своей обыкновенной улыбкой несколько комически произнесла:

— Честь и место.

— Здравствуйте, Ида Ивановна! — начал я, протягивая ей руку.

— Проходите, проходите, там успеем поздороваться, — отвечала девушка, поворачивая в двери довольно тугой ключ.

В маленькой гостиной сидели за чаем бабушка и madame Норк.

— О, хорошо ж вы нас любите! — первая заговорила навстречу мне старушка.

— Да, хорошо вы с нами сделали! — поддерживала ее с относящимся ко мне упреком madame Норк. — Месяц, слышим, в Петербурге и навестить не придете. Я Иденьке уже несколько раз говорила, что бы это, говорю, Иденька, могло такое значить?

— А Ида Ивановна, — спрашиваю, — что же вам отвечала?

— Не помню я что-то, что она мне такое отвечала.

— Кажется, ничего, мама, не отвечала, — откликнулась Ида и поставила передо мною стакан чаю.

Я осведомился о Берте Ивановне, о ее муже и даже о Германе Вермане спросил и обо всех об них получил самые спокойные известия; но спросить о Мане никак не решался. Я все ждал, что Маня дома, что вот-вот она сама вдруг покажется в какой-нибудь двери и разом сдунет все мои подозрения.

— А слыхали вы, у нас в анненской школе недавно какое ужасное несчастие-то было? — начала после первых приветствий Софья Карловна.

— Нет, — говорю, — не слыхал. Что такое?

— Ах, ужасно! Представьте себе, одна маленькая девочка стальное перо проглотила.

— Это бывает в школах, — подсказала, вздохнувши, бабушка.

— Да, это бывает по трем причинам, — проговорила Ида Ивановна.

— Что такое, друг мой, по трем причинам? — прошептала старушка.

— Это, бабушка, так говорится.

— Как говорится?

— Ах, боже мой, бабушка! Ну, просто так говорят, что все, что бывает, бывает по трем причинам.

— Все-то ты, Иденька, врунья; всегда ты все что-нибудь врешь, — произнесла серьезно Софья Карловна и тихонько добавила: — Ох, эти дети, дети! Сколько за ними, право, смотреть надо! Вы вот не поверите, кажется уж Маня и не маленькая, а каждый раз, пока ее не дождешься, бог знает чего не надумаешься?

— А где же, — говорю, — Марья Ивановна?

— А на уроке. Уроки пения тут эти Шперлинги затеяли; оно, конечно, уроки обходятся недорого, потому что много их там — девиц двадцать или еще и больше разом собирается, только все это по вечерам... так, право, неприятно, что мочи нет. Идет ребенок с одной девчонкой... на улице можно ждать неприятностей.

— Kleine [1] неприятность не мешает grosse [2] удовольствию, Mutterchen, [3] — пошутила Ида Ивановна.

— Ох, да полно тебе, право, остроумничать, Ида! — отвечала с неудовольствием madame Норк. — Совсем неумно это твое остроумие. А мы нынче тоже как-то прескучно провели время, — продолжала она, обратившись ко мне. — Ездили раза два в Павловск, да все не с кем, все и там было скучно.

— С кукушкой говорили, — сказала Ида.

— Да; сядем да спрашиваем, сколько кому лет жить? Мне всё семь или восемь, а Маня спросит, она сразу и замолчит.

— А вам, Ида Ивановна?

— О, ей, кажется, сто лет куковала. Уж она, бывало, кричит ей: «будет, будет! довольно!», а та все кукует.

— Я бессмертная, — проговорила Ида.

— Ну да, как же, бессмертная!

— Увидите.

— Ну да, рассказывай, рассказывай! Глупая ты, право, Ида! — пошутила, развеселившись, старушка.

---

[1] Маленькая *(нем.)*.

[2] Большому *(нем.)*.

[3] Матушка *(нем.)*.

Ида, кажется, этого только и добивалась: она сейчас же обняла мать и, держа ее за плечи руками, говорила весело:

— Все умрут, мамочка, на Острове, все, все, все; а я все буду жить здесь.

— Почему ж это так? — смеялась, глядя в глаза дочери, старушка.

— А потому, что без меня, мама, здесь ничему быть нельзя.

— О, шутиха, шутиха!

Мать с дочерью снова весело обнялись и поцеловались.

В это же время у парадной двери резко брязгнул и жалобно закачался звонок.

Софья Карловна вздрогнула, вскочила со стула и даже вскрикнула.

— Ну, да что же это такое со мной в самом деле? — произнесла она, жалуясь и держась за сердце. — Ида! чего же ты стоишь?

Ида Ивановна пошла отпереть дверь и мимоходом толкнула меня за ширму, чтобы показать Мане сюрпризом.

Через секунду в магазине послышалось разом несколько легких шагов и Ида Ивановна сказала, что у них был я и только будто бы ушел сию минуту.

Маня ничего не ответила.

— Вы его не встретили? — продолжала Ида Ивановна.

— Нет, не встретили, — уронила чуть слышно Маня. Она сняла с головы капор, подошла прежде к материной, а потом к бабушкиной руке и молча села к налитой для нее чашке.

Я глядел на Маню сквозь широкий створ ширменных пол; она немного подвыросла, но переменилась очень мало; лицо ее было по обыкновению бледно и хранило несколько неестественное спокойствие, которому резко противоречила блудящая острота взгляда.

Я вышел из-за ширмы и подошел к столу. Маня прищурила свои глаза, всмотрелась в меня и сказала:

— Так вот это в чем дело!

С этими словами она протянула мне свою ручку, спросила, как я здоров, давно ли приехал, и опять спокойно занялась чаем, а в комнату вошла горничная девушка с трубкою перевязанных лентою нот и положила их на стол возле Мани. Хотя на этой девушке не было теперь

клетчатого салопа, но на ней еще оставался ее красный капор, и я узнал ее по этому капору с первого взгляда.

«Кончено!» — подумал я себе, глядя на Маню. А она сидит такая смирненькая, такая тихонькая, что именно как рыбка, и словечка не уронит. Даже зло какое-то берет, и не знаешь, на что злиться.

«А впрочем, и что же мне такое в самом деле Маничка Норк? На погосте жить — всех не оплачешь», — рассуждал я снова, насилу добравшись до своей постели.

На другое утро я уж совсем никак не мог подняться; прокинешься на минуточку и опять сейчас одолевает тяжелая спячка. Я послал за доктором и старался крепиться. Часу во втором ко мне вошел Истомин; он был необыкновенно счастлив и гадок; здоровое лицо его потеряло всю свою мягкость и сияло отвратительнейшим самодовольством.

— Нездоровы? — спросил он меня отрывисто.

Я отвечал, что болен, и не сказал ему более ни слова. Истомин отошел к окну, постоял, побарабанил пальцами по стеклам и затем, заметив мне наставительно, что «надо беречься», вышел.

С этой минуты я не видал ни Истомина, ни Мани в течение очень долгого времени, потому что у меня начался тиф, после которого я оправлялся очень медленно.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Подходило дело к весне. В Петербурге хотя еще и не ощущалось ее приближения, но люди, чуткие к жизни природы, начинали уже порываться вдаль, кто под родные сельские липы, кто к чужим краям. «Прислуга» моя донесла мне, что Роман Прокофьич тоже собирается за границу, а потом вскоре он и сам как-то удостоил меня своим посещением.

— Думаю поехать в Италию, — объявил он мне.

Я принял это известие очень спокойно и даже не вспомнил, кажется, в эту минуту о Мане, а только спросил Истомина — как же быть с квартирой?

— А пусть все так и остается, как было; я к осени ворочусь.

— Ну, — говорю, — и прекрасно.

Недели через полторы или через две он уехал и не подавал ни мне, ни слуге своему никакой весточки. На первых порах после его отъезда он прислал несколько писем Мане, которые были адресованы в его пустую квартиру. За этими письмами прибегала та же черномазенькая девочка, и через нее они, вероятно, исправно попадали в руки Мани. Я не учащал к Норкам и, когда уж необходимо было завернуть к ним, заходил на самое короткое время. Ужасно тяжело было мне всех их видеть и думать: «ах, друзья, не знаете вы, какая над вами беда рухнула!» Что же касается до самой Мани, то кроткая, всегда мало говорившая, всегда молчаливая девушка ничем не выдавала своего душевного состояния: она только прозрачнела, слегка желтела, как топаз, и Софья Карловна не раз при мне печалилась, что у Мани волосы начали ужасно сечься и падать.

Старушки делали мне часто выговоры и замечания, что я их разлюбил и забываю, и Маня тоже несколько раз спрашивала меня, чем они мне надоели? Только одна Ида никогда не заводила об этом никакой речи ни всерьез, ни в шутку. Я очень хорошо чувствовал, что это не было со стороны Иды холодным равнодушием к характеру наших отношений, а сдавалось мне, что она как будто видела меня насквозь и понимала, что я не перестал любить их добрую семью, а только неловко мне бывать у них чаще. Не знаю я, чем Ида объясняла себе эту мою неловкость, но только она всегда деликатно освобождала меня от всяких вопросов, и после какого бы промежутка времени мы с нею ни встретились, она всегда заговаривала со мною одинаково: коротко, ровно и тепло, точно только мы вчера расстались и завтра свидимся снова.

Раз как-то, посреди лета, я не был у Норков кряду с месяц и думал, что как бы мы уж и в самом деле не разошлись вовсе. В тот же самый день, как мне пришла в голову эта мысль, только что я уселся было поздним вечером поработать, слышу — снизу, с тротуара какой-то женский голос позвал меня по имени. Взглянул я вниз — смотрю, Ида Ивановна и с нею под руку Маня. Обе они в одинаких черных шелковых казакинах, и каймы по подолам барежевых платьев одни и те же, и в руках совер-

шенно одинаковые темные антука́. На длинных тротуарах линии, освещенной белым светом летней ночи, кроме двух сестер Норк, не было видно ни души.

— Что это вы делаете дома? — спросила меня, спокойно глядя вверх, Ида.

Маня только кивнула мне головкой.

При бледном свете белой ночи я видел, как личико Мани хотело сложиться в самую веселую улыбку, но это не удалось ей.

— Что я делаю? — Хочу поработать немножко, Ида Ивановна.

— Охота!

— Das muss, Ида Ивановна, а не охота.

— Sie müssen,[1] — отлично; но что это вы в самом деле совсем глаз не показываете? Не думаете ли вы, чего доброго, что за вами ухаживать станут? Дескать: «куманечек, побывай, душа-радость, побывай!»

Глаза Иды Ивановны потихоньку улыбались, и лицо ее по обыкновению было совершенно спокойно. Маня опять хотела улыбнуться, но тотчас потупилась и стала тихо черкать концом зонтика по тротуарной плите.

— А кстати о выстреле, что ваш сосед делает? — спросила Ида Ивановна.

«Это в самом деле, — думаю, — кстати о выстреле», и отвечаю, что Истомин за границею.

— Я это знаю: я хотела спросить, что он там делает?

— Не знаю, право, Ида Ивановна; верно хандрит или работает.

— А вы разве не переписываетесь?

Маня прилегла к сестриному плечу.

— Нет, — говорю, — переписывались, да вот месяца с полтора как-то нет от него ни слова.

— Таки совсем ни слова?

— Совсем ни слова.

— Вот постоянство здешних мест!

— Места, Ида Ивановна, непостоянные.

— Верно так вам и следует, — отвечала Ида и, кивнув головкой, пошла, крикнув мне: — Пусть вам ангелы святые снятся.

---

[1] Вы должны *(нем.)*.

Маня, трогаясь с места, еще раз хотела мне улыбнуться как можно ласковей, но и на этот раз улыбка не удалась ей и свернулась во что-то суровое и тревожное.

«Однако что ж бы это такое могло значить? — думал я, когда девушки скорыми шагами скрылись за углом проспекта. — Неужто Маня *все* рассказала сестре? неужто у Иды Ивановны до того богатырские силы, что, узнав от Мани все, что та могла рассказать ей, она все-таки еще может сохранять спокойствие и шутить? Это уж даже и неприятно, такое самообладание!» И мне на минуту показалось, что Ида Ивановна совсем не то, чем я ее представлял себе; что она ни больше, ни меньше как весьма практическая немка; имеет в виду поправить неловкий шаг сестры браком и, наконец, просто-напросто *ищет зятя своей матери*... Похвальная родственная заботливость, и только. Пришло мне в голову также, что, может быть, и самая Маня надумалась, нашла свои странные экзальтации смешными и сама пожелала сделать Истомина своим мужем... А может быть даже, что и все это была одна собачья комедия, в которой и Маня тоже искала *зятя своей матери.*

Даже скверно становилось от этих предположений.

«Не может ничего этого быть! — уговаривал я себя на другой день. — Верно, Ида Ивановна знает очень немногое; верно, она без всяких слов Мани знает только одно, что сестра ее любит Истомина, и замечает, что неизвестность о нем ее мучит».

Дней через пять или через шесть, в течение которых я по-прежнему ни разу не собрался к Норкам и оставался насчет всех их при своем последнем предположении, в одно прекрасное утро ко мне является Шульц.

— Вот, батюшка мой, история-то! — начал он, не вынимая изо рта сигары и вытаскивая из кармана какое-то измятое письмо.

— Что, — спрашиваю, — за история?

— Да такая, — говорит, — история, что хуже иной географии: Истомин дрался на дуэли и очень дурно ранен.

Фридрих Фридрихович дал мне немецкое письмо, в котором было написано: «Шесть дней тому назад ваш компатриот господин фон Истомин имел неприятную историю с русским князем N, с женою которого он три недели тому

назад приехал из Штуттгарта и остановился в моей гостинице. Последствием этой Geschichte[1] у г-на фон Истомина с мужем его дамы была дуэль, на которой г-н фон Истомин ранен в левый бок пулею, и положение его признается врачами небезопасным, а между тем г-н фон Истомин, проживая у меня с дамою, из-за которой воспоследовала эта неприятность, состоит мне должным столько-то за квартиру, столько-то за стол, столько-то за прислугу и экипажи, а всего до сих пор столько-то (стояла весьма почтенная цифра). Да сверх того (продолжало письмо) теперь я несу для г-на фон Истомина все издержки по лечению и различным хлопотам, возникшим из этого дела, а наличных денег у г-на фон Истомина нет. Вследствие всего этого г-н фон Истомин поручил мне написать вам о его положении и просить вас выслать мне мой долг и г-ну фон Истомину тысячу русских рублей, с переводом на мое имя. Парма, год, месяц и число. Адрес: такому-то хозяину «Hôtel de Venize».[2]

— Посылать или не посылать? — спросил Шульц, видя, что я дочитал письмо до конца.

Я был в большом затруднении, что ответить.

— Ну, а если это подлог? — допрашивал меня Шульц.

— Как это узнать, Фридрих Фридрихович?

— То-то, я ведь говорю, что все это, как говорится, оселок: тут сам черт семь раз ногу сломает и ни разу ничего не разберет.

— Риск, — отвечаю, — конечно, есть.

— Ну, только уж воля ваша, а мой згад всегда такой, что лучше рисковать деньгами, чем человеком. Деньги, конечно, вещь нужная, но все-таки, словом сказать, это дело нажитое.

Я с особенным удовольствием согласился с Шульцем и, провожая его к двери, с особенным удовольствием пожал его руку. Фридрих Фридрихович уехал от меня с самым деловым выражением на лице и часа через два заехал с банкирским векселем на торговый дом в Парме.

Деньги, нужные на выручку Истомина, были отосланы; но что это была за дуэль и вообще что это за история — разгадывать было весьма мудрено и трудно.

---

[1] Истории *(нем.)*.
[2] Отель «Венеция» *(франц.)*.

«Одно только очень желательно, — думал я в этот день по уходе Шульца, — желательно, чтобы Фридрих Фридрихович сохранил втайне это свое хорошее великодушие и не распространился об этой истории у Норков. Только нет — где уж Фридриху Фридриховичу отказать себе в таком удовольствии».

Так-таки все это на мое и вышло, и вот как я это узнал.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Густыми сумерками на другой день слышу у себя звонок, этакий довольно нерешительный и довольно слабый звонок, а вслед за тем легкие, торопливые шаги, и в мою комнату не вошла, а вбежала Маничка Норк.

— Убит? — прошептала она, подскочив ко мне и быстро дернув меня за руку.

Так варом меня и обварило.

— Только ранен, — отвечал я как можно спокойнее.

Маня выпустила мою руку и села в кресло.

Я опустил у окон сторы, зажег свечи и взглянул на Маню: лицо у нее было не бледно, а бело, как у человека зарезанного, и зрачки глаз сильно расширены.

Я пробовал два или три раза говорить с нею, но она не отвечала ни слова и, наконец, сама спросила:

— Это что такое — «кстати о выстреле»?

Я не понял.

— Сестра третьего дня сказала вам: «кстати о выстреле» — что это такое значило? — повторила Маня.

— Так, — говорю, — есть какой-то анекдот о хвастуне, который сделал один раз удачный выстрел и потом целую жизнь все рассказывал «кстати о выстреле».

— Это неправда, — отвечала Маня, покачав головой.

— Уверяю вас, что это не имело никакого другого значения.

— Вы знали, и Ида знала об этом несчастии — об этом ужасном несчастии!..

Маня закрыла свое личико белым платком; она не плакала, но ее тоненькие плечики и вся ее хрустальная фигурка дрожала и билась о спинку кресла.

Я принес стакан воды и несколько раз просил Маню выпить. Она отняла от сухих глаз платок и, не трогая стакана, быстро спросила меня:

— Кто это, который убил его?

— Вовсе он не убит, — отвечал я тихо и подвинул ей стакан с водою.

Маня нетерпеливо толкнула от себя стакан, так что вода далеко плеснулась через края по столу, и сама встала с кресла.

— Марья Ивановна! — сказал я, как умел мягче.

— Что?

— Послушайтесь меня, Марья Ивановна. Не идите сейчас домой: успокойтесь прежде хоть немножко.

Маня постояла еще с минуту и опять спросила:

— Что такое? я не поняла.

— Хоть воды глоток выпейте.

— Оставьте, — отвечала она шепотом и нагнулась в одну сторону, взявшись рукою за кресло.

Через минуту она распрямилась, сама выпила весь стакан воды, простилась со мной и сказала, что идет домой.

Со страхом и трепетом ждал я большой истории у Норков, но во всяком случае не такой, какая совершилась.

Часу в третьем ночи, только что я успел заснуть самым крепким сном, вдруг слышу, кто-то сильно толкает меня и зовет по имени. Открываю глаза и вижу, что передо мною стоит, со свечою в руках, моя старуха.

— Сейчас надо, — проговорила она, суя мне под нос маленькую записочку:

«Придите к нам сию минуту.

*Ида.*»

Это все, что было написано на поданном мне крошечном клочке бумажки.

Спрашиваю старуху:

— Кто принес эту записку?

Говорит, что принесла девочка, сунула в дверь и ушла, сказав, что ей некогда ждать ответа.

Я оделся в одну минуту и побежал к Норкам. Ночь стояла темная и бурная; хлестал мелкий дождь, переме-

шанный с снегом, и со стороны гавани, через Смоленское поле, доносились частые выстрелы сигнальной пушки. Несмотря на то, что расстояние, которое я должен был перебежать, было очень невелико, я начал сильно дрожать от нестерпимой сиверки и чичера. Подъезд Норков, против обыкновения, был отперт, и в магазине на прилавке горела свеча в большом медном подсвечнике. С первого шага за порог чувствовалось, что сюда пришло в гости ужасное несчастье. Что-то феральное и неотразимое чудилось во всем: в зажженных и без всякого смысла расставленных свечах, в сбитых мебельных чехлах, в сухом и бестолковом хлопанье дверей. Тревога такой обстановки сообщается ужасно быстро, и я почувствовал ее, как только вошел в залу. Здесь на фортепиано горела без всякой нужды другая свеча и рядом с нею ночная лампочка, а на диване лежало что-то большое, престранное-странное, как будто мертвец, закрытый белой простынею. Я подумал, что это оставлены на ночь шубы; но из-под одного края простыни выставлялись наружу две ноги, обутые в белые чулки и голубые суконные туфли. Простыня не шевелилась и не двигалась. Господи, что бы это такое значило? Дверь из залы в комнату Софьи Карловны была открыта, и она сидела прямо против двери на большом голубом кресле, а сзади ее стоял Герман Верман и держал хозяйку за голову, как будто ей приготовлялись дергать зубы. В ногах Софьи Карловны стояла на коленях кухарка и выжимала в руках мокрое полотенце. Увидев меня, madame Норк горько-прегорько заплакала и задергала головою в крепких ладонях Германа.

— Что это у вас такое? — спросил я чуть слышно, нагинаясь к уху кухарки.

Софья Карловна еще отчаяннее воззрилась в меня необыкновенно жалобным взором и часто залепетала:

— Циги-циги-циги.

Я взял ее за руку и пригнулся ухом к ее лицу.

— Циги-циги-циги, — лепетала старуха, качая головою и заливаясь слезами. Язык ни за что ей не повиновался; она это чувствовала и жаловалась одними слезами.

В коридорчике, отделявшем комнату Софьи Карловны от комнаты девиц, послышался легкий скрип двери и тихий болезненный стон, в котором я узнал голос Мани, а вслед за тем на пороге торопливо появилась Ида Ива-

новна; она схватила меня мимоходом за руку и выдернула в залу.

— Доктора? — спросил я, глядя ей в лицо.

— Акушера, — прошептала она, крепко сдавив мою руку.

Софья Карловна во все глаза глядела то на меня, то на Иду Ивановну и плакала; Верман по-прежнему держал ее за голову, а кухарка обкладывала лоб мокрым полотенцем.

— А бабушка? — шепнул я Иде, надевая брошенное на фортепиано пальто.

Ида погрозила мне пальцем и, приложив его к своим губам, приподняла угол простыни с лежавшей на диване кучи. Из-под этого угла выставилось бледно-синее лицо старухи.

— Умерла!

— И в Маниной комнате, — отвечала Ида. — И не забудьте, — продолжала девушка, — что она *встала* с своего кресла, что она, безногая, *пошла, прокляла ее* и умерла. Ах, что здесь делается! что здесь делается! Я не знаю, как я в эту ночь не сошла с ума.

Я не утерпел и сказал:

— Да вы, Ида Ивановна, крепитесь.

— Я крепка, — отвечала, вздрогнув, Ида. — О-о! не бойтесь, в несчастии всякий крепок.

В эту секунду из дальних комнат опять донесся слабый стон, и Софья Карловна залепетала:

— Циги-циги-циги.

— Бегите! — крикнула Ида и сама бросилась из магазина.

Сбегая с подъезда, я столкнулся с Шульцем и его женою, но впопыхах мы даже не поклонились друг другу. Я видел, что Шульц дрожал.

Одна Ида Ивановна сохранила при этих ужасных обстоятельствах все присутствие духа. Она распорядилась вытребовать меня прежде Шульца нарочно, чтобы меня, а не его и не кого-нибудь из прислуги послать за акушером.

При всех стараниях я едва только к шести часам утра мог привезть к Норкам акушера, какого-то развинченного, серого господина, который спросонья целый час сморкался и укладывал свои варварские инструменты

в такой длинный замшевый мешок, что все его руки входили туда по самые плечи, как будто и их тоже следовало завязать там вместе с инструментами.

— Вы, пожалуйста, по возможности старайтесь, чтобы семейство не заметило вашей специальности, — просил я этого барина, подводя его к дому Норков.

Акушер посмотрел на меня, высморкался и свернул свой мешок несколько поаккуратнее.

Ида Ивановна встретила нас в магазине, пригласила врача-специалиста за собою, а мне сказала:

— Идите пока домой. Здесь никого не надо.

В отворенные двери магазина я видел, что бабушка уже лежала на столе.

Тяжелая полоса потянулась над бедным семейством Норков. Похороны бабушки отбывались как бы потоймя, без всякого шума и наскоро. Столбняковое состояние Софьи Карловны окончилось в минуту ее прощания с гробом матери: она разрыдалась и заговорила. Виновница всех этих бед, слабая Маня, хотя и разрешилась в страшных муках мертвым, еще не сформировавшимся ребенком, но оставалась в положении самом неутешительном. Много дней кряду она провела в постоянном забытьи и без сознания; к этому присоединились другие явления, заставлявшие всех беспрестанно ждать еще худшего и опасаться то за Манину жизнь, то за ее рассудок.

В доме Норков все шло тихо и уныло. Ни Софья Карловна, ни Ида Ивановна, ни madame Шульц хотя и не надели по бабушке плерезов, чтобы не пугать ими Мани, но ходили в черных платьях, значение которых Мане нетрудно было разгадать, если только эти платья когда-нибудь останавливали на себе ее внимание. Обо всем, что произошло, что, как нежданная туча, разразилось над этим семейством, никто никогда не заводил ни слова. Все избегали самомалейшего намека на то, что случилось, и жили по английской пословице, запрещающей в доме повешенного говорить о веревке.

Но тяжелая полоса, я говорю, еще тянулась. Находясь по своим делам в Москве, этак через месяц, что ли, после описанной истории, я получил от Иды Ивановны письмо, в котором она делала мне некоторые поручения и, между прочим, писала: «Семейные несчастия наши не прекращаются; Маня в самом печальном положении:

у нее развивается меланхолия с самыми странными припадками. Как мы ни золотим себе эту новую пилюлю, которую судьба заставляет нас проглотить, но вся ее горечь все-таки наружи. Ясно, что это просто тихое сумасшествие. Я хотела в этом удостовериться и пригласила доктора N; он сказал, что я права. Он сказал, впрочем, что положение сестры не безнадежно, но что больную следует лечить скоро и внимательно, удалив ее прежде всего от всех лиц и предметов, которые напоминают ей прошлое. Нечего делать, надо велеть молчать сердцу и брать в руки голову: я приготовляю мать к тому, чтобы она, для Маниной же пользы, согласилась позволить мне поместить сестру в частную лечебницу доктора для больных душевными болезнями».

Еще позже, недели через две, Ида писала мне: «Мы пятый день отвезли Маню к N. Ей там прекрасно: помещение у нее удобное, уход хороший и содержание благоразумное и отвечающее ее состоянию. Доктор N надеется, что она выздоровеет очень скоро, и я тоже на это надеюсь. Я видела ее вчера; она меня узнала; долго на меня смотрела, заплакала и спросила о маменьке, а потом сказала, что ей здесь хорошо и что ей хочется быть тут одной, пока она совсем выздоровеет».

Маня долго, однако, проболела. Зима проходила, а она все еще оставалась в лечебнице. Ида Ивановна одна навещала сестру два раза каждую неделю и привозила о ней домой самые радостные вести. Месяца за полтора до выхода Мани из заведения я один раз провожал Иду Ивановну и видел Маню. Она была очень бледна, и эта бледность еще более увеличивалась от черной шелковой шапочки, которая была на ее обритой головке; но в общем Маня мне показалась совершенно здоровою. Ее болезненная впечатлительность действительно заметно уменьшалась. Никогда я не видал ее более спокойною, хотя Ида Ивановна рассказывала и сам я заметил, что у нее зато явился свой новый пунктик, новое *влияние*. Маня всею душою привязалась к доктору N. Насколько это чувство можно было анализировать в Мане, оно имело что-то очень много общего с отношениями некоторых молодых религиозных и несчастных в семье русских женщин к их духовным отцам; но, с другой стороны, это было что-то не то. Что-то строгое и равноправное

заявлялось в каждом обращении Мани к N, но в то же время все это выражалось с безграничнейшим доверием и теплейшей дружбой. Когда доктор N позволял себе заговорить с Манею о чем-нибудь в несколько наставительном тоне, Маня выслушивала его с глубоким вниманием и спокойствием; но тотчас же, как только он произносил последнее слово, Маня откашливалась и начинала возражать ему, сохраняя свое всегдашнее грациозное спокойствие и тихую самостоятельность. Она писала дневник и всякий раз давала его просматривать доктору. Этот дневник и служил у них предметом разговоров, из которых выходили их временные несогласия, но которых, кроме их двух, никто никогда не слышал.

Проходило лето; доктор давно говорил Мане, что она совершенно здорова и без всякой для себя опасности может уехать домой. Маня не торопилась. Она отмалчивалась и все чего-то боялась, но, наконец, в половине сентября вдруг сама сказала сестре, что она хочет оставить больницу.

Пятнадцатого числа Ида Ивановна взяла карету и поехала за Маней. В доме давно все было приготовлено к ее приему. Ида Ивановна перешла в комнату покойной бабушки, а их бывшая комната была отдана одной Мане, чтобы ее уж ровно никто и ничем не обеспокоил. Положено было не надоедать Мане никаким особенным вниманием и не стеснять ее ничьим сообществом, кроме общества тех, которых она сама пожелает видеть.

Возвратясь домой, Маня немножко сплакнула, поблагодарила мать за ее любовь и внимание и тихо заключилась в свою комнатку. С тех пор сюда не входил никто, кроме Иды, которая сообщала мне иногда по секрету, что Маня до жалости грустна и все-таки по временам тяжело задумывается.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В эту самую пору, с птичьим отлетом в теплые страны, из теплых стран совершенно неожиданно возвратился Роман Прокофьич Истомин. Он явился светлым, веселым, сияющим и невозмутимо спокойным. Было около

девяти часов утра, когда он вошел ко мне в каком-то щегольском пиджаке и с легким саквояжем из лакированной кожи. Он обнял меня, расцеловал и попросил чаю. За чаем мы говорили обо всем, кроме Норков и загадочной дуэли. Истомин ни о тех, ни о другой не заговаривал, а я не находил удобным наводить его теперь на этот разговор. Так мы отпили чай, и Истомин, переодевшись, отправился куда-то из дома.

После обеда мы опять начали кое о чем перетолковывать.

— А что это вы ничего не расскажете о вашей дуэли? — спросил я Романа Прокофьича.

— Есть про что говорить! — отвечал он, разматывая перед зеркалом свой галстук.

— А мы тут совсем было вас похоронили, особенно Фридрих Фридрихович.

— Ему о всем забота!

— А вы у Норков не были?

— Нет, не был.

— Вы знаете, что Маня-то выздоровела?

— Выздоровела! — скажите пожалуйста! Вот слава богу. Очень рад, очень рад, что она выздоровела. Я часто о ней вспоминал. Прелестная девочка!

— Еще бы! — смело может сказать, что «я вся огонь и воздух, и предоставляю остальные стихии низшей жизни»!

— Да, да; «все остальное низшей жизни»! чудное, чудное дитя! Я бы очень желал на нее взглянуть. Переменилась она?

— Очень.

— Отцвела?

— Да, поотцвела.

— Странный народ эти женщины! — как у них это скоро. Я говорю, как они скоро отцветают-то!

Истомин прошелся раза два по комнате и продекламировал: «Да, как фарфор бренны женские особы».

— А что, как она?.. спокойна она? — спросил он, остановясь передо мною.

— Кажется, спокойна.

— Неужто-таки совсем спокойна?

— Говорят, и мне тоже так кажется.

— Таки вот совсем, *совсем спокойна?*

Я посмотрел на Истомина с недоумением и отвечал:

— Да, совсем спокойна.

Истомин заходил по комнате еще скорее и потом стал тщательно надевать перчатки, напевая: «Гоп, мои гречаники! гоп, мои белы!»

— Ну, а чертова Идища?

— Что такое?

— Не больна, не уязвлена страстью?

— Это, — говорю, — забавный и странный вопрос, Роман Прокофьич.

— Забавно, быть может, а чтобы странно, то нет, — процедил он сквозь зубы и, уходя, снова запел: «Святой Фома, не верю я...»

Опять Истомин показался мне таким же художественным шалопаем, как в то время, когда пел, что «любить мечту не преступленье» и стрелял в карту, поставленную на голову Яна.

Он возвратился ночью часу во втором необыкновенно веселый и лег у меня на диване, потому что его квартира еще не была приведена в порядок.

— Ели вы что-нибудь? — осведомился я, глядя, как он укладывается.

— Ел, пил, гулял и жизнью наслаждался и на сей раз ничего от нее более не требую, кроме вашего гостеприимного крова и дивана, — отвечал не в меру развязно Роман Прокофьич.

«Шалопай ты был, шалопай и есть», — подумал я, засыпая.

— Сделайте милость, перемените вы эту ненавистную квартиру, — произнес за моим стулом голос Иды Ивановны, когда на другой день я сидел один-одинешенек в своей комнате.

— Я уж забыла счет, — продолжала девушка, — сколько раз я являюсь сюда к вам, и всегда по милости какого-нибудь самого скверного обстоятельства, и всегда с растрепанными чувствами.

— Что опять такое сделалось?

— Истомин приехал?

— Приехал.

Ида Ивановна громко ударила ладонью по столу и проговорила:

— Я отгадала.

— Что же, — спрашиваю, — далее?

— Маня не в себе.

— Худо ей?

— Да я не знаю, худо это или хорошо, только они виделись.

— Разве был у вас Истомин?

— Тогда бы он был не Истомин. Он не был у нас, но Мане, должно быть, было что-нибудь передано, сказано или уж я не знаю, что такое, но только она вчера первый раз спросила про ту картину, которую он подарил ей; вытирала ее, переставляла с места на место и потом целый послеобед ходила по зале, а ночь не спала и теперь вот что: подайте ей Истомина! Сегодня встала, плачет, дрожит, становится на колени, говорит: «Я не вытерплю, я опять с ума сойду». Скажите, бога ради, что мне с нею делать? Ввести его к нам... при матери и при Фрице... ведь это — невозможно, невозможно.

Решили на том, что я переговорю с Истоминым и постараюсь узнать, каковы будут на этот счет его намерения.

— Знаете что, — говорила мне, прощаясь у двери, Ида, — первый раз в жизни я начинаю человека ненавидеть! Я бы очень, очень хотела сказать этому гению, что он... самый вредный человек, какого я знаю.

— И будет случай, что я ему это скажу, — добавила она, откинув собственною рукою дверную задвижку.

— Маня Норк очень хочет повидаться с вами, — передал я без обиняков за обедом Истомину.

— А! — это с ее стороны очень мило, только, к несчастию, неудобно, а то бы я и сам рад ее видеть.

— Отчего же, — говорю, — неудобно? Пойдемте к ним вечером.

Истомин ел и ничего не ответил.

— Вы не пойдете? — спросил я его, собираясь сумерками к Норкам.

— Нет, не пойду, не пойду, — ответил он торопливо и сухо.

— Напрасно, — говорю.

— Мой милый друг! не тратьте лучше слов *напрасно.*

— Надо вас послушаться, — ответил ему я и пошел к Норкам, размышляя, что за чушь такую я делал, приглашая с собою Истомина сегодня же.

Ида Ивановна выслушала мой рапорт и пошла к Мане, а прощаясь, сунула мне записочку для передачи Роману Прокофьичу и сказала:

— Если он этого не сделает, это уж будет просто бесчеловечно! Маня просит его униженно, и если он не пойдет, — я не знаю, что он тогда такое. Приходите завтра вместе в пять часов — наших никого не будет, потому что maman [1] поедет с Шульцами в Коломну.

Я вручил Истомину Манину записку. Он прочел ее и подал мне. «Милый! — писала Маня, — я не огорчу тебя никаким словом, приди только ко мне на одну минутку».

— Да; она очень хочет вас видеть, и завтра вечером у них, кроме Иды Ивановны, никого не будет дома, — сказал я, возвращая Истомину Манину записку.

Он взял у меня клочок, мелко изорвал его и ничего не ответил.

На другой день, ровно в пять часов вечера, Истомин вошел ко мне в пальто и шляпе.

— Пойдемте! — сказал он с скверным выражением в голосе, и лицо у него было злое, надменное, решительное и тревожное.

Я встал, оделся, и мы вышли.

— Вы уверены, что, кроме девушек, у них никого нет дома? — спросил он меня, лениво сходя за мною с лестницы.

— Я в этом уверен, — отвечал я и снова повторил ему слова Иды Ивановны.

Истомин позеленел и спрятал руку за борт своего пальто. Мне казалось, что, несмотря на теплый вечер, ему холодно, и он дрожит.

Молча, не сказав друг другу ни слова, дошли мы до квартиры Норков и позвонили.

— Глядите, может быть старуха дома? — проговорил за моим плечом каким-то упавшим голосом Истомин.

Я ничего не успел ему ответить, потому что нас встретила Ида Ивановна.

Истомин поклонился ей молча, она тоже ответила ему одним поклоном.

— Подождите, — сказала она, введя нас в залу, и сама вышла.

---

[1] Маменька *(франц.)*.

Истомин подошел было к окну, но тотчас же снова отошел в глубь комнаты и сел, облокотясь на фортепиано.

Тревожно и с замиранием сердца я ждал момента этого странного свидания.

Минуты через две в залу возвратилась Ида Ивановна.

— Потрудитесь идти за мною, — сказала она Истомину.

Он встал и смело пошел через спальню Софьи Карловны в комнату Мани.

Ида Ивановна пропустила его вперед и, взяв меня за руку, пошла следом за Романом Прокофьичем.

Идучи за Идой Ивановной, я чувствовал, что ее рука, которою она держала мою руку, была совершенно холодна. Я посмотрел ей в глаза — они были спокойны, но как бы ждали откуда-то неминуемой беды и были на страже.

Истомин подошел к двери Маниной комнаты и остановился. Дверь была отворена и позволяла видеть всю внутренность покоя. Комната была в своем обыкновенном порядке: все было в ней безукоризненно чисто, и заходившее солнце тепло освещало ее сквозь опущенные белые шторы. Маня, в белом пеньюаре, с очень коротко остриженными волосами на голове, сидела на своей постели и смотрела себе на руки.

— Сестра! — тихо позвала ее Ида Ивановна.

Маня тихо подняла голову, прищурила свои глазки, взвизгнула и, не касаясь ногами пола, перелетела с кровати на грудь Истомина.

В это же мгновение Истомин резко оттолкнул ее и, прыгнув на середину комнаты, тревожно оглянулся на дверь.

Отброшенная Маня держалась за голову и с каждым дыханием порывалась с места к Истомину.

— Не отгоняй меня! не отгоняй! — вскрикнула она голосом, который обрывался на каждом слове, и с протянутыми вперед руками снова бросилась к художнику.

Истомин одним прыжком очутился на окошке, открыл раму и выскочил на железную крышу кухонного крыльца.

В руке его я заметил щегольскую оленью ручку дорогого охотничьего ножа, который обыкновенно висел у него над постелью. Чуть только кровельные листы загремели

под ногами художника, мимо окон пролетело большое полено и, ударившись о стену, завертелось на камнях.

Я выглянул в окно и увидал на кухонном крыльце Вермана. Истомина уж не было и помину. Соваж стоял с взъерошенными волосами, и в левой руке у него было другое полено.

— Я, это я, — говорил Соваж, потрясая поленом.

Маня тихо и молча перебирала ручками свои короткие волосы.

Я решительно не помню, что после было и как я вышел. Я опомнился за воротами, столкнувшись лицом к лицу с Верманом. Соваж стоял на улице в одних панталонах и толстой серпинковой рубашке и страшно дымил гадчайшей сигарой.

— Герман! зачем вы это сделали? — спросил я его в сильном волнении.

— Да! — отвечал Соваж, — да!.. бревном сакрамента... мерзавца... О, я его здесь подожду! я долго подожду с этой самой орудия!

Герман кивнул головою назад и позволил мне разглядеть лежавшее у него за пятками полено.

— Друг мой, это бесполезно.

— Я не друг ваш! — отвечал сердито Верман, — понимайте! Я не друг того, у кого друг такой портной.

— Какой портной, Верман?

— Какой? какой портной? Какой без узла шьет — вот какой. Нет; ти, каналья, с узлом нитка шей! да, с узлом, с узлом, черт тебя съешь с твоей шляпой и с палкой!

Соваж вдруг поднял над головой лежавшее у него за каблуками полено и, заскрипев зубами, как-то не проговорил, а *прогавкал:*

— Портной без узла! я тебя... в столб вобью!

Полено треснулось с этими словами о тумбу, и одно и другая одновременно раскололись.

Соваж стоял и ерошил свои волосы над разбитою тумбою. На улице не было ни души.

Я долго смотрел на безмолвного Германа, — и представьте себе, о чем размышлял я? Маня, вся только что разыгравшаяся сцена, все это улетело из моей головы, а я с непостижимейшим спокойствием вспомнил о том коренастом, малорослом германском дикаре, который в венском музее стоит перед долговязым римлянином, и мне

становилось понятно, как этот коренастый дикарь мог побить и выгнать рослого, в шлем и латы закованного потомка Германика и Агриппины.

Это непостижимо, каким это образом в такие страшные, критические минуты вдруг иной раз вздумается о том, о чем бы, кажется, нет никакой стати и думать в подобные минуты.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Возвратясь домой, я не пошел к Истомину. Было ясно, из-за чего он разыграл всю эту гадкую историю: ему вообразилось, что его женят на Мане, и все это свидание счел за подготовительную сцену — за засаду. Досадно было, зачем же он шел на это свидание? чего же он хотел, чего еще добивался от Мани?

В одиннадцатом часу утра на другой день ко мне является Шульц — бледный и оскорбленный.

— Здравствуйте,— говорит, — и одевайтесь — пойдемте к Истомину.

— И что, — спрашиваю, — будет?

— Будет? — дуэль будет. Я убью его.

— Или он вас.

— Или он меня.

— Зачем же вам я-то?

— Я хочу иметь свидетеля при этом разговоре.

Мы вошли к Истомину; он лежал на диване, закинув руки за затылок и уложив ногу на ногу. При нашем приходе он прищурил глаза, но не приподнялся и не сказал ни слова.

— Господин Истомин! — начал сухо Шульц. — Я много ошибся в вас...

— Сделайте милость, со всем этим к черту! — вскрикнул, сорвавшись с дивана, Истомин. — Я терпеть не могу присутствовать при составлении обо мне критических приговоров. Мне все равно, что обо мне думают.

— Да, это очень может быть; говорят, что в России есть такие люди, которым все равно, что о них думают, но я во всяком случае уверен, что вы честный человек, господин Истомин.

— А мне доставляет большое удовольствие заметить вам, что вы еще раз ошибаетесь: я нечестный человек, господин Шульц.

Шульц немного сконфузился и спросил:

— Отчего?

Истомин рассмеялся; он встал на ноги и, заложив руки в карманы, отвечал:

— Оттого, господин Шульц, что несколько раз хотел быть как следует честным человеком, и мне это никогда не удавалось, — теперь охоты более к этому не имею. Еще оттого, господин Шульц, что не стоит быть честным человеком, и, наконец, оттого, господин Шульц, что быть честным человеком значит или быть дураком, или походить на вас, а я не хочу ни того, ни другого.

— Я, господин Истомин, хочу не замечать ваших невежливостей... — Шульц поперхнулся, сдавил рукою горло и добавил: — Я удивляюсь только, господин Истомин, как вы можете быть так покойны.

— Значит, вы не большой мудрец, господин Шульц; большие мудрецы ничему не удивлялись.

— Может быть... Простите, пожалуйста; я не для разговоров к вам пришел... у меня горло сдавливает, господин Истомин.

— Ага! сдавливает — это хорошо, что сдавливает; я слыхал, что с приближением к полюсам все собаки всегда перестают лаять!

Шульц так и подпрыгнул.

— Лаять! — вскрикнул он. — Лаять! Я лаю, господин Истомин; я лаю, да я молчком не кусаюсь, да-с; я верная собака, господин Истомин; я не кусаюсь. Один человек на свете, которого я захотел загрызть, — это вы. Я вызываю вас на дуэль, господин Истомин.

— Сделайте милость! мне давно хочется убить когонибудь, и я очень рад, что это будет такой почтенный человек, как вы. Позвольте, вот одно короткое распоряжение только сделаю.

Истомин подошел к столу и написал:

«Я застрелился оттого, что мне надоело жить».

Он подал эту записку мне и сказал, не глядя мне в глаза:

— Это про всякий случай, если я подвернусь под негоциантскую пулю.

С этим вместе Истомин достал из стола пару пистолетов и подал их оба на выбор Шульцу.

— Извольте, я могу стреляться без секунданта, а моя квартира, надеюсь, гораздо безопаснее парголовского леса.

Лицо у Истомина было злое и кровожадное.

— Я так не могу, — отвечал Шульц. — У меня жена, дети и состояние: мои распоряжения нельзя сделать в одну минуту. Будемте стреляться послезавтра за Коломягами.

— Извольте, я могу подождать. Ян! подай пальто господину Шульцу, — крикнул громко Истомин и снова повалился на диван и уткнулся лицом в подушку.

Дуэли, однако, не было — ее не допустила Ида Ивановна.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

— Господин Истомин! — сказала Ида, входя к нему вечером в тот же день, когда произошло это объяснение. — Я уверена, что вы меня не выгоните и не оскорбите.

Истомин вскочил с дивана, вежливо поклонился ей и подал стул.

— Вы, взамен того, можете быть спокойны, что я пришла к вам не с объяснениями. Никакие объяснения не нужны.

— Благодарю вас, — отвечал Истомин.

— Прошедшему нет ни суда, ни порицания. Если это была любовь — она не нуждается в прощении; если это было увлечение — то... пусть и этому простит бог, давший вам такую натуру. Вот вам моя рука, Истомин, в знак полного прощения вам всего от всей нашей семьи и... *от ней самой.*

Истомин взял и с жаром поцеловал протянутую ему руку Иды.

Девушка тихо высвободила свою руку и отошла к окну.

— Ида Ивановна! — сказал, подходя ближе к ней, Истомин. — Столько презрения к себе, сколько чувствую я, поверьте, не испытывал ни один человек.

— Радуюсь, узнавая, что вы способны осуждать себя.

Истомин остановился.

— Ида Ивановна, неужто вы в самом деле меня простили!

— Monsieur[1] Истомин, если я сказала, что я пришла к вам не за тем, чтобы вызывать вас на объяснения, то я и не за тем пришла, чтобы шутить с вами для своего удовольствия, — отвечала спокойно Ида. — Если вы в этом сомневаетесь, то я бы желала знать, что такое именно вы считаете непростительным из ваших поступков?

— Мое гадкое охлаждение к вашей сестре, которая меня любила!

Ида пожала плечами и сказала:

— Ну, к несчастью, не всякий человек умеет не охлаждаться. Вы виноваты в другом: в вашем недостойном вчерашнем подозрении; но не будем лучше говорить об этом. Я пришла не за тем, чтобы вынесть от вас в моем сердце вражду, а я тоже человек и... не трогайте этого лучше.

— Я все готов сделать, чтобы заслужить ваше прощение.

— Все?... а что это такое, например, вы можете сделать *все,* чтобы *заслужить* прощение в таком поступке? — спросила она, слегка покраснев, Истомина.

— Я знаю, что мой поступок заслуживает презрения.

— Да! вечного презрения!

— Да, презрения, презрения; но... я могу иметь, наконец, добрые намерения...

— Добрые намерения! Может быть. Добрыми намерениями, говорят, весь ад вымощен.

Истомин промолчал.

— Вы можете получить прощение как милостыню, а не заслужить его!.. Видите, я говорила вам, чтоб вы меня не трогали.

— Говорите все; казните как хотите.

— Это все равно, — продолжала, сдвигая строго брови, Ида. — Мы вас простили; а ваша казнь?.. она придет сама, когда вы вспомните вчерашнюю проделку. — Мой боже! так оскорбить женщину, которая вас так любила, и после жить! Нет; сделавши такое дело, я, женщина, я б не жила пяти минут на свете.

Истомин сильно терзался.

[1] Господин *(франц.)*.

— Простите, не упрекайте вы меня: я хоть сейчас готов на ней жениться, — говорил он, ломая руки.

— Какая честь высокая! — сказала, презрительно кусая губы, Ида. — Да вы спросите лучше: какая женщина за вас пошла бы? Конечно, дур и всяких низких женщин много есть на свете; но как же Маню-то вы смеете равнять со всякой дрянью?.. Вы слушайте, Истомин! вы знайте, что я теперь бешусь, и я вам, может быть, скажу такое, что я вовсе не хотела вам сказать и чего вы, верно, давно не слыхивали... Вы должны были сберечь мою сестру от увлечений; да, сберечь, сестра *любила* вас; она за вас не собиралась *замуж*, а так *любила*, сама не зная почему; вы увлекли ее... Бог знает для чего, на что? и теперь...

— И теперь она меня не любит больше? — произнес с оскорблением и испугом Истомин.

— Гм! час от часа не легче... Какой вы жалкий человек, monsieur Истомин! Утешу вас: нет, *любит*. Радуйтесь и торжествуйте — *любит*. Но вы... Вот отгадайте-ка, что я хочу вам досказать?

— Что я любви не стою? это, верно?

— Совсем не то; к несчастию, женщинам перебирать-то много некем, monsieur Истомин! Нет, верно, стоите, пожалуй. Когда бы не было в вас ничего, что на несчастье женщины ей может нравиться при нынешнем безлюдье, так вас бы этак не любили?! но вы... да вы сами подумайте, разве вы можете кого-нибудь любить? У вас была худая мать, Истомин, худая мать; она дурно вас воспитала, дурно, дурно воспитала! — докончила Ида, и, чего бы, кажется, никак нельзя было от нее ожидать, она с этим словом вдруг сердито стукнула концом своего белого пальца в красивый лоб Романа Прокофьича.

Художник не пошевелился.

— Вы правы; вы бесконечно правы, — шептал он потерянно, — но поверьте... это все не так... вы судите по жалобам одним...

— Оставьте! перестаньте, monsieur Истомин, говорить такие вздоры! Какие жалобы? Кто слышал эти жалобы от порядочной женщины? Куда? кому может честная женщина жаловаться за оскорбление ее чувства?.. Для этих жалоб земля еще слишком тверда, а небо слишком высоко.

Вышла минутная пауза. Ида покачала головою и, как будто что-то вспомнив, заговорила:

— А вас любили в самом деле, и еще как преданно, как жарко вас любили! Не Маня, может быть, одна, а и другие, серьезнее и опытнее Мани женщины в своем приятном заблуждении вас принимали за человека, с которым женщине приятно было б идти об руку...

Ида Ивановна на минуту остановилась; Истомин смотрел на нее, весь дрожа, млея и волнуясь.

— Но этого не может быть! — прошептал он после новой паузы, отодвигаясь со страхом на шаг далее от Иды.

— Чего?

— Того, что вы сказали.

— Отчего? — продолжала, спокойно глядя, девушка.

— Нет, этого не может быть!

Девушка опять долго, без устали смотрела в лицо художнику, и, наконец, она его поняла и побледнела. В эту же терцию белый червячок шевельнулся у нее над верхней губою.

— Что делают из человека его дурные страсти! — начала она, покачав головою. — И это вам не стыдно подумать то, что вы подумали! О боже мой! простая девушка, которая ни разу никому не объяснялась в чувствах, которая и говорить-то об них не умеет, и без всякого труда, без всякого особого старания, в какое она вас ставит теперь положение? Что вы даете мне читать по вашему лицу? Я такой страшной надписи никогда не читывала. Неужто вы подумали, что женщина, которая любила вас, окромя Мани, — я?.. И вы бы, Истомин, хотели этого? Возвысьтесь хоть раз до правды перед женщиной: ведь это правда?.. так?.. вы б этого хотели?

Истомин не знал, что говорить и думать.

— Боже! боже!... ну, так уж далеко моя фантазия не уходила! — продолжала, не выдержав, Ида. — Польщу вам лишнею победою, и вы со всею вашей силой, со всем своим талантом громким, как пудель ляжете вот здесь к моим ногам и поползете куда вам прикажу!.. И все из-за чего? из-за того, чтобы взойти в пафос, потоки громких фраз пустить на сцену и обмануть еще одну своим минутным увлечением... да?

— Не понимаю, зачем нам говорить о том, чего не будет?

— О да! о да! мне кажется, что этого не будет; вы это верно угадали, — подхватила с полной достоинства

улыбкой Ида. — А ведь смотрите: я даже не красавица, Истомин, и что из вас я сделала?.. Смешно подумать, право, что *я, я,* Ида Норк, теперь для вас, должно быть, первая красавица на свете? что я сильней всех этих умниц и красавиц, которые сделали вас таким, как вы теперь... обезоруженным, несчастным человеком, рабом своих страстей.

— Спасибо вам за эти горькие слова! Я не забуду их, — покорно отвечал художник, протягивая девушке с благодарностью обе руки.

Ида ему не подала ни одной своей руки и проговорила:

— Я не хотела вас учить: вы сами напросились на урок. Запомните его; бог знает, может быть еще и пригодится.

— Ида Ивановна! честью клянусь вам, меня первый раз в жизни так унижает женщина, и если бы эта женщина не была вы, я бы не снес этих оскорблений.

— Гм!.. Что же такое, однако, я для вас в самом деле? — проговорила она, сдвигая брови и поднимая голову.

Ида изменила позу и сказала, вздохнув:

— Ну, однако, довольно, monsieur Истомин, этой комедии. Унижений перед собою я не желаю видеть ничьих, а ваших всего менее; взволнована же я, вероятно, не менее вас. В двадцать четыре года выслушать, что я от вас выслушала, да еще так внезапно, и потом в ту пору, когда семейная рана пахнет горячей кровью, согласитесь, этого нельзя перенесть без волнения. Я запишу этот день в моей библии; заметьте и вы его на том, что у вас есть заветного.

Лицо Иды вдруг выразило глубокое негодование; она сделала один шаг ближе к Истомину и, глядя ему прямо в лицо, заговорила:

— Забыто все! и мать моя, и бабушка, и Маня, и наш позор семейный — все позабыто! Все *молодость,* — передразнила она его с презрением. — По-вашему, на все гадости молодость право имеет. Ах вы, этакий молодой палач! Что мать моя?.. что ее за жизнь теперь?.. Ведь вы в наш тихий дом взошли, как волк в овчарню, вы наш палач! Вы молоды, здоровы и думаете, что старость — это уж... дрова гнилые, сор, такая дрянь, которая и сожа-

ления даже уж не стоит?.. Какая почтенная у вас натура? Скажите мне... Вам никогда не говорила ваша мать, что тот проклят, чья молодость положит лишнюю морщину на лбу у старости? Нет — не сказала?.. Говорите же, ведь не сказала? О да! пускай ее за это господь простит, но я... я, женщина, и я скорее вас прощу, а ей... хотела бы простить, да не могу: столько добра нет в моем сердце.

Ида сложила на груди руки, быстро села в стоявшее возле нее кресло, посмотрела минуту в окно и, снова взглянув в лицо Истомину, продолжала:

— Не знаю, да, клянусь вам, истинно не знаю, кого могли вы увлекать когда-нибудь? Детей, подобных Мане, или таких, которых нечего и увлекать... а я!.. Да, впрочем, ведь за что ж бы для меня вам сделать исключенье? Ну да! скорей, скорей теперь, Истомин, на колени! Вы будете прекрасны, я не устою перед этим, и мы двойным, нигде, мне кажется, еще неслыханным стыдом покроем нашу семью. Старуха выдержит: она молиться будет и снесет; не то не выдержит — стара, туда ей и дорога... Ну, что ж вы стали? — руку! давайте руку на позор!

Истомин молча прятал глаза в темный угол; на лбу его были крупные капли пота, и волосы спутались, точно его кто-то растрепал.

— Вам поздно думать о любви, —начала, медленно приподнимаясь с кресла Ида... — Мы вас простили, но за вами, как Авелева тень за Каином, пойдет повсюду тень моей сестры. Каждый цветок, которым она невинно радовалась; птичка, за которой она при вас следила по небу глазами, само небо, под которым мы ее лелеяли для того, чтобы вы отняли ее у нас, — все это за нее заступится.

Истомин все слушал, все не двигался и не издавал ни звука.

— Я вам сказала минуту назад, что женщинам, к несчастью, перебирать-то много некем, а ведь любить... кому же с живою душою не хотелось любить. Но, monsieur Истомин, есть женщины, для которых лучше отказаться от малейшей крупицы счастия, чем связать себя с нулем, да еще... с нулем, нарисованным в квадрате. Я одна из таких женщин.

Истомин сверкнул глазами и тотчас же усмирел снова. Но Ида тем же самым тоном продолжала:

— Молитесь лучше, чтобы вашей матери прощен был тяжкий грех, что вам она не вбила вон туда, в тот лоб и в сердце хоть пару добрых правил, что не внушила вам, что женщина не игрушка; и вот за то теперь, когда вам тридцать лет, — вам девушка читает наставления! А вы еще ее благодарите, что вас она, как мальчика, бранит и учит! и вы не смеете в лицо глядеть ей, и самому себе теперь вы гадки и противны.

— Больней, больней меня казните, бога ради!

— Ах, как это противно, если бы вы знали! Вы, бога ради, бросьте все эти фразы и эту вовсе мне ненужную покорность, — отозвалась нетерпеливо Ида. — Какая казнь! На что она кому-нибудь?.. Я к вам пришла совсем за другим делом, а не казнить вас: ответьте мне, если можете, искренно: жаль вам мою сестру или нет?

— Вы знаете вперед, что я вам отвечу.

— Нет, не знаю. Я вас спрашиваю поистине, искренно. Я еще таких слов от вас не слыхала.

— Жаль.

— И способны вы хоть что-нибудь принесть ей в жертву?

— Все! мой боже! все, что вы прикажете!

— Ни жизни и ни чести я у вас не попрошу. Садитесь и пишите, что я вам буду говорить.

Это было сказано тихо, но с такою неотразимой внушительностью, с какою разве могло соперничать только одно приказание королевы Маргариты, когда она велела встреченному лесному бродяге беречь своего королевского сына.

Таких приказаний нельзя не слушаться без разбора, дает ли их мещанка или королева и, дабы властительная способность отдавать такие приказания не сделалась банальной, природа отмечает ею мещанок с неменьшею строгостию, чем королев.

Истомин подошел к столу и взял перо.

Ида стояла у него за стулом и глядела через плечо в бумагу.

— Пишите, — начала она твердо: — «Милостивый государь Фридрих Фридрихович!»

— Это к Шульцу? — спросил Истомин, как смирный ребенок, пораженный величиною урока, спрашивает: «это всю страницу выучить?»

— «Милостивый государь Фридрих Фридрихович!» — продолжала Ида.

Художник написал.

Девушка продолжала далее:

— «Я искренно раскаиваюсь во всем, что дало вам повод вызвать меня на дуэль. Я считаю себя перед вами виноватым и прошу у вас прощения...»

Истомин остановился и, не поднимая головы, закусил зубами перо.

— «И прошу у вас прощения», — повторила, постояв с секунду, Ида.

— *И прошу у вас прощения!* — выговорила она еще настойчивее и слегка толкнув Истомина концами пальцев в плечо.

Художник вздохнул и четко написал: «прошу у вас прощения».

— «И даю мое честное слово, — продолжала, стоя в том же положении девушка, — что мое присутствие более не нарушит спокойствия того лица, за которое вы благородно потребовали меня к ответу: я завтра же уезжаю из Петербурга, и надолго».

— Позвольте мне последнее слово заменить другим?

— Каким?

— Я желаю написать: «навсегда».

— Напишите, — сказала, подумав, Ида, и когда Истомин подписал, как принято, свое письмо, она тихо засыпала золотистым песком исписанный листок, тщательно согнула его ногтем и положила под корсаж своего строгого платья.

— Проводите меня до двери — я боюсь вашей собаки.

Истомин ударил ногою своего водолаза и пошел немного сзади Иды.

— Прощайте, — сказала она ему у двери.

Он ей молча поклонился.

— Послушайте! — позвала Ида снова, когда Истомин только что повернул за нею ключ и еще не успел отойти от двери.

Художник отпер.

— В несчастии трудно владеть собою и быть справедливым: я много сегодня сказала вам, — начала, сдвинув брови, Ида. — Я недовольна этим; я вас обидела более, чем имела права.

Истомин опять отвечал молчаливым поклоном.

— Да, — заключила девушка. — Я это чувствую, и я вернулась сказать вам, что и вас мне тоже жаль искренно.

Ида протянула Истомину руку.

— Прощайте, — добавила она тихо, ответив на его пожатие, и снова вышла за двери.

Роман Прокофьич сдержал обещание, данное Иде: он уехал на другой же день, оставив все свои дела в совершенном беспорядке. Недели через три я получил от него вежливое письмо с просьбою выслать ему некоторые его вещи в Тифлис, а остальные продать и с квартирою распорядиться по моему усмотрению.

В своем письме Истомин, между прочими строками делового характера, лаконически извещал, что намерен изучать природу Кавказа, а там, может быть, проедет посмотреть на берега Сыр-Дарьи.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Прошел год, другой — о Романе Прокофьиче не было ни слуха ни духа. Ни о самом о нем не приходило никаких известий, ни работ его не показывалось в свете, и великие ожидания, которые он когда-то посеял, рухнули и забылись, как забылись многие большие ожидания, рано возбужденные и рано убитые многими подобными ему людьми. Норки жили по-прежнему; Шульц тоже. Он очень долго носился с извинительной запиской Истомина и даже держался слегка дуэлистом, но, наконец, и это надоело, и это забылось.

Маня Норк жила совсем невидная и неслышная; но черная тоска не переставала грызть ее. Места, стены, люди — все, видимо, тяготило ее. Пользуясь своей безграничной свободой в доме, она часто уходила ко мне и просиживала у меня целые дни, часто не сказав мне ни одного слова. Иногда, впрочем, мы беседовали, даже варили себе шоколад и даже смеивались, но никогда

не говорили о прошлом. Чего ждала она и чего ей сколько-нибудь хотелось от жизни — она никогда не высказывала. Раз только помню, когда в каком-то разговоре я спросил ее, какая доля, по ее мнению, самая лучшая, она отвечала, что доля пушкинской Татьяны.

— А почему? — спросил я.

— Да потому, что для бедной Тани все были жребии равны, — отвечала Маничка.

Так это все и жилось тихо. Во все это время нас потревожило немножко только одно газетное известие о какой-то битве русских с черкесами в ущельях Дарьяла. Романическая была история! Писали, какая была ночь, как вечер быстро сменился тьмою, как осторожно наши шли обрывом взорванной скалы, как сшиблись в свалке и крикнул женский голос в толпе чеченцев; что на этот голос из-за наших рядов вынесся находившийся в экспедиции художник И., что он рубил своих за басурманку, с которой был знаком и считался кунаком ее брату, и что храбрейший офицер, какой-то N или Z, ему в лицо стрелял в упор и если не убил его, так как пистолет случайно был лишь с холостым зарядом, то, верно, ослепил. «Изменник обнял девушку и вместе с ней скатился в бездну», — было написано в газете.

Все мы были уверены, что это деяния Истомина, и тщательно скрывали это от Мани. Так это, наконец, и прошло. Маня по-прежнему жила очень тихо и словно ни о чем не заботилась; словно она все свое совершила и теперь ей все равно; и вдруг, так месяца за полтора перед Лондонской всемирной выставкой, она совершенно неожиданно говорит мне:

— А знаете, я с Фридрихом Фридриховичем поеду за границу.

Смотрю, и в самом деле у Норков идут сборы — снаряжают Маню за границу.

— Чего это едет Маня? — спросил я раз Иду.

— А отчего ж, — отвечает, — ей и не ехать?

Старуха-мать ходит с наплаканными глазами, но тоже собирает Маню бодро.

— А вы, — спрашиваю Маню, — как едете: радуетесь или нет?

— Мне все равно, — ответила Маня спокойно и равнодушно.

Ида знала пружины, выдвигавшие Маню из России за границу, но молчала как рыба, и только когда Маня села в вагон, а Фридрих Фридрихович с дорожною сумкою через плечо целовал руку плачущей старухи Норк, Ида Ивановна посмотрела на него долгим, внимательным взглядом и, закусив губы, с злостью постучала кулаком по своей ладони.

Через три месяца Шульц писал из одного маленького шверинского городка, что Маня выходит замуж за одного машинного фабриканта родом из Сарепты, но имеющего в местечке Плау свою наследственную фабрику. Маня тоже писала об этом матери и сестре и просила у старухи благословения.

— Вот наш милый Фрицынька какие штучки устраивает! — сказала с иронией Ида, сообщив мне известие о Манином замужестве. — Смыл семейное пятно с громкого имени Норков.

— Вы, Ида Ивановна, против этого замужества?

— Я не против чего; но, помилуйте, что ж это может быть за замужество, да еще для такой восторженной и чуткой женщины, как Маня? И представьте себе, что когда он только заговаривал, чтобы повезть ее *поразвлечься,* я тогда очень хорошо предвидела и знала все, чем это окончится.

— Чего ж вы ей об этом не сказали?

— Я говорила ей — она ответила: «мне все равно» — и только.

— Дай бог одно теперь, — сказал я, — чтоб это по крайней мере было что-нибудь похожее на человека.

— На ангела, на ангела, а не на человека! — перебила Ида. — Человека мало, чтобы спасти ее. Ангел! Ангел! — продолжала она, качая головою, — слети же в самом деле раз еще на землю; вселися в душу мужа, с которым связана жена, достойная любви, без сил любить его любовью, и покажи, что может сделать этот бедный человек, когда в его душе живут не демоны страстей, а ты, святой посланник неба?

Фридрих Шульц возвратился совсем отцом и покровителем. Маня, по его мнению, была пристроена прекрасно, и сама она два или три раза писала мне и Иде Ивановне, что ей хорошо. «Одно только, — добавляла она в последнем письме, — тяжкие бывают минуты тоски, хочется

куда-то бежать, куда-то броситься и все представляется, будто я еще сделаю что-то ужасное».

В семье Норков так все чего-то и ожидали: ни Ида матери, ни мать Иде не говорили друг другу ни про какие опасения; но стоило только кому-нибудь при них невзначай произнесть слово «новость», как обе эти женщины бледнели и окаменевали.

Софья Карловна старелась не по дням, а по часам и даже часто совсем теряла память.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Переносимся на короткое время далеко в Германию, в Северный Шверин.

Маленькое местечко Плау, расположенное при небольшом Плауском озерце, в нескольких верстах от Доберана, все на праздничной ноге. Из высокой дымовой трубы на фабрике изобретателя качающихся паровых цилиндров, доктора Альбана, уже третий день не вылетает ни одной струи дыма; пронзительный фабричный свисток не раздается на покрытых снегом полях; на дворе сумерки; густая серая луна из-за горы поднимается тускло; деревья индевеют. Везде тихо-тихохонько, только в полумраке на синем льду озера катается на коньках несколько прозябших мальчиков; на улице играют и вертятся на спинах две собаки; но Плау не спит и не скучает; в окошках его чистеньких красных домиков везде горят веселые огоньки и суетливо бегают мелкие тени; несколько теней чешутся перед маленькими гамбургскими зеркальцами; две тени шнуруют на себе корсеты, одна даже пудрит себе шею. Все это прекрасно видно с улицы, на которой играют две собаки, но собаки не обращают на это никакого внимания и продолжают вертеться на мягком снежку. Сегодня вечером все Плау намерено танцевать у преемника Альбана, доктора Риперта. Каждый год доктор Риперт дает своим соседям очень веселый вечер на третий день рождества Христова, и у него в этот день обыкновенно бывает все Плау; но нынче дело не ограничится одними плаузсцами. Нынче у Риперта будет на вечере Бер — человек, который целый век сидит дома, сам делает сбрую

на своих лошадей, ложится спать в девять часов непременно и, к довершению всех своих чудачеств, женился на русской, которая, однако, заболела, захирела и, говорят, непременно скоро умрет с тоски. Это очень романическая пара: одни говорят, что Бер увез свою жену; другие рассказывают, что он купил ее. «Где же купить? Помилуйте, где же в наш век в Европе продаются на рынках женщины?» Этак говорили скептики, но как скептиков даже и в Германии меньше, чем легковерных, то легковерные их перекричали и решили на том, что «а вот же купил!» Но это уж были старые споры; теперь говорилось только о том, что эта жена умирает у Бера, в его волчьей норе, и что он, наконец, решился вывезти ее, дать ей вздохнуть другим воздухом, показать ее людям. По правде сказать, все Плау таки уж давно скандализировано тем, что Бер никому не покажет своей жены. Многие считали это сначала просто пренебрежением и успокоились только, когда распространился слух, что Бер сектант, гернгутер, пуританин и даже ханжа, но тем интереснее, что этот пуританин сегодня явится в обществе, да еще вдобавок с своей русскою женою. А что они сегодня явятся, в этом не было никакого сомнения, потому что madame Риперт сама объявила об этом дочерям кузнеца Шмидта и столяра Тишлера и советовала им приодеться. Весь вопрос теперь мог заключаться только в том, будет ли сектант Бер играть в карты и позволит ли он танцевать своей жене. Все, впрочем, довольно единогласно решали, что играть в карты он, может быть, и станет, но танцевать своей жене уж наверно не позволит.

— Я, мама, ни за что не пошла бы замуж за гернгутера, — говорила матери одна из дочерей Тишлера.

— И я тоже, — подкрепила другая.

С этими словами они вошли на высокое каменное крыльцо фабриканта.

То же самое говорили через несколько минут, всходя на это крыльцо, дочери Шмидта.

Сам Риперт, встречая гостей в углу своей залы и подавая им толстую руку с огромным перстнем на большом пальце, тоже выразился кому-то о гернгутере очень неблагоприятно.

Тем не менее, конечно, при каждом шуме в сенях все с любопытством взглядывали на двери.

Исчужа можно было предполагать, что сюда на этот вечер ожидают прибытия Кармакдойля или Рауля Синей Бороды.

Наконец они приехали. Это была поистине очень торжественная минута. Они приехали на каких-то оригинальных санях, запряженных парою очень хороших лошадей, но без кучера. За ними прибежала огромная лохматая собака, которую Бер назвал Рапо́ и велел ей лечь в сани. Собака в ту же секунду вспрыгнула в сани, свернулась кольцом и легла на указанное ей место. Бер вынул из кармана шубы тонкий ременный чембур и собственноручно привязал своих лошадей к столбу. Конюх Риперта предложил было Беру свои услуги поберечь его лошадей, но тот коротко отвечал: «не надо». Все, которым после захотелось поближе полюбоваться заиндевевшей парой прекрасных коней Бера, согласились, что беречь их действительно было *не надо*. Каждому человеку, подходившему к лошадям ближе пяти шагов, Рапо́ давал самый энергический знак удалиться. Покрытый морозною пылью, лохматый пес был так же немногоречив, как его хозяин; он не рычал при приближении человека, а молча вскакивал во весь свой рост в санях, становился передними лапами на край и выжидал первого движения подходившего, чтобы броситься ему на грудь и перекусить горло.

Слесарный подмастерье, который, бывши один раз в Лейпциге, купил себе там на ярмарке иллюстрированный экземпляр «Парижских тайн» и знал эту книгу как свои пять пальцев, уверял, что точно такая собака была у Дагобера.

— Может быть, это она и есть? — заподозрил Рипертов конюх.

— Я много не прозакладую, что это не она, — отвечал слесарный ученик.

Все дышало какой-то таинственностью около саней странного гостя: словно все это прилетело из какого-то другого мира. Лошади сильные, крепкие как львы, вороные и все покрытые серебряною пылью инея, насевшего на их потную шерсть, стоят тихо, как вкопанные; только седые, заиндевевшие гривы их топорщатся на морозе, и из ноздрей у них вылетают четыре дымные трубы, широко расходящиеся и исчезающие высоко в тихом, морозном воздухе; сани с непомерно высоким передним щитком по-

хожи на адскую колесницу; страшный пес напоминает Цербера: когда он встает, луна бросает на него тень так странно, что у него вдруг являются три головы: одна смотрит на поле, с которого приехали все эти странные существа, другая на лошадей, а третья — на тех, кто на нее смотрит.

— Я бы, однако, дал довольно дорого, чтобы посмотреть на самого этого гостя, — проговорил слесарный ученик, который, впрочем, потому и был так щедр, что никому не мог ничего дать.

— Это можно сделать очень просто, — отвечал бескорыстный конюх, — ты становись мне на плеча, смотри в окно и хорошенько мне все рассказывай.

Они так и сделали: конюх стал опершись руками в стену, а слесарный ученик взмостился ему на плечи, но мороз очень густо разрисовал окна своими узорами, и слесарный ученик увидел на стеклах только одни седые полосы, расходящиеся рогами.

— Я тебе скажу, — говорил с конюховых плеч слесарный ученик, — что я вижу что-то странное: я вижу как будто огонь и какие-то ледяные рога...

И он не договорил, что он видел, еще более потому, что в это время стоявшего против дверей конюха кто-то ужасно сильно толкнул кулаком в брюхо и откинул его от стены на целую сажень. Слесарный ученик отлетел еще далее и вдобавок чрезвычайно несчастливо воткнулся головою в кучу снега, которую он сам же и собрал, чтобы слепить здесь белого великана, у которого в пустой голове будет гореть фонарь, когда станут расходиться по домам гости.

Все эти обстоятельства чрезвычайно странно вязались с какой-то святочной чертовщиной, потому что, когда слесарный ученик и конюх встали, у них у обоих звенело в ушах и они оба были поражены самым неожиданным зрелищем: по белому, ярко освещенному луною полю действительно несся черт. Он скакал на той самой паре серебряных лошадей, извергавших из ноздрей целые клубы дыма; у самого черта лежало что-то белое на коленях, а сзади его, трепля во всю мочь лохматыми ушами, неслась Дагоберова собака. И когда этот адский поезд быстро выехал в мелкий перелесок, что начинался тотчас за полем, то и черт и собака разом закричали что-то неимоверно

страшное. На этом расстоянии и слесарному ученику и конюху стало видно, что пар, которым дышали лошади, более не поднимался вверх расходящимися трубами, а ложился коням на спины и у них на спинах выросли громадные крылья, на которых они черт их знает куда и делись, вместе с санями, собакой и хозяином.

— Я никогда в жизнь мою не ожидала такого скандала, — говорила, возвращаясь домой, кузнечиха Шмидт столярихе Тишлер.

— И я тоже, — отвечала Тишлер.

Старшая девица Шмидт хотела было блеснуть образованностью и выговорила «et moi aussi», [1] но мать ее тотчас остановила и сказала:

— Я полагаю, что ты еще, слава богу, не русская барышня, чтобы не уметь говорить на своем языке.

Местечко было до того взволновано этим событием, что несколько человек тотчас же отправились к старому кузнецу Шмидту, разбудили его и заставили ударить три раза молотом по пустой наковальне, и только тогда успокоились, когда он это исполнил, так как известно, что эти три удара совершенно прочно заклепывают цепь сорвавшегося черта северо-германских прибрежий.

А вот в чем в самом деле состояло происшествие: все это наделала русская барышня.

Madame Шмидт так рассказывала дома эту историю мужниному молотобойцу, которому она имела привычку приносить ужин в особую каморку, когда уже все ее честное семейство засыпало или мнилось заснувшим.

— Они вошли, — говорила madame Шмидт. — Он такой, как этот черт, который нарисован в Кельне. Ты, может быть, не видал его, но это все равно: он маленький, голова огромная, но волосы все вверх. Я полагаю, что он непременно должен есть сырое мясо, потому что у него глаза совершенно красные, как у пьяного француза. Фи, я терпеть не могу французов.

Молотобоец сделал «гм!» так, как будто он в этом сомневался, и залил свое сомнение новою кружкой пива.

— А Роберт Вейс, который должен был играть на фортепиано, ушел к советнику... и он был пьян к тому же. Да! я и забыла тебе сказать, что с ним приехала его жена.

---

[1] И я тоже *(франц.)*.

Она из России. Она очень недурна, но я думаю, что она глупа, и после я в этом еще более убедилась. У нее, во-первых, нет роста; она совершенно карманная женщина. Я думаю, это вовсе не должно нравиться мужчинам. Хотя у мужчин бывают очень дикие вкусы, но большой рост все-таки очень важное дело.

Madame Шмидт была очень большого роста.

Молотобоец опять только промычал: «гм!»

— Да; я уверена, что это не может нравиться, — продолжала madame Шмидт. — Это, конечно, строго соображая, не ее вина, и я ее за это строго не осуждаю, но все-таки такая женщина не может действовать на человека.

Молотобоец опять промычал: «гм!»

— Да все это еще простительно, если смотреть на вещи снисходительным глазом: она ведь могла быть богата, а Бер, говорят, слишком жаден и сам своих лошадей кормит. Я этому верю, потому что на свете есть всякие скареды. Но Вейса не было, а он должен был играть на фортепиано. Позвали этого русского Ивана, что лепит формы, и тут-то началась потеха. Ты знаешь, как он страшен? Он ведь очень страшен, ну и потому ему надели на глаза зеленый зонтик. Все равно он так распорядился, что ему глаза теперь почти не нужны.

— Не нужны, — произнес молотобоец.

— Он сел за фортепиано с зонтиком. Но он ужасно сбивал всех с такта. Я никогда не слыхала, чтобы хотя один музыкант играл так дурно. Это, конечно, очень понятно, потому что у него почти все равно что нет глаз, но девицы были этим очень недовольны, все молодые люди хотели его выслать... Штром сказал: «Я дам один пять талеров тому, кто нам сыграет хорошо хоть два вальса». А она... нужно тебе сказать, что она не танцевала, она села за фортепиано и сыграла пять вальсов. Я не могу сказать, чтобы она играла хуже madame Риперт. Но ты себе представь, что она за это сделала! Ей, конечно, никто не смел заплатить пять талеров; но она сама взяла его шляпу и пошла у всех собирать для него деньги! Со мною, разумеется, не было ничего, ни одного зильбергроша, потому что я шла ведь, надеюсь, в семейный дом, а не на складчину. Но мужчины наклали ей очень много денег. Ее муж положил десять талеров,

а Риперт, ты знаешь, какой он пустой человек: он из тщеславия положил двенадцать. Это, я говорю, не правда ли, так очень бы хорошо играть, за такую цену? Это и ты бы, я думаю, рад был играть, если бы умел.

— Да, если б умел, — отвечал молотобоец.

— Вот тут зато и вышла целая история. Да, я ужасно жалела, что я взяла туда с собою моих дочерей. Тут он снял свой зонтик; она закричала: «ах!», он закричал «ах!», он затрясся и задрожал; она упала, а этот ее зверь, этот проклятый гернгутер-то, взял ее в охапку, выбежал с нею на двор и уехал. Каково, я тебя спрашиваю, это перенесть madame Риперт? Согласен ли ты, что ведь это можно назвать происшествием?

Молотобоец отвечал, что он с этим согласен.

Madame Риперт это действительно не могло понравиться, тем более что через три дня после этого она имела удовольствие прочитать всю эту историю в игривом фельетоне трехгрошовой доберанской газеты. Да и скажите пожалуйста, что здесь такого, что могло бы понравиться-то уважающей себя женщине?

Вот другое бы дело, если бы в доберанской газете напечатали другую историю, которая случилась гораздо после; но про эту историю доберанская газета решительно не могла узнать ничего, потому что история эта разыгралась в очень темном яру и с такою скромностью, с которою обыкновенно совершаются действительно любопытные истории. В этом узком темном яру, заваленном тучами белого снега, стояло странное красное здание: это были две круглые красные башни, соединенные узким корпусом, внизу которого помещались кузня и точильня, а вверху жилье в пять высоких готических окон. Здание это в Плау называли «норою Бера».

У этого странного здания, в темном яру, куда никогда не западал бледный луч месяца, остановилась пара посеребренных лошадей, ускакавших в третий день рождества из Плау.

Из саней тогда вышел тот же приземистый Кармакдойль и вынес на руках молодую женщину, которую он всю дорогу согревал в своей шубе. Он внес ее в длинную комнату, занимавшую половину коридора, который соединял две башни, свистнул своей собаке, повернул в дверях ключ и вышел.

В этом, конечно, нет еще никакой истории. История началась собственно на другой день или на другую ночь, а разыгралась еще гораздо позже.

На следующую ночь в левой башне, под которой приходилась конюшня, где стояла пара лошадей, изумлявших своею силой и крепостью плаузского Рипертова конюшего, в круглой красной комнате горел яркий-преяркий огонь. Этот огонь пылал в простом кирпичном камине, куда сразу была завалена целая куча колючего сухого вереска.

Перед камином, в углу, на старом кресле, обитом зеленым сафьяном, помещался Бер, одетый в толстые лосиные штаны и желтую стеганую нанковую куртку. У ног его, на шкуре дикой козы, лежал, протянув морду к камину, Рапо́.

Если бы я искал случая *подражать*, в чем меня так любезно упрекают добрые друзья мои, то я мог бы списать здесь целую картину у Вальтер Скотта, и она пришлась бы сюда как нельзя более кстати. На дворе была морозная ночь; полная луна ярко светила на поле и серебрила окраины яра, но не заходила в ущелье, где было бы темно, совсем как в преисподней, если бы из кузнечного горна, перед которым правили насеки, не сыпались красные искры да не падал красный пук света из окна хозяйской круглой комнаты. В дальнем углу оврага выли в перекличку два волка, вторя друг другу раздирающим унисоном.

Бер сидел в своей комнате один, с своей лохматой собакой. Каминный огонь прихотливо озарял его круглую нору. Это была комната в башне, увешанная кругом машинными ремнями, конскими хомутами, тяжелыми насеками, буравами и винтовыми досками. В одном завороте у камина стоял тяжелый токарный станок с подвижным патроном, в другом — железная кровать хозяина, покрытая верблюжьим войлоком. Против нее помещался старинный комод с львиными лапами вместо ручек. На стене висели два двуствольные ружья, а между ними огромное черное распятие. Более здесь не было никакой мебели и никаких украшений.

Роберт Бер сидел здесь, не выходя никуда с самого утра. Правда, он вышел на минуту перед вечером, но только для того, чтобы велеть принесть себе новую кучу

вереска, но тотчас же возвратился сюда снова, сел против камина и с тех пор уже не вставал с этого места. Он даже не зашел сегодня к своим лошадям, чем он не манкировал ни один день в жизни.

Теперь он сидел тихо, как человек, одержавший победу над внутренним врагом своим и довольный своею силою. Перед ним лежала большая книга, развернутая на странице, на которой широкою красною чертою была подчеркнута строка: *«И не восхоте обличити ю, но восхоте тай пустити ю»*.

Роберт Бер был очень расстроен: окружающие его заметили это потому, что он был необыкновенно тих и бездействовал, тогда как обыкновенно у него в крови всегда бегала ртуть и руки его постоянно искали работы.

Ровно в одиннадцать часов в толстую дубовую дверь круглой комнаты раздались три легкие удара. Услыхав этот стук, Бер вскочил с своего кресла, сжал руки у сердца и, пошевелив беззвучно устами перед распятием, произнес: «войдите», и снова опустился на прежнее место.

Из темного пространства, открытого повернувшеюся на широких петлях дубовою дверью, тихо вступила белая женская фигура.

Бер не шевелился и не поднимал кверху опущенной головы; уста его продолжали тихо двигаться, а глаза смотрели на сложенные на коленях руки.

Женщина подошла к самому креслу Бера, сбросила с головы белую шерстяную косынку, которою была покрыта, и, опершись локтем на карниз камина, проговорила:

— Я пришла в тот час, когда вы хотели.

Эта женщина была Мария Норк.

— Да, — отвечал Бер, — да, я хотел этого, Мария: нам надо поговорить с тобой.

— Я вас слушаю.

— Ты сядь, разговор может выйти немного продолжителен.

Он подвинул ей ногою простой деревянный табурет и опять сказал:

— Сядь! сядь!

Она села. Вышла очень продолжительная пауза. Положение молодой женщины становилось невыносимым: она была слаба, волновалась ожиданиями предстоящего

тяжелого объяснения, и ее томил не освобождающий ее ни на минуту проницательный взгляд мужа.

Наконец Бер положил конец этой сцене. Он переложил левую ногу на правую и проговорил:

— Итак, Мария...

Женщина вскинула голову и, заметя новую склонность Бера к паузам, спокойно сказала:

— Я вас слушаю.

— Вы... его любите?

— Нет.

Бер подумал и произнес тихо:

— Будем откровенны.

— Я вам отвечала откровенно, — подтвердила Маня.

Бер остановился и стоял, то широко раскрывая веки, то быстро захлопывая их и затем снова раскрывая.

Маня молчала, собирая рукою под подбородком свои разбежавшиеся пепельные волосы.

— Вы, однако, любили его? — пробурчал Бер.

— Он сделал все, чтобы убить мою любовь к себе.

— Как?

Маня задумалась, покраснела и, глядя в огонь, добавила:

— Если ему удалось унизить меня один раз — я не хочу увеличивать мое унижение рассказом, как я его понимаю. Вам не нужно этого. Я не знаю, чего вы от меня хотите? Теперь глухая ночь; здесь все вам преданы, начиная от этой собаки, которая готова загрызть меня, если вы ей это прикажете; отойдя кругом на пять миль нет человеческого жилья; зима, мороз, в овраге волки воют; вы — все говорят, вы страшный человек; никто еще ни жалости и ни улыбки не видывал на вашем лице ужасном; и вы меня силою позвали на допрос!.. Вы здесь меня хотите пытать? Пытать меня будете? Пытайте.

Маня сделала два шага к мужу и прошептала:

— Я не боюсь вас!

— Вы слышали? — повторила она громко, — *я не боюсь вас*. Поймите вы, что тем, кому, как мне, жизнь — бремя, тем смерть есть высшее блаженство.

— Вам в тягость жизнь?

— Да; она давно, давно мне в тягость.

— Вам скучно здесь?

— Везде равно мне скучно.

— Вы ненавидите меня?
— Я не люблю вас.
— Не ненавидите, однако?
— Не ненавижу, потому что я не умею ненавидеть. Я не люблю вас; мне с вами тяжело. Я думаю, и этого довольно, чтоб для меня всю цену потеряла жизнь.
— А если б бог вам дал теперь другую жизнь?
— Я б не взяла ее.
— Зачем?
— Затем, что для меня жить снова невозможно.
— Я верю вам, Мария: и я бы тоже не взял.
Бер снова опустил голову и снова задумался.
— Прощайте, — проговорила тихо, вставая, Маня.
— Нет, пару слов еще.
Маня снова безропотно села.
— Так жить нельзя, — произнес Бер.
— Живу, как бог судил мне, — отвечала, нервно подергиваясь, Маня.
— Да, как бог судил... Нет, бог так не судил, Мария. Бог не судил нам жить с тобой.
Бер взял жену сильно за руку и еще раз добавил:
— Бог не судил.
Маня спокойно смотрела на мужа.
— Но богом суждена для всех одна дорога: то путь к добру, Мария. Нет положения, в котором человек не нашел бы средства быть полезным людям и помириться с собою.
Бер приподнялся и сказал:
— Мария! жить одному — это... несносно тяжело!
— Да, это тяжело.
— А жить вдвоем, и врознь желать, и порознь думать, и вечно тяготить друг друга, и понимать все это — еще тяжеле.
— Еще тяжеле.
— Да, еще тяжеле. Один в постелю ляжет, поплачет в изголовье, в своем угле он перемучит горе свое, помолится, когда душа молитвы хочет, и станет выше, чище — приблизится страданьем к богу.
— Да.
— Союз хорош, когда одна душа святит собой другую.
— Что ж вы хотите?

— Ты не раба моя. Я дал обет тебя сберечь, и я хочу его исполнить. Расстанемся.

Маня молча, изумленными глазами смотрела на мужа.

— С тобою в провожатые я не пошлю своих упреков. Я виноват во всем. Я думал, если я соединю в одном гнезде два горя, два духа, у которых общего так мало с миром, как у меня и у тебя, то, наконец, они поймут друг друга. Я, сирота седой, хотел ожить, глядясь в твои глаза, Мария, и, как урод, обезобразил зеркало своим лицом. Не ожил я, и ты завяла. Ты хочешь умереть, а я хочу тебе дать жизнь. Хотела бы ты жить с ним? с тем... кого любила?

— Нет, — спокойно отвечала Маня.

— Скажи еще! скажи еще мне это слово!

— Я не хочу с ним жить, — твердо повторила Маня.

— О, не ходи! о, не ходи к нему!

Бер тихо взял ее за руку и, показывая другою через окно вдаль, заговорил:

— Там, за этой норой, Мария, целый мир, прекрасный, вечно юный; там — поля, леса, там реки свежие, моря и люди, там божий мир: я весь его тебе открою. Кто ошибается, любя, тот всех способней с любовью ж поправлять сам ошибки. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, но ты жива, и жива душа моя, чтобы оставить тебя. Тебе не за что умереть. Великая тоска в душе живой должна создать великие решенья. Мария! посмотри, одна ли ты несчастлива! Есть много женщин, которым, как тебе, не посчастливилось у очага, и они не изнывали духом, они себе у бога не просили смерти и не пошли путем лукавым. Они создали себе место в жизни; создали его себе у каждого очага, где вечером тихо горит обрубок дерева, перед которым садится мать с детьми. Да, Мария, когда семейство садится у этого камина и мать, читая добрую книгу детям, ведет их детскую фантазию по девственным лесам, через моря, через горы, к тем жалким дикарям, которые не знают ни милосердия, ни правды, тогда над ярким огоньком вверху, — я это сам видал в былые годы, — тогда является детям старушка, в фланелевом капоте, с портфеликом у пояса и с сукова-той палочкой в руке. Она кивает беленьким чепцом оттудова ребенку; он улыбается, глядит ей в добрые глаза и засыпает, слушая ее рассказы. И в этот час, когда

такое множество людей найти не могут во сне покоя, невинное дитя спит сладким сном и в этом сне еще все улыбается ей, доброй бабушке, старушке Иде Пфейфер. Иди за ней, иди, моя Мария! Тебе со мной тоска. Изломанную жизнь клеить напрасно. Тоска, как цепкая трава, перерастает дерево, вокруг которого она завьется. Иди, у ног твоих прошу тебя, иди! — Бер стал перед женою на колени и добавил: — Она, старушка Пфейфер, зовет тебя себе на смену; она тебе пример и подкрепленье. Не отдавай напрасно жизнь тоске и возврати талант серебра, который дал тебе создатель.

— А ты? — спросила тихо Мария.

— Ты говоришь мне *ты*. Благодарю тебя.

Бер поднялся с колен и продолжал:

— Я... я, как жил встарь, опять по-прежнему я буду жить в моей норе и буду счастлив.

Он сморгнул слезу и добавил:

— Поверь, мне будет хорошо; да, хорошо. Блаженнейшим покоем полна будет моя душа, когда я вспомню о тебе. Тогда я стану здесь, вот здесь, перед крестом, вздохну... быть может, и заплачу, но тогда я буду *муж,* Мария. Я буду гордый муж, муж силы, муж, который не сгубил, а спас тебя и поднял. Мария! — продолжал Бер, складывая у подбородка кисти своих рук. — Чтобы соблюсти душу твою, я должен потерять ее для себя: иначе нет спасения. Вперед, мой друг! Вперед, моя Мария! Тоска... мечтания бесплодные... конец, конец всему! На бой, на жизнь! Иди, иди, молю тебя, моя Мария!

Маня тихо подала обе свои прозрачные ручки мужу, положила ему на грудь свою голову и прошептала:

— Иду! Благослови меня, мой Роберт!

Бер взял ее руки и молча подвел ее к окну: луна совсем садилась; синее небо подергивалось легкою предрассветною пеленою, и на горизонте одиноко мерцала одна утренняя звезда.

— Она одна, — произнес с чувством Бер, — и мы с тобою будем одиноки. Всегда вот в этот час, когда она одна становится на небе, я стану на нее смотреть и думать о тебе; проснись и ты тогда и тоже погляди, и трое одиноких будем вместе.

— Мы будем вместе, — прошептала Маня.

— И будем чисты, как она.

— Да, да, мы будем чисты.

— О да, мы будем чисты; мы счастливы и всегда, вспоминая друг друга, будем смотреть вверх. Душа! несись, лети отсюда туда и встреться там с сияющей душой моей Марии! — проговорил он в молитвенном созерцании и тотчас же добавил: — Теперь иди, засни, господь с тобой, моя малютка!

Он проводил жену с свечою до двери, потом вернулся и простоял у окна, пока утренняя звезда совершенно исчезла в зареве рассвета.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Весной распускались сирени, в полях пробивалася травка; очистилось море от льда, и тихо у пристани колыхался большой пароход, готовый назавтра отчалить далеко.

В нижнем этаже Беровой башни, как раз под той комнатой, где происходила последняя сцена, в такой же точно по размерам, но в совершенно иной по убранству комнате, густые сумерки застают двух человек. Молодая женщина, одетая в серой фланелевой блузе, сидит в старинном кресле спиной к открытому окну, в которое лезут густые ветки сирени. Голова этой женщины покоится на слабой беленькой ручке, опирающейся локтем о стол и поддерживающей ладонью подбородок; большие голубые глаза ее устремлены в угол, где в густой темноте помещается мужская фигура, несколько согбенная и опустившаяся. Мужчина сидит в кресле с опущенной головой и руками, схваченными у себя на коленях.

Это Маня и Истомин, которого Бер привез сегодня, чтобы он мог проститься завтра с Маней.

Самого хозяина здесь не было: он с кривым ножом в руках стоял над грушевым прививком, в углу своего сада, и с такой пристальностью смотрел на солнце, что у него беспрестанно моргали его красные глаза и беспрестанно на них набегали слезы. Губы его шептали молитву, читанную тоже в саду. «Отче! — шептал он. — Не о всем мире молю, но о ней, которую ты дал мне, молю тебя: спаси ее во имя твое!»

В комнате была тишина невозмутимая.

«И это он!» — думала Маня, глядя на человека, которого она некогда так страстно любила. Он сам, тот чудный человек, который блистал такою гордой смелостью и вызывал ее младенческую душу на подвиг Анны Денман. Как это было? И перед нею Петербург, ее совершеннолетие, и бабушка с своею канарейкой, и Верман с домиком, и Ида... Воспоминания обрываются при этом дорогом имени, и вдруг выступает какая-то действительность, но такая смутная, точно едешь в крытом возке по скрипучему первозимку, — и кажется, что едешь, и кажется, что и не едешь, а будто как живешь какой-то сладкой забытой жизнью; и все жужжит, жужжит по снегу, гладкий полоз под ушами, и все и взад и вперед дергается разом — и память и дорога.

Имя Иды, как толчок, как пень заезженный, как придорожная могила, толкнуло на минуту Маню, и снова поползли пред ней воспоминанья. Ей вспомнилось, как снилась ей тогда всю ночь до утра Анна Денман, и эта Анна Денман была сама она; а он был Джоном Флаксманом. Иль просто он был — он, а она — она, и они шли вместе. *Она* была *нужна* ему. О, сколько было в этом счастья! О, как ей хотелось жить, как все светло ей светилось в будущем. Они пришли в деревню; был вечер тихий; собака лаяла; им дали угол на сеновале: он спит, она его лелеет... Потом ей видится Италия, Неаполь, Рим и Палестина — она везде ему нужна, она ему подруга; у ней нет для себя желаний, она вся жертва, и это жизнь ее — та жизнь, какой она хотела. И, наконец, уж он велик и говорит ей: «Ты, Анна Денман, ты была нужна мне; ты была моей силой; у нас теперь есть дом, и в палисадник окна, и с нами будет мать твоя, и бабушка, и Ида...» И вновь толчок: проснулась бабушка, и встала с кресла, и пошла, и прокляла ее... Все это ничего: проклятьям бог не внемлет. Тяжелый сон опять; сад в доме сумасшедших; душа больна, и над всем преобладает одно желанье — спрятаться, бежать куда-то, а из кустов ей все кивает кто-то и говорит ей: «Здравствуй! здравствуй!» Опять жужжат полозья; и вдруг дребезжит разбитое окно; стук, треск, хаос кругом, и снова Ида. И все идет, идет какое-то все ближе уяснение, и, наконец, разражается огненной молоньею и гремит небесной грозою. Все стало ясно...

Так вот на что! *«Так вот на что была нужна я!»* — восклицает Маня, и перед нею прямо *он и завтра. Завтра* — это день, которому довлеет его мир и его злоба. *Он* — это кумир, поверженный и втоптанный судьбою в болото. Но с восходом на восток этого *завтра ему* никто уж не подаст руки и не поможет. Маня задумалась и заплакала и сквозь застилавшие взгляд ее слезы увидала, что среди комнаты, на сером фоне сумеречного света, как братья обнялись и как враги боролись два ангела: один с кудрями светлыми и легкими, как горный лен, другой — с лицом, напоминающим египетских красавиц. Они боролись долго, и светлый ангел одолел.

Маня встала и подошла к Истомину.

— Не думайте, что вы виноваты так, как вам сказала Ида, и это я прошу вас сделать в память обо мне. Да, я прошу вас: в память обо мне.

Проговорив эти слова, Маня подала руку художнику; он сжал ее.

— Мы поднимались на ходули; мы в самом деле ниже, чем мы думали.

Истомин выронил молча ее руку.

«О, — думал он, — как ты растешь! как ты растешь, моя одинокая Денман!»

Маня продолжала:

— Мы упали. Не будем плакать и простим друг другу все прошлое перед разлукой.

Истомин не удержался и зарыдал.

— Нет, нет! Не надо слез — не надо их, не надо. Мир прошлому. Я еду с миром в сердце, не возмущайте тишины, которая теперь в душе моей. Не думайте, что вы несчастливей других: здесь все несчастны, и вы, и я, *и он...* Он, может быть, несчастней всех, и он всех меньше нас достоин своего несчастия.

Маня нежно положила ручку на плечо Истомина и сказала с болью:

— Он все свое горе от меня спрятал; не дайте ж никому превзойти вас в последнем великодушии ко мне!

Слепой художник утих.

— Я хотела вам сказать слово «мир» — это все, что я могу сделать. Он разгадал это и привез вас. Благодарю, что вы приехали. Теперь все кончено.

Маня коснулась своей рукою головы Истомина и проговорила:

— Забвенье прошлому; моей душе покой... а вам... моя слеза и вечное благословение.

Маня сама тихо заплакала, прислонясь к стене своею головкой.

— Аминь, — произнес, стоя в саду и глядя внутрь комнаты в окно, гернгутер.

— Аминь, аминь, — повторили в одно и то же время Маня и художник.

Серое утро, взошедшее за этой ночью, осветило несшуюся по дороге от норы Бера рессорную таратайку, запряженную парою знакомых нам вороных коней. Лошадьми, по обыкновению, правил Бер; рядом с ним сидела его жена; сзади их, на особом сиденье, помещался художник.

Они ехали шибко и в седьмом часу утра остановились у пристани, где величаво качался собравшийся в далекую экспедицию паровой корабль.

— Накрапывает дождь — путь добрый будет, — проговорил, высаживая жену, молчавший всю дорогу Бер.

— О чем же мы с тобой попросим один другого перед разлукой? — спросил Бер, держа в своих руках женины руки.

Маня молча взглянула на Истомина. Бер ответил ей крепким пожатием.

— А когда пройдут... многие, многие годы... — заговорил он и остановился.

— Тогда я возвращусь к тебе, — договорила Маня.

— Чтоб мой старый слух мог упиваться гармонией твоих бесед про беспредельный мир, который ты увидишь.

— Про мир души моей, который ты создал, — закончила, становясь ногою на трап, Маня.

Через полчаса дымящийся пароход, качаясь, отчаливал от берега, и на его палубе стояла Маня. Она была в вчерашнем сером платье, в широкой шляпе и с лакированной сумкой на груди.

На берегу стояли Бер и рядом с ним Истомин.

— Завидую, и в первый раз завидую в жизни, Мария, — заговорил, глядя на жену, Бер. — Перед тобою раскроется широкий океан чудес, и как ласточка глотает на лету муху, проглотит он твою кручину.

Маня в ответ молча перекрестила мужа.

Тяжелые колеса парохода заколотили, вода запенилась, задрожали трубы, и пароход пошел скорым ходом в море.

Не сводя глаз с жены, Бер показал ей рукою по направлению, где пред зарей стоит утренняя звезда; туда же поднялась и снова опустилась окутанная тяжелым, серым рукавом слабая ручка Мани.

Пароход скрылся на горизонте.

— Садитесь, — пригласил Истомина Бер, подбирая свои вожжи.

Художник махнул рукой.

— На вас лежит ее благословенье, и я хочу, чтобы оно принесло покой вам.

Истомин сел молча, как автомат, и они поехали, не говоря во всю дорогу друг другу ни слова.

Они уже долго ехали. Утро оставалось такое же сырое и тихое; воздух не согревался; по серому небу не ползло ни облачка; все серело, как опрокинутая миска, и только с севера на юг как будто тянулся какой-то крошечный обрывок мокрой бечевки; не было это облако, не была это и бечевка.

Истомин сидел, закрывши глаза и сложив на груди руки; Бер молча правил лошадьми и заставлял себя спокойно следить за тем, что там ползло по небу снурочком.

Истомин был в тупом состоянии деревянного покоя. У несчастья есть свое милосердие; как кредитор, чтобы верней получить по документу долг, оно дает душе передышку. Человек сам этой передышки себе ни за что не сумел бы устроить. И такая льгота дается нам только при большом горе, при несчастии, так сказать, вдосталь дошибающем человека. Известно, что многие из людей, приговоренных к смерти, в последнюю ночь перед казнью останавливались воспоминанием на каком-нибудь мелком, самом незначительном случае своей юности; забывали за этим воспоминанием ожидавшую их плаху и как бы усыпали, не закрывая глаз. Некоторые из них сами рассказывали, что они в это время видели лучшие сны. Умный и весьма наблюдательный священник, которому печальная обязанность поручает последние дни осужденных на смерть, говорил пишущему эти строки, что ему никогда не случалось видеть осужденного в таком настроении, о каком Виктор Гюго так неловко рассказывает в своем

«Dernier jour d'un condamné».[1] Бывает в большинстве случаев гораздо проще. В большинстве случаев, если несчастный не находится под влиянием горячего раскаяния, возвышающего человека до игнорирования ожидающей его завтра смерти, и если он в таком настроении не молится и не плачет, то чаще всего он впадает в какое-то мечтательное забытье. Он забудется и мечтает: мечтает совершенно нехотя, непроизвольно. В этом забытьи вдруг, совершенно внезапно, врывается в мозг искра сознания действительности, и человек вскакивает, трепеща как осиновый лист. В эту минуту он, вероятно, всадил бы себе в бок нож с стоическим спокойствием Катона или разбил бы себе голову об угол мрачной амбразуры входа; но гром цепей, ночная лампа и неподвижный часовой довершают пробуждение, и завтрашний мертвец тяжело опускается, иногда стонет и снова забывается. Одному из таких несчастных постоянно грезилась мать: она подходила к нему, развязывала ворот у его рубашки и, крестя его лицо, шептала: «Христос с тобой, усни спокойно; а завтра...» Осужденный ни одного раза не мог дослушать, что обещала ему мать «завтра». Это роковое слово будило его, и он, стоная, повторял: «Ох, куда деться?.. куда деваться?» — и забывался снова, и снова мать выходила к нему из черной стены каземата.

Есть что-то непостижимое в этой, так сказать, физиологии безвозвратного отчаяния.

В интересной, но надоедающей книжке «Последние дни самоубийц» есть рассказ про одну девушку, которая, решившись отравиться с отчаяния от измены покинувшего ее любовника, поднесла уже к губам чашку с ядом, как вдруг вспомнила, что, грустя и тоскуя, она уже более десяти ночей не ложилась в постель. В это мгновение она почувствовала, что ей страшно хочется спать. Она тщательно спрятала чашку с ядом, легла, выспалась и, встав наутро, с свежею головою записала все это в свой дневник и затем отравилась.

Трудно было предсказать, что разбудит теперь Истомина из того забытья, в которое впал он. Из всей окружающей его действительности он только сознает одно, что он едет; но кто он такой, и куда, и зачем он едет — это

[1] «Последний день приговоренного к смерти» *(франц.)*.

ему совершенно непонятно. Что это за местность, какой это день и какая пора дня? — тоже не уясняется. Но вот наконец-то... теперь все это ясно: это летние сумерки в степях за Окою. Две косматые лошадки, меньше похожие на лошадей, чем на вылинявших медвежаток, частят некованными ногами по мягкой грунтовой дорожке. Мужичок, с желтой мычкой на подбородке и в разноцветном зипунишке, сидит и трясется на грядке, на которой бы воробью сидеть впору. Ему скучно. И вот он метится, метится во что-то волжанковым кнутовищем. Увидев такие прицелы, из-под рогожной кибитки, покрытой седою дорожною пылью, на четвереньках выползает черненький мальчик; он тихо, затаив дыхание, подвигается к переднему вязку телеги. Волжанковая палочка все надходит над свою цель: эта цель — зеленоголовый слепень, — он блаженствует, сидя у перекрестных ремней шлеи, и вниз от этого места по шерсти лохматой лошадки сочатся кровавые капли. Но щелкнула волжанка, слепень кувырнулся и в то же мгновенье упал, покатясь, под телегу. Ребенок выкрикнул от радости, обнял ручонкой загорелую шею соседа-охотника и поцеловал его в его желтую мычку.

Засмеялся мужик, и еще кто-то назади засмеялся в кибитке. Смех это или не смех? Что-то как будто не смех или смех вместе с кашлем.

У, да как же хорошо-то кругом, — то есть что ж тут, по правде говоря, и хорошего-то? Ничего очень хорошего, да так легко, и ото всего, от чего вы хотите, веет этой тихою радостью русской картины. Вон на пыльной дороге ряды перекрестных колей от тележных колес; по высокому рубежу куда-то спешит голубок и, беспрестанно путаясь ножками в травке, идет поневоле развалистым шагом: он тащит в клюве ветку и высоко закидывает головку, чтоб перекинуть свою ношу через высокие стебли; на вспаханном поле свищет овражек и, свистнув, тотчас же нырнет, а потом опять выскочит, сядет и утирается бархатной лапкой. Солнце садится за лесом, луга закрываются на ночь фатой из тумана; зеленые сосны чернеют, а там где-нибудь замелькают кресты, и встает за горой городочек, покрытый соломой, — вот ты и вся здесь, родная картинка, а тепло на душе каждый раз, когда про тебя вспомянется.

Полно и крепко забилось в мятежной груди Истомина его русское сердце. Еще чутче становится он к давно минувшему. Не только мысленное око его не знает преград, его ухо тоже слышит бог весть когда и где раздавшиеся звуки.

— А вот это видишь, — говорит ему из-под пыльной кибитки слабый женский голос, перебиваемый удушливым кашлем, — гляди вон туда, вон высоко, высоко под небом — это летят журавли.

— На ночлег поспешают, — досказывает мужичок с желтой мычкой.

Сколько рассказов начинается об этих журавлях! И какие все хорошие рассказы! век бы их слушал, если бы только опять их точно так же рассказывали. Речь идет про порядки, какие ведут эти птицы, про путину, которую каждый год они держат, про суд, которым судят преступивших законы журавлиного стада. Все это так живо, веселей чем у Брема. Как памятны все впечатления первой попытки вздохнуть одним дыханием с природой.

Впечатление это вспоминается необыкновенно редко, случайно, без всякой стати, как вспоминается иногда вещь, давно-давно забытая на грязном столе почтовой станции глухого, пустынного тракта.

Стрелою, пущенною с тугой тетивы, несется в памяти в погоню за этой порою другая пора: пора сладкой юности, годы тревог и страстей. И недвижно стоит только один какой-то день; один из множества дней стоит он, как звезда, уснувшая на зените. Стоит он долго — ничто его не сдвигает, ничто не трогает с места. Это и есть тот день, от которого в виду смерти станешь спрашивать: «Куда деться? куда деваться?» Этот день бел, как освещенное солнцем сжатое поле, на котором нет ни жнецов, ни птиц, уносящих колосья; на котором не слышно ни детского плача, ни жалоб клянущей жизнь плоти, ни шелеста травы, ни стрекота букашек — все мертво и тихо, как в опаленной долине Иерихона, и над всем этим безмолвием шагает, не касаясь ногами земли, один ужасный призрак. Этот призрак изменчив, как хамелеон, — это женщина, появляющаяся то с головой, остриженной, как у цезарского рекрута, то с лакированной сумочкой на груди. Но и она исчезает, и в ту минуту, когда она уже

исчезла, когда не стало ее, художник вернулся к действительности. Он сделал этот переход с такою быстротою, что его трудно определить словом. Как быстро упал с поднебесья внезапный крик пролетавшей журавлиной стаи, так быстро, услыхав этот крик, Истомин выпрыгнул из таратайки, стал на ноги и, прижав к груди руки, затрясся от внутреннего зноба.

Он не видал этих птиц, когда они подлетали, тянувшись по небу шнурочком; один Бер видел, как этот шнурок все подвигался в треугольник, состоящий из отдельных точек, расположенных как камни, обозначающие могилу араба, похороненного среди песчаной Сахары, и когда с неба неожиданно упало это резкое, заунывное турчанье, оно для Истомина было без сравнения страшнее слова матери, которое нарушало покой ночи осужденного на смерть.

«Ага! летят уж Ивиковы журавли... да, да, пора конец положить», — подумал Истомин, стоя с открытой головой внизу пролетающей стаи. А стая все летит и летит, и все сильнее и чаще падают от нее книзу гортанные звуки.

Этот крик имеет в себе что-то божественное и угнетающее. У кого есть сердечная рана, тот не выносит этого крика, он ее разбередит. Убийцы Ивика, закопанного в лесу, вздрогнули при этих звуках и сами назвали дела свои.

— Простимтесь же лучше здесь, чем под вашей кровлей, — заговорил, проводя глазами журавлей, Истомин. — Не думайте, что я неблагодарен. В благодарность вам я буду от вас очень далеко.

— А мой угол, хлеб и мой привет...

— Да, да, пусть они подождут меня...

Истомин почесал себя когтями по голой груди и добавил:

— Кончаю тем, что и за это не вправе обижаться, но только вот что: Каину угла-то ничьего не нужно... Прощайте, Бер, — вам здесь направо, а я пойду налево — таким манером, даст господь, мы друг другу на дороге не встретимся. Я, должно быть, уж не обойду вокруг света.

— Иди, — сказал ему спокойно Бер.

— Аминь — иди, пока споткнешься на свою могилу, — ответил ему Истомин и пошел влево.

Так они и расстались на этой дороге.

В доме Норк обо всем этом не знали ничего, но попрежнему страшно боялись слова *новость*.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Наконец, чего долго ждешь, того иногда и дождешься: в дом Норков, как с неба, упала новость. Религиозное настроение Софьи Карловны так и приняло ее как посланницу неба, несмотря на то, что новость эту принес им полицейский городовой Васильевского острова.

Городовой явился в магазин Норков перед вечером пятого мая и, застав здесь одну Иду, просил ее немедленно послать кого-нибудь в мертвецкий покой, чтобы «обознать» принадлежащее им *тело*, найденное у берега в Чекушах.

Ида побледнела. Вермана четвертый день не было дома, и новость эта могла касаться его непосредственно. Соваж первого мая отправился на екатерингофское гулянье и не мог встретить серьезных препятствий отыскаться на пятый день в виде *тела*, принадлежащего Норкам.

В это время Ида также припомнила странную историю, которую на другой день екатерингофского гулянья принесла домой Авдотья, ходившая навестить свою сестру в Чекуши.

В истории этой тоже был замешан черт, и притом замешан и скомпрометирован гораздо сильнее, чем в святочной истории в Плау, потому что здесь он напал на людей нелегковерных и остался в дураках.

Дело было вот в чем: ночью с первого на второе мая очередные рыбаки на тонях, при свете белой ночи, видели, как кто-то страшный и издали немножко схожий с виду с человеком бросился с екатерингофского берега в Неву. Рыбаки, имеющие беспрестанные столкновения с водяными чертями, служащими по их департаменту, тотчас сообразили, что это ни более ни менее как одна из тысячи проделок потешающегося над ними дьявола, ибо человеку

не могло прийти в голову попробовать переплыть Неву в этом месте. Пока рыбаки рассуждали, для какой бы цели было дьяволу морочить их таким образом, дьявол начал кряхтеть. По воде далеко было слышно, как он тяжело отдувался. Рыбаки отвернулись к гаванской церкви и стали молиться. Огорченный обращением их к храму, дьявол, чтобы увеличить соблазн, начал кричать человеческим голосом и звать себе на помощь. Рыбаки опустились в лодках на колени и стали молиться еще жарче. Как ни выбивался злой дух из последних сил своих, чтобы подмануть христианскую душу, это не удалось ему, потому что, хотя он и очень верно подражал человеческому голосу, но прежде чем рыбаки, глядя на гаванскую церковь, окончили ограждающую их молитву, на правом берегу в Чекушах пропел полночный петух, и с его третьим криком и виденье и крики о помощи смолкли.

Третьего дня черт этот благополучнейшим образом был выкинут волненьем на берег в тех же Чекушах и был отправлен в мертвецкий покой.

Быстро сочетав все эти обстоятельства в своем соображении, Ида, не говоря ни слова матери, бросилась к зятю. Шульц тотчас поехал и, возвратясь через полчаса, объявил, что утопленник действительно есть токарный подмастерье Герман Верман, которому на гроб и погребенье он, Шульц, оставил двадцать пять рублей, прося знакомого квартального доставить их пастору.

— А все-таки это страшная мерзопакость, — порешил Шульц. — На меня это так дурно подействовало, что я просто сам не свой теперь.

Шульц не любил первой беды, хотя бы она его обходила и издалека. Из наблюдений собственных, из старческих поверий, как и из слов великого Шекспира, Шульц сострoил убеждение, что радости резвятся и порхают в одиночку, а «беды ходят толпами», и старушка-горе неспешлива.

Торопиться ей не нужно;
Посидеть с работой любит.

Тому, что «беды ходят толпами», верили, впрочем, все в семействе Норков, и потому, когда Шульц объявил, что

по случаю этого несчастья он откладывает на неделю переход в свой новый дом, отстроенный на Среднем проспекте, то и Берта Ивановна и Софья Карловна это совершенно одобрили.

— Неприятно, чтоб это осталось воспоминанием в один и тот же день, — объявил Фридрих Фридрихович.

Берта Ивановна и madame Норк обе сказали то же самое.

Ида, правда, ничего не сказала, но это, вероятно, потому, что ее вообще очень мало занимал вопрос о новом доме зятя. Она стояла возле кресла матери, которая, расстроившись смертью Вермана, совсем распадалась, сидела опустя руки и квохтала, как исслабевшая на гнезде куриная наседка. Ида молча соединяла в небольшом стеклянном пузыречке немного выдохнувшуюся нашатырную соль с каким-то бесцветным спиртом. Она нюхала эту смесь, встряхивала ее, держа пузырек между большим и указательным пальцем правой руки, смотрела на нее, прищуря один глаз, на свет и, снова понюхав, опять принималась трясти снова.

— Стоит ли, сестра, возиться с этой дрянью? — проговорил ей Шульц.

Ида, не отвечая зятю, молча дала понюхать матери спирту и, опустив склянку в карман, молча облокотилась на материно кресло.

— Сядь, Ида, — не люблю, когда ты стоишь надо мною, — произнесла старуха.

Ида села на первый ближайший стул. Старуха опять начала квохтать и водить по углам своими старческими глазами.

— Бедняжка, — заговорила она, — какая смерть-то страшная; теперь вода еще холодная... Мученье, бедненький, какое перенес... а? Идочка! я говорю, мученье-то какое — правда?

— Это, мама, одна минута.

— Ну, как одна минута! Как, право, ты все, Иденька, как-то так легкомысленно все любишь говорить! Кричал ведь он, говорят тебе, так это не минута.

Старуха опять заквохтала и, закашлявшись от поднесенного ей снова Идой спирта, слегка толкнула ее по руке и досадливо проговорила:

— Поди на место.

Старушка с самого отъезда Мани во все тяжелые минуты своей жизни позволяла себе капризничать с Идою, как иногда больной ребенок капризничает с нежно любимой матерью, отталкивая ее руку, и потом молча притягивая ее к себе снова поближе.

— Не стар еще ведь был? — заговорила через минуту Софья Карловна. — А впрочем... пятьдесят четвертый год...

— Что вы говорить изволите, маменька? — отозвался Шульц, быстро подходя к теще от окна, у которого стоял во время ее последних слов.

— Я говорю, что покойник-то... Он и в тот год, когда Иоганус умер, он так же закутился и переплыл сюда с гулянья... А нынче, верно, стар... Уж как хотите, а пятьдесят четвертый год... не молодость.

— Лета хорошие.

— Да, пожил.

— Другие не живут и этого.

Старуха засмутилась и тихо сказала:

— Ну, да; кутят всё.

Ида опустила глаза и пристально посмотрела на Шульца.

— Да, все кутил, кутил покойник. Я тридцать лет его уж знаю — все кутил.

— Неужто тридцать лет?

Ида опять пристальнее и еще с большим удивлением поглядела через плечо на зятя и обернулась к матери. Старушка провела рукою по руке, как будто она зябла, и опять тихим голосом отвечала:

— Что ж, тридцать лет! Да вон твоей жене теперь уж двадцать девять. Года мои считать немудрено: я в двадцать замуж шла, а к году родилася Бертинька, вот вам и все пятьдесят... А умирать еще не хочется... пока не съезжу к Маньке. Теперь я уж к ней непременно поеду.

Шульцы ушли к себе довольно поздно; старуха оставила Иду спать на диване в своей комнате и несколько раз начинала беспокойно уверять ее, что кто-то стучится. Ида раз пять вставала и ходила удостовериться.

— Нам велика, Иденька, двоим эта квартира, — старалась старушка заговаривать с дочерью, когда та возвращалась.

— Подумаем, мама, что сделать, — отвечала, укладываясь, Ида.

— Непременно надо подумать.

— Подумаем.

— И то... я, знаешь, Идочка, без шуток, право, в нынешнем году поеду к Мане.

— Что ж, мама, и прекрасно; поезжайте с богом.

— А то тоска мне.

— Да поезжайте, душка, поезжайте.

Старуха заснула.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Прошла неделя, Вермана схоронили; Шульц перебрался в свой дом, над воротами которого на мраморной белой доске было иссечено имя владельца и сочиненный им для себя герб. Шульц нигде не хлопотал об утверждении ему герба и не затруднялся особенно его избранием; он, как чисто русский человек, знал, что «у нас в Разсеи из эстого просто», и изобразил себе муравейник с известной надписью голландского червонца: «Concordia res parvae crescunt». [1]

У Фридриха Фридриховича переход в свой дом совершился со всякой торжественностью: утром у него был приходский православный священник, пел в зале молебен и служил водосвятие; потом священник взял в одну руку крест, а в другую кропило, а Фридрих Фридрихович поднял новую суповую чашу с освященною водою, и они вместе обошли весь дом, утверждая здание во имя отца, и сына, и святого духа.

В зале, когда священник разоблачился и стал благословлять подходящую прислугу, Шульц тоже испросил и себе его благословения и поцеловал его руку. Священник сконфузился.

— Батюшка! — проговорил Шульц. — Этого наш долг требует.

Священник хотел что-то отвечать, но Шульц предупредил его.

---

[1] При согласии и малые дела вырастают *(лат.)*.

— Оно, конечно, это ни для меня и ни для вас не нужно; но это так долг повелевает.

Шульц пригнулся к уху священника и, слегка кося глазами на суетившуюся прислугу, добавил:

— Для них этот пример совсем необходимый.

Священник согласился.

— Основательно, весьма основательно, Фридрих Фридрихович, — ответил он Шульцу.

— Эх, батюшка, да зовите меня просто Федор Федорычем. Ведь это вшистко едно, цо конь, цо лошадь.

— Так-с, Федор Федорыч; так-с.

— Ну, так этому и оставаться.

Два дня происходила переноска мебели и установка хозяйской квартиры, на третий день вечером был назначен банкет. Берта Ивановна говорила, что банкет следует отложить, что она решительно не может так скоро устроиться, но Шульц пригнал целую роту мебельщиков, драпировщиков и официантов и объявил, чтоб завтра все непременно было готово.

— Ужасно это, ей-богу, у тебя все как вдруг, Фриц,— говорила, слегка морщась, Берта Ивановна.

— А вы вот лучше смотрите-ка, Берта Ивановна, как бы мы с вами в новом доме не поссорились, — отвечал ей супруг, собственноручно приколачивая с обойщиком карнизы драпировок.

Берта Ивановна с этих пор не возражала уже мужу ни слова.

Банкет был громкий; были здесь все, кого знал Шульц и кто знал Шульца: старый хозяин, новые жильцы собственного дома, пастор, русский священник и три конторщика.

— У нас, батюшка, по-христиански — с чадами и домочадцы, — говорил Шульц, указывая священнику на жавшихся в уголке трех младших конторщиков, вступающих завтра в должность по новооткрываемой конторе.

Выпито было столько, что сам Шульц, поправляя потный хохол, шептал:

— Однако, черт возьми, мы, что называется, кажется, засветили!

Но тем не менее он, однако, опять наседал на гостей с новой бутылкой и самыми убедительными доводами. Наливая стакан своему домовому доктору, который

выразил опасение, не будет ли в новом доме сыро, — Шульц говорил:

— Это, Альберт Вильбальдович, сырость вытягивает.

Доктор отвечал:

— Но для здоровья — особенно у кого короткая шея... это...

Доктор лукаво погрозил Шульцу с улыбкою пальцем.

— Да; но иногда-то? иногда?

— Ну, иногда... да, это конечно! — заканчивал доктор.

Шульц напал на священника.

— Вино, батюшка, веселит сердце человека.

— До известной меры-с, Федор Федорыч, до известной меры, — отвечал священник.

— Ну, этого в писании не сказано.

— А не сказано-с, но там зато сказано: «не упивайтесь, в нем бо...» — Священник кашлянул и договорил: — «в нем бо есть грех».

Шульц разрешил и это затруднение. Ударяя рукою по столу, он проговорил:

— Грех, батя, это пусть будет сам собою, а вы вот это выкушайте.

Священник отвечал: «Оно, конечно, — и, хлебнув вина, досказал, — не всегда все в своей совокупности».

На другой день после этого пира Шульц сидел вечером у тещи, вдвоем с старушкой в ее комнате, а Берта Ивановна с сестрою в магазине. Авдотья стояла, пригорюнясь и подпершись рукою, в коридоре: все было пасмурно и грустно.

— Я не знаю, право, Ида, что тебе такое; из-за чего ты споришь? — говорила, глядя на сестру, Берта Ивановна.

— Я и не спорю, — отвечала Ида.

— Мама этого хочет.

— А, мама хочет, так так и будет, как она хочет.

— Но неприятно, что ты делаешь это с неудовольствием.

— Это все равно, Берта.

— Ты, Ида, делаешься какая-то холодная.

Ида промолчала.

— Я знаю, что Фридрих добрый, родной, и он вас любит, и я люблю... не знаю, что тебе такое?

— Я верю этому, — отвечала Ида.

— Но что ж тебе такое? что тебе этого не хочется?

— Не хочется? — проговорила, вздохнувши, Ида. — Не хочется мне, Берта, потому, что просторней жить — теснее дружба.

— Мы не поссоримся.

— И не поссорившись не всегда хорошо бывает.

— Да отчего же, Ида? отчего? ты расскажи.

— Неровные отношения.

— Мой господи, как будто мы чужие! Век целый прожили, всякий день видались: ведь все равно и так как вместе жили. Ты посуди, в самом деле, какая ж разница?

— Большая, Берта, разница. Жить порознь, хоть и всякий день видеться, не то, что вместе жить. Надо очень много деликатности, Берта, чтобы жить вместе.

— Все у тебя, Ида, деликатность и деликатность; неужто уж и между родными все деликатность?

— С родными больше, чем с чужими.

— Не понимаю; Фриц, кажется, очень деликатный человек. Разве я чем-нибудь — так ты ведь мне прямо все говоришь.

— Вместе живя, Берта, нужна постоянная деликатность; пойми ты — *постоянная:* кто не привык к этому — это очень нелегко, Берта. Твой муж — он, говоришь ты, добрый, родной, — я против этого не скажу ни слова, но он, например, недавно говорил же при матери так, что она как будто стара уж.

— Господи, какие мелочи! Я бог знает как уверена, что он и не заметил этого.

— Мелочи! Я знаю, что это мелочи и что он даже не заметил, как это действует на маму, и я на него за это ни крошечки не сержусь. Понимаешь, это *теперь* розно ничего не значило, кроме неловкости.

— А если бы вы жили у нас?

— А если бы мы жили у вас, и он бы сказал это, это была бы ужасная неделикатность. Ты не сердись — я не хочу неприятностей, — я говорю тебе, что он сказал это без умысла, но мне бы это показалось... могло бы показаться... что мать моя в тягость, что он решил себе, что ей довольно жить; а это б было для меня ужасно.

— Я скажу это Фридриху.

— Сделай милость, скажи, — отвечала спокойно Ида.

Через минуту madame Норк позвала ее к себе. Девушка взошла и молча стала перед матерью. Софья Карловна взяла ее руки и сказала:

— Ну, как же, Ида?

— Как вам угодно, мама.

— Ты согласись.

— Мама, я с вами всегда согласна.

— Да, согласись. Где нам теперь искать другого подмастерья? Я старая, ты девушка... похлопотали... У нас свое есть — мы в тягость им не будем. Дай ручку — согласись.

Ида подала матери руку.

— Ну, Берточка! — позвала старушка, — согласна — пусть будет так, как вы хотите с мужем.

Берта Ивановна опустилась у материнского кресла на колени и, поцеловав ее руку, осталась в этом положении.

Madame Норк долго ласкала обеих дочерей и проговорила сквозь слезы:

— Вот и Манька моя будет рада, дурка, как узнает! Ида! я говорю, Манька-то наша: она как узнает, что мы вместе живем, — она обрадуется.

— Обрадуется, мама, — ответила Ида; проводив Шульцев, уложила старушку в постель, а сама до самого света просидела у ее изголовья.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Фридрих Шульц сам взялся разверстать и покончить все дела тещи. На другой же день он явился к теще с двумя старшими детьми и с большим листом картона, на котором в собственной торговой конторе Фридриха Фридриховича было мастерски награвировано на русском и немецком языке:

*«Токарное заведение, магазин и квартира передаются. Об условиях отнестись в контору негоцианта Шульца et C-nie, В. О., собственный дом на Среднем проспекте».*

Шульц собственноручно поставил этот картон на окно, у которого обыкновенно помещалась за прилавком Ида. Далеко можно было читать эту вывеску и имя негоцианта Шульца. Впрочем, вывеска эта не принесла никакой пользы. Преемников госпоже Норк Шульц отыскал без помощи вывески и сам привел их к теще. Заведение, квартира, готовый товар и мебель — все было продано разом. Старушка удержала за собою только одну голубую мебель, к которой она привыкла.

— А вы, сестра, не оставите ли себе чего? — отозвался Шульц, надевая в магазине свою высокую негоциантскую шляпу.

— Нет, ничего, — отвечала Ида.

— Любимое что-нибудь?

— У меня вещей любимых нет.

— Фортепьян, Идочка, фортепьян-то себе оставь, — послышался из залы голос Софьи Карловны.

— Нет, мамочка, не надо, — отвечала, встрепенувшись, Ида.

— Оставь, дружок, — убеждала, выползая, старушка.

— Мама, да какая я музыкантша?

— Мне когда-нибудь вечерком поиграешь; я люблю, когда ты играешь.

— Я вам на сестрином поиграю, когда прикажете, — отвечала, рассмеявшись, Ида.

— И то дело; есть у нас и своя этакая балалайка, — зарешил Шульц и отправился домой писать с преемником условие.

В этот же день Шульц, обогнав меня на своем гнедом рысаке, остановился и рассказал, что он перевозит свояченицу и тещу «в свою хату».

— Что ж им торомошиться-то больше? — рассуждал он. — Слава богу, есть своя изба, хоть плохенькая, да собственная, авось разместимся. — Он понизил голос до тона глубокой убедительности и заговорил: — Я ведь еще как строил; так это предвидел, и там, помилуйте, вы посмотрите ведь, как я для них устроил. Ведь не чужие ж в самом деле, да, наконец, у них ведь и свое есть.

— Есть разве?

— Ну да, еще бы! Тысяч восемь теперь всего-то наберется. Случись ведь что со старушкой, так ведь сестре

на всем готовом и процентов истратить некуда. Да что: я вам скажу, еще дай бог всякому так кончить, как они.

Шульц крикнул кучеру: «Пошел!»

Вот уж и слово *кончить* применилось к тебе, дорогая Ида Ивановна! Вот и масштаб для тебя составлен и дорога твоя предусмотрена: непочатыми будут твои капиталы, и процентов тебе не прожить.

«Еще и всякому так дай бог кончить!»...

О боже! боже! как страшно и как холодно становится на свете живому человеку, когда сведешь его на этот узкий, узкий путь, размеренный масштабом теплого угла, кормленья и процентов! А еще и тебе скажут ближние твои: благо тебе, искренний, зане многим на земле и еще того хуже: зане у многих на земле нет ни угла, ни крова, ни капитала в кармане, ни капитала в голове, ни капитала в характере и в нраве. Но и чрез золото так точно льются слезы, как льются они и чрез лохмотья нищеты, и если поражает нас желтолицый голод и слеза унижения, текущая из глаз людей нищих духом, то, может быть, мы нашли бы еще более поражающего, опустясь в глубину могучих душ, молчащих вечно, душ, замкнутых в среде, где одинаковы почти на вид и сила и бессилье. Мы ужаснулись бы, глядя, как их гнетет и давит спящая их собственная сила; как их дух, ведун немой, томится и целый век все душит человека. Так Святогор, народный богатырь нашего эпоса, спит в железном гробе; накипают на его гробе закрытом всё новые обручи: душит-бьет Святогора его богатырский дух; хочет витязь кому б силу сдать, не берет никто; и все крепче спирается могучий дух, и все тяжче он томит витязя, а железный гроб все качается.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Я вечером зашел к Норкам. Ида Ивановна сидела одна в магазине, закрытая от окна не снятою еще вывескою о передаче магазина.

Подавая мне руку, она только молча кивнула головою.

Я сел в простенке, так что если бы кто подошел с улицы даже к самому окну, то меня ему все-таки не было бы видно.

Ида сама рассказала мне, что они прекращают торговлю и переселяются к Шульцу.

— Вы ведь, — спросил я, — нехотя это делаете, Ида Ивановна.

Девушка помолчала, сдвинула слегка брови и отвечала:

— Нет... все равно уж! Пусть будет как маме угодно.

— Ваш век, можно думать, длиннее Софьи Карловниного.

— Если мама умрет, я тогда поеду к Мане, — произнесла Ида скороговоркой и, быстро распахнув окно, добавила: — Фу, господи, как жарко!

Она высунула головку за окно, и мне кажется, она плакала, потому что когда она через минуту откинулась и снова села на стул, у нее на лбу были розовые пятна.

— Фриц идет, — проговорила она, принимаясь за оставленную работу.

Я посмотрел в окно, никого не было видно.

— Он далеко еще, не увидите.

— А как же вы-то его увидали?

— Я не вижу его. — Ида улыбнулась и добавила: — Мой нос полицеймейстер, я его сигару слышу.

В эту минуту щелкнула калитка палисадника и под окном действительно явился Шульц.

Не знаю почему, я не поднялся, не заявил ему о своем присутствии, а остался вовсе не замечаемый им по-прежнему за простенком.

— Ну да, — начал Шульц, — я всегда говорил, что беды ходят толпами.

— Тише, — проговорила Ида.

Она встала, затворила дверь из магазина в комнаты и снова села на свое место.

— Что такое?

— Вот что, — начал Шульц, — Маня оставила мужа.

Ида вскочила и стала у шкафа. Шульц говорил голосом нервным и дрожащим.

— Мне вот что пишет муж ее. Не беспокойтеся давать мне свечки, я вам прочту и так, — и Шульц прочел холодное, строгое и сухое письмо Бера, начинавшееся

словами: «На девятое письмо ваше имею честь отвечать вам, что переписка между нами дело совершенно излишнее». Далее в письме было сказано, что «мы с Марией расстались, потому что я не хотел видеть ее ни в саване, ни в сумасшедшем доме». Известное нам дело было изложено самым коротким образом, и затем письмо непосредственно оканчивалось казенною фразой и крючковатой подписью Бера.

— Как вам это нравится? — спросил Шульц, дочитывая письмо. Ида молчала.

— Ведь этого не может быть! Ведь это вздор! все это выдумка!

— Не говорите только, пожалуйста, об этом матери.

— Да нечего и говорить... это невозможно!.. das ist nicht möglich.[1]

— Конечно, — уронила Ида.

Шульц посмотрел в глаза свояченице и, черкнув по зажигательнице спичкой, сказал:

— Я думаю, однако, пению время, а молитве час. Вы еще молоды, чтобы надо мною смеяться.

— А!.. Вот то-то б вам поменьше хлопотать! Да! да не das ist nicht möglich, а это gewiss, Herr Schulz, gewiss...[2] *вы* погубили нашу Маню.

— Покорно вас благодарю,— произнес с шипением Шульц.

— Вы! вы! и вы! — послала ему в напутствие Ида, и с этими словами, с этим взрывом гнева она уронила на грудь голову, за нею уронила руки, вся пошатнулась набок всей своей стройной фигурой и заплакала целыми реками слез, ничего не видя, ничего не слыша и не сводя глаза с одной точки посередине пола.

Она плакала какими-то мертвыми, ледяными слезами. О таких слезах никто не рассказывал ни в одной истории, ни в одной сказке. Обыкновенно думают, что самая больная слеза есть слеза самая теплая, «горючая», как называют ее сказки и былины нашего эпоса. Усталый витязь, уснувший непробудным сном на коленях красавицы, которую он должен был защитить от выходившего из моря чудовища, пробудился от одной

---

[1] Это невозможно *(нем.)*.

[2] Конечно, господин Шульц, конечно *(нем.)*.

слезы, павшей на его лицо из глаз девушки при виде вышедшего змея. Так горяча слеза молодой жизни, просящей защиты. Но есть еще другие, более страшные слезы, и хотя их нельзя назвать горючими, но они заставляют вас трепетать, когда текут по женским щекам.

Есть много известных женских лиц, трудясь над изображением которых даровитые художники представили этих женщин плачущими. Таковы известные изображения: нежной дочери короля Лира, *Корделии;* целомудренной римлянки *Лавинии,* дочери Тита Андроника; развенчанной *Марии Антуанетты* в минуту ее прощания с детьми; *Алиции Паули Монти; Орлеанской Девы;* св. *Марии Магдалины,* из русских — *Ксении Годуновой,* и, наконец, еще так изображена *Констанция,* вдова, устами которой Шекспир сказал красноречивейшее определение скорби. Изучая эти плачущие лица, вы чувствуете, что каждое из них плачет *своими слезами,* и даже как будто чувствуете температуру этих слез. *Корделия,* молящаяся за сумасшедшего отца; *Лавиния,* обесчещенная, с обрубленными руками; *Мария Антуанетта,* утопшая в крови и бедах; царевна *Ксения Годунова,* эта благоуханная чистая роза, кинутая в развратную постель самозванца, и *Констанция,* научающая скорбь свою быть столь гордой, чтобы пришли к ней короли

Склониться пред величьем тяжкой скорби,

все это женщины с различными скорбями. Пересчитав столько женских обликов, я, кажется, имею довольно большой выбор для сравнения; но как ни многоречивы эти прекрасные, высокохудожественные изображения, я ни перед одним не смел бы вам сказать: мне кажется, что Ида плакала вот этак! Она плакала совсем иначе.

Еще одно женское лицо, также плачущее, останавливает на себе наше внимание в роскошном издании L'Abbé и G. Darboy «Les femmes de la Bible».[1] Это высокая и стройная библейская красавица, которая стоит перед вами полуобнаженная: она плачет, только ступивши ногою с постели, ее стан едва лишь прикрыт ветхозаветною

[1] Лабе и Г. Дарбуа. «Библейские женщины» *(франц.).*

восточною рубашкой, то есть куском холста, завязанным под левою ключицей. Другое плечо, грудь, шея и правая рука обнажены. Рука в запястьях, которые не были сняты ночью, висит, как стебель, левая, также нагая от самого локтя, держит упавшую голову. Из глаз тихо катятся холодные крупные слезы, и катятся как градины на раскаленную ниву. За этой фигурой вы видите двуспальную постель, часть смятого изголовья и больше ничего: все остальное закрывает пестрое восточное одеяло, которое женщина потянула, проснувшись, и, судорожно сжав его край, плачет ледяною слезою.

Я не знаю, беретесь ли вы отгадать, кто эта библейская женщина?.. Это дочь Рагуила, та несчастная красавица Сара, которая семь раз всходила на брачное ложе и видела всех семерых мужей своих умершими и оставившими ее девой. Художник изобразил момент пробуждения ее в первую ночь седьмого брака: она уже не в испуге, не в ужасе и не в отчаянье. Ей не идет *горючая* слеза скорбей, живых еще хотя бы *надеждою,* хотя б одним *желаньем,* переживающим надежду: у ней даже желаний нет. Она не ждет еще пришествия Товия, который должен сжечь в ее опочивальне рыбье сердце: она одна теперь с умершей надеждой жить и с улетевшими желаньями; она застыла, и ее слезы падают оледенелыми.

Такова была, плачучи, Ида.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

### ГЛАВА ВМЕСТО ЭПИЛОГА

С тех пор, как перед нами плакала Ида, до дня, в который вы прочтете эту повесть, минули не одна весна и не одно лето. В это время в трех прекрасных комнатах на антресолях в доме богатого негоцианта Шульца умерла Софья Карловна Норк. В течение пяти лет, которые старушка провела у дочери и у зятя, ни она, ни Ида не имели ни малейшего основания пожалеть о том, что они оставили свое хозяйство. Шульц угождал матери и благоговел перед Идой. Старушка умерла от рака в желудке. Целый год ее томили голодом, чтобы удержи-

вать развитие болезни и облегчить ей последний шаг в вечность. Софья Карловна сделалась младенцем.

— Идочка! — часто шептала она потихоньку, вскакивая на своей кроватке. — Дай ты мне, мой друг, немножко булочки.

— Мамочка, невозможно вам, голубчик, булочки! — отвечала Ида.

— Ну, с булавочную головку дай.

— Ну стóит ли, мама, с булавочную головку?

— Стóит, мама моя, стóит, — отвечала старушка, называя дочь своей матерью.

Ида будто не слыхала и начинала про себя читать или работать.

— Ну что ж, и бог с тобой, — говорила старушка. — Я все, бывало, видела во сне, как тебя носила, что ты меня кормишь, — а ты не хочешь, ну и бог с тобой; стало быть, это неправда.

Ида не выдерживала и давала матери кусочек с гороховину.

— Да я не хочу из твоих рук, — хитрила старушка. — Что ты мне не веришь! Я не дитя. Ты дай мне, я и сама отломлю.

Ида знала, чем это кончится, но подавала матери ломтик, и Софья Карловна скоро, скоро выколупывала дрожащими пальцами мякиш, совала его себе в рот и, махая руками, шептала: «убери! убери поскорей, убери, а то сестра придет!»

День ото дня старушка все более и более уподоблялась младенцу невинному и по-прежнему все хитрила с Идой, подговариваясь то под кофе, то под бисквиты, которые она будто видела во сне.

— Мама, вам этого не снилось, — отвечала Ида.

— Как не снилось! Вот новости! Как это не снилось?

— Не снилось, мама, не снилось, потому что вам этого невозможно.

— Да! невозможно, а все-таки снится, — отвечала, обижаясь и отстаивая свою хитрость, Софья Карловна.

Наконец дни Софьи Карловны были сочтены, и загорелася ее последняя заря. Дети знали это от доктора, но старушка не знала своего положения.

— Мне, Идочка, сегодня снилось, — говорила, — будто мне можно полчашки кофею.

— Можно, мама, — отвечала Ида.

— Можно? — переспросила изумленная старушка и, посмотревши с упреком на дочь, горько заплакала.

— Подать вам, мама?

— Нет, нет, не надобно, не надобно... Мне это вредно, — отвечала Софья Карловна и закрыла свои прозрачные веки, тонкие, как перепонки крыла летучей мыши. Из-под этих век выдавились и остановились в углах две тощие слезинки.

— Почитай, — попросила она дочь.

На небе садился ранний зимний вечер с одним из тех странных закатов, которые можно видеть в северных широтах зимою, — закат желтый, как отблеск янтаря, и сухой. По этому янтарному фону, снизу, от краев горизонта, клубится словно дым курений, возносящийся к таинственному престолу, сокрытому этим удивительным светом.

С антресолей Шульца, если сидеть в глубине комнат, не видно было черты горизонта, и потом, когда загорается зимою над Петербургом такая янтарно-огненная заря, отсюда не видать теней, которые туманными рубцами начинают врезываться снизу вполеперек янтарной зари и задвигают, словно гигантскими заставками, эту гигантскую дверь на усыпающее небо.

Такая заря горела, когда Ида взяла с этажерки свою библию. Одна самая нижняя полоса уже вдвигалась в янтарный фон по красной черте горизонта. Эта полоса была похожа цветом на полосу докрасна накаленного чугуна. Через несколько минут она должна была остывать, синеть и, наконец, сравняться с темным фоном самого неба.

Ида знала эту доску, знала, что за нею несколько выше скоро выдвинется другая, потом третья, и каждая будет выдвигаться одна после другой, и каждая будет, то целыми тонами, то полутонами светлей нижней, и, наконец, на самом верху, вслед за полосами, подобными прозрачнейшему розовому крепу, на мгновение сверкнет самая странная — белая, словно стальная пружина, только что нагретая в белокалильном пламени, и когда она явится, то все эти доски вдруг сдвинутся, как легкие дощечки зеленых жалюзи в окне опочивального покоя, и плотно закроются двери в небо.

Евреи верят, что небо запирается каждый вечер, и если вы хотите, то вы можете видеть, как это производится невидимыми руками, задвигающими зорю и повертывающими последнюю пружину этих задвижек.

При такой заре, покуда не забрана половина облитого янтарем неба, в комнатах Иды и ее матери держится очень странное освещение — оно не угнетает, как белая ночь, и не радует, как свет, падающий лучом из-за тучи, а оно приносит с собою что-то фантасмагорическое: при этом освещении изменяются цвета и положения всех окружающих вас предметов: лежащая на столе головная щетка оживает, скидывается черепахой и шевелит своей головкой; у старого жасмина вырастают вместо листьев голубиные перья; по лицу сидящего против вас человека протягиваются длинные, тонкие, фосфорические блики, и хорошо знакомые вам глаза светят совсем не тем блеском, который всегда вы в них видели.

То же самое происходит в это время с вашим лицом и со всеми лицами, которые будут освещены этим светом.

Ида знала всю прихотливость этого освещения; любуясь его причудами, она посмотрела вокруг себя на стены, на цветы, на картины, на Манин портрет, на усаживавшуюся на жердочке канарейку: все было странно — все преображалось. Ида оглянулась на мать: лицо Софьи Карловны, лежавшей с закрытыми веками, было словно освещенный трафарет, на котором прорезаны линии лба, носа, губ, а остальное все темно.

Девушка открыла вечную книгу на том месте, где в ней лежала широкая матовая голубая лента, и вечная книга приготовилась рассказывать своим торжественно простым языком свои удивительные повести.

«Упал, погрязая во зле, народ Израилев до того, что не было мужа, способного спасти его, и возопили сыны Израилевы ко господу, — начала читать Ида.

И была в то время судьею Израиля Девора-пророчица, жена Лапидофова.

Она жила под пальмою Девориною, между Раммою и Вефилем на горе Ефремовой, и приходили к ней туда сыновья Израилевы на суд.

И призвала Девора Варака и сказала ему: повелевает тебе Иегова: возьми десять тысяч мужей, а я при-

веду к тебе, к потоку Киссону, Сисару, врага народа моего, и колесницы его, и многолюдное войско его и предам их в руки твои.

Варак же сказал ей: если *ты* пойдешь со мною, я пойду; а если не пойдешь со мною, я не пойду.

И сказала Девора: хорошо, пойду с тобой, но не тебе будет слава на сем пути, а в руки женщины предаст господь врага народа своего.

И встала Девора и пошла с Вараком в Кедош».

Проходит шум битвы; убитый Сисара лежит, лежит с ним и все его войско, а Девора опять стоит под своею пальмою, и Варак у ног ее, и поет Девора:

«Слышите, цари, внемлите, вельможи: я пою, я брякаю Иегове-богу, перед которым, когда шел он, земля тряслась, небо капало, горы растаявали, и облака проливали воду.

Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах, пойте песнь.

Не было вождей у Израиля, ни одного не было, пока не восстала *я,* Девора, пока не восстала *я,* мать народа моего».

Бряцает Девора, стоя под пальмою Девориною между Раммою и Вифелем, и поет долгую песнь Иегове сердце и ум пророчицы, видя восставшую доблесть народа своего. И на том же самом месте, где списана песня Деворы, вечная книга уже начинает новую повесть: тут не десять тысяч мужей боятся идти и зовут с собою женщину, а горсть в три сотни человек идет и гонит несметный стан врагов своих. И как это сделано! и как это рассказано в вечной книге! Оживляется Ида, читая об этом страшном подходе героев с светильниками, опущенными в глиняные кувшины; тише дышит больная старушка, в сотый раз слушающая эту историю, и поворачивает к свету свое лицо; и ныне, как в детстве, она ждет, когда разлетится в черепья кувшин Гедеонов, и за ним треснут другие кувшины, и разольется во тьме полуночи свет, в них скрытый... И вот это свершилось... звеня разлетелись кувшины, и идет облако света во тьме. О, как чуден сегодня этот свет светильника, долго бывшего заключенным в глиняном сосуде; каким блистаньем покоя осенил он мать сестер Норков. Да; это сам, «одеянный светом, как ризою», стал у ее изголовья

и назвал ее душу, и душа вопросила его: «Как имя твое?», но он ответил ей, что ответил видевшему его лицом к лицу Иакову, — он сказал ей: «что тебе в имени моем? *оно чудно*».

В комнате вовсе стемнело; Ида свернула книгу, положила ее на прежнее место и, опершись локтем о подоконник, отдыхала глазами на густевшем закате.

Уже почти все звенья янтарных дверей были забраны, и в ярких просветах между темных полос клубились легкие струйки тумана. Густой массой сначала мятутся они внизу, потом быстро несутся кверху, как легкие тени в длинных одеждах, и исчезают вверху, где смыкается небо.

«Да, закрывается небо, и отошедшие души спешат, чтоб не скитаться до утра у запертой двери», — подумала Ида и с этой мыслью невольно вздрогнула: ей показалось, что в это мгновение ее тихая мать тоже стоит у порога той двери, откуда блистает фантастический свет янтаря, догорев над полуночным краем.

Это так и было: Софья Карловна умерла во время Идиного чтения — умерла счастливо, покушав долго снившейся ей булочки, слушая чудную повесть, которую читал для нее милый голос, и сохраняя во всей свежести вчера принесенную Шульцем новость о Мане.

Вчера Фридрих Фридрихович прочел в «Allgemeine Zeitung»[1] статью, посвященную разбору детской книжки путешествий, написанной путешественницей Марией Норк. О самой путешественнице и до сих пор нет очень подробных известий, но книга говорит за нее, где она была и какими очами на все смотрела. Это было событие, давшее много чистых и теплых минут семейству Шульца и особенно Иде и ее матери. Вероятно, не менее радостей принесла эта книжка одинокому Беру, так горячо хлопотавшему «поднять душу живую».

Одного Истомина она могла бы потревожить. Эта радостная новость, может быть, опять взлетела бы над ним Ивиковыми журавлями и, напомнив ему отринутое счастье, заставила бы задрожать за неузнатую Денман. Но Истомин давно куда-то бесследно исчез и, наверное, никогда об этом не узнает.

---

[1] «Всеобщая газета» *(нем.)*.

Фридрих Фридрихович и сегодня такой же русский человек, каким почитал себя целую жизнь. Даже сегодня, может быть, больше, чем прежде: он выписывает «Московские ведомости», очень сердит на поляков, сочувствует русским в Галиции, трунит над гельсингфорскими шведами, участвовал в подарке Комиссарову и говорил две речи американцам. В театры он ездит, только когда дают Островского.

— Ужасно люблю этих каналььев-самодуров, — говорит он жене. — Как ты думаешь, Берта Ивановна, отчего бы это у меня вкус такой?

Берта Ивановна на это ему ничего не отвечает.

— Оттого, может быть, Фриц, что вы сами... — шутя говорит за сестру Ида.

— Что-с? оттого, что я сам самодур, вы это хотите сказать, Ида?

— Да.

— В самой вещи?

— Так — немножечко.

Фридрих Фридрихович задумывается и, нимало не обижаясь, отвечает:

— Что ж, очень может быть, что вы и правы, потому, матушка сестрица, что я от мира не прочь и на мир не челобитчик.

Берта Ивановна вся в муже, в вязанье и в хозяйстве.

Иду Норк вы, если хотите, можете видеть, даже не будучи знакомым с Фридрихом Шульцем. Дом Шульца отыскать нетрудно, а необыкновенно чистые, большие окна одной половины первого этажа, завешенные дорогими гардинами, укажут вам собственное помещение хозяйского семейства. В эти светлые окна видна вся внутренность просторных покоев негоцианта, и особенно видна огромная светлая зала, в углах которой красуются две довольно дорогие гипсовые статуи новгородского мужика и бабы, которых со дня перенесения их сюда с художественной выставки Фридрих Фридрихович назвал Иваном Коломенским и Марьей Коломенской. Летом у среднего окна залы, на спокойном кресле, перед опрятным рабочим столиком, почти всегда сидит молодая женщина, которой нынче уже лет за тридцать. На белой шее, плечах и груди у нее уже слегка образуется полнота; но она еще очень грациозна и необыкновенно

мила: строгое платье ее сделано прекрасно, фигура стройна, пепельные волосы ложатся по плечам длинными локонами. Это Ида Норк. Наружно она только пополнела, сильный подбородок ее немножко еще приподнялся, да она переменила прежнюю простую прическу на более сложную. В тот день, когда она шутя завила себе в первый раз локоны и вышла так к чаю, сестра ее и Фридрих Фридрихович невольно вскрикнули, а дети бросились за кресло Берты Ивановны и шептали:

— Бабушка! бабушка!

— Я так теперь и останусь бабушкой, — отвечала весело Ида.

И она так и осталась с прекрасными локонами, которые еще не скоро поседеют, чтобы довести сходство Иды с матерью до неразделимого подобия.

Около Иды всегда кругом дети, и они ей не мешают, потому что в них-то и ожили снова ее глубокие симпатии.

Зимою, когда дни коротки и сумрачны, вам удобнее рассмотреть Иду Ивановну вечером. Фридрих Фридрихович, возвратясь в эту пору с биржи домой и плотно пообедав, а потом поцеловав руки жены и свояченицы, обыкновенно отправляется всхрапнуть на мягком диване в жениной спальне. В это время по-прежнему красивая, хотя сильно располневшая Берта Ивановна расхаживает на цыпочках по столовой и охраняет мужнино спокойствие, а в зале, в огромном изящном камине работы Сан-Галли, стараниями детей разводится яркое пламя. К этому огню прикатывается большое, стальное, качающееся кресло: на нем садится Ида. Около нее целая детская группа: один у нее лежит на коленах и весело греется; старшие трое теснятся у теткиных плеч и с жадностью ловят ее каждое слово, а пятый, кудрявый мальчишка по пятому году, постоянно любит дремать, как котенок, у нее за спиною.

Долго пылает этот приветный огонь, и долго и плавно текут перед ним живые беседы. Картина бывает такая прекрасная и внушающая, что на нее поневоле засматривается и деловой человек с наморщенным лбом, поспешающий к делу на истерзанной кляче петербургского ваньки, и веселая компания, отправляющаяся на нанятой в складчину тройке, чтобы убить где-то

и время и деньги, и пешеход, тихо плетущийся к своей одинокой каморке. Пешеход даже часто останавливается здесь, перед окнами Шульцевой залы, и иногда в темный вечер их столкнется здесь и двое и трое: тот — из Уфы, другой — из Киева, а третий — из дальней Тюмени, и каждый, стоя здесь, на этом тротуаре, переживает хотя одну из тех минут, когда собственная душа его была младенчески чиста и раскрывалась для восприятия благого слова, как чашечка ландыша раскрывается зарею для принятия капли питающей росы.

И долго, долго иной раз застоится здесь, забывшись, мой прохожий и потом, закрывшись воротником, зашагает, выглядывая одним глазом, как Оден северной саги, потерявший свой другой глаз при покушении украсть меду поэзии у Гунледа.

Не нянькины сказки, а полные смысла прямого ведутся у Иды беседы. Читает она здесь из Плутарха про великих людей; говорит она детям о матери Вольфганга Гете; читает им Смайльса «Self-Help» [1] — книгу, убеждающую человека «самому себе помогать»; читает и про тебя, кроткая Руфь, обретшая себе, ради достоинств души своей, отчизну в земле чуждой.

И крепнет детский дух в этих беседах, и, как шептун-трава, тихо растут и вырастают в них и решимость, и воля, и воспитывается то, что далекий потомок, может быть, условится называть в человеке прямою добродетелью гражданина.

Но не слыхать этих бесед Иды за окнами Шульцева дома, и проносящиеся мимо этих окон сами себе надоевшие праздные, скучные люди и молчаливо бредущий прохожий слышат и понимают из них не более, чем каменный коломенский Иван и его расплывшаяся Марья, истуканами стоящие в зале, где василеостровская Ида своим незримым рукоположением низводит наследственную благодать духа на детей василеостровского Шульца.

---

[1] «Самопомощь» *(англ.)*.

# СТАРЫЕ ГОДЫ В СЕЛЕ ПЛОДОМАСОВЕ

## ОЧЕРК ПЕРВЫЙ
## БОЯРИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ
#### БРАНКА

Основание села Плодомасова покрыто мраком неизвестности, а название свое оно получило по имени бояр Плодомасовых, которые владели этим селом издревле и для которых господствующая надо всею окрестностью плодомасовская барская усадьба была гнездом, колыбелью и питомником.

Род дворян Плодомасовых — род очень старый. Имена Плодомасовых встречаются в росписях служилых людей Ивана III и Ивана Грозного, при котором двое из Плодомасовых покончили свою служебную карьеру: один на колу, а другой на плахе.

Затем этот опальный, всеми позабытый дворянский род до царствования Петра Первого широко жил в своем родном гнезде — в селе Плодомасове. Это большое старое село лежало среди дремучих лесов, на берегу быстрого притока Волги — многоводной реки Турицы, в местности свежей, здоровой, богатой и лесами, и лугами, и водами, и всем тем, что восхитило очи творца, возэревшего на свое творение, и исторгло у него в похвалу себе: «это добро зело», — это прекрасно. Но, живучи во всем этом довольстве и прохладе, род Плодомасовых не размножился, и в эпоху царствования первого импера-

тора представителем всего рода бояр Плодомасовых оказался только один, холостой и безродный боярчук Никита Юрьич. Никита Юрьич с тех пор, с которых он был в состоянии себя помнить, помнил себя круглым сиротою и возрастал на руках мам и пестунов во всем барском своеволии тогдашнего времени — своеволии, которому, однако, уже полагался конец строгою рукою царствовавшего преобразователя. Никите Плодомасову было суждено быть свидетелем начала забастовки этих боярских самовольств и самому подпасть под одно из колес, на которых царь двигал в новую жизнь нерушимую зáстарь России. В 1715 году приехали в село Плодомасово, в большой красной сафьянной кибитке, какие-то комиссары и, не принимая никаких пóсул и подарков, взяли с собой в эту кибитку восемнадцатилетнего плодомасовского боярчука и увезли его далеко, к самому царю, в Питер; а царь послал его с другими молодыми людьми в чужие края, где Никита Плодомасов не столько учился, сколько мучился, и наконец, по возвращении в отечество, в 1720 году, пользуясь недосугами государя, откупился у его жадных вельмож на свободу и удрал опять в свое Плодомасово.

Здесь Никита Плодомасов повел себя так, как теперь ведут себя молодые турки, возвращающиеся домой из парижской французской коллегии: он старался вознаградить себя за все стеснения, претерпенные им в течение пяти лет от цивилизации и подневольной жизни. Он сел феодалом в своем старом, как каравай расплывшемся доме, реставрировал опять старые отцовские и дедовские порядки: завел соколиные и псовые охоты с крепостными псарями, сокольничными, стремянными и доезжачими, которые все вместе составляли одну разбойничью ватагу, не знавшую ни стыда, ни совести, ни удержа и не уважавшую никакого закона, кроме прихоти своего полудикого владыки.

С этой сволочью вновь возвратившийся цивилизованный боярин совершал похождения, невероятные до сказочности. Потравы и вытаптыванье соседних полей; произвольный сбор дани с купцов, проезжавших через мосты, устроенные в его владениях; ограбление ярмарочных обозов; умыканье и растление девиц — все это были только невинные шутки, которыми потешался боярин.

Инстинкты его достигали размеров гораздо страшнейших: он ездил с своими охотниками как настоящий разбойничий атаман; брал ради потехи гумна и села; ходил в атаку на маленькие беззащитные города, брал в плен капитан-исправников и брил попов и дьяков. Но был положен предел и дебоширствам Плодомасова, и притом положен был этот предел самым неожиданным образом.

Кочуя с своею опричниною по далеким селам и поселкам, Никита Плодомасов осенью в 1748 году заехал случайно в село Закромы. Это удаленное от Плодомасовки село Закромы было даже не село, а просто деревушка дворов в двадцать. Она отстояла от имения Плодомасова с лишком на двести верст, и по причине этой отдаленности до сих пор скрывалась и от плодомасовского внимания и от его нападений; а принадлежали Закромы отставному петровскому потешному Андрею Байцурову.

Здесь, в скромном домике закромского помещика, Никита Плодомасов увидел пятнадцатилетнюю дочь Байцурова Марфу Андревну и, имея в то время уже пятьдесят один год от роду, страстно влюбился в этого ребенка и на второй же день своего посещения сделал ее родителям декларацию.

Об отказе или хотя бы о малейшей нерешительности в ответе со стороны этих бедных дворян Плодомасов и не помышлял. Было бы несправедливо сказать, что, по его мнению, он делал мелким сошкам Байцуровым слишком большую честь своим предложением: он — гораздо проще — вовсе и не думал о том, как могут быть приняты его желания. Он знал только одно, что желания его должны быть исполнены, и потому даже вовсе и не чинился в заявлении своих требований.

— Мне одинокая жизнь с подлыми женщинами уже наконец того и прискучила, — сказал он старикам Байцуровым, — и я в намерении себя от нее воздержать с вашею дочерью, которая мне видом и нравом весьма понравилась. Благословите ее мне, прошу?

Слова эти Плодомасов сказал Байцуровым в первый же день своего посещения, за ужином, за которым дочь их, о которой шло дело, не присутствовала.

Сколь было бесцеремонно это предложение, столь же бесцеремонен был и последовавший на него ответ.

Мать Байцуровой наотрез отказала Плодомасову. Плодомасов был столь удивлен этим отказом, что даже не нашелся как и рассердиться, а только сказал:

— Это почему?

— А потому, честной боярин, что, во-первых, ты для нас, мелких сошек, не пара; а во-вторых, ты моего мужа, а ее отца на пару лет будешь старше; а в-третьих, скажу тебе, что на место твоих подлых женщин, на те же пуховики, я свою дочь класть не намерена и чести девству ее в твоей любови нисколько не вижу.

— Я пух пущу по ветру и наволочки сожгу, — отвечал, понемногу входя в гнев, Плодомасов.

— Хоша и пух ветром пустишь, а где шелудивый конь валялся, там не след чистой ногой наступать: лишай сядет. Извини, дорогой гость, и не прими за остуду, а от нашей крови тебе жены не будет, — заключила ему с поклоном, вставши из-за стола, Байцурова.

Этого Никита Юрьич снести не мог. «Будет! — вскричал он, — будет!» — и через десять минут после высказанного ему отказа боярышня Байцурова, спеленутая, как ребенок, плодомасовскими людьми в охотничьи охобни и бурки, была увязана в торока у самого крыльца родительского дома, а через другие десять минут она, в центре предводительствуемого Плодомасовым отряда, неслась во всю скачь в сторону незнакомую, неведомую и во всяком случае страшную.

## ГЛАВА ВТОРАЯ
### ПОГОНЯ

Дворян Байцуровых и всю их дворовую прислугу на другой день крестьяне нашли крепко связанных чембурами и сворами и томившихся в самом печальном положении.

О погоне нечего было и думать. Положение Руслана, стремившегося отнять похищенную у него Людмилу, было не затруднительнее положения, в котором нашли себя развязанные крестьянами Байцуровы.

Старики Байцуровы приняли на свои несчастные груди эту семейную катастрофу неодинаково. И тяжкие

обиды и жгучие слезы, стоны и разрывающая сердце скорбь по нежно любимой единственной дочери, которая теперь, в ее юном возрасте, как голубка бьется в развращенных объятиях алчного ворона, все это звало старика Байцурова к мщению; но у него, как у бедного дворянина, не было ни выогоподобных коней, ни всадников, способных стать грудь против груди с плодомасовскою ордою, ни блестящих бердышей и самопалов, какие мотались у тех за каждыми тороками, и, наконец, — у тех впереди было четырнадцать часов времени, четырнадцать часов, в течение которых добрые кони Плодомасова могли занести сокровище бедной четы, их нежную, их умную дочку, более чем за половину расстояния, отделяющего Закромы от Плодомасовки. Конечно, все худые закромские людишки, сбежавшиеся в хоромы по случаю боярского несчастия, были теперь в сборе; конечно, не за горами были стоявшие по дворам и задворкам и байцуровские понурые лошадки: Байцуров мог собрать и свою кавалерию и лететь с нею на выручку похищенного дитяти своего. Это даже и было первою мыслью старика, когда собравшиеся люди отпустили узлы связывавших его веревок; но куда же годны его пахотные лошаденки для погони за охотничьими аргамаками Плодомасова, на которых теперь мчат его дочь? Куда годны его смирные людишки для того, чтобы сражаться с буйною опричниной Плодомасова, которая будет стоять за барскую наложницу — за нее, за его маленькую дочку, что станет наложницей Плодомасова прежде, чем отец ее успеет проехать половину пути, отделяющего его деревушку от развратного гнезда похитителя? Страдания Байцурова, как себе можно представить, были ужасны: его дитя представлялось ему отсюда беззащитной в самой леденящей кровь обстановке: она трепеталась перед ним в тороках на крупе коня, простирая свои слабые ручонки к нему, к отцу своему, в котором ее детская головка видела всегда идеал всякой справедливости и мощи; он слышал ее стоны, подхватываемые и раздираемые в клочки буйным осенним ветром; он видел ее брошенную в позорную постель, и возле ее бледного, заплаканного личика сверкали в глаза старику седые, щетинистые брови багрового Плодомасова.

Под натиском этих ужасных представлений, ожесто-

чавшихся от угнетающего сознания своего бессилия защитить дочь или отмстить за нее, петровский ветеран упал на пол и, лежа лицом на земле, обливал затоптанные крестьянскими лаптями доски своими обильными слезами. Несравненно более геройства, силы и находчивости в эти ужасные минуты явила его жена, Пелагея Дмитриевна Байцурова. Схоронив на дне души всю безмерную материнскую скорбь свою, она, минуты не теряя, велела заложить кибитку, одела мужа в его давно без употребления хранившуюся в кладовой полковую либерию, посадила его в повозку и отправила в город, где была высшая местная власть. Байцурова отправила туда мужа для принесения той власти жалобы и требования у нее защиты. Но, посылая туда мужа, Байцурова, очевидно, не много рассчитывала на горячее участие и защиту со стороны этой власти и имела, конечно, для этого уважительные основания. Несмотря на всю строгость царствовавшего государя, в местах, удаленных от его недреманного ока, в оны времена, как и в дни гораздо позднейшие, на Руси во всю ширь царил безграничный русский произвол, мироволье и бессудство. Байцурова это знала и, послав мужа в город, приняла и другие меры. Не успела скрыться за околицей кибитка ее мужа, как у ветхого крыльца домика стояла уже другая, запряженная парою кибитчонка, — в эту усаживалась сама госпожа с дородною мамою похищенной боярышни, пленною туркинею Вассой.

Кибитчонка, в которой отправлялись в путь эти женщины, выехав из околицы, взяла совсем в противоположную сторону от направления, принятого кибиткою Байцурова, и, колыхаясь по колеям топкой осенней грязи, потянула к селу Плодомасову.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### ДЕВИЧИЙ СЛЕД

В осеннюю ростепель, при которой случилось похищение боярышни Байцуровой и при которой выехали в разные стороны отец и мать молодой пленницы, путь на тонущих по ступицу повозках совершался крайне

медленно. Старику Байцурову по крайней мере нужно было трое суток, чтобы доехать до города, а жене его с сопровождавшей ее мамкой-туркиней столько же, чтобы добраться до Плодомасовки.

Между тем в селе Плодомасовке, перед вечером того самого дня, в который из Закромов выехала оборонительная миссия, с вышек господского дома праздными холопами, ключником и дворецким на взгорье черных полей был усмотрен конный отряд их владыки.

В расположении этого отряда опытными и наблюдательными крепостными очами замечено было нечто странное. Буланый аргамак самого боярина, обыкновенно красовавшийся всегда впереди всех коней, нынче уступил свое место другим рядовым коням и шел сзади. Издали с плодомасовских вышек чуть видна была только одна сухая голова аргамака с блиставшим на ней серебряным налобником; его белая звезда из змеиных головок, обыкновенно издалека сверкавшая на перекрестке напоперстных ремней седла, была нынче закрыта выступавшею впереди боярина конною толпою. Не видно было и чеканенных пряжек на опушенном черным соболем малиновом бешмете боярина, потому что боярин лежал своей грудью на шее коня и глядел на что-то такое, что бережно везли перед ним его верные слуги.

Впереди приближавшейся группы ехали четыре всадника: два впереди и два сзади. Они ехали на таком друг от друга расстоянии, что двое едущие рядом могли без затруднения подать один другому руки, а головы двух задних лошадей совсем почти ложились на крупы передних.

Все эти четыре всадника бережно везли нечто такое, чего никак не могла издали рассмотреть и определить плодомасовская дворня, готовая во сретенье своего приближавшегося повелителя.

Но вот отряд подходит все ближе и ближе; наблюдающие его приближение домашние люди уже узнают в лицо каждого из четырех всадников, везущих впереди отряда странную ношу; видно, наконец, и грозно нахмуренное лицо самого боярина. Он понуро и мрачно глядит из-под надавленных тяжелою аксамитною шапкою бровей на эту бережно охраняемую ношу. Что бы это было такое? раненый тур, сохатый лось или гнездо робких

сери, которых ретивым псарям боярина удалось взять живыми и которых живыми вздумалось и довезти домой боярской прихоти? Но зачем же в подходящем отряде эта нерушимая тишина, столь несвойственная возвращению Плодомасова с отъезжих полей? Зачем не слышно ни бубнов, ни песен; зачем не прыгают на сворах нетерпеливые псы; зачем не обскакивают отряд избранные гарцуны и не несется вихрем доезжачий Шибай возвещать дворецкому: какие яства и питья должны ждать на столе приближающегося владыку и кто именно, какая пара крепостных одалиск должна быть прислана с сеней держать сегодня кисти штофного одеяла повелителя?

Такого беспорядка еще никогда не было, и дворецкий, и орда холопей, и весь сонм покорных наложниц, безразличных в своих чувствах к господину и равнодушно ожидающих, чьи тайные красы мелькнут в его воображении и обозначат его сегодняшнюю прихоть, — все это недоумевает, наблюдая тихое возвращение Плодомасова. Недоумению этому нет меры, нет пределов и, кажется, не будет конца, потому что чем ближе подъезжают боярин и его сподвижники, чем более возможностей является рассмотреть их, — тем пуще сбиваются и путаются зарождающиеся соображения и выше и выше растет колоссальное недоумение!

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### С ВЕЧЕРА ДЕВУШКА

Но вот кому-то удалось рассмотреть, что четыре всадника, едущие впереди отряда, держат под укрюками седельных арчаков углы большого пестрого персидского ковра. Это тот самый ковер, назначением которого было покрывать в отъезжем поле большой боярский шатер. Теперь на этом ковре, подвешенном как люлька между четырьмя седлами, лежит что-то маленькое, обложенное белыми пуховыми подушками и укутанное ярко-цветным шелковым архалуком боярина.

Яркие покровы, в которые закутана загадочная фигурка, были смочены падавшим целый день дождем и

позволяли ясно определить, что под ними сокрыт не раненый богатырь, а не более как четырнадцати- или пятнадцатилетний ребенок.

Когда охотничий караван подошел к самому дому, все увидели, что на остановившем общее внимание ковре была привезена девушка.

Молодая, с мокрыми черными кудрями головка пленницы была открыта и утопала в смокшейся подушке; уста девицы были полуоткрыты; зубы крепко стиснуты, а веки глаз сомкнуты. Она казалась спящею; но в самом деле она была в долгом, непробудном обмороке. Такою-то была привезена своими похитителями в село Плодомасово закромская боярышня Марфа Андревна Байцурова.

Потеряв сознание в минуту своего неожиданного похищения из родительского дома, она не выходила из обморока во все время, пока конный отряд Плодомасова несся, взрывая железом копыт черную грязь непроезжих полей; она не пришла в себя во время короткой передышки, данной коням после сорокаверстной перескачки, и в этом видимом образе смерти достигла гнезда плодомасовского боярина. В этот дом ее привели роковые судьбы. Это все увидели сразу, когда незваной пришелице улыбнулся сам сумрачный, неприветливый день осенний. Чуть только стали у боярского крыльца дрожащие с устали ноги принесших ее коней, сквозь грязно-серые облака золотыми стрелами упал пук вечернего солнца и, как бы благословив прибытие боярышни, снова закрылся.

Это было сочтено предзнаменованием, и в этом найдено было много чудного и сверхъестественного. Серый день улыбнулся над домом беспутства и оргий, и спящая пленница входила в этот дом сонной царевной, которые, по народному поверью, всегда так беспятненно чисты и без сравнения прекрасны. На том же богатом ковре, на котором боярышня совершала свое путешествие, ее в торжественном безмолвии внесли в плодомасовский дом; положили на чистое ложе, поставленное среди просторного светлого покоя, и окружили это ложе спящей красавицы целым роем прислужниц, получивших строгий наказ беречь ее пробуждение и предупреждать ее желания.

С женщинами, окружавшими девственное ложе сонной боярышни, происходило нечто подобное тому, что, по апокрифическим сказаниям, происходило с языческими идолами при восходе звезды, возвестившей рождение Христа. Все эти крепостные юницы почувствовали, что век их кончен, но в сердцах их не было ни зависти, ни злости к этой пришелице. Они только чувствовали, что народился некий болий их, с которым им уже нельзя и думать ни спорить, ни состязаться.

Они стояли и безмолвно ожидали, когда настанет час им быть убранным из этого смрадного капища, ожидающего каждения очищающих курений.

Сам Плодомасов, уложив боярышню, не оставался в ее комнате ни минуты. Выйдя из этой комнаты, он также не предался и оргиям, обыкновенно сопровождавшим его возвращение домой. Он одиноко сидел в своей опочивальне и нетерпеливо ждал пошептуху, за которою посланы были быстрые гонцы в далекое село. Эта чародейка должна была силою своих чар прекратить долгий, смерти подобный сон привезенной боярышни.

Но дело обошлось без шептухи. Прежде чем она успела явиться в хоромы призывавшего ее боярина, сенные девушки и вновь наряженные мамы, обстоявшие ложе спящей боярышни, стали замечать, что долгий сон боярышни начинает проходить.

О полуночи к сумрачному боярину была послана первая весточка, что по лицу у боярышни расстилается алый цвет, а по груди рассыпается белый пух и из косточки в косточку нежный мозжечок идет. Плодомасов встал, бросил вестнице на пол горсть серебряных денег и велел стеречь пленницу недреманным оком, пуще любимого глаза.

Перед ранней зарей пришла и вторая и третья весть, что боярышня открыла свои звездные очи рассыпчатые и, от тяжкого сна пробудившись, спросила: где она, у каких людей? и желает знать о своем отце с матерью. Плодомасов воспрянул; он ничего не велел отвечать боярышне и не пошел и сам в опочивальню красавицы.

Неведомый ему доселе страх удерживал его от святотатственного приближения к деве, взращенной и взлелеянной не под крышами его крепостной дворни. Он боялся, что одно появление его перед нею убьет ее, и

отлагал миг этого появления. Он не пошел приветствовать свою пробудившуюся «бранку». Все время, пока сенные девушки и вновь наряженные мамы любовались девственною красотою боярышни Байцуровой и смотрели, как под ее тонкой кожею из косточки в косточку мозжечок переливается, боярин их весь день до вечера испытывал незнакомые ему муки. Ему хотелось от своей пленницы чего-то совсем не того, что он прямо брал от своих крепостных одалиск. Он видел в ней некоторое новое, незнакомое ему доселе счастие и боялся погубить это счастие: он боялся ее сопротивления, боялся своего гнева, который, восстав, не пощадит и ее. Он не пощадит ее, он изольет на нее свой гнев и бросит ее в подачку последнему псарю своему... А тогда?.. Тогда... тогда он запорет псаря, но... ее не воротит.

Нет! он сам хотел глядеться в ее звездчатом взоре, орошенном слезами! Дело должно было идти о том, как сделать все это, чтобы взор ее обратился к нему? Время? ласки? выжидания? А если тем временем погоня? О, погоня! тогда, если только будет погоня... тогда Плодомасов решил, что ему делать! Тогда... он не пощадит никого — ни ее, ни себя; но ее уж не возьмут из его дома такою, какою она внесена в него.

Бог знает, сколько бы еще продолжались эти колебания Плодомасова и какой бы он нашел из них выход, если бы случайное обстоятельство не подвинуло его к разрешению всего этого хотя и в духе его обычных правил, но совершенно иначе, чем предполагал он.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### БЕСНОВАТОМУ КОНЮ КОНОПЛЯНОЕ УДИЛО

В сумерки этого же самого дня, прежде чем старик Байцуров успел проехать половину своего пути к городу и жена его в сопровождении мамы-туркини такую же часть своей дороги к селу Плодомасова, в плодомасовские области прибыл земский пристав.

Пристав этот был некоторым образом свой человек в плодомасовском доме: за него когда-то была выдана

замуж одна из наиболее любимых крепостных фавориток боярина, которую Плодомасов хотел осчастливить этим благородным браком и с которою от времени до времени, наезжая в город, он, не стесняясь ее замужним положением, видался на прежних правах. Приезжая в плодомасовский дом, муж отставной боярской барыни служил боярину шутом и посмешищем: стоя на голове, он выпивал стопы вина и меду; ходил на кругах колесом; разбивал затылком орехи и плясал на столе казачка перед всей барской дворней.

В силу таких обстоятельств пристав считался в числе приближенных людей Плодомасова. Боярин не забывал семьи подьячего своими милостями; снабжал закромы его амбаришек зерном, напо̀лы — огородиной, а задворок живностью; крестил у его жены своих собственных детей и допускал его самого за подаянием пред свое лицезрение.

Зная такие отношения приезжего подьячего к боярину, холопство не замедлило доложить о нем Плодомасову и истолковать вырвавшееся при этом у боярина легкое рычание за знак согласия к тому, чтобы пристав был допущен.

Пристав был введен и поставлен пред барские очи.

— Чего тебе? — спросил, окинув гневным оком его фигуру, Плодомасов.

Выгинаясь, кланяясь и вытягиваясь, как придавленная палкой змея, подьячий подползал к боярину, не смея взвести голоса и поднять на него своих заплывших глаз.

— Чего тебе нужно? — воскликнул боярин мягче, глядя на это бестолковое выгибанье подьячего.

Подьячий продолжал ползти и снова не подавал ни гласа, ни послушания.

Сколь ни привык Плодомасов к рабскому пресмыкательству перед собою, но такое долгое и робкое ползанье уже и ему не нравилось: он чувствовал, что так долго безмолвствует человек тогда, когда ему страшно разомкнуть уста свои. Плодомасову вдруг вступило на мысль, что пресмыкающийся перед ним земский является к нему чьим-то послом с недобрыми вестями, и густые серо-бурые брови насупились и задвигались, сходясь одна с другою, как сходятся два сердитые и готовые броситься один на другого медведи.

— Говори, пес! — вскрикнул боярин.

Подьячий, вместо ответа, совсем лег на землю к ногам Плодомасова и, лежа ниц лицом, поднял к нему в руке сложенный лист бумаги.

Плодомасов — всегдашний враг бумаги, всего менее склонен был встречаться с нею сегодня. В этот день он и без того сумел уже на многое пересердиться, да и притом день этот по ощущениям, принесенным с собою боярину Плодомасову, в самом деле, совсем не похож на все прежние дни его жизни. Теперь ли ему насильно отрывать себя от этих ощущений к бумаге! Но бумага эта тянется к нему с неотступною назойливостью. Несмотря на то, что он отталкивал ее и рукою и желтым каблуком узорного сапога, — она опять и тянется и трепещет. Плодомасов увидел, что ему от этой бумаги не отвязаться: он выдернул ее из рук раболепного пристава, нетерпеливо развернул, прочитал и остолбенел.

Бумага эта, в глазах Плодомасова, превосходила своею дерзостию все, что возможно на свете. В ней говорилось, что дошло до ведома самой императрицы, что помещик Никита Юрьев Плодомасов, живучи в своей отчине, селе Плодомасове, предается столь великим своеволиям и бесчинствам, что по собственному ее, императрицы, приказанию поручается губернатору дело это строго дознать, и буде вести, до слуха государыни дошедшие, окажутся справедливыми, то того Плодомасова, ни мало не медля, заарестовать и из имения его выслать, воспретив ему навсегда в отчинах своих всякое проживание.

Исполнение этого строгого и грозного императорского указа, невзирая на все самодержавство Елизаветы Петровны, было начато, как мы видим, покорным преподнесением этого самого указа самому виноватому Плодомасову на его милостивое воззрение и обсуждение.

Боярин Плодомасов прочитал указ и воспрянул, как зверь. Вместо испуга и благопокорности воле монаршей, чего почти несомненно ожидал распростертый на полу подьячий, Плодомасов восстал во всей бездне дерзости своего безумия. Послав тысячи неистовейших проклятий, он свистнул людей и велел быть всем пред его лицо в сборе и наготове. К чему быть наготове? — про то едва ли знал и сам Плодомасов; но это было для него безраз-

лично, потому что он в эти минуты был готов буквально на все грубое, дерзкое, на все гадкое для издевательства над явленным ему указом, призывавшим его к покорности и порядку. Он жаждал теперь только одного: оказать самое резкое сопротивление этому призыву.

Безразлично было, к чему именно готовиться и для буйной боярской опричнины, которая и сама любила барский разгул, да и не приучена была ни к каким рассуждениям. Людям этим было все равно: куда ни идти, где ни разбойничать, над кем ни издеваться. Они сызмальства отвыкли от всего доброго: они сами установили между собою обычай отрекаться отца и матери и бестрепетно могли видеть и поруганье отцовских седин, и издевательства над слезами матери, и бесчестие родных сестер. Любили ли или не любили они своего буйного боярина — это все равно, потому что они любили буйную жизнь, все возможности к которой открывались для них в раболепном служении буйной воле Плодомасова. Взросшие в его школе, в селе, удаленном не только от столиц, но и от всякого средоточия власти, они имели понятие о законной власти только чрез таких представителей этой власти, как ходивший перед ними колесом на кругах пристав, и потому, весьма естественно, не могли чувствовать ни малейшего авторитета этой власти.

Дело, цель для разрешения диких стремлений боярина указал стоявший перед ним коленопреклоненный подьячий.

— Отец! отец! — заголосил он боярину по выслушании его гневного приказа о сборе людей. — Не вели ты этого; не вели седлать коней и взнуздывать; вели холопам твоим с свайкой да с лыком сесть по конникам да смирные лапти плесть, а то гордотой пущий гнев на себя оборотишь.

Плодомасов вскипел; схватил лежащий на столе указ, быстро разорвал эту бумагу на мелкие кусочки, бросил их на пол и, наступив на них ногою, проговорил:

— Вот я куда ее указы кладу! Она не правого ложа.

Подьячий упал на локоть на пол и в ужасе выпятился крюком, точно в несутерпной судорге.

— Умилосердись! не слышу! ничего не слышу! — вопил коленопреклоненный представитель власти, то закрывая руками уши, то молитвенно простирая эти руки

к полам пестрого архалука бушующего боярина. — Выслушай, милостивец, — я еще не все сказал тебе. На тебя и еще невзгода идет, — от дел твоих. Встретил я Байцурова, едет на тебя с жалобой, что ты у него его дочку отъемом увез. Отпусти ее, боярин, — если она уж и неправильная, отпусти, — свои люди не доказчики, только скорее ее из дома вон, а то не сейчас, то на утрие, гляди, беды за нее вытерпишь.

Этого было довольно Плодомасову. Кто? мелкая сошка Байцуров, не принявший чести, которая была ему сделана предложением брака его дочери, приносит на него жалобу, и по этой жалобе могут с него, Плодомасова, что-нибудь взыскивать? Нет, этого уж нельзя снесть Плодомасову!

«Он не хотел, чтобы она была моей женою,— промелькнуло в уме Плодомасова, — так я же ее в другой чин сделаю. Чем, да и вправду, она лучше моих девок, что я так смотрю на нее? Когда уж и этот подьячий не сомневается, что она, побывши в моем доме, теперь неправильная, а я отпущу ее так! а я дам посмеяться надо мною!»

В душе Плодомасова произошел совершенный поворот; тех нежных и застенчивых чувств, которыми она недавно была полна к юной пленнице, теперь в ней не оставалось и слабого следа.

— Быть с нею всему тому, что и допреж ее было со всеми непокорными, — решил боярин. — Будет она моею, и не забуду я моею подачкою и верных слуг моих: останется и Ваське, и Тараске, и всей челяди. Иди за мной и смотри, что я с ней за эти слова твои сделаю! — рявкнул боярин приставу и потащил его, еле дышащего, вслед за собою в верхний этаж, где в той же опочивальне молодая боярышня, кругленькая и белая как свежая репочка, сидела посреди широкой постели и плакала, трогая горем своим и старых мам и нянь и стоящих вокруг нее молодых сенных девушек.

Боярин тек как тяжелая грозовая туча, подхваченная неукротимой бурей. Подойдя к дверям опочивальни своей пленницы, он не коснулся рукою замочной меди и не крикнул, чтобы дверь была отперта ему изнутри, но прямо сшиб ее с петель одним ударом сапога и предстал изумленным взорам боярышни и ее свиты.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ
### К ПОЛУНОЧИ МОЛОДУШКА

Когда случилось внезапное появление Плодомасова у дверей молодой бранки Байцуровой, на дворе, по причине короткого осеннего дня, стояла уже густая, непроницаемая тьма; моросил мелкий, частый дождик, и тихий, но упругий ветер уныло выл и шумел за выходящими в сад окнами боярышниной опочивальни.

Боярышня, как сказано, сидела и плакала, плакали и все ее окружающие. У всех на лице было одно ее горе, и появления Плодомасова сюда в эту минуту не ожидал никто, а сама боярышня всех менее. В тоске об отце и о матери, которых нежно любила, она вовсе не имела и времени размышлять ни о своей судьбе, ни о своем похитителе. Она вовсе не думала о нем и решительно окаменела при его появлении. Увидев перед собою Плодомасова, боярышня Марфинька даже не потянула одеяла, чтобы закрыть свои плечи, сверкнувшие перед распаленными гневом глазами боярина.

— Ну, дорогая боярышня, как спала-почивала и что во сне видела? — спросил ее Плодомасов, садясь насупротив постели на тяжелое кресло, за которым, раболепно притаясь, стал земский пристав.

— Спала, боярин, в твоем терему сладко, и за тот сон тебя благодарствую; а видела во сне моего отца с матерью, и надеюсь, что ты меня не задержишь неволей и отпустишь к ним, — смело отвечала боярышня.

— Ну, уж на это, соколка моя, лучше не надейся. Не на то ты увезена, чтобы тебе опять под отцовский потолок идти.

Девушка посмотрела в глаза боярину своими детскими глазами и спросила:

— На что же я, боярин, увезена?

— На что?

Плодомасова неожиданно смутил этот наивный вопрос. Он хотел ответить ей что-то немилосердное и бесстыдное, но, глядя в ее детское личико, застыдился этого своего намерения.

А в эту минуту девушка тихо скользнула с постели и, перебежав босыми ногами расстояние, отделявшее кресло

боярина от ее кровати, со слезами бросилась в ноги Плодомасову и, рыдая, проговорила:

— Боярин! умилосердись надо мной! Немилостивых ад ждет! Отпусти меня к батюшке с матушкой, — я в монастырь пойду и стану за тебя богу молить.

Плодомасов решительно не знал, как ему приступить к приведению в исполнение своих угроз. Он мялся и пыхтел, глядя в плачущие очи ребенка, и не отнимал у девушки своих больших красных рук, которые та в отчаянии сжимала в своих ручонках.

— Я, — заговорил он наконец, — хотел было тебя сделать своей честною женою...

— Нет! нет! — отвечала, быстро вспрыгнув и отскочив от него к своей кровати, боярышня. — Нет, я не хочу быть твоею женою: ты отпусти меня к батюшке.

— Стой! — гневливо остановил ее Плодомасов.

— Люди добрые, заступитесь за меня! — отчаянно вскрикнула боярышня, кидаясь в толпу сердобольных нянь, мам и сенных девушек, так недавно ливших о ней горячие слезы и оказывавших ей столько искреннего участия.

Но теперь боярышня не узнала ни одного лица в этой толпе: так изменило их присутствие боярина.

Няни, мамы и сенные девушки расступились, как только боярышня вскочила в среду их, и снова скучились сзади ее, оставляя пленницу впереди себя, лицом к лицу с Никитою Плодомасовым.

Боярышня, выданная таким маневром головою, оглянулась на робкую челядь и в одно мгновение словно переродилась.

— Дай мне, раба, мой шугаик! — произнесла она твердым и решительным голосом, заметив свое непозволительное дезабилье.

Десятки рук в мгновение ока поспешили исполнить ее требование.

Плодомасов ничему этому не прекословил.

Боярышня теперь стояла перед ним совсем одетая, во всем том наряде, в котором она пленила его в своем родительском доме. Слезы, недавно обильно лившиеся по ее лицу, теперь высохли, и грустные, сухие глаза ее смотрели с выражением того бестрепетного спокойствия,

вид которого так непереносен самоуправцам, потому что он в одно и то же время и смущает и бесит их.

— Так знаешь ли ты, умная боярышня, что я с тобою сделаю? — вскричал Плодомасов.

— А что бы ты со мною ни сделал, на всем том, пока я в твоих руках, твоя воля; но женою твоей я быть не хочу.

— Что? — вскрикнул, побагровев, Плодомасов.

— Гнева твоего не пугаюся, — отвечала боярышня. — Что ты больше гневлив и страшен, то мне радостней: убить велишь — всего лучше будет.

— Так не женой и не боярышней, а вот такою ж, как эти, ты будешь! — вскричал Плодомасов, указав рукою на своих сенных девушек, и неистово захлопал в ладоши.

На этот призыв, как сказочный лист перед травою, предстал перед Плодомасовым старый дворецкий и, водя в ужасе вокруг глазами, произносил одно ни к чему, повидимому, не идущее слово: «драгуны!»

— Что за драгуны? где эти драгуны?

— Здесь, боярин, драгуны, — отвечал старик, указывая на дверь, которая в это время отворилась, и в комнату, бренча своей сбруей, вошел тяжелой поступью драгун в невиданной здесь никем до сих пор тяжелой, медью кованной каске с черным конским хвостом на гребне.

Он привез боярину строгий губернаторский приказ не сделать никакого зла похищенной им боярышне Байцуровой и беречь ее паче своего ока, а наипаче не сметь дерзать и мыслию на ней жениться.

Это не только было написано в бумаге, которую драгун вручил Плодомасову, но все это было во всеуслышание сказано ему драгуном и на словах, и слова эти слышали и его челядь и земский пристав, в глазах которого Плодомасов обличал столько дерзкого непослушания указу, писанному именем царицы, и, наконец, в глазах самой боярышни, за которою вдруг является такая горячая защита.

Плодомасов взглянул на спокойное лицо девушки, из-за которой загорелся весь этот сыр-бор, и почувствовал, что все это дело совсем какой-то вздор, из-за которого нимало не стоило ничего подобного поднимать и

затевать борьбу, в которой вдруг ему стало слышаться что-то роковое.

Плодомасов еще раз взглянул на Байцурову, и она ему в эту минуту даже не понравилась. Так, девочка-снегурочка, грибок сыроежка, вздор перед этими белогрудыми лебедками, которых он всех непосредственный султан, минутный муж и повелитель. Стоило ли все это сотой доли его боярского беспокойства, когда все дело это взять в ком, смести да за двор везти... и дом боярский будет так же полон, и постеля боярская так же согрета? Но этот торчащий здесь драгун; этот земский ярыжка и вся эта сволочь, при которой производится его обуздывание, тогда как никто не должен был знать, что и на него есть узда, — вот что непереносно; вот с чем нельзя примириться Плодомасову! Холопья душа самоуправца чувствует, что она не сможет снести холопьей насмешки. Ему все равно, сложит ли эта насмешка чьи-нибудь уста в улыбку или сомкнет их раболепным молчанием: он не только в улыбке, не только в молчании, но даже в стонах, которыми он может заставить стонать и молчание и улыбку, — во всем он будет слышать насмешку над его бессилием перед этим драгуном, перед какими-то угрозами, перед кем-то старшим, кто отныне займет главенство в подвластных ему умах.

Плодомасов все это сообразил в одно мгновение; в другое — решил, что он во что бы то ни стало не должен допустить этого главенства и для этого превзойдет дерзостью все, что до сих пор когда-нибудь делывал; а в третье он встал, хлопнул в ладоши и молча указал вбежавшим слугам на драгуна.

Тот, наблюдая боярина, понял его жест и, выхватив палаш, бросился в угол покоя; но жест боярина еще быстрее был понят его челядью, и драгун не успел размахнуться ни одного раза вооруженною рукою, как уже лежал на полу, сдавленный крепкими, железными руками чуть не по всем суставам. Грозный конский хвост на голове драгуна, за минуту перед сим столь угрожающий и останавливающий на себе всеобщее внимание, теперь ничего не значил.

— Веревку! — скомандовал боярин, обратясь к одному личарде.

— Попа и дьяков! — повелел он другому.

— Затрави петлю и спусти через крюк в потолке, — приказал он рабу, принесшему свежую пеньковую веревку.

Петля была затравлена из вытрепанного конца веревки и спущена через крюк, на котором держался полог боярышниной постели.

В комнату, трепеща и спотыкаясь, предстали выпихнутые через порог в спину поп и дьяки.

— Становись перед образом, — скомандовал попу боярин.

— Батюшка, помилосердуй! — молился боярину трепещущий и плачущий священник.

Боярин свистнул.

Два гайдука схватили дрожащего попа и всунули его в принесенную ризу, а третий намыливал перед его глазами куском мыла веревочную петлю.

— Начинай! — сказал Плодомасов замирающему священнику, когда облачившие его гайдуки поставили его перед образом.

— Что прикажешь, отец? — едва пролепетал почти потерявший со страху всякое сознание священник.

— Венчанье, — ответил Плодомасов.

Все так и остолбенели.

— Пой! — бешено крикнул боярин.

— Кому? — едва мог обронить, глядя на намыленную петлю, священник.

— Мне, — отвечал Плодомасов и, сорвав за руку с места боярышню Марфу Андревну, стал с нею за поповскою ризою.

Плачущий поп и плачущие дьяки пели венчанье плачущей боярышне, которую со связанными сзади локоточками и завязанным ртом держали на руках плачущие девушки; но сам боярин, ко всеобщему удивлению, молился искренно, тихо и с умилением.

— Теперь же, поп, я тебя пожалею, — сказал Плодомасов по окончании обряда. — Я тебя от беды уберег и тебе обыскных припас. Давай книгу! Вот государынин драгун да этот другой воеводский посол (он указал на пристава) — они чужие люди, и распишутся, что боярышня со мной радостью и охотою повенчалась.

— Царский драгун, чай, неграмотен, а воеводский посол хитер в письменности, давайте ему, он за обоих распишется, — продолжал отдавать приказание Плодомасов.

— А чтобы его лучше охота брала подписываться, накиньте ему, пока последнее слово выведет, мылыный осил на шею, — заключил боярин, заметив нерешимость и дрожание пристава.

Чиновнику надели петлю на шею, а в руки дали лебяжье перо, и он написал в обыскной книге все, что требовал Плодомасов.

— Ну, вот так хорошо, — сказал боярин и приказал подьячему написать в конце бумаги, привезенной драгуном: «мужа с женой никакая власть не разлучает».

Чуть только эта подпись подоспела, боярин выхватил лист из-под руки пристава и бросил в глаза драгуну бумагу, в которой Плодомасову повелевалось: «наипаче не сметь дерзать и мыслию жениться на боярышне Байцуровой».

Но, справясь с указами власти и с ее посланными, Плодомасову оставалось справиться с живою силою молодой жены. Это оказалось всего труднее... Силком связанную боярышню обвенчали; но чуть ей после венчания распустили белые локотки ее, она легкою векшею прыгнула на окно и крикнула:

— Шаг ко мне шагнешь — за окном на земле буду! Не послушаешь, так вели зараз твоему попу мне отходную честь!

Боярин и слуги окаменели.

— Выйди вон! — сказала боярышня, не сходя с окна. — Выйди вон, а не то я сейчас за окно брошусь!

Боярин махнул рукой людям и сам вслед им стал выходить спиной к двери.

Марфа Андревна стояла по-прежнему на краю раскрытого окна.

— А долго же ты так простоишь? — спросил ее Плодомасов на пороге.

— А пока горюч камень треснет, либо пока сама захочу.

Плодомасову легло по сердцу дать ей волю и послушаться.

Он ушел, а она простояла так до рассветной поры.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### КО БЕЛУ СВЕТУ ХОЗЯЮШКА

Поздний осенний рассвет застал село Плодомасово, или собственно плодомасовскую господскую усадьбу, в таком положении, в каком мест этих еще не освещало ни одно утро. Помещичий дом был буквально обложен войсками.

Репутация, которую приобрел себе Никита Плодомасов, не позволяла шутить, когда дело шло о том, чтобы ограничить своеволие этого дебошира и отнять у него его добычу. Губернатор сам побеспокоился сделать визит Плодомасову и собрал себе свиту, которая дала ему возможность рассчитывать, что он не будет сконфужен и выйдет из плодомасовского дома не вперед пятками и не вниз головой.

Драгун было целых три отряда. Один из этих отрядов обложил усадьбу со стороны леса и отнял у всех находящихся в доме всякую возможность побега; другой, став частию между домом и деревней, а частию вдоль берега Турицы, делал невозможною всякую надежду на какое-нибудь подкрепление или защиту; а третий, имевший в голове своей губернатора, офицера, оскорбленного Байцурова и драгуна, несколько часов назад бывшего свидетелем насильственного венчания боярышни с Плодомасовым, прямо подвигался на его разбойничий дом.

Но можно ли назвать разбойничьим домом такой дом, где теперь так мало отваги, как в доме плодомасовском? Да, именно потому-то и идет этому дому это название, что в виду приближающейся силы в размерах, не допускающих сопротивления, дом плодомасовский ни в одной душе не являл никакой искры отваги, ни малейшего знака спокойных усилий перенести с достоинством долю побежденного.

Напротив! все недавно здесь бушевавшее рабство присмирело и замолкло при виде сил, о которых рабы вовсе не имели никаких понятий, а боярин хоть и имел, да позабыл давно.

У всех обитателей плодомасовского дома, у которых еще кое-как работали головы, в головах этих вертелась только одна разбойничья мысль: как спасти себя и выдать боярина?

Плодомасов не призывал никого к оружию и обороне. Он не сделал этого, во-первых, потому, что он читал предательство и измену себе на всех лицах, которые перед собою видел. На всех? Нет, было одно лицо, на котором он не видал ни зла, ни предательства: это было лицо его молодой жены, виновницы всей этой истории.

Пятнадцатилетняя боярыня Плодомасова не обличала ни страха, ни трепета, ни волнения, ни злорадства. Она стояла на окне только с одним чувством: она с чувством бесконечной любви глядела на отца, быстро несшегося к ней впереди отряда. Окружающих боярышню женщин бил лихорадочный трепет, они протягивали свои робкие руки к не оставлявшей своего места боярышне и робко шептали: «Спаси нас! спаси — мы ни в чем не повинны».

Плодомасов слышал эти моления и сам готов был молить ее защитить его, много повинного, и мнилось ему... мнилось ему, что она его защитит.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### НЕОБЪЯСНИМЫЕ ЯВЛЕНИЯ УВЕЛИЧИВАЮТ СТРАХ

Находясь под влиянием таких чувств смятенья и страха, столпившиеся в боярышниной комнате жилицы плодомасовского дома были еще более испуганы новым, непонятным явлением, потрясшим их последние силы. Они вдруг заметили посреди себя незнакомые, никогда никем не виданные и неизвестно откуда пришедшие лица. Это были две какие-то удивительные женщины. Как они пришли и откуда взялись, это для всех было задачей.

Но вот в чьей-то испуганной голове мелькнуло, что это вовсе и не женщины, а сверхъестественные мстители и предвестницы смерти, выступившие из стен обреченного на гибель дома. И в самом деле, вид их и странен и страшен: одна в шушуне, бледна как мертвец, а очи как угли. Это тигрица, у которой отняли ребенка. А другая... что за лицо и что за одежда! Лицо эфиопа, два длинные зуба блестят в темной пасти раскрытого рта; седые космы падают с головы густыми прядями; сухая темная грудь открыта от шеи до пояса, и юбка

зашароварена в широкие пестрые порты, а в руках... в руках и у той и у другой по ножу.

— Это они! это темные духи!

Высказанная кем-то в ужасе во всеуслышание мысль эта была электрическим толчком; суеверный страх обуял всех, и все ожидавшие здесь развязки своей грозной судьбы грохнулись на пол, Сам Плодомасов в ужасе отвернулся к стене и закрыл лицо руками.

Не сробела одна юная боярыня Плодомасова; она бросилась в объятия этих женщин и, упав на грудь одной из них, залила ее своими неудержимыми теперь слезами. Плодомасов робко взвел взоры и увидал странную группу: две неведомые гостьи обнимали жену его и пятились с нею задом к дверям, держа над ее грудью блестящие ножи. Это было непостижимо.

Плодомасов снова закрыл глаза и не видал, как ножи были спрятаны, и лица, составлявшие оригинальную группу, обнимали друг друга и тихо шептались.

Читателю, конечно, нет нужды разделять общий плодомасовский ужас по поводу явления этих таинственных посетительниц плодомасовского дома. Читателю нетрудно будет отгадать, что эти две женщины, так вовремя и так эффектно взошедшие, были мать молодой боярыни и ее няня-туркиня, выехавшие на своих клячах в погоню вслед за боярышней.

Они прибыли в Плодомасово с твердым намерением проникнуть к пленнице в окна или в двери и избавить ее смертью от срама. Судя по решительности, с какою они входили, это им не могло не удаться, потому что не жалеющим себя за дело — дело само себя подсказывает. Но вышло так, что они и никаких затруднений не встретили; они просто, пользуясь общей сумятицей в доме, свободно вошли и свободно прошли длинный ряд пустых покоев и предстали здесь привидениями в ту самую минуту, когда губернатор и Байцуров отворили дверь оставленного без всякой защиты крыльца плодомасовского дома.

Новые гости также прошли все покои и вошли в опочивальню боярышни. При виде открывшейся им картины они были поражены полным удивлением: сановник, ожидавший со стороны Плодомасова сопротивления и упорства, недоумевал, видя, что дерзкий насильник дрожит и

все его личарды лежат распростертые ниц на земле. Оскорбленный отец ожидал услыхать вопли и стенания своей одинокой дочери и также недоумевал, видя ее покоющейся своею головкою на теплой материнской груди.

Но позднее смирение Плодомасова не могло быть ему оправданием. Против него было свидетельство драгуна о совершенном назад тому несколько времени насильственном браке с боярышней Байцуровой; против него спешили стать и другие люди — и те, чьи свидетельства могли иметь вес и значение, и те, чьи показания не могли иметь ни значения, ни веса.

— Участь, вас ожидающая теперь, печальна, но неизбежна, — сказал губернатор растерявшемуся Плодомасову.

В коридоре за дверью звякнули неосторожно опущенные кем-то из рук кандалы.

Плодомасов закрыл лицо руками, зарыдал и, упав на колени, просил одной милости — проститься с женою.

Он видел, что его никто не жалеет, никто не любит, и сердце влекло его к этому полуребенку, долю которого он так жестоко разбил и исковеркал, посмеявшись над ее чувствами и ее свободой.

Ему показалось, что она, и *одна она,* простит его, и он не ошибся. Ее одно имя пришло ему на память, когда позвякивающие за дверью цепи заставляли просить и молить о продлении последней минуты свободы, и к дикому вепрю сходила благодать утешения, что у него есть жена, есть чистое существо, во имя которой он может просить себе снисхождения.

— Жена? У вас нет жены, — отвечал Плодомасову губернатор. — Вы, государь мой, по злообычаю забыли, вероятно, что вы от этой девицы не снисхождения можете ожидать, а сугубого гнева на вас. Благородная девица сия, конечно, присоединит свой голос к тем свидетельствам, которые против вас сделаны, и это будет ваше последнее с нею свидание. Прошу вас, государыня моя, сказать, точно ли вы с сим господином обвенчаны, как все о том свидетельствуют, насильно?

— Венчана я с ним точно, — отвечала Марфа Андревна и остановилась.

Губернатор просил ее продолжать.

Марфа Андревна с горькою жалостью взглянула на униженного Плодомасова и отвечала:

— Да, я точно с ним венчана, но я не венчана насильно.

— Как не насильно? — вскрикнул удивленный губернатор.

— Как, сердечная дочка моя! Неужто с твоего то все было согласия? — воскликнул, заломив руки, Байцуров.

Присутствующая толпа стояла, пораженная неразрешимым для нее недоумением; одна мать Байцуровой прочитала разгадку всего этого в сокровенных тайниках дочерниного сердца. Она сжала дочернину руку и шепнула:

— Дело, дочь, дело!

— Пусть за меня никому зла не будет! — отвечала матери на ухо дочь, хороня на плече ее свое личико.

— Скажите же, милостивая государыня, как все такое происходить могло в столь непонятной истории. У нас есть доказательства совершенно противные... Вы говорите в испуге... вы ободритесь.

Марфа Андревна приподняла голову с материнского плеча и ответила:

— До всего, что вы о ком знаете, в том мое дело сторона; а что ко мне касается, то муж мой в том прав, и я на него не в пóслухах.

Удивление губернатора возросло до того, что он развел руки и при всех сознался, что ничего не понимает.

Старуха Байцурова вступилась в его спасение и, выступив вперед, сказала:

— Девичьей душе не надо дивиться, ваше превосходительство. Девушка с печи падает, пока до земли долетит, сорок дум передумает, и в том дива нет; была с вечера девушкой, ко полуночи молодушкой, ко белу свету хозяюшкой, а хозяйке не честь быть ни в пóслухах, ни в доказчицах. — Старуха тихо выдвинула дочь за руку вперед себя и добавила: — Хозяйкино дело теперь весть дорогих гостей за стол да потчевать.

Марфа Андревна поклонилась губернатору и сказала:

— Прошу милости к нашему хлебу-соли.

Губернатор еще недоумевал и глазами хлопал.

— Ваше превосходительство, — опять выступила и ему одному вслух заговорила Байцурова, — у нас что с трубами свадьба, что и без труб свадьба: дело попом петое, и жена мужу нерушимый кус. Не наша воля на то была, а ее да божья, что видим теперь ее здесь властной госпожой, а не невольною бранкою. Здесь холопы не доказчики, а жены нашего рода на мужей не пóслухи. Она все дело решила, и она, ваше превосходительство, ждет, что вы под руку ее к столу сведете.

Губернатор шаркнул, подал Марфе Андревне локоть и повел ее вниз в парадные покои.

Комната, служившая местом всех этих событий, все опустевала, и, наконец, посреди ее остался один Плодомасов. Он смутно понимал, что недавняя великая беда для него минула; понимал, что все это сделала его ребенок-жена, но он также чувствовал и сознавал, что с этой бедою навсегда минула здесь и власть его. Бранка победила своего пленителя, и над всем, что только Плодомасов имел в своих владениях, он видел ее твердый благостный дух.

Он чувствовал, что здесь отныне будет выше всего *она,* а не он, и весь дикий мятеж его диких страстей покорен.

Да, власть его восхищена. Вот он, стоя здесь один, всеми позабытый и брошенный, слышит, как в тех его дальних парадных покоях раздаются гостиные голоса; вон эти домочадцы, еще так недавно поднявшие холопьи носы перед ним, снова смирились, и снуют, и раболепно покорствуют вновь единодержавно воцарившейся в доме новой воле, и он сам, Плодомасов, он сам, большой могол, султан и властитель всего здесь сущего, он разрешен от власти и... он рад тому: он тихо крестится и шепчет: «Боже! устроевый тако, — слава тебе!»

Плодомасов смятен, как застенчивое дитя, и не знает только одного: как ему теперь сняться отсюдова с места, на котором стоит, куда идти и как показать свои очи в своем новом положении?

Но новые воеводы его дома кругом смотрят и все видят.

Старуха Байцурова проводила в почетное место губернатора и драгуна и заставила своего мужа занимать

их и чествовать, а сама вернулась к Плодомасову и, взявши его руку, сказала:

— Ну что ж? разумеешь ли ныне, хитрый вор, какую ты себе беду украл?

— Матушка-свекровь, сверх ума благодарствую, — отвечал Плодомасов, повалившись ей в ноги.

— Не для тебя то, однако, все сделано, а и для своей души. У нас род такой, что мы до суда и до свар неповадливы, а и ты постыдись, что в храбром-то уборе да лежишь у бабьих ног без храбрости... Встань! встань! — добавила она ласковей. — Умыкнутая жена, что и рукой выданная, — назад нечего взять; но помни, что не пара ты ей и что старый муж да нравливый молодой жене на руку колодой падает.

— Сударыня-свекровь, оставь беспокоиться! пусть она во всем госпожой здесь будет...

— Да, но гляди, зять, чтобы холопьи сусальные глаза моей дочери слез не видали; а теперь сделаем промеж нас родное согласие и пойдем к гостям честь-честью.

Байцурова поцеловалась с Плодомасовым и, взяв его под руку, пошла с ним в гостиную, где Плодомасова ожидала его молодая жена и его незваные гости. Никите Юрьичу Плодомасову не оставалось ничего более, как отпировать со всеми этими гостями свою свадьбу, и он отпировал ее, а потом отпустил каждого гостя домой с дорогими подарками.

## ОЧЕРК ВТОРОЙ

# БОЯРЫНЯ МАРФА АНДРЕВНА

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

#### ХРУСТАЛЬНАЯ ВДОВА

После свадьбы Марфы Андревны протекло полтора десятка лет. В эти годы отошел мирно и тихо к отцам старик Байцуров; к концу пятнадцатого года плодомасовского брака у Марфы Андревны родился сын Алексей, которым порадовался укрощенный боярин Никита и ста-

рушка Байцурова, и вслед за тем сами они обои, и зять и свекровь, в один и тот же год тоже переселились в вечность.

Не стало у Марфы Андревны ни отца, ни матери, ни мужа, она осталась на свете молодою тридцатилетнею вдовою с ослепительной красотою, богатым состоянием, заключавшимся в трех тысячах душ, и с единственным однолетним сыном.

Как было жить этой молодой вдове, насильно повенчанной пятнадцать лет тому назад с нелюбимым старым мужем, который, по выражению ее матери, должен был ей колодою падать на руку?

Прошлое Марфы Андревны не давало никаких основательных данных для предсказаний, как она проведет свою остальную жизнь? Марфа Андревна принадлежала к идеалу женщин мудреца Сократа: она жила так, что о ней не находили ничего рассказывать.

С тех пор, как мы оставили бранку женою боярина Никиты, до того дня, когда мы встречаем ее вдовою, в течение целых пятнадцати лет, Марфа Андревна правила домом и властвовала надо всем имением и над своим старым мужем, и никого этой властью не озлобила, никому ею не надокучила. Она не забирала власть, а власть самой ей давалась — власть шла к ней, как к «имущей власть».

Муж ее со дня женитьбы своей не выезжал из усадьбы, — он оделся в грубую свиту, опоясался ремнем, много молился и сокрушенно плакал. Жена ему была утешением: при ней его меньше терзал страх смерти и страх того, что ждет нас после смерти. Марфа Андревна защищала его от гроз воображения, как защищала от гроз природы, при которых старый боярин падал седою головою в колени юной жены и стонал: «Защити, защити меня, праведница! При тебе меня божий гнев не ударит».

Для всех посторонних и для своих челядинцев Плодомасов как бы исчез и не существовал. Пятнадцать лет он ни на минуту не забывал, что жена его была его спасительницей, и жил в благоговейном почтении к ее благородному характеру. Он во всем слушал ее и ее мать, сделавшуюся после жены его первым другом и советником.

На пятнадцатом году брака Марфа Андревна совершила счастие мужа, по котором втайне крайне томилась душа старика, но уста и в молитве счастия того просить не дерзали: Марфа Андревна восстановила угасавший с ее мужем род Плодомасовых, она дала мужу сына.

Этим мера счастия Никиты Плодомасова была преисполнена, и остепененный буян, тихо отходя христианином в вечную жизнь, еще раз благословил Марфу Андревну за последний поцелуй, которым она приняла его последнее дыхание.

Но что же будет теперь? Запоет ли молодая боярыня, пригорюнившись: «Скучно, матушка, весною жить одной»? Нахлынут ли к ней, прослышав про ее вдовство, молодые бояре и князья, и положит ли она на чью-нибудь молодую грудь свое белое лицо, или запрядет Пенелопину пряжу и станет исканьями женихов забавляться да тешиться?

Нет; не судьба нам и на этот раз увидать молодую боярыню в обличениях сердечных ее слабостей. Идут опять длинные годы; прошло снова опять целых пятнадцать лет, а про вдову Марфу Андревну и слухов нет и на славу ее и тень не легла; живет она с сыном своим хрустальною вдовицею, вся насквозь хрусталем светясь.

Упрекали ее, что она, дома сидя, раньше века состареется, но она, слыша порой те упреки, отвечала, что матери с детем домоседство не в муку.

Собственная крепостная дворня Плодомасовой во все эти годы видели свою боярыню в «распараде» только один раз за все ее вдовство; это было через три года после рождения Алексея Никитича, когда, по старому обычаю, боярыня перед всем собранием домочадцев сажала малолетнего сына на белого коня и обещалась за него богу, что сделает из него честного слугу вере и России.

Затем целые пятнадцать лет боярыня Плодомасова опять жила тихохонько. В эти пятнадцать лет она возрастила себе сокола-сына. Выходила боярыня сына, выхолила его и молодцом молодца с божьим благословением и материнской молитвою пятнадцати лет выслала его в Питер служить государыне, слава великих дарований которой вдохновляла и радовала Плодомасову в ее пустынном захолустье.

Соблазняли боярыню слухи о нравах дворских и вольностях, но она надеялась, что вложила в сердце сына добрые семена.

— Живи чисто! — завещала она сыну и твердо надеялась, что он соблюдет свою чистоту, как она свою соблюдала. «Это все, что чем манится, — почасту писывала она сыну в столицу, — дано богом в умножение рода, да отец будешь, а не прелюбодей. Помни, что где двое у греха беспечны, там от них третий нарождается и будет от безумных людей безгрешно стыд терпеть, а потому блюдись, дабы этого не было».

В это время, когда боярыня осталась в своем Плодомасове совсем одинокою, ей уже минуло сорок пять лет; красота ее отцветала в ее тихом заточении, и чистая, непорочная жизнь укрепила за нею название «хрустальной вдовы».

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### ПРИЛЕТНЫЙ СОКОЛ И ДОМАШНЕЕ ВАБИЛО

Еще пять лет прошло мимо, а с ними боярыне стукнуло пять десятков, и она наложила на себя старушечий повойник.

Для плодомасовской жизни наступила новая пора.

Никто никогда не видал от природы чинную и серьезную боярыню, какою все видят ее теперь. Она шутлива, весела, радостна: она смеется с слугами и подпевает слегка своим сенным девушкам, обряжающим давно забытые большие покои так называемого «мужского верха».

Да и как не быть боярыне шутливой и радостной, когда она, после пятилетней разлуки с единственным сыном, ждет к себе Алексея Никитича на долгую побывку и мечтает, каким она его увидит бравым офицером, в щегольском расшитом гвардейском кафтане, в крагах и в пудре; как он, блестящий молодой гвардеец блестящей гвардии, от светлого дворца императрицы перенесется к старой матери и увидит, что и здесь не убого и не зазорно ни жить, ни людей принять.

— А там...

Марфе Андревне мерещится вдали светлоокая невестка, с кроткими очами, с плавною поступью, с верной душою. «И будем жить вместе, и будет и радость, и счастье, и здоровые внуки, и румяные внучки».

Приготовления кончены; покои светлы и пышны, как брачный чертог; спешит в них и принц сердца боярыни Плодомасовой.

Алексей Никитич был на самом деле действительным молодцом и притом покорным сыном.

За полверсты не доезжая до материнского дома, он сошел к ручью, умылся, надел на себя все парадное платье и предстал Марфе Андревне, как она ему о том писала в полк, чтобы «приехал он к ней и в добром здоровье и в полном параде». Он сошел у материнского крыльца в парике, с косою за плечами, в щегольском гвардейском мундире. Боярыня встретила сына на верхней ступени с образом, с хлебом и солью. На глазах у нее были слезы: ей хотелось скорее броситься к сыну и прижать его к своей груди, но она этого себе не позволила и тем показала, как должен вести себя и Алексей Никитич.

Молодой Плодомасов поклонился матери в ноги, приложился к образу и постоял на коленях, пока мать три раза коснулась его темени хлебом.

Затем они зажили. У Плодомасова был долгий, годовой отпуск.

Марфа Андревна, как мы видели, имела намерение женить сына; и тотчас, как дорогой гость ее немножко у нее обгостился, она начала его понемножку повыспрашивать, какие он имеет собственные насчет брака взгляды и планы? Оказалось, что скорый брак вовсе не манил Алексея Никитича.

— Но отчего же так, милый друг мой, ты предпочитаешь долго ходить кавалером? — спрашивала его боярыня.

— Так, матушка, влечения к брачной жизни еще о сей поре не чувствую, — отвечал сын.

— А уж не маленький ты, пора бы и чувствовать.

— Да теперь, матушка, к тому же так рано в мои годы изрядные кавалеры и не женятся.

— Для чего же так: неужели в старые годы жениться лучше, чем в молодые? А по-моему, что лучше

как в молодой век жениться да взять жену по мыслям и по сердцу? В этом божий закон, да и любовь сладка к поре да вовремя, а что же в том радости, чтобы старым телом молодой век задавить? Злей этого обыка для жизни быть не может.

Сын промолчал, сконфуженный простыми и прямыми словами матери.

А Марфа Андревна вдруг ревниво заподозрила: нет ли у ее сына какой-нибудь тайной зазнобы в Петербурге.

Ловко и тонко, то с далекими подходами, то с неожиданной, сбивающей сына с такту прямизной расспрашивала его: где он у кого бывает в Петербурге, каких людей знает, и, наконец, прямо спросила: а с кем же ты живешь?

Плодомасов понял, что вопрос материн предложен не в прямом его смысле, и гвардейская этикетность его и собственная скромность возмутились этим бесцеремонным вопросом.

— Матушка, я в этом еще неповинен, — отвечал, тупя глаза, Плодомасов.

— Хвалю, — отвечала мать, — будь достоин чистой невесты.

Сконфуженный сын жарко поцеловал материну руку.

Марфу Андревну, которая знала все-таки столичные нравы екатерининского века, очень занимал вопрос о нравственности сына.

Застенчивый и скромный ответ гвардейца нравился Марфе Андревне чрезвычайно; но она хотела удостовериться еще точнее, что взлелеянное ею дитя ее действительно непогрешимо в своей чистоте, и потому священник, отец Алексей, получил поручение узнать это ближе, а Алексею Никитичу велено было тут же вскоре после приезда говеть и приобщаться.

По окончании исповеди отец Алексей, худой, длинный старичок, вовсе не питущий, но с красным носом, укрепил Марфу Андревну в этом мнении: он вошел к ней и благопокорно прошептал:

— Девственник!

— Это в наш век редкость, — произнесла Марфа Андревна.

— Редко, сударыня, редко.

— Господи, сколь я счастлива! — воскликнула Марфа Андревна, и в самом деле она была необыкновенно счастлива и довольна.

Сын делал полную честь трудам воспитавшей его матери, и блаженная мать души в нем не чаяла и еще усугубила к нему свою нежность.

— Тамошний омут чист переплыл, а уж тут у меня и замутиться не в чем.

И она не отпускала сына от себя ни на шаг, пестовала его, нежила, холила, и любовалась им, и за него радовалась.

И пошла тихо и мирно жизнь в селе Плодомасове. Мать не нарадуется, что видит сына, и дни летят для нее как краткие мгновенья. Ей и в голову не приходит осведомиться: так ли весело в деревенском уединении сыну ее, как весело ей от единой мысли, что он с нею под одной кровлей.

Все, казалось, шло стройно и прекрасно, но вдруг среди такого семейного счастия красавица сенная девушка Марфы Андревны, ходившая за самой боярыней, «спальная покоевка», заскучала, затосковала и потом, раздевая раз боярыню, бросилась ей в ноги и зарыдала.

Марфа Андревна знала, что значит такие поклоны в ее монастыре. Строгие брови Марфы Андревны сдвинулись, глаза сверкнули, и губы выразили и гнев и презрение. Виновная не поднималась, гневная боярыня стояла, не отнимая у нее своей ноги, которую та обливала горячей слезою.

— И ты это смела? ходя за мной за самой, ты не могла себя соблюсти?

— Матушка! голова моя не нынче уже перед вами на плахе.

— Не нынче?

— Матушка... давно... пятый месяц, — и девушка опять пала горячим лицом к ножке боярыни.

— Кайся же, *кто?* Кто дерзнул на тебя?

Девушка молчала.

Три раза боярыня повторила свой вопрос, и три раза девушка отвечала на него только одними рыданиями.

— Говори: кто? Я прощаю тебя, — произнесла Марфа Андревна.

Девушка поцеловала барынины ноги, потом руки.

— Тебе, как ты за мною ходила, то как ты ни виновата, что всего этого не чувствовала, но тебе за мужиком не быть.

Девушка опять упала в ноги.

— Говори, кто тобой виноват: холостой или женатый?

Виноватая молчала.

— Говори! если холостой... Бог вас простит, но чтоб завтра же у меня при всех тебя замуж просил. Чего ты водишь глазами? Слышишь, перестань, тебе говорю: я не люблю, кто так страшно взглядывает. Иди, и чтоб он завтра тебя замуж просил, а не то велю ему лоб забрить.

Девушка отчаянно ударила себя в грудь и воскликнула:

— Этому быть нельзя!

— Что ты такое врешь! знать я не хочу и велю, чтоб было как приказываю.

Девушка отчаянно закачала головой и воскликнула:

— Господи, господи! да научи же меня, как мне слово сказать и покаяться!

— Холостой... По любви с ним сошлась... и нельзя им жениться! — быстро сообразила Марфа Андревна и, в негодовании оттолкнув от себя девушку, крикнула: — Сейчас же скажи его имя: кто он такой?

— Ох, да никто! — отвечала, терзаясь, девушка.

— Никто?.. Как это никто? что ж это, в бане, что ли, к тебе пристало?

Девушка стояла на коленях и, поникнув головою, молчала.

Марфа Андревна села в кресла и снова вспрыгнула, сама надела на свои ноги шитые золотом босовички и, подойдя к девушке, высоко подняла ее лицо за подбородок и, взглянув ей прямо в глаза, проговорила:

— Хотя бы то сын мой родной, я это сейчас знать желаю, и ты не смеешь меня ослушаться!

И, метаясь под проницающим взором своей чистой боярыни, девушка в терзаниях и муках отвечала:

— *Он!*

Этого сюрприза Марфа Андревна не ожидала... Омут переплыл, а на чистой воде осетился.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### ПО ДЕЛАМ ВОЗДАЯНИЯ

Марфа Андревна была ужасно оскорблена этим поступком сына, и притом в ней боролось теперь зараз множество чувств разом.

Перед ней вдруг восстал во весь рост свой покойный Никита Юрьич — не тот Никита Юрьич, который доживал возле нее свои последние годы, а тот боярин-разбойник, который загубил некогда ее красу девичью и который до встречи с нею не знал ничего святого на свете. «Вот он и этот по отцовым стопам начинает, — мнилось боярыне, — девичья честь не завет ему, и материн дом не нетленный кут: идет на все, что меск невзнузданный... Нет, не должно мне это спустить ему, — иначе его злообычие в нем коренать станет! Нет, у сего начала растет зол конец».

— Иди! — сказала она покоевке и, указав ей рукою на двери, сама опустилась в кресло у кровати и заплакала.

Оставшись одна, Марфа Андревна искала теперь в своем уме решения, что она должна сделать? как ей поступить? Решение не приходило, и Марфа Андревна легла спать, но не спала. Решение не приходило и на другой день и на третий, и Марфа Андревна целых три дня не выходила из своей комнаты и не пускала к себе сына.

Этого не бывало еще с Марфою Андревной никогда, и никто в целом доме не знал, чему приписать ее упорное затворничество.

К ней под дверь подсылали приближенных слуг, подходили и заводили с ней разговор и молодой барин и священник отец Алексей; но Марфа Андревна никому не отвечала ни одного слова и только резким, сердитым постукиванием в дверь давала чувствовать, что она требует, чтобы ее оставили.

На четвертый день Марфа Андревна сама покинула свое заточение. В этот день люди увидели, что боярыня встала очень рано и прошла в сад в одном темненьком капоте и шелковом повойничке. Там, в саду, она пробыла одна-одинешенька около часу и вышла оттуда, заперши

за собою на замок ворота и опустив ключ в карман своего капота. К господскому обеду в этот день был приглашен отец Алексей.

Марфа Андревна вышла к столу, но не кушала и с сыном не говорила.

После обеда, когда вся домашняя челядь, кто только где мог найти удобное местечко и свободную минуту, уснули по темным уголкам и закоулочкам обширного дома, Марфа Андревна встала и сказала отцу Алексею:

— Пойдем-ка, отец, со мною в сад, походим.

— Пойдем и ты, — заключила она, оборотясь на ходу к сыну.

Марфа Андревна шла вперед, священник и сын за нею.

Плодомасова прошла двор, отперла садовую калитку и, вступив в сад, замкнула снова ее за собою.

Садом боярыня прошла тихо, по направлению к пустой бане. Во всю дорогу Марфа Андревна не говорила ни с сыном, ни со священником и, дойдя до цели своего несколько таинственного путешествия, села на завалинку под одним из банных окон. Около нее с одной стороны присел отец Алексей, с другой — опустился было гвардейский поручик.

— А ты, поросенок, перед матерью можешь и постоять! — вдруг оттолкнула сына Марфа Андревна.

— Стань! — повторила она изумленному молодому человеку и затем непосредственно обратилась к нему с вопросом:

— Кто тебе дал эти эполеты?

— Государыня императрица, — отвечал Плодомасов.

— Сними же и положи их сюда на материны колени.

Недоумевающий поручик гвардии безропотно исполнил материнское требование.

— Ну, теперь, — сказала ему Марфа Андревна, — государыне императрице до тебя более дела нет... Что ею тебе жаловано, того я на тебе бесчестить не смею, а без царского жалованья ты моя утроба.

С этим она взяла сына за руку и, передавая отцу Алексею, проговорила:

— Отдаю тебе, отец Алексей, непокорного сына,

который оскорбил меня и сам свою вину знает. Поди с ним туда.

Она указала через плечо на баню.

— Туда, — повторила она через минуту, — и там... накажи его там.

— Поснизойдите, Марфа Андревна! — ходатайствовал священник.

— Не люблю я, не люблю, поп, кто не в свое дело мешается.

— Позволь же тебе, питательница, доложить, что ведь он слуга царский, — убеждал священник.

— Материн сын прежде, чем слуга: мать от бога.

— И к тому же он в отпуск... на отдохновение к тебе прибыл!

— Перестань пусторечить: я все не хуже тебя знаю, дуракам и в алтаре не спускают; иди и делай, что сказано.

Священник не знал опять, чем бы еще затруднить дело.

— Да вот я и лозы к сему пригодной для наказания не имею.

— Иди куда велю, там все есть.

— Ну, пожалуйте ее волю исполнить, — пригласил отец Алексей поручика.

Плодомасов молча поклонился матери в ноги и молча пошел в баню за отцом Алексеем.

Там, на верхней полке, лежал большой пук березовых прутьев, нарезанных утром собственными руками Марфы Андревны и крепко связанных шелковым пояском, которым она подвязывала в сырую погоду юбки.

— Мы вот как поступим, — заговорил тихонько, вступив в баню, отец Алексей, — вы, ваше благородие, Алексей Никитич, так здесь за углышком стойте, да как мога́ послышнее голосом своим блекочите, а я буду лозой по доскам ударять.

— Нет, не надо, я мать обманывать не хочу, — отвечал офицер.

— А вот это тебе, отец Алексей, и стыдно! Раздумай-ка, хорошо ли ты сына матери солгать учил! — отозвалась вдруг из-за окна расслышавшая весь этот разговор Марфа Андревна. — Дурно это, поп, дурно!

Сконфуженный отец Алексей поник головою и, глядя на лозу, заговорил:

— Да помилуй меня, легконосица: не могу... руки мои трепещут... меня большая жаль обдержит! Отмени ему сие наказание хоша за его благопокорность!

— А ты жалей да делай, — отвечала из-за окна непреклонная Марфа Андревна. — Кто с холопами в одной повадке живет, тот в одной стати с ними и наказуется.

— Совершим по реченному, — прошептал, вздохнув, отец Алексей и, засучив широкий рукав рясы, начал, ничто же сумняся, сечь поручика Плодомасова, и сек до тех пор, пока Марфа Андревна постучала своей палочкой в окно и крикнула: «Довольно!»

— Наказал, — объявил, выйдя, священник.

Марфа Андревна не ответила ему ни слова. Она была взволнована, потрясена и почти убита. Ей жаль было сына и стало еще жалче после его покорности, возбранявшей ему обмануть ее в определенном ею наказании. Она стыла, зябла, умирала от немощи и страданья, но хранила немое молчание.

Перед Марфу Андревну предстал наказанный ею сын и поклонился ей в ноги.

Марфа Андревна вспыхнула. Вид виновника ее и его собственных страданий возмутил ее, и она ударила его в это время по спине своей палочкой и далеко отбросила эту палочку в куртину.

Алексей Никитич поднял брошенную матерью палочку, подал Марфе Андревне и опять поклонился ей в ноги.

Марфа Андревна опять ударила его тем же порядком и опять швырнула от себя палку.

Сын снова встал, нашел палку, снова подал ее своей матери и снова лег ей в ноги.

Марфа Андревна тронула его в голову и сказала: «Встань!»

Алексей Никитич поднялся, поцеловал материну руку, и все трое пошли домой после этой прогулки.

Разумеется, все, что произошло здесь, навсегда осталось неизвестным никому, кроме тех, кто принимал в в этом непосредственное участие.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
### ЗАЗВУЧАЛИ ДРУГИЕ СТРУНЫ

Марфа Андревна, наказав так несообразно взрослого сына, изнемогла и духом и плотью. Целую ночь, сменившую этот тягостный день, она не могла уснуть ни на минуту: она все ходила, плакала, молилась богу и жаловалась ему на свое сердце, на свой характер; потом падала ниц и благодарила его за дарование ей такого покорного, такого доброго сына!

Часа в три после полуночи, в пору общего глубокого сна, Марфа Андревна спустилась тихонько с своего женского верха вниз, перешла длинные ряды пустых темных комнат, взошла тише вора на «мужской верх», подошла к дверям сыновней спальни, стала, прислонясь лбом к их створу, и заплакала. Битый час она тихо, как изваянная из камня, стояла здесь, тихо всхлипывая и прерывая свои слезы лишь только для того, чтобы, прислонясь ухом к двери, послушать, как дышит обидно наказанный ею спящий сын ее. Наконец кипевшие в груди ее благодатные слезы облегчили ее. Она перекрестила несколько раз сынову дверь, поклонилась ему у порога лицом до земли, прошептала сквозь слезы: «Прости, мое дитя, Христа ради» и отошла. Во всю обратную дорогу к своей опочивальне она шла тихо, плачучи в свой шейный платок.

Марфе Андревне приходилось невмоготу: у нее сил не ставало быть одной; ей бы хотелось взойти к сыну и поцеловать его руки, ноги, которые представлялись ей такими, какими она целовала их в его колыбели. Она бог знает что дала бы за удовольствие обнять его и сказать ему, что она не такая жестокая, какою должна была ему показаться; что ей его жаль; что она его прощает; но повести себя так было несообразно с ее нравом и правилами.

А между тем сердце не слушалось этих правил: оно все беспокойнее и неумолчнее молило дать ему излиться в нежности и ласке.

А кому иному, если не ему, можно было бы отдать эту потоком рвущуюся ласку? Но нет, — ему показать свою слабость она не может.

Марфа Андревна подумала и, не доходя до своей спальни, вдруг повернула с прямого пути и стала тихо выбираться по скрипучим ступеням деревянной лестницы в верхнюю девичью. Тихо, задыхаясь и дрожа, как осторожный любовник, отыскала она среди спящих здесь женщин сынову фаворитку, закрыла ладонью ей рот, тихо шепнула: «Иди со мной!» и увела ее к себе за рукав сорочки.

Марфа Андревна впервые в жизни ходила со страхом по своему собственному дому, — впервые боялась она, чтобы ее кто-нибудь случайно не увидал и не подслушал.

Приведя девушку к себе в опочивальню, боярыня посадила ее на свою кровать и крепко сжала ее руками за плечи.

Девушка порывалась встать.

— Сиди! сиди! — страстно и скоро шептала ей Марфа Андревна, и с этим, повернув ее лицом к лампаде, начала гладить ее по голове, по лицу и по молодым атласным плечам, а с уст ее летели с лаской слова: «Хорошенькая!.. ишь какая хорошенькая! Ты прехорошенькая!.. мне тебя жаль!» — вырвалось вдруг громко из уст Марфы Андревны, и она ближе и ближе потянула красавицу к свету лампады, передвинула несколько раз перед собою из стороны в сторону лицо и обнаженный бюст девушки, любуясь ею при разных тонах освещения, и, вдруг схватив ее крепко в свои объятия, шепнула ей с материнской страстностью: «Мы вместе, вместе с тобою... сбережем, что родится!»

С этим Марфа Андревна еще теснее сжала в объятиях девушку; а та как павиликой обвила алебастровыми руками сухую боярынину шею, и они обе зарыдали и обе целовали друг друга. Разницы общественного положения теперь между ними не было: любовь все это сгладила и объединила.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### БАБУШКА ВОРОЖИТ СВОЕМУ ВНУЧКУ

Виновница этих скорбей и этих радостных слез Марфы Андревны была так умна, что никому не дала ни одного намека о перемене, происшедшей в ее положении. Марфа

Андревна это заметила, и расположение ее к крепостной фаворитке сына увеличилось еще более.

— Ты неглупая девка, — сказала она покоевке, когда та один раз ее одевала, но, следуя своей строгой системе сдержанности, с тех пор все-таки долгое время не обращалась к ней ни с какими нежностями. Это, по соображениям Марфы Андревны, должно было идти так, пока она не даст всем делам нового направления. Новое направление было готово.

Марфа Андревна не стеснялась тем, что срок годовому отпуску сына еще далеко не истек, и решила отправить Алексея Никитича в Петербург немедленно.

— Я вижу, — сказала она, — что тебе с матерью скучно и ты не умеешь держать себя в деревне... В деревне надо трудиться, а то здесь много и без тебя дворянских пастухов болтается. Ступай лучше маршируй и служи своей государыне.

Сын повиновался и этому распоряжению матери беспрекословно, как повиновался он всем вообще ее распоряжениям.

День отъезда Алексея Никитича был назначен и наступил.

Во время служения в зале напутственного молебна по случаю отъезда сына Марфа Андревна стояла на коленях и моргала, стараясь отворачиваться, как будто отдавая приказания стоящей возле нее ключнице. Она совладела с собою и не заплакала. Но зазвеневший во время завтрака у крыльца поддужный колокольчик и бубенцы ее срезали: она подскочила на месте и взялась за бок.

— Что с вами, матушка? — спросил ее сын.

— Колет меня что-то, — отвечала она и сейчас же, обратясь к отцу Алексею, добавила: — Я замечаю, что как будто простудилась, когда мы с тобой, отец Алексей, на току опыт молотили.

— До беды, Марфа Андревна, разве долго? — отвечал отец Алексей, кушая жаренную в сметане печенку. — Все вдруг, государыня, может быть. Я тоже намедни пошел ночью лошадок загарнуть на задворке, а большой ветер был, — я пригнулся, чтоб дверь за собой притворить, а сивуха моя как меня шарахнет в пояс-

ницу, так я насилу выполз, и даже еще по сей час этот бок саднеет.

Марфа Андревна остановила речь попа взглядом и стала благословлять сына, а когда тот поклонился ей в ноги, она сама нагнулась поднять его и, поднимая, шепнула:

— Служи там как надобно, а я здесь свою кровь не забуду.

Алексей Никитич Плодомасов опять поехал в блистательную екатерининскую гвардию, а Марфа Андревна опять осталась одна-одинешенька в своей Плодомасовке.

Первым делом Марфы Андревны, проводя сына, было приласкать оставленную им сироту-фаворитку. При сыне она не хотела быть потворщицей его слабостей; но чуть он уехал, она сейчас же взяла девушку к себе на антресоли и посадила ее за подушку плесть кружева, наказав строго-настрого ничем себя не утруждать и не насиловать.

Милости боярыни к виновной девушке вводили всю домашнюю челядь в недоумение. У многих зашевелилась мысль подслужиться по поводу этой истории барыне и поустроить посредством этой подслуги свое собственное счастье. Любимый повар Марфы Андревны первый сделал на этот предмет первую пробу. В один вечер, получивши приказание насчет завтрашнего стола, он прямо осмелился просить у Плодомасовой позволения жениться на этой девушке.

Он ждал за нею приданого и милостей.

Марфа Андревна только завязала ему дурака и отпустила.

Попробовал этого же счастья просить у ней другой — смелый человек, садовник, а за ним третий — портной; но к этим Марфа Андревна уже не была так снисходительна, как к повару, а прямо сказала им:

— Я эти ваши холопские хитрости вижу и понимаю, чем вам сладка эта девка! А вперед подобных речей чтоб я ни от кого не слыхала.

Марфа Андревна безотступно берегла девушку, и когда той доходил седьмой месяц, Плодомасова сама собственными руками начала кроить свивальники, распашоночки и шапочки. Они все это шили вдвоем у одного и того же окна, обыкновенно молча, и обе думая об Алексее Никитиче. Разговоров у них почти никаких

не было; и Марфе Андревне это было нетрудно, потому что она в тридцать лет одинокой или почти что одинокой жизни привыкла к думе и молчанью.

— Прибери! — говорила только Марфа Андревна своей собеседнице, подавая ей дошитую детскую шапочку или свивальник.

Девушка брала вещь, целовала с теплейшей благодарностью барынину руку, и они обе опять начинали молча работать.

Наконец детского приданого наготовлено было очень много: больше уже нечего было и готовить.

Марфа Андревна обратилась к другим, гораздо более важным заботам об участи ожидаемого ребенка.

Плодомасова позвала к себе отца Алексея и велела ему писать под свою диктовку: «Во имя отца, и сына, и святаго духа».

— Это что будет, государыня Марфа Андревна? — спросил отец Алексей.

— А моя духовная, — отвечала боярыня и продолжала излагать свою волю, что всю свою законную часть из мужниного имения, равно как и имение от ее родителей, ею унаследованное, она в наказание сыну своему Алексею, не думавшему об участи его незаконного младенца, завещевает ребенку, который такого-то года, месяца и числа должен родиться от ее крепостной сенной девушки такой-то. А помимо сего награждения, от нее тому младенцу по праву ее даримого, она клятвою сына своего обязывает отдать тому младенцу третию часть и из его собственной доли, ибо сим грех его беспечности о сем младенце хотя частию искуплен быть может. Марфа Андревна подписала свою волю; отец Алексей ее засвидетельствовал и унес в алтарь своей церкви.

Одновременно с этим Силуян, дворецкий Марфы Андревны, был послан добывать ожидаемому новорожденному неизвестного пола дворянское имя и вернулся с доброю вестью. Имя было припасено.

Боярыня Плодомасова была успокоена, и внуку ее оставалось только родиться на судьбу, уже наворожённую его бабушкой.

Но в это время с Марфой Андревной случилось неожиданное и ужасное происшествие: ее постигло роковое испытание всем ее силам и крепостям.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### ДОМАШНИЙ ВОР

Марфа Андревна, живучи одна в своем огромном доме, постоянно держалась более одних антресолей. Там у нее были комнаты низенькие, уютные, с большими образниками, с теплыми, широкими лежанками из пестрых саксонских кафель, с гуслями из карельской березы и с рядом больших длинных сундуков, тяжело окованных железом и медью. Здесь была постоянная спальня Марфы Андревны и ее образная, а с осени боярыня почти совсем закупоривалась на целую зиму на антресоли, и вышка эта делалась исключительным ее местопребыванием во все дни и ночи. Старухе и на антресолях было не тесно, — и вправду, здесь было столько помещения, что свободно размещались все подручные покоики, и спальный, и образной, и столовый, и приемный залец с фортункой, на которой боярыня игрывала с отцом Алексеем, и гардеробная, и пялечная — словом, все, что нужно для помещения одинокой старухи, и здесь Марфе Андревне было приятнее и веселее, чем в пустых больших покоях.

— Волковня это у меня, а не дом, — говаривала, бывало, Марфа Андревна, проходя иногда с кем-нибудь по своим большим нижним покоям. — Ишь, куда ни глянешь, хоть волков пугай, пусто.

Большие покои тяготили Марфу Андревну своей пустотой, и она сходила в них редко, только при гостях, которые тоже посещали ее очень редко, или в других каких-нибудь экстренных случаях, встречавшихся еще реже. Большие покои нижнего этажа целые зимние дни спали, но зато оживлялись с большою энергиею ночью. Это было оживление совершенно особенное, напоминавшее слегка то, что бывает будто на Лысой горе на шабаше.

Внизу зимой жили только сенные девушки да орава лакеев. Девушки сидели здесь на звонких донцах за прялками по своим девичьим, а лакеи — в большой и в малой передних, одни за картами, а другие, кто потрудолюбивее и подомовитее, за вязаньем чулок и перчаток. Гостиные же, залы, столовые и наугольные покои были, как сказано, постоянно пусты во весь день до вечера и навещались только набродными номадами

по ночам. Когда на плодомасовские небеса спускалась ночь и в боярском доме меркли последние огни, между лакейскими и девичьими начиналось таинственное сообщение. С той и с другой стороны ночные бродяги и бродяжки, как мураши-сластены, расползались по всем покоям барского дома; здесь они встречались и справляли свой шабаш на пушистых коврах и диванах.

Шум, поднимаемый в нижних больших покоях плодомасовского дома, бывал иногда столь неосторожен, что будил самое спящую на антресолях Марфу Андревну; но как подобный шум был для Марфы Андревны не новость, то она хотя и сердилась за него понемножку на своих челядинцев, но никогда этим шумом не тревожилась и не придавала ему никакого особого значения.

Разве когда уже очень всем этим Марфу Андревну допекали и ей не спалось, то она решалась принимать какие-нибудь меры против этого бесчинства, но и то скорее для потехи, чем для строгости. Боярыня вставала, сходила тихонько вниз и обходила с палочкой дом. Тогда, зачуяв издали ее приближение, одни притаивались по углам, другие, не помня себя, опрометью летели во все стороны, как куропатки.

В большую часть подобных своих ночных обходов Марфа Андревна возвращалась к себе без всякого успеха, только, бывало, распугает разве свою праздную челядь. Но иногда случалось иное. Случалось, что Марфе Андревне попадалась за рукав какая-нибудь девушка, и Марфа Андревна вела эту ночную бродяжку к себе за ухо, ставила ее перед образником на колени на мешочек, насыпанный гречею, и, усевшись сама на сундучок, заставляла грешницу класть земные поклоны, определяя число их сотнями, а иногда даже тысячей. Этим, впрочем, все наказание и кончалось. Марфа Андревна терпеть не могла, если девушка была с прибылью или просилась замуж, но так называемое «гулянье» считала необходимым злом, которое преследовала только более для порядка. Таков был дух времени.

С сына она взыскала строго за оскорбление ее дома, за то, что он посягнул на девушку, которая ходила за самой ею, Марфой Андревной, а более же всего за то, что он ее сын, который, по ее понятиям, должен был быть не тем, чем могли быть рабы.

По отношению к рабам Марфа Андревна была далеко снисходительнее. Она и в обходы-то свои пускалась, как сказано, только во время бессонниц, и то словно для развлечения, как на охоту. А то Марфа Андревна, сколь бы ей ни докучали, едва замечала ключнице:

— Ты бы, мать моя, ночью-то хоть иной раз посматривала за крысами.

— За какими, матушка, крысами? — осведомлялась ключница.

— Да вон за рукастыми да ногастыми, что по передним спят. Скажи им, что уж я когда-нибудь к ним сойду, так плохо им будет.

Ключница сказывала, и крысы как будто унимались, но ненадолго, и через некоторое время опять начиналось то же шнырянье.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

Дом боярыни Марфы Андревны хотя был населен очень людно, но в нравах этого населения под старость лет боярыни начинала господствовать большая распущенность. Дом в ночное время содержался не опасливо, и хотя время тогдашнее было не беспечное, но в доме Плодомасовой почти никакой осторожности против внешних напастей не наблюдалось. Здесь все вместе, как и каждый порознь, были уверены, что их очень много и что они «шапками всех закидают», а эта политика шапок хотя и бойка, но, как известно, не всегда хорошо себя оправдывает. Так это и случилось в плодомасовском доме, который слыл богатым и который, по тогдашним смутным временам, может быть следовало оберегать гораздо потщательней, чем он оберегался. Народ бредил пугачевщиной; везде шатались шайки мужиков и холопов, взманенных популярными успехами Пугачева; они искали добычи, а плодомасовский дом обещал этой добычи целые горы.

В ноябре, в самую ненастную дождливую темень, в самую глухую полночь Марфе Андревне показалось, что у нее внизу дома происходит целая свалка. Шум,

порою достигавший оттуда до ее слуха, был так смел и дерзок, что боярыня уже хотела встать и сойти или послать вниз спавшую в смежном с нею покое фаворитку Алексея Никитича; но самой Марфе Андревне нездоровилось, а будить непорожнюю женщину и гонять ее по лестнице боярыня пожалела. В этих соображениях Марфа Андревна решилась оставить разбор дела до завтра; обернула голову теплым одеялом и уснула.

Но вот слышится Марфе Андревне, будто кто-то трогает дверь на лестницу внизу. Крепкая дверь хорошо заперта и не отворится, а Марфе Андревне опять спится, и снова ей слышно, что по комнатам будто кто-то ходит. Полежала Марфа Андревна еще с минуточку, и вдруг ей кажется, что вокруг ее будто ветер веет, а кроме ветра, по ее покоям ходят и живые люди. Марфа Андревна совсем проснулась и покричала девушку, но ответа не было. Тогда она, удивленная, встала сама, надела босовички и вышла. И что же Марфа Андревна увидала? она увидала, что прямо против нее, в другой комнате, на сундуке лежит девушка, та самая, которою грешен был Алексей Никитич, и лежит она очень странно и неестественно — лежит вся навзничь, руки под спиною, а во рту платок.

Как ни смела и подчас ни находчива была Марфа Андревна, но здесь она ничего не могла вдруг сообразить и придумать. А между тем для удивления Марфы Андревны, кроме горящей свечи и связанной девушки, приготовлены были и некоторые другие новины: как раз против вторых дверей Плодомасова увидала молодец к молодцу человек двадцать незнакомых людей: рожа рожи страшнее, ножи за поясами, в руках у кого лом, у кого топор, у кого ружья да свечи.

«Что это такое? видение, что ли?» — подумала Марфа Андревна; но врывавшийся в окно ветер с дождем и еще две рожи, глядевшие в выбитое окно из черных ветвей растущей под самыми окнами липы, пронесли мигом последние просонки боярыни.

«Это, пожалуй, и Пугач!» — решила она и, торопливо накинув на плечи шушун, вышла и стала на пороге двери.

Дом Плодомасовой посетил небольшой отдел разбойничьей шайки. Шайка эта, зная, что в доме Плодома-

совой множество прислуги, между которой есть немало людей, очень преданных своей госпоже, не рисковала напасть на дом открытой силой, а действовала воровски. Разбойники прошли низом дома, кого заперли, кого перевязали и, не имея возможности проникнуть наверх к боярыне без большого шума через лестницу, проникли к ней в окно, к которому как нельзя более было удобно подниматься по стоявшей здесь старой черной липе.

Марфа Андревна недолго стояла в своем наблюдательном созерцании: разбойники ее заметили и сейчас же одним ударом приклада сшибли ее с ног, бросили на пол и тоже завязали ей рот. При ее глазах взламывали ее сундуки, забирали ее добро, вязали все это в узлы и выкидывали за окно прямо на землю или передавали на веревках темным страшным людям, которые, как вòроны, сидели на ветвях черной липы и утаскивали все, что им подавали.

Ветер выл и заносил в комнату брызги мелкого осеннего дождя; свечи у разбойников то вспыхивали широким красным пламенем, то гасли, и тогда снова поднимались хлопоты, чтобы зажечь их. Марфа Андревна лежала связанная на полу и молча смотрела на все это бесчинство. Она понимала, что разбойники пробрались на антресоль очень хитро и что путь этот непременно был указан им кем-нибудь из своих людей, знавших все обычаи дома, знавших все его размещение, все его ходы и выходы.

Лежа на полу, Плодомасова старалась сквозь мелькавшие у ее лица грязные сапожищи разбойников разглядывать разбойничьи лица и, наконец, в одном из них узнала своего слугу Ваньку Жорнова.

Марфа Андревна ясно припомнила, что она очень недавно видела это лицо в своих покоях, и удивилась, увидав его теперь чуть не атаманом этого отдела разбойничьей шайки.

В печальном положении Марфы Андревны не представлялось никакой возможности уйти вниз, где она еще могла ожидать хоть какую-нибудь помощь; да и то, думала она, бог знает, помощь эта станет ли на ее сторону или на сторону Ваньки Жорнова.

В те времена ни на какое старое добро, ни на какую защиту от своей челяди помещики не надеялись.

Марфа Андревна, пожалуй, более, чем многие другие, могла положиться на любовь своих челядинцев, с которыми она всегда была справедлива и милостива, но тогда и правда и милость не ценились и не помнились. «Добрую барыню» в Самарском уезде мужики и плачучи повесили на ракиту. Да Марфе Андревне это было почти все равно: на ее ли сторону стала бы ее челядь или на сторону разбойников и предводившего ими Ваньки Жорнова, — все равно: ей вниз с своих антресолей теперь не добраться.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### ПЫТКА

Марфа Андревна, не видя ни малейшей надежды к спасению, отвернулась от картины разбоя и стала приготовляться к смерти. Сундуки и укладки ее были опорожнены, и все, что в них вмещалось, повышвырено за окно. В покоях оставалось уже очень немного, над чем бы стоило еще поработать. Последнее внимание разбойников пало на один железный сундук, привернутый через медные шайбы винтами к полу и запертый изнутри хитрою стальною пружиною. Ни один лом, ни один топор не брал этого заманчивого сундука. По той тщательности, с которою сундук этот был укреплен и заперт, разбойники не сомневались, что в нем-то и должны заключаться все наиценнейшие богатства домовитой боярыни. А сундук этот только что был Марфой Андревной перебран прошедшим вечером, и в нем не было ничего, кроме детского белья, припасенного ею ожидаемому новорожденному.

Со рта Марфы Андревны сорвали платок и потребовали, чтобы она указала, где ключ.

Марфа Андревна встрепенулась. Она обернулась и сказала:

— Как же ты смеешь думать, холоп, что я дам тебе ключ?

— Не дашь?

— Ну разумеется, не дам, — отвечала заносчиво и резко Марфа Андревна.

Разбойник, не рассуждая долго, ударил старуху сапогом в лицо.

— Подай ключ! — приставали к ней со всех сторон.

— Не дам я ключа, — отвечала Марфа Андревна, отплевывая бегущую из рта кровь.

Что с ней ни делали — били ее, вывертывали ей пальцы и локти, таскали ее по полу за волосы! «Не дам», — отвечала железная старуха.

— Я сказала, не дам, и не дам!

— Так на лучину ее, ведьму! сама заговорит, где ключ спрятан, — скомандовал Ванька Жорнов.

С Марфы Андревны стащили ее золотом шитые босовички, согнули ей колени и под икры подсунули пук пылающей лучины.

— Не дам я ключа вам, холопам, — проскрипела сквозь зубы Плодомасова.

— А ты, боярыня, не крепись изнапрасна, мы ведь всё допытаемся, — заговоришь, — приставал, коптя ее ноги, Жорнов.

— Врешь, подлый холоп: не заговорю.

— Заговоришь.

Но Марфа Андревна собрала силы, плюнула Жорнову в самое лицо и опять назвала его «холопом».

— Холоп! Нет, я твой господин теперь, а ты моя холопка.

— Подлый смерд! — крикнула в азарте, забыв на минуту самую боль свою, истязуемая и снова плюнула прямо в глаза своему палачу.

Ее били и истязали несказанно; она не ожидала помощи ниоткуда: видела сочувствие в глазах одної своей задыхавшейся девушки, но и не думала уступить холопам.

Разбойники становились в тупик: ломать половицы, к которым привинчен сундук, — их не выломишь из-под взакрой положенного венца. Зажечь дом — нет прибыли, да и осветишь след ходящим по всей окружности войскам; сложить ее, старуху, на всю лучину, спалить ей прежде спину, потом грудь и живот — страшно, что помрет, а не скажет.

Марфе Андревне было радостно, что эти звери не знали, что с ней сделать.

— А что у тебя тут в сундуке? — спросил ее Жорнов.

— Тут мое золото, да серебро, да окатный жемчуг.

У разбойников даже и в сердце похолонуло и в ушах зазвенело.

Даже честью стали просить Марфу Андревну:

— Матушка, старушенька, не губи себя, мы твоей крови не жаждоваем: дай ключ от укладки с бурмистским зерном.

— Не дам, — отвечала Марфа Андревна.

— Так мы же у тебя выпытаем!

— Ничего не выпытаешь, холоп.

Но у нас, ни в чем не знавших ни меры, ни удержу, люди на зле, как и на добре, не останавливаются.

У Емельяна Пугачева были пытальщики дошлые — знали, как какого человека каким злом донимать; а предания Емельяновы были живы в народе и не безведомы и Ваньке Жорнову.

Марфе Андревне погрозили непереносным срамом, что разденут ее сейчас донага, осмолят ей голову дегтяным ведром и обсыпят пуховой подушкой да, привязав на шелудивого коня, о рассвете в село на базар выгонят.

Услыхав этот ужасный приказ Ваньки Жорнова, Марфа Андревна вздрогнула, и холодный пот выступил у нее даже по закоптелым опалинам.

«Неужто же надо покориться холопам, или посрамить перед нечистым взором непорочную наготу свою!»

Марфа Андревна, однако, сообразила, что уже теперь ей не помогла бы и покорность, что разбойники, найдя в сундуке одни детские тряпки, пришли бы еще в большую ярость и все равно не простили бы ей ее упорства. Они отмстили бы ей именно тем мщением, к которому она обнаружила страх и боясь которого отдала бы им ключ.

Бесчестье ее казалось неотклонимым.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### ПОМОЩЬ НЕЖДАННАЯ И ДЛЯ МНОГИХ, МОЖЕТ БЫТЬ, НЕВЕРОЯТНАЯ

— Николай-угодник! защити меня, твою вдову грешную, — взвыла голосом страшного отчаяния Марфа Андревна, устремив глаза к висевшему в углу большому образу, перед которым меркла задуваемая ветром лампада,

й упованию Марфы Андревны на защиту отселе не было меры и пределов. Вера ее в защиту действительно могла двигать горами.

— Что у тебя в сундуке? — в последнее приступили к ней разбойники, мешая ей творить ее молитвы.

— Сокровища, — отвечала боярыня, прервав на минуту свой молитвенный шепот, и опять замолила.

— Подай ключ!

— Не дам, — по-прежнему смело и твердо сказала боярыня и снова зовет чудотворца, зовет его смело, громко и уповательно, словно требует.

— Спеши... — кричит, — спеши скорее, не постыди моих упований!

Разбойникам даже становится страшно от этого крика: зычно кричит Марфа Андревна; страшно ей и рот закрыть, страшно, что и на небе ее услышат.

— Полно! — скомандовал Иван Жорнов, — перестань, ребята, слушать: пори подушку и подавай ведро.

— Не посрами меня, скорый помощник! Явись сюда — я верую и погибаю! — страшно громко вскрикнула несчастная старуха и... вышло как-то так и дивно и страшно, что скорый помощник словно дыханием бури явился к ней на помощь.

Свистя, грохоча и воя, дунул в распахнутое окно ветер с силой, дотоле неслыханной, и вздрогнули старые стены, и с угла сорвалась огромная, в тяжелом окладе, икона святого Николая, которой молилась Плодомасова; загремели от падения ее все стекла в окнах и киотах; зажженные свечи сразу погасли и выпали из разбойничьих рук, и затем уж что кому виделось, то тому одному и было известно.

Обессиленная истязаниями Марфа Андревна видела только, что разбойники все как один человек бросились к выбитому ими окну и, как демоны, архангельской силой низвергнутые, стремглав со стонами и визгом полетели вниз из антресолей. Затем истерзанная и обожженная старуха, лежа связанная на полу в комнате, в которой свистал и бушевал предрассветный ветер, впала в долгий и тяжелый обморок, в котором все события катастрофы для нее сгладились и исчезли. Связанная девушка, остававшаяся безмолвною свидетельницей всей этой истории, видела только, что когда в комнату хлынул

сильный ветер, икона сорвалась со стены, выпала из образника, разбила стекло и горящую лампаду и затем, качнувшись из угла на угол, стала нижним ребром на подугольном столике.

Но разбойники видели совсем другое.

Пойманные на другой день войсками в лесу, они возвратили все заграбленное у Плодомасовой добро и показали, что в плодомасовском доме их страшно покарал за их вину Николай-угодник.

Они уверяли, что как только старая Плодомасиха крикнула святителю «Поспешай!», то из-за иконы мгновенно сверкнули молоньи, и икона эта вышла из своего места и пошла на них по воздуху, попаляя их и ослепляя сиянием, которого им перенесть было невозможно.

Марфе Андревне возвратили ее добро; а природа возвратила ей ее здоровье; не возвратилось только здоровье к подруге ее несчастия.

Но для того чтобы не нарушать последовательности нашего рассказа, возвратимся к темной ночи разбойничьего нападения на дом Плодомасовой и войдем в обезображенные холодные покои антресолей, где Марфа Андревна и свидетельница ее страданий остаются связанными и бесчувственными.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### СЫН, СТОИВШИЙ СВОЕЙ МАТЕРИ ЖИЗНИ

Несчастная девушка, разделявшая с Марфой Андревной все ужасы прошедшей ночи, поплатилась за это жизнью. Несмотря на то, что она только лежала связанною и не подверглась от разбойников никаким другим истязаниям, она не выдержала и к утру начала терзаться многотрудными, несчастными, преждевременными родами, которые перенесть ей было тем тяжче, что она лежала скрученная по всем суставам и едва высвободила из-под тугой повязки рот, чтобы облегчать свои страдания стоном.

Эти вопли и стоны вывели Марфу Андревну из обморока, и это было к счастию обеих — иначе обе несчастные женщины провалялись бы здесь бог весть до какого

времени. В пустынный сад теперь забрести было некому, и нельзя было ожидать, чтобы кто-нибудь заметил выбитое на антресолях окно; а покоевые слуги и сенные девушки, вероятно, тоже или побиты, или заперты, или связаны, или же, если их эта беда и обминула, то тогда они не знают ничего и никто из них не посмеет взойти наверх, пока их боярыня не сошлет вниз свою покоевку и кого-нибудь к себе не потребует.

Марфа Андревна все это сообразила и увидела совершенную невозможность ожидать никакой сторонней помощи ни для себя, ни для другой мученицы, которая теперь еще более ее нуждалась во всяком пособии. Изувеченная боярыня решила сама себе помогать: она прежде всего приподняла с полу свои руки и хотела на них опереться, но вывернутые в суставах руки ей не повиновались. Старушка прислонилась к полу ногами, но обожженные подошвы ее ног тоже сказали ей, чтобы она на них не надеялась. Ноги Плодомасовой от самых икр до пальцев были, как сплошным янтарем, унизаны бесконечными обжогами, из которых многие уже начинали лопаться и открывали зияющие раны.

В распоряжении Марфы Андревны оставались одни колени, на них еще можно было кое-как опереться. Марфа Андревна приподнялась с неимовернейшими страданиями и поползла к роженице на коленях. Ползучи, она несла перед собою свои вывихнутые и в настоящее время ни к чему не пригодные руки.

Доползши до роженицы, Плодомасова увидала только одну совершенную невозможность освободить мученицу от связывающих ее прочно уз и, сказав ей: «Терпи, друг! терпи, друг!» сама таким же точно образом, на коленях заколтыхала снова через все антресоли к лестнице; сползла на груди вниз по ступеням и, наконец, достигла запертых нижних дверей и застучала в них головою.

Долго Марфе Андревне приходилось стучать; но, наконец, внизу дома послышалась тревога: очередные истопники, застав дом запертым, смекнули, что что-то неладно, выломали двери, отперли одних, развязали других, и поднялся говор и суета.

Марфа Андревна, стоя на коленях внизу лестницы, все-таки продолжала стучать головою в дверь и была, наконец, услышана.

Двери, разделявшие ее с ее слугами, были выломаны, и Марфа Андревна поднята на руки своих верных рабов и рабынь.

Она послала наверх женщин и повитуху, а себе потребовала теплую баню и костоправку.

Истопили баню, набили в большое липовое корыто мыльнистой пены, вложили в него Марфу Андревну и начали ее расправлять да вытягивать. Кости становились на места, а о мясе Марфа Андревна не заботилась. Веруя, что живая кость обрастет мясом, она хлопотала только поскорее выправиться и терпеливо сносила без малейшего стона несносную боль от вытягиваний и от ожогов, лопавшихся в мыльнистой щелочи.

Между тем как костоправка вытягивала и ломала в бане Марфу Андревну, сенная девушка, разделявшая с боярыней ужасы этой ночи, родила еле дававшего признаки жизни семимесячного мальчика. Дитя было без ногтей, без век и без всякого голоса. Никаким образом нельзя было сомневаться, что дитя это жить не может. В этом никто и не сомневался, а о матери его нечего было и разговаривать: она только и дожила, пока взнесли на коврах на антресоли Марфу Андревну; поцеловав похолодевшими устами боярынину руку, крепостная красавица скончалась, не сказав никому ни одного слова. Марфа Андревна тотчас же снова распорядилась: она велела подать себе из кладовой круг восковых свечей, отсчитала по свечке на каждую семью своих подданных и послала разложить эти свечки на окны изб и дворовых клетей. Как только вечерний сумрак спустился на село Плодомасово, все его подслеповатые окна озарились красным пламенем тысячи свечек, и тысяча душ сразу послали небу молитву по усопшей.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### ПЛОДОМАСОВА ДОКАНЧИВАЕТ ДЕЛО ПРИРОДЫ И НАЧИНАЕТ ИНЫЕ ДЕЙСТВОВАНИЯ

Марфа Андревна велела показать себе недоношенного внука, взглянула на него, покачала сомнительно головой и потребовала себе из своей большой кладовой давно не употребляющуюся кармазинную бархатную шубку на

заячьем меху. Ребенка смазали теплым лампадным маслом и всунули в нагретый рукав этой шубки, а самую шубу положили в угол теплой лежанки, у которой стояла кровать Марфы Андревны. Здесь младенец должен был дозреть.

Марфа Андревна согревала таким образом внука в течение полутора месяца, а в течение этого срока внучок научился подавать слабый голосок, и стал ему тесен рукав бабушкиной шубы, заменявшей ему покинутые им до срока ложесна матери.

В течение этого же срока поправилась и Марфа Андревна и написала в Петербург сыну следующее послание: «Извещаю тебя, милый друг мой Алиошинька, что я нынче щедротами всевышнего бога чувствую себя здоровой, но, по отпуске тебе прошедшего письма, была у самого гроба и прошла половину мытарств: была у меня в доме бунтовщичья сволочь и грозили мне всякими бедами, но бог и святой угодник ни до чего худого меня от них не допустили. Пограбление их мне все назад возвращено, а здоровье мое опять слава богу; врагам же сим, слышно, оскудело оружие вконец, и самая память о них вскоре погибнет с шумом. А еще уведомляю тебя, что известная тебе девушка моя, к крайнему моему огорчению, скончалась. Она в ту ночь от перепуга обронила дитя незрелое, но я сие дитя со всяким старанием сберегла и сохраняла его с лишком сорок дней в рукаве моей заячьей шубки, и оно там вызрело и, полагать надо, по воле всевышнего намерено жить. Окрещен же сей младенец известным тебе отцом Алексеем осторожно, не погружением, а полит с чайного блюдца, и назван Парменом, так как такое имя значилось в метрике, которую дворецкий Силуян достал мне у бедных дворян Тугановых на их сына, что почти вровень с сим всего за месяц у них родился и наскорях затем умер. Мертвым поместили нашего, а сего сделали живым. Дело сие я устроила к общему удовольствию как своему, так и дворян Тугановых, коим сие все равно, а я им подарила за то деревушку Глаголиху с восемьюдесятью мужиками».

Осенью следовавшего за сим года Алексей Никитич получил от матери другое письмо самого неожиданного

содержания: «По отпуске к тебе последнего письма моего, — писала Марфа Андревна, — много все еще я заботилась и хлопотала, но живу, благодаря создателя, весьма довольна и в спокойствии. Живая моя живуличка все так и просится на живое стуличко и с моих колен, когда не спит, мало и сходит. Божьим дитем сим, не знаю тебе как и сказать, сколь я довольна и, чтобы веселей его тешить, купила у одной соседней госпожи двух маленьких карлов настоящей русской природы из крепостных: оба очень не велики и забавны; мужчинка называется Николай, а карлица Марья. Карлик умнее, а девчушка изрядно с придурью, — за пару триста рублей дала, — вырастет мальчик, будет с кем играть. Я, друг мой, полагаю так, что теперь нам с тобой опять бы время повидаться, но только лучше, думаю, мне к тебе съездить, чтобы от службы тебя не отрывать, да и от веселостей, о коих при дворе императрицы описываешь; а потому жди меня к себе в Питер по первопутку, ибо в Москве буду малое время, а хочу видеть, что там у вас будет происходить перед рождеством, пробуду святки, — кстати привезу тебе показать и новокупленных карликов».

Как только выпал снег и установился зимний первопуток, Марфа Андревна действительно припожаловала в Петербург, и припожаловала с немалою свитою.

Кроме лакеев, истопников и сенных девушек и самоварниц, за Марфою Андревной в петербургскую квартиру молодого Плодомасова вбирались два крошечных человечка: оба в кашемировых бухарских бешметах, — не разобрать, не то мужчины это, не то женщины. Это были карлики Николай Афанасьич и Марья Афанасьевна, приобретенные Марфой Андревной для забавы новорожденного внука, которого сзади всего несла большая толстая мама.

— Это что же такое, матушка? — неосторожно осведомился Плодомасов, не замечая закрытого маминой шубой ребенка.

— А это, друг мой, здесь дворянин Пармен Семеныч Туганов. Подай-ка его сюда, баба!

Мама вывернула из шубы цветущего розового младенца и подала его Марфе Андревне, которая тотчас же

посадила его верхом на колени и, держа его за толстые ручонки, стала его качать, напевая:

Тарадан, тарадан,
Села баба на баран,
Поехала по горам:
Встретились гости,
Рассыпались кости.
Стой, баба, не беги,
Подай мои пироги,
С лучком, с мачком,
С козиным бобочком.
Хоп! пошел!

Плодомасова поцеловала расхохотавшегося мальчишку и, бросив его на руки стоявшего перед нею сына, тихо шепнула ему:

— Видишь... у бабки на лежанке в заячьем рукаве доспел!.. Понеси его к образу да благослови.

Оставив ребенка на руках отца, Марфа Андревна кивнула людям и пошла в дальние комнаты переодеваться.

Среди опустелого покоя остались гвардеец Алексей Плодомасов и на его руках дворянин Пармен Туганов. Глядя друг на друга, оба они, казалось, были удивлены, и оба молчали.

## ОЧЕРК ТРЕТИЙ

## ПЛОДОМАСОВСКИЕ КАРЛИКИ[1]

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

#### НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ УМНЕЕ И МАРЬЯ АФАНАСЬЕВНА С ПРИДУРЬЮ

У старогородского городничего Порохонцева был именинный пирог, и по этому случаю были гости: два купца из богатых, чиновники и из духовенства: среброкудрый протоиерей Савелий Туберозов, маленький, кроткий, паче всех человек, отец Бенефисов и непомерный дьякон Ахил-

[1] Здесь должен чувствоваться большой перерыв в Плодомасовской хронике. Наступающий очерк представляет эпоху гораздо позднейшую, когда Плодомасова уже умерла. Глубокое старчество Марфы Андревны передается лишь устами ее фаворитного карлика Николая Афанасьевича. Очерк этот *частию* вошел в хронику «Соборяне». *(Прим. автора.)*

ла. Все, и хозяева и гости, сидели, ели, пили и потом, отпав от стола, зажужжали. В зале стоял шумный говор и ходили густые облака табачного дыма. В это время хозяин случайно глянул в окно и, оборотясь к жене, воскликнул:

— Оля! смотри, мой дружок, тебе бог посылает еще каких-то новых гостей!

Такое восклицание вызвало всеобщее любопытство: все, кто был в комнате, встали с мест, подошли к окнам и остановились, вперя взоры вдаль, на крутой спуск, по которому осторожно сползает, словно трехглавый змей, могучая, рослая тройка больших медно-красных коней. Коренник мнется и тычет ногами, как старый генерал, подходящий, чтобы кого-то распечь: он то скусит губу налево, то скусит направо, то встряхнет головой и опять тычет и тычет; пристяжные вьются и сжимаются, как спутанные; малиновый колокольчик шлепнет колечком в край и снова прилип и молчит; бубенчики глухо рокочут, но без всякого звона. Но вот этот трехглавый змей сполз, показались хребты коней, махнул в воздухе хвост пристяжной из-под ветра; тройка выравнялась и понеслась по мосту, мерно и в такт ударяя подковами о звонкие доски. Показались золоченая дуга с травленою распиской и большие, бронзой кованные троечные дрожки гитарой. На дрожках рядком, как сидят на козетках, сидели два маленькие существа: одно мужское и одно женское; мужчина был в темно-зеленой камлотовой шинели и в большом картузе из шляпного волокнистого плюша, а женщина — в масаковом гроденаплевом салопе с большим бархатным воротником лилового цвета и в чепчике с коричневыми лентами.

— Боже, да это плодомасовские карлики!

— Не может быть!

— Смотрите сами!

— Точно, точно они!

— Да как же: вон Николай-то Афанасьич, глядите, увидал нас и кланяется; а вон и Марья Афанасьевна кивает.

Такие возгласы раздались со всех сторон при виде карликов, и все, словно невесть чему, обрадовались их приезду. Хозяева захлопотали, возобновляя для новых гостей завтрак, а прежние гости внимательно смотрели на двери, в которые должны были показаться маленькие люди. И они, наконец, показались. Впереди шел старичок

ростом с небольшого, осьмилетнего мальчика, за ним старушка, немного побольше. Старичок был весь чистота и благообразие: на лице его не было ни желтых пятен, ни морщин, обыкновенно портящих лица карликов; у него была очень пропорциональная фигурка, круглая как шар головка, покрытая совершенно белыми, коротко остриженными волосами, и небольшие коричневые медвежьи глазки. Карлица была лишена приятности брата: она была одутловата, у нее был глуповатый, чувственный рот и тупые глаза.

На карлике Николае Афанасьевиче, несмотря на жаркое, летнее время, были надеты теплые плисовые сапожки, черные панталоны из лохматой байки, желтоватый фланелевый жилет и коричневый фрак с металлическими пуговицами. Белье его было безукоризненной чистоты, и белые, бескровные щечки его туго поддерживал высокий атласный галстук. Карлица была в шелковом зеленом капоте и большом кружевном воротнике городками.

Николай Афанасьевич, войдя в комнату, вытянул свои ручки по швам, потом приподнес правую руку с картузом к сердцу, шаркнул ножкой об ножку и, направляясь вразвалец прямо к имениннице, проговорил тихим и ровным старческим голоском:

— Господин наш Алексей Никитич Плодомасов и господин Пармен Семеныч Туганов от себя и от супруги своей изволили приказать нам, их слугам, принести вам, сударыня Ольга Арсентьевна, их поздравление. Сестрица, повторите! — отнесся он к стоявшей возле него сестре, и когда та кончила свое поздравление, Николай Афанасьевич шаркнул городничему и продолжал: — А вас, сударь Воин Васильевич, и всю честную компанию, с дорогою именинницей! И затем, сударь, имею честь доложить, что, прислав нас с сестрицей для принесения вам их поздравления, и господин мой и Пармен Семеныч Туганов просят извинения за наше холопье посольство, но сами теперь в своих минутах не вольны и принесут вам в том извинение сегодня вечером.

— Пармен Семеныч будет здесь! — воскликнул городничий.

— Вместе с господином моим Алексеем Никитичем Плодомасовым, проездом в Петербург; просят простить, что заедут к вам в дорожном положении.

В обществе началась суета, пользуясь которою карлик подошел под благословение к большому протопопу Туберозову и тихо проговорил:

— Пармен Семеныч просили вас, отец протоиерей, побывать вечером сюда.

— Скажи, голубчик, буду, — отвечал Туберозов.

Карлик взял благословение у маленького, кроткого паче всех человек отца Захария, потом протянул ручку Ахилле и, улыбнувшись, проговорил:

— Только сделайте милость, сударь, отец дьякон, силы не пробуйте.

— А что, Николай Афанасьич, разве он того... здоров? — пошутил с карликом хозяин.

— Силку свою, сударь, все пробовать любят-с, — отвечал старичок. — Есть над кем — над калечкой силиться!

— А что ваше здоровье, Николай Афанасьич, — пытали карлика дамы, окружая его со всех сторон и пожимая ему ручонки.

— Какое, милостивые мои государыни, здоровье! Смех отвечать: точно поросенок стал; Петровки на дворе, а я все зябну.

— Зябнете!

— Да как же-с: вот как кролик, весь в мешок, весь в заячий зашит. Да и чему дивиться, прекрасные госпожи, — осьмой десяток лет уж совершил, ненужный человек.

Николая Афанасьевича наперебой засыпали вопросами о различных предметах, усаживали, потчевали всем; он отвечал на все вопросы умно и находчиво, но отказывался от всех угощений, говоря, что давно уже ест мало, и то однажды в сутки.

— Вот сестрица, они покушают, — проговорил он и тотчас же, обратясь к сестре, добавил: — Садитесь, сестрица, кушайте! Когда просят хозяева, чего церемониться? Вы, может быть, без меня не хотите, так позвольте мне, сударыня Ольга Арсентьевна, морковной начиночки из пирожка на блюдце... Вот так, довольно-с, довольно! Теперь, сестрица, кушайте, а с меня довольно. Меня нынче, государи мои, и кормить-то уж не за что — нитяного чулка, и того вязать не в состоянии. Лучше гораздо сестрицы вязал когда-то, а нынче стану вязать, всё петли спускаю.

— А бывало, Никола, ты славно вязал! — отозвался Туберозов, весь оживившийся и повеселевший с прибытием карлика.

— Ах, отец Савелий, государь! Время, государь, время. — Карлик улыбнулся и договорил шутя: — Строгости надо мной, государь, не стало; избаловался после смерти моей благодетельницы. Что! хлеб-соль готовые, кров теплый — поел казак да на бок, с того казак и гладок.

Протопоп Туберозов посмотрел в глаза карлику с счастливою улыбкой и сказал:

— Вижу я тебя, Никола, словно милую сказку старую перед собой вижу, с которою умереть бы хотелось.

— А она, батушка (он говорил *у* вместо *ю*), она, сказка-то добрая, прежде нас померла.

— А забываешь, Николушка, про госпожу-то свою? Про боярыню-то свою, Марфу Андревну, забываешь? — проговорил, юля около карлика, дьякон Ахилла, которого Николай Афанасьевич не то чтобы не любил, а как бы опасался и остерегался.

— Забывать, сударь отец дьякон, стар, сам к ней, к утешительнице моей, служить на том свете собираюсь, — отвечал карлик очень тихо и неспешно и с легким только полуоборотом в сторону Ахиллы.

— Утешительная, говорят, была старуха, — отнесся безразлично ко всему собранию дьякон.

— Ты это в каком же смысле берешь ее утешительность? — спросил Туберозов.

— Забавная!

Протопоп улыбнулся и махнул рукой, а Николай Афанасьевич поправил Ахиллу, твердо сказав ему:

— Утешительница, сударь, *утешительница,* а не забавница.

— Что ты ему бесплодно внушаешь, Никола! ты лучше расскажи, как она тебя ожесточила-то, как откуп-то сделала, — посоветовал протопоп.

— Что, отец протопоп, старое это, сударь.

— Наитеплейше это у него выходит, когда он рассказывает, как он ожесточился, — обратился Туберозов к присутствующим.

— А уж так, батушка, она, госпожа моя, умела человека и ожесточить и утешить. И ожесточила и утешила,

как разве только один ангел господень может утешить, — сейчас же отозвался карлик. — В сокровенныя души, бывало, человека проникнет и утешит, а мановением своим вся благая для него и совершит.

— А ты в самом деле расскажи, как это ты ожесточен был.

— Да расскажи, Николаша, расскажи!

— Что ж, милостивые государи, смеетесь ли вы или не смеетесь, а вправду интересуетесь об этом слышать, но если вся компания желает, я ослушаться не смею, расскажу.

— Пожалуйста, Николай Афанасьич, рассказывай.

— Расскажу, — отвечал, улыбнувшись, карлик, — расскажу, потому что повесть эта даже и приятная.

С этими словами карлик начал.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ В ОЖЕСТОЧЕНИИ

— Это всего было через год, как они меня у прежних господ купили. Я прожил этот годок в грусти, потому был отторгнут, знаете, от фамилии. Разумеется, виду этого, что грущу, я не подавал, чтобы как помещице в том не донесли или бы сами они не заметили, но только все это было втуне, потому что покойница, по большому уму своему, все это провидели. Стали приближаться мои именины, она и изволит говорить:

«Какой же, — говорит, — я тебе, Николай, подарок подарю?»

«Матушка, — говорю, — какой же мне еще, глупцу, подарок? Я и так всем свыше главы моей доволен».

«Нет, — изволят говорить, — я думаю хоть рублем одарить».

Что ж, я отказываться, разумеется, не посмел, поцеловал ее ручку, говорю: «Много, говорю, вашей милостью взыскан», и сел опять чулок вязать. Я еще тогда хорошо глазами видел, и что Марфа Андревна, что я, заравно такие самые нитяные чулки на господина моего Алексея Никитича в гвардию вязал. Вяжу, сударь, так-то и в этот час чулок, да и заплакал. Бог знает

отчего заплакал, так, знаете, вспомнилось что-то про родных, перед днем ангела, и заплакал. А Марфа Андревна видят это, потому что я напротив их кресла на скамеечке всегда вязал, и спрашивают:

«Что ж ты это, — изволят говорить, — нынче, Николаша, плачешь?»

«Так, — отвечаю, — матушка, что-то слезы так...» — да и, знаете, что им доложить-то, отчего плачу, и не знаю. Встал, ручку их поцеловал, да и опять сел на свою скамеечку.

«Не извольте, — говорю, — сударыня, обращать взоров ваших на эту слабость, это я так, сдуру, эти мои слезы пролил».

И опять сидим да работаем; и я чулок вяжу, и они чулочек вязать изволят. Только вдруг они этак повязали и изволят спрашивать:

«А куда ж ты, Николай, рубль тот денешь, что я тебе завтра подарить хочу?»

«Тятеньке, — говорю, — сударыня, своему при верной оказии отправлю».

«А если, — говорят, — я тебе два подарю?»

«Другой, — докладываю, — маменьке пошлю».

«А если три?»

«Братцу, — говорю, — Ивану Афанасьевичу».

Они покачали головкой, да и изволят говорить:

«Много же как тебе, братец, дёнег-то надо, чтобы всех оделить! Это ты, такой маленький, этого и век не заслужишь».

«Господу, — говорю, — было угодно таким создать меня», — да с сими словами и опять заплакал; опять сердце, знаете, сжалось: и сержусь на свои слезы и плачу.

Они же, покойница, глядели, глядели на меня и этак молчком меня к себе одним пальчиком и поманули: я упал им в ноги, а они положили мою голову в колени, да и я плачу, и они изволят плакать. Потом встали, да и говорят:

«Ты не ропщешь, Николаша, на бога?»

«Никогда, — говорю, — матушка, на создателя своего не ропщу».

«Ну, он, — изволят говорить, — тебя за это и утешит».

Встали они, знаете, с этим словом, велели мне прика-

зать, чтобы к ним послали бурмистра Дементия, в их нижний кабинет, и сами туда отправились.

«Не плачь, — говорят, — Николаша, — тебя господь утешит».

И точно утешил.

При этом Николай Афанасьевич заморгал частенько своими тонкими веками и вдруг проворно соскочил со стула, отбежал в уголок, взмахнул над глазами своими ручками, как крылышками, отер белым платочком слезы и возвратился со стыдливою улыбкой на прежнее место. Усевшись снова, он начал другим, несколько торжественным голосом:

— Обновился майский день моего ангела, девятого числа мая; встаю я, судари мои, рано; вышел на цыпочках, потихоньку умылся, потому что я у них, у Марфы Андревны, в ножках за ширмою, на ковре спал; оделся, да и пошел в церковь. Я имел то намерение, чтоб отстоять заутреню и обедню, а после у отца Алексея, как должно моему ангелу, молебен отслужить. Вошел я, сударь, в церковь и прошел прямо в алтарь, чтоб у отца Алексея благословение принять, и вижу, что покойник отец Алексей как-то необыкновенно как радостны в выражении и меня шепотливо поздравляют «с великою радостию». Я, поистине вам доложу, я все это отнес, разумеется, к праздничному дню и к именинам моим. Но что ж тут, государи мои, воспоследовало! Выхожу я с просфорою на левый клирос, так как я с покойным дьячком Ефимычем на левом клиросе пел, и вдруг мне в народе представились и матушка, и отец, и братец мой Иван Афанасьевич. Батушку-то с матушкой я в народе еще и не очень вижу, но братец Иван Афанасьевич, как он был... этакой гвардион, — я его сейчас увидал. Думаю: это видение, потому что очень уж я желал их в этот день видеть, — но нет, не виденье! Вижу, маменька, — крестьянка оне были, — так и ударяются, плачут. Думаю, верно, у своих господ они отпросились и издалека пришли с своим дитей повидаться. Разумеется, я, чтобы благочиния церковного не нарушать, ушел скорей совсем в алтарь, так и обедня по чину, как должно, кончилась, и тогда... Вот только чтоб эти слезы дурацкие опять рассказать не мешали! — проговорил, быстро обмахнув платочком глаза, Николай Афанасьевич. — Выхожу я, сударь, после обедни из алтаря, чтобы святи-

телю молебен петь, а смотрю, пред аналоем с иконою стоит сама Марфа Андревна, к обедне пожаловала, а за нею сестрица Марья Афанасьевна, родители мои и братец. Стали петь «святителю отче Николае», и вдруг отец Алексей на молитве всю родню мою поминает. Очень я был, сударь, всем этим тронут. Отцу Алексею я, по состоянию своему, что имел заплатил, хотя они и брать не хотели, но это нельзя же даром молиться, — да и подхожу к Марфе Андревне, чтоб ее поздравить. А они меня тихонько ручкой от себя отстранили и говорят:

«Иди прежде родителям поклонись».

Я повидался с отцом, с матушкой, с братцем, и все со слезами. Сестрица Марья Афанасьевна (Николай Афанасьевич с ласковою улыбкой указал на сестру), сестрица ничего — не плачут, потому что у них характер лучше, а я слаб и плачу. Тут, батушка, выходим мы на паперть, госпожа моя Марфа Андревна достают из карманчика кошелечек кувшинчиком, и сам я видел даже, как они этот кошелечек вязали, да не знал, разумеется, кому он.

«Одари, — говорят мне, — Николаша, свою родню».

Я начинаю одарять: тятеньке серебряный рубль, маменьке рубль, братцу Ивану Афанасьевичу рубль, и все новые рубли; а в кошелечке и еще четыре рубля.

«Это, — говорю, — матушка, для чего прикажете?»

А ко мне, гляжу, бурмистр Дементий и подводит и невестушку и трех ребятишек, все в свитках. Всех я, по ее великой милости, одаряю, как виночерпий и хлебодар, что в Писании. Ну-с, одарил, и пошли мы домой из церкви все: покойница госпожа, и отец Алексей, и я, сестрица Марья Афанасьевна, и родители, и все дети братцевы. Сестрица Марья Афанасьевна опять и здесь идут ничего, разумно, ну а я, глупец, все и тут, сам не знаю чего, рекой разливаюсь, плачу. Но все же, однако, я, милостивые государи, до сих пор хоть и плакал, но шел благоприлично за госпожой; но тут, батушка, у крыльца господского, вдруг смотрю, вижу, стоят три подводы, лошади запряжены разгонные господские Марфы Андревны, а братцевы две лошаденки сзади прицеплены, и на телегах, вижу, весь багаж моих родителей и братца. Я, батушка, этим смутился и не знаю, что думать, что это значит? Марфа Андревна до сего времени, идучи с отцом Алексеем, все

о покосах изволили разговаривать и внимания на меня будто не обращали, а тут вдруг ступили ножками на крыльцо, оборачиваются ко мне и изволят говорить такое слово: «Вот тебе, слуга мой верный, отпускная, пусти своих стариков и брата с детьми на волю», и... и... бумагу-то эту... отпускную-то... за жилет мне и положили... Ну, уж этого я не перенес... (Николай Афанасьевич приподнял руки вровень с своим лицом и заговорил):

«Ты, — говорю ей в своем безумии — жестокая, — говорю, — ты жестокая! За что, — говорю, — ты хочешь раздавить меня своей благостью!» — и тут грудь мне перехватило, виски заныли, в глазах по всему свету замелькали лампады, и я без чувств упал у отцовских возов с тою отпускной.

— Ах, старичок прелестный! — воскликнул растроганный дьякон Ахилла, хлопнув по плечу Николая Афанасьевича.

— Да-с, — продолжал, вытерев себе ротик, карлик. — А пришел-то я в себя уж через девять дней, потому что горячка у меня сделалась. Осматриваюсь и вижу, госпожа сидят у моего изголовья и говорят: «Ох, прости ты меня Христа ради, Николаша: чуть я тебя, сумасшедшая, не убила!» Так вот-с она какой великан-то была, госпожа Плодомасова!

— Ах ты, старичок прелестный! — опять воскликнул дьякон Ахилла, схватив Николая Афанасьевича в шутку за пуговичку фрака и как бы оторвав ее.

Карлик молча попробовал эту пуговицу и, удостоверившись, что она цела и на своем месте, сказал:

— Да-с, да, ничтожный человек, а заботились обо мне, доверяли; даже скорби свои иногда открывали, когда в разлуке по Алексее Никитиче скорбели. Получат, бывало, письмо, сейчас сначала скоро-скоро пошептом его пробежат, а потом и всё вслух читают. Оне сидят читают, а я перед ними стою, чулок вяжу да слушаю. Прочитаем и в разговор сейчас вступим:

«Теперь его в офицеры, — бывало, скажут, — должно быть, скоро произведут».

А я говорю:

«Уж по ранжиру, матушка, непременно произведут».

«Тогда, — рассуждают, — как ты думаешь: ему ведь больше надо будет денег посылать?»

«А как же, — отвечаю, — матушка? обойтись без того никак нельзя, непременно тогда надо больше».

«То-то, — скажут, — нам ведь здесь деньги все равно и не нужны».

«Да нам, мол, они на что же, матушка, нужны!»

Тут Николай Афанасьевич щелкнул пальчиками и, привздохнув, с озабоченнейшей миной проговорил:

— А сестрица Марья Афанасьевна в это время молчат, покойница на них за это сейчас и разгневаются, — сейчас начинают деревянностью попрекать: «Деревяшка ты, скажут, деревяшка! Недаром мне тебя за братом-то твоим без денег в придачу отдали».

Николай Афанасьевич вдруг спохватился, покраснел и, повернувшись к своей тупоумной сестре, проговорил:

— Вы простите меня, сестрица, что я это рассказываю?

— Сказывайте, ничего, сказывайте, — отвечала, водя языком за щекою, Марья Афанасьевна.

— Сестрица, бывало, расплачутся, — продолжал Николай Афанасьевич, — а я ее куда-нибудь в уголок или на лестницу тихонечко с глаз Марфы Андревны выманю и уговорю: «Сестрица, говорю, успокойтесь, пожалейте себя; эта немилость к милости», — потому что я ведь уж, бывало, знаю, что у нее все к милости. И точно, горячее да сплывчивое сердце их сейчас скоро, бывало, и пройдет: «Марья! — бывало, зовут через минутку. — Полно, мать, злиться-то. Чего ты кошкой-то ощетинилась? Иди, сядь здесь, работай». Вы ведь, сестрица, не сердитесь?

— Сказывайте, что ж мне? сказывайте, — отвечала Марья Афанасьевна.

— Да-с; тем, бывало, и кончено. Сестрица возьмут скамеечку, поставят у их ножек и опять начинают вязать. Ну, тут я уж, как это спокойствие водворится, сейчас подхожу к Марфе Андревне, попрошу у них ручку поцеловать и скажу: «Покорно вас, матушка, благодарим!» Сейчас всё даже слезой взволнуются.

«Ты у меня, — говорят, — Николай, нежный. Отчего это только, я понять не могу, отчего она у нас такая деревянная?» — скажут опять на сестрицу. — А я, — продолжал Николай Афанасьевич, улыбнувшись, — я эту речь их сейчас, как секретарь, под сукно, под сукно. «Сестрица! — шепчу, — сестрица, просите скорей ручку поцеловать!»

Марфа Андревна услышат, сейчас и конец. «Сиди уж, мать моя, — скажут сестрице, — не надо мне твоих поцелуев», и пойдем колтыхать спицами в трое рук. Только и слышно, что спицы эти три-ти-ти-ти-три-ти-ти, да мушка ж-ж-жу-ж-жу-ж-жу пролетит. Вот в такой тишине невозмутимой, милостивые государи, в селе Плодомасове жили, и так пятьдесят пять лет вместе прожили.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ СКОНФУЖЕН

— Ну, а вас же самих с сестрицей на волю Марфа Андревна не отпустила? — спросил судья Дарьянов карлика, когда тот окончил свою повесть и хотел встать.

— На волю? Нет, сударь Валерьян Николаич, меня не отпускали. Сестрица Марья Афанасьевна были приписаны к родительской отпускной, а меня не отпускали, да это ведь и к моей пользе все. Оне, бывало, изволят говорить: «После смерти моей живи где хочешь (потому что оне на меня капитал положили), а пока жива, я тебя на волю не отпущу».

«Да и на что, — говорю, — мне, матушка, она, воля? Меня на ней воробьи заклюют».

— Ах ты, маленький этакой! — воскликнул в умилении Ахилла.

— Да-с, конечно-с, заклюют, — подтвердил Николай Афанасьевич. — Вот у нас дворецкий Глеб Степанович, на волю их отпустили, они гостиницу открыли и занялись винцом, а теперь по гостиному двору ходят да купцам с конфетных билетиков стихи читают. Ничего прекрасного в этом нет.

— А он ведь, Николай-то Афанасьевич-то, он у нее во всем правая рука был. Крепостной, да не раб, а больше друг и наперсник, — отозвался Туберозов, желая возвысить этим отзывом значение Николая Афанасьевича и снова наладить разговор на желанную тему.

— Служил, батушка, отец протоиерей, по разумению своему угождал и берег их. В Москву и в Питер покойница езжали, никогда горничных с собою не брали. Терпеть женской прислуги в дороге не могли. Изволят, бы-

вало, говорить: «Все эти Милитрисы Кирбитьевны квохчут да в гостиницах по коридорам расхаживают, а Николаша, говорят, у меня, как заяц, в углу сидит». Оне ведь меня за мужчину вовсе не почитали, а все, бывало, заяц.

Николай Афанасьевич рассмеялся и добавил:

— Да и взаправду, какой же я уж мужчина, когда на меня, извините, ни сапожков и никакого мужского платья готового нельзя купить, — не придется. Это и точно, их слово справедливое было, что я заяц.

— Но не совсем же она тебя всегда считала зайцем, когда хотела женить, — отозвался городничий Порохонцев.

— Да, это такое их господское желание, батушка Воин Васильевич, было, — проговорил, сконфузясь, карлик. — Было, сударь, — добавил он, все понижая голос, — было.

— Неужто, Николай Афанасьевич, было, — откликнулось разом несколько голосов.

Николай Афанасьевич потупил стыдливо взор себе в колени и шепотом проронил:

— Не могу солгать, действительно такое дело было.

Все, кто здесь были, разом пристали к карлику:

— Голубчик, Николай Афанасьевич, расскажите про это.

— Ах, господа, про что тут рассказывать, — отговаривался, краснея и отмахиваясь от просьб руками, Николай Афанасьевич.

Его просили неотступно, дамы его брали за руки, целовали его в лоб; он ловил на лету прикасавшиеся к нему дамские руки и целовал их, но все-таки отказывался от рассказа, находя его и долгим и незанимательным. Но вот что-то вдруг неожиданно стукнуло об пол; именинница, стоявшая в эту минуту пред креслом карлика, в испуге посторонилась, и глазам Николая Афанасьевича представился коленопреклоненный, с воздетыми кверху руками дьякон Ахилла.

— Душечка, душка, душанчик, — мотая головой, выбивал Ахилла.

— Что вы? Что вы это, отец дьякон? — заговорил, быстро подскочив к дьякону, Николай Афанасьевич.

Стоя на своих ножках, карлик был на вершок ниже коленопреклоненного Ахиллы, который, обняв его своими руками, крепко целовал и между поцелуями барабанил:

— Никола... Николаша... Николавра... если ты... не расскажешь, как тебя женить хотели... то ты просто не друг кесарю!

— Скажу, скажу, все расскажу, только поднимайтесь, отец дьякон.

Ахилла встал и, обмахнув с рясы пыль, самодовольно возгласил:

— А то говорят: *не расскажет!* С чего так, не расскажет? Я сказал: *выпрошу,* вот и выпросил. Теперь, господа, опять по местам, и чтоб тихо, а вы, хозяйка, велите Николавре стакан воды с червонным вином, как в домах подают.

Все уселись, Николаю Афанасьевичу подали стакан воды, в который он сам опустил несколько капель красного вина и начал:

— Это, господа, было вскоре после французского замирения, как я со в бозе почивающим государем императором разговаривал.

— Вы с государем разговаривали? — перебили рассказчика несколько голосов.

— А как бы вы изволили полагать? — отвечал с тихой улыбкой карлик. — С самим императором Александром Первым, имел честь отвечать ему.

— Ха-ха-ха! Вот, бог меня убей, шельма какая у нас этот Николавра! — взвыл вдруг от удовольствия дьякон Ахилла и, хлопнув себя ладонями по бедрам, добавил: — Глядите на него, а он, клопштос, с царем разговаривал!

— Сиди, дьякон, сиди! — спокойно и внушительно произнес Туберозов.

Ахилла показал руками, что он более ничего не скажет, и сел.

Рассказ начался.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ ВО ВСЕЙ СЛАВЕ СВОЕЙ

— Это как будто от разговора моего с государем императором даже и начало имело, — спокойно заговорил Николай Афанасьевич. — Госпожа моя, Марфа Андревна, имела желание быть в Москве, когда туда ждали импера-

тора после победы над Наполеоном. Разумеется, и я, по их воле, при них находился. Оне, покойница, тогда уже были в больших летах и, по нездоровью своему, стали несколько строптивы, гневливы и обидчивы. Молодым господам в доме у нас было скучно, и покойница это видели и много на это досадовали. Себе этого ничего, бывало, не приписывают, а больше всех на Алексея Никитича сердились, — всё полагали, что не так, верно, у них в доме порядок устроен, чтобы всем весело было, и что чрез то их все забывают. Вот Алексей Никитич и достали маменьке приглашение на бал, на который государя ожидали. Марфа Андревна сейчас Алексею Никитичу ручку пожаловали и не скрыли от меня, что это им очень большое удовольствие доставило. Сделали оне себе наряд бесценный и мне французу-портному заказали синий фрак аглицкого сукна с золотыми пуговицами, панталоны — сударыни, простите! — жилет и галстук белые; манишку с кружевными гофреями и серебряные пряжки на башмаках, сорок два рубля заплатили. Алексей Никитич для маменькиного удовольствия так упросили, чтоб и меня туда можно было на бал взять. Приказано было метрдотелю, чтобы ввести меня в оранжерею при доме и напротив самого зала, куда государь взойдет, в углу поставить.

Так это, милостивые государи, все и исполнилось, но не совсем. Поставил меня, знаете, метрдотель в уголок у большого такого дерева, китайская пальма называется, и сказал, чтоб я смотрел, что отсюда увижу. А что оттуда увидать можно? Ничего. Вот я, знаете, как Закхей-мытарь, цап-царап, да и взлез на этакую невысокую скалу, из такого, знаете, из ноздреватого камня в виде натуральной сделана. Взлез я на нее на самый верх и стою под пальмой, за стволок-то держуся. В зале шум, блеск, музыка и распарады, а я хоть и на скале под пальмой стою, а все ничего не вижу, кроме как головы. Так ничего совсем уж и видеть не надеялся, но только вышло, что больше всех увидал. Вдруг-с все эти головы в залах засуетились, раздвинулись, и государь с князем Голицыным прямо и входят от жары в оранжерею. И еще-то, представьте, идет не только что в оранжерею, а даже в самый тот дальний угол прохладный, куда меня спрятали. Я так, сударыни, и засох. На скале-то засох и не слезу.

— Страшно? — спросил Туберозов.

— Как вам доложить, отец протопоп: не страшно, но и не нестрашно.

— А я бы убёг, — сказал, не вытерпев, дьякон Ахилла.

— Чего же, сударь, бежать?

— Чего бежать? Да потому, что никогда царской фамилии не видал, вот испугался б и убёг, — отвечал гигант.

— Ну-с, я не бегал, — продолжал карлик. — Не могу сказать, чтобы совсем ни капли не испугался, но не бегал. А его величество тем часом все подходят да подходят; я слышу, как сапожки на них рип, рип, рип; вижу уж и лик у них этакий тихий, взрак ласковый, да уж, знаете, на отчаянность, и думаю и не думаю: как и зачем это я пред ними на самом на виду являюсь? Так, дум совершенно никаких, а одно мленье в суставах. А государь вдруг этак голову повернули и, вижу, изволили вскинуть на меня свои очи и на мне их и остановили. Я думаю: что же я, статуя есть или человек? Человек. Я взял да и поклонился своему императору. Они посмотрели на меня и изволят князю Голицыну говорить по-французски: «Ах, какой миниатюрный экземпляр! Чей, любопытствуют, это такой?» Князь Голицын, вижу, в затруднительности, как их величеству ответить; а я, как французскую речь могу понимать, сам и отвечаю:

«Госпожи Плодомасовой, — говорю, — ваше императорское величество».

Государь обратились ко мне и изволят меня спрашивать:

«Какой вы нации?»

«Верноподданный, — говорю, — вашего императорского величества».

«Какой же вы уроженец?» — изволят спрашивать.

А я опять отвечаю:

«Из крестьян, — говорю, — верноподданный вашего императорского величества».

Император и рассмеялись.

«Bravo! — изволили пошутить, — bravo, mon petit sujet fidèle», [1] — и ручкой этак меня за голову взяли.

Николай Афанасьевич понизил голос и сквозь тихую улыбку шепотом добавил:

---

[1] Браво, мой маленький верноподданный *(франц.)*.

— Ручкою-то своей, знаете, взяли, обняли, а здесь... неприметно для них, пуговичкой своего обшлага нос-то мне ужасно чувствительно больно придавили.

— А ты же ведь ничего... не закричал? — спросил дьякон.

— Нет-с, как можно! Я-с, — заключил Николай Афанасьевич, — только, как они выпустили меня, я поцеловал их ручку... что счастлив и удостоен чести, и только и всего моего разговора с их величеством было. А после, разумеется, как сняли меня из-под пальмы и повезли в карете домой, так вот тут уж все плакал.

— Отчего же ты в карете-то плакал? — спросил дьякон Ахилла.

— Да как же отчего? — отвечал, удивляясь и смаргивая слезы, карлик. — От умиления чувств плачешь.

— Да-а, вот отчего! — догадался Ахилла. — Ну, а когда ж про женение-то?

— Ну-с, позвольте. Сейчас и про женение.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ ЖЕНИХ

— Только что это случайное внимание императора ко мне по Москве в больших домах разгласилось, покойница Марфа Андревна начали меня всюду возить и показывать, а я, истину вам докладываю, не лгу, был тогда самый маленький карлик во всей Москве. Но недолго это было-с, всего одну зиму...

В это время дьякон, ни с того ни с сего, вдруг оглушительно фыркнул и, свесив голову за спинку стула, тихо захохотал.

Заметя, что его смех остановил рассказ, Ахилла приподнялся и сказал:

— Нет, это ничего!.. Рассказывай, сделай милость, Николавра, — это я по своему делу смеюсь. Как со мной граф Кленыхин говорил.

Карлик молчал.

— Да ничего; говорите! — упрашивал Ахилла. — Граф Кленыхин новый семинарский корпус у нас смотрел, я ему, вроде вот как ты, поклонился, а он говорит: «Пошел

прочь, дурак!» — вот и весь наш разговор. Вот чему я рассмеялся.

Николай Афанасьевич улыбнулся и стал продолжать.

— На другую зиму, — заговорил он, — Вихиорова генеральша привезла из-за Петербурга чухоночку Метту Ивановну, карлицу, еще меньше меня на палец. Покойница госпожа Марфа Андревна слышать об этом не могли. Сначала всё изволили говорить, что эта карлица не натуральная, а свинцом будто опоенная; но как приехали и изволили сами Метту Ивановну увидать, и рассердились, что она этакая беленькая и совершенная. И во сне стали видеть, как бы нам Метту Ивановну себе купить, а Вихиорша, та слышать не хочет, чтобы продать. Вот тут Марфа Андревна и объясняют, что «мой Николай, говорят, умный и государю отвечать умел, а твоя, говорит, девчушка, что ж, только на вид хороша, а я в ней особенного ничего не нахожу». А генеральша говорят, что и во мне ничего особенного не видят, — так меж собой обе госпожи за нас и поспорят. Марфа Андревна говорят той: «продай», а эта им говорит, чтобы меня продать. Марфа Андревна вскипят вдруг: «Я ведь, — изволят говорить, — не для игрушки ее у тебя торгую: я ее в невесты на вывод покупаю, чтобы Николая на ней женить». А госпожа Вихиорова говорят: «Что же, я его и у себя женю». Марфа Андревна говорят: «Я тебе от них детей дам, если будут», и та тоже говорит, что и оне Марфе Андревне пожалуют детей, если родятся. Марфа Андревна рассердятся и велят мне прощаться с Меттой Ивановной. А потом, день, два пройдет, Марфа Андревна опять не выдержат, заедем, и как только оне войдут, сейчас и объявляют: «Ну, слушай, матушка, я тебе, чтобы попусту не говорить, тысячу рублей за твою уродиху дам», а генеральша меня не порочат уродом, но две за меня Марфе Андревне предлагают. Пойдут друг другу набавлять и набавляют, набавляют, и потом рассердится Марфа Андревна, вскрикнет: «Я, матушка, своими людьми не торгую», а госпожа Вихиорова тоже отвечают, что и оне не торгуют, — так и опять велят нам с Меттой Ивановной прощаться.

До десяти тысяч рублей, милостивые государи, доторговались за нас, а все дело не подвигалось, потому что моя госпожа за ту дает десять тысяч, а та за меня один-

надцать. До самой весны, государи мои, так тянулось, и доложу вам, госпожа Вихиорова ужасно переломили Марфы Андревны весь характер. Скучают, страшно скучают! И на меня всё начинают гневаться: «Это ты, — изволят говорить, — сякой-такой пентюх, что девку в воображение ввести не можешь, чтобы сама за тебя просилась».

«Матушка, — говорю, — Марфа Андревна, да чем же, — говорю, — питательница, я могу ее в воображение вводить? Ручку, — говорю, — матушка, мне, дураку, пожалуйте!»

— Маленький, — прошептал сочувственно дьякон.

— Ну-с, так дальше больше, дошло до весны, — пора нам стало и домой в Плодомасово из Москвы собираться. Марфа Андревна опять приказали мне одеваться, и чтоб оделся я в гишпанское платье. Поехали к Вихиорше и опять не сторговались. Марфа Андревна говорят ей: «Ну, хоть позволь же ты своей каракатице, пусть они хоть походят вместе с Николашей перед домом». Генеральша на это согласилась, и мы с Меттой Ивановной по тротуару, на Мясницкой, против генеральшиных окон и гуляли. Марфа Андревна, покойница, и этому радовались, и всяких костюмов нам обоим нашили. Приедем, бывало, оне и приказывают: «Наденьте, Николаша с Меттой, пейзанские костюмы». Мы оба в деревянных башмаках; я в камзоле и в шляпе, а она в высоком чепчике, выстроимся парой и ходим, и народа на нас много соберется, стоит и смотрит. Другой раз велят нам одеться турком с турчанкой, — мы тоже опять ходим; или матросом с матроской, — мы и этак ходим. А то были у нас тоже медвежьи платьица, те из коричневой фланели, вроде чехлов сшиты. Всунут нас, бывало, в них, будто руку в перчатку, ничего, кроме глаз, и не видно, а на макушечках такие суконные завязочки ушками поделаны, треплются. Но в этих платьицах нас на улицу не посылали, потому там собаки... разорвать могли, а велят, бывало, одеться, когда обе госпожи за столом кофей кушают, и чтобы во время их кофею на ковре против их стола бороться. Метта Ивановна пресильная были, даром что женщина, но я, бывало, если им хорошенько подножку дам, оне сейчас и слетят, но только я, впрочем, это редко делал; я всегда Метте Ивановне больше поддавался, потому что мне их жаль было

по их женскому полу, да и генеральша сейчас, бывало, в их защиту, собачку болонку кличут, а та меня за голеняшки, а Марфа Андревна этого не снесут и сердятся... А тоже покойница заказали нам уже самый лучший костюм, он у меня и теперь цел — меня одели французским гренадером, а Метту Ивановну маркизой. У меня этакий кивер, медвежий меховой, высокий, мундир длинный, ружье со штычком и тесак, а Метте Ивановне роб и опахало большое. Я, бывало, стану в дверях с ружьем, а Метта Ивановна с опахалом проходят, и я им честь отдаю, и потом Марфа Андревна с генеральшею опять за нас торгуются, чтобы нас женить. Но только надо вам доложить, что все эти наряды и костюмы для нас с Меттой Ивановной, всё моя госпожа на свой счет делали, потому что оне уж наверное надеялись, что мы Метту Ивановну купим, и даже так, что чем больше оне на нас двоих этих костюмов наделывали, тем больше уверялись, что мы ихние; а дело-то совсем было не туда.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ ДВУЛИЧНЫЙ

— Пред самою весной Марфа Андревна говорят генеральше: «Что же это мы с тобою, матушка, делаем, ни Мишу, ни Гришу? Надо же, говорят, это на чем-нибудь нам кончить», да на том было и кончили, что чуть самих на Ваганьково кладбище не отнесли. Зачахли покойница, желчью покрылись, на всех стали сердиться, и вот минуты одной, какова есть минута, не хотят ждать: вынь да положь им Метту Ивановну, чтобы женить меня!

У кого в доме светлое Христово воскресение, а у нас тревога, а к красной горке ждем последний ответ и не знаем, как ей и передать его.

Тут-то Алексей Никитич, — дай им бог здоровья, уж и им это дело насолило, — видят, что беда ожидает неминучая, вдруг надумались и доложили маменьке, что Вихиоршина карлица пропала.

Марфе Андревне все, знаете, от этого легче стало, что уж ни у кого ее нет.

«Как же, — спрашивают, — она пропала?»

Алексей Никитич отвечают, что жид украл.

«Как? Какой жид?» — все расспрашивают.

Сочиняем им что попало: так, мол, жид этакий каштановатый, с бородою, все видели, взял да понес.

«Что же, — изволят спрашивать, — зачем же его не остановили?»

«Так, мол, — он из улицы в улицу, из переулка в переулок, так и унес».

«Да и она-то, — рассуждают, — дура какая, что ее несут, а она не кричит. Мой Николай ни за что бы, — говорят, — не дался».

«Да как же можно, — говорю, — сударыня, жиду сдаться!» Сам это говорю, а самому мочи нет совестно, что их обманываю; а оне уж, как ребенок, всему стали верить.

Но тут Алексей Никитич маленькую ошибку дали: намерение их такое сыновное было, разумеется, чтобы скорее Марфу Андревну со мною в деревню отправить, чтобы все это тут позабылось; они и сказали маменьке:

«Вы, — изволят говорить, — маменька, не беспокойтесь, ее найдут, потому что ее ищут, и как найдут, я вам сейчас и отпишу в деревню».

А покойница как это услыхали, сейчас за это слово и ухватились:

«Нет уж, — говорят, — если ищут, так я лучше подожду, я этого жида хочу посмотреть, который унес ее».

Тут, судари мои, мы уж квартального с собою лгать подрядили: тот всякий день приходит и врет, что ищут да не находят. Марфа Андревна ему всякий день синенькую, а меня всякий день к ранней обедне посылают, в церковь Иоанну Воинственнику молебен о сбежавшей рабе служить...

— Иоанну Воинственнику? Иоанну Воинственнику, говоришь ты, ходил молебен-то служить? — перебил карлика дьякон.

— Да-с, Иоанну Воинственнику.

— Это совсем не тому святому служил.

— Дьякон, сядь! Сядь, тебе говорю, сядь! — решил отец Савелий. — А ты, Николай, продолжай.

— Да что, батушка, продолжать, когда вся уж почти моя сказка и рассказана. Едем мы один раз с Марфой

Андревной от Иверской божией матери, а генеральша Вихиорова и хлоп на самой Петровке навстречу в коляске, и Метта Ивановна с ними. Тут Марфа Андревна все поняли и... поверите, государи мои, или нет... тихо, но прегорько в карете заплакали.

Карлик замолчал.

— Ну, Никола! — подогнал его отец Савелий.

— Ну-с, а тут уж что ж, приехали домой и говорят Алексею Никитичу: «А ты, сын мой, говорят, выходишь дурак, что смел свою мать обманывать, да еще полицейского ярыжку, квартального приводил», и с этим велели укладываться и уехали.

— А вам же, — спросили Николая Афанасьевича, — вам ничего не досталось?

— Было-с, — отвечал старичок, — было. Своими устами прямо мне они ничего не изрекли, а все наметки давали. В обратный путь как ехали, то как скоро на знакомом постоялом дворе остановимся, они изволят про что-нибудь хозяйственное с дворником рассуждать да сейчас и вставят: «Теперь, говорят, прощай, — больше я уж в столицы не ездок, — ни за что, говорят, не поеду». — «Что ж так разгневались, сударыня?» — скажет дворник. А они: «Я, — изволят говорить, — гневаться не гневаюсь, да и никто там моего гнева, спасибо, не боится, но не люблю людей двуличных, а тем особенней столичных», да на меня при этом и взглянут.

— Ну-с?

— Ну-с, я уж это, разумеется, понимаю, что это на мой счет с Алексеем Никитичем про двуличность, — подойду, униженно вину свою чувствуя, поцелую ручку и шепну: «Достоин, государыня, достоин сего, достоин!»

— Аксиос, — заметил дьякон.

— Да-с, аксиос. Этим укоренением вины своей, по всякую минуту, их, наконец, и успокоил.

— Это наитеплейше! — воскликнул Туберозов.

Николай Афанасьевич обернулся на стульце ко всем слушателям и заключил:

— Я ведь вам докладывал, что история самая простая и нисколько не занимательная. А мы, сестрица, — добавил он, вставая, — засим и поедемте!

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ УЛЕТАЕТ, И С НИМ УЛЕТАЕТ СТАРАЯ СКАЗКА

Марья Афанасьевна стала собираться.

Все встали с места, чтобы проводить маленьких гостей, и беседа уже казалась совершенно законченною, как вдруг дьякон Ахилла опять выступил со спором, что Николай Афанасьевич не тому святому молебен служил.

— Это, отец дьякон, не мое, сударь, дело знать, — оправдывался, отыскивая свой пуховый картуз, Николай Афанасьевич. — Я в первый раз пришел в церковь, подал записку *о бежавшей рабе* и полтинник; священник и стали служить Иоанну Воинственнику, так оно после и шло.

— Плох, значит, священник.

— Чем? чем? чем? Чем так, по-твоему, плох этот священник? — вмешался неожиданно кроткий отец Бенефисов.

— Тем, отец Захария, плох он, что дела своего не знает, — отвечал Бенефисову с отменною развязностью Ахилла. — *О бежавшем рабе* нешто Иоанну Воинственнику петь подобает?

— Да, да! А кому же, по-твоему? Кому же? Кому?

— Кому? Ведь, слава тебе господи, сколько, я думаю, лет эта таблица перед вами у ктитора на стене наклеена; а я ведь по печатному читать разумею и знаю, кому за что молебен петь.

— Да!

— Ну и только! Федору Тирону, если вам угодно слышать, вот кому.

— Ложно осуждаешь: Иоанну Воинственнику они праведно служили.

— Не конфузьте себя, отец Захария.

— Я тебе говорю: правильно.

— А я вам говорю: понапрасну себя не конфузьте.

— Да что ты тут со мной споришь! Ишь! ишь!.. спорщик какой!

— Нет, это что вы со мной спорите! Я вас ведь, если захочу, сейчас могу оконфузить.

— Ну, оконфузь.

— Ей-богу, оконфужу!

— Ну, оконфузь!

— Ей-богу, ведь оконфужу, не просите лучше, потому я эту ктиторскую таблицу наизусть знаю.

— Да ты не разговаривай, а оконфузь, оконфузь! — смеясь и радуясь, частил Захария Бенефисов, глядя то на дьякона, то на чинно хранящего молчание отца Туберозова.

— Оконфузить? извольте, — решил Ахилла и сейчас же, закинув далеко за локоть широкий рукав, загнул правою рукой большой палец левой руки, как будто собирался его отломить, и начал: — Вот первое: об исцелении отрясовичной болезни — преподобному Марою.

— Преподобному Марою, — повторил за ним, соглашаясь, отец Бенефисов.

— От огрызной болезни — великомученику Артемию, — вычитывал Ахилла, заломив тем же способом второй палец.

— Артемию, — повторил Бенефисов.

— О разрешении неплодства — Роману Чудотворцу; если возненавидит муж жену свою — мученикам Гурию, Самону и Авиве; об отогнании бесов — преподобному Нифонту; от избавления от блудныя страсти — преподобному Мартемьяну...

— И преподобному Моисею Угрину, — тихо вставил до сих пор только в такт покачивавший своею головкой Бенефисов.

Дьякон, уже загнувший все пять пальцев левой руки, секунду подумал, глядя в глаза отцу Захарии, и затем, разжав левую руку, чтобы загибать ею пальцы правой, произнес:

— Да, можно тоже и Моисею Угрину.

— Ну, теперь продолжай.

— От винного запойства — мученику Вонифатию...

— И Мовсею Мурину.

— Что-с?

— Вонифатию и *Мовсею Мурину,* — повторил отец Захария.

— Точно, — подтвердил дьякон.

— Продолжай.

— О сохранении от злого очарования — священномученику Киприяну...

— И святой Устинии.

— Да позвольте же, наконец, отец Захария!

— Да нечего мне тебе позволять, русским словом ясно напечатано: *«и святой Устинии».*

— Ну, хорошо! ну, и святой Устинии, а об обретении украденных вещей и *бежавших рабов* (дьякон начал с этого места подчеркивать свои слова) *Федору Тирону, его же память празднуем семнадцатого февраля.*

Но только что Ахилла вострубил свое последнее слово, как Захария, тою же своею тихою и бесстрастною речью, продолжал чтение таблички словами:

— И Иоанну Воинственнику, его же память празднуем десятого июля.

Ахилла похлопал глазами и проговорил:

— Точно, теперь вспомнил: есть и Иоанну Воинственнику.

— Так о чем же это вы, сударь, отец дьякон, изволили спорить? — спросил, протягивая на прощанье свою ручку Ахилле, Николай Афанасьевич.

— Ну, вот поди же ты, говори со мной! Дубликаты позабыл, вот из чего спорил, — отвечал дьякон.

# ЗАГАДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ИСТИННОЕ СОБЫТИЕ

*С письмом Н. С. Лескова*

*к*

*Ивану Сергеевичу Тургеневу*

*(1871 г.)*

Милостивый государь, Иван Сергеевич!

Я, весьма вероятно, не решился бы написать этого очерка, если бы Вы первый не подняли своего голоса в защиту молодого человека, злополучные приключения которого здесь рассказаны. Ваш почин в этом деле дал мне мысль и возможность несколько подробнее опровергнуть злостные клеветы, преследовавшие Артура Бенни при его жизни и не пощадившие его в некрологе, напечатанном после его смерти. Мне не раз приходилось в настоящем рассказе упоминать Ваше почтенное имя, так как Вашими добрыми мнениями о Бенни я старался подкреплять свое собственное мнение о нем, и потому первому Вам посылаю эту книгу с просьбою принять ее. Чтобы сделать эту повесть возможно полною, я, при нынешнем ее издании, воспользовался Вашими указаниями на прежние промахи и ошибки в моем рассказе и дополнил кое-что с Ваших слов и со слов П. Д. Боборыкина, а равно присовокупил некоторые подробности о кончине Бенни, напечатанные в трех номерах периодического издания г-жою Якоби. Таким образом, в этой книжке теперь собрано почти все, касающееся того «загадочного человека», который, при безвестности своего происхождения и отсутствии выдающихся и крупных дарований, приобрел себе у нас самую разнообразную извест-

ность в самых разнородных кружках и которого потом неразборчивые люди предпочли оклеветать и достигли этого с таким успехом, какого, к сожалению, не достигают попытки установить настоящий взгляд на Бенни. Но тем не менее, делая еще одну и последнюю такую попытку, названную Вами в почтенном письме Вашем ко мне «делом хорошим и честным», я утешаюсь хоть тем, что отныне клевете, до сих пор с непостижимою упорностию не позабывающей Артура Бенни, уже придется иметь против себя печатное свидетельство четырех человек, то есть Ваше, госпожи Якоби, мое и П. Д. Боборыкина, выразившего мне свое намерение не оставить безотзывно этого моего опыта представить русскому обществу наглядный образец, чем оно увлекается то в ту, то в другую сторону и как у нас, благодаря шаткости общественного мнения, составлялись и составляются репутации.

Есть люди, которые смотрят на напечатание моих воспоминаний о Бенни совсем не так, как взглянули на это Вы и другие почтенные лица, сочувствие и одобрение которых мне приятно и дорого. Нашлись господа, которым хотелось бы, чтобы Артур Бенни остался в том самом убранстве, в которое они его снарядили, сваливая всякую дрянь с больной головы на здоровую. Я получал не только укоризны, но даже угрозы не продолжать этой истории, но я ее продолжил, окончил и издаю в свет отдельною книгою, предоставляя кому угодно видеть в этом прямой ответ мой на все заявленные мне неудовольствия, а Вам я тут же, на первой странице этой книги, позволяю себе принести мою глубочайшую признательность за ту большую нравственную поддержку, которую Вы оказали мне Вашими строками, утвердив меня во мнении, что моя попытка восстановить истину в этой запутанной истории есть *дело честное,* к которому и Вы не остаетесь равнодушны.

Еще раз прошу Вас, принимая книгу, посылаемую при настоящих строках, принять и мою глубокую благодарность за эту поддержку и уверение в моих почтительнейших к Вам чувствах, с каковыми имею честь быть Вашим покорнейшим слугою

*Николай Лесков.*

*С.-Петербург, июнь 1871 г.*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Повествователи и романисты одного довольно странного литературного направления долго рассказывали о каких-то непоседливых людях, которые всё будто уезжали из Петербурга в глубь России и делали там какие-то *«предприятия»;* но, к сожалению, ни один из писателей этого одностороннего направления не воспроизвел сколько-нибудь осязательного типа упомянутых им предпринимателей, и тайна, в чем именно заключаются так называемые их «предприятия», остается для всех до такой степени тайною, что множество людей даже сомневаются в том, были ли в действительности самые предприниматели? Между тем, несомненно, что «предприниматели» такие — не совсем выдумка. Предприниматели действительно бывали, и вот один из таковых, не сочиненный и не измышленный, а живой, с настоящим его именем и в настоящем его свете и значении.

В 1870 г. в «Иллюстрированной газете» г-на В. Зотова было напечатано известие о смерти некоего *Артура Бенни,* человека, приобревшего себе некогда в некоторых петербургских и московских кружках самую быструю и странную известность. Он слыл то за герценовского эмиссара и предпринимателя, то за англичанина и тайного агента одного из административных русских учреждений.

Газетное известие о смерти этого человека слово в слово заключается в следующем: «*Скончался* Бенни, английский подданный, высланный за границу (России) по определению правительствующего сената. Владея хорошо русским языком, Бенни участвовал в некоторых наших периодических изданиях: «Русской речи», «Северной пчеле», «Книжном вестнике». О нем ходило много толков, так как никто не знал, зачем он прибыл в Россию. Некоторые из этих толков были неблагоприятны для него. В последнюю Римскую кампанию он поступил в отряд гарибальдийцев и убит при Ментане».

Иван Сергеевич Тургенев, знавший покойного Бенни за человека честного, вступился за оскорбление его памяти намеком, кинутым на нее упоминанием о тех толках, которые, по словам некролога, «были неблагоприятны для Бенни», и напечатал в другой газете, что покойный Бенни был человек чистый и неповинный в том, что столь недостойно на него возводилось.

Вот и все краткое сказание о жизни и смерти человека, деятельность которого в России не лишена самого живого интереса и лучше всякого вымышленного направленского романа знакомит нас с характерами деятелей недавно минувшего, беспокойного и оригинального времени. Но, прежде чем мы дойдем до того рода деятельности Артура Бенни, которая давала повод досужим людям выдавать его то за герценовского эмиссара, то за шпиона, скажем два слова о том, кто таков был взаправду этот Бенни, откуда он взялся на петербургскую арену и какими путями доходил он до избрания себе той карьеры, которою сделался известен в самых разнообразных кружках русской северной столицы.

Все, что далее будет следовать за сим, изложено частию по личным воспоминаниям автора и свидетельствам других, вполне достоверных очевидцев, частию же по рассказам самого покойного Бенни, с которым автор состоял в долгих и прочных дружеских отношениях, не прекращавшихся до высылки Бенни из России. Автор не скрывает, что, печатая, может быть, несколько рано этот свой очерк, он имеет желание очистить честную память Бенни от возведенных на него злостных и бесчестных клевет. Автор просит верить ему, что он не вынужден для оправданий Бенни прибегать ни к каким утайкам

и натяжкам, да это было бы и невозможно, потому что в литературных кружках Петербурга и Москвы теперь еще слишком много живых людей, которым история покойного Бенни известна, если не во всем целом, как она здесь излагается, то по деталям, из которых сгруппировано это целое. Ни лжи, ни лести здесь нет, да их и не нужно: пусть где Бенни был ребячлив и смешон, пусть он там таким и останется, дело не в его ребячливости или его серьезности, даже и не в его уме, а в его честности и отчасти в занимательности и поучительности его странной судьбы.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Артур Бенни убит в самой цветущей молодости. Ему и теперь не было бы еще двадцати восьми лет.[1] Некоторые в Петербурге утверждали, что имя «Артур Бенни» — есть имя вымышленное и что человек, который жил здесь, между нас, под этим именем, есть *подольский шляхтич Бениславский:* это выпустил в Петербурге покойный г-н Европеус, но это неправда. Артур Бенни *действительно был Артур Бенни.* Он родился в Царстве Польском, в местечке Томашове-Равском, где отец его, Иоганн Бенни, был пастором томашовского евангелического прихода. Старик Бенни пользовался прекрасною репутациею и умер в 1862 году. Мать Артура Бенни, природная англичанка, была жива еще, когда вышло в свет это правдивое повествование. У Артура Бенни остались также братья: старший, Герман (впоследствии томашовский пастор), и младший, Карл (медик, обучавшийся в Париже и ныне практикующий в Варшаве). Кроме этих двух братьев, у него живы две сестры — Анна и Мария. Все это настоящие члены настоящего, а не вымышленного, и весьма почтенного семейства покойного томашовского пастора.

Несмотря на то, что семейство Бенни народилось и жило в Польше, дом Бенни оставался всегда домом английским; их домашние нравы, обычаи — все это было чисто английское, и английский язык был их домашним языком. Десятилетним мальчиком Артур Бенни был от-

[1] Писано в начале 1870 года. *(Прим. автора.)*

везен в польскую гимназию, в город Пиотрков, и поступил прямо в третий класс. Это был первый выход Артура Бенни из дома своего отца — из того дома, в котором он, живучи в Польше, мог гораздо удобнее воображать себя римлянином, афинянином или спартанцем, чем поляком, ибо воспитанный отцом своим, большим классиком, Артур Бенни о Риме, Спарте и Афинах знал в это время гораздо больше, чем о Польше. По рассказам покойного Бенни (которых он никогда не давал повода заподозревать ни в малейшей несправедливости), он в доме отца своего совсем не знал польского характера, а придя в соприкосновение с своими польскими сверстниками в пиотрковской гимназии, не умел ни на чем сойтись с ними и с первого же раза *не полюбил их.*

— Я, — говорил Бенни, — услыхал от этих детей ложь, хвастовство и льстивость, которых я никогда не слыхал в доме отца моего, где никто никогда не лгал и не лукавил. Притом у них бывали часто такие бесстыдные разговоры, что это мне было противно. А более же всего я решительно не мог выносить высокомерного и презрительного отношения этих мальчиков к простолюдинам и особенно к их собственным слугам, с которыми у нас в доме всегда было принято обращение самое мягкое.

Бенни был ребенок очень нежный, впечатлительный и способный увлекаться до бесконечности. В то самое время, когда им овладевало негодование на своих товарищей-мальчиков за их высокомерие с простолюдинами, рядом с этим в его нежную душу западало безграничное сожаление к самим этим простолюдинам, которые силою обстоятельств поставлены были в необходимость переносить господское высокомерие. Что это за сила обстоятельств? — рабство и бедность, — бедность рабства и рабство бедности. (Так решило себе дитя.) Кто же создал такое положение? Для кого оно выгодно? Для кого оно нужно? Кто может желать его сохранения? Виновниками такого положения выходили, разумеется, помещики и вообще капиталисты. Нежное и восприимчивое дитя, дойдя путем своих размышлений до такого решения, нашло в своем детском сердце для людей, создавших такое положение другим людям, место непримиримой вражде, и с тех пор в ребенке росли все необходимые

задатки для того, чтобы из него под известными влияниями со временем мог создаться настоящий, искренний и ревностный демократ и социалист.

Обстоятельства этому благоприятствовали.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В то самое время, когда Артур Бенни, соболезнуя своим отроческим сердцем о неравномерности распределения на земле прав и богатств, ломая себе голову над изобретением таких форм общежития, при которых бы возмущавшая его неравномерность не могла иметь места, — в Польше стояло много русских войск, и один полк или один отряд их был расположен в Пиотркове. Несколько солдат из этого отряда квартировали в том самом доме, где жил ученик Артур Бенни. Случилось так, что когда он, вообще чуждавшийся в то время своих товарищей, сидел однажды на дворе, где играли его сверстники, на этот же двор выполз подышать воздухом какой-то больной русский солдат и лег на солнышке, на куче сваленных на дворе бревен. Расшалившиеся польские мальчики, товарищи Бенни, заметив обессиленного больного русского солдата, стали кидать в него мячом. Мальчики делали это как будто ненарочно; но Бенни знал, что они это делают с умыслом, чтобы досаждать больному. Благовоспитанному сыну томашовского пастора такой поступок представился крайне неблагородным. Бенни не вытерпел и сказал товарищам, что они поступают дурно и *«не по-рыцарски»*. Мальчики отвечали ему, что он сам уж za nadto rycerz (чересчур рыцарь), что он, как поляк, не должен поступать по-рыцарски с москалем.

— А я, — рассказывал, смеясь, Бенни, — полный в то время прочитанных мною повестей о славных рыцарях и великих людях древних и новых времен, всегда поставлял себе задачею подражать этим людям. У нас, в нашем томашовском саду, были и свои замки, и свои рыцарские уставы, и все мы, братья, были «рыцари», а сестры наши дамы. Поэтому, привыкнув дорожить «рыцарством», я вспылил, что будто можно быть «рыцарем чересчур». Мне этот солдат, из-за которого началось дело,

конечно, был совсем чужой человек по всему; но тут я вдруг просто полюбил его. «Москаль не стоит сожаления»... Мне сейчас же припомнилась известная американка, которая сказала, что если хотя три человека будут осуждены на вечное мучение в аду, то она будет просить, чтобы она была четвертая, и я, почти не помня себя от гнева, ответил, что если, будучи поляком, нельзя быть рыцарем, то я лучше не хочу быть и поляком...

— Впрочем, — продолжал Бенни, — я и успокоясь не чувствовал особенной опрометчивости в этом ответе. После мне только было досадно, что я оскорбил национальное чувство моих товарищей, но сам для себя я не чувствовал никакой неловкости от того, что отрекся быть поляком. Я, напротив, был очень рад почувствовать после этой сцены, что я не имею решительно никаких национальных пристрастий и что у меня *нет никакого отечества* — что для меня просто милы и дороги люди, — что я люблю все скорбящее и бедствующее человечество.

Таким образом, юный демократ и социалист отыскал в себе и еще одно новое свойство, пригодное для воспитания в нем совершеннейших социалистических симпатий: он был *космополит,* и (что всего реже) Бенни был космополит самый искренний, а не напускной, до первой кости. Да и удивительно ли было ему чувствовать себя космополитом? Отец Бенни (известный гебраист) жил в земле чужой, и родство у Бенни по мужской линии было еврейское; мать его была англичанка, не знавшая и даже, кажется, не изучавшая языка той страны, где ей довелось жить; он сам родился в Польше, стране, подвластной России и ненавидящей ее, — какое, в самом деле, могло быть отечество у такого, так сказать, беспочвенного гостя земли? Ему всего легче было чувствовать себя *гражданином вселенной,* — он так себя и чувствовал.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Усвоив себе эти чувства, Бенни не стал скрывать их от своих польских товарищей и, в доказательство своего равнодушия к патриотической польской нетерпимости,

часто ходил беседовать с квартировавшими с ним на одном дворе русскими солдатами. От одного из этих солдат он узнал, что в России есть такая вещь, как *общинное владение землею* у вольных крестьян. Бенни это поразило! Та форма общежития, о которой он мечтал и которую собирался отыскивать, была уже открыта простыми людьми, и людьми той национальности, которую вокруг него все не уважали, называли варварскою и всячески ее порочили и осуждали. За что же осуждать такой народ, который любит и удерживает такие, как находил мальчик, беспримерно хорошие учреждения? Бенни, напротив, почувствовал с этого времени симпатию к России и весь предался изучению русского языка и русской истории.

— В классе надо мною за это смеялись, — говорил покойник, — и даже строго охуждали мое внимание к России; но дома, приезжая на каникулы, я весь отдавался моему любимому чтению об этой стране с таким восхитительным земельным устройством.

Таким образом, при беспрерывном чтении, Бенни дочитался до более ясных определений русской круговой поруки, общины и артели (которыми, здесь можно кстати сказать, покойный всегда бредил, идеализировал их и никогда не понимал их как следует).

— Не знаю, — говорил Бенни, — и не помню, что за критический взгляд проводился на эти формы русской жизни теми заграничными писателями, у которых я все это вычитал; но помню, что и артель, и община, и круговая порука мне нравились все более и более, и я, с одной стороны, сгорал нетерпением увидать, как живут люди в общине и в артели, а с другой — приходил в отчаяние, как честные люди всего мира не видят преимуществ такого устройства перед всякими иными организациями? Я был твердо убежден, что русская община со временем будет понята и усвоена всем миром, и тогда на свете будет конец пролетариату. Я решил и всегда потом чувствовал, что отсюда начинается исполнение пророчества Иезекииля о приближении времени, когда «все мечи раскуют на рала». «*Жизнь мою*, — говорил Бенни, — *я тогда же определил положить за успех этой задачи*».

Все это так и осталось вечною его задачею, к осуществлению которой он постоянно рвался горячо, искренно, со всем пылом настоящего фанатика и со всею бестактностию нового теоретика.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Артур Бенни окончил гимназический курс очень рано, чуть ли не пятнадцати лет, и был послан для продолжения своего образования в Англию, под наздор одного из братьев своей матери. В Лондоне он доучился и потом поступил в английскую службу инженером, в вульвичский арсенал.

— Мне жилось бы прекрасно, — говорил Бенни, — если бы для меня *«прекрасно»* выражалось в том, что у меня есть все нужное, а впереди — ровная, хорошая служебная карьера; но такая жизнь была далека от моего идеала жизни.

Русские симпатии Бенни повлекли его в Лондоне к сближению с тогдашним лондонским русским революционным кружком. Бенни познакомился с покойным Александром Ивановичем Герценом (Искандером), с Бакуниным, с Огаревым, с возвратившимся после на родину и писавшим свои покаяния эмигрантом Василием Ивановичем Кельсиевым и со многими другими революционными людьми, группировавшимися в то время в Лондоне вокруг Герцена. В доме Герцена Бенни был принят приятельски и, кроме того, давал некоторое время какие-то уроки дочери покойного Герцена, Ольге Александровне, — кажется, он учил эту молодую девушку языкам, так как он, при хорошем общем классическом образовании, был большой и довольно просвещенный лингвист. О том же, как он должен был казаться приятным детям, нечего и говорить, так как это был человек образцовой мягкости, благовоспитанный, нежный, честный, много начитанный, беззаветно веселый и бесповоротно самоотверженный. Одним словом, герой для самого восторженнейшего романа!

Сближение юного, пылкого и решительного Артура Бенни с герценовским кружком имело решительное влияние на позднейшие судьбы пылкого юноши.

Следует не забывать, что все то, о чем мы рассказываем, для Бенни возымело свое начало еще в эпоху бывшего в России крепостного права, которому хотя тогда и наступили уже последние дни, но кончине которого даже и здесь, в России, еще плохо верилось. В Лондоне же тогда всевластно господствовало убеждение, что единственный путь спасения России от крепостного права, злосудия и произвола есть социально-демократический переворот, а переворот этот надо произвесть посредством народного восстания против правительства и при этом порешить помещиков. Одним словом — это относится еще к поре столь памятного, хотя совсем не беспристрастно растолкованного герценовского воззвания: «к топорам!»

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Так как вся революция, которая считалась иными тогдашними нашими политиками столь необходимою и сбыточною и замышлялась будто бы на пользу тех великих форм русской народной жизни, в которые был сентиментально влюблен и о которых мечтал и грезил Артур Бенни, то он, как боевой конь, ждал только призыва, куда бы ему броситься, чтобы умирать за народную общинную и артельную Россию, в борьбе ее с Россиею дворянскою и монархическою. В Лондоне же, из тамошних русских революционных людей, настоящих охотников столь рьяно и безрассчетно искать смерти за мужицкую Русь не находилось, или по крайней мере они не выступали. Тогда еще только *говорили,* а ничего *не делали.* (Поездки в Норвегию Герцена-сына и Бакунина, равно как и приезд в Россию Василия Кельсиева с паспортом турецкого подданного Янини — все это дела дней позднейших.) В то же время, которого это касается, опять повторяю, в Лондоне *только говорили* о революциях *да писали,* а к делам вовсе не приступали.

Нетерпеливого юношу Бенни это чрезвычайно огорчало: он становился беспокоен, назойлив, рвался и напрашивался на дело. Он вообще был не из говорунов и фразерства терпеть не мог, а потому, чтобы избавиться от его порывов к делу, его непременно надо было или пускать в ход, или скорее вовсе с рук спустить. Можно полагать, что Бенни своею пылкостью и назойливостью начал надоедать своим русским лондонским друзьям, но сам он, тогда нетерпеливо ожидая похода на Россию, ничего этого не замечал. Он только томился перед вопросами: «когда же?» и «скоро ли?» Но те, к кому приступал он с этими вопросами, спешили потихоньку и только ораторствовали в интимных беседах и на больших выходах. Эта медлительность и равнодушие лондонских революционных зачинщиков повергала Бенни в отчаяние. Он тем больше кипятился, что в это время в России правительство уже освободило крестьян с земельными наделами, задумало дать гласный суд и ввести другие реформы, при которых доказывать русским людям настоятельную необходимость революции становилось день ото дня все труднее и труднее. В это время, как нарочно и как на горе Бенни, подвернулся следующий незначительный случай. Один русский сибирский купец прибыл по своим торговым делам в Лондон. (Имя его — секрет Полишинеля.) Проездом через Париж он там схороводился кое с кем из русских распространителей «Колокола», разболтался с ними, разлиберальничался и, столкнувшись потом с ними в Лондоне, где они желали представиться Герцену, он и сам ощутил в себе потребность исполнить эту церемонию. Представившись Герцену, заезжий сибиряк познакомился через него с прочими людьми лондонской революционной семьи, собиравшейся у Герцена при его больших выходах. В числе этих новых знакомств сибирского гостя оказался и Артур Бенни. Увлекшись заманчивостью своего нового положения и находясь под обаянием ласк самого Герцена (чем тогда дорожили и не такие люди), сибирский купец на время позабыл, что он приехал в Лондон, как говорится, «по своим делам», а вовсе не для того, чтобы вертеться около г-на Герцена. Он начал добродушно лисить перед всеми людьми герценовского кружка и, с свойственною русскому человеку лукавинкой, сейчас смекнул, как ему

здесь держать себя, чтобы на него глядели получше. Он стал говорить, что прибыл в Лондон именно с тем единственно, чтобы завязать здесь с самим Александром Ивановичем и с его верными людьми хорошие и прочные связи на жизнь и на смерть и затем, уехав в Сибирь, служить оттуда, из дома, тому самому делу, которому они служат здесь, в Лондоне. «Дескать, поручите мне что вам угодно: перепечатывать ли там, в Сибири, герценовский «Колокол», — будем «Колокол» перепечатывать; или издавать прокламации, каких потребуют обстоятельства, и на это, говорит, готов: прокламации будем издавать».

Одним словом, готов человек вести в Сибири социально-демократическую пропаганду и рыть подкопы против существующего правительства, которое (как тогда было решено) освободило крестьян скверно и само ничего не способно разрешить удовлетворительно и сообразно с выгодами народа.

В Лондоне предпочли всему одобрить перепечатку «Колокола» и распространение его в Сибири. Сибиряк с полною готовностью взялся и за то и за другое и заверял, что Сибирь непременно очень скоро взбунтуется.

Одного сибирскому социалисту якобы недоставало: грамотного, представительного и смелого человека, который бы взял на себя труд по затеянной перепечатке в Сибири «Колокола». Купец, раскинув здравым умом, вероятно рассчитывал, что охотника взяться за такое дело в Сибири, в числе живущих в Лондоне людей, конечно, не найдется ни одного, и он только повздыхает перед лондонцами своими гражданскими вздохами, что «вот все бы де так; я на все готов, но людей нет», да все и тем и покончится.

«Так, мол, это господь милосердый и пронесет, и вернемся мы опять к своим делам, и станем жить да поживать да добро наживать. Надую, мол, всех вас в одно слово, да и только».

Но не тут-то было: купец промахнулся. Он все соображал, прикидывал всех на масштаб тех революционеров, каких ему случалось видеть в России и частию в Париже, а не знал, какие антики водятся в Лондоне.

На этом его бог и попутал.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Не успел купец попечаловаться, что он не имеет человека для перепечатывания в Сибири «Колокола», как ему сейчас же с оника был предложен для этого дела человек, способный и готовый положить свою голову и душу за демократическую Россию. Человек этот был Артур Бенни.

Купцу-социалисту, захваченному такою напастью врасплох, в Лондоне некуда было от этого попятиться. Он увидал, что попался очень крепко, но тотчас же понял, что отпираться ему неловко, и что пока он здесь, в Лондоне, ему надо себя выдержать. Он решился принять предложенного ему революционного агента и провезть его с собою в Россию в качестве инженера, нужного будто бы для его сибирских фабрик и заводов. Артур Бенни торжествовал. Он радостно прощался с Англиею и оставлял без малейшего сожаления свое место при вульвичском арсенале, где он получал около 500 фунтов жалованья (по позднейшему курсу около 5000 рублей серебром на наши деньги). Артур Бенни достал себе английский паспорт, в котором значился *«натурализованным английским субъектом»,* и снарядился в путь с своим русским принципалом в Россию.

Купец отплывал с Бенни совершенно спокойно, потому что у него уже был столько же простой, сколько оригинальный и верный план, как ему развязаться и с транспортируемым им революционером и со всею задуманной в Лондоне революциею в Сибири.

Перевалившись на континент Европы, сибиряк, которому приспастили Артура Бенни, тотчас же несколько поспустил с своих плеч революционную хламиду. Прежде всего во Франции он захотел, что называется, «пожуировать своею жизнию». Девственный Бенни был для этого самый плохой компанион: он не любил и даже не выносил вида никаких оргий, сам почти ничего не пил, в играх никаких не участвовал, легких отношений к женщинам со стороны порядочных людей даже не допускал, а сам и вовсе не знал плотского греха и считал этот грех большим преступлением нравственности (Артур Бенни был *девственник,* — это известно многим близко знавшим его лицам и между прочим одному уважаемому и ныне

весьма известному петербургскому врачу г-ну Т-му, пользовавшему Бенни от тяжких и опасных болезней, причина которых лежала в его *девственности,* боровшейся с пламенным темпераментом его пылкой, почти жгучей натуры). Купцу же, в свою очередь, не нравилось такое целомудрие, и он без церемонии говорил Бенни:

— Экой же ты, брат, шут, что не знаешь ты самого хорошего, без чего жить нельзя! Ты примеряйся, а то мы таких не любим.

Артур Бенни, дорожа своим русским революционером, скрепя сердце, отшучивался, нраву его не препятствовал, и закочевали они с ним из столицы в столицу Европы.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Купец распился и безобразничал, — Бенни смотрел с отвращением на его дикие оргии, но все терпел. Переносясь из страны в страну, купец даже нашел средство извлекать себе из следовавшего за ним Бенни изрядную пользу. Он отпустил в Париже своего наемного переводчика, которого до сей поры возил с собою, и обратил в переводчики Бенни, разумеется, без всякого ему за это вознаграждения.

Купец не спешил в Россию, а Бенни, следуя за ним, прокатал почти все свои небольшие деньги и все только удивлялся, что это за странный закал в этом русском революционере? Все он только ест, пьет, мечет банки, режет штоссы, раздевает и одевает лореток и только между делом иногда вспомнит про революцию, да и то вспомнит для шутки: «А что, мол, скажешь, как, милый барин, наша революция!»

Будь на месте Артура Бенни сопутником этого сибирского купца какой хотите не совсем бестолковый человек, не нашпигованный и не наученный лондонскими знатоками русского народа видеть в каждой наглости, грубости и глупости простого русского человека черту особых, одному русскому простолюдину свойственных, высоких качеств, этот человек давно бы увидел, что его дурачит дурак и бросил бы этого дурака посреди его дороги. Но

Бенни уже так было наказано, что революционнее русского раскольника нет никого в мире и что как он, этот раскольник, по своей непосредственности, ни чуди и ни юродствуй, а уже против него никто не постоит ни в уме, ни в твердости, ни в рассудке. В то наивное время так верили и не в одном Лондоне. Так точно верил и простодушный Бенни и все терпел от своего безобразника; но, наконец, купцу надоело разъезжать да пьянствовать; подходило время ехать домой. На пути в Россию ему оставался один немецкий Берлин; нужно было только взять на железной дороге сквозной билет в Россию, и переводчик с иностранных языков купцу больше не нужен. Купец взглянул на Бенни и решил, что уже тут пора ему с ним и кончить.

— Думал было я его сбросить где попало по дороге, — рассуждал сибиряк, — да поманулося мне, что он на все языки знает, и завез его вот как далеко.

Тогда сибирский социалист, много не обинуясь с Бенни, сказал ему: «Куда же это мы теперь с тобою, милый барин, подъехали?»

— Мы в Пруссии, — отвечал Бенни.

— Знаю, что в Пруссии, да кой нас, прости господи, лукавый вместе сюда занес? Ведь из самой из этой Пруссии летят к нам гусии нашу пшеницу клевать.

— А что? — спросил удивленный Бенни.

— Да ведь говорю же тебе *что*. Да еще вон я теперь вспомнил, что их король-то с нашим государем и посейчас в родстве!

Изумленный Бенни смотрел на своего сопутника, недоумевая, что он хочет этим сказать, и, наконец, спросил его, что же такое из этого следует, что прусский король в родстве с русским государем?

— А то следует, — отвечал купец, — что ехал бы ты теперь, немчик, отсюда назад.

— Как назад? — спросил с удивлением произведенный в немчики Бенни.

— А так, что ведь тебе у нас по-настоящему делать совсем нечего: я с тобою не поеду, да и всего этого, что я вам говорил, ничего не будет, — объявил он Бенни и добавил, что все, что он там, в Лондоне, рассказывал, то это было как во сне, и он сам ничего этого теперь не вспомнит.

— А к тому же, — говорит, — мы и сами в своем месте не последние капиталисты, и нас-де и хорошие люди, благодаря бога, не за пустых людей почитают, да есть, мол, у меня и жена и дети; ну, одним словом, не хочу делать революцию, да и все тут, и ступай, немчик, назад.

Бенни стал уговаривать купца, чтобы он хоть только к своим делам его в Сибирь взял.

— Нет, и этого, — говорит, — душа моя, никак невозможно: потому у меня братья — простецы, необразованные; им этих наших с тобою политических делов ни за что не понять... Нет, и не собирайся, ни за что нельзя.

Бенни пустился уговаривать его, что никаких политических предприятий в их доме не разовьет, что он только хочет взглянуть на Сибирь и познакомиться с нею; но сибиряк стал на своем, что и этого нельзя, да и не стоит.

— Чего ее, — говорит, — и смотреть, Сибирь-то? Ее у нас только поневоле, за наказанье смотрят, сторона ссыльная да глухая, а у меня опять тоже и матушка с батюшкою такие же люди старозаконные; а ты, кто тебя знает, какой веры; они с тобою за стол не сядут, а там еще, помилуй бог, что откроется... Нет.

В общем выводе выходит опять: «ступай, немчик, назад, да и все тут».

— Въедемте же по крайней мере хоть вместе в Россию? — уговаривал его Бенни; но купец и от этого отказался и самым решительным образом запротестовал против того, что Бенни везет на себе множество листов «Колокола», с которыми его могут поймать на границе.

— Но ведь это все только меня будет касаться, а не вас, — отвечал агитатор.

— *«Не вас»,* — отозвался купец. — Ага! вы ведь думаете, что у нас небось, как у прочих, как в Англии, слабости в начальстве-то! Нет-с, у нас на это честно: у нас как прижучат, так вы тогда и про меня скажете. А мы с вами давай лучше добром здесь расстанемтесь; вот почеломкаемтесь, да и бывайте здоровы. Ей-богу, так лучше.

Бенни посмотрел на своего партнера и холодно отвечал ему, что ему нет дела до его соображений и что он все-таки поедет в Россию.

— Да вы, пожалуй, если охота пропадать, так и поезжайте, — говорил купец. — Только вместе нам ехать не надо; а то поезжайте.

Бенни еще суше заметил, что он поедет когда захочет.

— А ну, если вы от меня тут добром не отстанете и поедете вместе со мною, — зарешил купец, — так я — вот рука отсохни — как на границу взъеду, сейчас и укажу, чтобы вас обыскали.

Бенни понял все значение этой угрозы и отстал от своего политического русского единомышленника в Берлине.

— После отхода поезда, с которым уехал мой купец, — говорил Бенни, — я, признаюсь, долго думал: зачем же этот человек взманивал меня, зачем он меня вез и что это такое он теперь сделал? Я ничего этого не мог себе разрешить и чувствовал только, что, вероятно, еще ни один революционер в мире не был поставлен в такое смешное, глупое и досадное положение, в какое поставлен был я. Я был жалок самому себе и самого себя ненавидел; но возвращаться не хотел. Меня словно что-то рокоcое неодолимо тянуло в Россию.

Возвращаться назад, в Лондон, Бенни, кроме того, казалось чрезвычайно смешным и даже невозможным, да и к тому же, как сказано, он хотел видеть Россию. Теперь посмотреть Россию ему казалось даже еще необходимее, потому что ему хотелось удостовериться: много ли в России сибирских купцов, вроде его дорожного спутника, и познакомиться с теми лучшими петербургскими людьми, из которых он с одними встречался у Герцена, а о других много слышал как о людях развитых, серьезных, умных и держащих в своих руках все нити русской социально-демократической революции. Стало быть, стоит доехать в Петербург, сойтись с этими людьми, и снова можно попасть другим путем в то же самое дело. Бенни так решил и с остатками своих деньжонок махнул из Берлина в Россию участвовать в здешней социально-демократической революции.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Люди, к которым Бенни явился в Петербурге, спервоначала очень обрадовались такому гостю. Свел Бенни с этой партиею некто умерший под арестом в крепости акцизный чиновник Ничипоренко, а к Ничипоренке Бенни

явился потому, что знал об этом жалком и в то же время роковом человеке от В. И. Кельсиева, с которым Ничипоренко был товарищ по воспитанию в петербургском коммерческом училище и поддерживал перепискою с ним непрерывные сношения. Здешние молодцы (теперь уже одни старцы, а другие покойники), с которыми Ничипоренко свел Бенни, приютили его и без меры радовались, что к ним прибыл *«герценовский эмиссар»*. Другого имени Бенни не было, и отсюда он так и пошел *герценовским послом,* пока потом теми же самыми людьми был объявлен *шпионом.*

Бенни до самой последней минуты утверждал, что он никогда и нигде не выдавал себя за герценовского посла, и не знает, *кто первый* выпустил этот слух; но, с другой стороны, утверждалось, что он будто когда-то называл себя этим титулом, и это было поводом ко многим неприятностям для горячего и легкомысленного юноши (Бенни впоследствии два раза писал Герцену и просил его вступиться за него и оправдать его, но Герцен этого не сделал. Почему? Бенни говорил, что Герцен не хотел нарушать согласия в здешних кружках, и это было источником многих горестнейших для Бенни минут).

Но вот и здесь, в Петербурге, с Бенни открылась та же забота, что была с ним в Лондоне: эмиссару надо дать занятие, достойное герценовского посла: надо было показать ему, что вся русская революция, о которой тогда били тревогу за границею, тут уже совсем на мази, что все здесь и ключом кипит и огнем горит и что еще денек-другой, да и *«заутро бой!»* А между тем дел-то, собственно говоря, как известно, не было почато никаких, да и никто не знал, как их еще и починают. Знали, что во время революций люди сходятся на площадях, и вздумают: «может быть, и нам бы на площадь?» и согласятся сойтись на площадь. А как опять это администрировать, чтобы сойтися на площадь, даже и об этом не было ни у кого ни малейшего понятия.

Все, что умели делать тогдашние революционеры, заключалось разве в том, чтобы, едучи с извозчиком, наговорить ему, сколь много стоит армия или чего стоят дворцы; или же дать солдатику почитать «Колокол». Больше же никто ничего не умел делать, чем вполне и объясняется, что в романах и повестях, где выводились

люди, устроивающие революцию, глухо говорилось, что люди эти *поехали делать предприятие,* а как это «предприятие» надо делать? — того никто не знал. Гораздо спустя, только уже у позднейших, далее развившихся писателей встречаем, что *предприятели* шныряют по городам, сидят где-то в слободках и все *пишут до бела света,* но и эти позднейшие писатели все-таки опять не могли придумать, что такое именно пишут их предприниматели, и оттого эти герои их опытному человеку всего более напоминали собою нарочных чиновников, секретно поверяющих ревизские сказки. Артур же Бенни, несмотря на свои юные годы, был в революционных делах человек если не очень опытный, то по крайней мере наслышанный и начитанный: он видал в Лондоне избраннейших революционеров всех стран и теоретически знал, как у людей распочинают революции и что для этого нужно. Первое, что он присоветовал своим новым политическим друзьям (Н. Курочкину, В. Якушкину и С. Громеке), заключалось в том, чтобы они пробовали от времени до времени делать примерные «маневры». Его долго уверяли, что этого вовсе не надо, что у нас это все сделается без всяких планов и маневров; но он, однако, упросил сделать распоряжение, чтобы в назначенный день и час все люди, преданные в Петербурге делу революции и готовые к ней, прошли по одной из известных петербургских площадей. Над этим смеялись, находя все это совершенно ненужным: уверяли, что у нас и на козла посмотреть тысячи народу собирается; но, однако, из снисхождения к прихоти англичанина сделали для него распоряжение о маневрах.

«Англичанин, да эксцентрик, — пусть-де его тешится!»

Ни одному из хитрых людей, недоумевавших, зачем нужен Бенни этот смотр, и в голову не бросилось, что англичанин не прихотничает, а просто хочет поверить самих их, революционеров.

Сколько мол их? Не лгут ли они?

Маневры были назначены, и на них явилось *три человека* по инфантерии (в том числе Громека) и *два* на извозчике, чтобы легче удирать (они-таки, поворотив, и далеко удрали, но *в гору,* а не под гору, куда скатился злополучный эмиссар, производивший им смотр, стоя у магазина Дациаро). Бенни пересчитал всех пятерых

храбрецов, рискнувших пройтись и проехаться, и нашел, что наличная петербургская революционная армия еще не довольно сильна, чтобы вступать в открытый бой с императорскими войсками, и притом довольно плохо дисциплинирована. Бенни понял, что хозяева его лгут, что в Петербурге по революцию еще и кони не седланы и что все, что в Лондоне и здесь рассказывают о близости революции в России, есть или легкомысленный обман, или злостная ложь.

После этого смотра, или этих маневров, и Бенни и те, кто должен был репрезентовать чужеземному революционеру домашние русские революционные силы, внезапно почувствовали, что им стало не совсем ловко смотреть в глаза друг другу.

Неудачность маневров старались приписать тому, что Бенни новое лицо и что ему не все доверяются; Бенни показал, что он этому верит; но он прекрасно понимал, что это одна увертка. Теперь он, при всей своей детской доверчивости, видел уже и то, что люди, бредящие в Петербурге революциею, совсем люди не того закала, какой требуется для революций, и отписал об этом со всею искренностию, кому находил нужным, в Лондон. По поводу писем, в которых все это было описано и которых недаром имели основание бояться здешние революционеры, произошла история. Бенни долго выжидал случая отправить эти письма с благонадежным человеком. Здешние революционеры навязчиво предлагали ему свои услуги для отправки этих писем: им хотелось или совсем удержать их у себя, или по крайней мере подпечатать их и прочесть. Бенни очень легко предвидел эту хитрость. Он принял эти услуги, но не для того, чтобы ими воспользоваться, а для того, чтобы только испытать людей, с которыми ему довелось иметь дело. Он отослал свои письма в Лондон с знакомым ему английским шкипером, а написал два другие малозначащие письма для передачи его родственникам и эти-то два письма и вручил своим петербургским друзьям (Н. Курочкину и Ничипоренко), которые вызвались переслать его корреспонденцию через верные руки в Лондон. Петербургские политические друзья играли с Бенни, а он играл с ними. Искренности, нужной для согласных действований, между ними уже не было никакой; они уже с этих же первых дней боялись

друг друга и друг с другом хитрили. Питерцы чувствовали, что они взаправду совсем не революционеры и что Бенни, пожалуй, все это заметил в них и отписал об этом, и потому они хлопотали захватить в свои руки его письма. Дескать: «распечатаем их, прочтем и тогда сами предупредим его и *его опишем* как нельзя лучше». Бенни же, читая насквозь этих дипломатов, с таинственнейшим видом вручил им, в одном большом пакете, письма, содержание которых резюмировалось фразою: «кланяйтесь бабушке и поцелуйте ручку».

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Между тем, чтобы не терять попусту своего времени в Петербурге, Артур Бенни пожелал проехаться по России. Он хотел посмотреть, что за народ сидит там, в глуби русских трущоб, и посчитаться, с кем там придется вести дело, если бы затеялась революция. На это петербургские предприниматели говорили Артуру Бенни, что в провинциях статья эта уже давно обработана, что Поволжье готово все встать как один человек и что в Петербурге есть такие знатоки русского мира, которые *«всё знают»;* но Бенни уже не верил своим политическим друзьям и все-таки собирался на ярмарку в Нижний Новгород. Видя его непреклонность, с ним перестали спорить, но для сопровождения его и для руководства его в ознакомлении с страною снарядили того же юркого и чрезвычайно в то время популярного акцизного чиновника Андрея Ничипоренко. Этот молодой человек, имя которого нам уже приходилось вспоминать выше, в то время в некоторых петербургских кружках пользовался славою первого русского революционера. Особенно он был силен у низших и высших чиновников некоторых канцелярий, где сидели наилучшие герценовские корреспонденты из Петербурга, которых этот Ничипоренко всех потом и перепутал. Он-то, сей самый Ничипоренко, и был избран ментором к молодому, неопытному и восторженному Телемаку. Их снабдили рекомендациями (даже П. И. Мельников в этом участвовал), и даны были наставления: как, куда ехать, с кем повидаться, к чему прислушаться. Кроме того, им

даны были и особые поручения привезти сюда с ярмарки по оказии некоторые мелочи: кому кальян, кому кавказского вина, кому другие подобные хозяйственные безделушки. Забыли им дать только одного — денег, но зато им было внушено, что они могут отлично ездить и без денег, зарабатывая все нужное на путевые издержки корреспонденциями, которые здешние друзья их взялись пристроивать в газеты. Ничипоренко сразу и сам убедился, что это действительно очень легко, и умел в этом убедить и Артура Бенни. Ментор и Телемак забрали в саквояжи необходимые письменные принадлежности, сели в Петербурге в третьеклассный вагон Николаевской железной дороги и поехали путешествовать по России и *«устроивать предприятие»*. Некий театральный человек сказал им комическое благословение, которое, может быть, их и сопровождало...

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Эта поздка Бенни с чиновником Ничипоренко, сколько известно, была первым действительным *«предприятием»*, совершенным лет за пять до того, как начали ни на что не похоже описывать подобные предприятия в вялых и неинтересных повестях и романах.

Едучи с недалеким, болезненным, чахлым и до противности неопрятным чиновником Ничипоренко, Бенни немного нужно было, чтобы разгадать своего ментора. До Твери Бенни уже составил себе ясное понятие, что спутник его крайняя ограниченность и несет белиберду. Остановившись по дороге в Твери, где им следовало сесть на пароход, они уже немножко поссорились. В маленьком трактирчике, где они пристали, Ничипоренко, строго взыскивая с трактирного мальчика за какую-то неисправность, толкнул его и обругал словом, которое Бенни понимал и которого не мог слышать.

Бенни показалось ужасным такое обращение со стороны человека, который ехал «сходиться с народом», и у них произошла сцена. Бенни настоятельно потребовал, чтобы Ничипоренко или тотчас же извинился перед трактирным мальчиком и дал слово, что вперед подобного обращения ни с кем из простолюдинов в присутствии

Бенни не допустит, или оставил бы его, Бенни, одного и ехал, куда ему угодно.

Бенни поставил Ничипоренко свои условия с такою решимостью, что тот сразу увидел себя в совершенной необходимости на которое-нибудь из них решиться. Ехать назад одному, ничего не сделавши для «предприятия» и притом не имея что и рассказать о том, за что он прогнан, Ничипоренко находил невозможным, и он извинился перед мальчишкою и дал Бенни требуемое этим последним слово воздержаться вперед и от драчливости и от брани.

За сим эмиссары снова поехали далее уже не по сухому пути, а по Волге.

Ничипоренко, кажется, вовсе не понимал всего значения сделанной им уступки требованиям Бенни: он не предвидел, что после нее он уже не может иметь никакой менторской власти над своим возмутившимся Телемаком и что он из руководителя и наставника вдруг, ничего не видя, сошел на позицию школяра, которого дерут за уши.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В Нижний Новгород у Бенни и Ничипоренко было (от П. И. Мельникова) письмо в один хороший семейный дом, хотя и не имевший никаких прямых связей с предприимчивою партиею, но весьма интересный для знакомства. Хозяин этого дома был молодой человек, чиновник с родовыми связями и хорошо открытой карьерой. В то время этот господин всего года три как был женат на молодой девушке, тоже из очень хорошего семейства. Молодые хозяева приняли рекомендованных им из Петербурга гостей дружественно и радушно, — сделали для них обед и пригласили к этому обеду нескольких своих знакомых, мужчин и дам. Ничипоренко уже успел шепнуть всем по секрету, что сопровождаемый им человек, Артур Бенни, есть «герценовский эмиссар», с которым они едут «делать предприятие», и все, кому это было сказано, разумеется, спешили, как на чудо, посмотреть на герценовского эмиссара. Ничипоренко, показывая Бенни любопытным нижегородцам, был, однако, не совсем

доволен: он находил, что его эмиссар не так себя держит, как бы следовало, что он «сентиментальничает», что это в нем отзывается английская рутина и что он, Ничипоренко, должен показать Бенни, как следует вести себя с провинциалами для того, чтобы производить на них надлежащее впечатление. Ничипоренко приготовился блеснуть своим вольномыслием перед собравшимся к обеду провинциальным обществом. За обедом к этому представился и удобный случай. Дамы, беседуя с Бенни (которого дамы и полицейские всегда неотразимо принимали за настоящего англичанина), говорили комплименты английским нравам и хвалили чистоту идей, проводимых в большинстве английских романов.

— Там никогда не позволяют себе издеваться над семейными привязанностями и над браком, — сказала одна дама.

— Это совершенно справедливо, — отвечал Бенни, — хотя брак уважается повсюду, но в Англии особенно крепки и семейные связи и семейные предания.

Ничипоренко нашел этот момент отменно удобным, чтобы зараз и проучить Бенни, «чтобы он не подличал», и в то же время показать, как людям их звания следует направлять в обществе такие разговоры. Со всем свойственным ему петербургским вольномыслием того простодушного времени Ничипоренко объявил во всеуслышание, что брак совсем не пользуется повсеместным уважением и что у нас, у первых, есть раскольники, которые не признают брака, ибо брак есть — просто вредная глупость.

Имея в виду, что такое суровое осуждение брака было произнесено в присутствии замужней хозяйки и многих присутствовавших здесь замужних дам, некоторая почтенная пожилая дама, родственница хозяев, заметила Ничипоренко, что ему так при семейных людях рассуждать не годится, что она и сама венчалась и дочерей замуж выдавала, но никакой вредной глупости в этом не видит.

— Да кто же видит свои глупости! — отвечал развязный Ничипоренко.

— Хотела бы вам, батюшка, отвечать, что, слушая вас, я готова поверить, что действительно бывают люди, неспособные видеть свои глупости; но скажу вам только, что вы большой невежа.

— А вы меня небось этим хотите сконфузить? — отвечал, рассмеявшись, Ничипоренко и, махнув рукою, добавил: — Нам мало дела до того, что о нас думает подгнивающее поколение! А что касается до ваших дочерей, которых вы выдали замуж, так мы еще не знаем, чем это окончится? Если спросить женщин по совести, то каждая из них предпочитает временные свободные отношения вековечным брачным.

— Вы должны выйти вон! Сейчас вон! — вскрикнула, вся побагровев, старушка и, быстро отодвинув свое кресло, встала из-за стола.

Обед и дальнейшее гостевание в этом доме были расстроены самым неожиданным и самым печальным образом; а вместе с тем печальная история эта должна была отразиться и на самом предприятии. Эмиссары рассчитывали получить в этом нижегородском доме рекомендательные письма в Казань, в Астрахань и в Саратов, и им уже были и обещаны эти рекомендации; но как же после этого, устроенного Ничипоренком, скандала заикаться напоминать об этом обещании?

Ничипоренко еще уверял опечаленного Бенни, что это не значит ничего, что у нас, в России, теперь молодые за старых не стоят; но Бенни считал дело проигранным и ни за что не согласился просить писем.

— Мало того, что их нельзя просить, но если бы мне их и дали, то я их теперь не возьму, — решил он Ничипоренке.

Ничипоренко только пожал плечами и отвечал:

— Ну, этак, батюшка мой, с такими тонкостями вы в России ничего не сделаете.

Бенни ему не отвечал.

Агитаторы оба взаимно были друг другом недовольны, и оба были не в духе. Для первого шага у них уже было довольно неудач. Ничипоренко, однако, первый нашелся, как ему выйти из такого неприятного положения. Сидя после этого обеда в трактирном нумере у окна, в которое ярко светило спускавшееся к закату солнце и в которое врывался шум и гром с заречья, где кипела ярмарка, Ничипоренко несколько раз озирался на своего унылого и поникшего головою партнера и, наконец, сказал:

— Да бросьте вы, Бенни, об этом думать! Эка, черт возьми, невидаль какая, что старая барыня рассердилась! Нам не они нужны — нам народ нужен.

Бенни приподнял голову и взглянул на своего спутника остолбенелыми глазами.

Большие, черные как уголь глаза Бенни при всяком грубом и неделикатном поступке имели странную способность останавливаться, и тогда стоило большого труда, чтобы его в такое время снова докликаться и заставить перевести свой взгляд на другой предмет. Позже это знали очень многие; но Ничипоренко не был предупрежден о таких столбняковых припадках Бенни и очень испугался. Он облил Бенни водою и послал за доктором. Пришедший доктор велел пустить Бенни кровь, но пока отыскали фельдшера, который должен был открыть жилу, больной пришел в себя. Ничипоренко был несказанно этим обрадован: он вертелся около Бенни, юлил и булькотал своим неприятным голосом:

— Нам нужен народ! Не они, а народ. Я положительно говорю, что нам нужен народ!

Расстроенный Бенни повторял за ним: «народ».

— Именно народ! — подхватил Ничипоренко. — И мы должны идти к народу, и мы должны сойтись с ним.

Бенни смотрел на него молча.

— Чего вы смотрите? Пойдемте! — заговорил вдруг, оживляясь, Ничипоренко. — Я вам ручаюсь, что вы в народе увидите совсем другое, чем там. Берите скорее шапку и идем.

Бенни взял шапку, и они пошли.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Ментор вел своего Телемака на ярмарку, которая волновалась и шумела, вся озаренная красным закатом.

Они шли сходиться с народом.

Ничипоренко опять впал в свою роль руководителя и хотел показать Бенни, как должно сходиться с русским народом; но только, на свое несчастие, он в это время спохватился, что он и сам не знает, как за это взяться. Правда, он слыхал, как Павел Якушкин разговаривает

с прислугою, и знал он, что уж Павел Якушкин, всеми признано, настоящий мужик, но опять он никак не мог припомнить ни одной из якушкинских речей; да и все ему мерещился ямщик, который однажды сказал Якушкину:

— А зачем же на табе очки? Коли ты мужик, табе очки ненадобе. Нешто мужики очки-то носят?

Ничипоренко поскорее схватил с себя синие консервы, которые надел в дорогу для придания большей серьезности своему лицу, и едва он снял очки, как его простым, не заслоненным стеклами глазам представился небольшой чистенький домик с дверями, украшенными изображением чайника, графина, рюмок и чайных чашек. Вверху над карнизом домика была вывеска: «Белая харчевня».

В эту же минуту Ничипоренко почувствовал, что Бенни вздрогнул всем телом и остановился.

— Чего вы? — спросил его Ничипоренко.

Бенни ничего не отвечал, но зорко, не сводя глаз, смотрел на обогнавших их трех купцов, которые шли, жарко между собою разговаривая и перекидывая друг другу с рук на руки какой-то образчик.

Один из этих купцов, кричавший громко: «некогда! некогда!», был тот самый сибирский революционер, который сманил Бенни из Лондона и сказал ему в Берлине: «ступай, немчик, назад». Вся эта история теперь проснулась в памяти Бенни, и ему стало и еще тяжелее и еще досаднее.

— И ему теперь некогда! думал я с завистью, — рассказывал Бенни. — Он, сыгравший со мною такую комедию, так счастлив, что ему некогда, что его день, час, минута все разобраны, а я все слоняюсь без дела, без толка, без знания — что делать, за что приняться? Он проходит теперь мимо меня, вовсе меня не замечая... Не заметил он меня, или он меня побоялся?

Но прежде чем Бенни успел решить себе этот вопрос, купец, поворачивая в следующий переулок, вдруг быстро оборотился назад, погрозил Бенни в воздухе кулаком и скрылся.

В раскрытые окна «Белой харчевни» неслись стук ножей, звон чашек, рюмок и тарелок, говор, шум и крик большой толпы и нескладные звуки русской пьяной, омерзительной песни.

Бенни опомнился и, указывая на харчевню, с гадливостью спросил: что это?

Ничипоренко захохотал.

— Чего вы! — заговорил он. — Испугался!.. Небось невесть что подумал, а это просто *народ*.

— Но тут драка, что ли?

— Какая драка, — просто русский *народ!* Пойдемте.

Они вошли в харчевню.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Оба агитатора были одеты довольно оригинально: на Ничипоренке был длинный коричневый пальмерстон и островерхая гарибальдийская шляпа, в которой длинный и нескладный Ничипоренко с его плачевною физиономиею был похож на факельщика, но такими шляпами тогда щеголяли в Петербурге, — а на Бенни был гуттаперчевый мекинтош и форменная английская фуражка с красным околышем, на котором посередине, над козырьком, красовался довольно большой, шитый золотом вензель королевы Виктории R. V. (Regina Victoria). В руке Бенни держал дорогой шелковый зонтик, который привез с собою из Англии и с которым никогда не расставался. В этом стройном уборе они и предъявились впервые народу.

Взойдя в харчевню и отыскав свободное место, Ничипоренко спросил себе у полового чаю и газету.

Половой подал им чай и «Ярмарочные известия». Газета эта ни Бенни, ни Ничипоренко не интересовала, а других газет в «Белой харчевне» не было.

За недостатком в литературе надо было прямо начинать «сходиться с народом».

Ничипоренко все озирался и выбирал, с кем бы ему как-нибудь заговорить? Но посетители харчевни — кто пил, кто ел, кто пел, кто шепотом сговаривался и торговался, не обращая никакого внимания на наших предпринимателей.

Среди шума, гвалта и толкотни в толпе мелькала маленькая седая голова крохотного старичка, который пла-

вал по зале, как легкий поплавок среди тяжелых листов водяного папоротника. Он на секунду приостанавливался у какой-нибудь кучки и опять плыл далее и так обтекал залу.

— Видите, какая сила, — говорил Ничипоренко, кивая головою на народ. — Какова громадища, и ведь бесстыжая — все под себя захватит, исковеркает и перемелет, только сумейте заговорить с ним их языком.

— Симеону Богоприимцу и Анне Пророчице на возобновление храма божия будьте укладчики! — тихо и молитвенно пропел над ним в эту минуту подплывший к ним седой старичок в сереньком шерстяном холодайчике, с книжечкою в чехле, с позументным крестом.

Ничипоренко взглянул на старичка и сказал:

— Проходи, дед, проходи: у нас деньги трудовые, мы на пустяки их не жертвуем.

Старичок поклонился, пропел:

— Дай вам бог доброе здоровье, родителям царство небесное, — и поплыл далее.

— Когда? как церковь-то сгорела? — слышал Бенни, как начал расспрашивать один из соседей подошедшего к нему сборщика.

— На семик, на самый семик, молоньей сожгло.

Старичок еще поклонился и добавил:

— Жертвуй Симеону и Анне за свое спасение.

Мещанин вынул пятак, положил его на книжку и перекрестился.

Старик ответил ему тем же, как отвечал Ничипоренке, — ни более ни менее как то же: «Дай бог тебе доброе здоровье, родителям царство небесное».

Старичок уже стоял перед третьим столиком, за которым веселая компания тянула пиво и орала песни.

— Что? — крикнул пьяный парень, обводя старика посоловевшими глазами. — А! собираешь на церковное построение, на кабашное разорение, — это праведно! Жертвуй, ребята, живее! — продолжал парень и сам достал из лежавшего перед ним картуза бумажный платок, зацепил из него несколько медных копеек, бросил их старику на книжку и произнес:

— Будь она проклята, эта питра̀, — унеси их скорее, божий старичок.

Бенни встал, догнал старичка и положил ему на книжку рублевый билет.

Старик-сборщик, не выходя ни на секунду из своего спокойного состояния, отдал Бенни свой поклон и протянул ему то же: «Дай бог тебе доброе здоровье, родителям царство небесное».

Но пьяный парень не был так равнодушен к пожертвованию Бенни: он тотчас же привскочил со стула и воскликнул:

— Вот графчик — молодец!

Парень быстро тронулся с места, шатаясь на ногах, подошел к Бенни и сказал:

— Поцелуемся!

Бенни, вообще не переносивший без неудовольствия пьяных людей, сделал над собою усилие и облобызался с пьяным парнем во имя сближения с народом.

— Вот мы... как... — залепетал пьяный парень, обнимая Бенни и направляясь к столику, за которым тот помещался с Ничипоренкою. — Душа! ваше сиятельство... поставь пару пива!

— Зачем вам пить? — отвечал ему Бенни.

— Зачем пить? А затем, что загулял... Дал зарок не пить... опять бросил... Да загулял, — вот зачем пью... с досады!

Мещанин сел к их столу, облокотился и завел глаза.

Ничипоренко шепнул Бенни, что этому перечить нельзя, что нашему народу питье не вредит и что этого парня непременно надо попотчевать.

— Вот вы тогда в нем его дух-то народный и увидите, — решил Ничипоренко и, постучав о чайник крышкою, потребовал пару пива.

Парень был уже очень тяжел и беспрестанно забывался; но стакан холодного пива его освежил на минуту: он крякнул, ударил дном стакана об стол и заговорил:

— Благодарим, дворецкий, на угощении... Пей же сам!

Ничипоренко выпил.

— Давай с тобой, графчик, песни петь! — отнесся парень к Бенни.

— Я не умею петь, — отвечал юноша.

— Чего не умеешь?

— Петь не умею.

— Отчего же так не умеешь?

— Не учился, — отвечал, улыбнувшись, Бенни.

— Ах ты, черт! Да нешто петь учатся? Заводи!

— Я не умею, — снова отвечал Бенни, вовсе лишенный того, что называют музыкальным слухом.

— А еще граф называешься! — презрительно отмахнувшись от него рукою, отозвался парень и, обратившись затем непосредственно к Ничипоренке, сказал: — Ну, давай, дворецкий, с тобой!

Ничипоренко согласился; но он тоже, как и Бенни, и не умел петь и не знал ни одной песни, кроме «Долго нас помещики душили», песни, сочинение которой приписывают покойному Аполлону Григорьеву и которая одно время была застольною песнью известной партии петербургской молодежи. Но этой песни Ничипоренко здесь не решался спеть.

А парень все приставал:

— Ну, пой, дворецкий, пой!

Ничипоренко помирил дело на том, чтобы парень сам завел песню, какая ему была по обычаю, а он де ему тогда станет подтягивать.

Парень согласился, — он закинулся на стуле назад, выставил вперед руки и самою высокою пьяною фистулою запел:

Царь наш белый, православный,
Витязь сердцем и душой!

Песня эта имела на Ничипоренко такое же влияние, какое производил на Мефистофеля вид освященных мест: он быстро встал и положил на стол серебряную монету за пиво; но тут произошла маленькая неожиданность: парень быстрым движением руки покрыл монету своею ладонью и спросил: «Орел или решетка?»

Ничипоренко смутился и сказал сурово парню, чтоб тот не баловался и отдал деньги.

— Орел или решетка? — с азартом повторял, не поднимая руки, парень.

Ничипоренко достал из кармана другую монету, расчелся и ушел. С ним вместе ушел и Бенни, получивший от мещанина на дорогу еще несколько влажных пьяных поцелуев.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

«Предприниматели» шли молча по утихавшим стогнам деревянного ярмарочного города.

При последних трепетаниях закатных лучей солнца они перешли плашкоутный мост, соединяющий ярмарочный город с настоящим городом, и в быстро густеющей тени сумерек стали подниматься в гору по пустынному нижегородскому взвозу. Здесь, на этом взвозе, в ярмарочную, да и не в ярмарочную пору, как говорили, бывало *нечисто:* тут в ночной тьме бродили уличные грабители и воришки, и тут же, под сенью обвалов, ютился гнилой разврат, не имеющий приюта даже за рогожами кабачных выставок.

Бенни и Ничипоренко шли по этому месту, вовсе не зная его репутации, и ни в одном из них не было столько опытности, чтобы по характеру местности сделать приблизительно верное заключение о характере лиц и сцен, которые всего легче можно здесь встретить. Они шли теперь посреди сгущающейся вокруг их тьмы, разговаривая о народе, о котором Ничипоренко «знал все» и говорил о нем с большою самоуверенностию тогдашних народоведцев.

Бенни с чисто детскою пытливостию хотел объяснений, отчего все эти люди давали на церковь, когда он был наслышан, что церковь в России никто не любит и что народ прилежит к расколу, ибо расколом замаскирована революция? Ничипоренко объяснял ему, что «это ничего не значит».

— Да как же ничего не значит? — пытало бедное дитя, еще не привыкшее нахально игнорировать возникающие вопросы святого сомнения.

— Да так, ничего не значит. Народ знает, что это, может быть, шпион.

— Кто же шпион?

— А вот этот старик, что на церковь просил.

— В таком случае, *зачем же вы ему не дали?* Ведь это могло обратить на вас его внимание.

— Ну, так, — очень нужно деньги тратить!

Бенни посмотрел в глаза своему ментору сколько мог пристальнее сквозь сумеречный мрак и сказал:

— Да как же не нужно?

— А разумеется, не нужно.

— Да ведь мы же должны дорожить, чтобы на нас тени подозрения не падало!

— Да оно и не падало бы, если бы вы не сунулись с своим рублем, — отвечал Ничипоренко, внезапно почувствовавший за собою силу положения.

— Это вы все испортили, — продолжал он, развивая свою мысль, — вас и назвали сейчас же от этого графом. Граф! Bon soir,[1] ваше сиятельство!

Ничипоренко снял шляпу и захохотал.

— Да, но и вас, однако, тоже назвали дворецким, — кротко отвечал Бенни.

— Дворецким? да дворецким-то ничего, но не аристократом, не графом.

Бенни чувствовал, что Ничипоренко как будто врет что-то без толку, но, припоминая, что ему было наговорено о народе, невольно допускал, что, может быть, и вправду он всему виноват, что он наглупил своим рублем и выдал себя этим поступком за такого человека, видя которого народ перестает быть искренним и начинает хитрить.

— Согласны вы со мною? — допрашивал его Ничипоренко.

— Да, может быть, вы и правы, — отвечал введенный в сомнение Бенни.

— Не может быть, а это так и есть, — отозвался, возвышая голос, Ничипоренко. — Да, это именно так есть; а зачем он, по-вашему, запел эту песню?

— Какую?

— Да вот эту: «белый-то и православный»?

Бенни полагал, что это из оперы «Жизнь за царя», но Ничипоренко это осмеял и разъяснил дело иначе.

— Он охмелел и пел сам не знал что, — отвечал Бенни.

Ничипоренко расхохотался.

— Не знал что! — повторил он и опять расхохотался. — Да, много вы, должно быть, наделаете, если так будете понимать. Эх вы, Англия, Англия, мореплаватели! А знаете ли вы, что народ-то похитрее нас с вами? Народ при «графчиках» никогда не заговорит о том, о чем он сам с собою говорит, — да-с! Чтобы его знать, надо его

---

[1] Добрый вечер *(франц.)*.

слушать, когда он вас не видит, когда он вас не считает ни графчиком, ни барином, тогда его изучать надо, а не тогда, когда вы сами себя выдали и вашим шелковым зонтиком, и вашею «Режиною Викториею», и вашим рублем.

— Но как же его слушать и видеть так, чтобы *он* нас не видел? — спросила Англия, находя в самом деле некоторый, даже весьма немалый смысл в этом замечании.

— А это надо искать, надо ждать для этого случая... Их, таких случаев, очень много, и надо только не упускать их.

— Анафема! шейгиц... только обдирать народ знают! — послышалось вдруг в это время недалеко от них, в стороне.

«Предприниматели» вздрогнули и остановились. Кругом их уже была темная ночь: вдали то затихал, то снова раскатывался грохот разъезжавшегося по домам города; на небе изредка проскакивали чуть заметные звезды; на длинном, пустом, по-видимому, взвозе не было заметно ни души живой.

Но вот опять из темноты раздается:

— А рупь-то серебром узял. Зачем же ты рупь серебром узял? Узял, да и по шее — а? Есть разве теперь тебе такая правила, чтобы за свои деньги хрестьян бить по шее — а? Ты думаешь, что хрестьяне ничего. Ты куру с маслом ешь, а хрестьянину не надо ничего?..

Ничипоренко дернул Бенни за руку и прошептал: *«тс-с-с!»*

— А если хрестьянин за это тебе, собаке, голову долой — а? Секим башка долой — а? — произнес азартно, возвышаясь в это время, очевидно пьяный голос. — Ты думаешь, что тебе век куру с маслом есть!.. А я теперь, может, и сам хочу куру с маслом есть!

— Идем! — воскликнул Ничипоренко, порывая Бенни по тому направлению, откуда слышался голос.

— Вы слышите: он, должно-быть, хмелен, и вот увидите, этот ничего не скроет, — он черт знает как проврется! а мы такого человека должны сберечь.

Бенни с этим согласился.

Они шли почти ощупью, потому что под прямым откосом прорезанного в горе взвоза было еще темнее, чем где-либо, а дорогого человека, который мог провраться и которого надо было спасти, не находили.

Но дорогой человек им сам объявился.

— Что? — заговорил он снова в пяти шагах от них. — Что тебе медаль на грудь нацепили, так ты и грабить можешь... — а? Да я сам бляху-то куда хочешь себе подцеплю!

Ничипоренко и Бенни бросились на этот голос, как перепела на вабило.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Подоспев на голос роптавшего впотьмах незнакомца, Бенни и Ничипоренко разглядели мужика, который стоял, упершись обеими ладонями в срезанную стену довольно высокого земляного откоса и, изогнув на бок голову, косился на что-то через правое плечо. Он был пьян до такой степени, что едва стоял на ногах, и, вероятно, ничего не видел.

— Кто тебя ограбил? — спросил его Ничипоренко.

Мужик, шатаясь на подгибающихся коленях, продолжал сопеть и ругаться. Он, очевидно, не видал подошедших к нему предпринимателей и не слышал ничипоренковского вопроса.

Ничипоренко взял его за плечи, встряхнул и опять спросил, кто его обидел.

— А? — отозвался мужик.

— Кто тебя обидел, я говорю?

Мужик подумал с минуту, посопел и, опять заворачиваясь вправо через плечо, заговорил:

— Мош-ш-шен-н-ник, анафема.. шейгиц!..

— Кого ты ругаешь? — спросил Ничипоренко. — За что?

— А зачем он рупь серебром узял! — отвечал мужик и снова закричал вправо: — Шейгиц! анафема... мошенник!

— Откуда он *у вас* взял их? — спросил Бенни, думая таким вопросом навести мысли пьяного человека на ближайшие его соображения.

Он не ошибся. Мужик тотчас переменил тон и с доверчивостию заговорил:

— Да как же, скажи: зачем он у меня с чертогона последний рупь серебра сдернул... а? Нешь ты затем здесь

поставлен... а? Нешь ты за то будушник назван... а? Шейгиц ты, мошенник! — заговорил снова, валясь вправо головою, мужик.

— Что такое *«чертогон»?* — спросил у своего спутника шепотом Бенни.

Ничипоренко пожал плечами и отвечал:

— Черт его знает, что он мелет!

— Этого нельзя, — говорил мужик. — Ты в будку для проспанья меня вел и рупь серебра смотал... Неш на это тебе закон есть... а?

— Его просто нужно отправить домой, — проговорил Бенни и затем, снова обратясь к мужику, спросил: — Где *вы* живете?

— Что?

Бенни повторил свой вопрос.

Мужик подумал и отвечал:

— Пошел прочь!

— Я хочу вас домой довести.

— Пошел прочь, — опять так же незлобливо отвечал мужик.

— Бросьте его, — сказал Ничипоренко.

Бенни этого не послушался.

— Я вам дам рубль серебром, и вы идите домой, — сказал он тихо, оттягивая мужика от глинистого обреза, в который тот упирался.

— Рупь серебром...

Мужик подставил пригоршни, сжимая их так сильно, как будто ему хотели насыпать их маком.

Бенни одною рукою поддерживал пьяного, другою достал из своего кармана рублевый билет и подал его мужику.

Тот взял и начал совать его в штаны; но пьяная рука ему не повиновалась, и каждый раз, как он посылал ее в карман, она прямо проскальзывала мимо кармана.

— Я положу *вам* в карман, — сказал Бенни, протягивая руку к билету, но тот вдруг неожиданно вскрикнул: «Пошел прочь!», быстро отдернул у Бенни свою руку и, не удержавшись на ногах, тяжело шлепнулся во весь рост о землю и лежал как сырой конопляный сноп.

Бенни решительно не знал, что ему предпринять с этим дорогим человеком: оставить его здесь, где он лежит, — его могут раздавить; оттащить его назад и снова приста-

вить к стене, — с него снимут ночью и сапоги и последнюю одежду. К тому же мужик теперь охал и жалостно стонал.

Бенни нагнулся к его лицу и сквозь сумрак ночи, к которому в это время уже достаточно пригляделись его глаза, увидел на лице мужика печать серьезности, которою выражается только-что ощущенное страдание.

— *Вы* расшиблись? — спросил Бенни.

— В печенях.. — отвечал мужик.

— Больно?

— Больно, — отойди, больно.

— Ты расшибся? — спросил Ничипоренко.

— Поди прочь, — расшибся.

Ничипоренко объявил, что теперь нечего размышлять; что больше здесь стоять невозможно; что, черт его знает, он, этот мужик, может издохнуть, а не издохнет, так кто-нибудь как на грех подойдет и скажет, что они его убили и ограбили.

Бенни был другого мнения; он находил, что это и прекрасно, если их возьмут в полицию, потому что им, при правоте их, нетрудно будет оправдаться; но зато там и этот мужик тоже найдет себе защиту.

— Ну да, защиту! Как же, ведь это небось вам Англия здесь, чтобы находить в полиции защиту! — заговорил, вспыхнув и суетясь, Ничипоренко. — Так вот сейчас палочку из-под сюртука вынет — фить — и оправдал... Вы это забудьте про вашу палочку, она в Лондоне осталась, а вы тут в России. У нас с полицией не судятся; а полу от кафтана режут, если она схватит, да уходят.

— Я ни от какой полиции не побегу. У меня краденых вещей нет.

— Зато у нас с вами полтора пуда «Колокола» в номере заперто.

— Полтора фунта разве, — заметил Бенни.

— Довольно полтора золотника, чтобы отсюда прямо да в крепость.

Младший же брат, над разбитыми печенями которого происходил теперь спор, в это время, отложив всякое житейское попечение, захрапел.

Положение предпринимателей становилось все труднее и труднее, каждый из них горячился, и, возражая друг

другу, они дошли до того, что Ничипоренко сказал Бенни, что он рассуждает «как либерал, филантроп и трус», а Бенни отвечал Ничипоренке, что он не хочет ставить его суждений выше болтовни революционных шарлатанов и дураков.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Оставалось очень немного до того, чтобы им совсем переплюнуться через спящего младшего брата, как счастливый случай вступился за предпринимателей. Сверху спуска слегка застучало, — громче, громче и, наконец, совсем стало слышно, что это едет экипаж не массивный, не веский, не карета и не коляска, а легкий извозчичий экипажец.

— Вот если это пустой экипаж, и спор весь кончен, — сказал Бенни, — я найму кучера отвезть этого человека, и пойдемте домой.

Ничипоренко не возражал и был очень доволен, лишь бы уйти.

Он даже вызвался сам остановить извозчика и вышел для этого на середину дороги.

Спускавшийся экипаж действительно принадлежал городскому извозчику, возвращавшемуся порожняком домой.

Ничипоренко дал извозчику поравняться с собою и выступил к нему в своем длинном пальмерстоне и островерхой гарибальдийской шляпе.

— Можешь ли ты свезть пьяного человека? — спросил он возницу.

Извозчик, перехватив вожжи в левую руку, правою оперся на крыло дрожек и, склонясь к Ничипоренке, сказал полушепотом: «А он еще теплый?»

— Как теплый?

— Живой?

— Да, конечно, живой, — отвечал Ничипоренко.

— Пять целковых.

— Подлец! Ах ты, подлец; ах ты, рожа всероссийская!

— Чего же ругаться-то! — возразил извозчик.

— Как же не ругаться? пять рублей просишь человека в город отвезть!

— Человека отвезть! Да вы его теперь какого сделали, а он если за пять целковых у меня в пролетках очерствеет, да я и отвечай! Да я — черт с вами и совсем... Но! — и извозчик покатил.

Бенни, слышавший весь этот разговор, испугался, что извозчик уедет, и в отчаянии закричал ему, чтобы он остановился и взял человека, а что пять рублей ему будет заплачено.

Извозчик остановился, но потребовал, чтобы ему деньги были заплачены прежде, чем посадят *его*.

Бенни отдал ему деньги, которые извозчик пощупал, повертел и, наконец, с некоторою отчаянностию сунул... Э, мол, была не была: настоящая, так настоящая, а красноярка, так красноярка! [1]

Теперь оставалось только поднять *его* и посадить на дрожки.

Предприниматели взялись за меньшого брата, подняли его и потащили; но меньшой брат, на их горе, неожиданно проснулся и спросонья во все мужичье горло заорал: «кар-раул!»

Чем энергичнее дергал его Ничипоренко за ухо и чем деликатнее и нежнее убеждал его Бенни, говоря: «Вы нездоровы, вы поезжайте домой», тем младший брат орал ожесточеннее, доходя до визгов, воплей и рева. Ничипоренко зажал ему рукою рот, тот укусил его за руку. Под влиянием боли и досады вообще скорый на руку Ничипоренко ударил младшего брата укушенною им рукою по губам. Младший брат взревел, как будто его перерезали.

При этом неистовом вопле в одном из откосов горы словно раздалась щель, в которой на мгновение блеснул свет, и из этого света выскочили две человеческие фигуры. Извозчик хлопнул по лошадям и унесся, — исчез во тьме и Ничипоренко, крикнув Бенни: «Спасайтесь!» Бенни оставался один и слышал, как все сближались шаги бегущих к нему людей. Еще ни одного из них он не успел рассмотреть, как на грудь ему упал конец издали брошенной в него веревки. Он откинул от себя эту веревку, но в ту же минуту почувствовал, что через плечо ему шлепнулась

---

[1] Тогда на нижегородской ярмарке немало обращалось фальшивых бумажек, фабрикованных будто бы где-то вблизи Красноярска и потому называвшихся в народе «красноярками». *(Прим. автора.)*

на спину другая. Отбрасывая поспешно эту вторую, он нащупал узел петли, быстро сдвигавшейся около кисти его руки. Он вырвал руку из аркана и бросился бежать куда глядели глаза.

За ним раздавалось: «Держи! держи! жулик ушел! держи!»

Казаки или кто другой гнались за ним по пятам, но он недаром учился гимнастике и бегал на геркулесовых шагах: темнота и быстрые ноги помогли ему скрыться и достичь благополучно своей гостиницы, с номером, где хранилась кипа герценовского «Колокола».

О судьбе оставшегося на спуске младшего брата и Ничипоренки было ничего неизвестно, и Бенни был страшно встревожен, что сталось с последним.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Озабоченный тем, что постигло Ничипоренко, Бенни не мог оставаться дома в покое ни на одну минуту. Он спрятал в печку кипу «Колокола» и собрался ехать к полицеймейстеру. Но только что он вышел в коридор, как Ничипоренко предстал ему в полном наряде и в добром здоровье и, вдобавок, с сияющим лицом. Он рассказал Бенни, что при первой же суматохе он бросился к откосу, прилег за канавку и пролежал, пока казаки побежали мимо его за Бенни, а после встал и вот благополучно пришел домой.

Ничипоренко разъяснил все случившееся с ними так, что младший брат тоже был мошенник, который только притворялся пьяным для того, чтобы удобнее их ограбить.

Бенни это казалось невероятным, и он более разделял мнение старого гостиничного слуги, который, выслушав рассказ взволнованных господ, выводил из их слов, что пьяный мужик был не что иное, как просто пьяный мужик, каких часто обирают на этом спуске, и что обобрали его, вероятно, сами сторожевые казаки, наполняющие город во время ярмарки, или будошник; что извозчик принял Ничипоренко и Бенни за мошенников, которые искали средств забросить куда-нибудь за город побитого, а может быть, и совсем убитого ими человека; а что казаки, желавшие заарканить Бенни, обобрали бы, вероятно, и его точно так же, как они обобрали мужика.

День этот, завершенный таким образом, был для предпринимателей днем таких тревог, что им не захотелось более ни слова сказать друг другу; они легли в свои постели и уснули.

Несмотря на довольно разнообразные чувства, которые могли волновать агитаторов, они спали как убитые; но тем не менее в третьем часу ночи все-таки случилось обстоятельство, которое их разбудило.

Ничипоренке приснился во сне казак, который начал на него метаться, лаять, кусать и, наконец, скинувшись синим пуделем, вспрыгнул ему на голову и поехал.

Ничипоренко, перепугавшись этого синего пуделя, стал от него отмахиваться во сне, завертелся, забрыкал на диване, на котором спал, зацепился за покрывавшую стол скатерть и упал, стащив с нею вслед за собою на пол графин с водою, стакан, тарелку с сахаром и связку баранок.

Все это произвело такой шум, что Бенни проснулся.

Ничипоренко начал рассказывать Бенни свое сновидение; но прежде чем он успел окончить рассказ, в двери их номера со стороны коридора послышался тихий, но настойчивый стук, и в то же время в нижнем пазу блеснула яркая полоска света.

— Господа, что у вас такое? — окликнул их коридорный.

— Ничего, — дай, пожалуйста, огня, — отвечал, приподнимаясь с пола и с тем вместе роняя остальные вещи, Ничипоренко.

В эту минуту снаружи вложенный ключ легко и быстро повернулся два раза в замке, и дверь отперлась.

Бенни и Ничипоренко решительно этого не ожидали.

Но если они не ожидали, что дверь их номера во всякое время можно свободно отпереть с другой стороны стороннею рукою, то еще менее они ожидали увидеть в распахнувшейся двери то, что представилось там их изумленным глазам.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Чуть только распахнулись отпертые лакеем двери и по комнате неровно разлился дрожавший свет свечи, Ничипоренко, стоявший в это время в одном белье среди

комнаты, присел на коленях и, побелев как полотно, затрепетал.

В открытой двери стояли с зажженными свечами не один человек, а несколько, и между ними к тому же находился жандарм.

«Вот тебе и пудель», — подумал Ничипоренко, чувствуя, что его оставляют силы, и ища сзади себя руками какой-нибудь опоры.

В самом деле это не было сновидение, а здесь вместе с растерзанным лакеем в комнату действительно засматривали жандарм, квартальный и три головы в скобку, за которыми еще виднелись три или четыре головы, остриженные по-солдатски.

Лакей внес свечу, осмотрелся и еще раз спросил, что тут такое случилось. Бенни, сохраняя все наружное спокойствие, рассказал, что тут ничего особенного не было; что его товарищ просто свалился сонный с дивана, зацепил скатерть и поронял все, что было на столе.

Ответ этот показался всем совершенно удовлетворительным.

Лакей начал убирать валявшиеся на столе вещи; жандарм, с окружавшими его, посмотрел еще одну минуту в комнату и отошел, сказав бывшим при нем людям, что это не их дело. Лакей, которого Бенни спросил о причине появления здесь жандарма и полицейских, объявил, что это комиссия, которая ищет каких-то двух приехавших на ярмарку петербургских мошенников, — тем вся эта передряга и окончилась, и Бенни с Ничипоренкою остались спокойно досыпать свою ночь.

Но Ничипоренко вовсе уже не расположен быть спать: напротив, сон теперь более чем когда-нибудь был далек от его глаз.

Чуть только лакей скрылся за дверью, Ничипоренко запер эти двери и, не вынимая ключа из замочной скважины, подпрыгнул к Бенни.

— Нам остается, может быть, всего две минуты, пока нас узнают, и эти две минуты мы должны употребить на то, чтобы сжечь наш «Колокол».

С этим Ничипоренко схватил спички и присел перед печкою. Он трясся как в лихорадке и решительно не мог слушать никаких убеждений Бенни, доказывавшего ему, что появление комиссии в коридоре, по всем вероятиям,

действительно должно быть не что иное, как случайность, и что «Колокол» жечь не из-за чего, тем более что печная труба вверху может быть закрыта, что печка станет дымить, взойдут люди, и тогда непременно родится подозрение, что они жгли что-нибудь недозволенное. Ничипоренко не послушался. Он только шепнул тихо на ухо Бенни:

— Молчите! вы ведь ничего не знаете, а я сегодня оставлял «Колокол» под подушками дрожек у извозчиков и дал десять нумеров одному полицейскому.

— Полицейскому! — воскликнул Бенни.

— Да, полицейскому; но это всё пустяки, он хороший человек; я и в Петербурге очень много полицейским давал, — да еще каким!.. это ничего, — между ними тоже есть славные ребята, — и с этим Ничипоренко опять кинулся к печи и безжалостно зажег те самые заграничные листы, которые с такою тщательностию и серьезностию транспортировал на себе из Англии в Россию Бенни. Труба, однако, к счастию предпринимателей, была открыта, и кипа «Колокола» сгорела благополучно.

Ничипоренко перемешал концом бенниевского дождевого зонтика пепел и сказал:

— Ну, вот теперь просим покорно хоть и комиссию.

Комиссия к ним, впрочем, не пришла, она поступила как гоголевские крысы: «понюхала и пошла прочь», и Бенни с Ничипоренком провели остаток ночи благополучно.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

За утренним чаем предприниматели были невеселы и неразговорчивы: они пили свой чай молча и не говоря друг с другом. Ничипоренко чувствовал, что Бенни не может питать никакого уважения ни к его революционным убеждениям, ни к его поведению, и он в этом не ошибался. Чтобы вывести Бенни на какой-нибудь разговор, он спросил его:

— А вы думаете, что это невозможно — давать «Колокол» полицейским? Я знаю жандармов таких, которые Герцену материалы доставали.

Бенни, смотревший во все это время в свою записную книжечку, вместо того чтобы отвечать Ничипоренке, спросил его: помнит ли он их маршрут? На маршруте

этом стояли Казань, Саратов, Царицын, Красный Яр и Астрахань.

Ничипоренко маршрут помнил, но забыл, что для совершения этого путешествия нужны деньги; а предприниматели, поверив свою казну, нашли, что она у обоих их составляет уже всего около тридцати рублей, с которыми спуститься до Каспия и снова всплыть до Тверцы было совсем невозможно. Положим, что, плывучи на пароходах в третьем классе и питаясь булками да чаем, еще и можно было кое-как протащиться и с этими деньгами; но теперь у Бенни рождался вопрос: чего же ради им плыть вниз? чего подниматься вверх, когда ведь опять будет все то же самое: трактир, улица, извозчики, кабак да сбор на церковь? А как сходиться с народом, — кто это знает? И притом немало смущало Бенни, как это все скоро с ними кончается, — ужасно скоро!

Бенни сообщил свои опасения Ничипоренке, что везде, должно быть, будет только то самое, что они уже видели, и что вряд ли стоит для этого тащиться далее. Ничипоренко, к удивлению своего товарища, тотчас же согласился, что нового и в самом деле ничего, пожалуй, не будет и что тащиться до Астрахани им действительно нечего. Он советовал переменить маршрут, а именно: ехать по железной дороге в Москву; повидаться с «московскою *белою* партиею» и потом ехать в Полтавскую губернию, где жили родные Ничипоренки и где он надеялся устроиться по акцизной части. Ничипоренко уверял Бенни, что малороссийский народ больше развит и что им гораздо лучше начинать с Малороссии, где сепаратисты примкнут к ним и пойдут с ними заодно.

Бенни уже ни на волос не верил Ничипоренке и слушал его только из вежливости; но ему хотелось видеть и Москву, и Малороссию, и Ивана Сергеевича Тургенева, которого он знал за границею и который тогда жил в Орловской губернии в своем мценском имении, как раз на пути из Москвы в Малороссию. А ко всему этому еще присоединилось то, что с тридцатью рублями разъезжать было довольно трудно; а в Москве Ничипоренко обещал Бенни достать много, много денег.

— Я, — говорил он, — там сейчас же присяду и напишу серьезную корреспонденцию в «Экономический указатель» и смешную в «Искру», и у нас будут деньги, а вы

пишите что-нибудь из английской жизни, — я все пристрою.

Ничипоренко говорил все это с такою самоуверенностию, что всем младенчески увлекавшийся Бенни опять ему доверился. Он согласился и ехать в Москву и писать «что-нибудь из английской жизни». Ничипоренко тотчас же пошел послать одному из своих знакомых в Москву депешу, чтобы его ждали вместе с некоторым таинственным гостем, а Бенни, спустив своего спутника с глаз, почувствовал неотразимую потребность сходить в тот дом, где Ничипоренко вчера за обедом произвел вышерассказанный скандал, и извиниться там за него и за себя перед хозяевами. На случай, если бы его не приняли, Бенни приготовил небольшое письмецо и пошел; но его приняли, и даже приняли очень радушно.

Бенни всегда с самым восторженным чувством вспоминал об удивившей его русской мягкости, с которою его встретили хозяин и хозяйка этого дома после столь свежей и столь нелепой истории.

— Судя по нравам Англии и даже Польши, — говорил Бенни, — я думал, что меня или вовсе не захотят на порог пустить, или же примут так, чтобы я чувствовал, что сделал мой товарищ, и я готов был не обижаться, как бы жестоко меня ни приняли; но, к удивлению моему, меня обласкали и меня же самого просили забыть о случившейся вчера за столом истории. Они меня же сожалели, что я еду с таким человеком, который так странно себя держит. Эта доброта поразила меня и растрогала до слез.

Предприниматели направлялись в Москву.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Во всю дорогу от Нижнего до Москвы Бенни с Ничипоренко не говорили друг с другом ни слова. Бенни в одно и то же время занят был обдумыванием, что бы такое ему написать пригодное для печати из английской жизни, и кипятился все более и более скрытым негодованием на своего партнера. Ничипоренко был совершенно спокоен. По выезде из Нижнего на лице его опять засияла значительная улыбка самомнящего, но ни к чему не способ-

ного петербургского деятеля тогдашних дней. Ничипоренко знакомился в своем третьеклассном вагоне направо и налево, «разрушал предрассудки», «обрывал сентиментальность», «проводил идею» и вообще был в своей сфере и в своем любимом духе.

Это самодовольство Ничипоренки, после стольких доказательств его неспособности и неумения ни за что взяться, приводило Бенни в отчаяние. Отчаяние это еще более увеличивалось тем, что этот Ничипоренко, по питерским рекомендациям, был звезда, жемчужина, Голиаф, которым в Петербурге любовались, на которого надеялись и у которого заповедали Бенни учиться и брать с него пример, потому что он-де уже *все знает* и научит, как и где себя держать, сообразно всяким обстоятельствам.

— Всю дорогу, глядя на Ничипоренку (говорил Бенни), я спрашивал себя, что может выйти из моей поездки с этим человеком? Я все более и более убеждался, что в этой компании мне не предстоит ничего, кроме как только беспрестанно компрометировать себя в глазах всех сколько-нибудь серьезных людей; но я решительно не знал, куда мне его деть и где искать других людей.

Предприниматели прибыли в Москву вечером, остановились на Тверской в гостинице Шевалдышева и тотчас же принялись литераторствовать. Бенни имел при себе английский журнал, в котором была довольно занимательная для тогдашнего времени статья о мормонах. Он сел переводить ее, а Ничипоренко взялся писать корреспонденцию *с дороги,* но почувствовал позыв ко сну и лег в постель. Перевод Бенни был сделан очень дурным русским языком и в этом виде никуда не годился; но Ничипоренко обещался ему все выправить и пристроить. Сам Ничипоренко написал корреспонденцию и подал ее через одного своего знакомого в «Русскую речь», чтобы здесь ее поскорее напечатали и выдали бы за нее деньги; но в «Русской речи» корреспонденция эта не была принята, и Ничипоренко опять решил послать ее в «Искру» или в «Экономический указатель». Сами же предприниматели оставались в Москве. В это время они попали здесь в один литературный дом. Хозяйка этого дома, пожилая дама, отличалась благородством своего личного характера и горячностию убеждений, но страдала неукротимою

невыдержанностию в спорах, до которых с тем вместе была страстная охотница. Теперь случай сводил эту даму с Бенни и Ничипоренко на новое несчастие сего последнего. Здесь, может быть, еще раз следует упомянуть, что покойный Ничипоренко был замечательно нехорош собою от природы и, кроме своей неблагообразности, он был страшно неприятен своим неряшеством и имел очень дурные манеры и две отвратительнейшие привычки: дергать беспрестанно носом, а во время разговора выдавливать себе пальцем из орбиты левый глаз. Все это вместе взятое на нервного человека, а в особенности на нервных женщин действовало ужасно невыгодно для Ничипоренки. Этим же безобразием своей наружности, неряшливостью и отталкивающими манерами Ничипоренко с первого же своего визита произвел и на впечатлительную, нетерпеливую и раздражительную хозяйку дома самое неблагоприятное для себя впечатление. Невыгодное впечатление это Ничипоренко еще более усилил чисто маратовскою кровожадностию, которой он, вероятно, и не имел, но которую, по бестактности своей, считал долгом выказывать в этом «благонадежном, *но белом* доме». К выражению этой кровожадности его подзадоривало присутствие посещавшего этот дом на правах жениха флигель-адъютанта, которому хозяйка, разумеется, оказывала внимание, как будущему своему зятю. К концу первого вечера, проведенного Ничипоренкою в этом доме, он устроился так, что хозяйка просто уже питала к нему отвращение. Отвращение это в ней скоро еще более увеличилось и сделалось для других предметом любопытнейших наблюдений.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

В ряду московских литераторов, среди которых проводила свою жизнь эта «белая дама», она не встречала ничего подобного Ничипоренке ни по его великому невежеству, ни по большой его наглости, ни по бесконечному его легкомыслию и нахальству.

Ничипоренко в своей простоте ничего этого не замечал и, увлекаясь своею ролью *предпринимателя,* как на зло, ломался, кривлялся, говорил не иначе, как от лица

какой-то партии: *«мы», «у нас решено», «наши люди готовы»* и т. п. словами. Ничипоренко вел себя так, как ведут себя предприниматели, описанные в некоторых известных повестях и в романах, но то, что люди в повестях и романах, по воле авторов, слушают развеся уши, за то в действительной жизни сплошь и рядом называют человека дураком и просят его выйти за двери. Это и случилось с Ничипоренкою. Московская хозяйка Ничипоренки не выдержала его тона и сказала ему, не обинуясь, что она *«не любит красных и не верит им».*

— А мы не любим *белых,* — смело отвечал Ничипоренко, — и им не верим.

— Да кто это — вы? кто это — вы? — вскричала, вспыхнув, хозяйка.

— Мы...

— *Мы!* — повторила с презрительною гримасою хозяйка и тотчас, сделав гримасу, передразнила: — «Кто идет? — Мы. — Кто — вы? — Калмык. — Сколько вас? — *Одна».* Вот вам ваше и «мы».

А что касается до тогдашних петербургских красных... то мнения хозяйки насчет этих людей были самые дурные, и, надо сказать правду, Ничипоренке трудно было ей что-нибудь возражать, потому что она знала про петербургских красных их настоящие *дела,* а не подозрения и фразы. Когда при этой смете было упомянуто о денежных недоразумениях между Н. А. Некрасовым и покойною первою женою Николая Платоновича Огарева, Ничипоренко вступился было за поэта и хотел представить все дело об этих денежных недоразумениях апокрифическим; но, во-первых, оказалось, что хозяйка хорошо знала это дело, а во-вторых, знал хорошо эту историю и Бенни, и знал он ее от самих гг. Герцена и Огарева, причем Бенни рассказал, как Некрасов, бывши за границею, пытался было повидаться с Герценом и объясниться насчет этих недоразумений; но Герцен, имея твердые основания считать всякие объяснения поэта излишними, отказался принять его.

— Вы это сами видели?

— Я присутствовал при этом.

Ничипоренко спасовал и сказал:

— Ну, хорошо, пусть даже это будет и так, но это одна неаккуратность... Очень многие хорошие люди с день-

гами неаккуратны. Я говорю не об общей, *не о мещанской* честности, а *о честности абсолютной* и, употребляя слово *мы,* говорю от лица *всех петербургских литераторов,* со мною единомысленных.

Услышав это, дама очень резко отозвалась и о многих других литературных кружках и, не обинуясь, назвала людей этих кружков невеждами. Ничипоренко совсем вскипел и вступился за репутацию литераторов Петербурга. Он решился подшибить даму сразу и притом подшибить как можно больнее и беспощаднее. Он знал по слухам, что хозяйка, с которою он вел эти дебаты, очень любила и уважала покойных московских профессоров Кудрявцева и Грановского и даже была другом одного из них. Поэтому, чтобы уязвить ее как можно более, Ничипоренко покусился на память этих двух покойников.

— Что же, — сказал он, — да что из того, что у нас невежды? Во-первых, это еще неизвестно, невежды ли они или не невежды, потому что в том, что следует знать для народного счастья, наши знают больше, чем ваши; а во-вторых, теперь ведь сентименталов, вроде вашего Кудрявцева с Грановским, только презирать можно.

— Как вы смели это сказать! Как вы смели заикнуться об этом в моем присутствии, что этих людей можно презирать! — вскипела за своих друзей хозяйка.

— А отчего же бы и не сказать? что же такого сделали эти ваши трутни? Они конституции, может быть, какой-то добивались? да нам черт ли в ней, в этой ихней конституции! Нам нужен народ, а они ничего не сделали для народного дела.

— Они воспитали целые тысячи людей, из которых ни один не скажет такой глупости, какую я сейчас слышала.

Ничипоренко звонко захихикал.

— И все-таки — что же они сделали, эти люди? Говорить научили? да? — запытал он.

— Они научили людей быть честными людьми.

— Честными!

Ничипоренко опять захихикал и начал, нимало не смущаясь, развивать ту мысль, что такого рода честность, какую мог внушать Кудрявцев, восторгавшийся целомудренными римскими матронами, или Грановский, веровавший даже в жизнь за гробом, скорее вредна, чем полезна.

— Вы в Москве о них жалеете, а мы в Петербурге даже радуемся, что эти господа Грановские к нашему времени убрались и поочистили место другим. Пусть их также беседуют теперь на том свете с Пушкиным и целуют его ручку за Таню, которая раз «другому отдана и будет век ему верна».

Читая этот монолог, Ничипоренко не замечал или и замечал, но не придавал тому значения, что хозяйка, перед которою говорил он, менялась в лице и, наконец, в неукротимом негодовании встала, á la Ristori, [1] протянула руку и молча указала ею на двери.

Видя, что он не трогается с места, она упавшим голосом проговорила: «Вон! вон! сию минуту вон!» и с тем вместе сама, с нервными слезами на глазах, выбежала, шатаясь, из своего кабинета.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Ничипоренке положительно не везло за Петербургом; не везло с ним и из-за него и Артуру Бенни. Предприниматели были всего вторую неделю в дороге и попали всего только во второй русский дом, а уже им во второй раз указывали на двери. Тут в самом деле в качестве предпринимателя было над чем призадуматься! Артур Бенни был страшно жалок в том печально-смешном положении, в которое его поставили его петербургские знакомые, отправив для изучения России с таким руководителем, как Ничипоренко. Бенни еще в Петербурге изумляла крайняя невоспитанность Ничипоренки, но там она еще приходилась как-то к масти того кружка, в котором он зазнал этого предпринимателя, и не била в глаза. По незнанию России и по своему чистому младенческому легковерию Бенни думал, что, стало быть, таковы повсюду нравы в России и что несносная невоспитанность Ничипоренки тяжела только для него, человека нерусского, а русским людям она всем нисколько не противна, и вдруг, повсеместно, такое разочарование! Как только они вырвались из атмосферы, которою тогда дышали не-

[1] Подобно Ристори *(франц.)*.

которые кружки в Петербурге, и попали к другим людям, — их только отовсюду гонят и гонят! Теперь Бенни стало ясно, что за петербургскими рогатками человек, который ведет себя как Ничипоренко, и проводник и сотоварищ непригодный. Бенни, не обинуясь, высказал все это Ничипоренке в глаза и старался объяснить ему всю нелепость его поведения. Ничипоренко расхохотался было, но Бенни вспылил и объявил ему, что если он еще где-нибудь так поведет себя, как вел до сих пор, то он, Бенни, просто выбросит его в окно. У них при свидетелях произошла в гостинице Шевалдышева очень жаркая сцена, в заключение которой Ничипоренко опять просил у Бенни прощенья и сел писать новую корреспонденцию в петербургские газеты. Денег у них к этой поре уже не было ни гроша, и им нечем было ни жить, ни ехать. Ни «Искра», ни «Экономический указатель» посланных этим изданиям корреспонденций Ничипоренки не печатали и денег ему за его литературу не высылали.

Между тем московская дама, у которой Ничипоренко потерпел свою вторую неудачу, женщина очень доброго и благородного сердца, почувствовала большое сострадание к юному, неопытному и вовсе не знавшему России Артуру Бенни. Она послала за ним одного из своих знакомых и, призвав Бенни к себе, сказала ему, что негодование ее на его товарища вовсе не падает на ни в чем не повинного Бенни; но что если он, Бенни, хочет путешествовать по России с тем, чтобы познакомиться с страною и с хорошими русскими людьми, то прежде всего он должен освободить себя от своего петербургского товарища. Бенни признался, что он и сам давно думает точно так же и давно видит, что с ним в Петербурге сыграли очень нехорошую штуку, давши ему такого компаниона, каков был Ничипоренко.

— Да, ваши петербургские друзья решительно ничего не могли вам сделать хуже, как дать вам такого спутника, — подтвердила ему дама. — Вам с ним невозможно будет показаться ни в один порядочный дом, не ожидая ежеминутного срама: в этом вы мне можете поверить.

Бенни был с этим совершенно согласен; он готов был расстаться с Ничипоренко ту же минуту, но не находил никаких средств от него отвязаться.

— В таком случае я вам просто советую отказаться от путешествия, которое в сообществе этого господина принесет вам только одни скандалы, — сказала ему дама.

Бѐнни нашел это основательным, и с этих пор ему нужен был только предлог, под которым бы он мог удобнее оставить задуманное путешествие. Но как это сделать после того, как он обещал Ничипоренке ехать с ним в Малороссию, пожить в Прилуках, быть в Киеве, а главное, познакомить его с Иваном Сергеевичем Тургеневым, к чему Ничипоренко, всегда имевший неодолимую слабость к знакомствам с известными людьми, стремился неудержимо.

Он даже забывал говорить и о «предприятии» при мысли, что будет скоро «гостить у Тургенева лето в деревне». Он уверял, что это ему «очень нужно», и действительно впоследствии доказал, что не лгал: Иван Сергеевич Тургенев понадобился г-ну Ничипоренко для того, чтобы впутать его в дело, в которое, окромя Тургенева, попали многие люди, никогда ничего не знавшие о настоящих планах и предприятиях Ничипоренки.

Но об этом будет речь впереди, а теперь возвращаемся к нашей истории.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Бенни не знал, как ему отвязаться от Ничипоренки.

Сказать Ничипоренке прямо, что он не годится ни для какого предприятия, Бенни находил неудобным: Ничипоренко вернулся бы тотчас же в Петербург и рассказал бы, что Бенни «дружит с постепеновцами», что он просто *темная личность,* что он забраковал его, Ничипоренко, человека столь известного во всем Петербурге, и забраковал единственно потому, что он не позволил ему хитрить.

Товарищи Ничипоренко по коммерческому училищу говорят, что он еще с детства был «неуловим и неуязвим».

Будь на месте Бенни человек порассудительнее и посерьезнее, он, конечно, не побоялся бы этого: он понял бы, что никакой социальной революции в России в те дни еще не было, что революционерам здесь делать нечего, и затем благоразумно бросил бы этого Ничипоренко, как бросали его многие люди, не возбраняя ему распускать о них что он хочет и кому хочет. Бенни уехал бы себе назад в свой вульвичский арсенал получать пять тысяч рублей жалованья, и тогда что ему в Англии было бы до Ничипоренки? Но честный маньяк Бенни, к сожалению, ни к какой серьезной вдумчивости не был способен. Он никогда не мог видеть перед собою всего дела в целом его объеме, а рассматривал его по деталям: это, мол, если неловко, то, может быть, вот это вывезет. А притом как было, вернувшись в Англию, представиться Герцену и сказать ему, что никакой организованной революции в России нет, а есть только одни говоруны, которым никто из путных людей не дает веры. Ведь Герцен уже объявил, что он «создал поколение *бесповоротно социалистическое»,* и люди повторяли эти слова... Выходит большая неловкость! Опять-таки другой человек, более серьезный, чем Бенни, не подорожил бы, может быть, и г-ном Герценом, который, как на смех, в ту пору доверялся людям без разбора и часто уверял других в том, о чем и сам не был удостоверен; но Бенни не мог сказать всю правду г-ну Герцену. Герцен был его кумир, который не мог лгать и ошибаться, и Бенни во что бы то ни стало хотел разыскать ему скрывающуюся в России революцию. Такое упорство со стороны Бенни было тем понятнее, что он был действительно фанатик и социалист до готовности к мученичеству и притом верил, что Александр Иванович так грубо ошибаться не может и что революция в России действительно где-то есть, но только она все от него прячется. А между тем, пока Бенни предавался этим рассуждениям, злосчастный Ничипоренко окончил еще новые корреспонденции в «Экономический указатель» и в «Искру» и собирался скорее вон из неприветливой Москвы. Отъезд предпринимателей должен был состояться завтра. Бенни ехал против воли своей, а отказаться и сказать Ничипоренке: «оставьте меня, я не хочу с вами ездить», — он не мог. Тогда началась преуморительнейшая игра, похожая на водевиль.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Чтобы как-нибудь спасти этого несчастного Бенни, столь комически начавшего свое путешествие и теперь изнемогавшего под бременем своей нерешительности и деликатности, дама, о которой здесь часто идет речь, вызвалась послать ему на почтовую станцию в Орел телеграмму о том, что важные дела требуют его немедленного возвращения в Москву. Полагали, что слов «важные дела» будет достаточно для Ничипоренки и что предприниматель этот с миром отпустит от себя Бенни, а сам благополучно поедет себе один к своим домашним ларам и пёнатам и так же благополучно будет себе что-нибудь писать в своих Прилуках «для блага народа» и читателей «Искры» и «Экономического указателя», а Бенни таким образом освободится от своего тирана на волю.

Артур Бенни тоже находил, что такой депеши с него будет за глаза довольно, чтобы отбиться в Орле от Ничипоренки.

План этот был приведен в исполнение: как только предприниматели с своими саками и зонтиками уселись в почтовую карету, так, два часа спустя, в Орел, на имя Артура Бенни, была послана условленная депеша. Бенни исправно получил ее в Орле и разыграл перед Ничипоренком, что депеша эта получена им совершенно неожиданно, но что, к сожалению, она имеет значение очень важное и потому он, Бенни, должен отложить свое намерение путешествовать по России до будущего года, а теперь, немедленно же, теми же следами, должен спешить назад в Москву, а оттуда бог знает куда, — куда потребуют обстоятельства. Но ни Бенни, ни спасавшая его от Ничипоренки московская «белая» дама, никто не отгадали, как примет эту депешу Ничипоренко.

Услыхав, что у Бенни есть важные дела, которых Ничипоренко так вотще до сих пор добивался, петербургский предприниматель так и вцепился в предпринимателя лондонского: покажите, мол, мне, что это такое бывают за *важные дела?* В Москве уповали, что Ничипоренко поспешит в Прилуки и рад будет там отдохнуть от своих революционных работ и треволнений, но он, чуть только услышал про «важные дела», сейчас же думать забыл и про отдых в ничтожном малороссийском городишке и про

всех тех, с которыми он там хотел повидаться и кого хотел просветить. Ничипоренко коротко и ясно объявил Бенни, что и он с ним тоже вернется в Москву. Бенни стал упирать на то, что его вызывают *одного*, но Ничипоренко отвечал, что это, очевидно, или недосказанность, или пустая деликатность к нему, потому что знают, что он, между прочим, желает повидаться с родными; но что он этой деликатности не принимает и непременно едет назад. Одним словом, стал — как Елисей перед Ильею — и стоит в одном, что «жив господь и жива душа твоя, аще оставлю тебя. Ты в Вефиль, так и я в Вефиль, а ты в Иерихон, так и я в Иерихон, и берега Иордана увидят меня с тобою».

— Да и притом, — говорит, — вы рассудите: *двое* ведь все-таки более значит, чем *один*. Зовут одного, а мы приедем двое, — это им не убыток, а прибыль.

Бенни поднялся на хитрость и пустился доказывать Ничипоренке, что при революциях прежде всего должна соблюдаться точность в исполнении распоряжений, что если Бенни одного требуют назад, так он один и должен ехать; а если его, Ничипоренко, назад не требуют, то значит высшая революционная власть находит нужным, чтобы он, Ничипоренко, ехал вперед, и он так уж и должен ехать вперед.

Такая речь крайне удивила Ничипоренко, вовсе не допускавшего мысли, чтобы в революциях нужна была какая-нибудь субординация. Ничипоренко, растерявшись несколько от этой неслыханной новости, сказал Бенни, что он не понимает, зачем нужна в революциях субординация. Что это значит опять зависимость и что, «по его мнению, требовать от предпринимателя слепого послушания, это значит вводить в предприятие бюрократию».

Бенни поговорил с ним о разнице между субординациею и бюрократиею и увидал, что политический друг его и этой разницы не понимает и что с ним гораздо удобнее шутить, чем сердиться на него или убеждать его. Он ему рассказывал, что в революциях даже и расстреливают и вешают. Ничипоренко удивился. Революционер, бросивший берега Албиона для того, чтобы быть исполнителем русской революции, теперь сам уже смеялся над тем человеком, которого в Петербурге считали способнейшим деятелем и мечтали послать в Лондон для самоважнейших

(как впоследствии оказалось, самых пустых) негоциаций с Герценом. Теперь Бенни просто подтрунивал над этим важным человеком и подстрекал его тем, что «важные дела», для которых его, Бенни, вызывают назад, он не может назвать, потому что это запрещено ему его *«Старшим»*.

— Ну вот, и «Старшим»! Да это, может быть, черт знает кто, этот «Старший»?

— Это все равно: старшего надо слушаться.

— Как же вам, стало быть, если и палку поставят старшим, вы и палку будете слушаться?

— И палку буду слушаться. Без этого ничего не идет.

— Фу, чертовщина какая!

Ничипоренко задумался: а может быть, и точно в революциях нужна субординация? Может быть, и в самом деле у *всамдельных* революционеров это так? Желание быть всамдельным революционером диктовало Ничипоренке суровую мысль, что он должен послушаться Бенни и ехать далее, но, с другой стороны, вспомнив, что ведь собственно ни он и никто из русских революционеров еще никакого своего революционного начальства не имеет, он находил, что ему некому и повиноваться: Герцен далеко, а здесь, в России, все равны и старшего никого нет.

— Нет, как вы хотите, а я не останусь, — отвечал Ничипоренко с самым решительным видом.

Удовольствие возить «герценовского эмиссара» и ездить с предприятием было так сильно в эти минуты в Ничипоренке, что он не слушал никаких доводов и стоял на том, что, несмотря ни на субординацию и ни на какие революционные законы, он все-таки едет назад; Бенни решительно потерял надежду отвязаться от своего спутника: он указывал ему и на близость его родины от Орла и советовал проехаться туда и навестить сестер, но ничего не помогало. Ничипоренко твердил: «Что сестры! теперь не до родства, а вы без меня бог знает чего напутаете», и он ни на пядь не отставал от Бенни.

Тогда Артур Бенни просто бежал от Ничипоренко из гостиницы. Он вышел из комнаты «по надобности царя Саула» и на Болховской улице, в Орле, заложил у часовщика Керна свои карманные часы и с вырученными за них восемнадцатью рублями бросился в отделение почтовых карет. Здесь он думал осведомиться, сколько порожних

мест есть в экипаже, который поедет вечером в Москву. Харьковский экипаж, идущий в Москву, случайно был в это время у подъезда, но в нем не было ни одного места... Зато можно было купить кондукторское место у кондуктора. Бенни тотчас же воспользовался этим случаем: он купил себе это место и, тщательно задернувшись в нем занавесками, уехал, послав, впрочем, Ничипоренко со сторожем почтовой станции записку, что он воспользовался единственным местом в почтовом экипаже и уехал в Москву. Теперь Ничипоренко волею-неволею *должен* был остаться в Орле, а Бенни прикатил в Москву. Но Ничипоренко еще перехитрил Бенни и доказал, что не одни пауки взлетают под облака на птичьих хвостах.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Бенни приехал в Москву очень рано и в семь часов утра был уже у одного из своих московских знакомых, знавшего все комические побегушки предпринимателей друг за другом. Хозяин и гость, не будя никого семейных, сели вдвоем за ранний чай, и Бенни с веселым смехом начал рассказывать историю своего бегства от Ничипоренки; но не успел хозяин с гостем поговорить и четверти часа, как один из них, взглянув на улицу в окно, увидал у самого стекла перекошенное и дергающееся лицо Ничипоренки. Он стоял как привидение, появление которого в самом деле решительно невозможно было объяснить ничем, если бы он не объяснил его через минуту сам. Ничипоренко рассказал, что он нашел на станции в Орле очень доброго офицера, едущего в Москву «по казенной надобности», упросил того взять его с собою и догнал Бенни на перекладной. Спасения от него не было нигде, а ехать опять с ним же вместе назад, в Петербург, значило опять попасть в кружок тех же самых людей, о которых Бенни в это время уже не мог без раздражения вспомнить и с которыми потом никогда не сходился во всю свою жизнь в России.

Настигнутый Бенни сообщил Ничипоренке, что он должен ожидать кого-то в Москве в течение неопределенного времени. Ничипоренко и здесь не отстал: «И я буду ждать

с вами», — сказал он, и опять жил с Бенни с неделю в гостинице Шевалдышева. Бенни бывал у той писательницы, которая не переносила присутствия Ничипоренки, и у некоторых других московских литературных людей, и у двух тамошних редакторов Каткова и Аксакова. Катков с ним беседовал долго, выспрашивал много и попросил оставить какой-то проект; Бенни оставил, Катков через час прислал проект в запечатанном конверте без адреса и без малейшего слова приписки. Бенни обиделся страшно. Аксаков принял Бенни очень холодно и проекта читать не стал, сказав: «это дело катковское», но посоветовал Бенни «прежде узнать русский народ» и затем откровенно уклонился от продолжения с ним знакомства. Ничипоренко во все это время или сидел в своем номере, или гостевал у брата известного Василия Кельсиева, студента Ивана Кельсиева, необыкновенно доброго и чистого сердцем юноши, более известного в московских студенческих кружках под именем *доброго Вани.* Он тоже потом, быв арестован по обвинению в каком-то политическом преступлении, бежал из-под стражи и, пробравшись за границу, вскоре умер там от чахотки. Жизнь Ничипоренки в Москве была невыносимая, вялая и скучная, но он, кажется, решился терпеть все до конца и уезжать из Москвы не собирался. «Искра» и «Экономический указатель» корреспонденций его опять не печатали и денег ему не высылали, и он жил займами, перебиваясь с гроша на грош. Неизвестно, когда бы и чем бы кончилась эта игра, если бы, к счастию Бенни, у них не подорвались и последние их средства. Предпринимателям решительно и буквально стало нечего есть. Бенни, которого принимали кое-где, мог еще найти себе радушно предложенный обед и даже приют, но Ничипоренке ровно некуда было ни приютиться, ни попасть на хлебы; комната «Вани Кельсиева» была вся с птичью клетку, а обеда у него часто недоставало и у самого. Он, по его шутливому замечанию, *«закуривал голод»* вонючим кнастером из своей коротенькой трубочки, с которою никогда не расставался ни дома, ни в гостях. Тогда только, в этих непреоборимых обстоятельствах, Ничипоренко, спасая себя от холода и голода, решился ехать в Петербург. Уезжая из Москвы, он, впрочем, успокоивал Бенни, что едет ненадолго, что он там только пораздобудется деньжонками и на днях же вернется снова

к Бенни для продолжения предприятия. Наивный Ничипоренко вовсе и не замечал, что его выпроваживали, и уезжал с полным упованием, что он во все это время делал какое-то предприятие, которое остановилось только за случившимся недостатком в деньгах, но разыщет он в Петербурге деньжонок, и ему надо будет вернуться, и предприятие опять пойдет далее. Напуганный Бенни опасался, что Ничипоренко действительно, того и гляди, снова явится в Москве, но его успокоивали, что этого не может случиться, потому что на это нужны деньги, а на деньги в Петербурге не тароваты.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Выпроводив Ничипоренко в Петербург, Бенни остался в Москве тоже без гроша. В это время он воспользовался моим гостеприимством и, живучи у меня, в доме Волоцкой, с моею помощию привел свою небольшую компиляцию о мормонах в такое состояние, что она могла быть напечатана в «Русской речи». Это и была первая и единственная статья, напечатанная Бенни в газете Евгении Тур, постоянным сотрудником которой Бенни никогда не был и назван таковым в некрологе «Иллюстрированной газеты» г-на Зотова совершенно неосновательно. Бенни в это время просто жил у меня в Москве, по совершенному недостатку средств к выезду, и от нечего делать приглядывался к московской жизни и нравам и был принят в дома некоторых московских литераторов и ученых. Русская литература в то время Бенни нимало не интересовала, а его революционные идеи в Москве не встречали никакой поддержки. Одни из москвичей, которым он высказывал свои планы, только отрезвляли его от революционного опьянения, в котором он явился в Россию, а другие, слушая, как он хлопочет о России, просто пожимали в недоумении плечами, дескать: «что он Гекубе, и что ему Гекуба?» и отходили от него в сторону. Как Петербург представил ему совсем не то, что ожидал он встретить в нем по своим лондонским соображениям, так и в Москве он опять нашел совсем не то, что ему рассказывали: он видел все лениво, рыхло, ничего не ворох-

нешь, — ничего не сдвинешь. Где этот *раскол,* про который он наслышался в Лондоне всяких чудес от Бакунина и Василия Кельсиева? Раскол не хочет и взглянуть на того, кто ищет его ради других целей, а не ради раскола. Где эта партия vieux bojards moskowites?[1] Сидит она на семи дубах, в осьмой упирается; и дела ей нет до того, что затевает лондонский «немчик». Бенни еще раз убедился, что в России в то время решительно не было никакой организованной революции; что в Петербурге тогда только выдумывали революцию и занимались ею, так сказать, *для шику,* да и то занимались люди, вовсе не имеющие ни малейшего понятия о том, как делаются революции. В отрезвляющем, консервативном покое равнодушной к питерским затеям Москвы Бенни теперь задавал себе вопрос: зачем он сюда приехал? что такое значит здесь *он,* фактически русский подданный и документально «натурализованный английский субъект», человек нерусский ни по крови, ни по привычкам и космополит по убеждениям? Не мудрено, что в это время Бенни и сам себя вопросил: что он Гекубе, и что ему Гекуба? Молодой, даже совсем юный Бенни стал понимать, что он сделал большой промах, что положение его просто глупо и что его и лондонские его друзья и петербургские нарядили в какие-то политические шуты и выпихнули его паясничать с убогеньким простачком, который вертится перед ним и ляскает, как холщовая коза перед пляшущим на ярмарке медведем. Увидать себя такою игрушкою не радостно и не легко; а тут еще с тою известностию, которую он так быстро приобрел как «герценовский эмиссар», нет возможности скрыться бесследно, нет и средств жить. А между тем все бежит, все корпит, все точит, все гоношит деньгу, все кричит: *«некогда, некогда»,* словно напоминают сибиряка, забывшего на ярмарке обо всех революциях и повторявшего одно *некогда.* Всем некогда, и все едят зато свой хлеб, а у него, у самого предприимчивого из предпринимателей, времени бездна и ни гроша заработка, который был бы так легок при его относительно очень хорошем образовании. Куда деть свое праздное время? на что употребить его, чтобы без стыда смотреть, как все вокруг трудится и работает? Как избавить

[1] Старых московских бояр *(франц.).*

себя от неприятности садиться за чужой стол?.. «Изучать народ», живучи под чужим кровом и на чужом хлебе, для совестливого Бенни было несносно. Прежде всего теперь нужно было позаботиться о своем собственном существовании, о своем насущном хлебе. В Москве Бенни решительно не мог ничего добыть и собрался в Петербург, где надеялся найти переводную работу и жить, пока осмотрится и успеет списаться с Англиею. В это время он имел положительное намерение уехать в Англию, но, по недостатку характера, не устоял на этом и передумал.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Между тем Ничипоренко в это время был уже в Петербурге и в Москву не собирался. К возвращению Бенни в Петербург здесь уже все было против него восстановлено и сам Бенни объявлен ни более ни менее как русским *политическим шпионом*, хитро подосланным в Петербург русским правительством через Лондон. Сплетне этой предшествовала целая история. Тотчас по выезде Бенни Н. С. Курочкин и его друзья в Петербурге распечатали письма, которые Бенни им оставил для отсылки в Англию. Прочитавши эти письма, любопытные люди не нашли в них ничего выдающего Бенни с дурной стороны. Бенни, который предвидел, что его письма не избегнут люстрации, как выше сказано, нарочно оставил в руках своих петербургских друзей не политическую свою корреспонденцию, а простые письма к своим лондонским родственникам. Курочкин и другие люстраторы, подпечатавшие эти письма, поняли, что Бенни их нарядил в дураки, и рассердились. Они чувствовали, что теперь непременно должны отмстить за себя, и отмстить, не пренебрегая никакими средствами. В тогдашнее время всем людям, которые почему-нибудь не разделяли красных убеждений, в Петербурге тотчас же приснащали звание правительственных шпионов. Гнусное средство это разделываться таким образом с людьми из-за несходства в убеждениях и вкусах тоже было в ходу в Петербурге, а в те времена, к которым относится этот рассказ, стоило какому-нибудь прощелыге произнести это слово о человеке, и оно тотчас же

без всякой критики повторялось людьми, иногда даже довольно умными и честными. Это было прекрасным средством для отвода глаз от настоящих мушаров, которых было множество, особенно из людей, «преданных русскому искусству». Проходили годы; оклеветанный лже-шпион оставался нищ, убог; не было ни одного факта, чтобы он кого-нибудь выдал и на кого-нибудь сошпионил, а кличка, данная ему первым, неразборчивым на средства, бесчестным человеком, все-таки повторялась людьми не бесчестными. Так начиналось царство клеветнического террора в либеральном вкусе после террора в смысле ином. Сказано было «кто не с нами — тот подлец», а «подлец», разумеется, и шпион. Теперь, когда шпионов таким образом произведено так много, что за ними уже не видно настоящих мастеров этого ремесла, и когда нравы партии, дающей такие названия, изучены и разоблачены, подобная кличка уже никого не запугивает и не огорчает; но тогда, в то *комическое время,* были люди, которые лезли на стены, чтобы избавиться от подозрения в шпионстве. Действительные шпионы, распечатавшие письма Бенни, решили назвать его своим именем. Шпионы эти, или люстраторы, или как их назвать не знаю, решили, что Бенни шпион; но так как для многих он был еще «герценовский посол», то они не торопились объявлять о его шпионстве тотчас же вслед за тем, как была сочинена эта гнусная клевета, а выжидали случая, чтобы неосторожный Бенни чем-нибудь сам себя скомпрометировал, и тогда положили все это сплесть, сгруппировать и выставить его шпионом с представлением каких-нибудь доказательств его шпионства. Случай не замедлил представиться. Случай этот был возвращение в Петербург Ничипоренки и его рассказ, как Бенни дружил с постепеновцами; как он обнаруживал нерешительные действия, куда-то исчез из Орла и, наконец, теперь остался в Москве. Этого было слишком достаточно для того, чтобы начать говорить, что Бенни ведет себя подозрительно и что он всеконечно не что иное, как подосланный через Англию шпион русской тайной полиции. При постановлении этого решения не стеснялись ни тем, что Бенни беден, нищ и был вынужден для возвращения из Орла в Москву продать последние часы, чего со шпионом богатого ведомства не должно было случиться, ни тем, что он имел в Англии около

пяти тысяч рублей ежегодного жалованья и за шпионство в России большего вознаграждения, конечно, ожидать не мог.

Решение это было на руку петербургским друзьям эмиссара, потому что оно освобождало этих фразеров от всякой необходимости давать революционную работу пылкому Бенни и возвращало самим им прежнее видное положение в их собственном кружке, а потому оно всем очень понравилось и было принято единодушно. В подобных кружках *подозрение* всегда равнялось *доказательству,* и Бенни во время его отсутствия был объявлен в Петербурге несомненным шпионом и по возвращении его из Москвы в Петербург встречен в Петербурге с обидною осторожностью, как вполне изобличенный шпион, которого разгадали и с которым общего ничего иметь не хотят. С этих пор так мало свойственное легкомысленному, но честному маньяку Бенни звание шпиона было усвоено ему и удерживается за ним даже и до сего дня, с упорством, в котором поистине не знаешь, чему более дивиться — глупости или злобе ничтожных людей этой низкой *«партии»,* давшей впоследствии неожиданно самых лихих перевертней еще нового фасона.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Бенни, уехавший из Петербурга герценовским эмиссаром и возвратившийся сюда всего через месяц шпионом, прослышав о темном и пошлом коварстве господ люстраторов, уличил здешних друзей своих во вскрытии и задержании его писем и отшатнулся от этих людей, столь бесцеремонно поступивших и с чужими тайнами и с чужими репутациями. Наученный посредством своих московских столкновений, что в среде так называвшихся тогда «постепеновцев» гораздо более уважают те правила жизни, в которых вырос и которые привык уважать сам Бенни, он не стал даже искать работы у литераторов-нетерпеливцев и примкнул сначала на некоторое время к редакции «Русского инвалида», которою тогда заведовали на арендном праве полковник Писаревский и Вл. Н. Леонтьев. В этой газете Бенни работал недолго

и скоро перешел из «Инвалида» в редакцию «Северной пчелы». В «Северной пчеле» Бенни успокоился. Лица, составлявшие тогда редакцию этой газеты, не давали ни малейшей веры толкам, распускаемым досужими людьми о шпионстве Бенни. Бенни, ужасавшийся того, что его ославляют шпионом, впрочем, входил в новую компанию осторожно. Так, например, он упросил покойного В. В. Толбина сказать всем участвующим в «Пчеле», что о нем, Бенни, распространены такие-то и такие-то слухи; Толбин это исполнил в точности, и однажды, при всех сотрудниках газеты, за завтраком у П. С. Усова назвал Бенни в шутку «шпионом». Эта шутка всех передернула, но когда Толбин затем разъяснил, в чем дело, то все протянули Бенни руки и стали просить его забыть перенесенную им от недобрых людей обиду и успокоиться. Таким образом Бенни вошел в редакционную семью не прежде, как получив от всех общее подтверждение, что дурным слухам на его счет здесь никто не верит. [1]

---

[1] Редакция «Пчелы» состояла тогда из П. С. Усова, П. И. Мельникова (Печерского), П. И. Небольсина, Н. П. Перозио, С. Н. Палаузова, В. В. Толбина, И. Н. Шиля, К. П. Веселовского и меня, и никто из нас не питал к покойному Бенни никаких неприятных чувств и ничего худого за ним не знал. Расположенность к нему была так велика, что известный своей деликатностью Павел Степанович Усов даже вида не подавал Бенни, что он, г-н Усов, получал *внушения* не держать Бенни в числе своих сотрудников. Об этом обстоятельстве, известном очень многим живым до сего времени людям, стоит упомянуть в доказательство, что Бенни никогда не был протежируем никаким особым ведомством, а, напротив, из-за него выпадали хлопоты тем, кто с ним водился. Таких хлопот, и подчас довольно серьезных неприятностей, вволю выпадало на долю нескольких лиц, но более всех досталось на мою. Помимо тех низких клевет, которые распускали на мой счет люстраторы бенниевских писем за то, что я не разделял мнений, к которым они настроивали всех, кого могли, и создали благородному юноше горестную славу и в других сферах, где Бенни тоже был на примете, близость моя с этим человеком казалась столь подозрительною, что самое невиннейшее мое желание, отправляясь за границу, проехать по Литве и Галичине подало повод к наведению обо мне весьма курьезных справок. Артур Бенни стал на такую позицию, что к нему даже не дозволялось питать самые позволительные чувства дружества по простым побуждениям, а, дружась с ним, человек непременно должен был попадать в подозрение или в революционерстве, или в шпионстве, или же и в том и в другом вместе и разом, по пословице: «гуртом выгодней». *(Прим. автора.)*

Отношения загнанного в чужой лагерь предпринимателя с новыми его товарищами были прямы, мягки, открыты и недвусмысленны. Да и сам Бенни, после всех заданных ему нравственных встрепок, не бредил более русскою революциею, хотя и после всех этих данных ему уроков не избегал вечных тяготений к революционным людям. Он никогда не прерывал с некоторыми из них своих сношений, никогда не забывал о заботах оправдаться в возведенном на него вздоре и, наконец, попал под уголовный суд по оговору того же Ничипоренко. Поводом к этому было следующее обстоятельство, тоже довольно комического свойства, но кончившееся для многих весьма трагически.

## ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Раскаявшийся прощенный русский эмигрант герценовской партии В. И. Кельсиев, считаясь тогда в изгнании и именуясь «не осужденным государственным преступником»,[1] проезжал из Англии через Петербург в Москву для свидания с тамошними раскольниками, которым впоследствии этот визит наделал кучу хлопот, а приютившему Кельсиева московскому купцу, Ивану Ивановичу Шебаеву, стоил даже продолжительной потери свободы, чего старушка мать Шебаева не перенесла и умерла, не дождавшись решения судьбы арестованного сына. Василий Кельсиев ехал в Москву с паспортом турецкого подданного Яни, или Янини. В Петербурге Кельсиев останавливался на короткое время у Бенни, квартировавшего в то время на Гороховой близ Каменного моста, в доме № 29. Про то, что Кельсиев пристал у Бенни, на несчастие сего последнего случайно сведал Ничипоренко; он знал также и то, что когда Кельсиев опасался сам идти для визирования своего паспорта, то Бенни взял всю эту рискованную процедуру на себя и благополучно получил визу на фальшивый паспорт Кельсиева. Ничипоренко был

---

[1] Такое *звание* принадлежало не одному В. И. Кельсиеву, а его, в официальных бумагах, давали и покойному Алек. И. Герцену и многим другим, но что такое собственно значит «не осужденный государственный преступник», это пусть решат гг. юристы. *(Прим. автора.)*

в восторге от этой проделки и разронял эти новости повсюду, а вскоре после секретной побывки Кельсиева в Петербурге он ездил с упомянутым в сенатском решении по этому делу акцизным чиновником и театральным писателем Николаем Антип. Потехиным в Лондон к Герцену для тех сношений, для которых давно прочили Ничипоренку петербургские друзья Герцена. Покойному Герцену Ничипоренко необыкновенно понравился. Герцен на нем совершенно срезался; он нашел в Ничипоренке то, чего в нем не было ни следа, ни зачатка, именно он отыскал в нем *«большой характер»* и немедленно же отписал об этом в Петербург В. С. Курочкину и Н. Г. Чернышевскому. Ничипоренко в качестве «большого характера» снискал у Герцена огромное доверие и, получив от него полномочие для дальнейших негоциаций, взялся доставить какие-то важные революционные бумаги к белокриницкому митрополиту Кириллу. Это была цветущая, золотая пора Андрея Ив. Ничипоренко — пора, когда он забыл от счастия все свои неудачи при нижегородских «предприятиях». Теперь он был *особа,* а Николай Антипыч Потехин (так читано в решении сената) только был при нем в качестве подначального «доброго малого и болтуна».

Получив от Герцена так называемые «важные бумаги», скомпрометировавшие впоследствии великое множество людей, Ничипоренко, однако, не довез их к митрополиту Кириллу. Он испугался угрожающего ему обыска и бросил все эти бумаги под прилавок в одной из австрийских таможен. Там эти герценовские бумаги без всяких хитростей были найдены убиравшим комнату сторожем, представлены по начальству, прочитаны и чрез кого следует доставлены русскому правительству. Ничипоренко во все это время пребывал в совершенном спокойствии. Беспечность и безрассудство этого человека были так велики, что он даже вовсе не придавал никакого значения тому, что бросил в таможне, посреди фискальных чиновников, секретные революционные бумаги. Он считал все это вздором и благополучно приехал в свои родные Прилуки, вступил в должность, которую ему его петербургские друзья устроили по акцизному ведомству, и сел было здесь спокойным обывателем, как вдруг был арестован и увезен в Петербург.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

В показаниях своих, которые Ничипоренко писал с каким-то азартом покаяния и увлечением поклепа, он записывал все и всех, кого знал и что помнил. Если бы теперь в ходу были пытки, то можно бы подумать, что этого человека душили, жгли, резали и пилили на части, заставляя его оговаривать людей на все стороны, и что он под тяжкими муками говорил что попало, и правду и неправду, — таковы его необъятнейшие воспоминания, вписанные им в свое уголовное дело, где человеческих имен кишит, как блох в собачьей шкуре. Среди таких воспоминаний он вдруг, ни с того ни с сего, вспомнил и о проезде через Петербург В. И. Кельсиева, о том, что Кельсиев в Петербурге был у Бенни. Все это Ничипоренко тотчас же собственноручно самым аккуратным образом записал в свое показание, заметив при этом кстати, что это он говорит *«о том самом Бенни, ездивши с которым в Орел, он заезжал с ним по знакомству во Мценскую деревню Ив. Серг. Тургенева»*.[1] Таким образом Ничипоренке удалось приобщить к делу разом двух своих добрых знакомых: Артура Бенни, который жил в это время в Петербурге, и Ив. Серг. Тургенева, который в это время уже находился за границею, но по этому случаю тоже привлечен был к ответу и приезжал сюда из Парижа. Бенни тоже был, разумеется, призван в следственную комиссию,

[1] Невозможно понять, с какой целью покойный Ничипоренко при следствии вызывал из своей памяти самые пустые события, о которых его никто не спрашивал, а иногда просто даже *сочинял*, чтобы только приписать в свои показания чье-нибудь новое имя. Так, он, например, вспомнил, между прочим, и обо мне и, описывая какой-то сторонний случай, вставил кстати, что «в это де время я познакомился с литератором Лесковым, который своим образом мыслей имел вредное влияние на мои понятия», и далее опять о постороннем. Я сам не читал этих касающихся меня строк, но слыхал о них от Бенни и от Тургенева, которым я вполне верю, а они имели случай читать дело Ничипоренко. По этому поводу я тщательно припоминал себе все мельчайшие подробности моих сношений с Ничипоренко, с которым мы в одно время жили вместе у профессора И. В. Вернадского, но ничего не мог припомнить, чем бы я его мог совратить с доброго пути? Разве тем, что мы с проф. Вернадским иногда позволяли себе слегка воздерживать его от увлечений революциею да *предсказывали* ему его печальную судьбу, которая с ним, на его несчастие, вся и исполнилась? *(Прим. автора.)*

и на вопросы, сделанные ему насчет указанного Ничипоренком проезда г-на Кельсиева через Петербург с паспортом Яни, крепко-накрепко заперся, хотя следователи и убеждали Бенни не запираться, выставляя ему на вид, что это уже бесполезно, потому что Ничипоренко все расписал, но Артуру Бенни казалось, будто его выпытывают, что у членов комиссии есть только подозрение, что г-н Кельсиев проезжал через Петербург, но достоверных сведений об этом нет, а потому Бенни и не видал побудительных причин открывать это «событие». Но в деле действительно было уже собственноручное показание Ничипоренки, в котором подробнейшим образом описывалось пребывание г-на Кельсиева в Петербурге и тем самым доказывалось преступное запирательство Бенни, вмененное ему впоследствии в число обстоятельств, усиливших его вину. Бенни была предложена очная ставка с Ничипоренко, который сам вызвался уличить Бенни в том, что Кельсиев действительно был в Петербурге; но Бенни, не хотя доводить Ничипоренко до этого во всяком случае малоприятного труда, удовольствовался одним представленным ему собственноручным показанием Ничипоренки *и признался и в передержательстве Кельсиева и в своем умышленном запирательстве на первом допросе.* После этого у Бенни был немедленно отобран паспорт на прожитие в России, и он попал под суд. Правда, что у него никогда не был взят его английский паспорт, с которым он во всякое время мог бы свободно перебежать за границу, как перебежал за границу Кельсиев с паспортом Яни (что со всею откровенностию самим же г-ном Кельсиевым и рассказано в книге его покаяний и признаний). Бенни имел все возможности уйти из России даже без хлопот и без риска, но он не хотел этого сделать, опасаясь, что его побег даст делу ничипоренковского посольства к Герцену характер важного заговора и увеличит в глазах правительства вину несчастного Ничипоренко. Дело это шло очень долго. Бенни во все время тихо и мирно сотрудничал в «Северной пчеле» и, вспоминая порою о своих попытках произвести в России вдруг общую революцию с Ничипоренком, искреннейшим образом над собою смеялся, негодуя на тех русских социалистов, которых нашел, но неуклонно стремясь отыскать других, которые, по его великой вере, непременно должны где-то

в России таиться... Иначе он никогда не думал, да и можно ли его винить, что он не знал России, когда сам хиротонисавший его Герцен был тех же самых мнений и уповал и хвалился, что «он создал поколение бесповоротно социалистическое»? Чего после этого можно спрашивать с человека, совершенно чуждого русской почве?

Между тем в это же время Бенни, сталкиваясь с различными людьми столицы, сделал себе несколько очень хороших знакомств. Его отличали и любили в весьма почтенных домах, у людей, занимавших в то время видные места в правительстве. У Бенни были хорошие юридические способности и довольно большая начитанность в юридической литературе. Зная это, два сенатора, в домах которых Бенни был принят, старались открыть ему юридическую карьеру. Он, после нескольких колебаний, согласился на это и начал сдавать в университете кандидатский экзамен. Казалось, вот-вот этот бедный молодой человек ускользнет от мелких дрязг суетной жизни, выйдет на солидную дорогу, на которой его могут ждать и благородный труд, и благодарная деятельность, и доброе имя, но ничему этому не суждено было совершиться. Горячий, как бы весь из одного сердца, нерв и симпатий сотканный, Бенни снова был увлечен круговоротом ежедневных событий: благие намерения его заменились другими, хотя и не злыми, но эфемерными, и он снова попал в положение, которое дало известный повод еще с большим ожесточением распространять о нем вздорные слухи.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Поводом к новым неприятностям для Бенни был известный апраксинский пожар, которому предшествовало несколько меньших, быстро один за другим следовавших пожаров. Тогда везде говорили, что эти пожары происходят будто от поджогов; даже утверждали, что это не простые грабительские поджоги, а поджоги, производимые «красными» с целию взбунтовать народ. Об этом есть свидетельства у романистов Писемского и у Крестовского (см. «Взбаламученное море» и «Панургово стадо»), да это, наконец, столь общеизвестно, что и не нуждается ни

в чьих свидетельствах. Бенни, работая в редакции газеты, куда, разумеется, притекали подобные слухи, все это слышал и знал все эти толки. Но, кроме того, в самый день апраксинского пожара Бенни был свидетелем ужасного события: он видел, как, по слуху, распространившемуся в народе, что город жгут студенты, толпа рассвирепевших людей схватила студента Чернявского (впоследствии один из секретарей правительствующего сената) и потащила его, с тем чтобы бросить в огонь, где г-н Чернявский, конечно, и погиб бы, если бы ему не спас жизнь подоспевший на этот случай патруль (происшествие это в подробности описано в первом томе моих рассказов). Другого студента, родом поляка, г-на К-го (товарища Бенни по Пиотрковской гимназии), избили до полусмерти, и он спасся лишь тем, что начал креститься по-православному и забожился, что он не студент, а «повар княгини Юсуповой». Как уже тут ему, бедному, в этом страхе пришла в голову эта счастливая мысль — не знаю, но только она спасла его: ему дали еще несколько толчков и прогнали *«тарелки лизать»*. Этого избитого, в разорванном платье горюна, по просьбе одного из членов редакции «Северной пчелы», спрятал дворник, некогда служивший в доме Н. И. Греча.[1] Энергичный Бенни, бывший свидетелем этого события, услышав злой рев: «В огонь студентов! Студенты жгут!», выкрикнул громко: «Неправда, неправда! Студенты не жгут, а гасят», и с этим вскочил на одну пожарную трубу, где качальщики, видимо, уставали, и начал работать. За ним последовали три знакомые ему университетские студента и два литератора, и все они начали качать воду. «Видите, мы студенты, и мы гасим, а не поджигаем», — бодро и смело крикнул Бенни в толпу с трубы. Толпе это понравилось, и из нее раздались одобрительные голоса: «Хорошо, барин, хорошо! молодец! работай!»

---

[1] Судьба этого находчивого сармата, спасшегося под именем юсуповского повара, тоже не без интереса. Отправленный «лизать тарелки», он и в самом деле прекрасно было пристроился «при милости на кухне» большого барского дома, но повстанческим террором был отторгнут от сытной трапезы (которую безмерно любил) и увлечен в литовские леса, где и убит при стычке банды с русскими войсками, причем представилась такая странность: на груди его чамарки нашли пришитою русскую медаль за крымскую войну... Вероятно, он это припас про всякий случай. *(Прим. автора.)*

Несколько мещан вскочили и начали качать вместе со студентами. Так это и уладилось благодаря энергии и находчивости Бенни.

Возвратясь домой (Бенни жил в редакции, где все в это время заняты были обстоятельствами ужасного бедствия), Бенни разделял общее мнение, что вредных толков, распространяющихся в народе о том, что Петербург поджигают студенты, скрывать не следует, а, напротив, должно немедленно и энергически заявить, что такие толки неосновательны и что, для прекращения их, полиция столицы обязана немедленно назвать настоящих поджигателей, буде они ей известны. Так это, с общего согласия, и было «Северною пчелою» сделано. В передовой статье номера, вышедшего на другой день после пожара, было от слова до слова сказано следующее: *«Во время пожара в толпах народа слышались нелепые обвинения в поджогах против людей известной корпорации. Не допуская ни малейшего основания подобным слухам, мы полагаем, что, для прекращения их, полиция столицы обязана назвать настоящих поджигателей, буде они ей известны»*. Было сказано ни более ни менее как именно то, что здесь приводится. Полиция, разумеется, ничего этого, в защиту чести студентов, не сделала, а некоторые смутьяны по злобе ли или по глупости угораздились усмотреть в приведенных строках не только какую-то обиду «молодому поколению», но даже и обвинение его в поджигательстве!! И вот утром, в один из ближайших дней после пожара, к Бенни в редакцию явились два человека, назвавшие себя «депутациею от молодого поколения». Депутация эта предстала с укором Бенни (как будто он, а не другое лицо было редактором газеты) и с требованием, чтобы Бенни заявил всем участвующим в газете, что это «обвинение молодого поколения в поджогах так не пройдет никому, а особенно тому, кто писал передовую статью». На имя этого угрожаемого сотрудника были присланы два анонимных письма, что он «будет убит близ Египетского моста», через который тот действительно часто ходил в одно знакомое ему семейство и возвращался оттуда ночью один и большею частью пешком. Теперь, впрочем, кажется, можно уже без обиняков сказать, что этот угрожаемый сотрудник был не кто иной, как я сам, пишущий эти строки.

Но возвращаемся к Бенни. При всех этих допросах, угрозах и заявлениях «депутатов молодого поколения» Бенни опять вдруг потерял свою деликатную выдержанность и забылся до резкости. После попытки разъяснить «депутатам молодого поколения», что они не умеют читать по писанному, что взволновавшая их статья самым искренним образом направлена в защиту студентов от клеветы, а не в обвинение их, Бенни назвал депутатов людьми, лишенными смысла, и выпроводил их от себя вон довольно бесцеремонным образом. Но тут пылкий и неудержимый в преследовании всех своих целей Бенни опять выкинул штуку, очень благонамеренную, но которая была понята бог знает как и снова причинила ему много досады и горя.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Освободясь от депутатов молодого поколения, Бенни немедленно же отправился к бывшему в то время с.-петербургскому обер-полицеймейстеру Анненкову с самою странною и неожиданною просьбою, объясняемою единственно лишь только пылкостью характера Бенни и его относительным незнанием петербургских нравов. Не упоминая, разумеется, ни одного слова о приходившей к нему с угрозами депутации молодого поколения, Бенни просил генерала Анненкова, во внимание к распространившимся в столице ужасным слухам, что в поджогах Петербурга принимают участие молодые люди, обучающиеся в высших учебных заведениях, дать этим молодым людям возможность разрушить эти нелепые и вредные толки, образовав из себя на это смутное время волонтеров для содействия огнегасительной команде. Бенни доказывал обер-полицеймейстеру Анненкову, что мера эта совершенно безопасна и дозволяется почти везде за границею, да и у нас в Риге, а между тем она и усилит средства огнегасительной команды, когда будет являться в помощь ей на пожары, и в то же самое время докажет, что у молодых людей, из которых она будет навербована, нет ничего общего с зажигателями. В священной простоте своей Бенни, объясняя свой план генералу Анненкову, ни на минуту не сомневался, что молодые люди, о которых он хлопотал, так

и кинутся в волонтеры-гасители. Он и не подозревал, что в кружках, где распоряжались от лица «молодого поколения», не было и малейшего поползновения оправить и очистить студентов от подозрений, а, напротив, вся забота состояла в том, чтобы представлять самих себя *в опасном положении,* чтобы только свирепеть и злобствовать, выводя из всех этих пустяков необходимость непримиримой вражды... С кем и за что? — тогда разобрать было невозможно. Между же тем не совсем укладистая мысль Бенни не была вдруг отвергнута обер-полицеймейстером. Генерал Анненков попросил Бенни изложить его мысль о волонтерах на бумаге, и Бенни подал об этом генералу обстоятельную записку, и в течение некоторого времени осуществление волонтерской команды казалось возможным. В это время «Пчела» эту мысль поддерживала, а другие тогдашние петербургские газеты (впрочем, не все) вдруг ополчились против хлопот Бенни и нашли в них нечто столь смешное и вредоносное, что не давали ему прохода. Всегда отличавшаяся близорукостью и полным отсутствием политического такта сатирическая газета «Искра» хохотала над этою затеею учредить волонтеров, и мало того, что издевалась над нею в прозе и стихах, она еще рисовала Бенни разъезжающим на пожарной трубе вместе с другими сотрудниками «Пчелы», которые не принимали в этих хлопотах Бенни ни малейшего непосредственного участия. Дело было осмеяно, студенты в него теперь не пойдут. Все замущено и одурачено, никто не разберет, что хорошо и что дурно... Этого только и надо! Встретив такое противодействие своей мысли не со стороны администрации, а со стороны прессы — откуда Бенни, в святой простоте сердца, ждал только одной поддержки, — он даже растерялся от этой бестактности, казавшейся ему совершенно невозможною. Осмеянный и обруганный, он бросил все свои хлопоты о волонтерной команде и опять взялся за свой кандидатский экзамен с целию сдать его и со временем искать места присяжного поверенного при ожидавшихся тогда новых судах. С этих пор Бенни решил было совсем удалиться от всяких русских революционных деятелей. Но живая, впечатлительная натура его, при полном отсутствии всякой устойчивости, не позволяла ему и на этот раз остаться в стороне от вопросов дня, волновавших тогдашних хло-

потунов. В это время в Петербурге разгорался так называемый *«женский вопрос»*. Бенни непременно надо было попасть и сюда; надо было впутаться и в этот «вопрос», имевший для него впоследствии более роковое значение, чем все его прежние предприятия.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Многим известно, что как только здесь, в Петербурге, был поднят *«женский вопрос»*, он тотчас же не избежал общей участи многих вопросов, обращенных в шутовство, с которым деятелям того времени удалось сблизить и общественную благотворительность, и обучение грамоте народа, и даже бесстрастное преподавание естественных наук и многое другое. Пока в петербургских журналах печатались разные теоретические соображения насчет нового устройства женского пола, в жизни практической объявились некоторые специалисты по женской части. Эти практиканты начали направлять бездомовных и отбившихся от семейств женщин в типографии. Что за выгодную статью видели эти люди в типографской работе и почему наборщичество казалось им, например, прибыльнее часовщичества, гравированья, золоченья и других ремесел, в которых женщина вполне может конкурировать с мужчиной? — это так и остается их тайною, а полицию это предпочтение типографского труда натолкнуло на подозрение, что тут дело идет не о женском труде, не об обеспечении женщин, но об их сообщничестве по прокламаторской части. Это была почти самая первая и едва ли не самая большая и вредная ошибка со стороны администраторов женского вопроса, по крайней мере с этого начинались подозрительные взгляды на труд женщин. Но теоретиков никакое подозрение не образумливало, а только сердило, и они еще более утверждались в убеждении, что приучением женщин работать в типографиях можно достичь благодетельной реформы в судьбах русской женщины и положить начало практическому разрешению женского вопроса. Специалисты-практиканты взялись все это осуществить. Здесь не место рассказывать, сколько тут было обличено лжи, безнравственности и притворства и как невелико было число людей, искренне го-

товых приносить какие бы то ни было жертвы на пользу женщин. Именно, их можно бы даже без затруднения всех пересчитать здесь по пальцам, и они давно отмечены от толпы шарлатанов, искавших в этой суматохе только лишь случая репетиловски «пошуметь» во имя женского вопроса (очень часто во вред делу) или просто с целию пользоваться трудным положением женщин, когда те, отбившись от семей и от преданий, охранявших их женственность, увидят себя на распутии, без средств и без положения. К сожалению, со стороны многих людей это было то же самое мирское лукавство, от которого женщина страдает повсюду. Волки только надели овечьи шкурки... Число искренних людей, желавших собственно облегчить тяжкий женский заработок, в столице было самое маленькое, и Бенни был одним из первых в этом небольшом числе. Он начал с того, что ввел в редакцию «Северной пчелы» несколько дам и девиц в качестве переводчиц. Особы эти должны были работать под его надзором, но работы, к сожалению, делалось очень мало... Большое помещение, которое имел Бенни при редакции, в доме Греча, с этих пор каждый день было переполнено мужчинами, которые сюда были введены В. А. Слепцовым, чтобы могли видеть, как он будет «учить и воспитывать дам». С этих пор по всем комнатам во всех углах раздавались жаркие дебаты о праве женщин на труд, а на всех рабочих столах красовались — курительный табак, папиросные гильзы, чай и самые спартанские, но самые употребительные здесь яства: молоко и норвежские сельди. Неисповедимым путям всеохраняющего провидения угодно было, чтобы селедки, плавая в молоке, в желудках милых дам и благородных мужчин «гречевской фаланстеры» не причиняли ни малого вреда питавшимся ими деятелям. Работою здесь серьезно никогда не занимались; ею только изредка пошаливали две из посещавших редакцию дам, но и то работа эта большею частию была никуда негодная: Бенни все переделывал сам и только отдавал работницам мнимо следовавший им гонорар. Бенни вскоре же увидел, что из его усилий создать женскую atelier[1] не выходит ничего похожего на atelier, но терпел ее в том виде, какой она принимала по воле и по вкусам приходив-

[1] Мастерская *(франц.)*.

ших развивателей. До чего это дошло бы — это предсказать трудно; но, на счастье Бенни, atelier его скоро стала рассыпаться: две из его работниц, обладавших большею против других практичностию и миловидностию, вышли замуж церковным браком за нигилистничавших богатых юношей (одна из них теперь даже *княгиня*), а остальные, обладавшие меньшею практичностию, устроились менее прочно, но все-таки и эти, наскучив так называвшимся «бенниевым млеком», мало-помалу оставили его atelier. Сам же Бенни в это время додумался, что нужно заботиться о том, чтобы приурочить к труду *простых* женщин, а не барышень и не барынь, в которых он разочаровался.

Бедный Бенни и не воображал, что «простая русская женщина» уже и без него давно так приурочена к труду, что на нее не только нельзя ничего накидывать, но, напротив, давно надо позаботиться, чтобы избавить эту женщину хотя от части ее трудов. Крайнее непонимание жизни, врожденная легкомысленность и отвычка вдумываться в дело, приобретенная двухлетним вращением среди вопросов, не составляющих вопроса, пустила Бенни увлекаться по этому пути заблуждения. Да и это бы еще ничего, но он пошел увлекать на этот путь тех, которые имели неосторожность на него полагаться. На зарабатываемые своим литературным трудом деньги Артур Бенни приобрел четыре типографских реала и поставил за них четырех наборщиц. Девушки, начавшие учиться за этими реалами типографскому делу, были: одна — бедная швея, не имевшая о ту пору работы, другая — бедная полька, жившая субсидиями Огрызко, третья — бедная дворянка, дочь едва двигавшей ноги старушки, которую дочь содержала своим трудом, а четвертая — капризная подруга одного из мелкотравчатых писателей. Но с этими женщинами у Бенни тоже дело не пошло, да и не могло идти, как не шли все его предприятия, потому что Бенни, которого простодушные люди считали хитрым, был легкомыслен как дитя. Он, этот трагикомический «натурализованный английский субъект», пришедший к нам с мыслию произвесть социально-демократический переворот в России, сделавшись антрепренером четырех типографских реалов из чужой типографии, выказал такую неспособность организовать работу, что это новое его серьезнейшее предприятие обратилось в самый смешной

анекдот. Оказалось, что Бенни не только не имел и такой основательности, какая непременно бывает у каждого мелкого ремесленника, открывающего маленькую собственную мастерскую, но что у него не было даже предусмотрительности босоногого деревенского мальчишки, сажающего для своей потехи в клетку чижа или щегленка. Тот, сажая птичку, заботится припасти для ее продовольствия горсть конопель или проса, а Бенни взял четырех совершенно бедных женщин с условием доставлять им содержание до тех пор, пока они выучатся и станут печатать книги, и упустил из виду, что это содержание вовсе не дебаты о труде, а нечто вещественное, что его надо было своевременно приобресть и запасти. Он не сообразил, что ученицы, шедшие к нему на определенное готовое положение, были совсем не то, что прежние его сотрудницы, барышни-переводчицы, хотя и получавшие задельную плату с переведенной строчки, но имевшие все-таки кусок хлеба и без этого заработка. Его новым, бедным работницам надо было давать четверым восемьдесят рублей в месяц, хотя бы они не выработали и на восемьдесят копеек.

Имея возможность зарабатывать в ежедневной газете от трехсот до пятисот рублей в месяц, Бенни, конечно, не зарывался, считая себя в силах давать своим ученицам ежемесячно восемьдесят рублей, — он мог давать им эти деньги: но он упустил из вида одно важное условие, что для получения денег он должен был продолжать работать, а ему в это время стало не до работы. Пока Бенни учреждал свою женскую типографию, другой литератор (имя которого всецело принадлежит истории комического времени на Руси) учредил в Петербурге упомянутую в «Панурговом стаде» г-на Крестовского *«коммуну»,* где поселилось на общежительство несколько молодых дам, девиц и кавалеров. В числе приехавших в эту коммуну из Москвы женских членов была одна девица из очень хорошего московского дома. Ей суждено было произвести на Бенни то сильное и неотразимое впечатление, которое на человеческом языке называется любовью...

Девушка эта, наделенная от природы очень способною головою, но беспокойнейшим воображением, не поладив с порядками родительского дома, приехала из Москвы с намерением жить в Петербурге своим трудом.

Справедливость требует, упоминая здесь об этой девушке, заметить, что тот бы очень погрешил, кто стал бы думать о ней, как позволяли себе думать некоторые другие, шедшие тою дорогою, на которой показалась и она. Девица К. была личность юная, чистая, увлекавшаяся пламенно, но по разуму своему скоро обнимавшая вопрос с разных сторон и с тех пор страдавшая сомнениями, обращавшимися для нее в нравственные пытки. Безукоризненная чистота ее образа мыслей и поведения всегда были превыше всех подозрений, но она несла разные подозрения, и несла их в молчаливом и гордом покое, в котором эта «маленькая гражданка» (как мы ее называли) была чрезвычайно интересна. Она, подобно Бенни, глубоко и искренно верила в то, чем увлекалась, и Артур Бенни сразу же это отметил в ней и... полюбил ее. Бенни устремился угождать ей отыскиванием для нее переводной работы, исправлением ее переводов и их продажею. Потом, когда уставщик коммуны однажды неосторожно оскорбил эту девушку, явясь в ее комнату в костюме, в котором та не привыкла видеть мужчин, живучи в доме своего отца, — она заподозрила, что в коммуне идет дело не об усиленном труде сообща и, восстав против нравов коммуны, не захотела более жить в ней. Понадобились хлопоты Бенни об устройстве оскорбленной девушки в каком-нибудь частном доме. Все это требовало времени и денег, а работа не делалась; заработков у Бенни не было, и четыре засаженные им в типографию пташки оставались без корма.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Таким образом, типографское предприятие Артура Бенни и его покровительство русским женщинам постигла участь всех прежних предприятий этого увлекавшегося юноши: оно не годилось с самого начала. Ученицам нечего было есть. Бенни делился с ними, он отдавал им, что было. А у него, при его бездействии, бывали ничтожные рублишки, и то не во всякое время. Все это, разумеется, ничего не помогало. В средине учениц произошло нечто вроде восстания, которым в качестве литературной дамы предводительствовала подруга писателя. Она не хотела

слышать ни о каких отсрочках и на втором же месяце шумно покинула кооперативное учреждение. Три остальные были терпеливее и выносливее, но однако мало-помалу и они отстали. Швея ушла шить; полька ушла «do familii»,[1] а одна продолжала ходить и училась, питаясь бог весть чем, как птица небесная. Она выдержала так четыре месяца и поступила потом корректором в другую типографию. Засим исчез и след женской типографии Артура Бенни, и на месте ее стала «мерзость запустения».

В это время Бенни посетила тяжелая болезнь и нищета, к которой он привел себя предшествовавшим своим поведением и из которой, упав духом, не мог выбиться до самой высылки его, по решению сената, за русскую границу в качестве «англичанина». Средства, к которым Артур Бенни прибегал для того, чтобы, имея некоторый талант и знания, при отменной трезвости и добросовестности в работе, доходить порой до неимения хлеба и носильного платья, были самые оригинальные.

Бескорыстное служение Бенни неспособным переводчицам, его возня с капризными жилицами коммуны, его женская типография и вообще многие другие его поступки, свидетельствовавшие о его бесконечной простоте и доброте, обратили на него внимание некоей литературной черни, решившей себе, что *«он Филимон простота»*. У Бенни была большая квартира: у него был или бывал иногда кое-какой кредит; он один, с его начитанностию и с знанием нескольких европейских языков, мог заработать втрое более, чем пять человек, не приготовленных к литературной работе. Пятеро из людей такого сорта (один не окончивший курса студент, один вышедший в отставку кавалерийский офицер, один лекарь из малороссиян, один чиновник и один впоследствии убитый в польской банде студент из поляков) устремились овладеть священнейшею простотою Бенни, чтобы жить поспокойнее на его счет. Устремились они к этому довольно одновременно, так что ни одному из них не удалось обратить Бенни в свою исключительную частную собственность. Понимая друг друга, как рыбак рыбака, и боясь один другого, как иезуит иезуита, достопочтенные люди эти решились, скрепя сердца свои, владеть Артуром Бенни сообща, в компании,

---

[1] В семью *(польск.)*.

на коммунистических началах. Они склоняли его к мысли устроить у него мужскую atelier. Бенни и в этом не отказал, и коммунисты поселились у него все разом. Условием этой однополой коммуны было, чтобы никому между собою ничем не считаться. Кто что заработает, кто что принесет, кто что истратит, чтобы это все было без контроля и без счета. Бенни верил, что это гораздо более по-русски, чем в общежительной *коммуне,* откуда бежала «маленькая гражданка» и где каждый брал заработки в свои руки, а только лишь расходы велись сообща. Это и точно вышло по-русски. Наглости артельщиков Бенни не было и не может быть ничего равного и подобного. Это ничего почти не выразит, если мы, по сущей справедливости, скажем, что сожители его обирали, объедали, опивали, брали его последнее белье и платье, делали на его имя долги, закладывали и продавали его заветные материнские вещи, — они лишали его возможности работать и выгоняли его из его же собственной квартиры. Чтобы передать хотя сотую долю того, что проделывали с этим добрейшим человеком поселившиеся у него лже-социалисты, надо писать томы, а не один очерк, и притом надо быть уверенным, что пишешь для читателя, который хотя сколько-нибудь знаком с нравами подобных деятелей, свирепствовавших в Петербурге в эпоху комического времени на Руси. Иначе каждый человек, не видавший подобных вещей, подумает, что ему рассказывают вымысел и сказку, — так все это, поистине, чудно и невероятно. Если бы Бенни не вел своего дневника и не оставь он никаких бумаг, то трудно, может быть, было бы решиться рассказать и то, что до сих пор рассказано в этой «Беннеиде»; но благодаря этим бумагам когда-то объявятся миру еще не такие чудеса «комического времени» и, читая их, конечно, не один потомок вздохнет и покраснеет за своего предка.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Еще раз приходится упомянуть, что Артур Бенни был *девственник.* Хотя, собственно, это его личное дело, но об этом нельзя не упомянуть, потому что этим объясняется нечто такое, о чем наступает очередь рассказывать.

До высылки Бенни из России многие, близко знавшие этого юношу, знали и его целомудренность. Такой целомудренности лучшая из матерей могла бы пожелать своей нежно любимой дочери, и девушка эта имела бы право называться скромнейшею из девиц своего времени. Артур Бенни не только не любил никакого нескромного слова и смущался при виде обнаженной женщины на картине, но он положительно *страдал* от всякого нескромного разговора и не раз горестно жаловался на это автору настоящих записок. Говоря о женщине (знакомой или незнакомой — это все равно), но говоря о ней цинично, как иные любят говорить, думая, что это очень интересно, Бенни можно было довести или до слез, или до столбняка, что не раз и случалось. Артельные сожители Артура Бенни знали за ним это и создали ему из его стыдливости нравственную пытку. Им претила его нравственная чистота и его несносная для них целомудренность. Они начали толковать, что этот *«порок»* мешает Бенни быть полезным деятелем.

— Он не шпион, а он михрютка, не знающий, где раки зимуют, — сказал о нем однажды всей его компании один беллетрист, имевший одно время значение в некоторых кружках, примыкавших к *«общежительной коммуне»*. — Оттого, — говорил беллетрист, — и все действия Бенни странные, оттого-де он и выходит таким шутом. Это можно, мол, доказать и с физиологической точки зрения: посмотрите-де только на старых девушек и монахинь, и т. п.

Беллетрист резонировал бархатным баском; ему внимали его сателлиты и нашли, что все им сказанное на эту тему действительно очень умно и резонно. Поощряемый таким сочувствием, оратор и деятель заключил, что Бенни надо *перевоспитать,* что из него «надо выбить дурь английской морали» и сделать из него такого человека, как все они. Решение это тотчас же было принято всеми сожителями Бенни, крайне заинтересовавшимися на этот раз бедственною судьбою своего кормильца. Проживавшая на хлебах у Бенни артель давно тяготилась отсутствием в их казарме женского элемента. Правда, приходили туда к ним иногда в гости некоторые дамы, но они должны были и уходить оттуда с чинностью, к которой волей-неволей обязывало их присутствие скромного

хозяина. Нахлебники Бенни находили, что это со стороны их хозяина даже своего рода деспотизм, что таким образом, через его чудачества их собственная, дорогая им жизнь утрачивает очень много своей прелести и *«гречевская фаланстера»* (как называли сами они квартиру Бенни) теперь, по его милости, скорее не фаланстера, а раскольничий скит, да еще с скопцом игуменом. Теперь решено было, что все это действительно несносно и что необходимо, чтобы с этого же дня все здесь шло по-другому. Составлен был план, как действовать на Бенни. Молодец, руководивший всем этим делом, прежде всего вменил в обязанность всем изменить свое обращение с Бенни. До сих пор все знавшие Бенни остерегались при нем всяких скабрезных разговоров, цинических выходок и слов, которых Бенни не переносил; теперь было решено «ошколить его» и приучить его *ко всему.* Начать это положено было немедленно же, даже с сего же дня, если только Бенни сегодня возвратится, пока не улягутся спать. Бенни был легок на помине и позвонил в то самое время, когда его артель и гости закусывали. Заслышав его голос, нахлебники переглянулись, они оробели — почувствовали, что все-таки они мимо воли своей уважают нравственную чистоту Бенни. Но уставщик-беллетрист был гораздо наглее и оживил своим примером смелых на словах, но на самом деле оробевших нахлебников Бенни.

«Натурализованному английскому субъекту» готовился всего менее им ожиданный русский спектакль.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

— А, Беня! — воскликнул беллетрист навстречу вошедшему хозяину, и запел: «Ах, где ты была, моя не чужая?» Хор сметил, что нужно поддержать, и подхватил:

Ах, где ж ты была,
Завалилася?
На дырявом я мосту
Провалилася.
А черт тебя нес
На дырявый мост!
А черт тебя нес
На дырявый мост!

Бенни сконфузился: его за это постыдили и завели с ним срамной разговор. Он ушел, со слезами на глазах, в другую комнату, сел над столом и закрыл ладонями уши. К нему подошла вся компания и хватила над ним:

Ой, ты куда, куда, еж, ползешь?
Ты куда, куда, таковский сын, идешь?

Бесстыдная песня все развивалась, развивалась и, наконец, выговорила слова неистовейшего разврата. Бенни вскочил, бегом бросился в свою небольшую рабочую комнатку, схватил томик Лонгфелло и начал читать, скоро и громко читать, чтобы не слыхать, что поют в его квартире, «в тех самых комнатах, где стоит портрет его матери!» Это ему казалось ужасно. Это перевертывало в нем все понятия о человеке и человеческой натуре; а тут анекдот за анекдотом, пошлость за пошлостию, и воспитатели твердою стопою входят и в последнее убежище Бенни. Книжка выпала у него из рук; он сел на кровать и устремил глаза на вошедших. Те стояли перед ним и распевали, как шел с кумою кум, и как оба они спотыкнулися, и что от того сделалось. У Бенни не было уже энергии, чтобы встать и выбросить за двери этих людей, нарушавших его спокойствие и отравлявших его жизнь. Он только силился помнить слова Лонгфелло и не слыхать за его словами слов песни про кума и куму; но наша доморощенная русская муза одолела американскую. Бенни прослушал все упреки кумы и многократно, на разные тоны повторенное оправдание перед нею кума:

А ты, кума Матрена,
Не подвертывайся.

Певцы, увлеченные своим пением, не замечали остолбенелого взгляда, который устремил на них злополучный Бенни, и варьировали этот конец, долго и старательно вырабатывая:

А ты, кума Матрена,
А т-ы, к-у-м-а М-а-т-р-е-н-а,
А т-ы, к-у-м-а М-а-т-р-е-н-а,
Не подвертывайся!

Но когда раскатилась последняя рулада и песня была спета, оказалось, что она была пета истукану. Бенни

не слыхал и не видал ничего — он был в жесточайшем столбняке.

Засим, разумеется, понадобился доктор, а воспитатели, удивленные несколько странным результатом своего первого урока, разошлись, пожимая плечами и повторяя с улыбкою:

А ты, кума Матрена,
Не подвертывайся.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Но и на этом еще суждено было не кончиться злоключениям Бенни. Непосредственно вслед за этою встрепкою он заболел очень серьезною болезнью и дошел до того крайнего обнищания, в котором тянул уже все последующее время, пока его, по иску полковника Сверчкова и портного мастера Федора Андреева Степанова, посадили за долг в триста шестьдесят девять рублей в долговую тюрьму, а из той перевели в тюрьму политическую.

Едва Бенни оправился от своего столбняка и начинал понемногу входить в себя, как однажды ночью в его большую одинокую квартиру (из которой артель его, лишившись во время болезни Бенни всякого провианту, немедленно же разбежалась) является к нему одна дама, бывшая у него в ученицах типографского искусства. Она чем-то поразладила с мужем и в порыве гнева и раздражения явилась к Бенни с просьбою дать ей у него ночлег. Строгое понятие Бенни о нравах и приличии было шокировано этим до последней степени; но, с другой стороны, он чувствовал, что нельзя же отсылать женщину, приходящую среди ночи искать себе приюта. Бенни поручил свою гостью попечениям своей горничной девушки, некогда многоизвестной здесь в некоторых кружках московской чудихи и добрячки Прасковьи, а сам тотчас же оделся, взял у перевозчика на сенатской набережной ялик и уехал на взморье. Целую ночь он простоял против Екатерингофа, глядя, как рыбаки ловили рыбу, и возвратился домой, когда уже был день. В следующую ночь он уже надеялся иметь возможность спать в своей постели, ибо вчерашнее нашествие считал возможным только раз,

в минуту крайней растерянности. Но, возвратясь на другой день домой около двенадцати часов ночи, он опять застал у себя свою вчерашнюю гостью, и... *чтобы избавить ее от всяких подозрений,* опять, по-вчерашнему же, провел ночь на ялике, на взморье, против Екатерингофа. Двое суток без сна и две ночи, проведенные на воде, под свежим морским ветром и сырыми зорями, сказались Бенни страшною простудою, которую он почувствовал на третий же день и в тот же день слег в постель, чтобы не вставать с нее очень долго. Болезнь у него была весьма серьезная и сложная, средств для лечения не было почти никаких; други и приятели все его оставили, и он лежал одинешенек, поддерживаемый единственною заботливостию той же его служанки, простой московской крестьянской женщины Прасковьи, да бескорыстным участием вступившегося в его спасение ныне весьма известного в Петербурге доктора Вениамина Тарновского (в ту пору еще молодого медика). Из всех людей, с которыми Бенни с полным великодушием делился всем, чем мог поделиться, его не вспомнил никто или по крайней мере никто не вспомнил его с тем, чтобы заплатить ему хотя малейшею внимательностию за его услуги, а вспомнили его один раз три друга, но только для того, чтобы забрать у больного последние его вещи, имевшие хоть какую-нибудь ценность. Самое носильное платье его было со скандалом спасено от этого расхищения тою же его служанкою Прасковьею. При самой постели тяжко больного Бенни эта московская баба Прасковья *дралась* с социалистами, отнимая у одного прежнего сожителя Бенни последнюю теплую вещь, которою она одевала стывшие ноги больного и которую те сняли и хотели реализовать... Это не прикрасы: это истинное событие, которое знают многие люди.

Так одинокий Бенни предоставлен был своей роковой судьбе. Он обмогался медленно и плохо. Во время его болезни последние вещи его, убереженные от расхищения, пошли в залог; силы его почти не возвращались. Он постарел за эту болезнь на десять лет; лицо его получило ранновременные глубокие морщины, прекрасные черные глаза его потухли, изо рта выпали почти все передние зубы. От бедного беленького бабушкиного козлика, детство которого так холили и нежили в чистеньком домике уважаемого томашовского пастора, оставались лишь

ножки да рожки. Он буквально слег юношею, встал стариком. Вдобавок же ко всему этому, чтобы не был нарушен непостижимый закон, по которому беды не бродят в одиночку, а ходят толпами, дела газеты, от которой Бенни хотя и отстал, но в которой все-таки мог бы работать снова, получили самый дурной оборот.

Воскресши из мертвых после своей болезни, Бенни еще раз тяжко сознавал свои ошибки и тяготился воспоминанием о времени, убитом им с русскими революционерами и социалистами. Его вера в русских предпринимателей получала удар за ударом: в это время некто ездил в Москву и привез оттуда роковое известие, которому, кажется, невозможно бы и верить: новость заключалась в том, что известный сотрудник «Современника» Г. З. Е‹ли›сеев был у М. Н. Каткова и просил последнего принять его в число его сотрудников, но... получил от г-на Каткова отказ. Бенни был этим жестоко смущен: он, говоря его словами, всегда верил, что «если людишки и плохи, то между ними все-таки *два человека* есть». Эти два человека, по его мнению, были г-н Чернышевский и г-н Е‹ли›сеев, из которых с последним Бенни лично даже едва ли был знаком, но об обоих имел самое высокое мнение, и вот один из них, самый крепкий, г-н Е‹ли›сеев, — идет и предается Каткову, которого имени Бенни не мог переносить с тех пор, как он сам являлся к редактору «Московских ведомостей».

...Но этим еще все зло не исчерпывалось: помимо ввергавшего Бенни в отчаяние обстоятельства, что Г. З. Е‹ли›сеев искал сотрудничества при изданиях М. Н. Каткова, оказалось, что этого же добивался у редакторов «Московских ведомостей» и сам Н. Г. Чернышевский и что искательства этого тоже были отклонены... Бенни бегал, осведомлялся, возможно ли, слыхано ли что-нибудь подобное, и узнал, что все это и возможно и слыхано. С этой поры его все поражало: он, например, был «поражен», что Вас. Ст. Курочкин писал во время крымской обороны патриотические стихи, обращавшие на него взыскующее внимание начальства, а Григорий Захарьевич Елисеев сочинил «жизнеописание святителей Григория, Германа и Варсонофия казанских и свияжских» и посвятил эту книгу «Его Высокопреосвященству, Высокороднейшему Владимиру, Архиепископу казанскому и свияж-

скому».[1] Но что уже совсем срезало Бенни, так это некоторые стихотворения столь известного поэта Николая Алексеевича Некрасова. Я говорю о тщательно изъятой Некрасовым из продажи книжечке, носящей заглавие «Мечты и звуки». Я уберег у себя эту редкость нынешнего времени, и Бенни переварить не мог этой книги и негодовал за стихи, впрочем еще не особенно несогласные с позднейшими мечтами и звуками г-на Некрасова. Таково, например, там стихотворение, в котором г-н Некрасов внушал, что:

От жажды знанья плод не сладок!
О, не кичись, средь гордых дум,
Толпой бессмысленных догадок,
Мудрец: *без бога прах твой ум!*

Поэт, советуя «мудрецу» не упорствовать и не изнурять себя науками, пел:

Не жди, не мучься, не греши;
С мольбой возьмись за труд по силе,
Путь к знаньям *верой* освяти
И с этим факелом к могиле,
Всего отгадчице, гряди.

Поучая «мудреца» идти этою дорогою, г-н Некрасов был строг и сурово наказывал «мудрецу» даже не любить людей, которые думали бы иначе идти к «отгадчице»:

И разлюби родного сына
За отступленье от творца!

Поэтической просьбы же г-на Некрасова к графу Михаилу Николаевичу Муравьеву, когда поэт боялся, чтобы

---

[1] Так как книга эта, может быть, знакома далеко не всем, интересующимся разнообразием дарований ее автора, то я выписываю здесь обращение г-на Елисеева к владыке казанскому и свияжскому при посвящении ему сего сочинения. Вот от слова до слова эти смущавшие Бенни строки: «Высокопреосвященнейший Владыко, Милостивейший Отец и Архипастырь! С Вашего архипастырского благословения я начал труд сей; при Вашем постоянном внимании продолжал его, Вам и приношу сию *малую лепту моего делания.* Высокопреосвященнейший Владыко! Примите с свойственным Вам снисхождением мое скудное приношение, да Вашим снисхождением ободрится к большим трудам недостоинство трудящегося. Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Отца и Архипастыря нижайший послушник, Казанской Духовной Академии бакалавр Григорий Елисеев». Этот тон возмущал Бенни, и мне кажется, что

граф не был слаб, и умолял его «не щадить виновных», Артур Бенни не дождался, да и, по правде сказать, с него уже довольно было того, что бог судил ему слышать и видеть.

Бенни во всей этой нечистой игре с передержкой мыслей не мог понять ничего, да и укорим ли мы в этом его, чужеродца, если только вспомним, что наши коренные и умные русские люди, как, например, поэт Щербина, тогда до того терялись, что не знали уже, что оберегать и над чем потешаться? Припомним только, что считал смешным и «комическим» Щербина, составитель весьма хорошей, если не самой лучшей книги для русского народа, стало быть человек способный более, чем чужеземец, проникать в то, что совершалось в нашей жизни. Покойный Щербина написал:

Когда был в моде трубочист,
А генералы гнули выю;
Когда стремился гимназист
Преобразовывать Россию;
Когда, чуть выскочив из школ,
В судах мальчишки заседали;
Когда фразистый произвол
«Либерализмом» величали;
Когда мог Ольхин быть судьей,
Черняев же от дел отставлен;
Катков преследуем судьбой,
А Писарев зело прославлен;
Когда стал чином генерал
Служебный якобинец С⟨та⟩сов
И Муравьева воспевал
Наш красный филантроп Некрасов, —
Тогда в бездействии влачил
Я жизни незаметной бремя
*И счастлив, что незнаем был*
*В сие комическое время!*

Он был *счастлив* тем, что стушевался и спрятался в «сие комическое время».

Чем он обстоятельнее Артура Бенни и много ли его солиднее относился ко своему времени?

Но возвращаемся к герою нашего рассказа.

---

такое посвящение в самом деле довольно любопытно как для современников автора, так, особенно, для будущего историка литературы нашего времени, который по достоинству оценит искренность литературных трудов этого любопытного писателя и прозорливость «снисхождения, одобрявшего *недостоинства трудившегося»*. *(Прим. автора.)*

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Бенни порою доходил то до нервных слез, то до отчаяния, то до не оставлявших его столбняков, из которых два были особенно продолжительны и страшны. Он видел, что был кругом обманут, одурачен, разбит, оклеветан, смещен в разряд мальчишек, обобран и брошен в запомет.

Ради насущного хлеба он бросался искать работы повсюду и тут-то он увидал, что именно было самого существенного в распространенной на его счет гнусной клевете, что он будто бы агент тайной полиции и шпион. В либеральные или либерально-фразерские издания он, разумеется, уже и не покушался идти искать работы; но и из тихоструйных петербургских газет ни одна не давала ему надежды пристроиться. Он обратился к журналам. Первую свою работу (это была очень интересная компиляция) он передал, через одного из своих знакомых, покойному редактору «Отечественных записок» С. С. Дудышкину. Но покойный Дудышкин, при всем его презрении к кружкам, из которых шли толки о шпионстве Бенни, однако же усомнился принять его и вежливо уклонился от помещения его работы. Отказ этот был сделан Бенни в самой деликатной форме, под обыкновенным редакционным предлогом; но до Бенни дошло, что Дудышкин сторонился от него по тем толкам, которые о нем были распущены бесцеремонными празднословами, и это для него было очень тяжелым ударом. Гораздо более терпимости и великодушия оказали Бенни в редакциях «Эпохи» и «Библиотеки для чтения». Некогда сам много вытерпевший, Ф. М. Достоевский принял компиляцию Бенни и заплатил за нее, а П. Д. Боборыкин даже предложил ему постоянные переводы в «Библиотеке». В сотрудниках того и другого журнала Бенни тоже встретил и мягкость и доверие и сам обнаруживал теплые тяготения к Н. Н. Страхову и Н. Н. Воскобойникову. В «Библиотеке для чтения» всеми силами хотели поддержать Бенни, но все это для него уже было поздно; он был уже истерзан и глядел не жильцом на этом свете. Два последние года он жил в каком-то отупении: обидные подозрения его мучили и беспрестанно напоминали ему о глупо прожитом времени; силы его оставили; у него явилась

ко всему глубокая апатия, которой не рассеивала и его привязанность к любимой им русской девушке, да и эта полная глубокого и трагического значения для Бенни любовь его также его не осчастливила. Напротив, полюбя, он как бы совсем растерялся и, если так можно понятно выразиться, как бы распался под натиском незнакомого ему доселе чувства и потерял способность чем бы то ни было заниматься. Целые месяцы он не исполнял своих работ в журнал, и редакция должна была передать эти работы в другие, более аккуратные руки. Бенни остался безо всего и жил на счет займов; но, наконец, у него опять не стало ни кредита, ни платья, ни квартиры. Он проводил где день, где ночь в течение целого месяца и... бог его знает, в каком состоянии была в это время его голова и угнетенное несчастливою любовью сердце, но он часто говорил вздор, отвечал невпопад и во все это время мечтал о том, как бы освободить из Сибири г-на Чернышевского. Какими средствами надеялся он располагать для исполнения этого плана, это осталось его тайною. Бенни, кажется, в это время был, что называют, «не в полном рассудке» и часто много и много плакал и молился.

Рано утром, в один весенний день, ночуя у меня в Коломне, против Литовского рынка, Бенни был взят под арест за долг портному Степанову и какому-то г-ну Вигилянскому, от коего вексель Бенни перешел к служившему чем-то в полиции полковнику Сверчкову, представившему на него кормовые. Вакансий в долговом отделении в это время не было, и Бенни был заключен в одиночный каземат при Спасской части. В это время для него ударил роковой час разлуки с Россией; он не хотел уходить из нее честью, — она выгоняла его насильно.

## ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Из-под ареста Бенни уже не суждено было выйти на свободу, потому что во время его ареста за долг г-ну Сверчкову и портному Степанову в правительствующем сенате было решено дело Ничипоренки, по оговору которого Бенни был под судом, и, по сенатскому решению, состоявшемуся по этому делу, Бенни, за передержатель-

ство Кельсиева (в чем, как выше сказано, его уличил перед судом Ничипоренко), было определено «подвергнуть его трехмесячному заключению в тюрьме и потом *как иностранного подданного* выслать за границу с воспрещением навсегда въезжать в Россию». Сам Ничипоренко умер прежде, чем состоялось о нем решение, а его спутник в поездке в Лондон, акцизный чиновник Николай Антипыч Потехин, был освобожден, на основании отысканного в каких-то бумагах собственноручного письма г-на Герцена, в котором было сказано, что все касающееся планов г-на Герцена известно лишь только благонадежному Ничипоренке, а г-ну Потехину ничего не открыто, потому что он (приводим подлинные слова) *«добрый малый, но болтун»*. Это выгодное мнение г-на Герцена отворило перед г-ном Потехиным заключенные двери его русской темницы.

Содержание под арестом в каземате съезжего дома Спасской части произвело на Бенни ужасное действие, тем более что он был арестован больной. Под арестом нервное расстройство его достигло высочайшей степени. В маленькой, душной, узенькой каморке с крошечным окном под потолком он томился, жалуясь на недостаток воздуха и на беспокойство, которое переносил от беспрерывно привозимых в часть пьяниц и дебоширов. В госпиталь он не хотел идти, боясь, что там будет лишен последнего удобства — одиночества, и потому он постоянно скрывал свою болезнь от тюремного начальства. В тюрьме Бенни помогал кое-чем известный добряк, так же безвременно погибший, покойный рождественский священник Александр Васильевич Гумилевский, а на выкуп несчастливца родной брат Бенни, пастор Герман Бенни, выслал деньги, но уже выкупом дела невозможно было поправить: арест перешел из долгового в криминальный. В тюрьме, во время своего заключения, Бенни от скуки читал очень много русских книг и между прочим прочел всего Гоголя. По прочтении «Мертвых душ», он, возвращая эту книгу тому, кто ему ее доставил, сказал:

— Представьте, что только теперь, когда меня выгоняют из России, я вижу, что я никогда не знал ее. Мне говорили, что нужно ее изучать то так, то этак, и всегда, из всех этих разговоров, выходил только один вздор. Мои несчастия произошли просто оттого, что я не прочитал

в свое время «Мертвых душ». Если бы я это сделал хотя не в Лондоне, а в Москве, то я бы первый считал обязательством чести доказывать, что в России никогда не может быть такой революции, о которой мечтает Герцен.

— Отчего вы так думаете? — спросили его.

— Оттого, что никакие благородные принципы не могут привиться среди этих Чичиковых и Ноздревых.

За сим три месяца заключения Бенни окончились, и русские жандармы отвезли его на ту самую пограничную с Пруссиею станцию, откуда сибирский купец советовал ему уходить назад, чтобы сберечь свою жизнь, может быть, на гораздо более дельное употребление, чем то, которое этот «натурализованный английский субъект» сделал из нее, взяв на себя непосильный труд научить Чичиковых и Ноздревых «любить ближнего, как самого себя». Так этим и заключилась карьера Бенни в нашем отечестве. Суровое море русской жизни опять выбросило его на чужой берег.

## ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Но и после того как этот бедный юноша, бесплодно потратив здесь лучшие годы своей жизни, был осужден на вечное отсюда изгнание и ни у народной, ни у государственной России не осталось ничего, в чем бы она хотела считаться с отвергнутым ею искреннейшим социалистом и демократом, известная петербургская литературная партия еще не хотела покончить с ним своих счетов. Самый арест его считали или по крайней мере выдавали за *подвох* и после высылки его предсказывали «второе его пришествие во славе его»...

Но чей же был шпион Артур Бенни и кто мог убить его за шпионство на полях Ментаны?

В Петербурге утверждали вот что:

*«Бенни, или Бениславский, был при гарибальдийском легионе русским шпионом, а убит за это поляками».*

Какие доказательства представлялись в подтверждение этой нелепой сказки?

Никаких. «Дух анализа и исследований, дух нашего времени» вовсе не нужен, когда люди хотят клеветать.

Кончина же Артура Бенни случилась действительно не так, как ее описывали некоторые газеты, и не так, как рассказывают о ней в известных петербургских кружках.

Кроме коротких и отрывочных сведений, сообщенных о смерти Бенни газетами, в Петербурге близкими покойнику людьми, интересовавшимися знать все обстоятельства его кончины, получены сначала частным путем следующие известия.

Артур Бенни после высылки его из России жил в Швейцарии, где он будто бы вступил в церковный брак с тою самою русскою девушкою, которую он узнал и полюбил в Петербурге в эпоху существования Знаменской коммуны. В то время Артур Бенни подал о себе слух одною статьею, напечатанною им в одном английском журнале. Статья эта трактовала о России и показывала, что Бенни, даже и после прочтения в тюрьме «Мертвых душ», все-таки нимало не научился понимать Россию и все-таки думал, что социалистическая революция в ней не только неминуема, но и возможна теперь же, при наличном изобилии Чичиковых и Ноздревых. Потом, незадолго до последней попытки Гарибальди отнять у папы Рим, Артур Бенни оставил в Швейцарии жену и отправился в Италию *корреспондентом* одной английской газеты.

В качестве корреспондента дружественного гарибальдийскому делу издания Бенни находился в самом лагере гарибальдийцев. В день Ментанской битвы он выехал на маленькой тележке, запряженной одною лошадью, и тащился вслед за шедшим в дело отрядом. Когда началась роковая схватка, Бенни увлекся интересом сражения и, забираясь все далее и далее вперед, заехал в самое жаркое место драки. Это случилось в те минуты, когда гарибальдийцы, после ожесточенных стычек с папскими войсками, были внезапно окружены и смяты свежими силами французской кавалерии. Изнемогавший гарибальдийский отряд, при котором находился Бенни, смешался, дрогнул и начал отступать в таком смятении и беспорядке, которое правильнее следует назвать не отступлением, а бегством. Французская кавалерия, пришпорив коней, стремительно неслась в погоню за измученными волонтерами и, нагоняя расстроенные ряды их, усеивала поля Ментаны изувеченными трупами. В это время, следуя за бегущим отрядом гарибальдийцев, Бенни увидал двух волонтеров,

которые с трудом уносили тяжело раненного третьего. За ними, махая обнаженными саблями, гнались три французские кавалериста. Бенни видел, что погибель всех этих людей неминуема. Он, долго не думая, соскочил с своей повозки и предложил положить в нее истекавшего кровью раненого и поскорее увезти его. Предложение это было принято и больного увезли, а *безоружный* Бенни, оставшись пешим, был настигнут преследовавшими отряд кавалеристами, из которых один ударил по нем саблею и отсек ему кисть левой руки. Помочь Бенни и перевязать ему отрубленную руку было некому, и Бенни, истекая кровью, тащился, отыскивая один из перевязочных пунктов, но не мог найти ни одного из этих пунктов, потому что все они были сбиты. Ослабев от потери крови, Бенни пал на поле битвы, где и был отыскан в бесчувственном состоянии. Плохой уход в подвижном гарибальдийском госпитале докончил остальное; легко излечимая вначале рана Бенни скоро приняла характер раны неизлечимой; у Бенни сделался антонов огонь и быстро прекратил его молодую, восторженную и бесчестно оклеветанную жизнь. (Таково первое сказание о его смерти, — ниже, через одну главу, следует другое, принадлежащее г-же Якоби и во многом представляющее дело иначе.)

## ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Поляки Артура Бенни никогда шпионом русским не считали, и если в истории Бенни некоторое время было что-нибудь способное вводить в заблуждение насчет его личности, то это у более основательных людей было подозрение, не следует ли видеть в самом Бенни — сыне томашовского пастора из Царства Польского — подосланного в Россию эмиссара польского революционного комитета? Это было единственное подозрение, которое можно было иметь на Бенни и которое действительно и имели некоторые люди, настолько, впрочем, честные, что не решались высказывать своих подозрений прежде, чем их догадки получили бы какую-нибудь достоверность. Полагали, что Бенни подослан поляками к русским революционным кружкам для того, чтобы возбуждать глупень-

ких людей к беспорядкам. В пользу этих подозрений были рассказы нескольких вернувшихся в Россию из-за границы молодых ученых, которые, находясь в Париже до приезда Бенни в Петербург, знали его там *за поляка* и, встречая его потом здесь, между русскими предпринимателями, удивлялись быстрой перемене в его симпатиях, потому что в Париже они знали его одним из пламеннейших приверженцев польской революции. Один из таких молодых ученых (нынче профессор Ал — в) говорил об этом, не обинуясь, многим русским знакомым Бенни, что и стало известно самому Бенни, который на это отвечал, что он действительно в Париже держался польского общества, но удивляется, как можно было от него требовать, чтобы, находясь в среде парижских поляков, он мог высказывать симпатии, противные их преобладающему чувству! Против же того, чтобы подозревать Бенни в польском эмиссарстве, служила, во-первых, его с самого первого шага видимая неспособность к политической интриге, к которой в польской партии была надобность и были великие мастера. Вновь напечатанная в полнейшей редакции книжка Гогеля «Иосафат Огрызко» (не существующая в продаже, но бывшая в руках В. В. Крестовского) хранит имена таких польских агентов в Петербурге, что при них никуда не мог годиться молодой, без положения Бенни. Было бы чересчур странно, чтобы революционный ржонд отрядил для самой щекотливой миссии в Россию человека самого неопытного и держал его здесь, после того как он, с первых же дней своего пребывания в России, прослыл шпионом и тем показал полнейшую свою неспособность к интриге. Если же думать, что тонкие и дальновидные члены ржонда игнорировали мнение, родившееся насчет их агента, и берегли Бенни для других, высших сфер общества, куда благовоспитанный, приличный и образованный Бенни мог бы проложить себе дорогу, то если допустить, что он в тех именно слоях назначался служить польской интриге, так с этим нельзя согласить ни поведение Бенни, ни поведение ржонда. Бенни только случайно попадал к людям с весом и значением и не только не старался ориентироваться в их круге, а даже тяготился этим кругом. Нельзя предполагать, чтобы Бенни так манкировал своими обязанностями или чтобы ржонд безучастливо оставлял его во всем ужасающем

виде нищенского убожества, как известно, вовсе не благоприятствующего короткому сближению с богатыми и выгодно поставленными в свете людьми. Если же сделать вопрос: были ли, однако, у Бенни какие-нибудь отношения к революционному ржонду в Польше или не было никаких, то пишущий эти строки может отвечать, что они *были,* но это, сколько известно, были вот какие отношения. Однажды, когда автор этих записок и Артур Бенни жили вместе, в одной квартире, покойного Бенни посетил какой-то пожилой человек, весьма скромной наружности, с владимирским крестом на шее. Бенни имел с этим человеком довольно продолжительный разговор, шедший с глаза на глаз. Проводив владимирского кавалера, Бенни был взволнован и сказал пишущему эти строки, что это приходил петербургский комиссар народного ржонда. При этом Бенни рассказал также, что он уже получил из Варшавы три повестки, требующие, чтобы он явился туда к революционному начальству; но что он, не считая себя поляком, не считал себя и обязанным исполнять это требование, а теперь он *должен поехать, чтобы навсегда отделаться от притязаний, которые на него простирают поляки за его рождение в Польше.* Свое *«я должен поехать»* Бенни мотивировал тем, что у него в Польше живут родные и что он хочет честно разъяснить полякам, что он их *политической* революции не сочувствует, а сочувствует революции международной — *социалистической.*

В эту пору Бенни был уже под судом по оговору Ничипоренки и мог выехать из Петербурга или только тайно, с тем чтобы уже никогда сюда не возвращаться, или же испросив на это разрешения начальства. Он предпочел последнее, подал просьбу о дозволении ему съездить в Польшу «для свидания с умирающим отцом». Просимое разрешение ему было дано на самое короткое время с обязательством дорогою нигде не останавливаться, а наблюдение за возвращением его было поручено в Томашове какому-то начальству. Бенни все сделал аккуратно и, возвратившись назад в Петербург, говорил, что он теперь свободен и что ржонд более никаких претензий простирать на него не будет. Сколь искренни были эти слова Бенни? — за то пишущий эти строки не ответствует, но, по привычке всегда верить честности Бенни, не имеет

оснований сомневаться, что он и на этот раз говорил правду. Да и к тому же, надо признаться, цель поездки Артура Бенни и его возвращение были гораздо менее загадочны, чем его отпуск из Петербурга. Подсудимый Бенни считался здесь *английским подданным,* а между тем правительственное учреждение, снабжавшее этого *великобританского подданного* Артура Бенни отпуском в Польшу *для свидания с отцом его, подданным русской короны, томашовским пастором,* ни на одну минуту не остановилось перед разноподданностью этого отца с сыном! Автору этих записок казалось, что Бенни, указав на свое родство с томашовским пастором, может утратить свои преимущества иностранца в России, что с ним, хотя он и натурализованный английский субъект, могут пожелать разделаться как с русским подданным, — но этого ничего не случилось. Бенни через несколько времени и еще раз съездил, точно таким же образом, в Польшу, когда отец его в самом деле захворал и скончался, и начальство опять, и во второй раз отпуская его, не находило ничего несоответственного между разноподданством отца с сыном. Тогда Бенни, видя, что учреждения, с которыми он имел дело по своей подсудности, неуклонно намерены трактовать его иностранцем, через что его по суду могут выслать из России за границу, *подал просьбу о дозволении ему принять русское подданство.* Людям, удивлявшимся этой новой странной выходке Бенни, он отвечал, что не желает пользоваться привилегиею своего иностранного подданства и хочет принять на себя ту же самую степень наказания, какая будет определена всем русским подданным, осужденным с ним по одному делу; но ходатайство Бенни о принятии его в русское подданство не удовлетворено, и он выслан за границу как иностранец. Вот разве одно это только и может казаться в судьбах Бенни загадочным, но на это-то загадочное обстоятельство никто из много рассуждавших о Бенни людей ни разу не обратил внимания.

Бенни никогда не считал себя литератором и очень не любил, если в печати как-нибудь появлялось его имя.

— Имя мое, — говорил он, — не поздно будет назвать тогда, когда я умру и когда кто-нибудь захочет сделать *духу моему* дружескую услугу, сняв с меня тягостнейшие для меня обвинения в том, в чем меня обвиняли и в чем

я не повинен ни перед друзьями моими, ни перед врагами, которых прощаю от всего моего сердца.

Теперь это сделано настолько, насколько казалось удобным в настоящее время. Гораздо большее, вероятно, будет раскрыто в другую пору дневником Бенни и его бумагами, а пока это сделается удобным (что, конечно, случится не при нашей жизни), человека, о котором мы говорим, можно укорить в легкомысленности, но надо верить ручательству Ивана Сергеевича Тургенева, что *«Артур Бенни был человек честный»,* и это ручательство автор настоящих записок призывает в подкрепление своего искреннего рассказа об Артуре Бенни, столь незаслуженно понесшем тягостнейшие оскорбления от тех, за чьи идеи он хотел жить и не боялся умереть.

Но остается еще сказать о том, что сделалось известно о его кончине из другого, может более достоверного источника, именно из уст одной очевидицы его смертного часа.

## ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

Сведения о последних днях Артура Бенни и о его кончине в печати довольно долгое время останавливались на известии «Иллюстрированной газеты» г. Зотова, что «Артур Бенни, о котором ходили разноречивые и невыгодные слухи, убит при Ментане». Известие это, как оно ни кратко, снова подало повод к толкам: старинные клеветники Бенни заговорили, что Артур Бенни убит не как гарибальдиец, а как открытый гарибальдийцами русский шпион. Деятельные люди, на которых все несчастия Бенни должны лечь позорным и тяжким укором, обнаружили неслыханную энергию в поддержке этой последней клеветы на покойного несчастливца, и эта последняя вещь была бы, кажется, еще горше первой, потому что не предвиделось уже никакого следа для восстановления истины; но вдруг в июне месяце 1870 года, в газете «Неделя», №№ 21, 22 и 23, появились воспоминания госпожи Александры Якоби о ее пребывании «между гарибальдийцами». Госпожа Якоби дала Артуру Бенни очень большое место в своих воспоминаниях и притом отнеслась к нему в своих строках не только с женскою теплотою, но

и с тем сочувствием, которое возбуждал у всех честных людей этот *искреннейший* молодой страдалец.

Желание сделать наш рассказ об Артуре Бенни по возможности полным и ясным заставляет нас сделать небольшие позаимствования из рассказа о нем госпожи Якоби. Она встретила его в ноябре месяце 1867 года в числе раненых пленных, сваленных в каком-то скверном углу. Вот подлинные слова г-жи Якоби (газета «Неделя» № 23, стр. 762):

«Я заинтересовалась одною личностью, от которой не могла никогда добиться ни одного слова. Это был невысокого роста господин с темными волосами, довольно окладистой бородкой, немного рыжеватой посредине. Одет он был в лиловую гарибальдийскую рубашку. Лежал он большею частию к стене лицом и мало с кем говорил. С виду ему было лет тридцать. Подле него на столике лежали номера «Times»[1] и несколько гидов Бедекера в красных обертках. Он был ранен в правую руку и, по-видимому, не особенно опасно. Раз я увидела, что он долго разговаривал по-английски с протестантским священником Way. Когда мистер Way отошел от него, я спросила:

— Кто этот господин?

— Это Артур Бенни.

Тогда я прямо подошла к нему и крепко пожала ему руку. Его я не знала, но была знакома в Париже с его братом Карлом. Долго проговорили мы с ним.

Все, что я буду говорить о нем, я слышала от самого покойного, подле которого я была до последней минуты.

Бенни во время сражения находился в лагере Гарибальди, куда он прибыл из Швейцарии, в качестве корреспондента. Когда командир девятого полка был убит, тогда сын Гарибальди, Менотти, предложил Бенни команду, от которой он не отказался. Но командовать пришлось ему недолго, он был ранен в правую руку около большого пальца. В день 4 ноября он вместе с другими ранеными был привезен в госпиталь святого Онуфрия. Вот что он рассказывал мне о ночи на 5 ноября:

— Я никогда не забуду этой ночи. Вообразите, когда мы были привезены, ни постелей, ни даже соломы на полу не было. Сложивши нас всех кое-как, все удалились,

---

[1] «Таймс» *(англ.)*.

кроме часовых у дверей. Помню, подо мной умирал один тяжело раненный, но у меня не было сил сдвинуться, чтобы освободить его из-под моего груза. Около меня слышались голоса, просившие пить. Часовые даже не двигались, сказав нам: «до утра». Ночи этой не было конца. Напрасно я ждал рассвета — через окна, узкие, грязные, закрытые вечной паутиной, он пройти не мог. Утром принесли лампы, начали носить кровати, мешки с соломой вместо тюфяков. Всех нас осветили желтоватым светом. Тут я увидал по углам многих моих товарищей, плавающих в крови. В эту ночь умерло двенадцать человек. Что мы испытывали, трудно рассказать.

— Нельзя ли похлопотать перевести меня отсюда, — продолжал он. — Здесь, несмотря на ничтожную рану, умру наверное. Вы ведь всего не видите, что здесь делается.

— Отчего вы медлили так долго и не обратились ко мне с этим раньше? Вы бы давно уже были куда-нибудь переведены. Если бы мне не позволили взять вас к себе на дом, то мы бы выхлопотали перевести вас в другой госпиталь.

— У вас и без меня много дела. Есть люди, опаснее меня раненные. Да и потом кто знает, позволят ли?

— Вам может то помочь, что вы по тем известиям, которые они имеют, не были объявлены гарибальдийцем; вас считают просто корреспондентом.

— Так похлопочите, пожалуйста.

С помощью мистера Way и генерала-канцлера мы выхлопотали позволение перевести Бенни в госпиталь святой Агаты.

В госпитале святой Агаты была отведена ему особая комната. Вообще помещением он был доволен. Подле него был доктор француз, Labord.

Разница в положении Бенни с тех пор, как он находился в новом госпитале, была довольно значительная. Он даже спустя неделю мог подолгу сидеть на своей постели и помногу писал левой рукой. У него была большая переписка с одним швейцарским городком, где жила им любимая личность, о которой он, впрочем, мне сказал лишь тогда, когда уже не мог более писать и когда я принуждена была ему читать получаемые им письма. Кроме этой переписки, он вел дневник своего пребывания

в Ментане. Все эти заметки, а также и частные письма, оставшиеся после него, были захвачены и, несмотря на мои убедительные просьбы, не были мне выданы. Итак, я отправлялась к Бенни каждое утро, носила ему мясо и другую провизию и готовила ему обед сама, на небольшом столике подле его постели. Больничное кушанье пугало его. Видя его постоянно занятым, я убедительно просила его не писать много, не читать; когда у меня было время, я читала ему сама. Судя по чистому наружному виду комнаты, мне казалось, что и уход за ним должен быть хорош. Но этого-то и не было».

Г-жа Якоби описывает следующую сцену, которую она застала однажды, вступая в комнату больного.

«Бенни лежал на постели со свесившейся головой, обруч и окровавленные тряпки валялись на полу, раздробленная рука, лежавшая постоянно в вытянутом положении, сдвинута с места. Стон раздавался по всей комнате.

— Бенни, — кликнула я его, — Бенни!

Но ответа не было. Я взяла его голову, положила на подушку, дала ему понюхать спирту, обтерла лицо губкой, намоченной в уксусе. Наконец он открыл глаза.

— Затвори дверь, подойди ближе; вон видишь этот лес, сейчас оттуда выбегал тигр и больно кусал мне эту руку, но я его вот так!..

Он поднял другую руку и *ударил ею изо всей силы по больной руке.* Меня так и обдало холодом. Но что было делать, я села подле него и стала дожидаться, когда он придет в сознание.

Спустя некоторое время он взял меня за руку и сказал:

— Вы давно здесь? Что было со мной, не отрезали ли уже мне руку? Что мне делать с собою? Болезнь моя не улучшается. Не лучше ли действительно отрезать руку? А что потом я буду делать? Ведь эта рука только и поддерживает мое существование.

Я спросила Танчони, который осматривал больных, о состоянии Бенни.

— Да ему давно бы уже было нужно отнять кисть руки».

Танчони г-жа Якоби не доверяла и обратилась к одному англичанину, доктору, и просила его через посредство мистера Way прийти в госпиталь.

«Когда пришел англичанин-доктор, то он, осмотрев рану, нашел, что Бенни не спасет и ампутация. Но ампутацию все-таки сделали тотчас по уходе этого доктора. Меня не пропускали к Бенни целых пять дней под предлогом, что ему вредно говорить. На такой резон я поневоле должна была сдаться и ходила только каждый день справляться о его здоровье. Ответ был постоянно тот, что дело идет как нельзя лучше. Наконец по прошествии нескольких дней я вошла к нему. Он был весел, показывал мне свою коротенькую руку и говорил, что ему иногда хочется почесать себе пальцы, которых нет.

— А что, как вы думаете, смерть теперь не догонит меня? Право, не хотелось бы умирать на полдороге жизни, а главное, жаль, что я ничего не сделал.

Говоря это, он пристально смотрел мне в глаза, как будто видел в них сомнение.

Действительно, он угадал: я при виде его сдерживала неприятное чувство, которое овладело мной. Появившаяся маленькая лихорадка пугала меня, лицо его очень изменилось, глаза ввалились, нос заострился. Одним словом, я его считала покойником. В этот самый день посетила госпиталь бывшая неаполитанская королева. Между тем из Швейцарии давно писали, что хотели приехать в Рим.[1] Он все отклонял.

Прежде он говорил: «Пусть тогда приезжает, когда ампутация будет уже сделана». А потом думал: «Нет, лучше тогда, когда поправлюсь. Что она будет делать в незнакомом городе, не зная языка».

Но она не ждала ответа и прислала депешу, что уже выехала. А ему между тем становилось все хуже. Телеграммами мы менялись два раза в день (она, к несчастию, заболела в дороге). В первый день рождества к вечеру ему сделалось очень худо, так что *он потребовал к себе священника и в десять часов вечера причастился.* На другой день я пришла к нему; он был очень слаб и еле узнал меня.

---

[1] Это «писали», очевидно, касается молодой особы М. Н. К., пользовавшейся глубочайшею привязанностию Артура Бенни. (*Прим. автора.*)

— А, вы снова здесь. Подойдите, ведь я не так еще страшен. Что вы ей ответили на депешу?»

Перемолвясь об этом, Бенни сказал г-же Якоби:

— Только бы поправиться, как бы мне хотелось вернуться в Россию: *я рад, что, встретя вас, могу говорить по-русски.*

«27 ноября я была у Бенни около десяти часов. Лихорадка била его страшно. Лицо совершенно осунулось. Подбородок как-то надвинулся к носу.

— Бенни! — окликнула я его, проведя рукой по его уже совершенно холодному лбу.

Он губами прикоснулся к моей руке, и несколько крупных слез выкатились из глаз.

— Теперь я действительно умираю. А она... вы сказали, что приедет к одиннадцати часам, ну я и старался дожить, но не могу.

Это было его последнее слово. Агония продолжалась до двух с половиною часов пополудни. Тотчас после смерти с него был снят прекрасный портрет масляными красками, который и был передан г-же К... 29-го его похоронили на протестантском кладбище; в могилу его, прежде чем засыпать ее землею, мы набросали красных и белых цветов, перемешанных с зеленью, — то были национальные цвета Италии».

## ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Таков рассказ очевидицы последнего томления и смерти Артура Бенни — рассказ, которого, кажется, уже нет никакого повода заподозривать в несправедливости, пристрастии или натяжках, тем более что все это подтверждается по деталям рассказами известных людей, как Ивана Сергеевича Тургенева и Петра Дмитриевича Боборыкина.

Покойный Бенни писал к обоим этим лицам письма после своего увечья левою рукою и вообще выражал ту любовь к русским и к России, о какой свидетельствует бывшая при его последних минутах г-жа Якоби. Покойный Артур Бенни, испив до дна горькую чашу уксуса и желчи, смешанных для него пылкими увлечениями его

восторженной и альтруистической натуры и коварством злых людей, маскировавших сочиняемыми на него клеветами собственную малость и ничтожество, пришел к тем же самым разочарованиям, какие видим в посмертных записках учителя его, Александра Герцена, человека даровитейшего и тем не менее объявлявшего, будто он «создал в России *поколение бесповоротно социалистическое»*. Опубликованные посмертные записки Герцена показали, что у него недоставало *смелости* сознаться, что он ошибся и что «поколения бесповоротно социалистического» на Руси нет, а Скотинины, Чичиковы и Ноздревы живы. Покойный Бенни, оказывается, был гораздо его искреннее, и И. С. Тургеневу с П. Д. Боборыкиным известно, что Артур Бенни не только хотел просить у государя прощения и дозволения возвратиться в Россию, но его даже видели уже занятым окончательною редакциею письма к графу Петру Андреевичу Шувалову, через которого он намерен был направить свое ходатайство к императору. Судьба решила все это иначе.

Дописывая эти последние строки о моем усопшем друге, я хочу сказать короткий ответ тем, кто недоволен этою повестью и протестует против ее появления. Эти болезненно щекотливые люди между прочим говорят, что они не видят никакой надобности в оглашении этой истории; я же вижу в этом несколько надобностей, из коих каждая одна настоятельнее другой: 1) я хочу изложением истории похождений Артура Бенни очистить его собственную память от недостойных клевет; 2) я желаю посредством этой правдивой и удобной для поверки повести освободить от порицания и осуждения живых лиц, терпящих до сих пор тяжелые напраслины за приязнь к Бенни при его жизни; 3) я пытаюсь показать в этой невымышленной повести настоящую картину недавней эпохи, отнявшей у нашей не богатой просвещенными людьми родины наилучших юношей, которые при других обстоятельствах могли бы быть полезнейшими деятелями, и 4) я имею намерение дать этой живою историею всякому, кому попадется в руки эта скромная книжка, такое чтение, в коем старость найдет себе нечто на послушание, а молодость на поучение. Ошибочны или нет мои соображения, но худа эта книга никому сделать не может, а малую пользу может принести хотя бы указанием на след-

ствие увлечений, которые будут повторяться до скончания века, точно так же как и человеческое злословие и клеветы.

Изменяя с летами и с событиями свои взгляды и убеждения, никогда не бесполезно отойти и поглядеть, с кем мы продолжаем сидеть, — не бесполезно вспомнить тех,

Кто истину искал,
И тех, кто побежденный пал
В толпе бессмысленной, холодной,
Как жертва мысли благородной.

# СМЕХ И ГОРЕ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Свежий мартовский ветер гулко шумел деревьями большого Таврического сада в Петербурге и быстро гнал по погожему небу ярко-красные облака. На дворе было около восьми часов вечера; сумерки с каждой минутой надвигались все гуще и гуще, и в небольшой гостиной опрятного домика, выходившего окнами к одной из оранжерей опустелого Таврического дворца, ярко засветилась белая фарфоровая лампа, разливавшая тихий и ровный свет по уютному покою. Это было в одном дружеском семействе, куда я, дядя мой Орест Маркович Ватажков и еще двое наших общих знакомых только что вернулись с вербного базара, что стоит о Лазаревой субботе у Гостиного двора. Мы все пришли сюда прямо с этого базара и разговорились о значении праздничных сюрпризов.

Семейный дом, в котором мы собрались, был из числа тех домов, где не спешат отставать от заветных обычаев. Здесь известные праздничные дни отличаются от простых дней года всеми мелочами, какими отличались эти дни у отцов и дедов. Тут непременно поздний обед при звезде накануне рождества; кутья по Предтече в крещенский сочельник; жаворонки детям 9 марта, а в воскресенье пред страстной неделей вербные подарки. Последние обыкновенно состояли из разных игрушек и сюрпризов, которые накануне с вечера закупались на вербном базаре у Гостиного двора и рано утром подвешивались на лентах

под пологами детских кроваток. Каждый подарок украшался веткою вербы и крылатым херувимом... Дети были уверены, что вербные подарки им приносит сам этот вербный херувим или, как они его называли, «вербный купидон».

Об этих подарках и зашла теперь речь: все находили, что подарки — прекрасный обычай, который оставляет в детских умах самые теплые и поэтические воспоминания; но дядя мой, Орест Маркович Ватажков, человек необыкновенно выдержанный и благовоспитанный, вдруг горячо запротиворечил и стал настаивать, что все сюрпризы вредны и не должны иметь места при воспитании нигде, а тем паче в России.

— Потому, — продолжал дядя, — что здесь и без того что ни шаг, то сюрприз, и притом самый скверный; так зачем же вводить детей в заблуждение и приучать их ждать от внезапности чего-нибудь приятного? Я допускаю в виде сюрприза только одно — сечь ребенка.

Все переглянулись; кое-кто улыбнулся.

— Это и понятно, что Оресту Марковичу неприятно говорить о детях и о детстве, — сказала хозяйка. — Старые холостяки не любят детей.

— Опять должен вам возражать, — отвечал дядя. — Хотя я уже и действительно в таких летах, что не могу обижаться именем старого холостяка, но тем не менее детей я люблю, а сюрпризы для них считаю вредными, потому что это вселяет в них ложные надежды и мечтания. Надо приготовлять детей к жизни сообразно ожидающим их условиям, а так как жизнь на Руси чаще всего самых лучших людей ни за̀ что ни про̀ что бьет, то в виде сюрприза можно только разве бить и наилучших детей и то преимущественно в те дни, когда они заслуживают особой похвалы.

— Вы чудачествуете, Орест Маркович?

— Нимало: вербные купидоны для меня, как и для ваших детей, еще не перешли в область прошедшего, и я говорю о них даже не без замирания сердца.

— Это шутка?

— Нисколько. Что за шутка серьезными вещами.

— Так это история?

— Даже несколько историй, если вам угодно: лучше

сказать, это такое же potpourri[1] из сюрпризов, как бывает potpourri из песен.

— И вы, может быть, будете так любезны, что расскажете нам кое-что из вашего potpourri?

— Охотно, — отвечал мой дядя, — тем более, что здесь и тепло, и светло, и приятно, и добрые снисходительные слушатели, а мое potpourri варьировано на интереснейшую тему.

— А именно?

— А именно вот на какую: все полагают, что на Руси жизнь скучна своим однообразием, и ездят отсюда за границу *развлекаться,* тогда как я утверждаю и буду иметь честь вам доказать, что жизнь нигде так не преизобилует самыми внезапнейшими разнообразиями, как в России. По крайней мере я уезжаю отсюда за границу именно *для успокоения* от калейдоскопической пестроты русской жизни и думаю, что я не единственный экземпляр в своем роде.

— Орест Маркович! Мы вас слушаем.

— Милостивые государи! Я повинуюсь и начинаю.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Большинству здесь присутствующих обстоятельно известно, что я происхожу из довольно древнего русского дворянского рода. Я записан в шестую часть родословной книги своей губернии; получил в наследство по разным прямым и боковым линиям около двух тысяч душ крестьян; учился когда-то и в России и за границей; служил неволею в военной службе; холост, корнет в отставке, имею преклонные лета, живу постоянно за границей и проедаю там мои выкупные свидетельства; очень люблю Россию, когда ее не вижу, и непомерно раздражаюсь против нее, когда живу в ней; а потому наезжаю в нее как можно реже, в экстренных случаях, подобных тому, от которого сегодня только освободился. Я рассказываю вам все очень подробно и не утаиваю никаких мелочей моего характера, эгоистического и мелкого, не делающего мне ни малейшей чести. Я знаю, что вы меня за это не почтите вашим особенным вниманием, но я уже, во-первых, стар,

---

[1] Попурри *(франц.)*.

чтобы заискивать себе чье-нибудь расположение лестью и притворством, а во-вторых, строгая истина совершенно необходима в моем полуфантастическом рассказе для того, чтобы вы ни на минуту не заподозрили меня во лжи, преувеличениях и утайках.

В воспитании моем есть что-то необыкновенное. Я русский, но родился и вырос вне России. Должность родных лип, под которыми я впервые осмотрелся, исправляли для меня южные каштаны, я крещен в воде итальянской реки, и глаза мои увидали впервые солнце на итальянском небе. Родители мои постоянно жили в Италии. Отец мой не был изгнанник, но тем не менее север был для него вреден, и он предпочитал родине чужие края. Мать моя тосковала по России и научила меня любить ее и стремиться к ней. Когда мне минуло шесть лет, стремлению этому суждено было осуществиться: отец мой, катаясь на лодке в Генуэзском заливе, опрокинулся и пошел как ключ ко дну в море. После этой потери юг утратил для нас с матерью свое значение, и мы потянулись с нею на север. Мне о ту пору было всего восемь лет. Тогда и по Европе еще сплошь ездили в дилижансах, а у нас плавали по грязи.

Я не помню уже, сколько дней мы ехали до Петербурга, сколько потом от Петербурга до Москвы и далее от Москвы до далекого уездного города, вблизи которого, всего в семи верстах, жил мой дядя. Эта продолжительная и утомительная поездка, или, вернее сказать, это плавание в тарантасах по грязи, по тридцати верст в сутки на почтовых, останется вечно в моей памяти. Я как будто вчера еще только отбыл эти муки, и у меня даже еще ноют при всяком движении хрящи и ребра. Я поистине могу сравнивать это странствование с странствованиями Одиссея Лаэртида. Приключения были чуть не на каждом шагу, и покойница матушка во всех этих приключениях играла роль доброго гения.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Благие вмешательства моей матери в судьбы странников начались с первого же ночлега по петербургскому шоссе, которое существует и поднесь, но о котором все вы, нынешние легковесные путешественники, разумеется,

не имеете никакого понятия. Железные дороги — большое препятствие к изучению России, я в этом положительно уверен; но это à propos...[1] Как сейчас помню: теплый осенний вечер; полоска слабого света чуть брезжится на западе, и на ней от времени до времени вырезываются силуэты ближайших деревьев: они все казались мне солдатиками, и я мысленно сравнивал их с огненными мужичками, которые пробегают по сгоревшей, но не истлевшей еще бумаге, брошенной в печку. Я любил, бывало, засматриваться на такую бумагу, как засмотрелся, едучи, и на полосу заката, и вовсе не заметил, как она угасла и как пред остановившимся внезапно экипажем вытянулась черная полоса каких-то городулек, испещренных огненными точками, красного цвета, отражавшегося длинными и острыми стрелками на темных лужах шоссе, по которым порывистый ветер гнал бесконечную рябь. Это был придорожный поселок, станция и ночлег. Борис Савельич, старый и высокий, с седым коком лакей, опытный путешественник, отряженный дядею в наши провожатые и высланный нам навстречу в Петербург для сопровождения нас в заветную глубь России, соскочил с козел и отправился на станцию. Я видел, как его грандиозная, внушающая фигура в беспредельной, подпоясанной ремнем волчьей шубе поднялась на крыльцо; видел, как в окне моталась тень его высокого кока и как потом он тотчас же вышел назад к экипажу, крикнул ямщику: «не смей отпрягать» и объявил матушке, что на почтовой станции остановиться ночевать невозможно, потому что там проезжие ремонтеры играют в карты и пьют вино; «а ночью, — добавлял наш провожатый, — хотя они и благородные, но у них наверное случится драка». Матушка страшно перепугалась этого доклада и тотчас же сдалась на предложение Бориса Савельича отъехать на постоялый двор к какому-то Петру Ивановичу Гусеву, который, по словам Бориса, был «отличнейший человек и имел у себя для проезжающих преотличные покои».

Двор этого отличнейшего человека был всего в двух шагах от станции, и не успел Борис скомандовать: «к Петру Ивановичу», как экипаж наш свернул с шоссе налево, прокатил по небольшому мостику через придо-

---

[1] Кстати *(франц.)*.

рожную канаву и, проползя несколько шагов по жидкой грязи, застучал по бревенчатому помосту под темными сараями крытого двора. Посредине этого двора, под высокими стропилами, висел на перекинутой чрез блок веревке большой фонарь, ничего не освещавший, но глядевший на все точно красный глаз кикиморы. В непроглядной тьме под сараями кое-где слышались человеческие голоса и то тихий стук конских зубов, жевавших овес, то усталое лошадиное отпырхивание.

Матушка и моя старая няня, возвращавшаяся с нами из-за границы, высвободившись из-под вороха шуб и меховых одеял, укутывавших наши ноги от пронзительного ветра, шли в «упокои» пешком, а меня Борис Савельич нес на руках, покинув предварительно свой кушак и шапку в тарантасе. Держась за воротник его волчьей шубы, я мечтал, что я сказочный царевич и еду на сказочном же сером волке.

«Упокоев», которыми соблазнил нас Борис, к нашим услугам, впрочем, не оказалось. Встретившая нас в верхних сенях баба, а затем и сам Петр Иванович Гусев — атлетического роста мужчина с окладистою бородой — ласковым голосом и с честнейшим видом объявил нам, что в «упокоях» переделываются печи и ночевать там невозможно, но что в зале преотлично и чай кушать и опочивать можно на диванах.

— А барчуку, — добавил он, указывая на меня, — мы смостим два креслица и пуховичок подкинем.

Мать решила, что это прекрасно и, взяв с хозяина слово, что он в залу уже никого, кроме нас, не пустит, велела подать самовар. Последнее распоряжение матушки тотчас же вызвало со стороны Бориса осторожное, шепотом выраженное замечание, что, мол, этак, не спросивши наперед цены, на постоялом дворе ничего спрашивать невозможно.

— Хотя это точно, — говорил Борис, — что мы с вашим братцем всегда останавливаемся у Петра Ивановича, и он обижать нас по-настоящему не должен, ну а все же правило того требует, чтобы спросить.

Борис Савельич был из числа тех крепостных людей, выросших в передней господского дома, для которых поездки, особенно дальние поездки в столицы, в Москву или Петербург, составляли высшее удовольствие. В этих

поездках он мог щеголять своею опытностью, знанием света, тонким пониманием людей и вообще такими сведениями, каких при обыкновенном течении жизни ему показать было некому да которых от него в обыкновенное время никто и не спрашивал. Все, что он ни делал в дороге, — все это он делал как бы некое священнодействие, торжественно, величественно и притом с некоторым жреческим лукавством.

В большой комнате, которую мы для себя заняли, Борис Савельич тотчас же ориентировал нас к углу, где была тепло, даже жарко натопленная печка. Он усадил меня на лежанку, матушку на диван и беспрестанно прибегал и убегал с разными узлами, делая в это время отрывочные замечания то самому дворнику, то его кухарке, — замечания, состоявшие в том, что не вовремя они взялись переделывать печки в упокоях, что темно у них в сенях, что вообще он усматривает у них в хозяйстве большие нестроения.

Затем Борис убегал снова и снова возвращался с корзинками, в которых были припасенные в дорогу папушники и пирожки. Все это было разложено на печке, на чистой бумаге, и Борис Савельич, разбирая эту провизию, внушал матушке, что все это надо кушать, а у дворника ничего не брать, потому-де, что у него все очень дорого.

— Я про ужин для себя полюбопытствовал, — говорил Борис, — да полтину просит, так я ему в глаза и плюнул.

Матушку такая резкость смутила, и она поставила это Борису на вид; но тот только махнул рукой и отвечал, что с торговым человеком на Руси иначе обходиться невозможно.

— Их, матушка! — уверял он, — и поп, когда крестит, так в самое темя им три раза плюет.

Это меня очень заинтересовало, и я снова замечтался, как это производится указанная Борисом процедура, а между тем был подан самовар; я выпил одну чашку, почувствовал влечение ко сну и меня уложили на той же теплой лежанке. Матушка расхаживала по комнате, чтобы размять ноги, а Борис с нянькою сели за чай; они пили очень долго и в совершенном молчании. Я, потягиваясь на лежанке, все наблюдал, как моя нянька краснела и, как мне казалось, распухала. Она мне тогда представлялась белой пиявкой, каких я, впрочем, никогда

не видал; я думал: вот еще, вот еще раздуется моя няня и хлопнет. И точно, старуха покраснела, раздулась, расстегнула даже платок на груди и отпала. Но Борис Савельич упорно оставался один за столом. Он сидел прямо, как будто проглотил аршин, и наливал себе мерно стакан за стаканом с очевидным непреложным намерением выпить весь самовар до последней капли. Он не раздувался и не краснел, как няня, но у него зато со всяким хлебком престрашно выворачивались веки глаз и из седого его чуба вылетал и возносился легкий пар. Мне очень хотелось спать, но я не мог уснуть, потому что все мною наблюдаемое чрезвычайно меня занимало. Это была *она,* моя заветная, моя долгожданная Россия, которую я жаждал видеть ежесекундно. Она была в этой бесприютной комнате, в этом пузатом самоваре, в этом дымящемся чубе Бориса...

Но наблюдениям моим готов был и иной материал.

Среди таких занятий нашей компании, о которых я рассказываю, под окнами послышался шум от подъехавшего экипажа и вслед за тем стук в ворота и говор. Няня взглянула в окно и сказала:

— Шестерная карета!

— Ну, как приехали, так и уедут, — отвечал ей Борис, — останавливаться негде.

Но в эту минуту на пороге явился умильный Петр Иванович и с заискивающею, подобострастною улыбкою начал упрашивать мать во что бы то ни стало дозволить напиться чаю в нашей комнате проезжей генеральше. Борис Савельич окрысился было за это на дворника, как пес Дагобера, но, услышав со стороны матери предупредительное согласие, тотчас же присел и продолжал допивать свой чай и дымиться. Я имел черт знает какое возвышенное понятие о русских генералах, про которых няня мне говорила дива и чудеса, и потому я торжествовал, что увижу генеральшу.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В комнату нашу вошла большая, полная, даже почти толстая дама с косым пробором и с мушкой на левой щеке. За ней четыре барышни в ватных шелковых капотах, за ними горничная девушка с красивым дорож-

ным ларцом из красного сафьяна, за девушкой лакей с ковром и несколькими подушками, за лакеем ливрейным лакей не ливрейный с маленькою собачкой. Генеральша, очевидно, была недовольна, что мы заняли комнату, прежде чем она накушалась здесь своего чаю.

Она извинялась перед матушкой, что побеспокоила ее, но извинялась таким странным тоном, как будто мы были перед нею в чем-то виноваты и она нас прощала. Матушка по своей доброте ничего этого не замечала и даже радовалась, что она может чем-нибудь услужить проезжим, вызывалась заварить для них новый чай и предложила дочерям генеральши наших отогретых пирожков и папушников. Но генеральша отклонила матушкино хлебосольство, объяснив, все в том же неприступном тоне, что она разогретого не кушает и чаю не пьет, что для нее сейчас сварят кофе в ее кофейнике, а пока... она в это время обратилась к Петру Ивановичу и сказала:

— Послушай, мужик, у тебя есть что-нибудь завтракать?

— Матушка, — отвечал, выгибаясь, Петр Иваныч, — у меня сию минуту индюк в печи сидит, — на станцию для ремонтеров жарил, да если твоей милости угодно, мы тебе его подадим, а они подождут.

— Давай, — приказала генеральша.

Наш Борис тряхнул чубом и еще с большим ожесточением стал глотать остывающий чай. И мне и Борису показалось, что генеральша приказала подать индюка единственно затем, чтоб унизить этим нас, занимавших в комнате лучшее место, но скромно подкреплявшихся чаем и разогретыми пирожками. Все мы были немало переконфужены этим начинавшим подавлять нас великосветским соседством и нетерпеливо ждали появления индюка, в надежде, что вслед за тем гости наши покушают и уедут.

Наконец явился и он. Как теперь его помню: это был огромный, хорошо поджаренный, подрумяненный индюк на большом деревянном блюде, и в его папоротку был артистически воткнут сверкающий клинок большого ножа с белой костяною ручкой. Петр Иванович подал индюка и, остановясь, сказал:

— Прикажете раскроить?

— Нет, пожалуста, пожалуста... твоих услуг не надо, — отвечала генеральша.

Петр Иванович, не конфузясь, отошел в сторону.

На столе запылал кофейник, и генеральша обратилась к дочерям с вопросом, чего кому хочется. Ни одной не хотелось ничего. Надо помнить, что это были те времена, когда наши барышни считали обязанностью держаться неземными созданьями и кушали очень мало, а потому генеральша только и могла отрезать от индюка одно крылышко. Это крылышко какая-то из девиц подержала в руках, покусала и бросила на тарелку. Затем лакей доложил, что карета готова, и чопорные гости стали собираться. Но тут произошла престранная история, впервые поколебавшая мое высокое понятие о генеральшах.

Петр Иванов явился с огромными счетами, начал выкладывать за теплоту и за светлоту и вдруг потребовал за жареного индюка семнадцать с полтиной (конечно на ассигнации).

Генеральша так и вскипела.

— Что ты, что ты! Да где же это за индюка семнадцать с полтиной? Этак и за границей не дерут.

— Нам, сударыня, заграница не указ; мы свой расчет держим.

— Да мы твоей индюшки и не съели: ты сам видишь, я одно крылышко от нее отломила.

— Как вам угодно, — отвечал Петр Иванов, — только я ее теперь никому подать не могу. Как у нас русский двор, то мы, сударыня, только целое подаем, особенно ремонтерам, потому как это господа завсегда строгие.

— Ах, какой же ты мошенник! — закричала генеральша.

Петр Иванов просил его не порочить.

— Нет, скажите бога ради, мошенник он или нет? — обратилась генеральша заискивающим тоном к моей матери.

Мать промолчала, а Петр Иванов положил на стол счеты и вышел.

— Я не заплачу́, — решила генеральша, — ни за что не заплачу́, — но тут же и спасовала, потому что вошедший лакей объявил, что Петр Иванов не выпускает его с вещами к карете.

— Ах, боже мой, разве это же можно? — засуетилась генеральша.

— Торговаться вперед надо, — отвечал ей поучительно Борис.

— Но, мой друг, пойди, уговори его. Вы позволите?

Мать позволила, Борис пошел, долго кричал и вернулся с тем, что менее пятнадцати рублей не берет.

— Скажите, что же мне делать? — засуетилась снова генеральша.

Мать моя, зевая и закрывая рот рукою, отвечала генеральше по-французски, что надо заплатить, и добавила, что с одного ее кузена на Кавказе какие-то казаки на постоялом дворе потребовали пять рублей за пять яиц и, когда тот не хотел платить, заперли его на дворе.

— Неужели это может быть и со мною? — воскликнула генеральша и, заливаясь слезами, начала упрашивать Петра Иванова об уступке, но Петр Иванов из пятнадцати рублей не уступил ни одной копейки, и деньги эти ему были заплачены; генеральша, негодующая и заплаканная, стала прощаться, проклиная Русь, о которой я слышал за границей одни нежные вздохи.

— Возьмите же по крайней мере с собою этого индюка: он вам пригодится, — сказала моя мать генеральше.

Растерянная генеральша с радостию согласилась.

— Да, да, — заговорила она, — конечно, жаркое пригодится.

И с этим ее превосходительство, остановив за руку Петра Иванова, который хотел уносить индюка, сказала ему:

— Позволь, позволь, батюшка: ты деньги получил, а индюк мой. Дай мне сахарной бумаги, чтобы завернуть.

Петр Иванов отказал, но мать встала с своего места, пересыпала рубленый сахар из бумажного картуза в холщовый мешочек и передала ее Борису, который тут же мастерски увернул индюка и вручил его непосредственно самой генеральше. Встреча с этою гордою дамой, ее надутый вид и метаморфозы, которые происходили с нею в течение нескольких минут, были для меня предметом немалого удивления.

С этих пор я при виде всякого земного величия постоянно не мог отучиться задавать себе вопрос: а как бы держало себя это величие пред индюком и запертыми воротами?

Это невинное событие преисполнило юную душу мою неулегающимися волнами сомнения и потом во многих случаях моей жизни служило мне соблазном и камнем преткновения, о который я спотыкался и довольно больно разбивал себе нос.

Тотчас по отъезде генеральши в нашей компании начались на ее счет самые злые насмешки, из чего я тогда же вывел для себя, сколь невыгодно выходить из собрания первым, а не последним. Из этой же беседы мне впервые уяснилось, что такое называется чванством, фанфаронством и другими именами. Но в конце этого разговора матушка, однако, обратила Борисово внимание на то, что хорош же, мол, однако и твой Петр Иванов, — какой он мошенник! Борис по этому поводу пустился в бесконечные рассказы о том, что придорожному человеку, а тем более дворнику никогда верить нельзя, будь он хоть самый честнейший человек, ибо на больших дорогах... Тут он начал рассказывать разные страсти, слушая которые я заснул.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Вслед за этим я как сейчас помню небольшую почтовую станцийку в Нижегородской губернии, где мы натолкнулись на другую престранную историю. Это было во второй половине нашего путешествия, которое мы уже два дня совершали гораздо лучше, потому что на землю выпал густой снег и стал первопуток. Мы бросили в каком-то городишке наш тарантас и ехали теперь в кибитке на полозьях. Рассказы Бориса о дорожных страхах возымели на всех нас свое устрашающее действие, вследствие чего матушка по ночам аккуратно пересаживала Бориса с козел в возок. Помню, как он, бывало, влезал к нам в волчьей шубе, внося с собою целое облако холодного пара, и обыкновенно сейчас же опять заводил страшные рассказы. Так мы проехали огромные лесные пространства и однажды вечером, остановясь перед маленькой станцийкой, увидели у крыльца кибитку с тройкой дрожащих и дымящихся лошадей. На станции была заметна какая-то суета и беготня с крыльца во двор и со двора на крыльцо. Всех, очевидно, занимало что-то и необыкно-

венное и смешное, потому что все бегали и не то охали, не то смеялись. Один верховой выскочил из ворот и, скаля зубы, понесся в одну сторону леса; другой, совсем помирая со смеха и нещадно настегивая по бокам коня, поскакал в другую. Мы рассчитывали здесь пить чай и вошли в сени. Нянька вела под руку матушку; Борис, по обыкновению, нес меня на руках. В маленькой, слабо освещенной комнатке, в которую мы вступили прямо из сеней, была куча самых странных людей, с самыми невероятными, длинными и горбатыми носами, каких я никогда до тех пор не видал. Мне даже показалось, что это вовсе не люди, а одни носы. Во всей этой смятенной сутолоке раздавался странный и непонятный говор и трепетный плач с каким-то гортанным переливом. Три огромные носа в огромных бараньих шапках держали над тазом четвертый нос, из которого в две противоположные стороны били фонтаны крови. Эти носы были армяне, возвращавшиеся куда-то к себе из Москвы. Их было счетом четверо, и они ехали всего за полчаса пред нами через лес, который мы благополучно минули. Трое из армян сидели в самой кибитке, а четвертый, их молодой приказчик, с самым большим восточным носом, помещался у них на коленях, так что огромный нос его высовывался из кибитки наружу. Вдруг из лесной чащи раздался выстрел и несчастный нос этого злополучного армянина как раз пред самым кончиком прострелен крупною леткой... Нужно же было случиться такой странности!

Мы застали армянина, истекающего кровью над тазом; около него все кричали, суетились, и никто ничего не предпринимал. Узнав в чем дело, моя мать быстро разорвала свой носовой платок и устроила из него для раненого бинт и компрессы, а Борис, выдернув из стоявшей на столе сальной свечки фитиль, продернул его армянину сквозь нос, и перевязка была готова. Теперь все только смеялись, что, конечно, было очень неприятно раненому, но удержаться было невозможно. Этот жалкий армянин с простреленным носом и продернутым сквозь него фитилем из свечки был действительно до такой степени смешон, что, несмотря на его печальное положение, сама матушка моя постоянно отворачивалась, чтобы скрыть свой смех. Мы обогрелись и уехали с этой станции, оставив

в ней армян ожидать пристава, а сами с этих пор всю дорогу только и толковали про то, как и почему разбойник прострелил армянину не щеку, не ухо, а именно один нос? Признаюсь вам, я и до сих пор считаю это событие совершенно чрезвычайным, и когда заходит где-либо речь о Промысле или о фатализме, я всегда невольно припоминаю себе этого армянина, получившего в нос первое предостережение.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Третье путевое происшествие, которое живыми чертами врезалось в моей памяти, было уже всего за полтораста верст от дядина имения. На дворе стояла сухая морозная ночь. Снег скрипел под полозьями и искрился как рафинад. На лошадях и на людях сверкали морозные иглы. Мы подъехали к большому неприветливому дому, похожему на заброшенные боярские хоромы. Это тоже была станция, на которой нам категорически отказали в лошадях и не обещали даже дать их вскорости. Делать было нечего, мы выбрались из кибитки и пошли на станцию. В единственной большой комнате, назначенной и для проезжающих и для смотрительского стола, мы нашли сердитого-пресердитого вида человека в старой, поношенной бекеше. Это был станционный смотритель. Он сидел, подперши голову обеими руками, и смотрел в огромную, тускло освещаемую сальным огарком книгу. При нашем появлении он не тронулся и не ворохнулся, но тем не менее видно было, что чтение не сильно его занимало, потому что он часто зевал, вскидывал глазами на пламя свечи, очищал пальцами нагар и, поплевав на пальцы, опять лениво переводил глаза к книге. В комнате было мертвое молчание, прерываемое лишь то тихим и робким, то громким и азартным чириканьем сверчка где-то за старою панелью теплой печки. И вот опять на столе чай — это единственное универсальное лекарство от почтовой скуки; опять няня краснеет, опять дымится Борисов чуб, а смотритель все сидит и не удостоивает нас ни взгляда, ни звука. Бог знает, до чего бы додержал нас здесь этот невозмутимый человек, если бы на выручку нам не подоспело самое неожиданное обстоятельство.

Среди мертвой тишины под окнами послышался скрип полозьев, и в комнату вошел бойкою и щеголеватою походкой новый путешественник. Это был высокий и стройный молодой человек в хорошей енотовой шубе, подпоясанной красным гарусным шарфом, и в франтовской круглой меховой шапочке из бобрового котика. Он подошел прямо к смотрителю и, вежливо положив ему на стол свернутую подорожную, проговорил очень мягким и, как мне казалось, симпатическим голосом:

— Прошу вас нарядить пять лошадей.

Смотритель, кажется, очень обрадовался, что судьба посылала ему нового человека, которого он мог помучить. Он даже искоса не взглянул на незнакомца и, отодвинув локтем его подорожную, сказал:

— Нет лошадей.

Подорожная упала на пол. Молодой человек в енотовой шубе поднял бумагу и без гнева вышел с нею вон. Борис, няня и матушка только переглянулись между собою, а Борис даже прошептал вдогонку проезжему:

— Вот тебе и енот!

Смотритель, очевидно, ликовал. Я впоследствии имел случай сделать вывод, что смотрительская должность имеет свойство приуготовлять в людях особенное расположение к злорадству.

Но в то время как мы переглядывались, а смотритель радовался, в сенях раздались тяжелые шаги, пыхтенье и сап, и затем дверь грозно распахнулась настежь.

Мы все встрепенулись и насторожили и слух и зрение.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В комнату вплыло целое облако холодного воздуха, и в этом воздухе заколебалась страшная черная масса, пред которою за минуту вошедший человек казался какой-то фитюлькой. Масса эта, в огромной черной медвежьей шубе с широким воротником, спускавшимся до самого пояса, с аршинными отворотами на доходивших до пола рукавах, в медвежьих сапогах и большой собольей шапке, — вошла, рыкнула: «где?» и, по безмолвному манию следовавшего за ним енота, прямо надвинулась на смот-

рителя; одно мгновение — что-то хлопнуло, и на полу, у ног медвежьей массы, закопошился смотритель. Еще хлоп — и новый полет кувырком, и снова безмолвие.

— Ты читал, мерзавец, подорожную? — заревел в медведе.

Смотритель стоял, вытянувшись, дрожа и пятясь.

— Читал? — грозно переспросил медведь.

— Не..: не... нет-с.

Но еще прежде чем смотритель кончил это «нет-с», в комнате опять раздалась оглушительнейшая пощечина, и смотритель снова кувырком полетел под стол.

— Так ты даже не читал? Ты даже не знаешь, кто я? А небось ты четырнадцатым классом, каналья, пользуешься?

— Пользуюсь, ваше высокопревосходительство.

Оплеуха.

— Чин: «не бей меня в рыло» имеешь?

— Имею-с.

— Избавлен по закону от телесного наказания?

— Избавлен-с.

— Так вот же, не уповай на закон! Не уповай!

И посыпались пощечины за пощечиной; летели они градом, дождем, потоком; несчастный смотритель только что поднимался, как падал снова на пол. Мы все привстали в страхе и ужасе и решительно не знали, что это за Наполеон такой набежал и как нам себя при нем держать; а смотритель все падал и снова поднимался для того, чтобы снова падать, между тем как шуба все косила и косила. Я и теперь не могу понять, как непостижимо ловко наносила удары эта медвежья шуба. Она действовала как мельница: то одним крылом справа, то другим слева, так что это была как бы машина, ниспосланная сюда затем, чтобы наказать невозмутимого чиновника. Вслед за последним ударом шуба толкнула избитого смотрителя сапогом под стол и, не говоря ему более ни слова, повернула к дверям и исчезла в морозном облаке; за медведем ушел и енот. Чуть только она вышла, смотритель тотчас же выкарабкался, встряхнулся, как пудель, и тоже исчез. Через секунду на дворе зазвенел его распорядительный голос, а еще через минуту экипаж ускакал. Смотритель, проводив гостей, вошел в комнату, повесил на колышек шапку и сел к своей книге, но прочитал

немного. Он, видимо, нуждался в беседе: хотел облегчить свою душу разговором и потому, обратясь к матушке, сказал довольно спокойным для его положения тоном:

— Вот, изволили видеть, какие у нас в России бывают по службе неприятности.

— Да, это ужасная неприятность, — отвечала моя сердобольная матушка и добавила: — Я удивляюсь, неужто вы все это так и оставите?

— Нет-с: да что же... тут если все взыскивать, так и служить бы невозможно, — отвечал смотритель. — Это большая особа: тайный советник и сенатор (смотритель назвал одну из важных в тогдашнее время фамилий). От такого, по правде сказать, оно даже и не обидно; а вот как другой раз прапорщик какой набежит или корнет, да тоже к рылу лезет, так вот это уж очень противно.

Сказав это, смотритель вздохнул, вышел и велел запрягать нам лошадей.

Таким образом, если вам угодно, я, проезжая по России до места моего приюта, получил уже довольно своеобычные уроки и составил себе довольно самостоятельное понятие о том, что может ждать меня в предстоящем. Все что я ни видал, все для меня было сюрпризом, и я получил наклонность ждать, что вперед пойдет все чуднее и чуднее.

Так оно и вышло.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В имении дяди меня на первых же порах ожидали еще новые, гораздо более удивительные вещи. Брат моей матери, князь Семен Одоленский, беспардонный либерал самого нелиберального времени, был человек, преисполненный всяческих противоречий и чудачеств.

Он когда-то много учился, сражался в отечественную войну, был масоном, писал либеральнейшие проекты и за то, что их нигде не принимали, рассердился на всех — на государя, на Сперанского, на г-жу Крюденер, на Филарета, — уехал в деревню и мстил всем им оттуда разными чудачествами, вероятно оставшимися для тех никогда неизвестными. Он жил в доме странном, страшном, желтом и таком длинном, что в нем, кажется, можно было уста-

вить две целые державы — Липпе и Кнингаузен. В этом доме брат моей матери никогда не принимал ни одного человека, равного ему по общественному положению и образованию; а если кто к нему по незнанию заезжал, то он отбояривал гостей так, что они вперед сюда уже не заглядывали. Назад тому лет двадцать верстах в сорока от него жила его родная тетка, старая княжна Авдотья Одоленская, которая лет пять сряду ждала к себе племянника и, не дождавшись, потеряла, наконец, терпение и решила сама навестить его. Для этого визита она выбрала день его рождения и прикатила. Дядя, узнав о таком неожиданном родственном набеге, выслал дворецкого объявить тетке, что он не знает, по какому бы такому делу им надобно было свидеться. Одним словом, он ее выпроваживал; но тетка тоже была не из уступчивых, и дворецкий, побеседовав с ней, возвратился к дяде с докладом, что старая княжна приехала к нему, как к новорожденному. Дядя нимало этим не смутился и опять выслал в зал к тетке того же самого дворецкого с таким ответом, что князь, мол, рождению своему не радуются и поздравления с оным принимать не желают, так как новый год для них ничто иное, как шаг к смерти. Но княжна и этим не пронялась: она села на диван и велела передать князю, что до тех пор не встанет и не уедет, пока не увидит новорожденного. Тогда князь позвал в кабинет камердинера, разоблачился донага и вышел к гостье в чем его мать родила.

— Вот, мол, государыня тетушка, каков я родился!

Княжна давай бог ноги, а он в этом же райском наряде выпроводил ее на крыльцо до самого экипажа.

Вообще присутствия всякого ро̀вни князь не сносил, а водился с окрестными хлыстами, сочинял им для их радений песни и стихи, сам мнил себя и хлыстом, и духоборцем и участвовал в радениях, но в бога не верил, а только юродствовал со скуки и досады, происходивших от бессильного гнева на позабывшее о нем правительство. Семьи законной у него не было: он был холост, но имел много детей и не только не скрывал этого, но неумолчно требовал, чтоб ему записали его детей в формулярный список. На бумагах же, где только была надобность спросить его «холост он или женат и имеет ли детей», он постоянно с особенным удовольствием писал: «Холост,

но детей имею». Об обществе он не заботился, потому что якобы пренебрегал всеми «поклоняющимися злату и древу», и в приемном покое, где некого было принимать, держал на высокой, обитой красным сукном колонне литого из золота тельца со страшными зелеными изумрудными глазами. Пред этим тельцом будто бы когда-то кланялись и присягали по особой присяге попы и чиновники, и телец им выкидывал за каждый поклон по червонцу, но впоследствии все это дяде надоело и комедия с тельцом была брошена. Деловыми занятиями князя были бесчисленные процессы, которые он вел почти со всеми губернскими властями, единственно с целью дразнить их и оскорблять безнаказанным образом. В этом искусстве он достиг замечательного совершенства и нередко даже не одних чиновников поражал неожиданностию и оригинальностию своих приемов. Он сочинял сам на себя изветы и доносы, чтобы заводить переписку с властями, имея заранее обдуманные планы, как злить и безнаказанно обижать чиновников. Пропадал, например, в соседнем с ним губернаторском имении скот. Дядя тотчас призывал самого ябедливого дьячка, подпаивал его водкой, которой и сам выпивал для примера, и вдруг ни с того ни с сего доверял дьячку, что губернаторский скот стоит у него на задворке. Через неделю губернатор получал донос на дядю, и тот ликовал: все хлопоты и заботы о том только и шли, чтобы вступить в переписку. На первый же запрос дядя очень спешно отвечал, что *«я-де скота губернатора* с его полей в свои закуты загонять никогда не приказывал, да и иметь *его скота* нигде вблизи меня и моих четвероногих не желаю; но опасаюсь, не загнал ли *скота губернатора,* по глупости, мой бурмистр из села *Поганец».* По этому показанию особый чиновник летел в село Поганец и там тоже, разумеется, никакого «скота губернатора» не находил; а дядя уже строчил новую бумагу, в коей жаловался, что *«Поганец губернаторский чиновник* обыскивая, перепугал на скотном дворе всех племенных телят». Если же дяде не удавалось втравливать местных чиновников в переписку с собою, то он строчил на них жалобы в том же тоне в столицы. Так, в одной жалобе, посланной им в Петербург на местного губернатора, он писал без запятых и точек: «в бытность мою в губернском городе на выборах я однажды встретился с господином начальни-

ком губернии и был изруган *им подлецом и мошенником»,* а в другой раз, в просьбе, поданной в уголовную палату, устроил, конечно с умыслом, в разных местах подчистки некоторых слов в таком порядке, что получил возможность в конце прошения написать следующую оговорку: «а что в сем прошении по почищенному написано, что судившие меня, члены, уголовной, палаты, все, до, одного, взяточники, подлецы, и, дураки, то это все верно и прошу в том не сомневаться...»

Тогда, в те мрачные времена бессудия и безмолвия на нашей земле, все это казалось не только верхом остроумия, но даже вменялось беспокойному старику в высочайшую гражданскую доблесть, и если бы он кого-нибудь принимал, то к нему всеконечно многие бы ездили на поклонение и считали бы себя через то в опасном положении, но у дяди, как я сказал, дверь была затворена для всех, и эта-то недоступность делала его еще интереснее.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

У матери были дела с дядею: ей надлежала от него значительная сумма денег. Таких гостей обыкновенные люди принимают вообще нерадостно, но дядя мой был не таков: он встретил нас с матерью приветливо, но поместил не в доме, а во флигеле. В обширном и почти пустом доме у него для нас места недостало. Это очень обидело покойную матушку. Она мне не сказала ничего, но я при всей молодости моих тогдашних лет видел, как ее передернуло.

Непосредственно за прибытием нашим в дядину усадьбу у нас так и потянулась полоса скучной жизни. Дяди я не видал, а грустная мать моя была плохим товарищем моему детскому возрасту, жаждавшему игр и забав. Зима уходила, и снега стали сереть; кончался пост. Однажды, пригорюнясь, сидел я у окна и смотрел на склонявшееся к закату весеннее солнце, как вдруг кто-то большою, твердою, тяжелою походкой прошел мимо окна и ступил на крыльцо флигеля так, что ступени затрещали под его ногами. Через минуту растворилась дверь, и на пороге показался мой дядя.

Это было первое посещение, которое он решился сделать моей матери после нашего приезда в его имение.

Не знаю почему, для чего и зачем, но при виде дяди я невыразимо его испугался и почти в ужасе смотрел на его бледное лицо, на его пестрой термаламы халат, пунцовый гро-гро галстук и лисью высокую, остроконечную шапочку. Он мне казался великим магом и волшебником, о которых я к тому времени имел уже довольно обстоятельные сведения.

Прислонясь к спинке кресла, на котором застал меня дядя, я не сомневался, что у него в кармане непременно есть где-нибудь ветка омелы, что он коснется ею моей головы, и что я тотчас скинусь белым зайчиком и поскачу в это широкое поле с темными перелогами, в которых растлевается флером весны подернутый снег, а он скинется волком и пойдет меня гнать... Что шаг, то становится все страшнее и страшнее... И вот дядя подошёл именно прямо ко мне, взял меня за уши и сказал:

— Здравствуй, пумперлей! — и при этом он подавил мне слегка книзу уши и добавил: — Ишь что за гадость мальчишка! плечишки с вершок, а внизу жиреешь. Постное небось ел?

— Постное, — прошептал я едва слышно.

Дядя опять давнул меня за уши и проговорил:

— Точная девочка; изгадила, брат, тебя мать, изгадила.

— Брат! — отозвалась ему из другой комнаты с укоризною мать.

Дядя ушел к ней, и она заговорила с ним по-английски, сначала просто шумно, а потом и сердито.

Я понял одно, что дядя над чем-то издевался, и мне показалось, что насмешки его имеют некоторое соотношение к восковому купидону, которого в большом от меня секрете золотила для меня моя мать.

— Это — растление, — говорил дядя. — В жизни все причинно, последовательно и условно. Сюрпризами только гадость делается.

Мать умоляла дядю замолчать.

— Пусть, — говорила она, — пусть по-твоему. Пускай жизнь будет подносить ему одни неприятности, но пусть я... пусть мать поднесет ему удовольствие.

Я тогда несвободно понимал по-английски и не понял, чем кончился их разговор, да и вдобавок я уснул. Меня раздели и сонного уложили в кровать. Это со мною часто случалось.

Помнилось мне только сквозь сон, что дядя, проходя мимо меня, будто сказал мне:

— Мой милый друг, тебя завтра ждет большой сюрприз.

На утро я проснулся очень рано, но боялся открыть глаза: я знал, что вербный купидон, вероятно, уже слетел к моей постельке и парит над ней с какими-нибудь большими для меня радостями.

Я раскрыл глаза сначала чуть на один волосок, потом несколько шире, и, наконец, уже не сам я, а неведомый ужас растворил их, так что я почувствовал их совсем круглыми, и при этом имел только одно желание: влипнуть в мою подушку, уйти в нее и провалиться...

Вербный купидон делал мне сюрприз, которого я действительно ни за что не ожидал: он висел на широкой голубой ленте, а в объятиях нес для мира печали и слез... розгу. Да-с, не что иное, как большую березовую розгу!.. Увидав это, я долго не мог прийти в себя и поверить, проснулся я или еще грежу спросонья; я приподнимался, всматривался и, к удивлению своему, все более и более изумлялся: мой вербный купидон действительно держал у себя под крылышками огромный пук березовых прутьев, связанных такою же голубою лентой, на какой сам он был подвешен, и на этой же ленте я заметил и белый билетик. «Что это было на билетике при таком странном приношении?» — размышлял я и хотя сам тщательно кутался в одеяло и дулся на прилет купидона с розгой, но... но не выдержал... вскочил, сорвал билетик и прочитал:

— «Кто ждет себе ни за что ни про что радостей, тот дождется за то всяких гадостей».

«Это дядя! это непременно дядя!» — решил я себе и не ошибся, потому что в эту минуту дядя распахнул занавески моей кроватки и... изрядно меня высек ни зá что и ни прó что.

Матушка была в церкви и защищать меня было некому; но зато она, узнав о моем сюрпризе, решилась немедленно отвезти меня в гимназический пансион, где и начался для меня новый род жизни.

Таким я припоминаю вербного купидона. Он имел для меня свое серьезное значение. С тех пор при каких бы то ни было упованиях на что бы то ни было свыше у меня в крови пробегает трепет и мне представляется вечно он, вербный купидон, спускающийся ко мне с березовой розгой, и он меня сек, да-с, он много и страшно сек меня и... я опасаюсь, как бы еще раз не высек... Нечего, господа, улыбаться,—я рассказываю вам историю очень серьезную, и вы только благоволите в нее вникнуть.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В нынешнее время у школяров есть честность гражданская; у нас была честность рыцарская. Жизнь была тоже рыцарская. Неустрашимость, храбрость и мужество в разнообразнейших их приложениях и проявлениях подвергались испытанию. Классные комнаты назывались залами различных орденов. Тут были круглоголовые, черноголовые рыцари, странствующие рыцари и всякие другие, каких вам угодно орденов и званий. Огромный сад пансиона служил необъятным поприщем, на котором происходили бои и турниры, что бывало зимой, когда нас пускали в этот сад, особенно удобно по причине огромных наваленных тут сугробов, изображавших замки и крепости.

Я жил голодно и учился прекрасно. Так прошел год, в течение которого я не ездил домой ни разу. Я, впрочем, обвыкся и не скучал. Затруднительною порой в этой жизни было для нас вдруг объявленное нам распоряжение, чтобы мы никак не смели «отвечать в повелительном наклонении». Нам было сказано, что это требуется из Петербурга, и мы были немало устрашены этим требованием, но все-таки по привычке отвечали: «подведи шар под меридиан» или «раздели частное и умножь делителя». Отучить нас отвечать иначе, как напечатано в книгах, долго не было никакой возможности, и бывали мы за то биты жестоко и много, даже и не постигая, в чем наша вина и преступление. Знакомства и исключительного дружества я ни с кем в школе не водил, хотя мне немножко более других нравились два немца — братья Карл, который был со мною во втором классе, и Аматус, который был

в третьем. Помню, что оба они были очень краснощекие и аккуратно каждую перемену сходились друг с другом у притолки двери, разделявшей наши классы; и Карл, бывало, говорил Аматусу;

— Аматус, мне кажется, что я себе нынче из русского нуль достал.

А на следующую перемену Аматус являлся к притолке и возвещал:

— Нет, Карлюс, я о тебе справился, ты ошибаешься: это тебе не кажется, а ты себе настоящий нуль достал.

Эта пунктуальность и обстоятельность в сих юных характерах мне чрезвычайно нравились, и я всегда с жадностию прислушивался к этому тихому и совершенно серьезному разговору двух немцев об одном нуле.

Но сюрприз мне был уже готов и ждал меня, а я к нему мчался.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Приближалась пасха. До страстной недели оставалась всего одна неделя, одна небольшая неделя. В дортуарах вечером разнесся слух, что нас распустят не в субботу, а в четверг. Я уеду и увижу мать!.. Сердце мое трепетало и билось. Тревожные ощущения эти еще более усилились, когда в среду один из лакеев, утирая меня полотенцем, шепнул мне:

— За вами приехали.

Когда я пришел в столовую, сел за свой чай, то почувствовал, что вся кровь бросилась мне в лицо, и у меня начали пылать уши. Все это произошло от одного магического слова, которое произнеслось шепотом и в сотне различных переливов разнеслось по столовой. Это магическое слово было: «за ним прислали».

Понятно, что ежели бы нас пустили сегодня или завтра, в четверг, то я завтра же мог бы и ехать.

— Если бы только пустили!

Но вот в четверг начинаются и оканчиваются классы. Начальство не заводит ровно никакой речи об отпуске. Пред обедом несколько других товарищей выбегают по вызову лакея в переднюю и возвращаются с радостными лицами: и за ними прислали. В часы послеобеденного

отдыха известия о присылке еще учащаются, вечером они еще возрастают, и, наконец, оказывается, что чуть ли не прислали уже за всем пансионом. Нетерпение разгорается с каждою минутой. Каждая минута становится бог весть какою тягостью. Мысль о том, что нужно идти спать в те же прохладные дортуары, становится несносна. Приготовлять уроки с вечера нет уже никакой силы. Так и мерещатся, так и снятся наяву лошади, бричка, няня и теплая беличья шубка, которую прислала за мною мама и которую няня неизвестно для чего, в первые минуты своего появления в пансион, принесла мне и оставила. Вечерние уроки мы все отсидели как на иголках. Четверг нас уже обманул, но может быть зато выручит пятница? Неужто же ждать до субботы? Неужто нельзя ускорить приближение счастливого момента хотя на одни сутки?

Кто-то из детей, — я очень долго помнил его имя, но теперь позабыл, — вздохнул и с детским равнодушием воскликнул:

— Боже мой, неужто нет никаких средств, чтобы выдумать что-нибудь такое, чтобы нас отпустили раньше!

— Нет таких средств, и если даже не ошибаюсь, то, мне кажется, нет таких *физических* средств, — сказал в ответ ему, вздохнувши, другой маленький мальчик.

Замечательное дело, что тогда, когда в людях было менее всего всякой положительности, у нас, когда говорили о средствах, всегда прибавлялось, что нет *физических* средств, как будто в других средствах, нравственных и моральных, тогда никто уже не сомневался.

— Да, так; нет никаких физических средств, — отвечал первый маленький мальчик.

— А кто это сказал — тот дурак, — заметил возмужалым голосом некто Калатузов, молодой юноша лет восемнадцати, которого нежные родители бог весть для чего продержали до этого возраста дома и потом привезли для того, чтобы посадить рядом с нами во второй класс.

Мы его звали «дядюшкой», а он нас за это бил. Калатузов держал себя «на офицерской ноге». Держать себя на офицерской ноге в наше время значило: не водиться запанибрата с маленькими, ходить в расстегнутой куртке, носить неформенный галстук, приподниматься лениво, когда спросят, отвечать как бы нехотя и басом, ходить

вразвалку. Все это строго запрещалось, но, не умею вам сказать, как и почему, всегда в каждом заведении тогдашнего времени, к которому относится мое воспитание, были ученики, которые умели ставить себя «на офицерскую ногу», и им это не воспрещалось.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В нашем классе один Калатузов был на офицерской ноге. Он мог у нас бить всю мелкоту, сам он был большой дурак, аппетит имел огромный, а к учению способности никакой. Это знали все учителя и потому никогда его не спрашивали, а если в заведение приезжало какое-нибудь начальствующее лицо, то Калатузова совсем убирали и клали в больницу. Он этим гордился. Впрочем, раз было с ним несчастное происшествие: его спросил один новый учитель. Это был новоприбывший преподаватель географии. Производя первую перекличку, он вызвал и Калатузова.

Калатузов тяжело приподнялся, перевалился с боку на бок, облокотился косточками правой руки на стол и легким бархатным баском сказал:

— Я полагал, что вы, вероятно, знаете, что я ничего не знаю.

Учитель рассмеялся и отвечал:

— Ну, в таком случае я запишу вам нуль.

— Это как вы хотите, — отвечал спокойно Калатузов, но, заметив, что непривычный к нашим порядкам учитель и в самом деле намеревается бестрепетною рукой поставить ему «котелку», и сообразив, что в силу этой отметки, он, несмотря на свое крупное значение в классе, останется с ленивыми без обеда, Калатузов немножко привалился на стол и закончил: — Вы запишете мне нуль, а я на следующий класс буду все знать.

Большой рост дурака, его пробивающиеся усы, мужественный голос и странная офицерская манера держаться, резко выделявшая его из окружающей его мелюзги, все, по-видимому, возбуждало к нему большое внимание нового учителя; рассмеявшись, он положил перо и сказал шутливо:

— Хорошо, господин Калатузов, я вам в таком случае не напишу нуля, если вы обещаетесь знать что-нибудь.

— Вы будьте в этом уверены, — отвечал Калатузов.

И вот пришел следующий класс; прочитали молитву; учитель сел за стол; сделалась тишина. Многих из нас занимало, спросит или не спросит нынешний раз новый учитель Калатузова; а он его как раз и зовет.

— Вы нам, кажется, — говорит, — обещали прошлый раз что-то выучить?

Калатузов нехотя, что называется как вор на ярмарке, повернулся, наклонился в один бок плечом, потом перевалился на другой, облокотился кистями обеих рук о парту и медленно возгласил:

— Точно, я вам это обещал.

— Что же вы знаете? — спросил учитель.

Для Калатузова это был вопрос весьма затруднительный; ему было безразлично, о чем бы его ни спросили, потому что он ничего не знал, но он, нимало не смутившись, равнодушно посмотрел на свои ногти и сказал:

— Я все знаю.

— Все?

— Да, все, — еще спокойнее отвечал Калатузов.

Учителю стало необыкновенно весело, а мы с удовольствием и не без зависти заметили, что Калатузов овладевал и этим новым человеком и, конечно, и от него будет пользоваться всякими вольностями и льготами.

— Но есть же что-нибудь такое, — спросил его учитель, — что вы особенно хорошо знаете?

— Нет, мне все равно; я все одинаково знаю, — отвечал, нимало не смущаясь, Калатузов.

— Но, верно, есть что-нибудь такое, что вам особенно приятно рассказать. Я хочу, чтобы вы сами выбрали.

— Извольте, — отвечал Калатузов и, бесцеремонно нагнувшись к своему маленькому соседу, взял в руки географию, развернул ее, взглянул на заголовок статьи и сказал:

— Пруссию.

— Вы лучше всего знаете Пруссию?

— Да, Пруссию, — отвечал Калатузов.

— Потрудитесь начинать.

— Извольте, — отвечал Калатузов и, глядя преспо-

койно в книгу, начал, как теперь помню, следующее определение: «Бранденбургия была», но на этом расхохотавшийся учитель остановил его и сказал, что читать по книге вовсе не значит знать. Калатузов бросил книгу на стол, дал в обе стороны два кулака сидевшим около него малюткам и довольно громко сказал: «Подсказывай»... Молодой учитель смотрел на всю эту проделку с видимым удовольствием. Его это смешило и тешило. Два маленькие мальчика, боявшиеся своего огромного соседа, оба зажужжали: «Бранденбургия была первоначальным зерном Прусского королевства». Так излагались сведения о Пруссии в нашей географии.

Жужжавшие наперерыв друг пред другом мальчики подсказывали, однако, неудовлетворительно. Калатузов пригинался то к одному из них, то к другому и, получая вместо определительных слов какое-то жужжание, вышел, наконец, из терпения и сказал:

— Один подсказывай.

Соседний мальчик справа внятно произнес ему:

— Бранденбургия была первоначальным зерном Прусского королевства.

— Довольно, — сказал Калатузов; с этим он откашлянулся, провел пальцем за галстуком, поправил рукой волосы, которые у него, по офицерским же правилам, были немного длиннее, чем у всех нас, и спокойно возгласил:

— *Пруссия есть зерно.*

— Как зерно? — переспросил изумленный учитель.

— Так написано, — отвечал Калатузов.

— Но позвольте же узнать, как же это? Есть зерна ржаные, овсяные, пшеничные. Какое же зерно Пруссия?

Калатузов подумал и, сделав кислую гримасу, отвечал:

— Я вам не могу объяснить этого, какое это чертово зерно.

Вот этот-то умник Калатузов во время тайного разговора в четверг Лазаревой недели и говорит:

— Пустяки, — говорит, — есть физическая возможность, чтобы нас отпустили завтра утром; мне, — говорит — нет ничего легче доказать вам эту физическую возможность.

Мы стали просить, чтоб он нам ее доказал.

— Сегодня вечером, — начал внушать Калатузов, —

за ужином пусть каждый оставит мне свой хлеб с маслом, а через полчаса я вам открою физическую возможность добиться того, чтобы нас не только отпустили завтра, но даже по шеям выгнали.

— Выгонят по шеям!.. — У нас даже ушки от этого запрыгали.

— Только надо, чтоб кто-нибудь взялся сделать одно дело, — продолжал Калатузов.

— Страшное? — спросило разом несколько голосов.

— Ну, не очень страшное, — отвечал Калатузов, — но таки рискованное.

— Рискованное? — крикнул тоненьким голоском маленький, чистенький и опрятный мальчик, который был необыкновенно красив и которого все в классе целовали. Он назывался Локотков.

— Рискованное? — воскликнул Локотков. — Я берусь за всякое рискованное дело.

Локотков был у нас отчаянною головой: он употреблялся в классе для того, чтобы передразнивать учителя-немца или приводить в ярость и неистовство учителя-француза. Характера он был живого, предприимчивого и пылкого.

Локоткову удавалось входить в доверие к учителю французского языка и коварно выводить его на посмешище, уверяя его во время перевода, что сказать: «у рыб нет зуб» невозможно, а надо говорить: или «у рыбей нет зубей», или «у рыбов нет зубов» и т. п.

Кончалось это обыкновенно тем, что Локоткову доставался нуль за поведение, но это ему, бывало, неймется, и на следующий урок Локотков снова, бывало, смущает учителя, объясняя ему, что он не так перевел, будто «голодный мужик выпил кувшин воды одним духом».

— Одним духом невозможно пить, monsieur Basel, [1] — внушал с кротостию учителю Локотков.

— Taisez-vous, [2] — сердито кричал француз и, покусав в задумчивости губы, лепетал: — Мужик, le paysan, [3] выпил кувшин воды *одним*... шагом. Да, — выговаривал он тверже, вглядываясь во все детские физиономии, — имен-

---

[1] Господин Базель *(франц.)*.
[2] Молчите *(франц.)*.
[3] Мужик *(франц.)*.

но выпил кувшин воды *одним шагом*... нет... одним духом... нет: одним шагом...

И раздавался снова хохот, и monsieur Basel снова выписывал Локоткову zéro.[1] И вот это-то веселый, добродушный мальчик вызвался совершить рискованное предприятие.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Рискованное предприятие, которое должно было спасти нас и выпустить двумя днями раньше из заведения, по плану Калатузова заключалось в том, чтобы ночью из всех подсвечников, которые будут вынесены в переднюю, накрасть огарков и побросать их в печки: сделается-де угар, и нас отпустят с утра.

План был прост и гениален.

Что за тревожная ночь за сим наступила! Тишина была замечательная: не спал никто, но все притворялись спящими. Маленький Локотков, в шерстяных чулках, которые были доставлены мне нянею для путешествия, надел на себя мне же доставленную шубку мехом навыворот, чтоб испугать, если невзначай кого встретит, и с перочинным ножиком и с двумя пустыми жестяными пиналями отправился на очистку оставленных подсвечников. Поход совершился благополучно. Локотков возвратился, сало украдено, но сам вор как будто занемог; он лег на постель и не разговаривал. Это было вследствие тревоги и волнения. Мы это понимали.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На небе засерело туманное, тяжелое апрельское утро. Нам все не спится. Еще минута, и вот начинается перепархивание с одной кровати на другую, начинаются нервная горячка и страх. На некоторых кроватях мальчики помещаются по двое, и здесь и там повсеместно идет тихий шепот и подсмеиванье над тем, что будет и как будет.

---

[1] Ноль *(франц.)*.

Кое-кто сообщает идиллические описания своей деревушки, своего домика, но и между идиллиями и между хохотом все беспрестанно оборачиваются на кроватку, на которой лежит Локотков. Он, кажется, спит; его никто не беспокоит. Все чувствуют к нему невольное почтение и хотели бы пробудить его, но считают это святотатством. Кто-то тихо подкрался к нему, посмотрел в глаза, прислушался к дыханию и покачал головой. Что значит это неопределительное покачиванье головой — никому неизвестно, но по дортуару тихо разносится «спит». И вот еще минута. Всем кажется, что Локоткова пора бы, наконец, будить, но ни у кого не достает решимости. Наконец где-то далеко внизу, на крыльце, завизжал и хлопнул дверной блок.

Это истопники несут дрова... роковая минута приближается: сейчас начнут топить. Дух занимается. У всех на уме одно, и у всех одно движение — будить Локоткова.

Длинный, сухой ученик с совершенно белыми волосами и белесоватыми зрачками глаз, прозванный в классе «белым тараканом», тихо крадется к Локоткову и только что хотел произнести: «Локотков, пора!», как тот, вдруг расхохотавшись беззвучным смехом, сел на кровать и прошептал: «Ах, какие же вы трусы! Я тоже не спал всю ночь, но я не спал от смеха, а вы... трусишки!», и с этим он начал обуваться.

«Вот-то Локотков, молодчина!» — думали мы, с завистью глядя на своего благородного, самоотверженного товарища.

«Вот-то характер, так характер!»

За ширмами потянулся гувернер, встал, вышел с заспанным лицом и удивился, что мы все уже на ногах.

В нижнем этаже и со всех сторон начинается хлопанье дверей и слышится веселое трещанье затопившихся печек. Роковая минута все ближе и ближе. Проходя в умывальную попарно, мы все бросали значительные взгляды на топившуюся печку и держались серьезно, как заговорщики, у которых есть общая тайна.

Кровь нашу слегка леденил и останавливал мучительный вопрос, как это начнется, как это разыграется и как это кончится?

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Локотков казался серьезнее прочих и даже был немножко бледен. Как только мы стали собираться в классы, он вдруг начал корчить болезненные мины и улизнул из чайной под предлогом не терпящих отлагательства обстоятельств, известных под именем «надобности царя Саула». Мы смекнули, что он отправился на опасное дело, и хлебали свою теплую воду с усугубленным аппетитом, не нарушая ни одним словом мертвого молчания. Локотков, запыхавшийся, немного бледный, со вспотевшим носом и взмокшими на лбу волосами, явился в комнату снова не более как минут через пять. Было большое сомнение; сделал ли он что-нибудь, как нынче говорят, *для общего дела,* или только попытался, но струсил и возвратился без успеха. Обежать в такое короткое время целое заведение и зарядить салом все печи казалось решительно невозможным. Устремленные со вниманием глаза наши на Локоткова не могли прочесть на его лице ничего. Он был, видимо, взволнован, но пил свой остывший чай, не обращая ни на кого ни малейшего внимания. Но прежде чем мы могли добиться чего-нибудь на его лице, загадка уже разъяснилась. Дверь в нашу комнату с шумом распахнулась, и немец-инспектор быстро пробежал в сопровождении двух сторожей. Густой, удушливый чад полез вслед за ними по всем комнатам. Локотков быстро отворил печную дверку этого единственного покоя, где еще не было угара, и в непотухшие угли бросил горсть сальных крошек вместе с куском синей сахарной бумаги, в которую они были завернуты. Мы побледнели. Один Калатузов спокойно жевал, как вол, свою жвачку и после небольшой паузы, допив последний глоток чайной бурды, произнес спокойно:

— А вот теперь за это может быть кому-нибудь славная порка.

При этих словах у меня вдруг перехватило в горле. Я взглянул на Локоткова. Он был бледен, а рука его неподвижно лежала на недопитом стакане чаю, который он только хотел приподнять со стола.

— Да, славная будет порка, — продолжал Калатузов и, отойдя к окну, не без аппетита стал утирать свой рот.

— Но кто же это может открыть? — робко спросил в это время весь покрывшийся пунцовым румянцем Локотков.

— Тот, кто домой хочет пораньше, — отвечал Калатузов.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Начальство сразу смекнуло в чем дело, да не мудрено было это и смекнуть. Распахнулись двери, и на пороге, расчищая ус, явился сторож Кухтин, который у нас был даже воспет в стихах, где было представлено торжественное ведение юношей рыцарей на казнь, причем,

Как грозный исполин,
Шагал там с розгами Кухтин.

При виде этого страшного человека Локотков изобличил глубокий упадок духа. Стоя возле него, я видел не только, как он покачнулся, но даже чувствовал, как трепетала на его сюртучке худо пришитая пуговка и как его маленькие пухленькие губки сердечком выбивали дробь.

Начался допрос. Дети сначала не признавались, но когда директор объявил, что все три низшие класса будут высечены через четыре человека пятый, началось смятение.

— Отделяйтесь! — начал директор. — Ты, первый, становись к скамье.

Один робкий мальчик отошел и подвинулся к скамье. Он водил тревожными глазами по зале и ничего не говорил, но правая рука его постоянно то поднималась, то опускалась, — точно он хотел отдать кому-то честь. Следующие четыре мальчика были отставлены в сторону; эти немедленно начали часто и быстро креститься. Пятый снова тихо подвигался к скамье. Это был тот бледный, запуганный мальчик, которого звали «белым тараканом». Совсем оробев, он не мог идти: ноги у него в коленях подламывались, и он падал. Кухтин взял его под мышку, как скрипку, и посадил на пол.

— Бросали сало? — отнесся к нему директор.

— Да, да, — пролепетал ему мальчик.

— Кто бросал?

«Белый таракан» пошатнулся, оперся ладонями в пол и, качнув головой, прошептал:

— Я не знаю... все...

— Все? стало быть, и ты?

— Я, нет, не я.

У него, видимо, развязался язык, и он готов был проговориться; но вдруг он вспомнил законы нашей рыцарской чести, побагровел и сказал твердо:

— Я не знаю, кто.

— Не знаешь? ну, восписуем ти, раба, — отвечал директор, толкнув его к скамейке, и снова отделилась четверка счастливых.

В числе счастливых четвертого пятка выскочил Локотков. Я заметил, что он не разделял общей радости других товарищей, избегавших наказания; он не радовался и не крестился, но то поднимал глаза к небу, то опускал их вниз, дрожал и, кусая до крови ногти и губы, шептал: «Под твою милость прибегаем, богородица дева».

У нас было поверье, что для того чтобы избежать наказания или чтобы оно по крайней мере было легче, надо было читать про себя эту молитву. Локотков и шептал ее, а между тем к роковым скамейкам было отделено человек двадцать. Калатузов был избавлен от общей участи. Он стоял в ряду с большими, к которым могли относиться одни увещательные меры. Над маленькими началась экзекуция. Я был в числе счастливых и стоял зрителем ужасного для меня тогда зрелища. Стоны, вопли, слезы и верченья истязуемых детей поднимали во мне всю душу. Я сперва начал плакать слезами, но вдруг разрыдался до истерики. Меня хотели выбросить вон, но я крепко держался за товарищей, стиснул зубы и решился ни за что не уходить. Мне казалось, что происходит дело бесчеловечное, за которое все мы, как рыцари, должны были вступиться. Высечены уже были два мальчика и хотели наказывать третьего. В это время Локотков, белее полотна, вдруг начал шевелиться, и чуть только раздался свист прутьев над третьим телом, он быстро выскочил вперед и заговорил торопливым, бессвязным голосом:

— Позвольте, позвольте... это я бросил сало...

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Кухтин перестал сечь, тевтонский клюв директора вытянулся, и он сквозь очки остро воззрился на бледного Локоткова; в группе учеников пробежал тихий ропот, и на мгновение все затихло.

— Ты? — спросил директор. — Ты сам сознаешься?

— Я, — твердо отвечал Локотков. — Я сам сознаюсь: секите меня одного.

— Он? — обратился директор к ученикам.

Дети молчали. Некоторые, только покашливая, слегка подталкивали друг друга. На нескольких лицах как бы мелькнула какая-то нехорошая решимость, но никто не сказал ни слова.

— А, вы так! — сказал директор. — Тогда я буду сечь вас всех, всех, поголовно всех.

И — представьте себе мою прелестнейшую минуту в этом гадком воспоминании! — нас всех, маленьких детей, точно проникла одна электрическая искра, мы все рванулись к Локоткову и закричали:

— Да, да, секите нас всех, всех секите, а не его!

Директор закричал, затопал, дал нескольким ближе к нему стоявшим звонкие пощечины, и тут вдруг начальство перешло от угрозы к самым лукавым соблазнам.

— Это не может быть, — сказал директор, — чтобы вы все были так безнравственны, низки, чтобы желать подвергнуть себя такому грубому наказанию. Я уверен, что между вами есть благородные, возвышенные характеры, и начальство вполне полагается на их благородство: я отношусь теперь с моим вопросом именно только к таким, и кто истинно благороден, кто мне объяснит эту историю, тот поедет домой сейчас же, сию же минуту!

Едва кончилась эта сладкая речь, как из задних рядов вышел Калатузов и начал рассказывать все по порядку ровным и тихим голосом. По мере того как он рассказывал, я чувствовал, что по телу моему рассыпается как будто горячий песок, уши мои пылали, верхние зубы совершенно сцеплялись с нижними; рука моя безотчетно опустилась в карман панталон, достала оттуда небольшой

перочинный ножик, который я тихо раскрыл и, не взвидя вокруг себя света, бросился на Калатузова и вонзил в него...

Это было делом одного мгновения, пред которым другие три или четыре мгновения я не давал себе никакого отчета. Я опомнился и пришел в себя спустя три недели в незнакомой мне комнате и увидел пред собою доброе, благословенное лицо моей матери. У изголовья моего стоял маленький столик с лекарственными бутылочками; окна комнаты были завешены; везде царствовал полусвет. В углу моя няня тихо мочила в полоскательной чашке компрессы. Я хотел что-то сказать, но мать погрозила мне пальцем и положила этот бледный палец на мои почерневшие губы.

— Я знаю, что ты хочешь спросить, — сказала мне мать. — Забудь все: мы теперь живем здесь в гостинице, а *туда* ты больше не поедешь.

Меня взяли из заведения и отвезли в другое, в Москву, где меня не били, не секли, но где зато не было пленявшего меня рыцарского духа. Отсюда, семнадцати лет, я выдержал экзамен в Московский университет. Я был смирен и тих; боялся угроз, боялся шуток, бежал от слез людских, бежал от смеха и складывался чудаком; но от сюрпризов и внезапностей все-таки не спасался; напротив, по мере того как я подрастал, сюрпризы и внезапности в моей жизни все становились серьезнее и многозначительнее. Начинаю вам теперь мой университетский анекдот: отчего я хорошо учился, но не доучился.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Время моего студенчества было славное время Московского университета, про которое нынче так кстати и некстати часто вспоминает наша современная литература. Я с самого первого дня был одним из прилежнейших фуксов. Домой к матушке я ездил только однажды в год. Один раз я уже гостил у ней, несказанно радуя ее моим голубым воротником; другая побывка домой предстояла

мне следующим летом. Переписывались мы с матушкой часто; она была покойна и очень довольна своим положением у дяди: он был чудак, но человек предобрый, что, однако, не мешало ему порою сердить и раздражать мою мать. Так, он, например, в тот год как я был в университете, в светлый праздник прислал матери самый странный подарок: это был запечатанный конверт, в котором оказался билет на могильное место на монастырском кладбище. Шутка с этим подарком необыкновенно встревожила мою немного мнительную мать; она мне горько жаловалась на дядино шутовство и видела в этом что-то пророческое. Я ее успокоивал, но без успеха.

Между тем, в ожидании лета, когда я снова надеялся увидеться с матушкой, я должен был переменить квартиру. Это обусловливалось случайностию. В семейство, в котором я жил, приехала одна родственница, и комната, которую я занимал, понадобилась хозяевам. Я пустился на поиски себе нового жилища. Дело это, конечно, не трудное и не головоломное, но злая судьба меня подстерегала. Должно вам сказать, что в первый раз, когда я пустился на эти поиски, мне мерещилось, как бы я не попал в какое-нибудь дурное место. Я знал много рассказов о нехороших людях, нехороших обществах и боялся попасть в эти общества, частью потому, что не любил их, чувствовал к ним отвращение, частью же потому, что боялся быть обиженным. Я всегда был характера кроткого и прошу вас не судить обо мне по моей гимназической истории. Нож и меч вообще руке моей не свойственны, хотя судьба в насмешку надо мною влагала в мои руки и тот и другой. Я мог вспыхивать только на мгновение, но вообще всегда был человеком свойств самых миролюбивых, и обстоятельства моего детства и отрочества сделали меня даже меланхоликом и трусом до того, что я — поистине вам говорю — боялся даже переменить себе квартиру. Но это было необходимо: я крайне стеснял увеличившуюся семью моего хозяина до того, что он шутя сказал мне:

— Ну, дружок, Орест Маркович, воля твоя, а если честью от нас не выйдешь, я тебя с полицией вытравлю!

Удалиться было необходимо, и я на это решился...

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

И вот не успел я выйти на свои поиски, как вижу, передо мною вдруг стала какая-то старушка.

— Батюшка мой, — говорит, — не квартиру ли ищешь?

«Господи, словно благодетельная волшебница, — думаю, — узнала, в чем я затрудняюсь, и стремится помочь мне».

— Да, — говорю, — вы отгадали: я ищу квартиру.

— А у нас, голубчик, тут в доме для тебя как раз есть прекрасная комната.

И с этим словом добродушная старушка взяла меня за руку и подвела меня к обитой чистою зеленою клеенкой двери, на которой была медная дощечка, в тогдашнее время составлявшая еще в Москве довольно замечательную редкость. На этой дощечке французскими литерами было написано: «Léonide Postelnikoff, Capitaine». [1]

— Вот тут он, — говорит, — родной мой, Леонид-то Григорьевич. Он ей, Марье Григорьевне, хозяйке нашей, брат доводится. Ты звякни, он и отопрется.

И с этими словами старушка сама позвонила и добавила:

— Она теперь сама-то, Марья Григорьевна, потерямши мужа, в расстройстве, а он ее делами управляет; он и комнату сдает; с ним покалякай, и тебе здесь хорошо-прехорошо будет.

За стеной послышались шаги, щелкнула задвижка, и в дверях показался высокий человек, одетый в серый нанковый казакин. По усам, по полувоенному казакину и по всей манере в этом человеке нетрудно было узнать солдата.

— К барину они, Клим Степанович, — заговорила к нему моя старушка. — Квартиру у Марьи Григорьевны снять желают.

И, толкнув меня в спину, старушка зашлепала вниз по лестнице, а я очутился в небольшой светлой передней, в которой меня прежде всего поразила необыкновенно изящная чистота и, так сказать, своеобразная женственность убранства. Так, в этой передней стоял мягкий диванчик, обитый светленьким ситцем; вешалки

---

[1] Леонид Постельников, капитан.

не было, но вместо нее громоздился высокий платяной шкаф, как бывает в небольших квартирах, где живут одинокие женщины. Возле шкафа, на столике, стоял поднос с графином свежей воды и двумя стаканами. На окне были два горшка гортензий и чистенькая проволочная клетка с громко трещавшею калужской канарейкой, а в углу — пяльцы.

Из дверей открылась другая комната, более обширная и окрашенная розовою краской самого приятного цвета. Чистота этой комнаты еще более бросалась в глаза. Крашеные полы были налощены, мебель вся светилась, диван был весь уложен гарусными подушками, а на большом столе, под лампой, красовалась большая гарусная салфетка; такие же меньшие вышитые салфетки лежали на других меньших столиках. Все окна уставлены цветами, и у двух окон стояли два очень красивые, самой затейливой по тогдашнему времени работы дамские рабочие столика: один темного эбенового дерева с перламутровыми инкрустациями, другой — из мелкого узорного паркета.

Человек в сером казакине ввел меня в эту комнату и, попросив подождать, ушел в другую дверь, далее. Дверь эта была полуотворена и открывала покой еще более веселый и светлый: светло-голубые, небесного цвета стены его так и выдвигались. Всего убранства этого нового покоя я не мог рассмотреть, потому что видел только один уголок, но заметил там и горки, и этажерки, и статуэтки. Судя по обстановке квартиры, я решительно не мог объяснить себе, куда это я попал. Но прежде чем пришел на этот счет к каким-нибудь определенным заключениям, человек в сером казакине попросил меня в кабинет.

«Так это кабинет», — подумал я и, направясь по указанию, очутился в этой небесной комнате, приюту и убранству которой в самом деле можно было позавидовать. Та же несказанная, невыразимая чистота, светлая, веселенькая мебель, какая уже теперь редко встречается или какую можно только встретить у охотников работать кольксманий; вся эта мебель обита светлым голубым ситцем, голубые ситцевые занавесы, с подзорами на окнах, и дорогой голубой шелковый полог над широкою двуспальной постелью. По углам были, как я сказал, везде горки и этажерки, уставленные самыми затейливыми фигурками,

по преимуществу женскими и, разумеется, обнаженными. Дорогой полог над кроватью был перетянут через толстое золотое кольцо, которое держал в лапах огромный вызолоченный орел. В углу был красивый трехъярусный образник и пред ним темного дерева аналой с зелеными бархатными подушками. Словом, это было маленькое небо; недоставало только небожителя. Но и его собственно не недоставало: он был тоже здесь налицо, но только я его сразу не рассмотрел.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

— Ах, приношу вам сто извинений! — услышал я почти из-за своего собственного плеча и, обернувшись, увидел пред дамским туалетом, какой привык видеть в спальне моей матери... как вам сказать, кого я увидел? Иначе не могу выразиться, как увидел уже самого настоящего купидона. Увидел и... растерялся, да и было отчего. Вы, конечно, помните, что я должен был встретить здесь *капитана;* но представьте себе мое удивление, когда я увидел пред туалетом какое-то голубое существо — таки все-все сплошь голубое; голубой воротник, голубой сюртук, голубые рейтузы — одним словом, все голубое, с легкою белокурою головкой, в белом спальном дамском чепце, из-под которого выбивались небольшие золотистые кудерьки в бумажных папильотках. Я просто никак не мог себе уяснить, что это — мужчина или женщина. Но в это время купидон обернул ко мне свою усыпанную папильотками голову, и я увидел круглое, нежное, матовое личико с нежным пушком на верхней губе, защипнутым у углов уст вверх тоненькими колечками. За этою работой, за завертыванием усиков, я собственно и застал моего купидона.

— Приношу вам пятьсот извинений, что я вас принимаю за туалетом: я спешу сегодня в наряд, — заговорил купидон, — и у меня есть несколько минут на все сборы; но эти минуты все к вашим услугам. Мне сказали, что вы хотите занять комнату у сестры Маши? Это прекрасная комната, вы будете ею очень довольны.

— Да, — отвечал я, — мне нужна комната, и мне сказали...

— Кто вам сказал?

— Не знаю... какая-то старушка...

— Ах, это, верно, Авдотьюшка; да, у сестры прекрасная комната; сестра моя — это не из барышей отдает, она недавно овдовела, так только чтобы не в пустой квартире жить. Вам будет прекрасно: там тишина невозмутимая. Скучно, может быть?

— Я, — говорю, — этого не боюсь.

— А не боитесь, так и прекрасно; а соскучитесь — пожалуйте во всякое время ко мне, я всегда рад. Вы студент? Я страшно люблю студентов. Сам в университете не был, но к студентам всегда чувствую слабость. Да что! Как и иначе-то? Это наша надежда. Молодой народ, а между тем у них всё идеи и мысли... а притом же вы сестрин постоялец, так, стало быть, все равно что свой. Не правда ли?

Я очень затруднялся отвечать на этот поток красноречия, но купидон и не ждал моего согласия.

— Эй, Клим! — крикнул капитан, — Клим!

Он при этом ударил два раза в ладони и крикнул:

— Трубочку поскорее, трубочку и шоколад... Две чашки шоколаду... Вы выкушаете? — спросил он меня и, не дождавшись моего ответа, добавил: — Я чаю и кофе терпеть не могу: чай действует на сердце, а кофе — на голову; а шоколад живит... Приношу вам тысячу извинений, что мы так мало знакомы, а я позволяю себе шутить.

С этими словами он схватил меня за колено, приподнялся, отодвинул немного табуретку и, придвинувшись к зеркалу, начал тщательно вывертывать из волос папильотки.

— Приношу вам две тысячи извинений, что задерживаю вас, но все это сейчас кончится... мне и самому некогда... Клим, шоколаду!

Клим подал шоколад.

Я поблагодарил.

— Нет, пожалуйста! У нас на Руси от хлеба-соли не отказываются. В Англии сорок тысяч дают, чтоб было хлебосольство, да нет, — сами с голоду умирают, а у нас отечество кормит. Извольте кушать.

Делать было нечего, я принял чашку.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

— Вон ваша комната-то, всего два шага от меня, — заговорил капитан. — Видите, на извозчика ко мне уж немного истратите. Вон видите тот флигель, налево?

Я приподнялся, взглянул в окно и отвечал, что вижу.

— Нет, вы подойдите, пожалуйста, к окну.

— Да я и отсюда вижу.

— Нет, вы подойдите; тут есть маленький фокус. Видите — прекрасный флигелек. У нас, впрочем, и вообще весь двор в порядке. Прежде этого не было. Хозяйка была страшная скареда. Я здесь не жил; сестра моя здесь прежде поселилась; я к ней и хаживал. Хозяйка, вот точно так же как сестра теперь, лет пять тому назад овдовела. Купчиха ничего себе — эдакая всегда довольно жантильная была, с манерами, потому что она из актрис, но тяготилась и вдовством и управлять домом; а я, как видите, люблю жить чисто, — не правда ли? Что? Я ведь, кажется, чисто живу? Правда-с?

— Да, — отвечаю я, — правда.

— Кажется, правда, и это с самого детства. Познакомитесь с сестрой, она вам все это расскажет; я всегда любил чистоту и еще в кадетском корпусе ею отличался. Кто там что ни говори, а военное воспитание... нельзя не похвалить его; разумеется, не со всех сторон: с других сторон университет, может быть, лучше, но с другой стороны... всегда щеточка, гребенка, маленькое зеркальце в кармане, и я всегда этим отличался. Я, бывало, приду к сестре, да и говорю: «Как это у вас все грязно на дворе! Пять тысяч извинений, говорю, приношу вам, но просто в свинушнике живете». Хозяйка иногда хаживала к сестре... ну, и... сестра ей шутила: «вот, говорит, вам бы какого мужа». Шутя, конечно, потому что моя сестра знает мои правила, что я на купчихе не женюсь, но наши, знаете, всегда больше женятся на купчихах, так уж те это так и рассчитывают. Однако же я совсем не такой, потому что я к этой службе даже и неспособен; но та развесила уши. Ну куда же, скажите пожалуйста, мне жениться — приношу вам двадцать тысяч извинений, — да еще жениться на купчихе?.. Нет, говорю, я жениться не могу, но порядок действительно моя пассия, и домом управлять я согласен. Она мне и предложила вот эту квартиру.

Квартира, конечно, очень не велика. Передняя, что вы видели, зал, да вот эта комната; но ведь с одного довольно, а денщик мой в кухне; но кухоньку выправил, так что не стыдно; Клим у меня не так, как у других. Вот вы его видели; спросите его потом когда-нибудь, пожалуется ли он на меня? Клим! — крикнул он громко, — Клим!

В дверях показался серый Клим.

— Доволен ты мной или нет? Не бойся меня, отвечай им так, как бы меня здесь не было.

— Много доволен, ваше благородие, — отвечал денщик.

— Ах ты, скотина!

Постельников самодовольно улыбнулся и, махнув денщику рукою, добавил:

— Ну, и только, и ступай теперь к своему месту, готовь шинель. На меня никто не жалуется, — продолжал капитан, обратясь ко мне. — Я всем, кому я что могу сделать, — делаю. Отчего же, скажите, и не делать? Ведь эгоизм, — я приношу вам сто тысяч извинений, — я ваших правил не знаю, но я откровенно вам скажу, я терпеть не могу эгоистов.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Поток этих слов был сплошной и неудержимый и даже увлекательный, потому что голос у Леонида Григорьевича был необыкновенно мягкий, тихо вкрадчивый, слова, произносимые им, выходили какие-то кругленькие и катились, словно орешки по лубочному желобку. На меня от его говора самым неприличным образом находил неодолимейший магнетический сон. Под обаянием этого рокота я даже с удовольствием сидел на мягком кресле, с удовольствием созерцал моего купидона и слушал его речи, а он продолжал развивать передо мной и свои мысли и свои папильотки.

— Хозяйка, — продолжал он, — живет тут внизу, но до нее ничто не касается; всем управляю я. И сестра теперь тоже, и о ней надо позаботиться. У меня, по правде сказать, немалая опека, но я этим не тягощусь, и вы будьте покойны. Вы сколько платили на прежней квартире?

Я сказал, сколько я платил.

— О, мы устроим вас у сестры даже гораздо дешевле и, верно, гораздо лучше. Вы студент, а в той комнате, где вы будете жить, все даже располагает к занятиям. Я оттуда немножко отдаляюсь, потому что я жизнь люблю, а сестра теперь, после мужниной смерти, совсем, как она говорит, «предалась богу»; но не суди — да не сужден будеши. Впрочем, опять говорю, там бесов изгоняют ладаном, а вы если когда захотите посмотреть бесов, ко мне милости просим. Я, знаете, живу молодым человеком, потому что юность дважды не приходит, и я вас познакомлю с прекрасными дамочками... я не ревнив; нет, что их ревновать!

Он, махнув рукой, развернул последнюю папильотку и, намочив лежавшее возле него полотенце одеколоном, обтер себе руки и заключил:

— А теперь прошу покорно в вашу комнату. Времени уже совсем нет, а мне еще надо завернуть в одно местечко. Клим! — громко крикнул он, хлопнув в ладоши, и, пристегнув аксельбанты, направился чрез гостиную.

Я шел за ним молча, не зная на что и для чего я все это делал. В передней стоял Клим, держа в руках серую шинель и фуражку. Хозяин мой взял у него эту шинель из рук и молча указал ему на мою студенческую шинель; я торопливо накинул ее на плечи, и мы вышли, прошли через двор и остановились у двери, обитой уже не зеленою сияющею клеенкой, а темным, толстым, серым сукном. Звонок здесь висел на довольно широком черном ремне, и когда капитан потянул за этот ремень, нам послышался не веселый, дребезжащий звук, а как бы удар маленького колокола, когда он ударяет от колеблемой ветром веревки. Прошла минута, нам никто не отворял, Постельников снова дернул за ремень. Снова раздался заунывный звук, и дверь неслышным движением проползла по полу и распахнулась. Пред нами стояла старушка, бодренькая, востроносенькая, покрытая темным коричневым платочком. Капитан осведомился, дома ли сестра и есть ли у нее кто-нибудь.

— Есть-с, — отвечала старушка.

— Монахи?

— Отец Варлаамий и Евстигнея с Филаретушкой.

— Ну, вот и прекрасно! Пусть они себе там и сидят. Скажи: постояльца рекомендую знакомого. Это необходимо, — добавил он мне шепотом и тотчас же снова начал вслух: — Вот видите, налево, этот коридор? там у сестры три комнаты; в двух она живет, а третья там у нее образная; а это вот прямо дверь — тут кабинет зятев был; вот там в нее и ход; а это и есть ваша комната. Глядите, — заключил он, распахивая передо мной довольно высокие белые двери в комнату, которую действительно можно было назвать прекрасною.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Комната, предлагаемая мне голубым купидоном, была большой наугольный покой в два окна с одной стороны, и в два — с другой. Весь он выходил в большой густой сад, деревья которого обещали весной и летом много прохлады и тени. Стены комнаты были оклеены дорогими коричневыми обоями, на которых миллион раз повторялась одна и та же буколическая сцена между пастухом и пастушкой. В углу стоял большой образ, и пред ним тихо мерцала лампада. Вокруг стен выстроилась тяжелая мебель красного дерева с бронзой, обитая темно-коричневым сафьяном. Два овальные стола были покрыты коричневым сукном; бюро красного дерева с бронзовыми украшениями; дальше письменный стол и кровать в алькове, задернутая большим вязаным ковром; одним словом, такая комната, какой я никогда и не думал найти за мои скромные деньги. Неудобств, казалось, никаких.

Несмотря на то, что мы только что вступили в эту комнату, тишина ее уже оказывала на меня свое приятное действие. Это действительно была глубокая и спокойная тишина, охватывающая собой человека с первой же минуты. Вдобавок ко всему этому в комнате слышался слегка запах росного ладану и смирны, что я очень люблю.

Капитан Постельников заметил, что этот запах не ускользнул от меня, и сказал:

— Запахец, конечно, есть; но как на чей взгляд, а на мой все-таки это не бог весть какое неудобство.

А зато, я вам говорю, эта Василиса — старушка, которую вы видели, — предобрая, и сестра предобрая. Богомольная только, ну да что же вам до этого? Я, разумеется, не знаю ваших правил, но я никогда открыто против религии не возражаю. К чему? Всех вдруг не просветишь. Это все само собой имеет свое течение и окончится. Я богомольным не возражаю. Вы даже, может быть, заметили, у меня у самого есть лампады? Я их сам жгу. Что же такое? Это ведь в существе ничему не мешает, а есть люди, для которых это очень важно... Вы можете этому не поверить, но это именно так; вот, недалеко ходить, хоть бы сестра моя, рекомендую: если вы с ней хорошенько обойдетесь да этак иногда кстати пустите при ней о чем-нибудь божественном, так случись потом и недостаток в деньгах, она и денег подождет; а заговорите с ней по-модному, что «мол бог — пустяки, я знать его не хочу», или что-нибудь такое подобное, сейчас и провал, а... а особенно на нашей службе... этакою откровенностию даже все можно потерять сразу.

— Сестра! — крикнул капитан, стукнув в стену, — вели Василисе чрез два часа здесь все освежить, к тебе придет твой постоялец, мой хороший знакомый. Это необходимо, — опять сказал он мне шепотом.

— А как вас зовут?

Я назвал мое имя.

— Его зовут Орест Маркович Ватажков; запиши у себя, а теперь мы с ним едем. — И с этим Постельников надел посреди комнаты фуражку и повлек меня за собою.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Через ту же лестницу мы снова спустились на двор, где я хотел раскланяться с Постельниковым, не имея, впрочем, никакого определенного плана ни переезжать на квартиру к его сестре, ни улизнуть от него; но Леонид Григорьевич предупредил меня и сказал:

— Нет, вы что же? разве вы куда-нибудь спешите?

— Да, немножко.

— Ну, немножко ничего... Вы в какую сторону?

Я сказал.

— Ах, боже мой, нам почти по дороге. Немножко в сторону, да отчего же? Для друга семь верст не околица, а я — прошу у вас шестьдесят тысяч извинений — может быть, и не имею еще права вполне называться вашим другом, но надеюсь, что вы не откажете мне в небольшой услуге.

— Охотно, — говорю, — если только могу.

— О, очень можете, а я вам сделаю услугу за услугу.

С этими словами мы снова очутились у знакомой зеленой двери капитановой квартиры. Он нетерпеливо дернул звонок и, вскочив на минуту, действительно тотчас же выскочил назад. В руках его была женская картонка, в каких обыкновенно модистки носят дамские шляпы, большой конверт и длинный тонкий сверток. Из этого свертка торчала зонтичная ручка.

— Вот, — обратился он ко мне, — потрудитесь это подержать, только держите осторожнее, потому что тут цветы, а тут, — я, разумеется, приношу вам сто тысяч извинений, но ведь вам уж все равно, — так тут зонтик. Но, боже мой, что же это такое? — воскликнул капитан, взглянув на этот зонтик. — Вот проклятая рассеянность! Эта проволочка так и осталась неспиленною! Клим, скорее напилок! — И капитан быстро, одним движением сбросил с себя шинель, присел верхом на стул, с большим мастерством укрепил к столбику стула зонтик и начал быстро отпиливать небольшой кусок проволоки.

— Я люблю эту работу, — говорил он мне между делом. — Я вам скажу: в наши лета все в магазинах для дам покупать — это, черт возьми, накладно, да и что там купишь? Все самое обыкновенное и втридорога; а я этак все как-нибудь у Сухаревой башни да на Смоленском... очень приятно, вроде прогулки, и вещи подержанные недорого, а их вот сам починю, выправлю и презентую... Вы увидите, как мы заживем, — жаловаться не будете. Я вот вас сейчас подвезу до Никитских ворот и попрошу о маленьком одолжении, а сам поскорее на службу; а вы зато заведете первое знакомство, и в то же время вам будет оказана услуга за услугу.

Я совсем не знал, что со мною делают. У подъезда стояла гнедая лошадка, запряженная в небольшие дрожечки. Мы сели и понеслись. Во всю дорогу до Никитских ворот капитан говорил мне о своем житье, о службе,

о бывающих у него хорошеньких женщинах, о том, как он весело живет, и вдруг остановил кучера, указал мне на одни ворота и сказал:

— Вот тут я вас усердно прошу спросить прямо по лестнице, в третьем этаже, перчаточницу Марью Матвеевну; отдайте ей эти цветы и зонтик, а коробочку эту Лизе, блондинке; приволокнитесь за нею смело: она самое бескорыстнейшее существо и очень влюбчива, вздохните, глядя ей в глаза, да руку к сердцу, она и загорится; а пока au revoir. [1]

И прежде чем я нашелся что-нибудь ответить, капитан Постельников уже исчез из моих глаз.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Должно вам сказать, что все эти поручения, которые надавал мне капитан Постельников, конечно, были мне вовсе не по нутру, и я, несмотря на всю излишнюю мягкость моего характера и на апатию, или на полусонное состояние, в котором я находился во все время моих разговоров с капитаном, все-таки хотел возвратить ему все эти порученности, но, как я сказал, это было уже невозможно.

Следующею мыслью, которая мне пришла за этим, было возвратиться назад и отнести все это на его квартиру и отдать его Климу. Я находил, что это всего достойнее; но, к крайнему моему удивлению, сколько я ни звонил у капитанской двери, мне ее никто не отпер. Я отправился было в квартиру его сестры, но здесь на двукратно повторенный мною звонок мне отпер двери полный румяный монах и с соболезнующим взглядом в очах проговорил:

— Великодушно извините: Марья Григорьевна позатрапезно опочили, услужающих их дома нет, а мы, приходящие, ничего принять не можем.

Черт знает что такое. Э, думаю, была не была, пойду уж и сдам скорей по адресу.

И вот я снова взял извозчика и поехал к Никитским воротам.

---

[1] До свиданья *(франц.)*.

Нет никакой нужды рассказывать, что за особ встретил я в тех девицах, которым я передавал посланные через меня вещи. Довольно сказать, что все это было свежо, молодо — и, на тогдашний юный, неразборчивый мой вкус, очень и очень приглядно, а главное — бесцеремонно и простодушно. Я попал на именины и хотел, разумеется, сейчас же отсюда уйти; но меня схватили за руки и буквально силой усадили за пирог, а пока ели пирог, явился внезапно освободившийся от своих дел капитан Постельников и с ним мужчина с страшными усищами: это был поэт Трубицын. Кончилось все это для меня тем, что я здесь впервые в жизни ощутил влияние пиршества, в питье дошел до неблагопристойной потребности уснуть в чужом доме и получил от Трубицына кличку «Филимон-простота», — обстоятельство ничтожное, но имевшее для меня, как увидите, самые трагические последствия.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Проснувшись перед вечером на диване в чужой квартире, я быстро вскочил и с жесточайшею головною болью бросился скорей бежать к себе на квартиру; но представьте же себе мое удивление! только что я прихожу домой на свою прежнюю квартиру, как вижу, что комнату мою тщательно прибирают и моют и что в ней не осталось уже ни одной моей вещи, положительно, что называется, ни синя пороха.

— Как же и куда все мое отсюда делось?

— А ваше все, — отвечают, — перевез к себе капитан Постельников.

— Позвольте-с, — говорю, — позвольте, что это за вздор! как капитан Постельников перевез? Этого быть не может.

— Нет-с, — говорят, — действительно перевез.

— Да по какому же праву, — говорю, — вы ему отпустили мои вещи?

Но вижу, что предстоящие после этого вопроса только рты разинули и стоят передо мною как удивленные галчата.

— По какому праву? — продолжаю я добиваться.

— Капитану-то Постельникову? — отвечают мне с смущением.

— Да-с.

— Капитану Постельникову по какому праву?

— Ну да: капитану Постельникову по какому праву?

Галчата и рты замкнули: дескать, на тебя, брат, даже и удивляться не стоит.

— Вот, — говорят, — чубучок ваш с змеиными головками капитана Постельникова денщик не захватил, так извольте его получить.

Я рассердился, послал всем мысленно тысячу проклятий, надел шинель и фуражку, захватил в руки чубучок с змеиными головками и повернулся к двери, но досадно же так уйти, не получа никакого объяснения. Я вернулся снова, взял в сторонку мать моего хозяина, добрейшую старушку, которая, казалось, очень меня любила, и говорю ей:

— Матушка, Арина Васильевна! Поставьте мне голову на плечи: расскажите, зачем вы отдали незнакомому человеку мои вещи?

— Да мы, дитя, думали, — говорит, — что сынок мой Митроша на тебя жалобу приносил, что ты квартиры не очищаешь, так что тебя по начальству от нас сводят.

— Ах, Арина Васильевна, да разве, мол, это можно, чтобы ваш сын на меня пошел жаловаться? Ведь мы же с ним приятели.

— Знаю, — говорит, — ангел мой, что вы приятели, да мы думали, что, может быть, он в шутку это над тобой пошутил.

— Что это: жаловаться-то, — говорю, — он в шутку ходил?

— Да.

— Арина Васильевна, да нешто этак бывает? Нешто это можно?

Арина Васильевна только растопырила руки и бормочет:

— Вот, говори же, — бает, — ты с нами! — мы сами, дитя, не знаем, что у нас было в думке.

Я махнул рукой, захватил опять чубучок, сухо простился и вышел на улицу.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Не могу вам рассказать, в каком я был гадком состоянии духа. Разыгранная со мною штука просто сбила меня с пахвей, потому что я, после своего неловкого поведения у знакомых дам капитана, ни за что не расположен был жить у его сестры и даже дал было себе слово никогда не видать его. Комната мне нравилась, и я ничего не имел против нее, но я имел много против капитана; мне его предупредительность была не по нутру, а главное, мне было чрезвычайно неприятно, что все это сделалось без моей воли. Но я мог сердиться сколько мне угодно, а дело уже было сделано.

Досада объяла меня несказанная, и я, чтобы немножко поразвлечься и порассеяться и чтобы не идти на новую квартиру, отправился бродить по Москве.

Я ходил очень долго, заходил в несколько церквей, где тупо и бессознательно слушал вечернюю службу, два или три раза пил чай в разных трактирах, но, наконец, деваться более было некуда. На дворе уже совсем засумерчило, и по улицам только изредка кое-где пробегали запоздалые чуйки; бродить по улицам стало совсем неловко. Я подошел к одному фонарю, вынул мои карманные часы: было одиннадцать часов. Пора было на ночлег; я взял извозчика и поехал на мою новую квартиру. К удивлению моему, у ворот ждал меня дворник; он раскрыл передо мною калитку и вызвался проводить меня по лестнице с фонариком, который он зажег внизу, в своей дворницкой. Ремень, приснащенный к звонку моей квартиры, был тоже необыкновенно чуток и послушен: едва я успел его потянуть, как дверь, шурша своим войлочным подбоем, тихо отползла и приняла меня в свои объятия. В передней, на полочке, тихо горел чистенький ночничок. Комната моя была чиста, свежа; пред большим образом спасителя ярко сияла лампада; вещи мои были разложены с такой аккуратностью и с таким порядком, с каким я сам разложить их никогда не сумел бы. Платье мое было развешено в шкафе; посреди стола, пред чернильницей, лежал мой бумажник и на нем записка, в которой значилось: «Денег наличных 47 руб. ассигнациями, 4 целковых и серия», а внизу под этими строками выдавлена буква «П», по которой я узнал,

что всею этой аккуратностью в моей комнате я был обязан тому же благодатному Леониду Григорьевичу.

«И скажите пожалуйста, — рассуждал я себе, — когда он все это делал? Я раскис и ошалел, да слоны слонял по Москве, а он как ни в чем не бывал, и еще все дела за меня попеределал!»

Я отдернул альков моей кровати и увидел постель, застланную ослепительно чистым бельем. Думать мне ни о чем больше не хотелось; переехал так переехал, или перевезли так перевезли, — делать уж нечего, благо тихо, покойно, кровать готова и спать хочется. Я разделся, перекрестился, лег и заснул в ту же самую минуту, как только упал головой на подушки. Занавески, которою отделялся мой альков, я не задернул, потому что, ложась, надеялся помечтать при свете лампады; но мечтанья, по поводу внезапного крепкого сна, не случилось; зато около полуночи меня начал осенять целый рой самых прихотливых сновидений. Мы с Постельниковым не то летели, не то валились на землю откуда-то совсем из другого мира, не то в дружественных объятиях, не то в каком-то невольном сцеплении. Я был какой-то темный, неопределенный; он такой же голубой, каким я его видел и каким он мне только и мог представляться; но у него, кроме того, были большие влажные крылышки; помахивая ими, он меня словно всего склеивал, и свист от взмахов этих крыльев и сладостно и резко раздавался в моем слухе. Затем вдруг мы очутились в этой самой комнате и ездили по ней долго и долго, пока вдруг капитан дал мне в нос щелчок, и я проснулся.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Пробуждение мое было удивительно не менее самого сна. Во-первых, я увидел над собою — кого бы вы думали? Точно так, как бывало в моем детстве, я увидел над моим изголовьем свежего, воскового купидона, привешенного к алькову моей кровати. У купидона под крылышками была бархатная ермолочка на розовой шелковой подкладке, а на ней пришпилена бумажка, опять точно так же с надписью, как бывало во время моего детства. Это меня поразило. Я приподнялся с кровати

и с некоторым удовольствием устремил глаза мои на бумажку. На ней было написано: «Оресту Марковичу Важжкову на новоселье, в знак дружбы и приязни. Постельников».

«Черт знает, чего этот человек так нахально лезет ко мне в дружбу?» — подумал я и только что хотел привстать с кровати, как вдруг двери моей комнаты распахнулись, и в них предстал сам капитан Постельников. Он нес большой крендель, а на крендели маленькую вербочку. Это было продолжение подарков на мое новоселье, и с этих пор для меня началась новая жизнь, и далеко не похвальная.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

По моему безволию и малохарактерности я, конечно, сблизился с капитаном Постельниковым безмерно и зато стал заниматься науками гораздо менее и гораздо хуже, чем прежде. Все свое время я проводил у моего голубого купидона и перезнакомился у него с массою самых нестрогих лиц женского пола, которых в квартире Постельникова было всегда как мошек в погожий вечер. Это преимущественно были дамы и девицы не без пятен и не без упреков. Постельников был женский любимец и, как настоящий любимец женщин, он не привязывался решительно ни к одной из них и третировал их en canaille,[1] но в то же время лукаво угождал всем им всевозможными мелкими, нежными услугами. Он и меня втирал в особенное ко многим из этих дам расположение, отказываться от которого, при тогдашних юных моих летах, я не всегда был в состоянии. Сближение мое с этой женской плеядой, которую я едва в силах возобновить в своей памяти, началось со свадьбы той самой Тани или Лизы, которой я возил цветы. Она выходила замуж за какого-то чиновника. Постельников был у нее посаженым отцом и поднес живую розу, на которой были его же живые стихи, которые я до сих пор помню. Там было написано:

Розе розу посвящаю,
Розе розу я дарю,
Розу розой украшаю,
Чтобы шла так к алтарю.

---

[1] Пренебрежительно *(франц.)*.

На этой свадьбе, помню, произошел небольшой скандальчик довольно странного свойства. Постельников и его приятель, поэт Трубицын, увезли невесту из-под венца прямо в Сокольники и возвратили ее ее супругу только на другой день... Жизнь моя вся шла среди подобных историй, в которых, впрочем, сам я был очень неискусен и слыл «Филимоном».

Так прошел целый год, в течение которого я все слыл «Филимоном», хотя, по правде вам сказать, мне, как бы по какому-то предчувствию, кличка эта жестоко не нравилась, и я употреблял всяческие усилия, чтобы ее с себя сбросить. Я и пил вино, и делом своим не занимался, и в девичьем вертограде ориентировался, а поэт Трубицын и другие наши общие друзья как зарядили меня звать «Филимоном», так и зовут. Ну, думаю: враг вас побери, зовите себе как хотите! Перестал об этом думать и даже начал совершенно равнодушно отзываться на кличку, бесправно заменившую мое крещеное имя.

Однако я должен вам сказать, что совесть моя была неспокойна: она возмущалась моим образом жизни, и я решил во что бы то ни стало выбраться из этой компании; дело стояло только за тем, как к этому приступить? Как сказать об этом голубому купидону и общим друзьям?.. На это у меня не хватило силы, и я все откладывал свое решение день ото дня в сладостной надежде, что не подвернется ли какой счастливый случай и не выведет ли он меня отсюда, как привел?

Избрав себе такой выжидательный способ действий, я не ошибся в моих надеждах на благодетельный случай: он не заставил себя долго ожидать и явился именно яко тать в нощи. Этим распочинается самая скверная полоса, закончившая собою первую половину моей жизни.

## ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Один раз, проводив от всенощной одну из своих знакомых дам, я под мелким, частым дождем возвратился домой и, отворив свою дверь, — остолбенел. В передней у меня сидели рядом два здоровенных солдата в голубых шинелях, а двери моей комнаты были связаны шнурком, на котором болталась на бумажке большая красная

печать. Меня так и откинуло назад в сени. Не забудьте, что в тогдашнее время увидеть в своей комнате голубого солдата было совсем не то, что теперь, хотя и теперь, конечно, это визит не из особенно приятных, но тогда... это спаси боже что значило! Мне тотчас же представилась тройка, которая мчит меня бог весть куда, где я пропаду без вести и сгину неведомый ни матери, ни родным, ни присным... И вот во мне вдруг пробудилась вообще мало свойственная мне жгучая энергия, твердая и непреклонная решимость спасаться: прежде чем подстерегавшие меня алгвазилы могли что-нибудь сообразить, я быстро скатился с лестницы и явился к Леониду Григорьевичу. Капитан Постельников теперь, в моем отчаянном положении, был единственный человек, у которого я мог просить какого-нибудь разъяснения и какой-нибудь защиты. Но его Клим отворил мне двери и объявил, что барина нет дома и что даже неизвестно, когда он возвратится, потому что они, говорит, «порют теперь горячку по службе».

— Лантрыганили, — говорит, — лантрыганили, а вот теперь им генерал дают проборку; они и порют горячку и на ночь навряд ли вернутся.

Положение мое делалось еще беспомощнее, и я решился во что бы то ни стало отсюда не выходить. Хотя, конечно, и квартира Леонида Григорьевича была не бог знает какое надежное убежище, но я предпочитал оставаться здесь, во-первых, потому, что все-таки рассчитывал на большую помощь со стороны Постельникова, а во-вторых, как известно, гораздо выгоднее держаться под самою стеной, с которой стреляют, чем отбегать от нее, когда вовсе убежать невозможно.

Тут, думал я, по крайней мере никто не вздумает искать, и выстрелы хотя на первое время, вероятно, пролетят над моею головой.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Изнывая и томясь в самых тревожных размышлениях о том, откуда и за что рухнула на меня такая напасть, я довольно долго шагал из угла в угол по безлюдной квартире Постельникова и, вдруг почувствовав неодолимую

слабость, прикорнул на диванчике и задремал. Я спал так крепко, что не слышал, как Постельников возвратился домой, и проснулся уже, по обыкновению, в восемь часов утра. Голубой купидон в это время встал и умывался.

Расстроенный и взволнованный, я вбежал в его комнату и впопыхах объяснил ему, какая со мною случилась история.

Постельников с удивлением посмотрел на меня долгим пристальным взглядом и, вдруг что-то припомнив, быстро хватил себя по лбу ладонью и воскликнул:

— Ах, черт меня возьми, прости мне, бога ради, Филимоша, за мою дурацкую рассеянность, — ведь это я забыл тебя предупредить. Успокойся — все это, дружок, пустяки!

— Позволь, — говорю, — как же мне успокоиться, когда меня сейчас могут сослать, и я даже не знаю за что?

— Пустяки это, Филимоша, все пустяки: арест — вздор, и сослать тебя никуда не сошлют, я тебе в том порука, что никуда тебя не сошлют.

— Так ты, — говорю, — расскажи мне, пожалуйста, в чем же меня подозревают, в чем моя вина и преступление, если ты это знаешь?

— «Если я знаю»? Чудак ты, Филимоша! Разумеется, я знаю; прекрасно, мой друг, знаю. Это все дело из пустяков: у тебя книжку нашли.

— Какую, какую нашли у меня книжку?

— Рылеева «Думы».

— Ну так что же, — говорю, — такое? Ведь это я у тебя же эту книжку взял.

— Ну, разумеется, — говорит, — у меня; я этого tête-à-tête [1] с тобою и не отвергаю...

— Так позволь же, пожалуйста... что же это такое?.. Откуда же кто-нибудь мог узнать, что у меня есть эта книжка?

— А вот ты, — говорит, — не горячись, а сядь да имей терпение выслушать, так я тебе и расскажу.

Зная обильные потоки словотечения Леонида Постельникова и его неумение ничего рассказывать коротко и просто, я повиновался и, скрепя сердце, сел и страдальчески сложил на груди руки.

---

[1] Наедине *(франц.)*.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

— Видишь ли, — неспешно начал мой мучитель, основательно усаживаясь у туалета и приступая к распусканию своих папильоток, — видишь ли, про это, наконец, дознались...

— Да я, — говорю, — я именно это-то и хочу знать, каким образом могли дознаться про то, что я всего позавчера с глаз на глаз взял у тебя книжку?

— Душа моя, да зачем же, — говорит, — ты усиливаешься это постичь, когда это все именно так и устроено, что ты даже, может быть, чего-нибудь и сам не знаешь, а там о тебе все это известно! Зачем же тебе в это проникать?

— Нет, я, — говорю, — хочу знать, что же, где же я, с кем я и кто за мною шпионит?

— Ну, вот уж и «шпионит»! Какие у вас, право, глупые слова всегда наготове... Вот от этого-то мне и неудивительно, что вы часто за них попадаетесь... язык мой — враг мой. Что такое «шпионство»? Это обидное слово и ничего более. Шпион, соглядатай — это употребляется в военное время против неприятеля, а в мирное время ничего этого нет.

— Да позволь же, — говорю, — пожалуйста: как же стало известно, что у меня есть твоя книга?

— А это другое дело; это совсем другое дело; тут нет никакого шпионства, а я, видишь... я тебе откровенно признаюсь, я, черт меня побери, как на себя ни злюсь, но я совсем неспособен к этой службе. Я в нее и не хотел, — я хотел в уланы, а это все маменька так устроила, что... в этом войске, говорит, хорошо, и обеспечено, и мундир, и шпоры, и это войско на войну не ходит, — а между тем она, моя почтенная матушка-то, того не сообразила, годен ли я, способен ли я к этой службе. Тут, правда, не контузят и не ранят, а выслужиться можно скорей, чем в битвах, но зато эта служба требует, так сказать, высших способностей, тут, так сказать... к ученому даже нечто примыкает, потому что требуется наблюдательность, а у меня ее никакейшей, а у нас за это не хвалят... и основательно делают, что не хвалят, потому что у нас без этого нельзя, потому что иначе на что же мы?

Нетерпение берет меня страшное!

— Позволь, — говорю, — Христа ради, мне тебя перебить.

— Да, хорошо, — отвечает, — перебей, братец, перебей, но ты во всяком случае должен со мной согласиться, что ведь мы же должны заботиться о том, чтобы мы оказывались на что-нибудь нужными?

— Прекрасно, — говорю, — прекрасно, но позволь...

— Нет, ты сам позволь: мы обязаны это доказать или нет, что мы нужны? А почему? Потому, душа моя, что ведь мы во что-нибудь стране-то обходимся, потому что мы ведь рубля два с полтиною в год государству-то стоим?

Господи, мне приходилось хоть плакать.

— Бога ради, — говорю, — Леонид Григорьевич, мне не до разговоров; я тебя с умилением прошу, не неси ты мне, Христа ради, всей этой ахинеи, а скажи мне, за что меня берут?

— Да я к этому и иду! что же ты сам меня перебиваешь, а сам говоришь, что я несу ахинею?

— Ну ладно, — говорю, — я молчу и не перебиваю, но только ради бога скажи скорее, в чем же дело?

— А в чем, ты думаешь, дело? Все дело в том, что у нас до этих пор нет еще настоящих наблюдательных людей. Оттого мы черт знает чем и занимаемся. Ты видал у меня нашего офицера Бекасинникова?

— Ну, видал, — говорю, — видал.

— Прекрасный парень, товарищ и добрейшая душа, — а ведь как, каналья, один раз меня срезал? Тоже вот как у меня: наблюдательности у него никакейшей и не находчив, а ведь это в извинение не берется; его и приструнили, и так приструнили, что хоть или в отставку подавай или переходи в другую службу, но из нашего ведомства это уже считается... неловко. Что же ты думаешь он, свинья, сделал? Встретил меня на улице и ну меня обнимать, да потихоньку снял у меня с сабли темляк и положил его мне в карман шинели, а сам сообщил, что «Постельников, говорит, манкирует формой и подает вредный пример другим». Меня вдруг и зовут: я ничего не знаю, являюсь как был — и прямо поехал за это на гауптвахту. Там и нашел я темляк в шинели, да уж нечего делать. Но я Бекасинникова в том не виню: что же ты

будешь делать? Герои редки, а службой своей должен каждый дорожить.

Меня вдруг осенило.

— Остановись, — говорю, — Леонид Григорьевич, — я боюсь, что я тебя, наконец, понимаю?

— Ну да, — говорит, — Филимоша, да, ты прав; между четырех глаз я от тебя не скрою: это я сообщил, что у тебя есть запрещенная книжка. Приношу тебе, голубчик, в этом пять миллионов извинений, но так как иначе делать было нечего... Ты, я думаю, ведь сам заметил, что я последние дни повеся нос ходил... Я ведь службы мог лишиться, а вчера мне приходилось хоть вот как, — и Постельников выразительно черкнул себя рукой по горлу и бросился меня целовать.

Поверите или нет, я даже не мог злиться. Я был так ошеломлен откровенностью Постельникова, что не только не обругал его, но даже не нашел в ответ ему ни одного слова! Да немного времени осталось мне и для разговоров, потому что в то время, как я не мешал Постельникову покрывать поцелуями мои щеки, он махнул у меня за плечами своему денщику, и по этому мановению в комнату явились два солдата и от него же взяли меня под арест.

Я просидел около десяти дней в какой-то дыре, а в это время вышло распоряжение исключить меня из университета, с тем чтобы ни в какой другой университет не принимать; затем меня посадили на тройку и отвезли на казенный счет в наш губернский город под надзор полиции, причем, конечно, утешили меня тем, что, во внимание к молодости моих лет, *дело* мое не довели до ведома высшей власти. Сим *родительским* мероприятием положен был предел учености моей.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

У нас в деревне уже знали о моем несчастии. Известие об этом дошло до дядина имения через чиновников, которым был прислан секретный наказ, где мне дозволить жить и как наблюдать за мною. Дядя тотчас понял в чем дело, но от матушки половину всего скрыли. Дядя

возмутился за меня и, бог знает сколько лет не выезжая из деревни, тронулся сам в губернский город, чтобы встретить меня там, разузнать все в подробности и потом ехать в Петербург и тряхнуть в мою пользу своими старыми связями.

При первом нашем свидании старик был со мною, сверх ожидания, тепел и нежен; он держал меня во все время разговора за руку, и когда я окончил свой рассказ, он пожал плечами и проговорил:

— Боже великий, чем люди занимаются! Ну, однако, — добавил он, — этого так им оставить невозможно. Я поеду просить, чтобы тебе дозволили поступить в другой университет, а теперь пока отдохни.

Он сам наблюдал, как мне сделали ванну, сам уложил меня в постель, но через два часа сам сделал мне такое горе, нанес мне такое несчастие, перед которым шутка Постельникова была невиннейшей идиллией.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Я спал безмятежно сном совершенно мертвым, каким только можно спать после тысячеверстного пути на перекладной телеге, и вдруг сквозь этот невероятный сон я услышал заупокойное пение «Святый боже», затем ужасный, потрясающий крик, стон, вопль — не знаю, как вам и назвать этот ужасный звук, от которого еще сейчас ноет мозг костей моих... Раздался этот крик, и вдруг какая-то паника, какой-то смущающий шепот, хлопанье дверей и всеобъемлющий ужас... Из живых людей меня никто не будил, но чья-то незримая рука толкнула меня в ребра и над ухом прожужжала пчела. Я вскочил, выбежал в зал... и увидел на диване мою мать... мертвою.

Вещун-сердце ее не выдержало: она чуяла, что со мной худо, и прилетела в город вслед за дядей; дяде вдруг вздумалось пошутить над ее *сантиментальностию*. Увидев, что матушка въехала на двор и выходит из экипажа, он запер на крючок дверь и запел «Святый боже». Он ей спел эту отходную, и вопль ее, который я слышал

во сне, был предсмертный крик ее ко мне. Она грохнулась у двери на землю и... умерла от разрыва сердца.

Этого уж я не мог вынести и заболел горячкой, в которой от всех почитался в положении безнадежном, но вдруг в двенадцатый день опомнился, стал быстро поправляться и толстеть самым непозволительным образом.

Дядя избегал со мною всяких свиданий, но какими-то, доселе мне неведомыми путями исходатайствовал мне позволение жить в Петербурге и оканчивать там свое образование.

Я, конечно, не заставил себе повторять этого разрешения и немедленно же собрался.

Дядя наблюдал за моим здоровьем, но сам скрывался; он показался мне только в самую минуту моего отъезда, но это отнюдь не был уже тот мой дядя, какого я привык видеть: это был старец смирный, тихий, убитый, в сермяжном подряснике, подпоясанном черным ремнем, и с седою щетиной на бороде.

Старик встретил меня в сенях, когда я выходил, чтобы садиться в телегу, и, упав предо мной на колена, горько зарыдал и прошептал:

— Орест! прости меня Христа ради.

Я бросился к нему, поднял его, и мы поцеловались и расстались, с тем чтобы уже никогда больше на этом свете не видаться.

Таким образом, *шутя* выгнанный из Москвы, я приезжал в свой город как будто только для того, чтобы там быть свидетелем, как *шутя* убили при мне страстно любимую мною мать и, к стыду моему, растолстеть от горячки и болезни.

«Что-то ждет меня еще в Петербурге?» — задавал я себе пытанье и хотя совсем разучился верить во что-нибудь хорошее, но с озлоблением не боялся ничего и худого.

«На же тебе меня, на! — говорил я мысленно своей судьбе. — На тебе меня, и поделай-ка со мной что-нибудь чуднее того, что ты делала. Нет, мол, голубка, ты меня уж ничем не удивишь!»

Но я в этом наижесточайше ошибся: то, что судьба готовила мне здесь, превзошло всякие неожиданности.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Я вам говорил, что в моей руке не только был перочинный нож, которым я ранил в гимназии великого Калатузова, но я держал в моих руках и меч. Вот как это случилось.

Живу я в Петербурге тихо и смирно и учусь. Новой беды над собой, разумеется, ниоткуда не жду, да и думаю, что и взяться ей неоткуда. Верно, думаю, злая судьба моя уже удовлетворилась.

Успокоивая себя таким образом, я сам стал терять мое озлобление и начал рассуждать обо всем в духе сладчайшего всепрощения. Я даже нашел средство примириться с поступком дяди, стоившим жизни моей матери.

«Что же, — думаю я, — матушка умерла праведницей, а кончина ее обратила беспокойного и строптивого дядю моего к христианскому смирению. Благому духу моей матери это сладчайшая награда, и не обязан ли я смотреть на все совершившееся как на исполнение предначертаний Промысла, ищущего каждой заблудшей овцы?»

Я решил себе, что это именно так, и написал об этом моему дяде, от которого чрез месяц получаю большой пакет с дарственною записью на все его имения и с письмом, в котором он кратко извещал меня, что он оставил дом, живет в келье в одной пустыни и постригся в монахи, а потому, — добавляет, — «не только сиятельством, но даже и благородием меня впредь не титулуй, ибо монах благородным быть не может!» Эта двусмысленная, шутливая приписка мне немножко не понравилась: и этого он не сумел сделать серьезно!.. Но что его осуждать?.. Это кувшин, который уже сломил себе голову.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Стояло великопостное время; я был тогда, как говорю вам, юноша теплый и умиленный, а притом же потеря матушки была еще насвеже, и я очень часто ходил в одну домовую церковь и молился там и пресладко и преискренно. Начинаю говеть и уж отгавливаюсь — совсем собираюсь подходить к исповеди, как вдруг, словно из театрального люка, вырастает предо мною в темном угле

церкви господин Постельников и просит у меня христианского прощения, если он чем-нибудь меня обидел.

«Ах ты, ракалья этакая! — подумал я, — еще он сомневается... «если он чем-нибудь меня обидел»! Да и зачем он очутился здесь и говеет как раз в той же церкви, где и я?.. А впрочем, думаю: по-христиански я его простил и довольно; больше ничего не хочу про него ни знать, ни ведать». Но вот-с причастился я, а Постельников опять предо мною в новом мундире с жирными эполетами и поздравляет меня с принятием святых таин.

«Ну, да ладно, — думаю, — ладно», и от меня прошу принять такое же поздравление.

Вышли мы из церкви; он меня, гляжу, догоняет по дороге и говорит:

— Ты ведь меня, Филимоша, простил и больше не сердишься?

Я даже и слова не нашел, что ответить ему на такой фамильярный приступ.

— Не сердись, — говорит, — пожалуйста, Филимоша; я, ей-богу, всегда тебя любил; но я совсем неспособен к этой службе и оттого, черт меня знает, как медленно и подвигаюсь.

— Однако, — говорю, — чем же медленно? У вас уже жирные эполеты. — А сам, знаете, все норовлю от него в сторону.

А он не отстает и продолжает:

— Ах, что, — говорит, — в этом, Филимоша, что жирные эполеты? Разве другие-то это одно до сих пор имеют? Нет, да я, впрочем, на начальство и не ропщу: я сам знаю, что я к этой службе неспособен. Стараюсь — да неспособен, и вот это меня сокрушает. Я переведен сюда для пользы службы, а службе от меня никакой пользы нет, да и вперед не будет, и я это чувствую и скорблю... Мне худо потому, что я человек товарищественный. Вы ведь, я думаю, это помните?

— Как же, помню, мол, даже непременно очень помню.

— Да вот, у меня здесь теперь есть новый приятель, Станислав Пржикрживницкий, попросту — Стаська... Представьте, какой только возможно чудеснейший малый: товарищ, весельчак, и покутить не прочь, и в картишки, со всеми литературами знаком, и сам веселые стихи на

все сочиняет; но тоже совершенно, как у меня, нет никакой наблюдательности. Представьте себе, комизма много, а наблюдательности нет; ведь это даже удивительно! Генерала нашего представляет как нельзя лучше, да и вообще всех нас пересмешит в манеже. Приедет и кричит: «Bonjour,[1] мой взвод!» Те орут: «Здравия желаем, ваше благородие!» — «Какое, говорит, у нас нынче меню?» — «Шшы, ваше благородие». — «Вахмистр, говорит, покажи мне мое место!»... Одним словом, пересмешит до упаду, а служебной наблюдательности все-таки нет. Он мне раз и говорит: «Душка Постельников, ты опытнее, пособи мне обратить на себя внимание. Иначе, говорит, я вас больше и тешить не хочу, потому что на меня начинают находить прегорькие минуты». — «Да, друг ты мой, — отвечаю я ему, — да мне самому не легче тебя». И я это не лгу. Вы не поверите, что я бог знает как обрадовался, узнав, что вы в Петербурге.

— А вы почему, — говорю, — это узнали?

— Да как же, — говорит, — не узнать? Ведь у нас это по реестрам видно.

— Гм, да, мол, вот что... по реестрам у вас видно.

А он продолжает, что хотел было даже ко мне приехать, «чтобы душу отвести», да все, говорит, ждал случая.

Ух, батюшки, так меня и кольнуло!

— Как, какого, — говорю, — вы ждали случая?

— А какого-нибудь, — отвечает, — чтобы в именины или в рожденье... нагрянуть к вам с хлебом и солью... А кстати, вы когда именинник? — И тотчас же сам и отгадывает. — Чего же, — говорит, — я, дурак, спрашиваю, будто я не знаю, что четырнадцатого декабря?

Это вовсе неправда, но мне, разумеется, следовало бы так и оставить его на этот счет в заблуждении; но я это не сообразил и со страха, чтоб он на меня не нагрянул, говорю: я вовсе и не именинник четырнадцатого декабря.

— Как, — говорит, — не именинник? Разве святого Филимона не четырнадцатого декабря?

— Я, — отвечаю, — этого не знаю, когда святого Филимона, да и мне можно это и не знать, потому что я вовсе не Филимон, а Орест.

---

[1] Здравствуйте *(франц.)*.

— Ах, и вправду! — воскликнул Постельников. — Представьте: сила привычки! Я даже и позабыл: ведь это Трубицын поэт вас Филимоном прозвал... Правда, правда, это он прозвал... а у меня есть один знакомый, он действительно именинник четырнадцатого декабря, так он даже просил консисторию переменить ему имя, потому... потому... что... четырнадцатого декабря... Да!.. четырнадцатого...

И вдруг Постельников воззрился на меня острым, пристальным взглядом, еще раз повторил слово «четырнадцатое декабря» и с этим тихо, в рассеянности пожал мне руку и медленно ушел от меня в сторону.

Я был очень рад, что от него освободился, пришел домой, пообедал и пресладостно уснул, но вдруг увидел во сне, что Постельников подал меня на блюде в виде поросенка под хреном какому-то веселому господину, которого назвал при этом Стаськой Пржикржживницким.

— На, — говорит, — Стася, кушай, совсем готовый: и ошпарен и сварен.

Дело пустое сон, но так как я ужасный сновидец, то это меня смутило. Впрочем, авось, думаю, пронесет бог этот сон мимо. Ах! не тут-то было; сон пал в руку.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Приходит день к вечеру; «ночною темнотой мрачатся небеса, и люди для покоя смыкают уж глаза», — а ко мне в двери кто-то динь-динь-динь, а вслед за тем сбруею брясь-дрясь-жись! «Здесь, — говорит, — такой-то Ватажков»? Ну, конечно, отвечают, что здесь.

Вошли милые люди и вежливо попросили меня собраться и ехать.

Оделся я, бедный, и еду.

Едем долго ли, коротко ли, приезжаем куда-то и идем по коридорам и переходам. Вот и комната большая, не то казенная, не то общежитейская... На окнах тяжелые занавески, посредине круглый стол, покрытый зеленым сукном, на столе лампа с резным матовым шаром и несколько кипсеков; этажерка с книгами законов, а в глубине диван.

— Дожидайтесь здесь, — велел мне мой провожатый и скрылся за следующею дверью.

Жду я час, жду два: ни звука ниоткуда нет. Скука берет ужасная, скука, одолевающая даже волнение и тревогу. Вздумал было хоть закон какой-нибудь почитать или посмотреть в окно, чтоб уяснить себе мало-мальски: где я и в каких нахожусь палестинах; но боюсь! Просто тронуться боюсь, одну ногу поднимаю, а другая — так мне и кажется, что под пол уходит... Терпенья нет, как страшно!

«Вот что, — думаю себе, — проползу-ка я осторожненько к окну на четвереньках. На четвереньках — это совсем не так рискованно: руки осунутся, я сейчас всем телом назад, и не провалюсь».

Думал, думал да вдруг насмелился, как вдруг в то самое время, когда я пробирался медведем, двери в комнату растворились, и на пороге показался лакей с серебряным подносом, на котором стоял стакан чаю.

Появление этого свидетеля моего комического ползания на четвереньках меня чрезвычайно сконфузило... Лакей-каналья держался дипломатическим советником, а сам едва не хохотал, подавая чай, но мне было не до его сатирических ко мне отношений. Я взял чашку и только внимательно смотрел на все половицы, по которым пройдет лакей. Ясно, что это были половицы благонадежные и что по ним ходить было безопасно.

«Да и боже мой, — сообразил я вдруг, — что же я за дурак такой, что я боюсь той или другой половицы? Ведь если мне уж определено здесь провалиться, так все равно: и весь диван, конечно, может провалиться!»

Это меня чрезвычайно успокоило и осмелило, и я, после долгого сиденья, вдруг вскочил и заходил через всю комнату с ярым азартом. Нестерпимейшая досада, негодование и гнев — гнев душащий, но бессильный, все это меня погоняло и шпорило, и я шагал и шагал и... вдруг, милостивые мои государи, столкнулся лицом к лицу с седым человеком очень небольшого роста, с огромными усами и в мундире, застегнутом на все пуговицы. За его плечом стоял другой человек, ростом повыше и в таком же точно мундире, только с обер-офицерскими эполетами.

Оба незнакомца, по-видимому, вошли сюда уже несколько минут и стояли, глядя на меня с усиленным вниманием.

Я сконфузился и остановился.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Маленький генерал понял мое замешательство, улыбнулся и сказал:

— Ничего-с.

Я поклонился. Генерал мне показался человеком очень добрым и мягким.

— Вас зовут *Филимон?* — спросил он меня тихо и бесстрастно, но глубоко таинственно.

— Нет-с, — отвечал я ему смело, — меня зовут не Филимон, а Орест.

— Знаю-с и не о том вас спрашиваю.

— Я, — говорю, — отвечаю вашему превосходительству как раз на ваш вопрос.

— Неправда-с, — воскликнул, возвышая голос, генерал, причем добрые голубые глаза его хотели сделаться злыми, но вышли только круглыми. — Неправда-с: вы очень хорошо знаете, о чем я вас спрашиваю, и отвечаете мне вздор!

Теперь я действительно уж только и мог отвечать один вздор, потому что я ровно ничего не понимал, чего от меня требуют.

— Вас зовут *Филимон!* — воскликнул генерал, сделав еще более круглые глаза и упирая мне в грудь своим указательным пальцем. — Ага! что-с, — продолжал он, изловив меня за пуговицу, — что? Вы думаете, что нам что-нибудь неизвестно? Нам все известно: прошу не запираться, а то будет хуже! Вас в нашем кружке зовут Филимоном! Слышите: не запираться, хуже будет!

Я спокойно отвечал, что не вижу вовсе и никакой нужды быть в этом случае неискренним пред его превосходительством; «действительно, — говорю, — пришла когда-то давно одному моему знакомцу блажь назвать меня Филимоном, а другие это подхватили, находя, будто имя *Филимон* мне почему-то идет...»

— А вот в том-то и дело, что это вам идет; вы, наконец, в этом сознались, и я вас очень благодарю.

Генерал пожал мне с признательностью руку и добавил:

— Я очень рад, что после вашего раскаяния могу все это представить в самом мягком свете и, бог даст, не допущу до дурной развязки. Извольте за это сами вы-

бирать себе любой полк; вы где хотите служить: в пехоте или в кавалерии?

— Ваше превосходительство, — говорю, — позвольте... я нигде не хочу служить, ни в пехоте, ни в кавалерии...

— Тс! молчать! молчать! тссс! — закричал генерал. — Нам все известно. Вы человек с состоянием, вы должны идти в кавалерию.

— Но, ваше превосходительство, я никуда не хочу идти.

— Молчать! тс! не сметь!.. молчать! Отправляйтесь сейчас с моим адъютантом в канцелярию. Вам там приготовят просьбу, и завтра вы будете записаны юнкером, — понимаете? юнкером в уланы или в гусары; я предоставляю это на ваш выбор, я не стесняю вас: куда вы хотите?

— Да, ваше превосходительство, я, — говорю, — никуда не хочу.

Генерал опять затопал, закричал и кричал долго что-то такое, в чем было немало добрых и жалких слов насчет спокойствия моих родителей и моего собственного будущего, и затем вдруг, — представьте вы себе мое вящшее удивление, — вслед за сими словами непостижимый генерал вдруг перекрестил меня крестом со лба на грудь, быстро повернулся на каблуках и направился к двери.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Отчаяние придало мне неожиданную смелость: я бросился вслед за генералом, схватил его решительно за руку и зычно воскликнул:

— Ваше превосходительство! воля ваша, а я не могу... Извольте же мне по крайней мере сказать, что же я такое сделал? За что же я должен идти в военную службу?

— Вы ничего не сделали, — тихо и безгневно отвечал мне генерал. — Но не думайте, что нам что-нибудь неизвестно: нам все известно, мы на то поставлены, и мы знаем, что вы ничего не сделали.

— Так за что же-с, за что, — говорю, — меня в военную службу?

— А разве военная служба — это наказание? Военная служба это презерватив.

— Но помилуйте, — говорю, — ваше превосходительство; вы только извольте на меня взглянуть: ведь я совсем к военной службе неспособен, и я себя к ней никогда не предназначал, притом же... я дворянин, и по вольности дворянства, дарованной Петром Третьим и подтвержденной Великой Екатериной...

— Тс! тс! не сметь! молчать! тс! ни слова больше! — замахал на меня обеими руками генерал, как бы стараясь вогнать в меня назад вылетевшие из моих уст слова. — Я вам дам здесь рассуждать о вашей Великой Екатерине! Тссс! Что такое ваша Великая Екатерина? Мы лучше вас знаем, что такое Великая Екатерина!.. черная женщина!.. не сметь, не сметь про нее говорить!..

И генерал снова повернул к двери.

Отчаяние мною овладело страшное.

— Но, бога ради! — закричал я, снова догнав и схватив генерала дерзостно за руку. — Я вам повинуюсь, повинуюсь, потому что не могу не повиноваться...

— Не можете, да, не можете и не должны! — проговорил мягче прежнего генерал.

По тону его голоса и по его глазам мне показалось, что он не безучастлив к моему положению.

Я этим воспользовался.

— Умоляю же, — говорю, — ваше превосходительство, только об одном: не оставьте для меня вечной тайной, в чем моя вина, за которую я иду в военную службу?

Генерал, не сердясь, сложил наполеоновски свои руки на груди и, отступив от меня шаг назад, проговорил:

— Вас прозвали *Филимон!*

— Знаю, — говорю, — это несчастье; это Трубицын.

— *Филимон!* — повторил, растягивая, генерал. — И, как вы сами мне здесь благородно сознались, это больше или меньше соответствует вашим свойствам?

— Внешним, ваше превосходительство, внешним, наружным, — торопливо лепетал я, чувствуя, что как будто в имени «Филимон» действительно есть что-то преступное.

— Прекрасно-с! — и с этим генерал неожиданно прискакнул ко мне петушком, взял меня руками за плечи, подвинул свое лицо к моему лицу, нос к носу и, глядя мне инквизиторски в глаза, заговорил: — А позвольте спросить вас, когда празднуется день святого Филимона?

Я вспомнил свой утренний разговор с Постельниковым о моем тезоименитстве и отвечал:

— Я сегодня случайно узнал, что этот день празднуется четырнадцатого декабря.

— *Четырнадцатого декабря!* — произнес вслед за мною в некоем ужасе генерал и, быстро отхватив с моих плеч свои руки, поднял их с трепетом вверх над своею головой и, возведя глаза к небу, еще раз прошептал придыханием: «*Четырнадцатого декабря!*» и, качая в ужасе головою, исчез за дверью, оставив меня вдвоем с его адъютантом.

## ГЛАВА СОРОКОВАЯ

— Вы ничего этого не бойтесь, — весело заговорил со мною адъютант, чуть только дверь за генералом затворилась. — Поверьте, это все гораздо страшнее в рассказах. Он ведь только егозит и петушится, а на деле он божья коровка и к этой службе совершенно неспособен.

— Но, однако, — говорю, — мне, по его приказанию, все-таки надо идти в полк.

— Да полноте, — говорит, — я даже не понимаю, за что вы его так сильно раздражили? Не все ли вам равно, где ни служить?

— Да, так-с; но я совершенно неспособен к военной службе.

— Ах! полноте вы, бога ради, толковать о способностях! Разве у нас это всё по способностям расчисляют? я и сам к моей службе не чувствую никакого призвания, и он (адъютант кивнул на дверь, за которую скрылся генерал), и он сам сознается, что он даже в кормилицы больше годится, чем к нашей службе, а все мы между тем служим. Я вам посоветую: идите вы в гусары; вы, — извините меня, — вы этакий кубастенький бочоночек, прекоренастый; ведь лучше в гусары, да там и общество дружное и залихватское... Вы пьете?.. Нет!.. Ну, да все равно. А острить можете?

— Нет, — отвечаю, — я и острить не могу.

— Ну, как-нибудь, из Грибоедова, что ли: «Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексевна»;

или что-нибудь другое, — ведь это нетрудно... Неужто и этого не можете?

— Да это, может быть, и могу, — отвечаю я, — да зачем же это?

— Ну, вот и довольно, что можете, а зачем — это после сами поймете; а что это нетрудно, так я вам за то головой отвечаю: у нас один гусар черт знает каким остряком слыл оттого только, что за каждым словом прибавлял: «Ах, екскюзе ма фам» [1]; но все это пока в сторону, а теперь к делу: бумага у меня для вас уже заготовлена; что вам там таскаться в канцелярию? только выставить полк, в какой вы хотите, —заключил он, вытаскивая из-за лацкана сложенный лист бумаги, и тотчас же вписал там в пробеле имя какого-то гусарского полка, дал мне подписать и, взяв ее обратно, сказал мне, что я совершенно свободен и должен только завтра же обратиться к такому-то портному, состроить себе юнкерскую форму, а послезавтра опять явиться сюда к генералу, который сам отвезет меня и отрекомендует моему полковому командиру.

## ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Так все это и сделалось. Портной одел меня, писаря записали, а генерал осмотрел, ввел к себе в кабинет, благословил маленьким образком в ризе, сказал, что «все это вздор», и отвез меня в карете к другому генералу, моему полковому командиру. Я сделался гусаром недуманно-негаданно, против всякого моего желания и против всех моих дворянских вольностей и природных моих способностей. Жизнь моя казалась мне погибшею, и я самовольно представлял себя себе самому не иначе как волчком, который посукнула рука какого-то злого чародея, — и вот я кручусь и верчусь по его капризу: езжу верхом в манеже и слушаю грибоедовские остроты и, как Гамлет, сношу удары оскорбляющей судьбы купно до сожалений Трубицына и извинений Постельникова, а все-таки не могу вооружиться против моря бед и покончить с ними разом; с мосту да в воду... Что вы на меня так удивленно смотрите? Ей-богу, я в пору моей воинской деятельности

[1] Простите мою жену (*франц.* — Excusez ma femme).

часто и много помышлял о самоубийстве, да только все помышлял, но, по слабости воли, не решался с собою покончить. А в это время меня произвели в корнеты, и вдруг... в один прекрасный день, пред весною тысяча восемьсот пятьдесят пятого года в скромном жилище моем раздается бешеный звонок, затем шум в передней, бряцанье сабли, восклицания безумной радости, и в комнату ко мне влетает весь сияющий Постельников!..

## ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Увидав Постельникова, да еще в такие мудреные дни, я даже обомлел, а он ну меня целовать, ну меня вертеть и поздравлять.

«Что такое?» — думаю себе, и как я ни зол был на Постельникова, а спрашиваю его, с чем он меня поздравляет?

— Дружище мой, Филимоша, — говорит, — ты свободен!

— Что? что, — говорю, — такое?

— Мы свободны!

«Э, — думаю, — нет, брат, не надуешь!»

— Да радуйся же! — говорит, — скот ты этакий: радуйся и поздравляй ее!

— Кого-с? — пытаю с удивлением.

— Да ее, ее, нашу толстомясую мать Федору Ивановну! Ну, Россию, что ли, Россию! будто ты не понимаешь: она свободна, и все должны радоваться.

— Нет, мол, не надуешь, не хочу радоваться.

— Да, пойми же, пентюх, пойми: *с-в-о-б-о-д-е-н...* Слово-то ты это одно пойми!

— И понимать, — говорю, — ничего не хочу.

— Ну, так ты, — говорит, — после этого даже не скот, а *раб*... понимаешь ли ты, раб в своей душе!

«Ладно, — думаю, — отваливай, дружок, отваливай».

— Да ты, шут этакий, — пристает, — пойми только, куда мы теперь пойдем, какие мы антраша теперь станем выкидывать!

— Ничего, — отвечаю, — и понимать не хочу.

— Так вот же тебе за то и будут на твою долю одно: «ярмо с гремушкою да бич».

— И чудесно, только оставьте меня в покое.

Так я и сбыл его с рук; но через месяц он вдруг снова предстал моему изумленному взору, и уже не с веселою улыбкою, а в самом строгом чине и начал на *вы*.

— Вы, — говорит, — на меня когда-то роптали и сердились.

— Никогда, — отвечаю, — я на вас не роптал.

Думаю, черт с тобой совсем: еще и за это достанется.

— Нет, уж это, — говорит, — мне обстоятельно известно; вы даже обо мне никогда ничего не говорите, и тогда, когда я к вам, как к товарищу, с общею радостною вестью приехал, вы и тут меня приняли с недоверием; но бог с вами, я вам все это прощаю. Мы давно знакомы, но вы, вероятно, не знаете моих правил: мои правила таковы, чтобы за всякое зло платить добром.

«Да, — думаю себе, — знаю я: ты до дна маслян, только тобой подавишься», и говорю:

— Вы очень добры.

— Совсем нет; но это, извините меня, самое злое и самое тонкое мщение — платить добром за оскорбления. Вот в чем вопрос: хотите ли вы ехать за границу?

— Как, — говорю, — за какую за границу?

— За какую! Уж, конечно, за западную: в Париж, в Лондон, — в Лондоне теперь чудные дела делаются... Что там только печатается!.. Там восходит наша звезда, хотите почитать?

— Нет, — говорю, — не хочу.

— Но отчего же?

— Да так, не хочу, да и только...

— И ехать не хотите?

— Нет, ехать хочу, но...

— Что за но...

— Но меня, — говорю, — не пустят за границу.

— Отчего это не пустят? — и Постельников захохотал. — Не оттого ли, что ты именинник-то четырнадцатого декабря... Э, брат, это уже все назади осталось; теперь на политику иной взгляд, и нынче даже не такие вещи ничего не значат. Я, я, — понимаешь, *я* тебе отвечаю, что тебя пустят. Ты в отпуск хочешь или в отставку?

— Ах, зачем же, — отвечаю, — в отпуск! Нет, уж я, если только можно, в чистую отставку хочу.

— Ступай и в отставку, подавай по болезни рапорт — и катай за границу.

— Да мне никто и свидетельства, — говорю, — не даст, что я болен.

Постельников меня за это даже обругал.

— Дурак! — говорит, — ты извини меня: просто дурак! Да ты не хочешь ли, я тебе достану свидетельство, что ты во второй половине беременности?

— Ну, уж это, — говорю, — ты вздор несешь!

— Держишь пари?

— И пари не хочу.

— Нет, пари! держи пари.

И сам руку протягивает.

— Нечего, — говорю, — и пари держать, потому что все это вздор.

— Нет, ты держи со мною пари.

— Сделай милость, — говорю, — отстань, мне это неприятно.

— Так что ж ты споришь? Я уж знаю, что говорю. С моего брата на перевязочном пункте в Крыму сорок рублей взяли, чтобы контузию ему на полную пенсию приписать, когда его и комар не кусал; но мой брат дурак: ему правую руку отметили, а он левую подвязал, потом и вышел из этого только один скандал, насилу, насилу кое-как поправили. А для умного человека ничего не побоятся сделать. Возьмись за самое легкое, за так называемое «казначейское средство»: притворись сумасшедшим, напусти на себя маленькую меланхолию, говори вздор: «я, мол, дитя кормлю; жду писем из розового замка» и тому подобное... Согласен?

— Хорошо, — отвечаю, — согласен.

— Ну вот, только всего и надо. И сто рублей дать тоже согласен?

— Я триста дам.

— На что же триста? Ты, милый друг, этак Петербургу цены портишь, — за триста тебя здесь теперь ведь на родной матери перевенчают и в том тебе документ дадут.

— Да мне уж, — говорю, — не до расчетов: лишь бы вырваться; не с деньгами жить, а с добрыми людьми...

Постельников вдруг порскнул и потом так и покатился со смеху.

— Прекрасно, — говорит, — вот и это прекрасно! Извини меня, что я смеюсь, но это для начала очень хорошо: «не с деньгами жить, а с добрыми людьми»! Это черт знает как хорошо, ты так и комиссии... как они к тебе приедут свидетельствовать... Это скоро сделается. Я извещу, что ты не того...

Постельников помотал пальцем у своего лба и добавил:

— Извещу, что у тебя меланхолия и что ты с оружием в руках небезопасен, а ты: «не с деньгами, мол, жить, а с добрыми людьми», и вообще чем будешь глупее, тем лучше.

И с этим Постельников, сжав мою руку, исчез.

## ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

Два-три дня я прожил так, на власть божию, но в большом расстройстве, и многим, кто видел меня в эти дни, казался чрезвычайно странным. Совершеннее притворяться меланхоликом, как выходило у меня без всякого притворства, было невозможно. На третий день ко мне нагрянула комиссия, с которой я, в крайнем моем замешательстве, решительно не знал, что говорить.

Рассказывал им за меня всё Постельников, до упаду смеявшийся над тем, как он будто бы на сих днях приходит ко мне, а я будто сижу на кровати и говорю, что «я дитя кормлю»; а через неделю он привез мне чистый отпуск за границу, с единственным условием взять от него какие-то бумаги и доставить их в Лондон для напечатания в «Колоколе».

— Конечно, — убеждал меня Постельников, — ты не подумай, Филимоша, что я с тем только о тебе и хлопотал, чтобы ты эти бумажонки отвез; нет, на это у нас теперь сколько угодно есть охотников, но ты знаешь мои правила: я дал тем нашим лондонцам-то слово с каждым знакомым, кто едет за границу, что-нибудь туда посылать, и потому не нарушаю этого порядка и с тобой; свези и ты им кой-что. Да здесь, впрочем, все и довольно невинное: насчет нашего генерала и насчет дворни.

В Берлине ты все это можешь даже смело в почтовый ящик бросить, — оттуда уж оно дойдет.

Признаюсь вам, принимая вручаемый мне Постельниковым конверт, я был твердо уверен, что он, по своей «неспособности к своей службе», непременно опять хочет сыграть на меня. Ошибался я или нет, но план его мне казался ясен: только что я выеду, меня цап-царап и схватят с поличным — с бумагами про какую-то дворню и про генерала.

«Нет, черт возьми, — думаю, — довольно: более не поддамся», и сшутил с его письмом такую же штуку, какую он рассказывал про темляк, то есть «хорошо, говорю, мой друг; благодарю тебя за доверие... Как же, отвезу, непременно отвезу и лично Герцену в руки отдам», — а сам начал его на прощание обнимать и целовать лукавыми лобзаниями, да и сунул его конверт ему же самому в задний карман. Что вы все, господа, опять смотрите на меня такими удивленными глазами? Не кажется ли вам, что я неблагодарно поступил по отношению к господину Постельникову? Может быть и так, может быть даже, что он отнюдь и не имел никакого намерения устраивать мне на этих бумажонках ловушку, но обжегшиеся на молоке дуют и на воду; в этом самая дурная сторона предательства: оно родит подозрительность в душах самых доверчивых.

И вот, наконец, я опять за границей, и опять на свободе, на свободе после неустанного падения на меня стольких внезапных и неcподеванных бед и напастей! Я сам не верил своей свободе. Я не поехал ни в Париж, ни в Лондон, а остался в маленьком германском городке, где хотел спокойно жить, мыслить и продолжать мое неожиданно и так оригинально прерванное занятие науками. Все это мне и удалось: при моей нетребовательности за границею мне постоянно все удается, и не удалось долго лишь стремление усвоить себе привычку знать, что я свободен. Проходили месяцы и годы, а я все, просыпаясь, каждое утро спрашивал себя: действительно ли я проснулся? на самом ли деле я в Германии и имею право не только не ездить сегодня в манеже, но даже вытолкать от себя господина Постельникова, если б он вздумал посетить мое убежище?

Наконец всеисцеляющее время уврачевало и этот недуг сомнения, и я совершенно освоился с моим блаженнейшим состоянием в тишине и стройной последовательности европейской жизни и даже начал совсем позабывать нашу российскую чехарду.

## ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Так тихо и мирно провел я целые годы, то сидя в моем укромном уголке, то посещая столицы Европы и изучая их исторические памятники, а в это время здесь, на Руси, всё выдвигались вопросы, реформы шли за реформами, люди будто бы покидали свои обычные кривлянья и шутки, брались за что-то всерьез; я, признаюсь, ничего этого не ждал и ни во что не верил и так, к стыду моему, не только не принял ни в чем ни малейшего участия, но даже был удивлен, заметив, что это уже не одни либеральные разговоры, а что в самом деле сделано много бесповоротного, над чем пошутить никакому шутнику неудобно. В это время старик, дядя мой, умер и мои домашние обстоятельства потребовали моего возвращения в Россию. Я этому даже обрадовался; я почувствовал влечение, род недуга, увидеть Россию обновленную, мыслящую и серьезно устрояющую самое себя в долготу дней. Я приближался к отечеству с душевным трепетом, как к купине, очищаемой божественным огнем, и переехал границу крестясь и благословляясь... и что бы вы думали: надолго ли во мне хватило этого торжественного заряда? Помогли ли мне соотчичи укрепить мою веру в то, что время шутовства, всяких юродств и кривляний здесь минуло навсегда, и что под веянием духа той свободы, о которой у нас не смели и мечтать в мое время, теперь все образованные русские люди взялись за ум и серьезно тянут свою земскую тягу, поощряя робких, защищая слабых, исправляя и воодушевляя помраченных и малодушных и вообще свивая и скручивая наше растрепанное волокно в одну крепкую бечеву, чтобы сцепить ею воедино великую рознь нашу и дать ей окрепнуть в сознании силы и права?..

Как бы не так!

## ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

Прежде всего мне пришлось, разумеется, поблагоговеть пред Петербургом; город узнать нельзя: похорошел, обстроился, провел рельсы по улицам, а либерализм так и ходит волнами, как море; страшно даже, как бы он всего не захлестнул, как бы им люди не захлебнулись! «Государь в столице, а на дрожках ездят писаря, в фуражках ходят офицеры»; у дверей ресторанов столики выставили, кучера на козлах трубки курят... Ума помраченье, что за вольности! Офицеры не колотят приказных ни на улицах, ни в трактирах, да и приказных что-то не видно.

— Где бы это они все подевались? — спрашиваю одного старого знакомого.

— А их, — отвечает, — сократили, — теперь ведь у нас все благоразумная экономия. Служба не богадельня.

— Что же, и прекрасно, — говорю, — пусть себе за другой труд берутся.

Посетил старого товарища, гусара, — нынче директором департамента служит. Живет таким барином, что даже и независтливый человек, пожалуй, позавидовал бы.

— Верно, — говорю, — хорошее жалованье получаете?

— Нет, какое же, — отвечает, — жалованье! У нас оклады небольшие. Всё экономию загоняют. Квартира, вот... да и то не из лучших.

Я дальше и расспрашивать не стал; верно, думаю, братец ты мой, взятки берешь и, встретясь с другим знакомым, выразил ему на этот счет подозрение; но знакомый только яростно расхохотался.

— Этак ты, пожалуй, заподозришь, — говорит, — что и я взятки беру?

— А ты сколько, — спрашиваю, — получаешь жалованья?

— Да у нас оклады, — отвечает, — небольшие; я всего около двух тысяч имею жалованья.

— А живешь, мол, чудесно и лошадей держишь?

— Да ведь, друг мой, на то, — рассказывает, — у нас есть суммы: к двум тысячам жалованья я имею три

добавочных, да «к ним» тысячу двести, да две тысячи прибавочных, да «к ним» тысяча четыреста, да награды, да на экипаж.

— И он, стало быть, — говорю, — точно так же?

— А конечно; он еще более; ему, кроме добавочных и прибавочных, дают и на дачу, и на поездку за границу, и на воспитание детей; да в прошедшем году он дочь выдавал замуж, — выдали на дочь, и на похороны отца, и он и его брат оба выпросили: зачем же ему брать взятки? Да ему их и не дадут.

— Отчего же, — любопытствую, — не дадут? Он место влиятельное занимает.

— Так что же такое, что место занимает; но он ведь службою не занимается.

— Вот тебе и раз! Это же почему не занимается?

— Да некогда, милый друг, у нас нынче *своею* службой почти никто не занимается; мы все нынче завалены сторонними занятиями; каждый сидит в двадцати комитетах по разным вопросам, а тут благотворительствовать... Мы ведь нынче все благотворим... да: благотворим и сами, и жены наши все этим заняты, и ни нам некогда служить, ни женам нашим некогда хозяйничать... Просто беда от благотворения! А кто в военных чинах, так еще стараются быть на разводах, на парадах, на церемониях... вечный кипяток.

— Это, — пытаю, — зачем же на церемонии-то ездить? Разве этого требуют?

— Нет, не требуют, но ведь хочется же на виду быть... Это доходит нынче даже до цинизма, да и нельзя иначе... иначе ты закиснешь; а между тем за всем за этим *своею* службою заниматься некогда. Вот видишь, у меня шестнадцать разных книг; все это казначейские книги по разным ученым и благотворительным обществам... Выбирают в казначеи, и иду... и служу... Все дело-то на грош, а его нужно вписать, записать, перечесть, выписать в расходы, и все сам веду.

— А ты зачем, — говорю, — на это дело какого-нибудь писарька не принаймешь?

— Нельзя, голубчик, этого нельзя... у нас по всем этим делам начальствуют барыни — народ, за самым небольшим исключением, самый пустой и бестолковый, но тре-

бовательный, а от них, брат, подчас много зависит при случае... Ведь из того мы все этих обществ и держимся. У нас нынче все по обществам; даже и попы и архиереи есть... Нынче это прежние протекции очень с успехом заменяет, а иным даже немалые и прямые выгоды приносит.

— Какие же прямые-то выгоды тут возможны?

— Возможны, друг мой, возможны: знаешь пословицу — «и поп от алтаря питается», ну и из благотворителей тоже есть такие: вон недавно одна этакая на женскую гимназию собирала, да весь сбор ошибкою в кармане увезла.

— Зачем же вы не смотрите за этим?

— Смотрим, да как ты усмотришь, — от школ ее отогнали, она кинулась на колокола собирать, и колокола вышли тоже не звóнки. Следим, любезный друг, зорко следим, но деятельность-то стала уж очень обширна, — не уследишь.

— А на службе писарьки работают?

— Ну нет, и там есть «этакие крысы» бескарьерные... они незаметны, но есть. А ты вот что, если хочешь быть по-старому, по-гусарски, приятелем, — запиши, сделай милость, что-нибудь.

— На что это записать?

— А вот на что хочешь; в этой книге на «Общество снабжения книгами безграмотного народа», в этой на «Комитет для возбуждения вопросов», в этой — на «Комитет по устройству комитетов», здесь — «Комитет для обсуждения бесполезности некоторых обществ», а вот в этой — на «Подачу религиозного утешения недостаточным и бедствующим»... вообще все добрые дела; запиши на что хочешь, хоть пять, десять рублей.

«Эк деньги-то, — подумал я про себя, — как у вас ныне при экономии дешевы», а, однако, записал десять рублей на «Комитет для обсуждения бесполезности некоторых обществ». Что же, и в самом деле это учреждение нужное.

— Благодарю, — говорит, вставая мой приятель, — мне пора в комитет, а если хочешь повидаться, в четверг, в два часа тридцать пять минут, я свободен, но и то, впрочем, в это время мы должны поговорить, о чем мы

будем разговаривать в заседании, а в три четверти третьего у меня собирается уже и самое заседание.

Ну, думаю себе, этакой кипучей деятельности нигде, ни в какой другой стране, на обоих полушариях нет. В целую неделю человек один только раз имет десять минут свободного времени, да выходит, что и тех нет!.. Уж этого приятеля, бог с ним, лучше не беспокоить.

— А когда же ты, — спрашиваю его совсем на пороге, — когда же ты что-нибудь читаешь?

— Когда нам читать! мы ничего, — отвечает, — не читаем, да и зачем?

— Ну, чтобы хоть немножко освежить себя после работы.

— Какое там освежение: в литературе идет только одно бездарное науськиванье на немцев да на поляков. У нас совсем теперь перевелись хорошие писатели.

— Прощай же, — говорю, — голубчик, — и с тем ушел.

Экономия и недосуги этих господ, признаюсь, меня жестоконько покоробили; но, думаю, может быть это только в чиновничестве загостилось старое кривлянье на новый лад. Дай-ка заверну в другие углы; поглазею на литературу: за что так на нее жалуются?

## ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

Пока неделю какую придется еще пробыть в Петербурге, буду читать. В самом деле, за границей всего одну или две газетки видел, а тут их вон сколько!.. Ведь что же нибудь в них написано. Накупил... Ух, боже мой! действительно везде понаписано! Один день почитал, другой почитал, нет, вижу — страшно; за человеческий смысл свой надо поопасаться. Другое бы дело, может быть интересно с кем-нибудь из пишущих лично познакомиться. Обращаюсь с такой просьбою к одному товарищу: познакомьте, говорю, меня с кем-нибудь из них. Но тот при первых моих словах кислую гримасу состроил.

— Не стоит, — говорит, — боже вас сохрани... не советую... Особенно вы человек нездешний, так это даже и небезопасно.

— Какая, — возражаю, — возможна опасность?

— Да денег попросят, — им ведь ни добавочных, ни прибавочных не дают, — они и кучатся.

— Ну?

— Ну, а дал — и пропало, потому это «абсолютной честности» не мешает; а не дашь, — в какой-нибудь газетке отхлещут. Это тоже «абсолютной честности» не мешает. Нет, лучше советую беречься.

— Было бы, — говорю, — еще за что и отхлестать?

— Ну, у нас на этот счет просто: вы вот сегодня при мне нанимали себе в деревню лакея, и он вам, по вашему выражению, «не понравился», а завтра можно напечатать, что вы смотрите на наем себе лакея с другой точки зрения и добиваетесь, чтоб он вам «нравился». Нет, оставьте их лучше в покое; «с ними» у нас порядочные люди нынче не знакомятся.

Я задумался и говорю, что хоть только для курьеза желал бы кого-нибудь из них видеть, чтобы понять, что в них за закал.

— Ах, оставьте пожалуйста; да они все давно сами друг про друга всё высказали; больше знать про них не интересно.

— Однако живут они: не топятся и не стреляются.

— С чего им топиться! Бранят их, ругают, да что такое брань! что это за тяжкая напасть? Про иного дело скажут, а он сам на десятерых наврет еще худшего, — вот и затушевался.

— Ну, напраслина-то ведь может быть и опровергнута.

— Как раз! Один-то раз, конечно, можно, пожалуй, и опровергнуть, а если на вас по всем правилам осады разом целые батальоны, целые полки на вас двинут, ящик Пандоры со всякими скверностями на вас опрокинут, — так от всех уж и не отлаешься. Макиавелли недаром говорил: лги, лги и лги, — что-нибудь прилипнет и останется.

— Но зато, — говорю, — в таких занятиях сам портишься.

— Небольшая в том и потеря; уголь сажею не может замараться.

— Уважение всех честных людей этим теряется.

— Очень оно им нужно!

— Да и сам теряешь возможность к усовершенствованию себя и воспитанию.

— Да полноте, пожалуйста: кто в России о таких пустяках заботится. У нас не тем концом нос пришит, чтобы думать о самосовершенствовании или о суде потомства.

И точно, сколько я потом ни приглядывался, действительно нос у нас не тем концом пришит и не туда его тянет.

## ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

Ходил в театр: давали пьесу, в которой показано народное недоверие к тому, что новая правда воцаряется. Одно действующее лицо говорит, что пока в лежащих над Невою каменных «свинтусах» (сфинксах) живое сердце не встрепенется, до тех пор все будет только для одного вида. Автора жесточайше изругали за эту пьесу. Спрашивал сведущих людей: за что же он изруган? За то, чтобы правды не говорил, отвечают... Какая дивная литература с ложью в идеале!

Познакомился, наконец, случайно в клубе художников с одним поэтом и, возмущенный тем, что слышал, поговорил с ним о правде и честности. Поэт того же мнения, что правда не годится, и даже разъяснял мне, почему правды в литературе говорить не следует; это будто бы потому, что «правда есть меч обоюдоострый» и ею подчас может пользоваться и правительство; честность, говорит, можно признавать только одну «абсолютную», которую может иметь и вор и фальшивый монетчик. Дальше я не хотел и речи вести об этом: взаправду «за человека страшно»! Спрашиваю только уж о самых практических вещах: вот, говорю, к удивлению моему, я вижу у вас под одним изданием подписывается редактор Калатузов... скажите мне, пожалуйста... меня это очень интересует... я знал одного Калатузова в гимназии.

— Этот, здешний, очень он плох, — перебивает меня поэт.

— Редактор-то?

— Да, ах, как безнадежно плох! как котелка

— Скажите, бога ради, и тот, — говорю,— был не боек.

— Ну, все-таки это, верно, не тот. Этот, например, как забрал себе в голову, что в Англии была королева Елисавета, а нынче королева Виктория, так и твердит, что «в Англии женщинам лучше, потому что там королевы

царствуют». Сотрудники хотели его в этом разуверить, — не дается: «вы, говорит, меня подводите на смех». А «абсолютная» честность есть.

— Как же, — говорю, — его редактором-то сделали?

— А что же такое? Для утверждения в редакторстве у нас ведь пока еще в губернском правлении не свидетельствуют. Да и что такое редактор? Редакторы есть всякие. Берем, батюшка, в этом примеры с наших заатлантических братий. А впрочем, и прекрасно: весь вопрос в абсолютной честности: она литературу убивает, но зато злобу-с, злобу и затмение в умах растит и множит.

— Есть же, однако, полагаю, между ними люди, для которых дорога не одна абсолютная честность?

— Как же-с, непременно есть, и вот недалеко ходить. Вон видите, за тем столом сидит пентюх-то, — это известный православист, он меня на днях как-то тут встречает и говорит: «Что ж вы, батюшка, нам-то ничего не даете?» «Удивляюсь, — отвечаю, — что вы меня об этом и спрашиваете».

«А что такое?»

«Да ведь вы меня, — говорю, — в своем издании ругаете». Удивляется: «Когда?» — «Да постоянно, мол». — «Ну, извините, пожалуйста». — «Да вы что ж, этого не читали, что ли?» — «Ну вот, стану, — говорит, — я этим навозом заниматься... Я все с бумагами... сильно было порасстроился и теперь все биржей поглощен... Бог с ними!»

— Это вы изволите говорить: «Бог с ними?»

— Нет, это не я, а он: я бога не беспокою. Я хотел открыть издание в среднем духе, но никакого содействия нет.

— Отчего же?

— Да я по глупости шесть тысяч попросил, и отказали, говорят: денег нет... После узнал, что теперь, чтобы получить что-нибудь, надо миллион просить: тогда дадут. Думаю опять скоро просить.

— Миллион?

— Нет, миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч; так смета выходит.

— На журнал или газету?

— Нет, на особое предприятие. — Поэт встал, зевнул и, протягивая мне руку, добавил:

— На одно предприятие, обещающее впереди миллиард в тумане.

— И что ж, — спрашиваю, удерживая его за руку, — имеете надежду, что дадут вам эти деньги?

— Да, непременно, — говорит, — дадут; у нас все это хорошо обставлено, в национальном русском духе: чухонский граф из Финляндии, два остзейские барона и три жида во главе предприятия, да полторы дюжины полячишек для сплетен. Непременно дадут.

Я заплатил за столом деньги за себя и за поэта — и ушел. Это, кстати, был последний день моего пребывания в Петербурге.

## ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

Москву я проехал наскоро: пробыл только всего один день и посетил двух знакомых... Люди уже солидные — у обоих дети в университете.

Здесь Петербург не чествуют; там, говорят, все искривлялись: «кто с кем согласен и кто о чем спорит — и того не разберешь. Они скоро все провалятся в свою финскую яму».

Давно, я помню, в Москве всё ждут этого петербургского провала и всё еще не теряют надежды, что эта благая радость их совершится.

— А вас, — любопытствую, — бог милует, не боитесь провалиться?

— Ну, мы!.. Петербург, брат, — говорят, — строен миллионами, а Москва — веками. Под нами земля прочная. Там, в Петербурге-то, у вас вон уж, говорят, отцов режут да на матерях женятся, а нас этим не увлечешь: тут у нас и храмы и мощи — это наша святыня, да и в учености наша молодежь своих светильников имеет... предания... Кудрявцева и Грановского чтит. Разумеется, Кудрявцев и Грановский уж того... немножко для нашего времени не годятся... а все ж, если бы наш университет еще того... немножко бы ему хорошей чемерицы в нос, а студенты чтоб от профессоров не зависели, и университет бы наш даже еще кое-куда годился..., а то ни одного уже профессора хорошего не стало.

— Как ни одного?

— Да решительно ни одного: в петербургских газетах их славно за это отжаривают.

Вот тебе и «наши предания» и «наша святыня».

Экой вздор какой! Экая городьба!

Поел у Гурина пресловутой утки с груздями, заболел и еду в деревню; свой губернский город, в котором меня так памятно секли, проезжаю мимо; не останавливаюсь и в уездном и являюсь к себе в Одоленское — Ватажково тож.

И вот они опять — знакомые места,
Где жизнь отцов моих, беспечна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата мелкого и мелкого тиранства!..

Что-то здесь нового, на этих сонных нивах, на этой черноземной пажити?

## ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

Простор и лень, лень и простор! Они опять предо мною во всей своей красе; но кровли крыш покрыты лучше, и мужики в сапогах. Это большая новость, в которой я, впрочем, никогда не отчаивался, веруя, что и мужик знает, что под крепкою крышей безопасней жить и в крепких сапогах ходить удобнее, чем в дырявых лаптях.

Спросил в беседе своего приказчика:

— Поправляются ли мужики?

— Как же, — говорит, — теперь они живут гораздо прежнего превосходнейше.

Хотел даже перекреститься на образ, но, поопасавшись, не придерживается ли мой приказчик нигилистического образа мыслей, воздержался, чтобы сразу себя пред ним не скомпрометировать, и только вздохнул: буди, господи, благословен за сие!

Но как же остальное? Как она, наша интеллигенция?

— Много ли, — спрашиваю, — здесь соседей-помещиков теперь живет и как они хозяйничают?

— Нет, — докладывает, — какие же здесь господа? Господ здесь нет; господа все уехали по земским учреждениям, местов себе стараются в губернии.

— Неужто же все по учреждениям? Этого быть не может!

— Да живут-с, — говорит, — у нас одни господа Локотковы, мелкопоместные.

— Ну так как же, мол, ты мне говоришь, что никого нет? Я даже знаю этого Локоткова. (Это, если вы помните, тот самый мой старый товарищ, что в гимназии француза дразнил и в печки сало кидал.) Ты, — приказываю, — вели-ка мне завтра дрожки заложить: я к нему съезжу.

— Это, — отвечает, — как вам будет угодно; но только они к себе никакого благородного звания не принимают, и у нас их, господина Локоткова, все почитают ни за что.

— Это, мол, что за глупость?

— Точно так-с, — говорит, — как они сами своего звания решившись и ходят в зипуне, и звание свое порочат, и с родительницей своею Аграфеной Ивановной поступают очень неблагородно.

Заинтересовался я знать о Локоткове.

— Расскажи, — говорю, — мне, сделай милость, толком: как же это он так живет?

— Совсем, — отвечает, — вроде мужика живут; в одной избе с работниками.

— И в поле работает?

— Нет-с, в поле они не работают, а все под сараем книжки сочиняют.

— О чем же, мол, те книжки, не знаешь ли?

— Давали-с они нам, да неинтересно: все по крестьянскому сословию, про мужиков... Ничего не верно: крестьяне смеются.

— Ну, а с матерью-то у них что же: нелады, что ли?

— Постоянные нелады: еще шесть дней в неделю ничего, и туда и сюда, только промеж собою ничего не говорят да отворачиваются; а уж в воскресенье непременно и карамболь.

— Да почему же в воскресенье-то карамболь?

— Потому, как у них промеж собой все несогласие выходит в пирогах.

— Ничего, — говорю, — братец мой, не понимаю: как так в пирогах у них несогласие?

— Да барин Локотков, — говорит, — велят матушке, чтоб и им и людям одинаковые пироги печь, а госпожа Аграфена Ивановна говорят: «я этого понять не могу», и заставляют стряпуху, чтоб людские пироги были хуже.

— Ну?

— Ну-с вот из-за этого из-за самого они завсегда и ссорятся; Аграфена Ивановна говорят, что пусть пироги хоть из одного теста, да с отличкою: господские чтоб с гладкой коркой, а работничьи на щипок защипнуть; а барин сердятся и сами придут и перещипывают у загнетки. Они перещипывают, а Аграфена Ивановна после приказывают стряпухе: «станешь сажать, — говорят, — в печку, так людские шесть пирогов на пол урони, чтобы они в сору обвалялись»; а барин за это взыск... Сейчас тут у припечка и ссора... Они и толкнут старуху.

— Это мать-то?

— Точно так-с, ну, а народ ее, Аграфену Ивановну, жалеет, как они при прежнем крепостном звании были для своих людей барыня добрая. Ввечеру барин соберут к избе мужиков и заставляют судить себя с барыней; барыня заплачут: «Ребятушки, — изволят говорить, — я себя не жалевши его воспитывала, чтоб он в полковые пошел да генералом был». А барин говорят: «А я, ребята, говорят, этих глупостей не хочу; я хочу мужиком быть». Ну, мужики, известно, все сейчас на барынину сторону. «С чего, бают, с какого места ты такого захотел? Неш тебе мужиком-то лучше быть?» Барин крикнут: «Лучше! честнее, говорят, ребята, быть мужиком». Мужики плюнут и разойдутся. «Врешь, бают, в генералах честней быть, — мы и сами, говорят, хоть сейчас все согласны в генералы идти». Только всего и суда у них выходит; а стряпуха, просто ни одна стряпуха у них больше недели из-за этого не живет, потому что никак угодить нельзя. Теперь с полгода барин книги сочинять оставили и сами стали пироги печь, только есть их никак нельзя... невкусно... Барин и сами даже это чувствуют, что не умеют, и говорят: «Вот, говорят, ребята, какое мне классическое воспитание дали, что даже против матери я не

могу потрафить». Дьячок Сергей на них даже по этому случаю волостному правлению донос подавал.

— В чем же донос?

— Да насчет их странности. Писал, что господин Локотков сам, говорит, ночью к Каракозову по телеграфу летал.

— Ну?

— Мужики было убить его за это хотели, а начальство этим пренебрегло; даже дьячка Сергея самого за это и послали в монастырь дрова пилить, да и то сказали, что это еще ему милость за то, что он глуп и не знал, что делал. Теперь ведь, сударь, у нас не то как прежде: ничего не разберешь, — добавил, махнув с неудовольствием рукою, приказчик.

— Да дьячок-то ваш, — спрашиваю, — откуда же взял, что по телеграфу летать можно?

— Это, — отвечает мой приказчик, — у них, у духовенства, нынче больше все происходит с отчаянности, так как на них теперь закон вышел, чтоб их сокращать; где два было, говорят, один останется...

— Ну так что же, мол, из этого?

— Так вот они, выходит, теперь друг перед дружкой и хотят все себя один против другого показать.

«Фу, — думаю, — какой вздор мне этот человек рассказывает!» Махнул рукой и отпустил его с богом.

Однако не утерпел, порасспросил еще кое-кого из людей насчет всего этого, и оказалось, что приказчик мой не лжет.

«Ну, — думаю, — чем узнавать через плебс да через десятые руки, пущусь-ка лучше я сам в самое море, окунусь в самую интеллигенцию».

Начинаю с того, что еще уцелело в селах и что здесь репрезентует местную образованность.

## ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ

Отправился с визитом к своему попу. Добрейший Михаил Сидорович, или отец Михаил, — скромнейший человек и запивушка, которого дядя мой, князь Одоленский, скончавшийся в схиме, заставлял когда-то хоронить его

борзых собак и поклоняться золотому тельцу, — уже не живет. Вместо него священствует сын его, отец Иван. Я знал его еще семинаристом, когда он, бывало, приходил во флигель к покойной матушке Христа славить, а теперь он уж лет десять на месте и бородой по самые глаза зарос — настоящий Атта Троль.

Застал его дома за писанием. Увидав меня, он скорее спрятал в стол тетрадку. Поздоровались. Спрашиваю его:

— Как, батюшка, поживаете?

— Что, сударь, Орест Маркович! жизнь наша против прежнего стала, — говорит, — гораздо хуже.

«Вот те и раз, — думаю, — нашелся человек, которому даже хуже кажется».

— Чем же, — пытаю, — вам теперь, отец Иван, хуже?

— Да как ж, сударь, не хуже? в прежнее время, при помещиках, сами изволите помнить, бывало и соломкой, и хлебцем, и всем дворяне не забывали, и крестьян на подмогу в рабочую пору посылывали; а ныне нет того ничего, и народ к нам совсем охладел.

— Народ-то, — говорю, — отчего же охладел? Это в ваших руках — возобновить его теплоту к религии.

— Нет, уж какое же, сударь, возобновление! Прежде он в крепостном звании страдал и был постоянно в нужде и в горести и прибегал в несчастии своем к господу; а теперь, изволите видеть... нынче мужичок идет в церковь только когда захочет...

«Ну, — думаю, — лучше это мимо».

— Между собою, — любопытствую, — как вы теперь, батюшка, живете? — потому что я знал, всегда бывало здесь как и везде: где два причта, там и страшная, бескровная война.

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Только что я коснулся в разговоре с отцом Иваном деликатной истории войны на поповках, мой собеседник так и замахал руками.

— Ужасно, сударь, Орест Маркович, ужасно, — говорит, — мы, духовные, к этому смятению подвержены, о мире всего мира господа умоляем, а самим нам в этом недуге вражды исцеления нет.

Добродушный священник с сокрушением осенил себя крестом и, вздохнув, добавил:

— Думаю, — говорит, — что это не иначе как оттого, что где преизбыточествует благодать, там преобладает и грех.

— А ведь и ссориться-то, — говорю, — кажется, не за что бы?

— Да, совершенно, сударь, часто не за что.

— А все-таки ссоритесь?

— Да ведь как же быть: ссоримся-с и даже люте от сего страждем и оскудеваем.

Я посоветовал, что надо бы, мол, стараться уж как-нибудь ладить.

— Знаете, это так, — говорю, — надо делать: бери всяк в руки метлу да мети *свою улицу* — весь город и очистится. Блюди каждый сам себя, гони от себя смуту, вот она и повсюду исчезнет.

— Нельзя-с, — улыбается отец Иван, — другие товарищи не согласятся.

— Да что вам до товарищей?

— Нет-с; да теперь и время такое-с. Это надо было как-нибудь прежде делать, до сокращения, а теперь уж хоть и грех воровать, но нельзя миновать.

Чтоб отойти от этого вопроса, я только и нашелся, что, мол, хоть промежду себя-то с отцом Маркелом старайтесь ладить — не давайте дурного примера и соблазна темным людям!

— Да ничего, — отвечает отец Иван, — мы между собой стараемся, чтобы ладно... только вот отец Маркел у нас... коллега очень щекотисты...

— Что такое?

— К криминациям они имеют ужасное пристрастие: всё кляузничают ужасно. Впали в некую дружбу с нашим дьяконом Викторычем, а тот давно прокриминациями обязан, и намереваются вдвоем, чтобы как-нибудь меня со второго штата в заштат свести и вдвоем остаться по новому правилу.

— Это, — говорю, — жаль: «ничто добро, ничто красно, а жити, братие, вкупе».

— Какое уж, — отвечает, — «вкупе» жить, Орест Маркович, когда и на своем-то на особом дворе, и то никак не убережешься! Вот как, изволите видеть: я все дома

сижу. Как только пошел разговор про новые правила, что будут нас сокращать, я, опасаясь злых клевет и наветов, все сижу дома, — а по осени вдруг меня и вызывают к преосвященному. Знаете, дело это у нас, по духовному состоянию, столь страшное, что только вспомянешь про всеобжирающую консисторию, так просто лытки трясутся. Изволите знать сами, великий государь Петр Первый в регламенте духовном их наименовал: «оные архиерейские несытые собаки»... Говорить не остается, сударь!.. Семьдесят верст проехал, толконулся к секретарю, чтобы хоть узнать, зачем? «Ничего, говорят, не ведаем: тебя не консистория звала, а сам владыко по секрету вытребовали!» Предстаю со страхом самому владыке, — так и так, говорю, такой-то священник. Они как только услыхали мою фамилию, так и говорят: «А, это ты, такой-сякой, плясун и игрун!»

Я даже, знаете, пред владыкою онемел и устами слова не могу выговорить.

«Никак нет, — говорю, — ваше преосвященство: я жизнь провождаю тихую в доме своем».

«Ты еще противуречишь? Следуй, — говорят, — за мной!»

Привели меня в небольшой покойчик и из полбюра (не могу уж вам объяснить, что такое называлось полбюро) вынимает бумагу.

«Читай, — говорят, — гласно».

Я читаю в предстании здесь секретаря и соборного протодьякона. Пишет, — это вижу по почерку, — коллега мой, отец Маркел, что: «такого-то, говорит, числа, осеннею порою, в позднее сумеречное время, проходя мимо окон священника такого-то, — имя мое тут названо, — невзначай заглянул я в узкий створ между двумя нарочито притворенными ставнями его ярко освещенного окна и заметил сего священника безумно скачущим и пляшущим с неприличными ударениями пятами ног по подряснику».

«Остановись, — говорят его преосвященство, — на сем пункте и объясни, что ты можешь против этого в оправдание свое ответствовать?»

«Что же, — говорю, — владыко святый, все сие истинно».

«Зачем же это, — изволят спрашивать, — ты столь нагло плясал, ударяя пятками?»

«С горя, — говорю, — ваше преосвященство».

«Объяснись!» — изволили приказать.

«Как по недостаточности моего звания, — говорю, — владыко святый, жена моя каждый вечер, по неимению работницы, отправляется для доения коровы в хлев, где хранится навоз, то я, содержа на руках свое малое грудное дитя, плачущее по матери и просящее груди, — как груди дать ему не имею и чем его рассеять, не знаю, — то я, не умея настоящих французских танцев, так с сим младенцем плавно по-жидовски прискакую по комнате и пою ему: «тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота» или что другое в сем роде невинного содержания, дабы оно было утешно от сего, и в том вся вина моя».

Владыка задумались и говорят:

«Хорошо, сие непредосудительно, в сих целях как отец невозбранно танцевать можешь, но читай дальше».

«Другажды, — читаю, пишут отец Маркел, — проходя с дьяконом случайно вечернею порою мимо дома того же священника отца Иоанна, опять видели, как он со всем своим семейством, с женою, племянником и с купно приехавшею к нему на каникулярное время из женской гимназии племянницею, азартно играл в карты, яростно ударяя по столу то кралею, то хлапом, и при сем непозволительно восклицал: «никто больше меня, никто!» Прочитав сие, взглянул я на преосвященного владыку и, не дожидаясь его вопроса, говорю:

«И сие, ваше преосвященство, правда. Точно, — говорю, — однажды, и всего только однажды, играл я по случаю племянницына приезда, но было сие не для ради забавы и празднолюбия, а с философскою целью, в видах указания превосходства Адамова пола пред Евиным полом, а отнюдь не для праздной забавы и утешения».

«Объяснись, — говорит владыко, — и в этом!»

«Было, — говорю, — сие так, что племянница моя, дочь брата моего, что в приказные вышел и служит советником, приехав из губернии, начала обременять понятия моей жены, что якобы наш мужской пол должен в скорости обратиться в ничтожество, а женский над нами

будет властвовать и господствовать; то я ей на это возразил несколько апостольским словом, но как она на то начала, громко хохоча, козлякать и брыкать, книги мои без толку порицая, то я, в книгах нового сочинения достаточной практики по бедности своей не имея, а чувствуя, что стерпеть сию обиду всему мужскому колену не должен, то я, не зная, что на все ее слова ей отвечать, сказал ей: «Буде ты столь превосходно умна, то скажи, говорю, мне такое поучение, чтоб я признал тебя в чем-нибудь наученною»; но тут, владыко, и жена моя, хотя она всегда до сего часа была женщина богобоязненная и ко мне почтительная, но вдруг тоже к сей племяннице за женский пол присоединилась, и зачали вдвоем столь громко цокотать, как две сороки, «что вас, говорят, больше нашего учат, а мы вас все-таки как захотим, так обманываем», то я, преосвященный владыко, дабы унять им оное обуявшее их бессмыслие, потеряв спокойствие, воскликнул:

«Стой, — говорю, — стой, ни одна не смей больше ни слова говорить! Этого я не могу! Давайте, — говорю, — на том самом спорить, на чем мы все поровну учены, и увидим, кто из нас совершеннее? Есть, — говорю, — у нас карты?»

Жена говорит: есть.

«Давай, — говорю, — сюда карты».

Жена подала карты.

Говорю:

«Сдавай в дураки!»

Сдали. Я и жену и племянницу ученую кряду по три раза дураками и оставил. Довольно, говорю, с вас, но видя, что они и сим еще мало в неправоте своего спора убедились, говорю:

«Сдавай в короли!»

Сдали в короли. Я вышел королем, сынишку — виноват, ваше преосвященство, сынишку тоже для сего диспута с собою посадил, — его в принцы вывел, а жену в мужики. Вот, говорю, твое место; а племянницу солдатом оставил, — а это, мол, тебе и есть твоя настоящая должность.

«Вот, — говорю, — ваше преосвященство, истинно докладываю я, едино с сею философскою целью в карты играл и нимало себя и мужской пол не уронил».

Владыка рассмеялись. «Ступай, — говорят, — игрун и танцун, на свое место», а отцу Маркелу с дьяконом нос и утерли... но я сим недоволен...

— Помилуйте, — говорю, —да чего же вам еще?

— Как чего? Ах, нет, Орест Маркович, так нельзя: ведь они вон, и дьякон и отец Маркел, по сие время ходят, и отец Маркел все вздыхает на небо.

— Так что же вам до этого?

— Ах, как вы это располагаете: это они прокриминацию затевают... Нет, пока эти новые права взойдут, тут еще много греха будет!

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Встречаю на другой день в березовой рощице отца дьякона; сидит и колесные втулки сверлит.

— Вы, — говорю, — отец дьякон, как поживаете?

— Ничего, — говорит, — Орест Маркович; живем преестественно в своем виде. Я в настоящее время нынче все овцами занимаюсь.

— А! а! скажите,— говорю, — пожалуй, торговать пустились?

— Да-с, овцами, и вот тоже колеса делаю и пчел завел.

— И что же, — говорю, — счастливо вам ведется?

— Да как вам доложить: торгую понемножку. Нельзя: время такое пришло, что одним нынче духовенству ничем заниматься нельзя. Нас ведь, дьяконов-то, слыхали?.. нас скоро уничтожат. У нас тут по соседству поливановский дьякон на шасе постоялый двор снял, — чудесно ему идет, а у меня капиталу нет: пока кой-чем берусь, а впереди никто как бог. В прошлом году до сорока штук овец было продал, да вот бог этим несчастьем посетил.

— Каким, — говорю, — несчастьем?

— Да как же-с? разве не изволили слышать? ведь мы всё просудили с отцом Маркелом.

— Да, да, — говорю, — слышал; рассказывал мне отец Иван.

— Да мы, — говорит, — с ним, с отцом Иваном, тут немного поссорились, и им чрез нас вдобавок того ни-

чего и не было насчет их плясоты, а ведь они вон небось вам не рассказали, что с ними с самими-то от того произошло?

— Нет, мол, не говорил.

— Они ведь у нас к нынешнему времени не от своего дела совсем рассудок потеряли. Как с племянницею они раз насчет бабьего над нами преимущества поспорили, так с тех пор всё о направлении умов только и помышляют. Проповеди о посте или о молитве говорить они уже не могут, а всё выйдут к аналою, да экспромту о лягушке: «как, говорят, ныне некие глаголемые анатомы в светских книгах о душе лжесвидетельствуют по рассечению лягушки», или «сколь дерзновенно, говорят, ныне некие лжеанатомы по усеченному и электрическою искрою припаленному кошачьему хвосту полагают о жизни»... а прихожане этим смущались, что в церкви, говорят, сказывает он негожие речи про припаленный кошкин хвост и лягушку; и дошло это вскоре до благочинного; и отцу Ивану экспромту теперь говорить запрещено иначе как по тетрадке, с пропуском благочинного; а они что ни начнут сочинять, — всё опять мимовольно или от лягушки, или — что уже совсем не идуще — от кошкина хвоста пишут и, главное, всё понапрасну, потому что говорить им этого ничего никогда не позволят. Вы у них изволили быть?

— Был.

— И непременно за писанием их застали?

— Кажется, — говорю, — он точно что-то писал и спрятал.

— Спрятал! — быстро воскликнул дьякон, — ну так поздравляю же вас, сударь... Это он опять расчал запрещенную проповедь.

— Да почему же вы так уверены, что он непременно запрещенную проповедь пишет?

— Да потому, что и о лягушке, и о кошкином хвосте, и о женском правиле им это все запрещено, а они уж не свободомысленны и от другого теперь не исходят.

— Отец Маркел же, — любопытствую, — свободнее?

Дьякон крякнул и рукой махнул.

— Тоже, — говорит, — сударь, и они сильно попутаны; но только тот ведь у нас ко всему этому воитель на враги одоления продерзостью возмогает.

— Вот как?

— Как же-с! Они, отец Маркел, видя, что отцу Ивану ничего по их доносу не вышло ни за плясание, ни за карты, впали в ужасную гневность и после, раз за разом, еще сорок три бумаги на него написали. «Мне, твердят, уж теперь все равно; если ему ничего не досталось, так и я ничего не боюсь. Я только, говорят, дороги не знаю, а то я бы плюнул на всех и сам к Гарибальди пошел». Мне даже жаль их стало, потому ничего не успевает, а наипаче молва бывает. Я говорю: «Отец Маркел, бросьте все это: видите, говорю, что ничего уже от него при нынешнем начальстве не позаимствуешь». Не слушает. Я матушку их, супругу, Марфу Тихоновну, начал просить. «Матушка, говорю, вы уговорите своего отца Маркела, чтоб он бросил и помирился, потому как у нас по торговой части судбище считается всего хуже, а лучше всего мир». Матушка сразу со мной согласились, но говорят: «Ох, дьякон, молчи: он просто вроде как бы в исступлении ума». Стоим этак с нею за углом да разговариваем, а отец Маркел и вот он.

«Что, — говорит, — все тут небось про меня злословите?»

Матушка говорит: «Маркел Семеныч, ты лучше послушай-ка, что дьякон-то как складно для тебя говорит: помирись ты с отцом Иваном!» А отец Маркел как заскачет на месте: «Знаю, говорит, я вас, знаю, что вы за люди с дьяконом-то». И что же вы, сударь, после сего можете себе представить? Вдруг, сударь мой, вызывает меня через три дня попадья, Марфа Тихоновна, через мою жену на огород.

«Ох, дьякон, — говорит, — ведь нам с тобой плохо!»

«Что, мол, чем плохо?»

«Да ведь мой отец Маркел-то на нас с тобой третьего дня репорт послал».

Так, знаете, меня варом и обварило...

«Как так репорт? В каком смысле?»

«А вот поди же! — говорит. — Как мы с тобой онамедни за углом стояли, он после того целую ночь меня мучил: говори, пристает, жена, как дьякон тебе говорил: чем можно попа Ивана изнять?»

«Ничем, — говорю, — его изнять нельзя!»

«А! ничем! ничем! — говорит, — это я знаю: это тебя дьякон научил. Ты теперь, — говорит, — презрев закон и религию, идешь против мужа». И так меня тут таким словом обидел, что я тебе и сказать не могу.

«Матушка, да это что же, мол, такое несообразное?»

«Нет, а ты, — говорит, — еще подожди что будет?» И потом он целый день все со мной воевал и после обеда и, слава богу, заснул, а я, плачучи, вынула из сундука кусочек холстинки, что с похорон дали, да и стала ему исподние шить; а он вдруг как вскочит. «Стой, говорит, злодейка! что ты это делаешь?» — «Тебе, говорю, Маркел Семеныч, исподние шью». — «Врешь, говорит, ты это не мне шьешь, а ты это дьякону».

Ну, разумеется, попадья — женщина престарелая — заплакала и подумала себе такую женскую мысль, что дай, мол, я ему докажу, что я это *ему* шью, а не дьякону, и взяла красной бумаги и начала на тех исподних литеры *веди* метить, а он, отец Маркел, подкрался, да за руку ее хап.

«А! — говорит, — вот когда я тебя поймал! Что ты тут выводишь?»

«Твое имено выставляю, «*веди*», — говорит попадья.

«А что такое, — говорит, — обозначает это *веди?*»

Попадья говорит, что обозначает его фамилию: «Веденятин», а он говорит: «Врешь, это *веди* значит Викторыч, дьякон, и я, говорит, об этом рапорт донесу». Сел ночью и написал.

Я даже не воздержался при этих словах дьякона и воскликнул:

— Фу, какая глупость!

— Нет-с, вы еще насчет глупости подождите, — останавливает рассказчик, — почему же это *веди* означает что «Викторыч», когда имя мое *Еремей*, а фамилия *Козявкин*? Ведь это с их стороны ничего более как одна глупая забывчивость, что сколько лет со мною священнодействуют, а не знают, как их дьякона зовут! А между тем как вы, сударь, полагаете? — воскликнул дьякон, становясь в наполеоновскую позицию, — что из того воспоследовало? На третий день благочинный приехал, уговаривал отца Маркела, что, мол, по вашему сану, хоша бы и точно такое дело было, так его нельзя оглашать, потому что за это вы сана лишитесь. Но отец Маркел:

«Пускай, говорят, я лучше всего решусь, а этого так не пожертвую». Позвали нас в консисторию. Отец Маркел говорит: «Я ничего не боюсь и поличное с собою повезу», и повезли то бельишко с собою; но все это дело сочтено за глупость, и отец Маркел хоша отослан в монастырь на дьячевскую обязанность, но очень в надежде, что хотя они генерала Гарибальди и напрасно дожидались, но зато теперь скоро, говорит, граф Бисмарков из Петербурга адъютанта пришлет и настоящих русских всех выгонит в Ташкент баранов стричь... Ну пусть, но ведь это еще, может, пока один разговор такой... А я страждую и всего уже больше как на тридцать овец пострадовал. А за что? За соседскую глупость, а меж тем, если этак долго эти приходы не разверстаются у нас, всё будут идти прокриминации, и когда меня в настоящем виде сократят, мне по торговой части тогда уж и починать будет не с чем. Вот что, Орест Маркович, духовное лицо у нас теперь в смущение приводит.

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Так помаленьку устраиваясь и поучаясь, сижу я однажды пред вечером у себя дома и вижу, что ко мне на двор въехала пара лошадей в небольшом тарантасике, и из него выходит очень небольшой человечек, совсем похожий с виду на художника: матовый, бледный брюнетик, с длинными, черными, прямыми волосами, с бородкой и с подвязанными черною косынкой ушами. Походка легкая и осторожная: совсем петербургская золотуха и мозоли, а глаза серые, большие, очень добрые и располагающие.

Подойдя к открытому окну, у которого я стоял, гость очень развязно поклонился и несколько меланхолическим голосом говорит:

— Я не из самых приятных посетителей; ваш становой Васильев, честь имею рекомендоваться, — и с этим направляется на крыльцо, а я встречаю его на пороге.

Должен вам сказать, что я питаю большое доверие к первым впечатлениям, и этот золотушный становой не-

обыкновенно понравился мне, как только я на него взглянул. Я всегда видал становых сытых, румяных, даже красных, мешковатых, нескладных и резких, а таких, как этот, мне никогда и в ум не приходило себе представить.

— Рад, — говорю, — очень с вами познакомиться, — и, поверьте, действительно был рад. Такой мягкий человек, что хоть его к больной ране прикладывай, и особенно мне в нем понравилось, что хотя он с вида и похож на художника, но нет в нем ни этой семинарской застенчивости, ни маркерской развязности и вообще ничего лакейского, без чего художник у нас редко обходится. Это просто входит бедный джентльмен, — в своем роде олицетворение благородной и спокойной гордости и нищеты рыцаря Ламанчского.

— Благодарю за доброе слово, — отвечает он тихо и кротко на мое приветствие и, входя, добавляет: — Впрочем, я, по счастию, действительно привез вам такие вести, что они стоят доброго слова, — и с этим дает мне бумагу, а сам прямо отходит к шкафу с книгами и начинает читать титулы переплетов.

Я пробежал бумагу и вижу, что предводитель дворянства нашей губернии, в уважение долгого моего пребывания за границей и приобретенных там познаний по части сельского благоустройства, просит меня принять на себя труд приготовить к предстоящему собранию земства соображения насчет возможно лучшего устройства врачебной части в селениях.

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Как я кончил читать, становой ко мне оборачивается и говорит:

— А что, я ведь прав: вам, конечно, будет приятно для бедного человечества поработать.

Я отвечаю, что он-то прав и что я действительно с удовольствием возьмусь за поручаемое мне дело и сделаю все, что в силах, но только жалею, что очень мало знаю условия теперешнего сельского быта в России, и добавил, что большой пользы надо бы ожидать лишь от

таких людей, как он и другие, на глазах которых начались и совершаются все нынешние реформы.

— И, полноте! — отвечает становой, — да у меня-то о таких практических делах вовсе и соображения нет. Я вот больше все по этой части, — и он кивнул рукой на шкаф с книгами.

Нам подали чай, и мы сели за стол.

— Вам, — начинает становой, — можно очень позавидовать: вы, кажется, совсем определились.

Я посмотрел на него вопросительно. Он понял мое недоумение и сейчас объяснил:

— Я это сужу по вашим книгам, — у вас все более книги исторические.

— Это, — отвечаю, — книги подбора моего покойного дяди, а вы меня застали вот за «Душою животных» Вундта, — и показываю ему книгу.

— Не читал, — говорит, — да и не желаю. Господин Вундт очень односторонний мыслитель. Я читал «Тело и душа» Ульрици. Это гораздо лучше. Признавать душу у всех тварей это еще не бог весть какое свободомыслие, да и вовсе не ново. Преосвященный Иннокентий ведь тоже не отвергал души животных. Я слышал, что он об этом даже писал бывшему киевскому ректору Максимовичу, но что нам еще пока до душ животных, когда мы своей души не понимаем? Согласитесь — это важнее.

Я согласился, что стремление постичь свою душу очень важно.

— Очень рад, что вы так думаете, — отвечал становой, — а у нас этим важнейшим делом в жизни преступно пренебрегают. А кричат: «наш век! наш век!» Скажите же пожалуйста, в чем же превосходство этого века пред веками Платона, Сократа, Сенеки, Плутарха, Канта и Гегеля? Что тогда стремились понять, за то теперь даже взяться не знают. Это ли прогресс!.. Нет-с: это регресс, и это еще Гавриилом Романовичем Державиным замечено и сказано в его оде «На счастие», что уж человечество теряет умственный устой: «Повисли в воздухе мартышки, и весь свет стал полосатый шут». Я понимаю прогресс по Спенсеру, то есть прогресс вижу в наисовершеннейшем раскрытии наших способностей; но этот «наш век» какие же раскрыл способности? Одни

самые грубые. У нас тут доктор есть в городе, Алексей Иванович Отрожденский, прекрасный человек, честный и сведущий, — вам с ним даже не худо будет посоветоваться насчет врачебной части в селениях, — но ужасно грубый материалист. Даже странно: он знает, конечно, что в течение семи лет все материальное существо человека израсходывается и заменяется, а не может убедить себя в необходимости признать в человеке независимое начало, сохраняющее нам тождественность нашего сознания во всю жизнь. Какое отупение смысла! Это даже обидно, и мне очень неприятно. Я здоровья, видите, не богатырского и впечатлителен и от всех этаких вещей страдаю, а здесь особенно много охотников издеваться над вопросами духовного мира. Это, по-моему, не что иное, как невежество, распространяемое просвещением, и я оправдываю Льва Николаича Толстого, что он назвал печать «орудием невежества». По крайней мере по отношению к знаменитому «нашему веку» это очень верно. Предания и внутренний голос души ничего подобного не распространяют.

«Вот, — думаю, — какая птица ко мне залетела!»

— Вас, — говорю, — кажется, занимают философские вопросы.

— Да, немножко, сколько необходимо и сколько могу им отдать при моей службе; да и согласитесь, как ими не интересоваться: здесь живем минуту, а *там* вечность впереди нас и вечность позади нас, и что такое мы в этой экономии? Неужто ничто? Но тогда зачем же все хлопоты о правах, о справедливости? Зачем даже эти сегодняшние хлопоты об устройстве врачебной помощи? Тогда все вздор, nihil.[1] Не все ли равно, так ли пропадут эфемериды или иначе? Минутой раньше или минутой позже, не все ли это равно? Родительское чувство или гуманность... Да и они ничтожны!.. Если дети наши мошки и жизнь их есть жизнь мошек или еще того менее, так о чем хлопотать? Родилось, умерло и пропало; а если все сразу умрут, и еще лучше, — и совсем не о чем будет хлопотать. А уж что касается до иных забот — о правах, о справедливости, о возмездии, об отмщении притесните-

[1] Ничто *(лат.)*.

лям и обо всем, о чем теперь все говорят и пишут, так это уж просто сумасшествие: стремиться к идеалам для того, что само в себе есть nihil!.. Я не понимаю такого идеализма при сознании своей случайности.

Позвольте, да что же это за становой!

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Я крайне заинтересовался моим гостем и говорю ему, что любопытствую знать, какого мнения держится он об этом сам?

— Я вам на это, — говорит, — могу смело отвечать: я держусь самого простого мнения и, как мне и очень многим кажется, самого ясного: в экономии природы ничто не исчезает, никакая гадость; за что же должно исчезнуть одно самое лучшее: начало, воодушевлявшее человека и двигавшее его разум и волю? Этого не может быть! Разумеется, утверждают, что все это не материя, а функция; я, однако, этого мнения не разделяю и стою за самостоятельное начало душевных явлений. Конечно, об этом теперь идут и почти всегда шли бесконечные споры, но меня это не смущает: во-первых, истинные ученые за нас... Вон уж и Лудвиг в «Lehrbuch der Physiologie»[1] прямо сознает, что в каждом ощущении, кроме того, что в нем может быть объяснено раздражением нервов, есть *нечто* особенное, от нерв независимое, а душой-то все эти вопросы постигаются ясно и укладываются в ней безмятежно. Отрожденский все упирает на то, что даже и самому строителю мира места будто бы нигде нет; а я ему возражаю, что мы и о местах ничего не знаем, и указываю на книжку Фламмариона «Многочисленность обитаемых миров», но он не хочет ее читать, а только бранится и говорит: «Это спиритские бредни». Но какие же спиритские бредни, когда ведь он сам этой книги не читал и даже не знает, что Фламмарион профессор астрономии? Вот таким образом с ним совсем спорить и невозможно.

— Вы метафизик?

---

[1] «Учебник физиологии» *(нем.)*.

— Нет, я в вопросах этого рода редко иду путем умозаключений, хотя и люблю искусную и ловкую игру этим орудием, как, например, у Лаврентия Стерна, которого у нас, впрочем, невежды считают своим братом скотом, между тем как он в своем «Коране» приводит очень усердно и тончайшие фибры Левенхука, и песчинку, покрывающую сто двадцать пять орифисов, через которые мы дышим, и другое многое множество современных ему открытий в доказательство, что вещи и явления, которых мы не можем постигать нашим рассудком, вовсе не невозможны от этого, — но все это в сторону. Я признаю священные тайны завета и не подвергаю их бесплодной критике. К чему, когда инструмент наш плох и не берет этого? Нет, постижение сверхъестественного и духовного метафизическим методом, по-моему, не приносит никакого утешения и только сбивает. Разве иногда в шутку с Отрожденским, когда он издевается над вечностью и отвергает все неисследимое на том основании, что все сущее будто бы уже исследовано в своих явлениях и причинах, ну тогда я, шутя, дозволяю себе употребить нечто вроде метафизического метода таким образом, что спросишь: известно ли ученым, отчего кошки слепыми рождаются? отчего конь коню в одном месте друг друга чешут? отчего голубь в полночь воркует? «Неизвестно!..» Но, говорит, — «это вздор!» Как вздор? Вот уж сейчас отсюда прямо и пойдет несостоятельность и посылки на то, что еще «откроют». Дай бог, конечно, открытий, я их жарко желаю, — не по своей, разумеется, должности, — но все, что ученые откроют, то все в нашу пользу, а не в пользу материалистов. Вон материалисты невесть как радовались работам над мозгами, а что вышло? Открыто, что мозг свиньи и дельфина очень развит, а собака ведь умнее их, хоть мозг ее развит и хуже. Вот вам и доказали!

Становой добродушно засмеялся.

— Вы, — любопытствую, — в духовной академии воспитывались или в университете?

— Нет, я так, кое в каком французском пансионишке учился: в казенное заведение, по тогдашним правилам, я не мог попасть, потому что Васильев, как я называюсь, — это ведь не настоящая, то есть не родовая моя фамилия. Моя покойница матушка была швейцарка...

девица... очень бедная... в экономках служила у одного русского помещика. Отца своего я не знал... я... понимаете, только сын своей матери, и Васильевым называюсь по крестному отцу. Сам я, однако, русский, а в чины произошел таким образом, что в Харьковском университете экзамен на уездного учителя выдержал; но матушка пожелала, чтоб я вышел из учителей и пошел в чиновники. Находила, что это благороднее; может быть, заблуждалась; ну, это ей так было угодно, — я исполнил ее волю; а теперь уж и она скончалась, а я все служу. Боюсь, чтоб ей не было неприятно, что я как будто ждал ее кончины. Да и зачем менять?

— Но насколько, — говорю, — смею позволить себе судить о вас по нашему мимолетному знакомству и по вашим искренним словам, — вам, вероятно, учительские занятия были бы гораздо сроднее, чем обязанности полицейской службы?

— Ах, полноте: не все ли это равно, на каком стуле ни посидеть в чужой гостиной? Не оглянешься, как праотцы отсюда домой позовут. Нет, это мне совершенно все равно: на умеренные мои потребности жалованья мне достает; я даже и роскошь себе позволяю, фортепиано имею; а служба самая легкая: все только исполняю то, что велено, а своею совестью, своим разумом и волей ни на волос ничего не делаю... Как хотите, эти выгоды чего-нибудь да стоят; я совершенно безответствен! Знаете, summa jus summa injuria — высочайшее право есть высочайшее бесправие. Вот если б у меня была такая ужасная должность, как, например, прокурорская, где надо людей обвинять, — ну, это, разумеется, было бы мне нестерпимо, и я бы страдал и терзался; но теперь я совершенно доволен моим положением и счастлив.

— Но жаль, — замечаю, — что вы себе, например, не усвоили адвокатуры. Вы могли бы принести много добра.

— Ах, нет, пожалуйста, не жалейте! Да и какое там возможно добро? Одного выручай, другого топи. Нет, это тоже не по мне, и я благодарю бога, что я на своем месте.

— Да уж судьей даже, и то, — настаиваю, — вы были бы более на месте.

— Нет, боже меня сохрани: что здесь за правда, на этой планете, и особенно юридическая правда, которая и на наши-то несовершенные понятия совсем не правда, а часто одно поношение правды! Да иначе и быть не может. Юридическая правда идет *под чертою* закона несовершенного, а правда нравственная выше всякой черты в мире. Я ведь, если откровенно говорить, я до сих пор себе не решил: преступление ли породило закон или закон породил преступление? А когда мысленно делаю себя чьим-нибудь судьей, то я, в здравом уме, думаю, как король Лир думал в своем помешательстве: стоит только вникнуть в историю преступлений и видишь: «нет виноватых». Я знаю, что это противно — не законам гражданским, — нет, я об этом вздоре не говорю, но это противно положениям, вытекающим из понятия о самостоятельности душевных явлений. Вот тут и начинается мой разлад и неопределенность, потому что я все-таки чувствую, что «нет виноватых», а это несовместимо. Отрожденский уверяет меня, что я сумасшедший. Он видит вопиющую несообразность в том, что я, допуская свободную волю, не оправдываю убийства и мщения, и клянется, что меня за мои несообразности когда-нибудь в желтый дом посадят. Но скажите, бога ради, разве меньшая несообразность утверждать, что у человека нет свободной воли, что он зависит от молекул и от нервных узлов, и в то же самое время мстить ему за то, что он думает или поступает так, а не этак? Ведь это верх несправедливости! Нет, я убежден, что мстить и убивать человека не следует ни обыкновенным людям, ни правителям. Никто не виноват — «нет виноватых»! Если все дело в наших молекулах и нервах, то люди ни в чем не виноваты, а если душевные движения их независимы, то «правители всегда впору своему народу», как сказал Монтескье; потом ведь... что же такое и сами правители? Что тут серьезного, и с кем из них стоит считаться? Все это такое nihil, такое *ничто*... Один крошечку получше, другой крошечку похуже: не все ли это равно тому, кто совсем нигилист и кто *не гилист?* Это может озабочивать одну мелочь: газетчиков, журналистов и другой подобный им мелкий люд, но не настоящего человека, постигающего свое призвание. Другое дело, если бы могло идти

дело о чем-нибудь таком, чем бы достигалась общая правда...

— А вы надеетесь, что она достижима?

— Еще бы! Непременно-с достижима.

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Становой улыбнулся, вздохнул и, помолчав, тихо проговорил в раздумье:

— Одна минута малейшего сомнения в этом была бы минута непростительной, малодушной трусости.

— А как близка эта минута? Когда вы ожидаете видеть царство всеобщей правды?

Становой снова улыбнулся, беззаботно и бодро крякнув, отвечал, что год тому назад ему лучшие врачи в Петербурге сказали, что он больше двух лет не проживет.

— Ну, допустите, — говорит, — что эти ученые люди при нынешней точности их основательной науки лет на десять ошиблись, а все-таки мне, значит, недалеко до интересного дня.

— То есть вы интересным днем считаете день смерти?

— Да, когда отворится дверь в другую комнату. Аполлон Николаевич Майков с поэтическим прозорливством подметил это любопытство у Сенеки в его разговоре с Луканом в «Трех смертях»! Согласитесь, что это самый интереснейший момент в человеческой жизни. Вот я сижу у вас, и очень весело обо всем мы рассуждаем, а ведь я не знаю, есть ли у вас кто там, за этой запертою дверью, или никого нет? А между тем всякий шорох оттуда меня... если не тревожит, то интересует: кто там такой? что он делает? А сердиться на то, что вы мне этого не сообщаете, — я не смею: вы хозяин, вы имеете право сказать мне об этом и имеете право не сказать. Это так; но раз что я заподозрил, что там кто-то есть, я все-таки должен лучше предполагать, что там хорошее общество. Я обязан так думать из уважения к хозяину, и вот я стараюсь быть достойным этого общества, я усиливаюсь держать себя порядочно, вести разговор, не оскорбляющий развитого чувства. Проходит некоторое время, и вдруг вы, по тем или другим соображениям, отворите

двери и попросите меня перейти в то общество... мне ничего; мне не стыдно, и меня оттуда не выгонят. А держи я себя здесь сорванцом и негодяем, мне туда или от стыда нельзя будет взойти, или просто меня даже не пустят.

— А если там никого и ничего нет, в той комнате?

— Что ж такое? Если и так, то разве мне хуже оттого, что я вел себя крошечку получше? Я и тогда все-таки не в потере. Поверьте, что самое маленькое усовершенствование есть в сущности очень большое приобретение и доставляет изящнейшее наслаждение. Я ведь отрицаю значение так называемых великих успехов цивилизации: учреждения, законы — это все только обуздывает зло, а добра создать не может ни один гений; эта планета исправительный дом, и ее условия неудобны для общего благоденствия. Человек тут легко обозливается и легко падает. Вот на этот-то счет и велико учение церкви о благодати, которая в церковном единении восполняет оскудевающих и регулирует вселенскую правду.

— Скажите, — говорю, — бога ради: зачем же вы, при таком вашем воззрении на все, не ищете места священника?

— Это уж не вы одни мне говорите, но ведь все это так только кажется, а на самом деле я, видите, никак еще для себя не определюсь в самых важных вопросах; у меня все мешается то одно, то другое... Отрожденский — тот материалист, о котором я вам говорил, — потешается над этими моими затруднениями определить себя и предсказывает, что я определю себя в сумасшедший дом; но это опять хорошо так, в шутку, говорить, а на самом деле определиться ужасно трудно, а для меня даже, кажется, будет и совсем невозможно; но чтобы быть честным и последовательным, я уж, разумеется, должен идти, пока дальше нельзя будет.

— В чем же, — говорю, — ваши затруднения? Может быть, это что-нибудь такое, что, при известных стараниях, при известных усилиях, могло бы быть улажено?

— Нет, благодарю вас; это дело здесь, в России, уже неисправимое: я сам виноват, я был неосторожен или, если вы хотите, доверчив — и попался. Позвольте — я вам это расскажу?

— Ах, пожалуйста!

— Извольте, случай прекурьезный.

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

— Я был очень рад, — начал становой, — что родился римским католиком; в такой стране, как Россия, которую принято называть самою веротерпимою и по неотразимым побуждениям искать соединения с независимейшею церковью, я уже был и лютеранином, и реформатом, и вообще три раза перешел из одного христианского исповедания в другое, и все благополучно; но два года тому назад я принял православие, и вот в этом собственно моя история. Мне оно очень нравилось, но особенно в этом случае на меня имели очень большое влияние неодобренные сочинения Иннокентия и запрещенные богословские сочинения Хомякова, написанные, впрочем, в строго православном духе. Это могущественная пропаганда в пользу православия. Я убедился из второго тома этих сочинений в чистоте и многих превосходствах восточного православия, а особенно в его прекрасном устранении государства в деле веры. Пленясь этим, я с свободнейшею совестью перешел в православие; но... оказывается, что этой веры я уже переменить не могу.

— Конечно, — говорю, — не можете. А вы этого не знали?

— Представьте, этого-то я и не знал; а то, разумеется, я подождал бы.

— То есть, чего же вы подождали бы?

— Испытал бы прежде еще некоторые другие вероисповедания, которые можно переменить, а православие оставил бы на самый послед.

— Да зачем же, — спрашиваю, — это вам нужно менять его? Разве вы разочаровались и в убедительности слов Иннокентия и Хомякова и в чистоте самого православия?

— Нет, не разочаровался нисколько ни в чем, но меня смутило, что православия нельзя переменить. Сознание этой несвободности меня лишает спокойствия совести. Самостоятельность моя этим подавлена и возмущается. Я подал просьбу, чтоб мне позволили выйти, а если не позволят, то думаю уйти в Турцию, где христианские исповедания не имеют протекции и оттого в известном отношении свободнее и ближе к духу Христова учения.

Жду с нетерпением ответа, а теперь прощайте и извините меня, что я отнял у вас много времени.

Я было просил его поужинать и переночевать, но становой от этого решительно отказался и сказал, что он должен еще поспешить в соседнюю деревню для продажи «крестьянских излишков» на взыскание недоимки.

— Какие же вы у них находите «излишки»? — спрашиваю его на пороге.

— А какие у них могут быть излишки? Никаких. Продаем и ложку и плошку, овцу, корову — все, кроме лошадей и сох.

— И что же, вы производите это, не смущаясь совестью и без борьбы?

— Ну, как вам сказать, операция самая неприятная, потому что тут и детский плач, и женский вой, и тяжелые мужичьи вздохи... одним словом, все, что описано у Беранже: «вставай, брат, — пора, подать в деревне сбирают с утра»... Очень тяжело; но ведь во всяком случае видеть эти страдания и скорбеть о своем бессилии отвратить их все-таки легче, чем быть их инициатором. Мои обязанности все-таки всех легче: я машина, да-с, я ничто другое, как последняя спица в колеснице: с меня за это не взыщется, а тем, кто эти денежки тянет да транжирит без толку... Ох, я скорблю за них; а впрочем, все равно: везде непонимание — «нет виноватых, нет виноватых», да, может быть, нет и правых.

На сих словах мы расстались с этим антиком, и он уехал.

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Становой Васильев довольно долго не шел у меня из головы, и я даже во сне не раз видал его священником в ризе, а в его фуражечке с кокардой — отца Маркела, ожидавшего себе в помощь генерала Гарибальди из Петербурга. Впрочем, я и въявь был того убеждения, что им очень удобно было бы поменяться местами, если бы только не мешало становому смущавшее его недозволение переменить православную веру, которую он собственно и не имел нужды переменять. Но вопрос об устройстве врачебной части в селениях занимал меня еще более и вытеснил на время из моей головы и ссоры

нашей поповки и религиозно-философские сомнения моего приходского станового. Я никогда ничем дельным не послужил земле своей и потому при этом случае, представлявшемся мне порадеть в ее пользу, взялся за дело с энергией, какой даже не предполагал в себе.

Я принялся писать. Пока я излагал историческое развитие этого дела в чужих краях, все у меня шло как по маслу; но как только я написал: «обращаемся теперь к России» — все стало в пень и не движется.

С великими натугами скомпилировал я кое-как, по официальным источникам, то, что разновременно предполагалось и установлялось для народного здравия; но чувствую, что все это сухо и что в исполнении, как и в неисполнении всех этих предначертаний и указов, везде или непроглядная тьма, или злая ирония... Выходит, что все это никуда не годилось, кроме как на смех... А что здесь гоже? что приимчиво? что в этом роде может принести добрый плод на нашей почве?.. Просто отчаяние! Чем больше думаю, тем громаднее вырастают и громоздятся предо мною самые ужасные опасения насмешек жизни. Комическая вещь, в самом деле, если и в настоящем случае с народом повторится комедия, которую господа врачи разыгрывают с больными нищими, назначая им лафит к столу и катанье пред обедом в покойной коляске!.. А с другой стороны, что же и присоветуешь, когда лафит и коляска нужны? Говорят: главное дело гигиена; но бога ради: какая же такая гигиена слыхана в русской избе?.. А между тем до собраний, в которые я должен явиться, остается уже недалеко, и надо будет представить дело в обстоятельном изложении, с обдуманными предположениями. Что же предполагать и что планировать? Просто до некоторого отчаяния дошел я и впал в такую нервическую раздражительность, что на себя управы никакой не находил.

Думал, думал и видя, что ничего не выдумаю, решил себе съездить в свой уездный город и повидаться с тем материалистом-врачом Отрожденским, о котором мне говорил и с которым даже советовал повидаться становой Васильев. Сказано-сделано: приезжаю в городишко, остановился на постоялом дворе и, чтобы иметь предлог познакомиться с доктором не совсем официальным путем, посылаю просить его к себе как больной врача.

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

Человек пошел и через минуту возвращается.

— Лекарь, — говорит, — не пошли-с.

— Как, — спрашиваю, — отчего он не пошел?

— Начали, — говорит, — расспрашивать: «Умирает твой барин или нет?» Я говорю: «Нет, слава богу, не умирает». — «И на ногах, может быть, ходит?» — «На чем же им, отвечаю, и ходить, как не на ногах». Доктор меня и поругал: «Не остри, — изволили сказать, — потому что от этого умнее не будешь, а отправляйся к своему барину и скажи, что я к нему не пойду, потому что у кого ноги здоровы, тот сам может к лекарю прийти».

Выслушав такой рапорт моего слуги, я нимало не обиделся: что же, думаю, из «новых людей» он! Взял шляпу и трость и пошел к нему сам.

Застаю в не особенно чистой комнате небольшого, довольно полного брюнета, лет сорока двух, скоро пишущего что-то за ломберным столом.

Извинился и спрашиваю: дома ли доктор Отрожденский.

— Весь к вашим услугам, — отвечает, не оборачиваясь, брюнет. — Присядьте, если угодно; я сейчас только отзыв уездному начальнику допишу.

Я присел и смотрю сбоку на моего хозяина: лицо довольно симпатичное, а в больших серых глазах видны и ум и доброта.

Пока я его рассматривал, он кончил свое писание, расчеркнулся, записал бумагу в книгу, запечатал в конверт, свистнул и, вручив вошедшему солдату этот пакет, обратился ко мне с вопросом, что мне угодно?

— Прежде всего, — говорю, — мне, господин доктор, кажется, что я немножко нездоров.

— Ну, будьте уверены, что если еще самим вам только *кажется,* что вы нездоровы, так болезнь не очень опасная. Что же такое вы чувствуете?

Я пожаловался на нервное раздражение.

Лекарь посмотрел на меня, пожал меня рукой не за пульс, а за плечо и, вздохнув, отвечает:

— Вы вот очень толсты: видите, сколько мяса и жиру себе наели. Вас надо бы хорошенько выпотнять.

— Как же, — говорю, — это выпотнять?

— Вы богаты или нет?

— У меня, — отвечаю, — есть обеспеченное состояние.

— Да? ну, это скверно: не на корде же вам в самом деле себя гонять, хоть и это бы для вас очень хорошо. Меньше ешьте, меньше спите... Управляющий у вас есть?

— Есть.

— Отпустите его, а сами разбирайтесь с мужиками: они вам скорее жиру поспустят. Потом, когда обвыкнетесь и будете иметь уже настоящее тело — полное, вот как я, но без жира, тогда и избавитесь от всякой нервической чепухи.

— Но ведь, согласитесь, — говорю, — эта нервическая чепуха очень неприятна.

— Ну, с какой стороны смотреть на это: кому не на что жаловаться, так гадкие нервы иметь даже очень хорошо. Больше я вам ничего сказать не могу, — заключил доктор, и сам приподнимается с места, выпроваживая меня таким образом вон.

## ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ

«Нет, позволь, — думаю себе, — брат, ты меня так скоро не выживешь».

— Я, — говорю, — кроме того, имею надобность поговорить с вами уже не о моем здоровье, а о народном. Я имею поручение представить будущему собранию земства некоторые соображения насчет устройства врачебной части в селениях.

— Так зачем же, — говорит, — вы мне давеча не дали знать об этом с вашим лакеем? Я бы по первому его слову пришел к вам.

Я несколько позамешкал ответом и пробурчал, что не хотел его беспокоить.

— Напрасно, — отвечает. — Ведь все же равно, вы меня звали, только не за тем, за чем следовало; а по службе звать никакой обиды для меня нет. Назвался груздем — полезай в кузов; да и сам бы рад скорее с плеч свалить эту пустую консультацию. Не знаю, что

вам угодно от меня узнать, но знаю, что решительно ничего не знаю о том, что можно сделать для учреждения врачебной части в селениях.

— Представьте, что и я, — говорю, — тоже не знаю.

— Ну, вот и прекрасно! значит у нас обоих на первых же порах достигается самое полное соглашение: вы так и донесите, что мы оба, посоветовавшись, решили, что мы оба ничего не знаем.

— Но это будет шутка.

— Нет, напротив, самая серьезная вещь. Шутить будут те, кто начнут рассказывать, что они что-нибудь знают и могут что-нибудь сделать.

— Не можете ли по крайней мере сообщить ваши взгляды о том, что надо преобразовать?

— Это могу: надо преобразовать европейское общество и экономическое распоряжение его средствами. У меня для этого применительно к России даже составлена кое-какая смета, которою я, — исходя из того, что исправное хозяйство одного крестьянского дома стоит средним числом сто пятьдесят рублей, — доказываю, что путем благоразумных сбережений в одном Петербурге можно в три года во всей России уменьшить на двадцать пять процентов число заболеваний и на пятьдесят процентов цифру смертности.

— Это, — отвечаю, — очень интересно, но ведь от нас не этих соображений требуют. От нас ждут соображений: что можно сделать для народного здоровья в тех средствах, в каких находится нынче жизнь народа.

— Да, от нас требуют соображений: как бы соорудить народу епанчу из тришкина кафтана? Портные, я слышал, по поводу такой шутки говорят: «что если это выправить, да переправить, да аршин шесть прибавить, то выйдет и епанча на плеча».

— Согласен, — отвечаю, — с вами и в этом; но ведь надо же с чего-нибудь начать, чтобы найти выход из этого положения. Я вот рассмотрел несколько статистических отчетов о заболевающих и о смертности по группам болезней, и...

— И напрасно все вы это сделали, — перебил меня доктор. — Эти отчеты способны только путать, а не уяснить дело. Наша литература в этом отличается. Вон я недавно читал в одной газете, будто все болезни войска

разносят. Очень умно! И лихорадка и насморк — это все от войск! Глупо, но есть вывод и направление и — дело в шляпе. Так и все смертные случаи у нас приписываются той или другой причине для того, чтоб отписаться, а народ мрет положительно только от трех причин: от холода, от голода и от глупости. От этих хвороб его и надо лечить. Какие же от этого лекарства, и в каком порядке их надо давать? Это то же, что известная задача: как в одной лодке перевезти чрез реку волка, козу и капусту, чтобы волк козы не съел, а коза — капусты и чтобы все целы были. Если вы устремитесь прежде всего на уничтожение вредно действующих причин от холода и голода, тогда надо будет лечить не народ, а некоторых других особ, из которых каждой надо будет или выпустить крови от одной пятой до шестой части веса всего тела, или же подвесить их каждого минут на пятнадцать на веревку. Потом бы можно, пожалуй, и снять, а можно и не снимать... Но это ни к чему путному не поведет, потому что в народе останется одна глупость, и он, избавившись от голода, обожрется и сдуру устроится еще хуже нынешнего. Стало быть, надо начинать с азов — с лечения *от глупости*. Я постоянно имею с этим дело и давно предоставил моему фельдшеру свободное право — по его собственной фантазии определять причины смерти вскрываемых трупов, и знаю, что он все врет. Дело гораздо проще. Зимой мужики дохнут преимущественно от холода, от дрянной одежды и дрянного помещения, по веснам — с голоду, потому что при начале полевых работ аппетит у них разгорается огромный, а удовлетворить его нечем; а затем остальное время — от пьянства, драки и вообще всяких глупостей, происходящих у глупого человека от сытости.

— Вы сытость, — говорю, — тоже полагаете в числе вредностей?

— А непременно: дурака досыта кормить нужно с предосторожностями. Смотрите: вон овсяная лошадь... ставьте ее к овсу смело: она ест, и ей ничего, а припустите-ка мужичью клячу: она либо облопается и падет, либо пойдет лягаться во что попало, пока сама себе все ноги пооттколотит. Вон у нас теперь на линии, где чугунку строят, какой мор пошел! Всякий день меня туда

возят; человека по четыре, по пяти вскрываю: неукротимо мрут от хорошей пищи.

— От хорошей?! — спрашиваю с удивлением.

— Да, от хорошей-с, а не от худой. Это чиновникам хочется доказать, что от худой, чтобы подрядчика прижать, а я знаю, что непомерная смертность идет от хорошего свойства пищи, и мужики сами это знают. Как только еще началась эта история, человек с двадцать сразу умерло; я спрашиваю: «Отчего вы, ребята, дохнете?» — «А всё с чистого хлеба, говорят, дохнем, ваше высокоблагородие: как мы зимой этого чистого хлебушка не чавкали, а все с мякиной, так вот таперича на чистой хлеб нас посадили и помираем». Обдержатся — ничего, а как новая партия придет — опять дохнут. С месяц тому назад сразу шесть человек вытянулись: два брата как друг против друга сидели, евши кашу, так оба и покатились. Вскрывал их фельдшер: в желудке каша, в пищеводе каша, в глотке каша и во рту каша; а остальные, которые переносят, жалуются: «Мы, бают, твоя милость, с сытости стали на ноги падать, работать не можем».

— Ну, и чем же вы им помогли? Любопытно знать.

— Велел их вполюбеда отгонять от котла палками. Подрядчик этого не смел; но они сами из себя трех разгонщиков выбрали, и смертность уменьшилась, а теперь въелись, и ничего: фунт меду мне в благодарность принесли.

Представьте себе мое положение с этаким консультантом!

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

— Но ведь это, — говорю, — все, что вы изволили рассказать, случаи экстренные, а ведь мы должны иметь в виду другое, когда крестьянин умирает своею смертью без медицинской помощи.

— Да зачем же ему нужно умирать с медицинскою помощью? — вопросил лекарь. — Разве ему от этого легче будет или дешевле? Пустяки-с все это! Поколику я медик и могу оказать человеку услугу, чтоб он при моем содействии умер с медицинскою помощью, то ручаюсь

вам, что от этого мужику будет нимало не легче, а только гораздо хлопотнее и убыточнее.

Удивился я и прошу его объяснить мне: отчего же это будет убыточнее, если с мужика ни за рецепт, ни за лекарство ничего не возьмут?

— А оттого, — отвечает, — что мужик не вы, он не пойдет к лекарю, пока ему только *кажется,* что он нездоров. Это делают жиды да дворяне, эти охотники пачкаться, а мужик человек степенный и солидный, он рассказами это про свои болезни докучать не любит, и от лекаря прячется, и со смоком дожидается, пока смерть придет, а тогда уж любит, чтоб ему не мешали умирать и даже готов за это деньги платить.

«Ну, — думаю себе, — это ты, любезный друг, врешь; я вовсе не так глуп, чтобы тебе поверить», и говорю ему:

— Извините меня, но я никогда еще не слыхал, чтобы какой-нибудь человек платил врачу деньги за то, чтоб ему поскорее умереть.

— Мало ли, — отвечает, — чего вы не слыхали. Я много раз это видел в военных больницах, особенно в Петербурге; казаки из староверов, ах как спокойно это совершают! С большою-с, с большою серьезностью... скорее семь раз умрет, чем позволит себе клистир сделать, да-с. Да вот даже нынешним еще летом со мной был такой случай, уже не в больнице. Тут помещица есть, очень важная барыня, — отсюда верстах в десяти, — тоже вот, вроде вас, совсем ожирела. Рассердилась она как-то на дочь, и расходились у ней, как у вас, самордаки; дочь ее пишет мне, что «маменька умирает совсем». Думаю: черт знает, пожалуй, чего доброго, и действительно умрет, и за нее, как за что путное, под суд попадешь, что не подал помощи. Отправился к ней на таратайке. Приезжаю, просят подождать. Жду и наблюдаю из залы, как мальчишка-лакейчонок в передней читает старому лакею газету «Весть», и оба ею очень довольны. Старый лакей внушает молодому лакею: «вот, говорит, как должно пишут настоящие господа», и сам, седой осел, от радости заплакать готов. Великий народ российский!.. Прошел час; выходит ко мне прекрасная барышня, дочка, и с заплаканными глазками говорит, что маменьке ее, изволите видеть, полегче (верно, помирились) и что теперь они изволили заснуть и не велели

себя будить, «а вас, говорит, приказали просить в контору, там вам завтрак подадут», и с этим словом подает мне рубль серебром в розовом пакетике. Я завтрака есть не пошел, спросил себе стакан воды и положил на тарелку рубль его барыни, а барышне сказал: «Сделайте одолжение, сударыня, скажите от меня вашей маменьке, что видал я на своем веку разных свиней, но уж такой полновесной свиньи, как ваша родительница, до сей поры не видывал».

И в таратайку их я не сел, а ушел от них пешком. Жара страшная, десять верст ходьбы все-таки изрядно; пыль столбом стоит, солнце печет. На половине дороги есть деревушка. Иду по улице — даже собаки не тявкают, — от жары кто куда, под застрехи да в подполья попрятались. Смотрю — у одной хатенки на пороге двое ребятишек сидят и синее молоко одною ложкой хлебают и делятся этою ложкою как самые заправские социалисты. Один раз один хлебнет, другому передает, а тот хлебнет, этому передает. Удивительно! Досужий человек на это целое рассуждение о русском народе может написать. И вдруг это молоко меня соблазнило. Зайду, думаю, в избу, нельзя ли хоть уста промочить. Вошел; во-первых, муха! самая неумеримая муха! Так жужжит, даже стон стоит. Во-вторых, жара нестерпимая и никого в избе нет, только откуда-то тянется мучительное тяжкое оханье. Я вышел на двор, вижу, бабенка навоз вилами сушит.

«Есть, — говорю, — у тебя молоко?»

Думала, думала и отвечает, что молоко есть.

«Дай же, — говорю, — мне молока; я тебе гривенник дам».

«А на что, — говорит, — мне твой гривенник? Гривенник-то у нас еще, слава богу, и свой есть».

Однако согласилась, дала молока.

Сел я в сенях на скамеечку, пью это молоко, а в избе так и разливается мучительнейший стон.

«Это, — говорю, — кто у вас так мучится?»

«Старичок, — говорит, — свекор больной помирает».

Я выпил молоко и подхожу к старику. Гляжу, старичище настоящий Сатурн; человек здоровья несметного; мускулы просто воловьи, лежит, глаза выпучил и страшно, страшно стонет.

«Что, — говорю, — с тобою, дед?»

«А?»

«Что, мол, с тобою?»

«Отойди прочь, ничего», — и опять застонал.

«Да что, мол, такое с тобою? Чем ты болен?»

«Отойди прочь, ничего».

Я ощупал у него пузо: вижу, ужас что газов сперто. Я скорее сболтал стакан слабительной импровизации, подношу и говорю:

«Пей скорее, старик, и здоров будешь, еще сто лет проживешь».

«Отойди прочь, — говорит, — не мешай: я помираю».

«Пей, — говорю, — скорее! выпей только, и сейчас выздоровеешь». Где же там? и слушать не хочет; «помираю», да и кончено.

Ну, думаю себе, не хочешь, брат, слабительного, так я тебя иным путем облегчу, а меня, чувствую, в это время кто-то за коленку потихоньку теребит, точно как теленок губами забирает. Оглянулся, вижу, стоит возле меня большой мужик. Голова с проседью, лет около пятидесяти. Увидал, что я его заметил, и делает шаг назад и ехидно манит меня за собою пальцем.

«Что, — говорю, — тебе нужно?»

«Батюшка, ваше благородие, — шепчет, — пожалуйте!.. примите!..» — и с этим словом сует мне что-то в руку.

«Это, — спрашиваю, — что такое?»

«Полтина серебра, извольте принять... полтину серебра».

«За что же ты, дурак, даешь мне эту полтину серебра?»

«Не мешайте, батюшка, божьему старику помирать».

«Ты кто ему доводишься?»

«Сын, — говорит, — батюшка, родной сын; это батька мой родной: помилосердуйте, не мешайте ему помирать».

А тут, гляжу, из сеней лезет бабенка, такая старушенция, совсем кикимора, вся с сверчка, плачет и шамшит:

«Батюшка, не мешай ты ему, моему голубчику, помирать-то! Мы за тебя бога помолим».

Что же, думаю, за что мне добрым людям перечить! Тот сам хочет помирать, родные тоже хотят, чтоб он

умер, а мне это не стоит ни одного гроша: выплеснул слабительное.

«Помирайте, — говорю, — себе с богом хоть все».

Они это отменно восчувствовали и даже за самую околицу меня провожали с благодарностию.

Спрашиваю дорогою:

«Что же, наследства, что ли, мол, ждете от старика-то?»

«Нет, — говорят, — батюшка, какое наследство: мы бедные, да уж он совсем в путь-то собрался... и причастился, теперь ему уж больно охота помереть».

Только что за околицу я вышел, гляжу, мальчишка бежит.

«Тятя, — кричит, — дедушка протянулся».

И все заголосили:

«Один ты, мол, у нас только и был!»

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

— А все же, — говорю, — этот случай нимало не приводит нас ни к какому заключению о том, как избавить народ от его болезней и безвременной смерти.

— Я вам мое мнение сказал, — отвечал лекарь. — Я себе давно решил, что все хлопоты об устройстве врачебной части в селениях ни к чему не поведут, кроме обременения крестьян, и давно перестал об этом думать, а думаю о лечении народа от глупости, об устройстве хорошей, настоящей школы, сообразной вкусам народа и настоящей потребности, то есть чтобы все эти гуманные принципы педагогии прочь, а завести школы, соответственные нравам народа, спартанские, с бойлом.

— Вы хотите бить?

— А непременно-с; это и народу понравится, да и характеры будут воспитываться сильнее, реальнее и злее. Так мы вернее к чему-нибудь доспеем, чем с этими небитыми фалалеями, которые теперь изо всех новых школ выходят. Я, при первых деньгах, открою первый «образцовый пансион», где не будет никакой поблажки. Я это уже зрело обдумал и даже, если не воспретит мне правительство, сделаю вывеску: «Новое воспитательное заведение с бойлом»; а по желанию родителей, даже

будут жестоко бить, и вы увидите, что я, наконец, создам тип *новых людей* — тип, желая достичь которого наши ученые и литературные слепыши от него только удаляются. Доказательство налицо: теперь все, что моложе сорока лет, уже все скверно, все размягчено и распарено теплым слоем гуманного обращения. Таким людишкам нужны выгоды буржуазной жизни, и они на своих ребрах кола не переломят; а без этого ничего не будет.

— Ну, а об устройстве врачебной-то части... мы так ни к чему и не приблизились.

— Да и не к чему приближаться; я вам сказал и, кажется, доказал, что это вовсе не нужно.

— Простите, — говорю, — пожалуйста; но тогда позволительно спросить вас: зачем же, по-вашему, сами врачи?

— А для нескольких потребностей: для собственного пропитания, для административного декорума, для уничтожения стыда у женщин, для истощения карманов у богачей и для вскрытия умирающих от холода, голода и глупости.

Нет, вижу, что с этого барина, видно, уж взятки гладки, да он вдобавок и говорить со мною больше не хочет: встал и стоит, как воткнутый гвоздь, а приставать к нему не безопасно: или в дверь толкнет, или по меньшей мере как-нибудь некрасиво обзовет.

— Не посоветуете ли, — спрашиваю, — по крайности, к кому бы мне обратиться: не занимает ли этот вопрос кого-нибудь другого, не имеет ли с ним еще кто-нибудь знакомства, от кого бы можно было получить другие соображения.

— Толкнитесь, — говорит, — к смотрителю уездного училища: он здесь девкам с лица веснушки сводит и зубы заговаривает, также и от лихорадки какие-то записки дает; и к протопопу можете зайти, он по лечебнику Каменецкого лечит. У него в самом деле врачебной практики даже больше, чем у меня: я только мертвых режу, да и то не поспеваю; вот и теперь сейчас надо ехать.

— Извините, — говорю, — еще один вопрос: а акушерка здешняя знает деревенский быт?

— Нет, к ней не ходите: ее в деревни не берут; она только офицерам, которые стоят с полком, деньги под залог дает да скворцов учит говорить и продает их куп-

цам. Вот становой у нас был Васильев, тот, может быть, и мог бы вам что-нибудь сказать, он в душевных болезных подавал утешение, умел уговаривать терпеть, — но и его, на ваше несчастие, вчерашний день взяли и увезли в губернский город.

— Как, — говорю, — Васильева-то увезли! За что же это? Я его знаю — казалось, такой прекрасный человек...

— Ну, прекрасный не прекрасный, а был человек очень пригодный досужным людям для развлечения, а взяли его по доносу благочинного, что он будто бы хотел бежать в Турцию и переменить там веру. Я ему предлагал принять его в самую толерантную веру — в безверие, но он не соглашался, боялся, что будет чувствовать себя несвободным от необходимости объяснять свои движения причинами, зависящими от молекул и нервных центров, — ну, вот и зависит теперь от смотрителя тюремного замка. Впрочем, время идет, и труп, ожидающий моего визита, каждую минуту все больше и больше воняет; надо пожалеть людей и скорей его порезать.

Говорить было более некогда, и мы расстались; но когда я был уже на улице, лекарь высунулся в фуражке из окна и крикнул мне:

— Послушайте! повидайтесь-ка вы с посредником Готовцевым.

— А что такое?

— Да он ведь у нас администратор от самых младых ногтей и первый в своем участке школы завел, — его всем в пример ставят. Не откроет ли он вам при своих дарованиях секрета, как устроить, чтобы народ не умирал без медицинской помощи?

Я поблагодарил, раскланялся и скрылся.

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Ни к акушерке, ни к смотрителю училища, разумеется, я не пошел, а отправился повидаться с посредником Готовцевым.

Прихожу, велел о себе доложить и ожидаю в зале. Выходит хозяин, молодой человек, высокий, румяный, пухлый, с кадычком и очень тяжелым взглядом сверху вниз.

Отрекомендовались друг другу, присели, и я изложил озабочивающее меня дело и попросил услуги советом.

— По-моему, дело это очень нетрудно уладить; но здесь, как и во всяком деле, нужна решительность, а ее у нас, знаете... ее-то у нас и нет нигде, где она нужна. У нас теперь не дело делается, а разыгрывается в лицах басня о лебеде, раке и щуке, которые взялись везти воз. Суды тянут в одну сторону, администрация — в другую, земство потянет в третью. Планы и предначертания сыплются как из рога изобилия, а осуществлять их неведомо как: «всякий бестия на своем месте», и всяк стоит за свою шкуру. Без одной руководящей и притом смело руководящей воли в нашем хаосе нельзя, и воля эта должна быть ауторизована, ответ ее должен быть ответ Пилата жидам: «еже писах — писах»; тогда и возможно все: и всяческое благоустройство, и единодействие... и все. А у нас... Вы не приглядывались к ходу дел в губернии?

Отвечаю, что еще не приглядывался.

— Напрасно; вы очень много потеряли.

Я отвечал, что не лишаю себя надежды возвратить эту потерю, потому что скоро поеду в губернский город на заседания земства, а может быть и раньше, чтобы там поискать у кого-нибудь совета и содействия в моих затруднениях.

— И прекрасно сделаете: там есть у нас старик Фортунатов, наш русский человек и очень силен при губернаторе.

Я заметил, что я этого Фортунатова знаю по гимназии и по университету.

— Ну вот, — отвечает, — лучше этого вам и не надо: он всемогущ, потому что губернатор беспрестанно все путает, и так путает, что только один Василий Иванович Фортунатов может что-нибудь разобрать в том, что он напутал. Фортунатов — это такой шпенек в здешнем механизме, что выньте его — и вся машина станет или черт знает что заворочает. Вы с ним можете говорить прямо и откровенно: он человек русский и прямой, немножко, конечно, с лукавинкой, но уж это наша национальная черта, а зато он один всех решительнее. Вы не были здесь, когда поднялась история из-за школ? Это было ужасное дело: вынь да положь, чтобы в селах были

школы открыты, а мужики, что им ни говори, только затылки чешут. Фортунатов видит раз всех нас, посредников, за обедом: «братцы, говорит, ради самого господа бога выручайте: страсть как из Петербурга за эти проклятые школы нас нажигают!» Поговорили, а мужики школ все-таки не строят; тогда Фортунатов встречает раз меня одного: «Ильюша, братец, говорит (он большой простяк и всем почти *ты* говорит), — да развернись хоть ты один! будь хоть ты один порешительней; заставь ты этих шельм, наших мужичонков, школы поскорее построить». Дело, как видите, трудное, потому что, с одной стороны, мужик не понимает пользы учения, а с другой — нельзя его приневоливать строить школы, не велено приневоливать. Но тем не менее есть же свои администраторские приемы, где я могу, не выходя из... из... из круга приличий, заставить... или... как это сказать... склонить... «Извольте, говорю, Василий Иванович, если дело идет о решительности, я берусь за это дело, и школы вам будут, но только уж смотрите, Василий Иванович!» — «Что, спрашивает, такое?» — «А чтобы мои руки были развязаны, чтоб я был свободен, чтобы мне никто не препятствовал действовать самостоятельно!» Им было круто, он и согласился, говорит: «Господи! да бог тебе в помощь, Ильюша, что хочешь с ними делай, только действуй!» Я человек аккуратный, вперед обо всем условился: «смотрите же, говорю, чур-чура: я ведь разойдусь, могу и против земства ударить, так вы и там меня не предайте». — «Ну что ты, бог с тобой, сами себя, что ли, мы станем предавать?» Ну когда так — я и поставил дело так, что все только рты разинули. В один год весь участок школами обзавел. Приезжайте в какую хотите деревушку в моем участке и спросите: «есть школа?» — уж, конечно, не скажут, что нет.

— Как же, — говорю, — вы всего этого достигли? Каким волшебством?

— Вот вам и волшебство! — самодовольно воскликнул посредник и, выступив на середину комнаты, продолжал: — Никакого волшебства не было и тени, а просто-напросто административная решительность. Вы знаете, я что сделал? Я, я честный и неподкупный человек, который горло вырвет тому, кто заикнется про мою честь: я школами взятки брал!

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

— Как же это так школами взятки брать? — воскликнул я, глядя во все глаза.

— Да-с; я очень просто это делал: жалуется общество на помещика или соседей. «Хорошо, говорю, прежде школу постройте!» В ногах валяются, плачут... Ничего: сказал: «школу постройте и тогда приходите!» Так на своем стою. Повертятся, повертятся мужичонки и выстроят, и вот вам лучшее доказательство: у меня уже весь, *буквально весь* участок обстроен школами. Конечно, в этих школах нет почти еще книг и учителей, но я уж начинаю второй круг, и уж дело пошло и на учителей. Это, спросите, как?

Я молчу.

— А опять, — продолжает, — все тем же самым порядком: имеешь надобность ко мне, найми в школу учителя. Отговорок никаких: найми учителя, и тогда твое дело сделается. Мне самому ничего не нужно, но для службы я черт... и таким только образом и можно что-нибудь благоустроять. А без решительности ни к чему не придете. Захотелось теперь устройства врачебной части; пусть начальство выскажется, что ему этого хочется: это ему принадлежит; но не мешай оно энергическим исполнителям, как это делать. Фемиде ли вы служите, или земству, или администрации — это должно быть все равно: камертон дан — пой, сигнал пущен — пали. Если бы начальство стояло стойко и решительно, я... я вам головой отвечаю, что я не только врачебную часть, а я черт знает что заведу вам в России с нашим народом! Наш народ еще, слава богу, глуп, с ним еще, слава богу, жить можно... «Строй, собачий сын, больницу! — закричал посредник на меня неистово, подняв руки над моею головой. — Нанимай лекаря, или... я тебя... черт тебя!..», и Готовцев начал так штырять меня кулаками под ребра, что я, в качестве модели народа, все подавался назад и назад и, наконец, стукнулся затылком об стену и остановился. Дальше отступать было некуда.

«А-а! — закричал в эту секунду Готовцев, — так вот я тебя, канальский народ, наконец припер к стене... теперь тебе уж некуда назад податься, и ты строишь что

мне нужно... и за это я тебя целую... да-с, целую сам своими собственными устами».

С этим он взял меня обеими руками за лацканы, поцеловал меня холодным поцелуем в лоб и проговорил:

«Вот как я тебя благодарю за твое послушание! А если ты огрызаешься и возбуждаешь ведомство против ведомства (он начал меня раскачивать за те же самые лацканы), если ты сеешь интриги и, не понимая начальственных забот о тебе, начинаешь собираться мне возражать... то... я на тебя плюю!.. то я иду напролом... я сам делаюсь администратором, и (тут он закачал меня во всю мочь, так что даже затрещали лацканы) если ты придешь ко мне за чем-нибудь, так я... схвачу тебя за шиворот... и выброшу вон... да еще в сенях приподдам коленом».

И представьте себе: он действительно только не плюнул на меня, а то проделал со мною все, что говорил: то есть схватил меня за шиворот, выбросил вон и приподдал в сенях коленом.

Я понял из этого затруднительность сельских общин в совершенстве и, удирая скорей домой в деревню, всю дорогу не мог прийти в себя.

«Нет, — решил я себе, — нет, господа уездная интеллигенция: простите вы меня, а я к вам больше не ездок. С вами, чего доброго, совсем расшибешься».

Но как дело-то, однако, не терпит и, взявшись представить записку, ее все-таки надо представить, то думаю: действительно, махну-ка я в губернский город — там и архивы, и все-таки там больше людей с образованием; там я и посоветуюсь и допишу записку, а между тем подойдет время к открытию собраний.

Сборы невелики: еду в губернский город и, признаюсь вам, еду не с спокойным духом.

Что-то, мол, опять мне идет здесь на Руси все хуже и хуже; чем-то теперь здесь одарит господь!

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Прежде всего не узнаю того самого города, который был мне столь памятен по моим в нем страданиям. Архитектурное обозрение и костоколотная мостовая те же, что и были, но смущает меня нестерпимо какой-то

необъяснимый цвет всего сущего. То, бывало, все дома были белые да желтые, а у купцов водились с этакими голубыми и желтыми отворотцами, словно лацканы на уланском мундире, — была настоящая житейская пестрота; а теперь, гляжу, только один неопределенный цвет, которому нет и названия.

Первое, о чем я полюбопытствовал, умываясь, как Чичиков, у себя в номере, был именно неопределенный цвет нашего города.

— Объясните мне, пожалуйста, почтенный гражданин, — спрашиваю я у коридорного лакея, — что это у вас за странною краской красят дома и заборы?

— А это-с, сударь, — отвечает, — у нас нынче называется «цвет под утиное яйцо».

— Этакого цвета у вас, помнится, никогда не было?

— И звания его, сударь, прежде никогда не слыхали.

— Откуда же он у вас взялся?

— А это нынешний губернатор нас, — говорит, — в прошлом году перекрасил.

— Вот, мол, оно что.

— Точно так-с, — утверждает «гражданин». — Прежде цвета были разные, кто какие хотел, а потом был старичок губернатор — тот велел всё в одинаковое, в розовое окрасить, а потом его сменил молодой губернатор, тот приказал сделать всё в одинаковое, в мрачно-серое, а этот нынешний как приехали: «что это, — изволит говорить, — за гадость такая! перекрасить все в одинаковое, в голубое», но только оно по розовому с серым в голубой не вышло, а выяснилось, как изволите видеть, вот этак под утиное яйцо. С тех пор так уж больше не перекрашивают, а в чистоте у нас по-прежнему остались только одни церкви: с архиереем все губернаторы за это ссорились, но он так и не разрешил церквей под утиное яйцо подводить.

Я поблагодарил слугу за обстоятельный рассказ, а сам принарядился, кликнул извозчика и спрашиваю:

— Знаешь, любезный, где Фортунатов живет?

Извозчик посмотрел на меня с удивлением и потом как бы чего внезапно оробел или обидясь отвечал:

— Помилуйте, как же не знать!

Поехали и приезжаем.

Извозчик осаживает у подъезда лошадь и шепчет: «первый человек!»

— Что ты говоришь?

— Василий-то Иваныч, говорю-с, у нас первый человек.

— Ладно, мол.

Вхожу в переднюю, — грязненько; спрашиваю грязненького казачка: дома ли барин?

Отвечает, что дома.

— Занят или нет?

— Никак нет-с, — отвечает, — они после послеобеденного вставанья на диване в кабинете лежат, дыню кушают.

Велел доложить, а сам вступаю в залу.

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Уж я ходил-ходил, ходил-ходил по этой зале, нет ни ответа, ни привета, и казачок совсем как сквозь землю провалился.

Наконец растворяется дверь, и казачок тихо подходит на цыпочках и шепчет:

— Барин, — говорит, — изволят спрашивать: вы по делу или без дела?

Черт знает, думаю, что на это отвечать! Скажу, однако, если он бьет на такую официальность, что приехал по делу.

Малец пошел и опять выходит и говорит:

— По делу пожалуйте в присутствие.

— Ну, мол, — так поди скажи, что я без дела.

Пошел, но и опять является.

— Как, — говорит, — ваша фамилия?

— Ватажков, — говорю, — Ватажков, я же тебе сказал, что Ватажков.

Юркнул малец и возвращается с ответом, что барин-де сказал, что они никакого Сапожкова не знают.

То есть просто из терпения вывели!..

Рассвирепел я, завязал мальчишке дурака и ухожу, как вдруг, слышу, добродушным голосом кричат:

— Ах ты, заморская птица! Орест Маркович! воротись, брат, воротись! Я ведь думал, что черт знает кто, что с докладом входишь!

Гляжу, в окне красуется Василий Иванович Фортунатов — толст, сед, сопит и весь лоснится.

Возвращаюсь я, и облобызались.

Обыкновенные вопросы: что ты, как ты, откуда, давно ли, надолго ли? Ответив на этот допрос впопад и невпопад, начинаю сам любопытствовать.

— Как ты? — говорю. — Я ведь тебя оставил социалистом, республиканцем и спичкой, а теперь ты целая бочка.

— Ожирел, брат, — отвечает, — ожирел и одышка замучила.

— А убеждения, мол, каковы?

— Какие же убеждения: вон старшему сыну шестнадцатый год — уж за сестриными горничными волочится, а второму четырнадцать; все своим хребтом воздоил и, видишь, домишко себе сколотил, — теперь проприетер.

— Отчего же это ты по новым учреждениям-то не служишь, ни по судебной части и не ищешь места по земству?

— Зачем? пусть молодые послужат, а я вот еще годок — да в монастырь хочу.

— Ты в монастырь? Разве ты овдовел?

— Нет, жена, слава богу, здорова: да так, брат... грехи юности-то пора как-нибудь насмарку пускать.

— Да ведь ты еще и не стар.

— Стар не стар, а около пяти десятков вертится, а главное, все надоело. Модные эти учреждения, модные люди... ну их совсем к богу!

— А что такое? Обижают тебя, что ли?

— Нет, не то что обижают... Обижать-то где им обижать. Уж тоже хватил «обижать»! Кто-о? Сами к ставцу лицом сесть не умеют, да им меня обижать? Тьфу... мы их и сами еще забидим. Нет, брат, не обижают, а так... — Фортунатов вздохнул и добавил: — Довольно грешить.

Показалось мне, что старый приятель мой не только со мною хитрит и лицемерит, но даже и не задает себе труда врать поскладнее, и потому, чтобы положить этому конец, я прямо перешел к моей записке, которую я должен составить, и говорю, что прошу у него совета.

— Нет, душа моя, — отвечает он, — это по части новых людей, — к ним обращайся, а я к таким делам не касаюсь.

— Да я к новым-то уж обращался.

— Ну и что же: много умного наслушался?

Я рассказал.

Фортунатов расхохотался.

— Ах вы, прохвосты этакие, а еще как свиньи небо скопать хотят! Мы вон вчера одного из них в сумасшедший дом посадили, и всех бы их туда впору.

— А кого это, — спрашиваю, — вы посадили в сумасшедший дом?

— Становишку одного, Васильева.

— Боже мой! Ведь я его знаю! Философ.

— Ну вот, он и есть. Философию знает и богословию, всего Макария выштудировал и на службе состоит, а не знал, что мы на богословов-то не надеемся, а сами отцовское восточное православие оберегаем и у нас господствующей веры нельзя переменять. Под суд ведь угодил бы, поросенок цуцкой, и если бы «новым людям», не верующим в бога, его отдать — засудили бы по законам; а ведь все же он человечишко! Я по старине направил все это на пункт помешательства.

— Ну?

— Ну, освидетельствовали его вчера и, убедивши его, что он не богослов, а *бог ослов*, посадили на время в сумасшедший дом.

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

У меня невольно вырвалось восклицание о странной судьбе несчастного Васильева, но Фортунатов остановил меня тем, что Васильеву только надо благодарить бога, что для него все разрешилось сумасшедшим домом.

— И то, — говорит, — ведь тут, брат, надо было это поворотить, потому на него, ведь поди-ка ты, истцы-то три власти: суд, администрация и духовное начальство, — а их небось сам Соломон не помирит.

— Не ладят?

— И не говори лучше: просто которого ни возьми — что твой Навуходоносор!.. коренье из земли норовит все выворотить.

— Губернатор каков у вас?

Фортунатов махнул рукой.

— Сделай, — говорит, — ему визит, посмотри на него, а главное, послушай — поет курского соловья прекраснее.

— Да я, — отвечаю, — и то непременно поеду.

— Посоветоваться... вот это молодец! Сделай милость, голубчик, поезжай! То есть разуважишь ты его в конец, и будешь первый его друг и приятель, и не оглянешься, как он первое место тебе предложит. Страсть любит свежих людей, а через полгода выгонит. Злою страстью обуян к переменам. Архиерей наш анамедни ему махнул: «Пблагаю, говорит, ваше превосходительство, что если бы вы сами у себя под начальством находились, то вы и самого себя сменили бы?» Вот, батюшка, кому бы нашим Пальмерстоном-то быть, а он в рясе. Ты когда у губернатора будешь, боже тебя сохрани: ни одного слова про архиерея не обмолвись, — потому что после того, как тот ему не допустил перемазать храмов, он теперь яростный враг церкви, через что мне бог помог и станового Васильева от тюрьмы спасти и в сумасшедший дом пристроить.

— Позволь же, — говорю, — пожалуйста, как же ты уживаешься с таким губернатором?

— А что такое?

— Да отчего же он тебя не сменит, если он всех сменяет?

— А меня ему зачем же сменять? Он только одних способных людей сменяет, которые за дело берутся с рвением с особенным, с талантом и со тщанием. Эти на него угодить не могут. Они ему сделают хорошо, а он ждет, чтоб они что-нибудь еще лучше отличились — чудо сверхъестественное, чтобы ему показать; а так как чуда из юда не сделаешь, то после, сколь хорошо они ни исполняй, уж ему все это нипочем — свежего ищет; ну, а как всех их, способных-то, поразгонит, тогда опять за всех за них я один, неспособный, и действую. Способностей своих я не неволю и старанья тоже; валю как попало через пень колоду — он и доволен; «при вас,

говорит, я всегда покоен». Так и тебе мое опытное благословение: если хочешь быть нынешнему начальству прелюбезен и делу полезен, не прилагай, сделай милость, ни к чему великого рачения, потому хоша этим у нас и хвастаются, что будто способных людей ищут, но все это вздор, — нашему начальству способные люди тягостны. А ты пойди, пожалуй, к губернатору, посоветуйся с ним для его забавы, да и скопни свою записку ногой, как копнется. Черт с нею: придет время, все само устроится.

— Ну нет, — говорю, — я как-нибудь не хочу. Тогда лучше совсем отказаться.

— Ну, как знаешь; только послушай же меня: повремени, не докучай никому и не серьезничай. Самое главное — не серьезничай, а то, брат... надоешь всем так, — извини, — тогда и я от тебя отрекусь. Поживи, посмотри на нас: с кем тут серьезничать-то станешь? А я меж тем губернаторше скажу, что способный человек приехал и в аппетит их введу на тебя посмотреть, — вот тогда ты и поезжай.

«Что же, — рассуждаю, — так ли, не так ли, а в самом деле немножко ориентироваться в городе не мешает».

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Живу около недели и прислушиваюсь. Действительно, мой старый приятель Фортунатов прав: мирным временем жизнь эту совсем нельзя назвать: перестрелка идет безумолчная.

В первые дни моего здесь пребывания все были заняты бенефисом станового Васильева, а потом тотчас же занялись другим бенефисом, устроенным одним мировым судьею полицеймейстеру. Судьи праведные считают своим призванием строить рожны полиции, а полиция платит тем же судьям; все друг друга «доказывают», и случаев «доказывать» им целая бездна. Один такой как из колеса выпал в самый день моего приезда. Перед самой полицией подрались купец с мещанином. За что у них началась схватка — неизвестно; полиция застала дело в том положении, что здоровый купец дает щуплому мещанину оплеуху, а тот падает, поднимается и, вставая, говорит:

— Ну, бей еще!

Купец без затруднения удовлетворяет его просьбу; мещанин снова падает и снова поднимается и кричит:

— А ну, бей еще!

Купец и опять ему не отказывает.

— Ну, бей, бей! пожалуйста, бей!

Купец бьет, бьет; дело заходит в азарт: один колотит, другой просит бить, и так до истощения сил с одной стороны и до облития кровью с другой. Полиция составляет акт и передает его вместе с виновными мировому судье. Начинается разбирательство: купца защищал учитель естественных наук, и как вы думаете, чем он его защищал? Естественными науками. Нимало не отвергая того, что купец бил и даже сильно бил мещанина, учитель поставил судье на вид, что купец вовсе не наносил никакой обиды действием и делал этим не что иное, как такую именно услугу мещанину, о которой тот его неотступно просил при самих служителях полиции, услугу, которой последние не поняли и, по непонятливости своей, приняли в преступление.

— Одно, — говорил защитник, — купца можно бы еще обвинить в глупости, что он исполнил глупую просьбу, но и это невозможно, потому что купцу просьба мещанина — чтобы его бить — могла показаться самою законною, ибо купец, находясь выше мещанина по степени развития, знал, что многие нервные субъекты нуждаются в причинении им физической боли и успокоиваются только после ударов, составляющих для них, так сказать, благодеяние.

Судья все это выслушал и нашел, что купец действительно мог быть вовлечен в драку единственно просьбою мещанина его побить, и на основании физиологической потребности последнего быть битым освободил драчуна от всякой ответственности. В городе заговорили, что «судья молодец», а через неделю полицеймейстер стал рассказывать, что будто «после того как у него побывал случайно по одному делу этот мировой судья, у него, полицеймейстера, пропали со стола золотые часы, и пропали так, что он их и искать не может, хотя знает, где они».

Полицеймейстеру заметили, что распускать такие слухи очень неловко, но полицеймейстер отвечал:

— Что же я такое сказал? Я ведь говорю, что *после него* часы пропали, а не то, чтобы он взял... Это ничего.

В городе заговорили:

— Молодец полицеймейстер!

А вечером разнесся слух, что мировой судья купил себе в единственном здешнем оружейном магазине единственный револьвер и зарядил его порохом, хотя и без пуль, а полицеймейстер велел пожарному слесарю отпустить свою черкесскую шашку и запер ее к себе в гардеробный шкаф.

В городе положительно ожидают катастрофы.

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

Я почувствовал себя смущенным и пошел к Фортунатову с повинной головой.

— А что, — говорит, — братец, прав я или нет?.. Да посмотри: то ли еще увидишь? Ты вот изволь-ка завтра снаряжаться на большое представление.

— Куда это?

— А, брат, — начальник губернии с начальницей сами тебя восхотели видеть! Ты ведь небось обо мне как думаешь? а я тебя восхвалил, как сваха: способнейший, говорю, человек и при этом учен, много начитан, жил за границею и (извини меня) преестественная, говорю, шельма!

— Ну, это ты зачем же?

— Нет, а ты молчи-ка. Я ведь, разумеется, там не так, а гораздо помягче говорил, но только в этом роде чувствовать дал. Так, друг, оба и вскочили, и он и она: подавай, говорят, нам сейчас этого способного человека! «Служить не желает ли?» Не знаю, мол, но не надеюсь, потому что он человек с состоянием независимым. «Это-то и нужно! мне именно это-то и нужно, кричит, чтобы меня окружали люди с независимым состоянием».

— Очень мне нужно его «окружать»?

— Нет, ты постой, что дальше-то будет. Я говорю: да он, опричь того, ваше превосходительство, и с норовом независимым, а это ведь, мол, на службе не годится.

«Как, что за вздор? отчего не годится?» — «Правило-де такое китайского философа Конфуция есть, по-китайски оно так читается: «чин чина почитай». — «Вздор это чинопочитание! — кричит. — Это-то все у нас и портит»... Слышишь ты?.. Ей-богу: так и говорит, что «это вздор»... Ты иди к нему, сделай милость, завтра, а то он весь исхудает.

— Да зачем ты все это, любезный друг, сделал? Зачем ты их на меня настрочил?

— Ишь ты, ишь! Что же ты, не сам разве собирался ему визит сделать? Ну вот и иди теперь, и встреча тебе готова, а уж что, брат, сама-то начальница...

— Что?

— Нет, ты меня оставь на минуту, потому мне ее, бедняжку, даже жалко.

— Да полно гримасничать!

— Чего, брат, гримасничать? Истинно правда. Ей способности в человеке всего дороже: она ведь в Петербурге женскую сапожную мастерскую «на разумно экономических началах» заводила, да вот отозвали ее оттуда на это губернаторство сюда к супругу со всеми ее физиологическими колодками. Но душой она все еще там, там, в Петербурге, с способными людьми. Наслушавшись про тебя, так и кивает локонами: «Василий Иванович, думали ли вы, говорит, когда-нибудь над тем... — она всегда думает *над* чем-нибудь, а не *о чем*-нибудь, — думали ли вы над тем, что если б очень способного человека соединить с очень способной женщиной, что бы от них могло произойти?» Вот тут, извини, я уж тебе немножко подгадил: я знаю, что ей все хочется иметь некрещеных детей, и чтоб непременно «от неизвестного», и чтоб одно чадо, сын, называлося «Труд», а другое, дочь — «Секора». Зная это, в твоих интересах, разумеется, надо было отвечать ей: что «от соединения двух способных людей гений произойдет», а я ударил в противную сторону и охранил начальство. Пустяки, говорю, ваше превосходительство: плюс на плюс дает минус. «Ах, правда!..» А я и сам алгебру-то позабыл и не знаю, правда или неправда, что плюс на плюс дает минус; да ничего: женщин математикой только жигани, — они страсть этой штуки боятся.

«О, черт тебя возьми, — думаю, — что он там навстречу мне наболтал и наготовил, а я теперь являйся и

расхлебывай! Ну да ладно же, — думаю, — друг мой сердечный: придется тебе брать свои похвалы назад», и сам решил сделать завтра визит самый сухой и самый короткий.

А... а все-таки, должен вам сознаться, что ночь после этого провел прескверно и в перерывчатом сне видел льва. Что бы это такое значило? Посылал к хозяину гостиницы попросить, нет ли сонника? Но хозяйская дочка даже обиделась и отвечала, что «она такими глупостями не занимается». Решительно нет никакой надежды предусмотреть свою судьбу, — и я поехал лицом к лицу открывать, что сей сон обозначает?

## ГЛАВА СЕМИДЕСЯТАЯ

Переносясь воспоминаниями к этому многознаменательному дню моей жизни, я прежде всего вижу себя в очень большой зале, среди густой и пестрой толпы, с первого взгляда как нельзя более напоминавшей мне группы из сцены на дне моря в балете «Конек-Горбунок». Самое совмещение обитателей вод было так же несообразно, как в упомянутом балете: тут двигались в виде крупных белотелых судаков массивные толстопузые советники; полудремал в угле жирный черный налим в длинном купеческом сюртуке, только изредка дуновением уст отгонявший от себя неотвязную муху; вдоль стены в ряд на стульях сидели смиренными плотицами разнокалиберные просительницы — все с одинаково утомленным и утомляющим видом; из угла в угол по зале, как ерш с карасем, бегали взад и вперед курносая барышня-просительница в венгерских сапожках и сером платьице, подобранном на пажи, с молодым гусаром в венгерке с золотыми шнурками. Эта пара горячо рассуждала о ком-то, кто «заеден средою», и при повороте оба вдруг в такт пощелкивали себя сложенными листами своих просьб, гусар сзади по ляжке, а барышня спереди по кораблику своего корсета, служившего ей в этом случае кирасою. У окна на самом горячем солнопеке сидел совсем ослизший пескарь — белый человечек лет двадцати, обливавшийся потом; он все пробовал читать какую-то газету

и засыпал. У другого окна целая группа: шилистая, востроносая пестрая щука в кавалерийском полковничьем мундире полусидела на подоконнике, а пред нею, сложа на груди руки, вертелся красноглазый окунь в армейском пехотном мундире. Правый и левый фланг занимали выстроившиеся шпалерами мелкие рыбки вроде снятков. Щука это был полицеймейстер, окунь... был окунь, а мелочь улыбалась, глядя в большой рот востроносого полицеймейстера, и наперерыв старалась уловить его намерение сострить над окунем. Бедный, жалкий, но довольно плутоватый офицер, не сводя глаз с полицеймейстера, безумолчно лепетал оправдательные речи, часто крестясь и произнося то имя божие, то имя какой-то Авдотьи Гордевны, у которой он якобы по всей совести вчера был на террасе и потому в это время «физически» не мог участвовать в подбитии морды Катьке-чернявке, которая, впрочем, как допускал он, может быть, и весьма того заслуживала, чтоб ее побили, потому что, привыкши обращаться с приказными да с купеческими детьми, она думает, что точно так же может делать и с офицерами, и за то и поплатилась.

В этой группе разговор не умолкал. Хотя сама героиня Катька-чернявка скоро была позабыта, но зато все беспрестанно упоминали Авдотью Гордевну и тешились. Я узнал при сем случае, что Авдотья Гордевна бела как сахар, вдова тридцати лет и любит наливочку, а когда выпьет, то становится так добра, что хоть всю ее разбери тогда, она слова не скажет. Вдали отсюда шуршали четыре черные, мрачные рака в образе заштатных чиновников. Стоя у самой входной двери, они все-таки еще, вероятно, находили свое положение слишком выдающимся и, постоянно перешептываясь, пятились друг за друга назад и заводили клешни. Я прислушался к их шепоту: один рак жаловался, что его пристав совсем напрасно обвинил, будто он ночью подбил старый лубок к щели своей крыши; а другой, заикаясь и трясясь, повторял все только одно слово «в заштат». У самих дверей сидели два духовные лица, городской кладбищенский священник и сельский дьякон, и рассуждали между собою, как придется новая реформа приходским и кладбищенским. Причем городской кладбищенский священник все останавливался перед тем, что «как же, мол, это: ведь

у нас нет прихода, а одни мертвецы!» Но сельский дьякон успокоивал его, говоря: «а мы доселе и живыми и мертвыми обладали, но вот теперь сразу всего лишимся».

К этой паре вдруг вырвался из дверей и подскочил высокий, худощавый брюнет в черном просаленном фраке. Он склонился пред священником и с сильным польским акцентом проговорил:

— Э-э, покорнейше вас прошу благословить.

Священник немного смешался, привстал и, поддерживая левой рукой правый рукав рясы, благословил.

Вошедший обратился с просьбой о благословении и к дьякону. Дьякон извинился. Пришлец распрямился и, не говоря более ни одного слова, отошел к печке. Здесь, как обтянутый черною эмалью, стоял он, по-наполеоновски скрестя руки, с рыжеватой шляпой у груди, и то жался, то распрямлялся, поднимал вверх голову и вдруг опускал ее, ворошил длинным, вниз направленным, польским усом и заворачивался в сторону.

Становилось жарко и душно, как в полдень под лопухом; все начали притихать: только мухи жужжали, и рты всем кривила зевота.

Но всеблагое провидение, ведающее меру человеческого терпения, смилостивилось: зеленые суконные портьеры, закрывавшие дверь противоположного входу конца покоя, распахнулись, и вдоль залы, быстро кося ножками, прожег маленький борзый паучок, таща под мышкой синюю папку с надписью «к докладу», и прежде, чем он скрылся, в тех же самых темных полотнищах сукна, откуда он выскочил, заколыхался огромный кит... Этот кит был друг мой, Василий Иванович Фортунатов. Он стал, окинул глазами залу, пошевелил из стороны в сторону челюстями и уплыл назад за сукно.

В зале все стихло; даже гусар с барышней стали в шеренгу, и только окунь хватил было «физически Катьку не мог я прибить», но ему разом шикнуло несколько голосов, и прежде чем я понял причину этого шика, пред завешенными дверями стоял истый, неподдельный, вареный, красный омар во фраке с отличием; за ним водил челюстями Фортунатов, а пред ним, выгибаясь и щелкая каблук о каблук, расшаркивался поляк.

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Фортунатов пошептал губернатору на ухо и показал на меня глазами.

Губернатор сощурился, посмотрел в мою сторону и, свертывая ротик трубочкой, процедил:

— Я, кажется, вижу господина Ватажкова?

Я подошел, раскланялся и утвердил его превосходительство в его догадке.

Губернатор подал мне руку, ласково улыбнулся и потянул меня к портьере, сказав:

— Я сейчас буду.

Фортунатов шепнул мне:

— Ползи в кабинет, — и каким-то непостижимо ловким приемом одним указательным пальцем втолкнул меня за портьеру.

Здесь мне, конечно, нельзя было оставаться между портьерой и дверью: я налег на ручку и смешался... Передо мной открылась большая наугольная комната с тремя письменными столами: один большой посредине, а два меньшие — у стен, с конторкой, заваленною бумагами, с оттоманами, корзинами, сонетками, этажеркой, уставленною томами словаря Толя и истории Шлоссера, с пуговками электрических звонков, темною и несхожею копией с картины Рибейры, изображающей св. Севастиана, пронзенного стрелой, с дурно написанною в овале головкой графини Ченчи и олеографией тройки Вернета — этими тремя неотразимыми произведениями, почти повсеместно и в провинциях и в столицах репрезентующих любовь к живописи ничего не понимающих в искусстве хозяев. Эти три картины, с которыми, конечно, каждому доводилось встречаться в чиновничьих домах, всегда производили на меня точно такое впечатление, какое должны были ощущать сказочные русские витязи, встречавшие на распутье столбы с тремя надписями: «самому ли быть убиту, или коню быть съедену, или обоим в плен попасть». Тут: или быть пронзенным стрелою, как св. Севастиан, и, как он же, ждать себе помощи от одного неба, или совершать преступление над преступником и презирать тех, кто тебя презирает, как сделала юная графиня Ченчи, или нестись отсюда по долам, горам, скованным морозом рекам и перелогам на бешеной

тройке, вовсе не мечтая ни о Светланином сне, ни о «бедной Тане», какая всякому когда-либо мерещилась, нестись и нестись, даже не испытуя по-гоголевски «Русь, куда стремишься ты?» а просто... «колокольчик динь, динь, динь средь неведомых равнин»... Но все дело не в том, и не это меня остановило, и не об этом я размышлял, когда, отворив дверь губернаторского кабинета, среди описанной обстановки увидел пред самым большим письменным столом высокое с резными украшениями кресло, обитое красным сафьяном, и на нем... настоящего геральдического льва, каких рисуют на щитах гербов. Лев окинул меня суровым взглядом в стеклышко и, вместо всякого приветствия, прорычал:

— Доклад уже кончен, и губернатор более заниматься не будет...

Я еще не собрался ничего на это отвечать, как в кабинет вскочил Фортунатов и, подбежав ко льву, назвал мою фамилию и опять выкатил теми же пятами.

Лев приподнялся, движением брови выпустил из орбиты стеклышко и... вместе с тем из него все как будто выпало: теперь я видел, что это была просто женщина, еще не старая, некрасивая, с черными локонами, крупными чертами и повелительным, твердым выражением лица. Одета она была строго, в черное шелковое платье без всякого банта за спиной; одним словом, это была губернаторша.

Она довольно приветливо для ее геральдического величия протянула мне руку и спросила, давно ли я из-за границы, где жил и чем занимался. Получив от меня на последний вопрос ответ, что я отставным корнетом пошел доучиваться в Боннский университет, она меня за это похвалила и затем прямо спросила:

— А скажите, пожалуйста, много ли в Бонне поляков?

Я отвечал, что, на мой взгляд, их всего более учится военным наукам в Меце.

— Несчастные, даже учатся военным наукам, но им все, все должно простить, даже это тяготение к школе убийств. Им по-прежнему сочувствуют в Европе?

— Кто не знает сущности их притязаний, те сочувствуют.

— Вы не так говорите, — остановила меня губернаторша.

— Я вам сообщаю, что видел.

— Совсем не в том дело: на них, как и на всю нашу несчастную молодежь, направлены все осадные орудия: родной деспотизм, народность и православие. Это омерзительно! Что же делают заграничные общества в пользу поляков?

— Кажется, ничего.

— А у нас в Петербурге?

Я отвечал, что вовсе не знал в Петербурге таких обществ, которые блюдут польскую справу.

— Они были, — таинственно уронила губернаторша и добавила, — но, разумеется, все они имели другие названия и действовали для вида в других будто бы целях. Зато здесь, в провинциях, до сих пор еще ничего подобного... нет, и тут эти несчастные люди гибнут, а мы, глядя на них, лишь восклицаем: «кровь их на нас и на чадех наших». Я не могу... нет, решительно не могу привыкнуть к этой новой должности: я не раз говорила Егору Егоровичу (так зовут губернатора): брось ты, Жорж, это все. Умоляю тебя, хоть для меня брось, потому что иначе я не могу, потому что на тебе кровь... Напиши откровенно и прямо, что ты этого не можешь: и брось, потому что... что же это такое, до чего же, наконец, будет расходиться у всех слово с делом? На нас кровь... брось, умой руки, и мы выйдем чисты.

Я заметил, что у супруга ее превосходительства прекрасная должность, на которой можно делать много добра.

— Полноте, бога ради, что это за должность! Что такое теперь губернаторская власть? Это мираж, призрак, один облик власти. Тут власть на власти; одни предводители со своим земским настроением с ума сведут. Гм, крепостники, а туда же, «мы» да «мы». Мой муж, конечно, не позволит, но одному губернатору предводитель сказал: «вы здесь калиф на час, а я земский человек». Каково-с! А Петербург и совсем все перевертывает по-своему и перевертывает, никого не спросясь. Зачем же тогда губернаторы? Не нужно их вовсе, если так. Нет, это самое неприятное место, и я им совершенно недовольна; разумеется, если Егор Егорович говорит, что это

нужно для будущего, то я в его мужские дела не мешаюсь, но все, что я вижу, все, во что я вникаю в течение дел по его должности, то, по-моему, это такая мизерность, которою способному человеку даже стыдно заниматься.

— Какие же места вам, — спрашиваю, — нравятся больше губернаторских?

— Ах боже мой! да мало ли нынче дел для способного человека: идти в нотариусы, идти в маклера, в поверенные по делам, — у нас ведь есть связи: наконец, издавай газету или журнал и громи, и разбивай, и поднимай вопросы, и служи таким образом молодому поколению, а не правительству.

В это время разговор наш прервался приходом губернатора, который возвратился с видом тяжкого утомления и, пожав мне молча с большим сочувствием руку, бережно усадил меня в кресло.

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

— Мы говорим здесь, Грегуар, о тебе, — начала губернаторша. — Господин Ватажков находит, что твое место лучшее из всех, на какое ты мог бы рассчитывать.

Я поспешил поправить редакцию этой фразы и восстановил свои слова в их точном смысле.

— Помилуйте, мало ли дела теперь способному человеку, — отвечал мне, махнув рукою, губернатор и сейчас же добавил: — но я ничего не имею и против этого места; и здесь способный человек мог бы, и очень бы мог кое-что делать, если бы только не эта вечная путаница всех слов, инструкций, требований и... потом эти наши суды-с!.. — Губернатор зажмурил глаза и пожал плечами. — Вы здесь уже несколько дней, так вы должны были слышать о разбирательстве купца, избившего мещанина по его якобы собственной просьбе?

Я отвечал, что мне это известно.

— Это верх совершенства! — воскликнул губернатор и, захохотав, добавил: — А еще хотим всех ру-с-си-фи-ци-ро-ва-ть... А кстати, — обернулся он к жене, — ты знаешь, наш фортепианный настройщик совсем руссифи-

цировался — принял православие, а потому просит об определении.

Губернатор в последней фразе очень хорошо передразнил виденного мною полячка, а губернаторша в это время вскинула в глаз стеклышко, и передо мною опять явился самый грозный геральдический лев.

— И ты, Грегуар, дашь ему какое-нибудь место? — спросила она строго мужа.

— Ну, не знаю, друг мой... пока еще ничего не знаю, — отвечал несколько потерянно губернатор.

— Я надеюсь, что не дашь.

— Это почему?

— Изменнику! я этого не позволяю.

— Ну, вот видишь, как ты скора́: не позволяешь поляку переменить веры, не разобравши, для чего он это делает? Почему же ты не допускаешь, что у него могло случиться и довольно искренне?

— Полно, бога ради! Он не так глуп, чтобы придавать значение поповской стрижке: все веры вздор, — творец всего кислород.

— Ну, хорошо, это так, я допускаю, что единственный бог есть бог — кислород, но твой полячок беден... «жена и дзеци», а им нужно дрова и свечи... Ах, как все вы, господа, даже самые гуманнейшие, в сущности злы и нетерпимы! Ну, ну, сделал бедный человек что-нибудь для того, чтоб усвоить возможность воспользоваться положением дел... ну, ну, что вам от этого, très chaud [1] или froid? [2] Ничуть не бывало: вокруг вас все обстоит благополучно, и ничто не волнуется, кроме собственной вашей нетерпимости. Удивительно, как это у нас повсюду развился этот талант подуськивать, — проговорил он, оборачивая ко мне довольное, благодушным матом розового либерализма подернутое лицо. — Я часто, слушая похвалы нынешнему веку, говорю себе: нет, я старовер! Помилуйте, что такое за прогресс в этом воинственном настроении? Я тебя рву за руки, а ты меня тянешь за ноги... Гони, догоняй, бей!.. улё-лё, ату его, и всё за что? За то, что ты как-нибудь не так крестишься или не так думаешь... Помилуйте! помилуйте! что это такое?

---

[1] Очень жарко *(франц.)*.
[2] Холодно *(франц.)*.

Ты поляк, ты немец, ты москаль... Да что это за вздор, я вас спрашиваю? Не все ли равно люди? Бог, говорят, даже и жидов манной кормил, а теперь я должен всех их из города выгнать... Я больше бога, что ли? И это прогресс! И это *девятнадцатый век!* Нет, я старовер — и неисправимый старовер. И где здесь, не понимаю, дипломатические соображения? Я решительно не знаю, чего смотрят у нас? Помилуйте: нам ли считаться, например, с Англией? Где у нас Дерби? Дайте мне Дерби! Он у них из плохеньких, но а нам еще ничего-с; нам еще был бы хорош-с! Дайте его мне, и я его приспособлю, но нет-с его-с, вот в чем дело! Нам ли ссориться с кем-нибудь в Европе, когда у нас на свои самые пустые домашние дела способных людей нет. Где он у нас — *человек?* Я часто слышу о способных людях, но на чем же испытываются их способности? Нет, дайте ему задачу... Да этого мало-с; у нас еще ни в чем настоящего движения нет; у нас никакой, ровно никакой жизни нет: все... фикции, одни фикции! Пожалуйста, загляните только в газеты... что это такое? Все ведь стоит! Разве это печать, которая всегда вертится вокруг да около? А тут обрусение, армия, споры, Бокк, Фадеев, Ширрен, Самарин, Скарятин, Катков... Что это, спрашиваю вас, за особы?.. А о них спор, раздор, из-за них дробление на партии, а дела делать некогда и некому. Нет-с, я старовер, и я сознательно старовер, потому что я знал лучшее время, когда все это только разворачивалось и распочиналось; то было благородное время, когда в Петербурге школа устраивалась возле школы, и молодежь, и наши дамы, и я, и моя жена, и ее сестра... я был начальником отделения, а она была дочь директора... но мы все, все были *вместе:* ни чинов, ни споров, ни попреков русским или польским происхождением и симпатиями, а все заодно, и... вдруг из Москвы пускают интригу, развивают ее, находят в Петербурге пособников, и вот в позапрошлом году, когда меня послали сюда, на эту должность, я уже ничего не мог сгруппировать в Петербурге. Я хотел там хорошенько обстановиться и приехать сюда с своими готовыми людьми, но, понимаете, этого уже нельзя, этого уже невозможно было сделать, потому что все на себя печати поналожили: тот абсолютист, тот конституционалист, этот радикал... и каждый хочет, чтобы я держал его сторону...

Да что это за вздор такой, господа? К чему, позвольте мне узнать, я стану держать чью-нибудь сторону?.. Я вовсе не вижу на то причины! *Кто я и что я*, это дело моей совести и должно оставаться моею тайной... И, наконец, все это глупость; я понимаю абсолютизм, конечно, не по-кошелевски; я имею определенные чувства к республикам известного строя, к республикам с строгим и умным правлением, но... (губернатор развел руками), но... конституционное правительство... извините меня, это черт знает что!.. Но, впрочем, я и в этом случае способен не противоречить: учредите закрытую баллотировку, и тогда, я не утаюсь, тогда я выскажусь, и ясно выскажусь; я буду знать тогда, куда положить мой шар, но... иначе высказываться и притом еще высказываться теперь именно, когда начала всех, так сказать, направлений бродят и имеют более или менее сильных адептов в самых влиятельных сферах, и кто восторжествует — неизвестно, — нет-с, je vous fais mon compliment,[1] я даром и себе и семье своей головы свернуть не хочу, и... и, наконец, — губернатор вздохнул и договорил: — и, наконец, я в настоящую минуту убежден, что в наше время возможно одно направление — *христианское,* но не поповско-христианское с запахом конопляного масла и ладана, а высокохристианское, как я его понимаю...

Он сложил котелочкой два пальца левой руки и, швыряя во все стороны тихие щелчки, от которых будто должно было летать что-то вроде благодати, шептал:

— Мир, мир и мир, и на все стороны мир — вот что должно быть нашей задачей в данную минуту, потому что concordia parva res crescunt — малые вещи становятся великим согласием, — вот что читается на червонце, а мы это забываем, и зато у нас нет ни согласия, ни червонцев. Вот вам и тема; садитесь и пишите!

Я молчал, а губернатор хлебнул воды и перевел дух.

— Вам навязывают труд о сельских больницах, — заговорил он после этой поправки. — Это всегда так у нас; свежий, способный человек — его сейчас и завалят хламом; нет, а вы дайте человеку идти самому; пусть он *сам* берет себе вопрос и работает... Я разработать ничего не могу — некогда; я могу бросить мысль — вот мое дело, —

---

[1] Благодарю вас *(франц.)*.

и он опять начал пускать на воздух щелчки... — Но я должен иметь людей, способных поднять, подхватить мою мысль на лету и развить ее... тоже на лету, а таких людей нет, положительно нет. И, не забудьте, их у нас нигде теперь нет! Их у самого Горчакова нет... я по крайней мере их там не вижу. То же самое, что везде-с... Возятся со славянским вопросом, и ни взад, ни вперед! Разве так надо? Если б это вести как должно, то есть если бы не скрывать, что, с одной стороны, панславистский вопрос — это вопрос революционный; что вообще национальности — дело аристократическое, ибо мужику-с все равно, русский с него подати берет или нерусский, а насильственно обрусить никого нельзя, потому что... был-с век созидания искусственных монархий, а теперь...

Губернатор бросил свои руки по разным направлениям и проговорил:

— Теперь-с вот что: теперь век разъединения всяких насильственных политических сцеплений, и против этого бороться глупо-с... Извините, бросая мысли, я увлекаюсь, но вы это оформите мягче.

Я только поглядел на этого мечтателя... Нет, думаю, сам, брат, оформливай, что набросал.

Он, вероятно, заметил мое недоумение и спросил, намерен ли я служить.

— Нет, — отвечаю, — отнюдь не намерен.

— А почему?

Я хотел было сказать, что неспособен; но, думаю, попадусь; скажет: «да неспособным-то и служить», и ответил, что мое здоровье плохо.

— Полноте, бога ради! Нынешняя служба никого не изнуряет. Василий Иванович говорил мне, что вы нуждаетесь в некоторых материалах для своей работы о больницах. Чудак этот Василий Иванович! — вставил губернатор с добродушной улыбкой. — Труженик вечный, а мастер — никогда! Я как увидел его — сказал это, и не ошибся.

— А я его очень люблю, — сухо заметила губернаторша, выбрасывая стеклышко из глаза и делаясь опять из страшного льва просто неприятной женщиной.

— И я, мой друг, его люблю, — отозвался губернатор, — но не могу же я его способностям давать больше цены, чем они стоят. Не могу я ему ставить пять баллов,

когда ему следует два... только два! Он прекрасный человек, mais il est borné... он ограничен, — перевел мне его превосходительство и добавил, что он велел Фортунатову пустить меня в канцелярию, где мне «всё откроют», и просил меня быть с ним без чинов и за чем только нужно — идти прямо к нему, в чем даже взял с меня и слово.

Для первого визита мне показалось довольно.

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Я поблагодарил, раскланялся и ушел обласканный, но очень недовольный собой. Что это за вздорное знакомство? Противно даже. Зато, думаю, более меня не позовут, потому что, верно, и я им, в свою очередь, не очень понравился. Но Фортунатов зашел вечером и поздравляет:

— Прекрасно, — говорит, — ты себя держал, ты верно все больше молчал.

— Да, — говорю, — я молчал.

— Ну вот, губернатор тебя нашел очень дельным и даже велел сегодня же к нему писаря прислать: верно хочет «набросать мыслей» и будет просить тебя их развить; а губернаторша все только сожалеет, что не могла с тобой наедине поговорить.

— О чем же? Мы с ней и так, кажется, много говорили и о поляках и о призваниях.

— Ну, да про поляков теперь уж все пустое, с полгода тому беда была у нас. Тут есть полячок, Фуфаевский, — он все нашим дамам будущее предсказывает по линиям рук да шулерничает, — так он ее напугал, что на ней польская кровь где-то присохла. Она, бедняга, даже ночью, как леди Макбет, по губернаторскому дому все ходила да стонала: «Кровь на нас, кровь! иди прочь, Грегуар, на тебе кровь!» Ну, а тому от нее идти прочь неохота: вот она его этим и переломила на польскую сторону... Да все это вздор. Она мне что-то другое о тебе говорила. О чем бишь она хотела от тебя, как от способного человека, узнать?.. Да! вспомнил: ей надо знать, открыто или нет средство, чтобы детей в реторте приготовлять?

— Это, — говорю, — что за глупость?

— Писано, — говорит она, — будто было про это, а ей непременно это нужно: она дошла по книжке Пельтана, что женщины сами виноваты в своем уничижении, потому что сами рождают своих угнетателей. Она хочет, чтобы дети в ретортах приготовлялись, какого нужно пола или совсем бесполые. Я обещал ей, что ты насчет этих реторт пошныряешь по литературе и скажешь ей, где про это писалось и как это делать.

— Ты, — говорю, — шут гороховый и циник.

— Нет, ей-богу, — говорит, — я ей обещал, — да еще сам, каналья, и смеется.

— Ну, а успел обещать, так умей сам и исполнять как знаешь.

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Целую ночь я однако ж продумал, лежа в постели: что это за люди и что за странный позыв у них к самой беспричинной и самой беззаветной откровенности? Думал, решал и ничего не решил; а наутро только что сел было за свою записку, как вдруг является совсем незнакомый господин, среднего роста, белый, белобрысый, с толстыми, бледными, одутловатыми щеками, большими выпуклыми голубыми глазами и розовыми губками сердечком.

Вошел он очень торопливо, размахивая фуражкой, плюхнул прямо на стул у моего письменного стола и, усевшись, отрекомендовался Семеном Ивановичем Дергальским.

Говорит картавя, присюсюкивая и сильно поплевывая в собеседника.

— Плишел, — говорит, — к вам с доблым намелением, вы человек чузой и не видите, что с вами тволят. Кто вас лекомендовал Фольтунатову?

Я отвечал, что мы с Фортунатовым старые знакомые.

— Плесквельно, это плесквельно! — заговорил мой гость. — Фольтунатов пельвый подлец! Извините меня: он вась длуг, но я плезде всего цестный целовек и говолю плявду. Это он вас повел к губельнатолю?

— Он.

— Ах, мельзавец! Извините, я говолю всегда плямо. Он ведь не плявитель канцелялии, а фокусник; он сам и есть «севельный маг и вольсебник». Он хитл как челт. Длугие плячут... Но, позвольте, я это написю.

Я подал ему карандаш, а он написал *прячут* и продолжал:

— Да-с; плячут от начальства новых людей, а он налосьно всех подводит и члесь то бесплистлястным слывет, а потом всех в дуляцкие кольпаки налязает. Я самое тлюдное влемя в западных губельниях слюзил, и полезен был, и нагляды полючал, потому сто я плямой настояссий лусский целовек... Я не хитлец, как он, сто баляхнинским налечием говолит, а сам и насым и васым, хузе зида Иоськи, что ваксу плодает; а я, видите, я даже на визитных кальточках себя не маскилую... — и с этим он подал мне свою карточку, на которой было напечатано: *Семен Иванович Дергальский — почтовый люстратор.* — Видите, как плямо иду, а он ботвинью и бузянину лопает, а люсских людей выдает ляху Фуфаевскому. Он сказал мне: «я тебя с губельнатолом сблизу и всех ляхов здесь с ним выведесь»... как самого способного целовека меня пледставил. Губельнатоль плосил меня: «будьте, говолит, моим глазом и ухом, потому сто я хоть знаю все, сто делается в голоде, а сто из голода...» Но, позвольте, это я написю.

И он написал: *в городе,* и продолжал снова:

— «Сто из голода выезжает, это только вы одни мозете знать». Я на это для обьсей пользы согласился, а Фольтунатов мне так устлоил, что я с губельнатолом говолить не мог.

— Отчего же?

— Потому сто губельнатолша всегда тут зе вельтится: Фольтунатову, подлецу, это на луку: ему она не месяет; потому сто он пли ней налёсно о лазных вздолях говолит: как детей в летолтах плиготовлять и тому подобное, а сам подсовывает ее музу сто хоцет к подписи, мелзавец, а я долзен был делю лясказать, что я за день плолюстлиловал, кто о цем писет, — а она не выходит. Я как настояссий слузбист плямо посол, плямым путем, и один лаз пли ней плямо сказал ему: «васе плевосходи-

тельство, мы о таких вестях не плиучены говолить пли тлетьем лице», а она сейчас: «Это и пликласно! — говолит, — Глегуал, выди, мой длуг, вон, пока он долозит!» Сто я тут мог сделать? Я нацинаю говолить и, наконец, забываю, сто это она, а не он, и говолю, сто Фуфаевский послал своему блату в Польсу письмо, стоб он выслал ему сюда для губельнатолсы симпатицескую польскую блошку, стобы под платьем носить; а она как вскочит... «Глегуал! — кличит, — лясполядись сейчас его уволить! он меня обидел», — и с тех пол меня в дом не плинимают. Тут Фольтунатов как путный и вмесялся. «Позвольте, говолит, вам объяснить: ведь он это не со злым умыслом сказал: он хотел сказать, сто Фуфаевский выписывает для губельнатолсы польскую блошку, а сказал *блошку...»* Но нет, позвольте каландаш, а то вы тоже этого не поймете.

Дергальский схватил карандаш и написал четко *б-р-о-ш-к-у.*

— Вот сло о цем дело! — продолжал он, — и это им Фольтунатов объяснил, да кстати и всем лазблаговестил и сделал меня сутом голоховым, а для чего? для того, сто я знал, сто он губельнатолу яму лоет.

— Он... губернатору яму роет?

— А как зе? Я знаю, сто он ему один лаз дал подписать, и куда он это хотел отплавить. Вот посмотлите, — и дает бумагу, на которой написано: «Отца продал, мать заложил и в том руку приложил», а подписано имя губернатора... — Я это знал, — продолжал Дергальский, — и стлемился после ссолы все это сообссить, но мне не доверяют, а почему? потому сто меня Фольтунатов сумаседсим и дулаком поставил, а подлец Фуфаевский на меня козла из конюсни выпустил, а козел мне насквозь бок логами плополол и изувецил меня пли всех поселедн улицы. Я тли месяца в постели лезал и послал самую плавдивую залобу, что козел на меня умысленно пуссен за мой патлиотизм, а они на смех завели дело «о плободании меня козлом с политицескими целями по польской интлиге» и во влемя моей болезни в Петелбулг статью послали «о полякуюссем козле», а тепель, после того как это напецатано, уж я им нимало не опасен, потому сто сситаюсь сумаседсим и интлиганом. Я вазные, очень вазные весси знаю, но не могу сказать, потому сто всё, сто

я ни сказю, только на смех поднимают: «его-де и козел с политицескими целями бил». Мне тепель одному делать нецего: я собилаю палтию и плисол вас плосить: составимте палтию.

— Позвольте, — говорю, — против кого же мы будем партию составлять?

— Плотив всех, плотив Фольтунатова, плотив всех пледателей.

— Да я здесь, — отвечаю, — новый человек и ни в какие интриги входить не хочу.

— Не хотите? а если не хотите в интлиги входить, ну так вы плопали.

— Напротив, со мной все очень доверчивы и откровенны!

Дергальский вскочил и захохотал.

— Поздлявляю! — заговорил он, — поздлявляю вас! *Откловенны*... здесь всегда с того начинается... все откловенны!.. Они как слепни все на нового целовека своих яиц накладут, а потом целвяки-то выведутся да вам скулу всю и плоглызут...Поздлявляю! Тепель вы много от них слысали длуг пло длуга, — ну и попались; тепель все вас и станут подозлевать, что вы их длуг длугу выдаете. Не вельте им! никому не вельте! Не интлиговать здесь тепель никому нельзя — повельте, нельзя. Даже когда вы интлигуете — меньше глеха; вы тогда на одной столоне... Мой вам совет: составимте палтию.

— Нет-с, — отвечаю, — я ни к какой партии здесь принадлежать не намерен, я сделаю свое дело и уеду.

— Нет-с, вы так не сделаете; сначала все так говолят, а как вам голяцего за козу зальют, так и не уедете. Генелал Пеллов тоже сюда на неделю плиехал, а как пледводитель его нехолосо плинял, так он здесь уж втолой год живет и ходит в клуб спать.

«Это еще, — думаю, — что такое?»

— Пеллов, Пеллов, известный генелал... — Дергальский опять схватил карандаш и написал: *П-е-р-л-о-в*. — Знаете?

— Знаю.

— Ну вот он самый и есть: и зена и дети узе сюда к нему едут, — он бедный целовек, а больсе тысяци лублей стлафу в клуб пелеплацивает, и вот увидите, будет здесь сидеть, пока совсем лазолится.

— А зачем он платит штраф?

— А потому сто все пледводителю этим мстит: пледводительский зять сталсиной в клубе, а Пеллов всякое его дезулство плиходит и спит в клубе до утла, стоб и пледводительский зять, как сталсина, сидел, — вот за это и платит.

Что такое за чепуха? Неужто все это вправду выделывается в такое серьезное время? Дергальский клянется и божится, что все это именно так; что предводитель терпеть не может губернатора и что потому все думали, что они с генералом Перловым сойдутся, а вышло иначе: предводитель — ученый генерал и свысока принял Перлова — боевого генерала, и вот у них, у двух генералов, ученого и боевого, зашла война, и Перлов, недовольный предводителем, не будучи в силах ничем отмстить ему лично, спит в клубе на дежурстве предводительского зятя и разоряет себя на платежи штрафа. Черт знает что такое!

— Вы, — говорю, — не имеете ли каких-нибудь соображений об устройстве врачебной части России? Вот это мне очень интересно!

— Нет, — отвечал Дергальский, — не имею... Я слихал, сто будто нас полицеймейстель своих позальных солдат от всех болезней келосином лечит и очень холосо; но будто бы у них от этого животы насквозь светятся; однако я боюсь это утвельздать, потому сто, мозет быть, мне все это на смех говолили, для того, стоб я это ласпустил, а потом под этот след хотят сделать какую-нибудь действительную гадость, и тогда пло ту уз нельзя будет сказать. Я тепель остолозен.

— Не поздно ли?

— Да, поздно; но если составить палтию...

— Нет, меня, — говорю, — увольте.

— Залею, — говорит, — оцень. Вы по клайней меле хоть цем-нибудь запаситесь.

— Чем же?

— Секлет какой-нибудь имейте в луках, а то...

— Чего же вы опасаетесь?

— Чего? пелвым вледным целовеком вас сделают, да-с!

С этим Дергальский вздохнул, крепко сжал мою руку и вышел.

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Ужасно расстроил меня этот сюсюкающий господин и звуком своего голоса, и своими нервами, и своими комическими несчастиями, и открытием мне глаз. Последнее особенно было мне неприятно. В самом деле: где же это я и с кем я? И, наконец, кто же мне ручается, что он сам говорит правду, а не клевещет? Одним словом, я в мужском теле ощущал беспокойное чувство женщины, которой незваная и непрошенная дружба открывает измены любимого человека и ковы разлучницы. На что мне было знать все это, и какая польза мне из всех этих предостережений? Лучше всего... в сторону бы как-нибудь от всего этого.

Открываюсь Фортунатову: говорю ему, что мне что-то страшно захандрилось, что я думаю извиниться письмом пред предводителем и уехать домой, отказавшись вовсе представлять мою неоконченную записку об устройстве сельской медицины.

Фортунатов вооружился против этого.

— Это, — говорит, — будет стыд и позор, срам и бесчестие; да и отчего это тебе вдруг пришла фантазия бежать?

— Робость, — шучу, — напала.

— Да ты не ухмыляйся; у тебя неравно не был ли как-нибудь наш сюсюка?

— Кто это сюсюка?

— Почтмейстер.

— Ты, — говорю, — отгадал: он был у меня.

Фортунатов хлопнул по столу рукой и воскликнул:

— Экое веретено, экая скотина!.. Такой мерзавец: кто ни приедет новый человек, он всегда ходит, всех смущает. Мстит все нам. Ну, да погоди он себе: он нынче, говорят, стал ночами по заборам мелом всякие пасквили на губернатора и на меня сочинять; дай срок, пусть его только на этой обличительной литературе изловят, уж я ему голову сорву.

— Он, — говорю, — и без того на тебя плачется и считает тебя коварным человеком.

— Коварным? Ладно, пусть считает. Дурак он, и больше ничего: его уж и козлы с политическими целями бьют.

— Он это никому, однако, не говорил.

— Не знаю, говорил или не говорил, а в сатирических газетах было писано; не читал статью: «Полякующий козел»?

— Нет, не читал и не хочу.

— Напрасно, — это остроумно написано, да к тому же это и правда: я наверно знаю: это Фуфаевский учил козла биться и спустил его на Дергальского.

— Извините, пожалуйста, но это не делает всем вам чести, что вы злите человека до потери сознания, пока он на всех кошкой стал бросаться.

Фортунатов харкнул и плюнул.

— Нечего, — говорю, — плевать: он комичен немножко, а все-таки он русский человек, и пока вы его не дразнили, как собаку, он жил, служил и дело делал. А он, видно, врет-врет, да и правду скажет, что в вас русского-то только и есть, что квас да буженина.

— Ты, брат, — отвечает мне Фортунатов, — если тебе нравится эти сантиментальные рацеи разводить, так разводи их себе разводами с кем хочешь, вон хоть к жене моей ступай, она тебя, кстати, морошкой угостит, — а мне, любезный друг, уж все эти дураки надоели, и русские, и польские, и немецкие. По мне хоть всех бы их в один костер, да подпалить лучинкою, так в ту же пору. Вот не угодно ли получить бумаги ворошок — позаймись, Христа ради, — и с этим подает сверток.

— Что это такое?

— Губернаторские мысли, как все извлечь из ничего.

Разворачиваю и читаю, великолепнейшим каллиграфическим почерком надписано: «Секретно. Ряд мыслей о возможности совмещения мнимо несовместимых начал управления посредством примирения идей».

— Ну что это ты мне, Василий Иваныч, за вздор такой приносишь?

— А ты обработай, чтоб оно вышло не вздор.

— Нет, — опять говорю, — Дергальский, видно, прав, что ты нарочно всем подводишь вот этакий неразрешимый вздор разрешать.

Фортунатов повел на меня косо глазами, обошел комнату, и поравнявшись с тем местом, где я сидел, вдруг ткнул мне кукиш.

— Вот на-ка, — говорит, — тебе с твоим Дергальским! Напрасно я за всех за вас в петлю небось не лезу! Я, брат,

с натурою человек был, а не мудрец, и жену любил, а от этого у меня шесть детей приключилось: им кусок хлеба надо. Что вы, черти, в самом деле, на меня претендуете? Я человек глупый, — ну, так и знайте. Я и сам когда-то было прослыл за умного человека, да увидал, что это глупо, что с умом на Руси с голоду издохнешь, и ради детей в дураки пошел, ну и зато воспитал их не так, как у умников воспитывают: мои себя честным трудом пропитают, и ребят в ретортах приготовлять не станут, и польского козла не испужаются. Что-нибудь одно: умом хочешь кичиться, — ну, другого не ищи, либо терпи, пусть тебя дурак дураком зовет. А мне плевать на все: хоть зовуткой зови, только хлебом корми.

— Прегадкая, — говорю, — у тебя философия.

— Своя, брат, зато: не у немца вычитал; эта по крайности не обманет.

— Скажи лучше, не знаком ли ты с генералом Перловым?

— С Иваном-то воином?

— Да.

— Господи помилуй! — Фортунатов перекрестился и нежным, ласковым тоном добавил: — Я обожаю этого человека.

— Он как же, по-твоему: умен или глуп?

Фортунатов покусал себе ноготь, вздохнул и говорит:

— Это ведь у нас только у одних таких людей ценить не умеют. У англичан вон военачальник Магдалу какую-то, из глины смазанную, в Абиссинии взял, да и за ту его золотом обсыпали, так что и внуки еще макушки из золотой кучи наружу не выдернут; а этот ведь в такой ад водил солдат, что другому и не подумать бы их туда вести: а он идет впереди, сам пляшет, на балалайке играет, саблю бросит, да веткой с ракиты помахивает: «Эх, говорит, ребята, от аглицких мух хорошо и этим отмахиваться». Душа занимается! Солдатам-то просто и задуматься некогда, — так и умирают, посмеиваясь, за матушку за Русь да за веру!.. Как хочешь, ведь это, брат, талант! Нет, это тебе сюсюка хорошо посоветовал: ты сходи к Перлову, не пожалеешь.

— Да как же, — говорю, — я и рад бы пойти, да не могу: надо же, чтобы меня ему кто-нибудь представил.

— Сделай милость, выбрось ты из башки этот вздор: ничего этого у нас не надо: мы люди простые, едим пряники неписаные, а он такой рубака... и притом ему делать нечего, и он очень рад будет пред новым человеком начальство поругать.

— А это для чего же? — спрашиваю.

— Что это — начальство-то ругать? Да это уж, знаешь, такая школа: хорош жемчужок, да не знаешь, куда спрятать; и в короб не лезет и из короба не идет; с подчиненными и с солдатами отец, равному брат, а старшего начальства не переносит, и оно, в свою очередь, тоже его не переваривает. Да он и сам не знает, на какой гвоздок себя повесить. Службу ему надо, да чтобы без начальства, а такой еще нет. Одно бы разве: послать его с особою армией в Центральную Азию разыскать жидов, позабытых в плену Зоровавелем. Это бы ему совсем по шерсти, — так ведь не посылают! Вот он, бедняга, здесь так и мается: коров доит, шинок держит, соседских кур на огороде стреляет да в клуб спать ходит.

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

На другой день встречаю случайно Фортунатова, а он и кричит еще издали:

— А я, — говорит, — брат, сейчас от кровожадного генерала: про тебя с ним разговаривали и про твои заботы о народе сказывал ему.

— Ну что же такое, — говорю, — что ты все с такими усмешками и про народ, и про мои заботы, и про генерала? Что же твой генерал?

— Очень рад тебя видеть, и о народе, сказал, поговорим. Иди к нему; теперь тебе даже уж и нельзя не идти, невежливо.

Сбывает, думаю, разбойник, меня с рук!.. Ну, а уж нечего делать: пойду к кровожадному генералу.

— Только ты, — говорит, — иди вечером и в сюртуке, а не во фраке; а то он не любит, если на визит похоже.

Я и на это согласился.

Пришел вечер, я оделся и пошел.

Домик кровожадного генерала я, разумеется, и прежде знал. Это небольшой, деревянный, чистенький

домик в три окна, из которых на двух крайних стояли чубуки, а на третьем, среднем, два чучела: большой голенастый красный петух в каске с перьями и молодой черный козленок с бородой, при штатской шпаге и в цилиндрической гражданской шляпе.

Подъезда с улицы нет, а у калитки нет звонка. Я взялся за большое железное кольцо и слегка потрепал его.

— Не стучите, не стучите, и так не заперто, — отвечал мне со двора немного резкий, но добрый и кроткий голос.

Я приотворил калитку и увидел пред собою необыкновенно чистенький дворик, усыпанный желтым песком, а в глубине — сад, отделанный узорчатою решеткой. На крыльце домика сидел тучный, крупный человек, с густыми волосами впроседь, с небольшими коричневыми, медвежьими глазками и носом из разряда тех, которые называются дулями. Человек этот был одет в полосатые турецкие шаровары и серый нанковый казакин. Он сидел на крыльце, прямо на полу, сложив ноги по-турецки. В зубах у него дымился чубук, упертый другим концом в укрепленную на одной ступени железную подножку, а в руках держал черный частый роговой гребень и копошился им в белой как лен головке лежавшего у него на коленях трехлетнего длинноволосого мальчишки, босого и в довольно грязной ситцевой рубашке.

— Пожалуйте! — проговорил он мне приветливо, увидя меня на пороге калитки, и при этом толкнул слегка мальчишку, бросил ему гребень и велел идти к матери.

— Это, что вы видите, — продолжал он, — кухаркин сын; всякий день, каналья, волочит ко мне после обеда гребень: «Дяденька, говорит, попугай неприятелей». Соседки-дьячихи дети, семинаристы, его научили. Прошу вас в комнату.

Я поклонился и пошел за ним, а сам все думаю: кто же это, сам он генерал Перлов или нет? Он сейчас же это заметил и, введя меня в небольшую круглую залу, отрекомендовался. Это был он, сам кровожадный генерал Перлов; мою же рекомендацию он отстранил, сказав, что я ему уже достаточно отрекомендован моим приятелем.

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

Мы сели в небольшой, по старине меблированной гостиной, выходящей на улицу теми окнами, из которых на двух стояли чубуки, а на третьем красный петух в генеральской каске и козел в черной шляпе, а против них на стене портрет царя Алексея Михайловича с развернутым указом, что «учали на Москву приходить такие-сякие дети немцы и их, таких-сяких детей, немцев, на воеводства бы не сажать, а писать по черной сотне».

В углу сиял от лампады большой образ пророка Илии с надписью: «ревнуя поревновах о боге вседержителе». Генерал свистнул и приказал вошедшей женщине подать нам чаю и, как предсказывал мой приятель, немедленно же начал поругивать все петербургское начальство, а затем и местные власти. Бранился он довольно зло и минутами очень едко и обращался к помянутому указу царя Алексея, но про все это в подробностях вам нечего рассказывать. Особенно зло от него доставалось высокопоставленным лицам в Петербурге; к местным же он относился с несколько презрительною иронией.

— Здесь верховодят и рядят, — говорил он, — козел да петух: вот я и изображение их из почтения к ним на окно выставил, — добавил он, указывая чубуком на чучел. — Здесь все знают, что это представляет. То вот этот петух — предводитель-многоженец — орет да шпорой брыкает; то этот козленок — губернатор — блеет да бороденкой помахивает, — все ничего: идет. Знаете, как покойный Панин Великой Екатерине отвечал на вопрос: чем сей край управляется? «Управляется, — говорил он, — матушка-императрица, милостию божиею да глупостию народной». — Генерал весело и громко засмеялся и потом вдруг неожиданно меня спросил:

— Вы Николая Тургенева новую книжку читали?

Я отвечал утвердительно. Генерал, помолчав, высморкался и сначала тихо улыбнулся, а потом совсем захохотал.

— «Стяните вы ее, Россию-то, а то ведь она у вас р-а-с-с-ы-п-е-т-с-я!» — привел он из тургеневской брошюры и снова захохотал. — Вы, впрочем, сами здесь, кажется, насчет стягиванья... липким пластырем, что ли, ее, Федорушку, спеленать хотите? — обратился он ко мне,

отирая выступившие от смеха слезы. — Скажите бога ради, что такое вы задумали нам приснастить.

Я рассказал.

— Пустое дело, — отвечал, махнув рукой, генерал. — Вы, может быть, не любите прямого слова; в таком случае извините меня, что я вам так говорю, но только, по-моему, все это больше ничего как от безделья рукоделье. Нет, вы опишите-ка нас всех хорошенько, если умеете, — вот это дело будет! Я знаю, что будь здесь покойный Гоголь или Нестор Васильич Кукольник, они бы отсюда по сту томов написали. Сюда прежде всего надо хорошего писателя, чтоб он все это описал, а потом хорошего боевого генерала, чтоб он всех отсюда вон выгнал. Вон что здесь нужно, а не больницы, о которых вас никто не просит. Чего вы их насильно-то навязываете? Молчат и еще, как Шевченко писал, «на тридцати языках молчат», а молчат, значит «благоденствуют».

Генерал опять засмеялся и потом неожиданно спросил:

— Вы Шевченку покойного не знали?

Я отвечал, что не знал.

— А ко мне его один полицеймейстер привозил. Расхвалил, каналья, что будто «стихи, говорит, отличные на начальство знает». Ну, мол, пожалуй, привезите: и точно недурно, даже, можно сказать, очень недурно: «Сон», «Кавказ» и «К памятнику», но больше всего поляков терпеть не мог. Ух, батюшка мой, как он их, бездельников, ненавидел! То есть это просто черт знает что такое! «Гайдамаки» читает и кричит: «будем, будем резать тату!» Я уж и окна велел позатворять... против поляков это, знаете, не безопасно, — и после целую неделю лопатой голос из комнаты выгребали — столько он накричал.

— Но вы же ведь, ваше превосходительство, — спрашиваю, — кажется, и сами очень изволите не любить поляков?

— Поляков? нет, я враждебного против них не имею ничего... а любить их тоже не за что. Аристократишки, трусы, дрянь, хвастуны, интриганы и рухавка... ух, какая рухавка! Ух, ух, ух, какая рухавка! Такие бездельники, что с ними драться-то даже не с кем. Как в шакалку не надо стрелять, потому что ружье опоганишь, так и в поляка; на него хорошего солдата посылать жалко. В по-

следнее повстанье я шел усмирять их, думал, что авось те канальи, которые в наших корпусах и в академиях учились, хоть те, хоть для гонора, для шика не ударят лицом в грязь и попрактикуют наших молодых солдатиков, — как-нибудь соберутся нас поколотить. Ничего не бывало: веровали, рухавка этакая канальская, что Наполеон на них смотрит, а смотреть-то и не на что. Подлейшая для нас война была! Если бы не кое-какие свои старые хитрости — просто бы несчастье: могли бы деморализоваться войска. У меня в два месяца один офицер влюбился в польку и убежал, один в карты проигрался и застрелился, да два солдатика с ума сошли. Сноситесь об этом по начальству, пишите в Петербург: много там поймут боевое дело «военные чиновники» и «моменты»!.. Я — вечное благодарение творцу и создателю (генерал набожно перекрестился), — я вышел из затруднений без петербургских наставлений.

Я говорю:

— Я слушаю, ваше превосходительство, с крайним любопытством.

Генерал стал продолжать.

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

— Я, — говорит, — действовал на корень: офицеры и солдаты скучали; надо было их развлечь, а в деревушке чем же их развлечь? Вижу, бывало, что уж очень затосковали и носы повесили, ну, и жаль их бывало; и говорю: ну, уж черт вас возьми, прозевайте, так и быть: выпустите человек пять пленных из сарая, пускай они по лесу побегают. А как те побегут, пошлешь за ними погоняться, — народ немножко и порассеется. Но только ведь, подите ж вы, треанафемские их души, эти полячишки: совсем от меня бегать не стали. «Бегите, паны», — шепчут им подученные люди, — нет, не идут! По пяти целковых, наконец, чрез верные руки давал каждому, который согласится бежать; деньги возьмут — а не бегут. Сам, наконец, лично, с глаза на глаз их подманивал: «Эх, говорю, паны, братья, какая большая банда здесь недалеко в лесу есть! — такая, мол, что даже боимся ее». Не идут, да и только!

— Но позвольте же, — возражаю, — но откуда же пленные-то у вас взялись?

— А это какие-то старые, еще до моих времен попались. Я их по наследству получил. При мне шаталась какая-то горстка, человек в шестьдесят; солдатики человек сорок из них закололи, а человек двадцать взяли. Я приказал тройку повесить, а человек пятнадцать назад выпустить, чтобы рассказывали, какой с ними у меня суд; с тех пор в моем районе все и стихло.

— Как же это, — спрашиваю, — вы без суда сейчас и повесили?

— Ну вот еще, судить! Чего ж поляков судить? Который виноват? Они все виноваты, а которого повесить, это солдаты гораздо правосуднее чиновников разбирают: которые потяжеле, пошибче ранены, тех и вздернут, а которые поздоровей и порезвей — тех выпустят, чтобы дальше пробежали да понагнали страху, как их москали пробирают. Зато этакой просто как заяц летит и службу свою мне лучше всякой газеты исполняет. Они, впрочем, и вообще народ исполнительный, ни с кем на свете так не легко управляться, как с поляками. Они в европейской политике действительно довольно непонятливы, по своей бестолковости: потому и Наполеона ждут к себе; но зато от природы сотворены, чтобы русской политике подчиняться, и, сами того не сознавая, очень ее любят, право. С поляком ведь, главное, не надо только церемониться и антимонии разводить; верен он — не кори его ничем, а если нашел у него порох в фортепиано, — как я у одного своего приятеля отыскал... тут же положил его на фортепиано да велел казакам хорошенько нагайками выпороть, а потом опять обедать его зазвал — и ничего. Поляк за это никогда не сердится. Напротив, этот мой приятель, после того как я его выпорол, даже всем меня хвалил — трубою про меня трубил: «остро, говорит, постемпуе, — але человек бардзо почтивый». Ведь и вся эта рухавка-то вышла из-за церемоний, все это «пять офяр», пять варшавских мертвецов наделали. Говор пошел: «стржеляойн нас, пане, москали!» Ну, вот вам и претекст для жалоб и к Наполеону и к Европе. Кровь, знаете, благородное дело! Тут и пан Халявский и пан Малявский — все в азарт входят: «и меня, и меня, говорят, ледви не застршелили!» А надо было никого не убивать и даже холостым

зарядом не стрелять, а казаков с нагайками на них да пожарную команду с водой. Как вспороли бы их хорошенько да водой, как кур, облили бы, — они бы и молчали, и не стали бы хвалиться, что «и я в скурэ достал», и «мне вóды за шие залили!», а, напротив, стали бы все перекоряться — Стась на Яся, а Ясь на Стася, — дескать, «меня не обливали» и «меня нагайкой не лупили». Что бы тут дипломаты вашей Европы-то, за кого бы стали заступаться, когда и обиженных нет? Надо ведь всегда играть на благородных страстях человека, а такового у поляков есть гордость: вот и надо бы не стрелять в них, а пороть да водою окачивать.

— Я полагаю, что ваше превосходительство шутите?

— Нимало-с; да что же шуточного во всем том, что я вам говорю?

— Помилуйте, да что же бы в самом деле Европа-то тогда о нас сказала?

— А вот теперь небось она зато про вас очень хорошо говорит! А я бы, будь моя воля, я бы и Европу-то всю выпорол.

Я даже не выдержал и рассмеялся.

— За что же, мол, ваше превосходительство, вы так строго хотите обойтись с Европой?

— С Европой-то-с! Господи помилуй: да мало ли на ней, на старой грешнице, всяких вин и неправд? И мотовство, и фатовство, и лукавство, и через нее, проклятую цивилизацию, сколько рабочих рук от сохи оторвано, и казенную амуницию рвет, — да еще не за что ее пороть! Нет-с; пороть ее, пороть!

— Если дастся.

— Вздор-с! Разумеется, если ее дипломатическим путем к тому приглашать, она не дастся, а клич по земле русской кликнуть... как Бирнамский лес с прутьями пойдем и всех перепорем, и славян освободим, и Константинополь возьмем, и Парижскую губернию учредим, — и сюсюку Дергальского туда губернатором посадим.

— Ну-с, — говорю, — о Парижской губернии, я полагаю, теперь нам уж не время думать, когда там Бисмарк и Мольтке хозяйничают.

— А что же такое ваши Бисмарк и Мольтке?

— Гениальные люди.

— Вздор-с, мы всех поколотим.

Я усумнился и поставил на вид превосходное устройство немецких сил и образованность их военачальников.

— Вздор-с, — возразил генерал. — Пусть себе они и умны и учены, а мы все-таки их поколотим.

— Да каким же образом?

— Да таким образом, что они там своими умами да званиями разочтут, а мы им такую глупость удерем, что они только рты разинут. Где по их, по-ученому, нам бы надо быть, там нас никого не будет, а где нас не потребуется, там мы все и явимся, и поколотим, и опять в Берлин Дергальского губернатора посадим. Как только дипломатия отойдет в сторону, так мы сейчас и поколотим. А то дипломаты!.. сидят и смотрятся, как нарциссы, в свою чернильницу, а боевые генералы плесенью обрастают и с голоду пухнут.

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

Я помолчал и потом тихо заметил генералу, что, однако, и дипломатических приемов огулом осуждать нельзя.

— Я и не спорю-с против этого, — отвечал генерал. — Я и сам дипломатии не отвергаю, но только я не отвергаю настоящей дипломатии, короткой. Ответь так, чтобы про твой ответ и рассказывать было нельзя. Со мною и самим бывали случаи, что я держался дипломатии. Я раз прихожу, не помню где-то в Германии, какого-то короля дворец хотел посмотреть. Ездил по Рейну, глядел, глядел на эти кирпичи, которые называют «развалинами», — страсть надоело. Дай на другое взгляну: наговорили про один дворец, что очень хорош и очень стоит, чтобы взглянуть, я и пошел. Прихожу-с; а там внизу пред самой лестницей сидит немец и показывает мне, скотина, пальцем на этакие огромные войлочные калоши.

— Это, мол, что такое?

— Надень, — говорит.

— Зачем же, мол, я их стану надевать?

— А затем, что без того, — говорит, — по дворцу не пойдешь.

— Ах ты, — говорю, — каналья этакая! Да я у своего государя не по такому дворцу, да и то без калош ходил, — а стану я для твоего короля шутом наряжаться!

— Ну, так вот, — говорит, — и не пойдешь!

А я плюнул ему в эти кеньги и сказал:

— Ну, так вот, скажи же своему королю, что я ему в калоши плюнул!..

Справлялся после этого, сказали ли что-нибудь об этом королю? ничего не сказали. Так и присохло. Вот такой тон, по-моему, должна держать и дипломатия: чтоб плюнул кому и присохло! На нас, боевых генералов, клевещут, будто мы только как цепные собаки нужны, когда нас надо спустить, а в системе мирного времени ничего будто не понимаем. Врут-с! А спросите-ка... теперь вот все газетчики взялись за то, что в Польше одна неуклонная система должна заключаться в том, чтобы не давать полякам забываться; а я-с еще раньше, когда еще слуха о последней рухавке не было, говорил: закажите вы в Англии или в Америке гуттаперчевого человека, одевайте его то паном, то ксендзом, то жидом, и возите его года в два раз по городам и вешайте. Послушайся они этого моего совета — никто бы и не ворохнулся, и капли крови не было бы пролито. Да что и говорить!

Генерал махнул рукой и добавил:

— Хоть бы на будущее-то время послушнее были, да загодя теперь такую штуку припасли бы, да по Ревелю, да по Риге повозили немцем одетую, а то ведь опять, гляди, скоро понадобится немцев колоть. А мне, как хотите, мне немцев жалко: это не то, что гоноровое полячье безмозглое, — это люди обстоятельные и не перепорть мы их сами, они приятнейшие соотечественники нам были бы. Я, помню, сам в Остзейском крае два года стоял при покойном императоре, так эти господа немцы нам первые друзья были. Бывало, ничего каналья и по-русски-то не понимает, а даже наши песни поет: заместо «по мосту-мосту» задувает:

Оф дем брике, брике, брике,
Оф дем калинишев брике.

А нынче вон, пишут, и они уже «Wacht am Rhein»[1] запели и заиграли. Кто же, как не сами мы в этом виноваты? Ну и надо теперь для их спасения по крайней мере хоть гуттаперчевую куклу на свой счет заказывать, да каким-нибудь ее колбасником или гоф-герихтом наряжать и провешивать, чтоб над живыми людьми не пришлось этой гадости делать.

— А не находите ли вы, — спрашиваю, — опасности в том, что немцы проведали бы, что человек-то, которого вешают, сделан из гуттаперчи?

— Ну так что же такое, что проведали бы? Да им даже под рукою можно было бы это и рассказывать, а они все писали бы, что «москали всех повешали»; ученая Европа и порешила бы, что на Балтийском поморье немцев уже нет, что немцы все уже перевешаны, а которые остались, те, стало быть, наши. Тогда они после — пиши не пиши — никто заступаться не станет, потому что поляков уже нет, все перевешаны; за русских заступаться не принято, — и весь бы этот дурацкий остзейский вопрос так и порешился бы гуттаперчевою куклой.

— Куклой!.. ну, — говорю, — ваше превосходительство, теперь я уж даже не сомневаюсь, что вы это все изволите шутить.

— Полноте, сделайте милость! Вы меня этим даже обижаете! — возразил с неудовольствием генерал. — А с другой стороны, я даже и не понимаю, что вас так удивляет, что кукла может производить впечатление? Мало ли разве вы видите у нас кукол, которых все знают за кукол, а они не только впечатление производят, но даже решением вопросов руководят. Вы здешний?

— Да, здешний.

— И еще, может быть, в здешней гимназии обучались?

Я отвечал утвердительно.

— Ну, так вы не можете не знать господина Калатузова?

— Как же, — отвечаю, — очень хорошо его знаю.

— Дурак он?

— Да, не умен.

— Чего не умен, просто дурак. Я и отца его знал, и

[1] «Стража на Рейне» *(нем.)*.

тот был дурак, и мать его знал — и та была дура, и вся родня их были дураки, а и они на этого все дивовались, что уже очень глуп: никак до десяти лет казанского мыла от пряника не мог отличить. Если, бывало, как-нибудь мать в бане в сторону засмотрится, он сейчас все мыло и поест. Людей сколько за это пороли. Просто отчаянье! До восемнадцати лет дома у гувернантки учился, пока ее обнимать начал, а ничему не выучился; в гимназию в первый класс по девятнадцатому году отдали и через пять лет из второго класса назад вынули. Ни к одному месту не годился, — а вон добрые люди его в Петербурге научили газету издавать, и пошло, и заговорили про него, как он вопросы решает. Вот вы его посмотрите: вчера был у меня; приехал в земство, гласным выбран ради своего литературного значения и будет голос подавать.

— Что же, — спрашиваю, — поумнел он хотя немножко, редакторствуя?

— Какое же поумнеть? Мыла, разумеется, уж не ест; а пока сидел у меня — все пальцами нос себе чистил. Из ничего ведь, батюшка, только бог свет создал, да и это нынешние ученые у него оспаривают. Нет-с; сей Калатузов только помудренел. Спрашиваю его, что, как его дела идут?

«Шли, — говорит, — хорошо, а с прошлого года пошли хуже».

«Отчего же, мол, это?»

«Запад, — говорит, — у меня отвалился».

«Ну, вы, конечно, это горе поправили?»

Думал он, думал:

«М-да, — отвечает, — поправил».

«Ну, и теперь, значит, опять хорошо?»

«М-да; не совсем: теперь восток отпал».

«Фу, — говорю, — какое критическое положение: этак все, пожалуй, может рассыпаться?»

Думал, опять думал и говорит, что может.

«Так нельзя ли, мол, как-нибудь так, чтобы и востоку и западу приходилось по вкусу?»

«М-можно, да... людей нет!»

«Что такое? — Удивился, знаете, безмерно, что уж даже и петый дурак, и тот на безлюдье жалуется. — Что такое?» — переспрашиваю, — и получаю в ответ:

«Людей нет».

«В Петербурге-то способных людей нет?»

«Нет».

«Не верю, — говорю. — Вы поискали бы их прилежнее, как голодный хлеба ищет».

«Искал», — отвечает.

«Ну, и что же? Неужели нет?»

«Нет».

«Ну, вы в Москве поискали бы».

«А там, — говорит, — и подавно нет. Нынче их нигде уж нет; нынче надо совсем другое делать».

«Что такое?» — любопытствую. Расскажи, мол, дура любезная, удиви, что ты такое надумала? А он-с меня действительно и удивил!

«Надо, — отвечает, — разом два издания издавать, одно так, а другое иначе».

Ну, скажите ради бога, не тонкая ли бестия? — воскликнул, подскочив, генерал. — Видите, выдумал какой способ! Теперь ему все будут кланяться, вот увидите, и заискивать станут. Не утаю греха — я ему вчера первый поклонился: начнете, мол, нашего брата солдата в одном издании ругать, так хоть в другом поддержите. Мы, мол, за то подписываться станем.

«М-да, — говорит, — в другом мы поддержим».

Так вот-с, сударь, — заговорил, выпрямляясь во весь рост, генерал, — вот вам в наш век кто на всех угодит, кто всем тон задаст и кто прочнее всех на земле водворится: это — *безнатурный дурак!*

## ГЛАВА ВОСЬМИДЕСЯТАЯ

Это было последнее слово, которое я слышал от генерала в его доме. Затем, по случаю наступивших сумерек, старик предложил мне пройтись, и мы с ним долго ходили, но я не помню, что у нас за разговор шел в то время. В памяти у меня оставалось одно пугало «безнатурный дурак», угрожая которым Перлов говорил не только без шутки и иронии, а даже с яростию, с непримиримою досадой и с горькою слезой на ресницах.

Старик проводил меня до моей квартиры и здесь, крепко сжимая мою руку, еще несколько минут на кого-то

все жаловался; упоминал упавшим голосом фамилии некоторых важных лиц петербургского высшего круга и в заключение, вздохнув и потягивая мою руку книзу, прошептал:

— Вот так-то-с царского слугу и изогнули как дугу! — а затем быстро спросил: — Вы сейчас ляжете спать дома?

— Нет, — отвечал я, — я еще поработаю над моей запиской.

— А я домой только завтра, а до утра пойду в дворянский клуб спать: я там таким манером предводительского зятя мучу: я сплю, а он дежурит, а у него жена молодая. Но зато штраф шельмовски дорого стоит.

Тягостнейшие на меня напали размышления. «Фу ты, — думаю себе, — да что же это, в самом деле, за патока с имбирем, ничего не разберем! Что это за люди, и что за странные у всех заботы, что за скорби, страсти и волнения? Отчего это все так духом взмешалось, взбуровилось и что, наконец, из этого всего выйдет? Что снимется пеною, что падет осадкой на дно и что отстоится и пойдет на потребу?»

А генерала жалко. Из всех людей, которых я встретил в это время, он положительно самый симпатичнейший человек. В нем как-то все приятно: и его голос, и его манеры, и его тон, в котором не отличишь иронии и шутки от серьезного дела, и его гнев при угрозе господством «безнатурного дурака», и его тихое: «вот и царского слугу изогнули как в дугу», и даже его не совсем мне понятное намерение идти в дворянский клуб спать до света.

Да, он положительно симпатичнее всех... кроме пристава Васильева. Ах, боже мой, зачем я, однако же, до сих пор не навещу в сумасшедшем доме моего бедного философа и богослова? Что-то он, как там ориентировался? Находит ли еще и там свое положение сносным и хорошим? Это просто даже грех позабыть такую чистую душу... Решил я себе, что завтра же непременно к нему пойду, и с тем лег в постель.

Записка не пишется, да и что писать, сам не знаю, а уж в уме у меня начали зарождаться лукавые замыслы, как бы свалить это дело с плеч долой.

«Не совсем это нравственно и благородно, — думаю я, засыпая, — ну да что же поделаешь, когда ничего иного

не умеешь? Конечно, оно можно бы... да настойчивости и цепкости в нас нет... Лекарь Отрожденский прав: кажется, действительно народ еще может быть предоставлен пока своей смерти и сойдется с ней и без медицинской помощи... Однако как это безнравственно!.. Но... но Перлов «безнатурным дураком» грозится... Страшно! Глупость-то так со всех сторон и напирает, и не ждет... Вздоры и раздоры так всех и засасывают...» И вдруг, среди сладкой дремоты, завязывающей и путающей эти мои соображения, я чувствую толчок какою-то мягкою и доброю рукой, и тихий голос прошептал мне над ухом: «Спи! это все сон! все это сон. Вся жизнь есть сон: проснешься, тогда поймешь, зачем все это путается».

Я узнал голос станового Васильева и... уснул, а утром просыпаюсь, и первое, что меня осенило: зачем же, однако, *мне* поручили составить эту записку? — *мне,* который не знает России, который менее всех их живет здесь?

— Позвольте! позвольте! — воскликнул я вдруг, хватив себя за голову. — Да я в уме ли или нет? Что же это такое: я ведь уж не совсем понимаю, например, что в словах Перлова сказано на смех и что взаправду имеет смысл и могло бы стоить внимания?.. Что-то есть такого и иного!.. Позвольте... позвольте! *Они* (и у меня уже свои мифические *они*), они свели меня умышленно с ума и... кто же это на смех подвел меня писать записку? Нет! это неспроста... это...

Я вскочил, оделся и побежал к Дергальскому.

## ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Застаю его дома, отвожу потихоньку в сторону и секретно спрашиваю: не писал ли когда-нибудь кому-нибудь Фортунатов, чтобы пригласить меня к составлению предварительной записки об учреждении врачебной части в селениях?

— Позвольте, — отвечает, — я сейчас спляввлюсь.

Юркнул куда-то в шкаф, покопошился там, пошелестил бумагами и отвечает:

— Есть! писаль!

И с этим подает мне смятое письмо с рубцом от бечевки, которою была стянута пачка.

Это было письмо Фортунатова к предводителю моего уезда. Касающаяся до меня фраза заключалась в следующем: «Кстати, к вам, по соседству, приехал помещик Орест Ватажков; он человек бывалый за границей и наверно близко знает, как в чужих краях устраивают врачебную часть в селениях. Прихватите-ка и его сюда: дело это непременно надо свалить к черту с плеч».

— Да ведь предводитель, — замечаю, — этого письма не получил?

— Как же... нет, получил.

— Как же получил, когда оно здесь у вас?

— Да, да, да... он, стало быть, не получил.

Я простился и иду домой и вдруг узнаю из непосредственного своего доклада, что я уже сам путаюсь и сбиваюсь, что я уже полон подозрений, недоверий, что хожу потихоньку осведомляться, кто о чем говорил и писал, что даже сам *читаю чужие письма*... вообще веду себя скверно, гадко, неблагородно, и имя мне теперь... *интриган!*

Я встрепенулся и остолбенел на месте. Я испугался этого ужасного, позорного имени, тем более что сам не мог дать себе отчета: слышу ли я это слово внутри себя или... или я даже изловлен в интриганстве и подвергаюсь позорному обличению.

Увы! это было так: глаза мои сказали мне, что я пойман.

Поймал меня тот щуковатый полицеймейстер, которого я видел у губернатора. Черт его знает, откуда он проезжал мимо квартиры злосчастного Дергальского, и по какому праву он, с самой возмутительной фамильярностью, погрозил мне, шутя, пальцем, и в силу чего он счел себя вправе назвать меня интриганом. Фуй, неужто же так чересчур легко запутаться и... даже падать? А ведь, как хотите, неуместная и бессмысленная фамильярность полицеймейстера не что иное, как признак весьма невысокого положения моих фондов. Когда же я их так уронил и чем именно? Это преглупо и предосадно.

Я возвратился домой в самом дурном расположении духа, но только что переступил порог, как сейчас же утешился: у себя я, сверх всякого ожидания, нашел генерала Перлова.

## ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Старик этот был мне теперь вдвое мил; я рассказал ему все свои недоумения и сюрпризы с такою полною откровенностью, с какою можно рассказывать свои дела только сердечнейшему другу. Он все молчал и сосал янтарь своего черешневого чубука, изредка лишь отзываясь самыми короткими, но определительными выражениями. Губернатора назвал «свистуном», губернаторшу обругал нецензурным словом, про Дергальского сказал, что он «балалайка бесструнная», а Фортунатова похвалил: «этот, говорит, в кулаке из яйца цыпленка выведет»; а впрочем, обо всех сказал, что «все они вместе порядочная сволочь», и предлагал их повесить. Предводителя я уж, разумеется, не коснулся, но о полицеймейстере рассказал, как он нагло сейчас со мною расфамильярничался.

— Гвардейская привычка-с, — отвечает генерал. — Я их, этих господ, знаю: был и со мной такой случай, что их братия пробовали со мной фамильярничать, да ведь мне. в кашу не плюнешь. Я еще тогда в маленьком чине служил. Мы не поладили как-то за картами. Мне денщик их говорит: «Не ходите, говорит, к нам больше, ваше благородие, а то наши господа хотят вас бить». Я ему дал на водку и прихожу и спрашиваю: «Правда ли, господа, будто вы хотите меня бить?» — «Правда», а их осьмеро, а я один. «Ну, как же вы меня будете бить, когда вас осьмеро, а я один?» — «А вот как», — отвечает сам хозяин да прямо меня по щеке. Я очень спокойно говорю: «Я этому, господа, не верю». Он второй раз. Я опять говорю: «Не верю». Он в третий; ну, тогда я взял его за ноги, взмахнул, да и начал им же самим действовать, и всех их переколотил и взял из-под скамьи помойный таз, облил их, да и ушел.

— Вы очень сильны.

— Нет, пудов двенадцать, я больше теперь не подниму, а был силен: два француза меня, безоружного, хотели в плен отвести, так я их за вихры взял, лоб об лоб толкнул и бросил — больше уже не вставали. Да русский человек ведь вообще, если его лекарствами не портить, так он очень силен.

«Ах, — думаю, — вот эта речь мне очень на руку», и спрашиваю: лечился ли он сам когда-нибудь.

— Как же-с, — отвечает. — Я в медицину верю, даже одного лекаря раз выпорол за ошибку, но я ведь женатый человек, так для женского спокойствия, когда нездоровится, постоянно лечусь, но только гомеопатией и в ослабленных приемах.

— Их приемы-то и вообще, мол, уж ослаблены.

— Ну все-таки, знаете, я нахожу, что еще сильно... все-таки лекарство, и внутрь пускать его нехорошо; а я, как принесу из гомеопатической аптеки скляночку, у себя ее на окно за занавеску ставлю, оно там и стоит: этак и жена спокойна, и я выздоравливаю. Вот вы бы этот способ для народа порекомендовали, — это уж самое безвредное. Ей-богу!.. Ах да, и кстати: записку-то свою бросьте: дворяне уж съезжаются, и они все будут против этого, потому что предводитель хочет. Вот и опишите: губернатор не хочет, предводитель хочет, дворянство не хочет потому, что предводитель хочет, а предводитель хочет, потому, что губернатор не хочет... Вот опишите это, и будет вам лучшая повесть нашего времени, и отдадут вас за нее под суд, а суд оправдает, и тогда публика книжку раскупит. Впрочем, я предложу Калатузову, не хочет ли, я сам опишу все это в виде романа. Не умею, да ничего. Гарибальди пишет, и тоже довольно скверно. А теперь поедемте, я обещал вас привезти познакомить к четырем дворянам... Отличные ребята, да вы ведь и должны им сделать визит, как приезжий.

Я поехал и был с его превосходительством не у четырех, а у шести «отличных ребят», которые, как в одно слово, ругали предводителя и научали меня стоять на том, что при таких повсеместных разладицах ничего предпринимать нельзя и надо все бросить.

— Это всё *мои молодцы,* — пояснял мне генерал, когда мы ехали с ним домой. — Это всё антипредводительская партия, и вы уж теперь к предводительским не ездите, а то будет худо.

## ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

С этой поры я, милостивые государи, увидел себя не только помешанным, но даже в силках, от которых так долго и ревностно отбивался. И пребывал я совсем

отуманенный на заседаниях, на обедах, даваемых, по здешнему выражению, с «генералом Перловым»; был приглашаем «на генерала Перлова» и утром и вечером и слушал, как он жестоко казнил все и всех. Сам я больше молчал и отзывался на все только изредка, но представьте же себе, что при всем этом... меня из губернии выслали. Что, как и почему? ничего этого не знаю, но приехал полицеймейстер и попросил меня уехать. Ходил я за объяснениями к губернатору — не принял; ходил к Фортунатову — на нервы жалуется и говорит: «Ничего я, братец, не знаю», ходил к Перлову — тот говорит: «Повесить бы их всех и больше ничего, но вы, говорит, погодите: я с Калатузовым поладил и роман ему сочинять буду, там у меня всё будет описано».

Навестил в последний вечер станового Васильева в сумасшедшем доме. Он спокоен как нельзя более.

— Как же, — говорю, — вы это все сносите?

— А что ж? — отвечает, — тут прекрасно, и, знаете ли, я здесь даже совершенно успокоился насчет многого.

— Определились?

— Совершенно определился. Я христианство как религию теперь совсем отвергаю. Мне в этом очень много помог здешний прокурор; он нас навещает и дает мне «Revue Spirite».[1] Я проникся этим учением и, усвоив его, могу оставаться членом какой угодно церкви; перед судом спиритизма религиозные различия — это не более как «обычаи известной гостиной», не более. А ведь в чужом доме надо же вести себя так, как там принято. Внутренних моих убеждений, *истинной* моей веры я не обязан предъявлять и осуждать за иноверство тоже нужды не имею. У спиритов это очень ясно; у них, впрочем, все ясно: виноватых нет, но не абсолютно. Преступление воли карается, но кара не вечна; она смягчается по мере заслуг и смывает преступления воли. Я очень рад, что мне назначили этот экзамен здесь.

— Будто, — говорю, — ваше спокойствие нимало не страдает даже от здешнего общества?

— Я этого не сказал, *мое*... Что *мое*, то, может быть, немножко и страдает, но ведь это кратковременно, и потом все это плоды *нашей* цивилизации (вы ведь, конечно,

---

[1] «Спиритическое обозрение» *(франц.)*.

знаете, что увеличение числа помешанных находится в известном отношении к цивилизации: мужиков сумасшедших почти совсем нет), а зато *я,* сам *я* (Васильев просиял радостью), я спокоен как нельзя более и... вы знаете оду Державина *«Бессмертие души»*?

— Наизусть, — отвечаю, — не помню.

— Там есть такие стихи:

От бесконечной единицы,
В ком всех существ вратится круг,
Какие б ни текли частицы,
Все живы, вечны, вечен дух!

Бесконечная единица и ее частицы, в ней же вращающиеся... вы это понимаете?

— Интересуюсь, — говорю, — знать от вас, как вы это понимаете?

— А это очень ясно, — отвечал с беспредельным счастием на лице Васильев. — Частицы здесь и в других областях; они тут и там испытываются и совершенствуются и, когда освобождаются, входят снова в состав единицы и потом, снова развиваясь, текут... Вам, я вижу, это непонятно? Мы с прокурором вчера выразили это чертежами.

Васильев вынул из больничного халата бумажку, на которой были начерчены один в другом три круга, начинающиеся на одной черте и затушеванные снизу на равное пространство.

— Видите: все, что темное, — это сон жизни, или теперешнее наше существование, а все свободное течение — это настоящее бытие, без кожаной ризы, в которой мы здесь спеленуты. Тело душевное бросается в затушеванной площади, а тело духовное, о котором говорит апостол Павел, течет в сиянии миров. После каждого пробуждения кругозор все шире, видение все полнее, любовь многообъемлющее, прощение неограниченнее... Какое блаженство! И... зато вы видите: преграды всё возвышаются к его достижению. Вы знаете, отчего у русских так много прославленных святых и тьмы тем не прославленных? Это все оттого, что здесь еще недавно было так страшно жить, оттого, что земная жизнь здесь для благородного духа легко и скоро теряет всякую цену. Впрочем, в этом отношении у нас и теперь еще довольно благоприятно. Да, да, Россия в экзаменационном отношении, конечно,

и теперь еще, вообще, наилучшее отделение: здесь человек, как золото, выгорал от несправедливости; но вот нам делается знакомо правосудие, расширяется у нас мало-помалу свобода мысли, вообще становится несколько легче, и я боюсь, не станут ли и здесь люди верить, что тут их настоящая жизнь, а не...то, что здесь есть на самом деле...

— То есть?

— То есть исправительный карцер при сумасшедшем доме, в который нас сажают для обуздывания нашей злой воли.

«Прощай, — думаю, — мудрец в сумасшедшем доме», и с этим пожелал ему счастия и уехал.

## ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Через сутки я был уже в Москве, а на третий день, усаживаясь в вагон петербургской дороги, очутился нос к носу с моим уездным знакомцем и решительным посредником Готовцевым.

— Батюшка мой? Вас ли я вижу? — восклицает он, окидывая меня величественным взглядом.

Я говорю, что, с своей стороны, могу более подивиться, он ли это?

— Отчего же?

— Да оттого, что вы так недавно были заняты службой.

— Полноте, бога ради; я уж совсем там не служу; меня *они,* бездельники, ведь под суд отдали.

— За школы?

— Представьте, *да,* за школы. Прежде воспользовались ими и получили благодарность за устройство, а потом... Подлец, батюшка, ваш Фортунатов! Губернатор человек нерешительный, но он благороднее: он вспомнил меня и сказал: «Надо бы и Готовцева к чему-нибудь представить». А бездельник Фортунатов: «Представить бы, говорит, его к ордену *бешеной собаки*!» Ну не скот ли и не циник ли? Пошел доказывать, что меня надо... подобрать... а губернатор без решимости... он сейчас и согласен, и меня не только не наградили, а остановили на половине дела; а тут еще земство начинает действовать и тоже взялось за меня, и вот я под судом и еду в Петербург в ми-

нистерство, чтоб искать опоры; и... буду там служить, но уж это чертово земство пропеку-с! Да-с, пропеку. Вы как?

— Со мной, — хвалюсь, — поступили тоже не хуже, чем с вами, довольно решительно, — и рассказываю ему как меня выслали.

Готовцев сатирически улыбнулся.

— И вы, — говорит, — этакую всякую меру считаете «довольно решительною»?

— А вы нет?

— Еще бы! Я бы вас за это не выслал, а к Макару телят гонять послал.

— Но за что же-с? позвольте узнать.

— А-а! не участвуйте в комплотах. Я вам признаюсь, ведь все ваше поведение для меня было всегда очень подозрительно; я и сам думал, что вы за господин такой, что ко всем ездите и всех просите: «посоветуйте мне, бога ради», да все твердите: «народ, села, села, народ»... Эй, вы, вы!.. — продолжал он, взглядывая на меня проницательно и грозя мне пальцем пред самым носом. — Губернатора вы могли надувать, но уж меня-то вы не надули: я сразу понял, что в вашем поведении что-то есть, и (добавил он в другом тоне) вы если проиграли вашу нынешнюю ставку, то проиграли единственно чрез свою нерешительность. Почему вы мне прямо не высказались?

— В чем-с, милостивый государь, в чем?

— Конституционалист вы или радикал? Выскажитесь вы, и я бы вам рискнул высказаться, что я сам готов сюда Гамбетту, да-с, да-с, не Дерби, как этот губернатор желает, а прямо Рошфора сюда и непримиримого Гамбетту сюда вытребовать... Я самый решительный человек в России!

— Нет, позвольте уж вас перебить: если на то пошло, так я знаю человека, который гораздо решительнее вас.

— Это кто?

— Генерал Перлов; он прямо говорит, что если б его воля, то он всю Европу бы перепорол, а всех нас перевешал бы.

— Да... но вы забываете, что ведь между нами с Перловым лежит бездна: он всех хочет перевешать, а я ведь против смертной казни, и, в случае чего-нибудь, я бы первых таких господ самих перевешал, — отвечал, отворачиваясь, Готовцев.

## ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Живу затем я целое лето в Петербурге и жду денег из деревни. Скука страшная: жара, духота; Излер и Берг; Альфонсины и Финеты, танцы в панталонах, но без увлечения, и танцы с увлечением, но без панталон, порицание сильных и преклонение пред ними, задор и бессилие, кичливость знаниями и литература, получившая наименование «орудия невежества»... Нет, нет, эта страна, может быть, и действительно очень хорошее «экзаменационное отделение», но... я слишком слабо приготовлен: мне нужно что-нибудь полегче, *поодноообразнее,* поспокойнее. А пока, даст бог, можно будет уехать за границу; вспомнилось мне, что я художник, и взялся сделать вытравкой портрет Дмитрия Петровича Журавского — человека, как известно, всю свою жизнь положившего на то, чтоб облегчить тяжелую долю крестьян и собиравшего гроши своего заработка на их выкуп... Как хотите, характер первой величины, — как его не передать потомству? Сделал доску и понес ее в редакцию одного иллюстрированного издания. «Дарю, мол, вам ее, — печатайте».

Благодарят: говорят, что им этого не надо: это-де *не интересно.*

— Помилуйте, — убеждаю их, — ведь это человек большой воли, человек дела, а не фарсов, и притом человек, делавший благое дело в сороковых годах, когда почти не было никаких средств ничего путного делать.

— А его, — спрашивают, — повесили или не повесили?

— Нет, не повесили.

— И он из тюрьмы не убежал?

— Он и в тюрьме-то вовсе не был: он действовал законно.

— Ну, так уж это, — отвечают, — даже и совсем не интересно.

Отхожу и, как герой «Сентиментального путешествия» Стерна, говорю:

— Нет, это положительно лучше во Франции, потому что там даже наших веневских баб, Авдотью и Марью, и тех увековечили и по сю пору шоколад с их изображением продают.

И вот-с дела мои идут скверно: имение не продается, и я даже зазимовал в Петербурге.

## ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

О рождестве меня навещает Фортунатов: радостный-предрадостный, веселый-превеселый.

— На три дня, — говорит, — всего приехал, и то тебя разыскал.

Пошли рассказы: губернатора уже нет.

— Он очень мне надокучил, — говорит Фортунатов, — и, наконец, я его даванул в затылок, так что ему сразу больничку в губы продернули. Полетел, сердечный, кверху тормашками! Теперь посмотрю, каков будет новый. Только уж мне все равно: я по земству служу. Теперь в открытую играть буду. Генерал Перлов дошел, — говорит, — до обнищания, потому что все еще ходит в клуб спать (так как предводительского зятя опять выбрали старшиною). «Если, — говорит упрямый старик, — войны не будет и роман написать не сумею, то мирюсь с тем, что не миновать мне долговой тюрьмы». Дергальский отставлен и сидит в остроге за возмущение мещан против полицейского десятского, а пристав Васильев выпущен на свободу, питается акридами и медом, поднимался вместе с прокурором на небо по лестнице, которую видел во сне Иаков, и держал там дебаты о беззаконности наказаний, в чем и духи и прокурор пришли к полному соглашению; но как господину прокурору нужно получать жалованье, которое ему дается за обвинения, то он уверен, что о невменяемости с ним говорили или «легкие», или «шаловливые» духи, которых мнение не авторитетно, и потому он спокойно продолжает брать казенное жалованье, говорить о возмутительности вечных наказаний за гробом и подводить людей под возможно тяжкую кару на земле.

На этом, почтенный читатель, можно бы, кажется, и кончить, но надобно еще одно последнее сказанье, чтоб летопись окончилась моя.

## ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

Вот в чем-с должно заключаться это последнее сказанье: затянувшаяся беседа наша была внезапно прервана неожиданным появлением дядиного слуги, который пришел известить его, что к нему заезжали два офицера от генерала Постельникова.

Занимавший нас своими рассказами дядя мой так и затрепетал; да, признаюсь вам, что мы и все-то сами себя нехорошо почувствовали. Страшно, знаете, не страшно, а все, как Гоголь говорил, — «трясение ощущается».

Пристали мы к слуге: как это было, какие два офицера приходили и зачем?

— Ничего, — говорит, — не знаю зачем, а только очень сожалели, что не застали, даже за головы хватались: «что мы, говорят, теперь генералу скажем?» и с тем и уехали. Обещали завтра рано заехать, а я, — говорит, — сюда и побежал, чтоб известить.

Добиваемся: не было ли еще чего говорено? Расспрашиваем слугу: не заметил ли он чего особенного в этих гостях?

Лакей поводит глазами и не знает, что сказать, а нам кажется, что он невесть что знает да скрывает от нас.

А мы его так и допрашиваем, так и шпыняем — хуже инквизиторов.

Бедный малый даже с толку сбился и залепетал:

— Да господи помилуй: ничего они особенного не говорили, а только один говорит: «Оставим в конверте»; а другой говорит: «Нет, это нехорошо: он прочтет, надумается и откажется. Нет, а мы его сразу, неожиданно накроем!»

Изволите слышать: это называется «ничего особенного»!

Дядя встал на ноги и зашатался: совсем вдруг стал болен и еле держится.

Уговаривали его успокоиться, просили остаться переночевать, — нет, и слушать не хочет.

Человека мы отправили вперед на извозчике, а сами вдвоем пошли пешечком.

Идем молча — слово не вяжется, во рту сухо. Чувствую это я и замечаю, что и дядя мой чувствует то же самое, и говорит:

— У меня, брат, что-то даже во рту сухо.

Я отвечаю, что и у меня тоже.

— Ну, так зайдем, — говорит, — куда-нибудь пропустить... А?

— Что же, пожалуй, — говорю, — зайдем.

— То-то; оно это и для храбрости не мешает.

— Да, очень рад, — отвечаю, — зайдем.

— Только возьмем нумерок, чтоб поспокойнее... а то я этих общих комнат терпеть не могу... лакеи всё так в рот и смотрят.

«Понимаю, — думаю себе, — любезнейший дядюшка, все понимаю».

## ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Завернули мы в один из ночных кабачков... заняли комнату и заказали ужин и... насвистались, да так насвистались, что мне стало казаться, что уже мы оба и лыка не вяжем.

И все это дядя!

— Пей, да пей, друг мой, — пристает. — Наше ведь только сегодня, а завтра не наше; да все для храбрости еще да еще...

И стал мой дядя веселый, речистый: пошел вспоминать про Брюллова, как тот, уезжая из России, и платье, и белье, и обувь по сю сторону границы бросил; про Нестора Васильевича Кукольника, про Глинку, про актера Соленика и Ивана Ивановича Панаева, как они раз, на Крестовском, варили такую жженку, что у прислуги от одних паров голова кругом шла; потом про Аполлона Григорьева со Львом Меем, как эти оба поэта, по вдохновению, одновременно друг к другу навстречу на Невский выходили, и потом презрительно отозвался про нынешних литераторов и художников, которые пить совсем не умеют.

Тут я что-то возразил, что тогда был век романтизма и поэзии, и были и писатели такого характера, а ныне век гражданских чувств и свободы...

Но только что я это вымолвил, дядя мой так и закипел.

— Ах вы, — говорит, — чухонцы этакие: и вы смеете романтиков не уважать? Какие такие у вас гражданские чувства? Откуда вам свобода возьмется? Да вам и вольности ваши дворянские Дмитрий Васильевич Волков писал, запертый на замок вместе с датским кобелем, а вам это любо? Ну, так вот за то же вам кукиш будет под нос

из всех этих вольностей: людишек у вас, это, отобрали... Что, ведь отобрали?

— Ну и что ж такое: мы очень рады.

— Ну, а теперь в рекруты пойдете.

— И пойдем-с и гордимся тем, что это начинается с нашего времени.

Но тут дядя вдруг начал жестоко глумиться надо всем *нашим временем* и пошел, милостивые государи, что же доказывать, — что нет, говорит, у вас на Руси ни аристократов, ни демократов, ни патриотов, ни изменников, а есть только одна деревенская попадья.

Согласитесь, что это бог знает что за странный вывод, и с моей стороны весьма простительно было сказать, что я его даже не понимаю и думаю, что и сам-то он себя не понимает и говорит это единственно по поводу рюмки желудочной водки, стакана английского пива да бутылки французского шампанского. Но представьте же себе, что ведь нет-с: он еще пошел со мной спорить и отстаивать свое обидное сравнение всего нашего общества с деревенскою попадьею, и на каком же основании-с? Это даже любопытно.

— Ты гляди, — говорит, — когда деревенская попадья в церковь придет, она не стоит как все люди, а все туда-сюда егозит, ерзает да наперед лезет, а скажет ей добрый человек: «чего ты, шальная, егозишь в божьем храме? молись потихонечку», так она еще обижается и обругает: «ишь, дурак, мол, какой выдумал: какой это божий храм — это наша с батюшкой церковь». И у вас, — говорит, — уж нет ничего божьего, а все только «ваше с батюшкой». — И зато, — говорит, — все, чем вы расхвастались, можно у вас назад отнять: одних крестьян назад не закрепят, а вас, либералов, всех можно, как слесаршу Пошлепкину и унтер-офицерскую жену, на улице выпороть и доложить ревизору, что вы сами себя выпороли... и сойдет, как на собаке присохнет, лучше чем встарь присыхало; а уж меня не выпорют.

Но тут я, милостивые государи, оказался совершенно слабым и помню только, что дядя как будто подсовывал мне под голову подушку, а сам, весь красненький, бурчал:

— Нет-с: слуга покорный, а уж я удеру, и вам меня пороть не придется!

На этом месте, однако, для меня уже все кончилось, и я несколько минут видел самого моего дядю деревенскою попадьею и хотел его спросить: зачем это он не молится тихо, а все егозит да ерзает, но это оказалось сверх моих возможностей.

Получил я назад дар слова не скоро, и это случилось таким образом: увидел я себя в полумраке незнакомой комнаты, начал припоминать: «где я, и что это такое?»

Кое-как припомнил вчерашний загул и начинаю думать:

«А хорошо ли это? А что сэр Чаннинг-то пишет? Ну, дядя, уж я вам за то вычитаю канон, что вы меня опоили».

И с этим, знаете, встаю... А где же дядя? А его и след простыл.

Звоню.

Входит лакей.

— Который час? — любопытствую.

— Восьмой-с, — говорит.

— Стало быть, еще не рассветало?

— Нет-с, уж это, — говорит, — опять смерклось.

Представьте себе, это я, значит, почти сутки проспал.

Стыдно ужасно пред лакеем! Что же это такое — народу проповедуем о трезвости, а сами...

Достойный пример!

— Дайте, — говорю, — поскорее мне счет.

— Да счет, — отвечает, — еще вчера-с этот господин заплатили.

— Какой господин?

— А что с вами-то был.

— Да он где же теперь?

— А они, — говорит, — еще вчера ушли-с. Заплатили-с, спросили бумаги, что-то тут вам написали и ушли.

— Скорей давайте мне огня и эту бумагу.

Человек исполнил мою просьбу и я, поддерживая одною рукою больную голову, а другою лист серой бумаги, прочел:

«Не сердись, что я тебя подпоил. Дело опасное. Я не хочу, чтобы и тебе что-нибудь досталось, а это неминуемо, если ты будешь знать, где я. Пожалуйста, иди ко мне на квартиру и жди от меня известий».

Можете себе представить этакой сюрприз, да еще на больную голову!

## ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

Прихожу я на дядину квартиру, — все в порядке, но человек в большом затруднении, что дядя не ночевал дома и до сих пор его нет.

— А два офицера, — это, — любопытствую, — не приходили?

— Как же-с, — говорит, — приходили: они и утром два раза приходили, и в пять часов вечера были, и сейчас опять только вышли, и снова обещали часов в одиннадцать быть.

— Тьфу ты, что за пропасть такая!

С досады и с немочи вчерашнего кутежа я ткнулся в мягкий диван и ну спать... и спал, спал, спал, перевидав во сне живыми всех покойников, и Нестора Кукольника, и Глинку, и Григорьева, и Панаева, и целую Русь деревенских попадей, и — вдруг слышу: дзынь-дзынь, брязь-брязь...

— Встаньте-с, — говорит мне дядин слуга, — отбою ведь нет, — вот уже и нынче третий раз приходят. «Дядюшки, говорят, нет, так хоть племянника побуди».

— Вот те и раз! Господи, да я-то им на что?

— А уж не могу доложить, но только спросили, сочинитель вы или нет?

— Ну, а ты же, мол, что ответил?

— Я так, — говорит, — и ответил, что вы сочинитель, и вот они вас ждут.

— Отцы мои небесные! да что же это за наказание такое? — вопросил я, возведя глаза мои к милосердному небу. — Ко мне-то что же за дело? Я-то что же такое сочинил?.. Меня только всю мою жизнь ругают и уже давно доказали и мою отсталость, и неспособность, и даже мою литературную... бесчестность... Да, так, так: нечего конфузиться — именно бесчестность. Гриша, — говорю, — голубчик мой: поищи там на полках хороших газет, где меня ругают, вынеси этим господам и скажи, что они не туда попали.

Лакей Гриша с малороссийской флегмою направился к полкам, а я уже было хотел уползти и удрать черным ходом, как вдруг эти-то канальские черные двери приотворились и из-за них высунулась белокурая головка с

усиками, и нежный голосок самою музыкальною нотою прозвенел:

— Excusez-moi, je ne suis pas venu...[1] с того хода, где следовало, но нам так долго не удавалось к вам проникнуть...

— Ничего-с, — отвечаю, — сделайте милость, не извиняйтесь.

— Нет, не извиняться нельзя, но знаете... как быть: служба... и не рад, да готов.

— Конечно, — говорю, — конечно. Чем, однако, прикажете служить?

— Вот мой товарищ, — позвольте вам представить, поручик, — он тут назвал какую-то фамилию и вытянул из-за себя здорового купидона с красным лицом и русыми котелками на висках.

Я поклонился отрекомендованному мне гостю, который при этом поправил ус и портупею и положительно крякнул, как бы заявил этим, что он человек не робкого десятка.

«Да мне-то, — думаю, — что такое до вас? По мне, вы какие ни будьте, я вас и знать не хочу», и сейчас же сам крякнул и объявил им, что я здесь не хозяин и что хозяина самого, дяди моего, нету дома.

— Как же это так? Вы нам скажите, пожалуйста, где он? Vous n'y perdrez rien,[2] между тем как нам это очень нужно, — говорил, семеня, юнейший гость мой, меж тем как старейший строго молчал, опираясь на стол рукою в белой замшевой перчатке.

— Нет, вы, бога ради, скажите, где ваш дядюшка? мы его разыщем, — приставал младший.

— Решительно, — говорю, — не знаю; что хотите — не знаю. Сам даже этим интересуюсь, но все тщетно.

— Это изумительно.

— А однако это так.

— Ну, в таком разе позвольте за вас взяться.

Я смешался.

— Что? что такое? как за меня взяться?

— А вот вы сейчас с этим познакомитесь, — отвечал гость, вытаскивая из кармана и предлагая мне конверт с большою печатью.

---

[1] Извините, что я не вошел *(франц.)*.
[2] Вы ничего не потеряете *(франц.)*.

— Прошу, — говорит, — вскрыть.

Нечего делать: принимаю трепещущими руками этот конверт; вскрываю его; вытаскиваю оттуда лист веленевой бумаги, на котором картиннейшим писарским почерком написано... «К ней». Да-с: ни более ни менее как стихотворение, озаглавленное «К ней».

## ГЛАВА ДЕВЯНОСТАЯ

Протер глаза, еще раз взглянул — все то же самое, и вверху надпись «К ней»...

Я обиделся и рассердился и, не соображая уже никаких последствий, спросил с досадою: «Это еще что такое»?

— А это, — отвечает мне младший из моих гостей, — на сих днях в балете бенефис одной танцовщицы, которая... с ней очень многие важные лица знакомы, потому что она не только танцует, но... elle visite les pauvres [1] и...

— Но, позвольте, — возражаю, — что же мне до нее за дело?

— Совершенно верно, совершенно верно: вам нет до нее никакого дела, и она ни для кого никакого прямого значения не имеет, но... les jeunes gens font foule chez elle... [2] и стараются услугами... совершенно невинными... невинными ей услугами доставить удовольствие одному... очень, очень почтенному и влиятельному лицу. Он человек уже, конечно, не первой молодости, и в эти годы, знаете, женщина для человека много значит и легко приобретает над ним влияние. Согласитесь что все это верно?

— Отлично-с, — говорю, — но что же мне до этого за дело?

Гость обиделся.

— Я, — говорит, — и не настаиваю, что *вам* есть до этого дело, но я прошу у вас помощи и совета.

— А, это, мол, другое совсем дело, — и, успокоенный, прошу гостей садиться.

Офицеры поблагодарили, присели и младший опять начал.

---

[1] Она посещает бедных *(франц.)*.

[2] Молодые люди толпятся у нее *(франц.)*.

— Генерал Постельников, именем которого мы решились действовать, совсем об этом не знает. Да-с: он нас сюда не посылал, это мы сами, потому что, встретив в списках фамилию вашего дядюшки и зная, что ваша семья такая литературная...

Ну, уж тут я, видя, что мой гость затрудняется и не знает, как ему выпутаться, не стал ему помогать никакими возражениями, а предоставил все собственному его уму и красноречию — пусть, мол, как знает, не спеша, изъяснится. Он, бедняк, и изъяснялся, и попотел-таки, попотел, пока одолел мою беспонятливость, и зато во всех подробностях открылся, что он желает быть замеченным генералом Постельниковым и потому хочет преподнести его танцовщице букет и стихи, но что стихи у него вышли очень плохи и он просит их поправить.

«Так вот, — думаю, — чем весь этот переполох объясняется! Бедный мой дядя: за что ты гибнешь?» И с этим я вдруг расхрабрился, кричу: «человек, чаю нам!»

— Господа, прошу вас закурить сигары, а я сейчас... — и действительно я в ту же минуту присел и поправил, и даже уж сам не знаю, как поправил, офицерское стихотворение *«К ней»* и пожелал автору понравиться балетной фее и ее покровителю.

— Ах да! я ценю вашу дружбу, — отвечал со вздохом мой гость, — ценю и ваше доброе желание, но наш генерал, наш бедный добрый генерал... он теперь в таком положении, что il s'emeut d'un rien, [1] и нельзя поручиться, в каком состоянии он будет в этот момент.

Я полюбопытствовал, что же такое отравляет драгоценное спокойствие генерала Постельникова.

— Ах, это то же самое-с, я думаю, что отравляет нынче спокойствие многих и многих людей в нашем отечестве... Это, в самом деле, иначе даже не может и быть для истинных европейцев: я молод, я еще, можно сказать, незначителен и не чувствую всего этого так близко. Но... но и я... je déplore les maux de ma patrie. [2] Но он, наш генерал, он, который помнит все это в ином виде, когда эта «дурная болезнь», как мы это называем, еще робко кралась в Россию под контрабандными знаменами Герцена,

---

[1] Его волнуют пустяки *(франц.)*.
[2] Я оплакиваю несчастья моей родины *(франц.)*.

но Герцен, помилуйте... Герцена только забили; он был заеден средою и стал резок, но он все-таки был человек просвещенный и остроумный, — возьмите хоть одни его клички «трехполенный», трехполенный, ведь это все острота ума, а теперь...

«Господи! что, — думаю, — за несчастье: еще какой такой Филимон угрожает моей робкой родине?» Но оказывается, что этот новый злополучный Филимон этого нового, столь прекрасного и либерального времени есть разыскиваемый в зародыше *Русский дух,* или, на бонтонном языке современного бонтона, «дурная болезнь» нашего времени, для запугивания которого ее соединяют в одну семью со всеми семью язвами Египта.

— Трудное же, — говорю, — господа, вам дело досталось — ловить русский дух.

— Чрезвычайно трудное-с: еще ни одно наше поколение ничего подобного не одолевало, но зато-с мы и только мы, первые, с сознанием можем сказать, что мы уже не прежние вздорные незабудки, а мы — сила, мы оппозиция, мы идем против невежества массы и, по теории Дарвина, будем до истощения сил бороться за свое существование. Quoi qu'il arrive, [1] а мы до новолуния дадим генеральное сражение этому русскому духу.

— Да было бы, — говорю, — еще где его искать?

— О, не беспокойтесь: он такого свойства, что сам скажется! Теперь его очень хорошо все понемножку издали по носу, да по носу! это очень тонкая тактика! Он этого долго не стерпит, наконец, и откуда-нибудь брызнет и запахнет. J'espére, que moitié de force, moitié de gré [2] мы скоро заставим его высказаться, и тогда вы увидите, что всеобщее мнение о бесполезности нашего учреждения есть черная клевета. Благодарю вас, что поправили мне стихи. Прощайте... Если что-нибудь будет нужно... пожалуйста: я всегда готов к вашим услугам... что вы смотрите на моего товарища? — не беспокойтесь, он немец и ничего не понимает ни по-французски, ни по-русски: я его беру с собою для того только, чтобы не быть одному, потому что, знаете, про наших немножко нехорошая слава прошла из-за одного человека, но,

---

[1] Что бы ни случилось *(франц.).*

[2] Я надеюсь, что частью силой, частью по доброй воле *(франц.).*

впрочем, и у них тоже, у господ немцев-то, этот Пихлер... Ах, нехорошо-с, нехорошо, очень нехорошо: вперед ручаюсь, его нарочно осудят наши мужики! Ну, да черт их возьми. Поклонитесь вашему дядюшке и скажите ему, что генерал, еще недавно вспоминая о нем, говорил, что он имел случай представлять о его почтенных трудах для этих, как они... госпиталей или больниц и теперь в самых достойных кружках tout le monde révère sa vertu. [1]

## ГЛАВА ДЕВЯНОСТО ПЕРВАЯ

С этим мы распростились, но я не мог исполнить поручения моего гостя и передать моему дяде уважения, которым tout le monde почтил sa vertu, потому что дядя мой не появлялся в свое жилище. Оказалось, что с перепугу, что его ловят и преследуют на суровом севере, он ударился удирать на чужбину через наш теплый юг, но здесь с ним тоже случилась маленькая неприятность, не совсем удобная в его почтенные годы: на сих днях я получил уведомление, что его какой-то армейский капитан невзначай выпорол на улице, в Одессе, во время недавних сражений греков с жидами, и добродетельный Орест Маркович Ватажков столь удивился этой странной неожиданности, что, возвратясь выпоротый к себе в номер, благополучно скончался «естественною смертью», оставив на столе билет на пароход, с которым должен был уехать за границу вечером того самого дня, когда пехотный капитан высек его на тротуаре, неподалеку от здания новой судебной палаты.

Впрочем, к гордости всех русских патриотов (если таковые на Руси возможны), я должен сказать, что многострадальный дядя мой, несмотря на все свои западнические симпатии, отошел от сего мира с пламенной любовью к родине и в доставленном мне посмертном письме начертал слабою рукою: «Извини, любезный друг и племянник, что пишу тебе весьма плохо, ибо пишу лежа на животе, так как другой позиции в ожидании смерти приспособить себе не могу, благодаря скорострельному

[1] Все уважают его добродетель *(франц.)*.

капитану, который жестоко зарядил меня с казенной части. Но находясь в сем положении за жидов и греков, которых не имел чести познать до этого приятного случая, я утешаюсь хоть тем, что умираю выпоротый все-таки самими моими соотчичами и тем кончаю с милой родиной все мои счеты, между тем как тебя соотечественники еще только предали на суд онемеченных и провонявшихся килькой ревельских чухон за недостаток почтения к исключенному за демонстрации против правительства дерптскому немецкому студенту, предсказывавшему, что наша Россия должна разлететься «wie Rauch».[1]

## ГЛАВА ДЕВЯНОСТО ВТОРАЯ

Что же засим? — герой этой, долго утолявшей читателя повести умер, и умер, как жил, среди странных неожиданностей русской жизни, так незаслуженно несущей покор в однообразии, — пора кончить и самую повесть с пожеланием всем ее прочитавшим — силы, терпения и любви к родине, с полным упованием, что пусть, по пословице «велика растет чужая земля своей похвальбой, а наша крепка станет своею хайкою».

---

[1] Как дым *(нем.)*

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## СТАРЫЕ ГОДЫ В СЕЛЕ ПЛОДОМАСОВЕ

### ОЧЕРК ВТОРОЙ

*К главе VI*

И вот Марфа Андревна принималась за дело основательней: она брала с собою ключницу и прежде всего запирала один конец коридора. Здесь, у запертой двери, Марфа Андревна оставляла ключницу, вооружив ее голиком на длинной палке, а сама зажигала у лампады медный фонарик и обходила дом с другого конца. Всполох был страшнейший! Марфа Андревна, идучи с своим фонарем, изо всех углов зал, гостиных и наугольных поднимала тучи людей и гнала их перед собою неспешно. Она знала то, чего никто из гонимых не знал, она знала, что впереди всех их ожидает ловушка — запертый конец коридора, из которого им ни в бок, ни в сторону вынырнуть некуда. Испуганная челядь действительно так и попадалась в дефилеи коридора, и здесь-то, в этом узком конце длинного прохода, освещаемого одним медным фонариком, происходила сцена, которую, по правде сказать, Марфа Андревна как будто даже несколько и любила.

По мере того как она загоняла все большую и большую толпу народа, ею самою овладевала кипучая, веселая заботность; она смотрела вокруг и около, и потихоньку улыбалась, и, вогнав, наконец, в коридор всю ватагу, весело кричала стоявшей по тот бок у запертой двери ключнице: «Держи их, Васена! держи!»

И вслед за этим Марфа Андревна с детским азартом начинала щелкать кого попало по головам своей палочкой.

Тесно скученная толпа мужчин и женщин, все растрепанные и переконфуженные, бились и теснились здесь, как жеребята, загнанные на выбор в тесную карду. Каждому из застигнутых хотелось протолкаться вперед, попасть ближе к двери, спрятаться вниз и скрыть свое лицо от барыни. Марфа Андревна наказывала свою крепостную челядь своею дворянской рукою, видя перед собой лишь одни голые ноги, спины да затылки. Во время ее экзекуции она только слыхала нередко писк, визг, восклик: «Ой, шею, шею!», или женский голос визжал: «Ой, да кто здесь щекочется!» Но имен обыкновенно ни одного толпою не произносилось. Имена виновных открывались особенным способом, тешившим Марфу Андревну. Для этого Марфа Андревна приказывала ключнице отпирать дверь и пропускать через нее по одному человеку, объявляя при этом вслух имя каждого, кто покажется. По этому приказу замкнутая дверь коридора слегка приотворялась, и Марфа Андревна и ключница одновременно поднимали над головами — одна фонарик, другая — просто горящую свечку. Западня была открыта, и птиц начинали выпускать. Ключница давала протискиваться одному и, вглядываясь ему в лицо, возглашала:

— Первый Ванька Индюк!

Марфа Андревна отвечала ей:

— Пропусти!

Лакей Ванька Индюк проскользал в дверь и исчезал в темном пространстве. Ключница пропускала другого и возглашала:

— Ткач Есафей!

— Пропусти! Экой дурак, и он туда же: ноги колесом, а грехи с ума не идут.

Опять пропуск.

— Иван Пешка.

— Пусти его.

— Егор Кажиён!..

Ключница переменяла тон и взвизгивала:

— Ах ты боже мой, да что ж это такое?

— Ну!.. Чего ты там закомонничала?

— Да как же, сударыня: один сверху идет, а двое снизу крадком пролезают.

— Не пускай никого, никого понизу не пускай.

— Да, матушка, за ноги щипются!

— Эй вы! не сметь за ноги щипаться! — командует Марфа Андревна, и опять начинается пропуск.

— Аннушка Круглая.

— Хороша голубка! Что тот год, что этот, все одно на уме!.. Пусти ее!

— Малашка Софронова!

— Ишь ты! Сказать надо это отцу, чтоб мокрой крапивой посек. Пусти.

Долго идет эта перекличка и немало возбуждает всеобщего хохота, и, наконец, кучка заметно редеет. Марфа Андревна становится еще деятельнее и спрашивает:

— Ну, это кто последние, что сами не идут? Вы!.. Верно, старики есть?

— Есть-с, — отвечает ключница.

— Ну ступай, ступай, нечего тут гнуться!

Одна фигура сгибается, норовит проскользнуть мимо ключницы, но та ее прижимает дверью.

— Акулина-прянишница, — отвечает ключница.

— А, Акулина Степановна! А тебе б, мать Акулина Степановна, кажется, пора уж и на горох воробьев пугать становиться, — замечает Марфа Андревна. — Да и с кем же это ты, дорогая, заблудилася?

Раздавался поголовный сдержанный смех.

Марфу Андревну это смешило, и она во что бы то ни стало решалась обнаружить тайну прянишницы Акулины.

— Сейчас сознаваться, кто? — приставала она, грозно постукивая палочкой. — Акулина! слышишь, сейчас говори!

— Матушка... да как же я могу на себя выговорить, — раздавался голос Акулины.

— Ну ты, Семен Козырь!.. Это ты?

— Я-с, матушка Марфа Андревна, — отвечал из темного уголка массивный седой лакей Семен Козырь.

— Тоже хорошо! Когда уж это грех-то над тобою сжалится да покинет?

Козырь молчит.

— Ну, ты зато никогда не лжешь, — говори, кто старушку увел, да не лги гляди!

— Нет, матушка, не лгу.

И Семен Козырь сам старается весь закрыться ладонями.

— Говори! — повелевает Марфа Андревна.

— Они с Васькой Волчком пришли.

— С Васькой Волчком!.. Эй, где ты?.. Васька Волчок!

Кучка вдруг раздвигается, и кто-то, схватив Ваську сзади за локти и упершись ему в спину головою, быстро выдвигает его перед светлые очи Марфы Андревны.

Васька Волчок идет, подпихиваемый сзади, а глаза его закрыты, и голова качается на плечах во все стороны...

— Так вот он какой, Васька Волчок!

— Он-с, он, — сычит, выставляясь из-за локтей Васьки, молодая веселая морда с черными курчавыми волосами.

— А ты кто такой? — спрашивает морду Марфа Андревна.

— Тараска-шорник.

— Так ты почему знаешь, что это он?

— Так как когда на той неделе... когда Акулина Степановна господские пряники пекли...

— Ну!

— Так они Тараске ложку меду господского давали: «посласти, говорит, Тараска, язык».

— Да?

— Только-с и всего, посластись, — говорят они, и мне тоже ложку меду давали, но я говорю: «Зачем, говорю, я буду, Акулина Степановна, господский, говорю, мед есть? Я, говорю, на это, говорю, никогда не согласен».

— Врешь! — вдруг быстро очнувшись, вскрикнул на это Волчок Васька.

— Ей-богу, Марфа Андревна, — начал божиться, покинув Ваську, Тараска; но Васька живыми и ясными доводами сейчас же уличил Тараску, что он не один ел господский мед, что Акулина-прянишница прежде дала ложку меду ему, Ваське, а потом Тараске и притом еще Тараске пол-ложки прибавила да сказала: ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами, — никому, что обсластился, не сказывай.

Тараске просто и отвечать нечего было против этих улик, потому что ко всему этому еще и сама прянишница заговорила:

— Точно, матушка, точно я, подлая, две ложки с половиной украла.

— Ну, так стряси ему теперь, Васька, за это хороший вихор, чтобы он господского меду не ел.

Васька взял Тараску за вихор и начал тихонько покалыхивать.

— Хорошенько тряси, — руководила Марфа Андревна.

Васька лукавил и хоть начал размахивать рукою пошибче, а все водил руку в ту сторону, куда вертел голову Тараска.

— Ну, переменитесь-ка: Васька не умеет, вижу, возьми-ка теперь ты его, Тараска, поболтай за его вину.

Взял теперь Ваську за хохол Тараска, взял и держит, не знай отплатить ему дружбой за мягкую таску, не знай отработать его как следует. Эх, поусердствую! — неравно заметит госпожа это, за службу примат... Подумал, подумал этак Тараска и, почувствовав под рукою, что ожидавший от товарища льготы Васька гнет голову в левую сторону, Тараска вдруг круто поворотил его направо и заиграл. Бедный Васька даже взвизгнул, наклонился весь наперед и водил перед собою руками, точно в жмурки играл.

«Экая злющая тварь этот Тараска!» — думала, глядя на них Марфа Андревна, и кричала:

— Стой! стой! стой!

Тараска остановился и выпустил Ваську. Васька был красен как рак, глаза его бегали, грудь высоко вздымалась, он тяжело дышал, и рука его за каждым дыханием порывалась к Тараске. Как только их отсюда выпустят, так и сомневаться невозможно, что у них непременно произойдет большое побоище.

Чтобы предотвратить это и закончить все дело миром, Марфа Андревна говорит:

— Ну, теперь бери же ты, Васька, Тараску и ты, Тараска, Ваську да на взаем один другого поучите.

Васька не ждал повторения приказания: в ту же секунду обе руки его были в волосах Тараски, а Тараскины в волосах Васьки, и оба парня начинали «репу садить».

Они так трепали друг друга, что непонятным образом головы их с руками находились внизу у пола, а босые пятки взлетали чуть не под самый потолок. Крики: «стой! довольно! пусти»! ничего не помогали. Ребят разнимали насильно, разводили их врозь, взбрызгивали водой, заставляли друг другу поклониться в ноги, друг друга перекрестить и поцеловаться и потом отпускали.

Порядок водворялся снова в коридоре, и Марфа Андревна опять принималась за разбор и как раз начинала опять с того самого пункта, на котором дело остановилось.

— Стыдно, мать Акулина Степановна, стыдно, стыдно! — говорила она прянишнице.

— Матушка, враг... — отвечала Акулина.

— Да, враг! Нечего на врага: нет, видно, наша коровка хоть и старенька, да бычка любит. Пусти, Василиса, вон ее, бычиху.

Мучения Акулины-прянишницы прекращались, и она исчезала.

— Семен Козырь! — возглашала ключница.

— Ну, да я уж видела!.. А? да, Семен Козырь!.. Другим бы пример подавать, а он сам как козел в горох сигает! Хорошо!.. Обернись-ка ко мне, Семен Козырь.

— Матушка, Марфа Андревна, облегчите, питательница, — не могу.

— Отчего не можешь?

— Очень устыжаюсь, матушка, — плачевно барабанит старый челядинец.

— Сколько годков-то тебе, Семен Козырь?

— Пятьдесят четыре, матушка, — отвечает, держа в пригоршнях лицо, седой Козырь.

— Сходи же завтра к отцу Алексею.

— Слушаю, матушка.

— И скажи ему от меня, что я велю ему на тебя хорошую епитимью наложить.

— Слушаю, питательница, рано схожу.

— А теперь поткай его, ключница, голиком в морду.

— Поткала, сударыня, — возвещала ключница, действительно поткав Козыря, как велено, в морду, и Козырь зато уже, как человек пожилой, не подвергался более никакому наказанию, тогда как с другими начиналась на долгое, долгое время оригинальная расправа.

Кончался пропуск; вылетали из западни последние птицы, и Марфа Андревна уходила к себе нисколько не расстроенная и даже веселая. Мнение, что эти охоты ее веселили, было не совсем неосновательно, — они развлекали ее, и она после такой охоты целый час еще, сидя в постели, беседовала с ключницей: как шел Кожиён, как сгорел со стыда Семен Козырь и как Малашка, пройдя, сказала: «Ну дак что ж что отцу! а зачем замуж не отдают?»

— Сквернавка, — замечала, не сердясь, Марфа Андревна.

Но совсем другое дело было, если попадались женатые. Это, положим, случалось довольно редко, но если случалось, то уж тогда наказанье не ограничивалось одним тканьем в морду. Тогда Марфа Андревна не шутила: виновный из лакеев смещался в пастухи и даже специально в свинопасы и, кроме того, посылался на покаяние к отцу Алексею; холостым же и незамужним покаянные епитимьи Марфа Андревна в сане властительницы налагала сама по своему собственному усмотрению. Для исполнения этих епитимий каждый вечер, как только Марфа Андревна садилась перед туалетом отдавать повару приказание к завтрашнему столу, а за ее спиною за креслом становилась с гребнем ее покоевая девушка и начинала чесать ей в это время голову «по-ночному», в комнату тихо являлось несколько пар лакеев и девушек. Все они входили и с некоторым сдерживаемым смехом и с смущением: в руках у каждого, кто входил, было по небольшому мешочку, насыпанному колючей гречей или горохом. Мешочки эти каждый из вошедших клал всяк для себя перед образником, устанавливался, морщась, на горохе или на гречке и, стоя на этих мешках, ждал на коленях боярыниного слова. А Марфа Андревна иной раз либо заговорится с поваром, либо просто задумается и молчит, а епитемийники все ждут да ждут на коленях, пока она вспомнит про них, оглянется и скажет: «А я про вас и забыла, — ну, зато нынче всего по сту кладите!» Только что выговорит Марфа Андревна это слово, челядь и начинает класть земные поклоны, а ключница стоит да считает, чтобы верно положили сколько велено.

Это иногда заканчивалось чьими-нибудь слезами, иногда же два ударившиеся лоб об лоб лакея заключа-

ли свое покаяние смехом, к которому, к крайней своей досаде, поневоле приставала иногда и сама Марфа Андревна.

Марфа Андревна вообще, несмотря на всю свою серьезность, иногда не прочь была посмеяться, да иногда, впрочем, у нее при ее рекогносцировках и вправду было над чем посмеяться. Так, например, раз в числе вспугнутых ею челядинцев один приподнялся бежать, но, запутавшись в суконной дорожке, какими были выстланы переходы комнат, споткнулся, зацепился за кресла и полетел. Марфа Андревна тотчас же наступила на него своим босовичком и потребовала огня.

— Как тебя зовут? — спросила она лежащего у нее под ногами челядинца.

Тот в ответ ни полслова.

— Говори; я прощу, — сказала Марфа Андревна; а тот снова молчит и опять ни полслова.

— Что же ты, шутишь или смеешься? Смотрите, кто это? — приказала Марфа Андревна сопровождавшим ее женщинам.

Те посмотрели и говорят:

— Это холоп Ванька Жорнов.

— Вставай, Ванька Жорнов.

Не встает.

— Умер он, что ли?

— Где там, матушка, умер? Притворяется, а сам как смехом не пырскнет.

— Ну! потолки его палочкой!

Потолкли Ваньку Жорнова палочкой, а он все лежит, словно не его все это и касается.

— Ну, так подай мне сюда ведро воды, — приказывает заинтересованная этим характером Марфа Андревна.

— Матушка, напрасно только пол намочим в горнице: он уж этакой... его прошлый год русалки на кулиге щекотали, — он и щекоту не боится.

— Подавай воды! Ничего, подавай, мы посмотрим, — сказала Марфа Андревна и уселась на кресло, а Ванька лежит.

Подали воды прямо со двора и шарахнули ею на Ваньку Жорнова; но и тут Ванька и вправду даже не вздрогнул.

«Вот это парень так парень! — думает чтущая сильные характеры Марфа Андревна. — Чем бы его еще испытать?»

— А ну-ка, тронь его теперь хорошенько иглою.

И иголкой Ваньку Жорнова тронули; а он все не встает.

— Ну, так подайте же мне мой спирт с образника, — приказала Марфа Андревна.

Подали спирт; Марфа Андревна сама наклонилась и приложила бутылочку к носу Ваньки Жорнова, и только что ее отомкнула, как Ванька Жорнов вскочил, чихнул, запрыгал туда, сюда, направо, налево, кубарем, — свалил на пол саму Марфу Андревну и в несколько прыжков исчез сам в лакейской.

— Да какой это такой у вас Ванька Жорнов? — спрашивала после того Марфа Андревна, укладываясь в самом веселом расположении в свою постель.

— Холоп, сударыня-матушка.

— Холоп! да мало ли у меня холопей! Покажите мне его завтра, что он за ферт такой?

И вот назавтра привели перед очи Марфы Андревны Ваньку Жорнова.

— Это мы тебя вчера ночью били? — спросила Ваньку боярыня.

— Никак нет, матушка, — отвечал Ванька Жорнов.

— А покажи левую ладонь. Ага! где же это ты укололся?

— Чулок, матушка, вез, да спичкой поколол.

— А подите посмотрите в его сундуке, нет ли там у него мокрой рубахи?

Посланные пошли, возвратились и доложили, что в сундуке у Ваньки Жорнова есть мокрая рубаха.

— Где ж это ты измок, сердечный?

— Пот меня, государыня матушка, со страшного сна облил, — отвечал Ванька Жорнов.

— Молодец ты, брат, врать! молодец! — похвалила его Марфа Андревна, — и врешь смело и терпеть горазд. Марфа в Новегороде сотником бы тебя нарядила, а сбежишь к Пугачу, он тебя есаулом сделает; а от меня вот пока получи полтину за терпенье. Люблю, кто речист порой, а еще больше люблю, кто молчать мастер.

Терпенье и мужество Марфа Андревна очень уважала и сама явила вскоре пример терпеливости в случае более серьезном, чем тот, в каком отличился перед ней лакей Ванька Жорнов. Вскоре-таки после этого происшествия с Ванькой Жорновым, по поводу которого Марфа Андревна вспомнила о Пугаче, вспомнил некто вроде Пугача и о Марфе Андревне.

# ПРИМЕЧАНИЯ

В третьем томе собрания сочинений Лескова печатаются его произведения второй половины шестидесятых годов: роман «Островитяне» (1865 — 1866), хроника «Старые годы в селе Плодомасове» (1868), очерк «Загадочный человек» (1868) и «Смех и горе» (1869 — 1870), для которого автор не нашел никакого жанрового определения, кроме «попурри». Эти разнохарактерные произведения свидетельствуют и о росте таланта писателя, об углублении его реалистического мастерства, о расширении охвата явлений русской жизни в его творчестве — и, одновременно, о трудностях и противоречиях в его развитии.

Как автор «Некуда», «Загадочного человека» и романа «На ножах» (1870—1871), Лесков является одним из создателей антинигилистической литературы. В то же время, как автор Плодомасовской хроники и «Смеха и горя», Лесков по праву завоевывает видное место в литературе шестидесятых годов. В этих произведениях виден великолепный знаток русской жизни и мастер художественной речи, тот Лесков, который стоит в истории нашей литературы в одном ряду с Тургеневым и Гончаровым.

Если в «Островитянах» Лесков еще пытается соединить нравоописательный очерк (типы петербургских немцев) с традиционной романической любовной интригой, то в произведениях конца шестидесятых годов он резко меняет и свой подход к явлениям русской жизни и свою художественную манеру.

Лесков начинает мерить и проверять современность историей. При этом у него складывается своеобразный взгляд на ход истории. В исторической жизни народа он видит две категории людей: «выскочек» и «хороняк». Все симпатии, все сочувствие писателя на сто-

роне вторых, спокойно и скромно делающих свое маленькое, но полезное, и потому «историческое» дело.

От романов с острой интригой и обязательной любовной коллизией — как «Обойденные» (1865) — Лесков переходит к особому жанру «романической хроники», к роману без любовной интриги. Такова хроника рода Плодомасовых; «историей одного города» должен был стать роман «Чающие движения воды» — первая незаконченная редакция «Соборян». Отказавшись от романа «с любовью» и углубленной психологической разработкой, Лесков ищет других форм повествования. Такую форму он находит у Гоголя в «Мертвых душах». Герои Лескова (в «Загадочном человеке», в «Смех и горе») путешествуют по Руси, сталкиваясь с многообразными явлениями русской жизни. Уже «Смех и горе» оказывается произведением, в котором Лесков вскрывает многие существенные противоречия пореформенной жизни России и делает серьезный шаг к разрыву с лагерем реакции, куда привела его вражда к революционной демократии.

## «ОСТРОВИТЯНЕ»

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений. СПб., 1889, т. 3, стр. 353—370, который совпадает с первой публикацией «Островитян» в «Отечественных записках» (1866, т. CLXIX, № 21 — 24, ноябрь, декабрь, стр. 1—40, 163—211, 371—400 и 589—628, подпись — М. Стебницкий) и с отдельным изданием: «Островитяне. Повесть М. Стебницкого (автора романа «Некуда» и «Обойденные»)», СПб., 1867 (на титульном листе — 1866).

Работу над этой повестью в основном можно отнести к 1865 — 1866 году, так как весной — летом 1866 года Лесков был занят работой над первой частью романа «Чающие движения воды» (первая редакция «Соборян»), о чем он сообщал в письме председателю Литературного фонда Е. П. Ковалевскому 20 мая 1867 года: «Хроника «Чающие движения воды» мною была запродана в «Отечественные записки» в июле месяце прошлого, 1866 года, когда у меня была готова только одна первая часть» (А. Лесков. Жизнь Н. С. Лескова. М., 1954, стр. 187). Предполагать, что «Островитяне» писались ранее, нет никаких оснований, так как в 1865 году Лесков был занят работой над большим романом «Обойденные». («Отечественные записки», 1865, сентябрь — декабрь) и, возможно, над повестью «Воительница».

Кроме того, в романе упоминается о событиях общественной и театральной жизни (открытие окружного суда, театральные премьеры и т. д.), происходивших зимой 1865—1866 года.

Действие романа в основной своей части отнесено автором к началу 1860-х годов. Так, Шульц едет в Германию за женихом для Манички «месяца за полтора перед лондонской всемирной выставкой» — то есть в марте 1862 года, так как открытие выставки произошло 1 мая. Завершаются события в романе к лету 1866 года: в последней главе упоминается приход американского броненосца в Петербург.

В «Островитянах», как и в предыдущем большом романе — «Обойденные», Лесков отходит от памфлетности и «фотографичности» «Некуда», где многие прототипы очень легко узнавали себя в героях романа.

Начатое в «Воительнице» изучение петербургских типов Лесков продолжал в «Островитянах», где дана картина нравов петербургских немцев, семей Норков и Шульцев.

В газетах и мелких журналах 1863 — 1865 годов помещалось много очерков о жизни окраин Петербурга (Песков, Выборгской стороны, Васильевского острова), тогда еще живших своеобразной жизнью. Так, в фельетоне «С Васильевского острова» («Петербургский листок», 1864, № 21, 25 апреля) говорилось: «Посмотришь, за Невой к полуночи все еще светло, все движется, везде слышен гул экипажей... А у нас — мрак, тишина и инерция, и только по набережной да в первых линиях заметны признаки жизни». Эта нравоописательная часть «Островитян» представляет собой своеобразный «этнографический очерк».

Другая линия романа — изображение художника Истомина и его отношений с Маничкой Норк — является своеобразным откликом Лескова на споры об искусстве в русской журналистике 1865 года и на борьбу течений внутри русского искусства.

Эти споры касались важнейшего события в художественной жизни Петербурга начала 1860-х годов — знаменитого бунта 14 выпускников Академии художеств во главе с Крамским, не пожелавших писать на академическую тему «Пир в Валгалле» и демонстративно покинувших Академию после отказа ее начальства разрешить писать на вольную тему. Русской печати было запрещено касаться этой истории. Поэтому и Лесков только в общих словах говорит о начинающемся обновлении Академии художеств, о необходимости «перестройки» не только здания, но и характера деятельности Академии художеств в целом. В 1865 году в связи с очередной ежегодной выставкой в Академии художеств в печати оживлен-

но обсуждалось положение в Академии художеств. Статья В. С. Серова («С.-Петербургские ведомости», 1865, № 290) и анонимный фельетон «Вседневная жизнь» («Голос», 1865, № 287, 17 октября) очень остро и решительно ставили вопрос о дальнейшей деятельности Академии и вызвали пространный ответ ее ректора Ф. А. Бруни — «Антагонистам Академии художеств» («Биржевые ведомости», 1865, № 257, 25 ноября). Прямые высказывания Лескова о состоянии Академии художеств в «Островитянах» близки и по тону и по содержанию к фельетону «Голоса», в котором писалось: «В ком чувство изящного развито хоть настолько, чтоб отличить вывеску и поднос от картины, тому мы не советуем идти на выставку Академии, если только он не имеет в виду сам лично убедиться, до чего может упасть искусство в нашем отечестве, под сенью этого великолепного здания, украшающего набережную Васильевского острова... Сто лет покровительства и миллионы затрат для того, чтоб на сто первом году выставить 207 произведений живописи, скульптуры и архитектурных проектов, и из всего этого нет и десятой доли, которая стоила бы самого снисходительного одобрения. Для чего же и для кого тратились эти миллионы?»

Образом художника Истомина, его высказываниями и жизненным поведением Лесков как бы включился в теоретические споры об искусстве, развернувшиеся в журналистике 1865 года вокруг второго издания «Эстетических отношений искусства к действительности» Н. Г. Чернышевского и книги П.-Ж. Прудона (1809—1865) «Искусство, его основания и общественное назначение» (СПб., 1865, пер. Н. С. Курочкина). В ходе этих споров вновь были подвергнуты обсуждению важнейшие вопросы современного положения искусства в общественной жизни. Позиция Лескова в этой дискуссии (насколько об этом можно судить по «Островитянам») чрезвычайно противоречива. Он категорически отвергает взгляды «теоретиков», то есть «Современника» и «Русского слова». Лесков вместе с тем подвергает беспощадному разоблачению тип художника-романтика, по его мнению общественно-вредный, отживающий и не соответствующий современным потребностям русской жизни; однако эта в известном смысле прогрессивная идея затемняется проповедью религиозно-нравственного «служения», которому, в конечном счете, должно подчинять себя искусство.

В письме к А. С. Суворину («ночь на 3-е февраля 1881 г.» ИРЛИ, ф. 268, № 131) Лесков указывал на «некоторый портрет в рассказе «Островитяне», изображение которого он считал одним из «дурных» поступков своей молодости. Речь может идти, конечно,

только об Истомине, в образе которого, по-видимому, были воплощены какие-то черты характера К. П. Брюллова (избалованность, капризы, успех у женщин). Кроме того, в образ Истомина вошли, по-видимому, и какие-то черты популярного в 1850-е годы художника Сергея Константиновича Зарянко (1818—1870), растратившего свой талант в погоне за славой модного портретиста. (Ср. упоминание о нем в рассказе «Шерамур», т. 6, наст. изд.)

Современная критика почти ничего не писала об «Островитянах». Н. Соловьев отметил в большом обзоре творчества Лескова — «Два романиста» («Всемирный труд», 1867, декабрь): «В «Островитянах», следующих за «Воительницей», автор спустился еще ниже в своей беллетристической деятельности. Г-на Писемского, у которого он вообще многому научился, он тут уж совсем оставляет и клонится на сторону чистейшей романтики. Тот род жизни, до которого он здесь касается, по-видимому, даже мало знаком ему; и потому он опять, что называется, въедается в одну личность художника Истомина, которого и казнит без милосердия. Казнь эта так ясна, что становится даже жаль бедного Истомина, несмотря на всю призрачность его фигуры. После, правда, он сжалился над своим героем; но от этого становится читателю не легче. Он видит все-таки, что это не более как комедия или вместе с тем мечта над жизнью». Для демократической журналистики Лесков-Стебницкий в это время был автором реакционного романа «Некуда», и потому Михайловский в обзоре современной журналистики мимоходом упоминает о «забористых» романах Стебницкого, имея в виду «Островитян» («Книжный вестник», 1866, № 23—24, декабрь. Перепечатано в Полн. собр. соч., т. X, СПб., 1913, стр. 498).

Стр. 5. *Овцы царя Авгиаса не вместе, в стадах разделенных* и т. д. — эпиграф взят из идиллии Феокрита «Алкид — победитель льва, или богатства Авгиаса» в переводе Л. А. Мея («Сын отечества», 1856, № 2).

Стр. 6. *Рашель Элиза* (1821—1858) — знаменитая французская трагическая актриса, возродила традиции классической школы сценического исполнения. Одна из ее лучших ролей — Федра в одноименной трагедии Расина.

Стр. 9. *Титания* — персонаж из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», царица эльфов.

*...сказочного леса Оберона...* — Оберон, царь эльфов — персонаж из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Стр. 10. *Корвана* — церковное казнохранилище.

Стр. 13. *«Уголино»* (1838) — романтическая драма Н. А. Полевого, сюжет для которой Н. А. Полевой взял из эпохи борьбы гвельфов с гиббелинами в Италии XIII века в Пизанской республике. Уголино вместе с двумя сыновьями и двумя внуками был заперт в башне Гуаланди. Все пятеро умерли голодной смертью, но Уголино погиб последним, так как питался телами умерших. История Уголино приобрела известность благодаря поэме Данте «Божественная комедия».

Стр. 15. *...представляясь в виде Язона...* — Язон — древнегреческий мифологический герой, явился на праздник в одной сандалии, потеряв другую при переправе через реку.

Стр. 17. *«Миньонная»* — нежная (от франц. — mignonne).

Стр. 21. *Цебор* — подъемное колодезное колесо с приводом.

Стр. 24 *...«оставь надежду навсегда»...* — в «Божественной комедии» Данте («Ад») рассказывается, что над вратами ада была надпись: «Оставьте всякую надежду, входящие сюда».

Стр. 28. *Грандесса* — здесь иронически обозначает знатную даму (от франц. — grandesse).

Стр. 29. *...Газе* (Гаазе) Фридрих (1825—1911) — выдающийся немецкий актер. В 1860 — 1865 годах играл в Петербурге.

*Раабе* Гедвига (1884—1905) — известная немецкая актриса, выступала с большим успехом в Петербурге в 1864 — 1868 гг. в Немецком придворном театре.

Стр. 32. *Ауэрбах* Бертольд (1812—1882) — немецкий писатель, автор повестей из крестьянской жизни и романов об интеллигенции.

Стр. 33. *Комильфотная* — здесь — светская (от франц. — comme il faut).

Стр. 35. *...новое издание Пушкина...* — по-видимому, речь идет об издании: Сочинения А. Пушкина. Новое издание Я. А. Исакова. СПб., 1859 — 1860, 6 томов.

Стр. 37. *Мацерированные* — вымоченные (от немецк. — mazerieren).

Стр. 39. *Ранжевая* — оранжевая.

*Полисоны* — стоячие воротнички мужских рубашек.

Стр. 41. *Фуляр* — шелковая ткань особой мягкости, первоначально шла только на носовые платки.

Стр. 42. *Голбейновский портрет* — имеются в виду портреты работы знаменитого немецкого художника Ганса Гольбейна (1497 — 1543).

*...эффектная головка Греза.* — Французский художник Ж.-Б. Грез (1725 — 1805), создатель многочисленных портретов — женских головок, отличающихся выразительностью и изяществом.

Стр. 42. ...«*покинул и на женщине женился*»... — строка из «Русалки» А. С. Пушкина.

Стр. 43.

*Птичка под кустами*
*Встрепенулася во мгле.*

В такой редакции эти строки из «Русалки» А. С. Пушкина печатались во всех изданиях XIX века.

*Между месяцем и нами*... — строки из «Русалки» А. С. Пушкина.

Стр. 44. *Аугсбургское исповедание* — символ веры лютеранской церкви, принятый в Аугсбурге (Германия) в 1530 году.

Стр. 50. *Кошут* Людвиг (1802 — 1894) — вождь венгерского национально-освободительного движения и революции 1848 — 1849 гг. в Венгрии.

*Гросфатер* — немецкий старинный танец.

Стр. 52. *Брегет* — карманные часы, изготовлявшиеся в мастерской знаменитого французского часовых дел мастера А. Л. Бреге (1747 — 1823). Часы эти отличались большой точностью, могли отбивать минуты и показывали числа месяца.

Стр. 53. *Кшесиньский* Феликс Иванович (1823—1905) — артист русского балета, в Петербурге с 1853 года, особенно прославился исполнением мазурки в опере Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»).

Стр. 54. *Воланная пробка* — небольшой кусок дерева с прикрепленными к нему перьями, употребляется в детской игре.

Стр. 55. *Репрезентовать* — представлять.

Стр. 56. ...*известный цыган Илья*... — Соколов Илья Осипович, певец, возглавлял хор московских цыган в 1820 — 1830 годах.

Стр. 59. *Генерал Джаксон* — Джаксон Т. Д. (1826 — 1863), один из военачальников армии южан во время гражданской войны в США.

Стр. 61. *Василеостровская академия художеств* — Академия художеств находилась в Петербурге на Васильевском острове.

*Бурш* — студент (в Германии), принадлежащий к какому-нибудь студенческому объединению (корпорации). Члены некоторых корпораций носили на шляпе кокарду.

*С тех пор как Екатерина Вторая построила... храм свободным художествам*... — здание Академии художеств в Петербурге выстроено архитекторами А. Кокориновым и В. Деламотом в 1764 — 1772 годах. Надпись *свободным художествам* помещалась на фронтоне здания, над входом.

Стр. 62. *...нынче обновляется... екатерининское здание...* — Перестройка здания Академии художеств была начата в 1864 году.

*Училище правоведения* — привилегированное учебное заведение, основанное в 1835 году «для образования благородного юношества на службу по судебной части»; в него принимались только дети потомственных дворян.

Стр. 63. *Канканер* — исполнитель французского эстрадного танца канкан.

*Нибелунги* — в немецкой эпической «Песне о Нибелунгах» рассказывается о Зигфриде, победителе карликового народа — нибелунгов («детей тумана»).

*Конфортативный* — укрепительный (от франц. — conforter).

*...в год отрытия другого здания, в котором общество русское, недавно судимое при закрытых дверях, само в лице избранных людей своих станет судьей факта...* — Петербургский окружной суд, созданный на основании нового судебного устава 1864 года, был открыт 17 апреля 1866 года.

*Опера-фарс «Орфей в аду»... представляла общественное мнение одетым в ливрею, дающую ему вид часовой будки у генеральского подъезда.* — Лесков позднее так вспоминал об этом изображении общественного мнения: «Для третьих общественное мнение с достаточной ясностию изображается актрисою Стрельскою, когда она в оперетке «Орфей в аду» выходит из полицейской будки в оборванном салопишке, цвета заставного столба, и возглашает, что она «общественное мнение»... («Русские общественные заметки», «Биржевые ведомости», 1870, № 62). Впервые в Петербурге «Орфей в аду» (1858) Ж. Оффенбаха представлен в 1865—1866 годах в Александринском театре.

*Стрельская* В. В. (1841—1915) — артистка Александринского театра с 1857 года.

Стр. 64. *...дали строителю академии Кокоринову мысль... удавиться в построенных им стенах...* — Кокоринов А. Ф. (1729—1772) — талантливый архитектор, с 1760 года — директор Академии художеств. Постройка здания Академии художеств по его проекту и под его наблюдением началась в 1764 году. Последние годы жизни Кокоринова были омрачены обвинением в хищении казенных средств, отпущенных на постройку здания Академии. Официальная проверка установила полную невиновность Кокоринова, однако душевное равновесие его было нарушено, и он повесился.

*...теоретиков, поставивших себе миссиею игнорированье произведений искусства...* — Лесков имеет в виду главным образом крити-

ков демократического журнала «Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, взгляды которых на искусство здесь характеризуются односторонне.

Стр. 65. *...заговорил о Строгановых, о госте Петре Строганове и немце Даниле Эйлофе, восставших за Шуйского, против царика Тушинского.* — Имеется в виду упоминание у Н. М. Карамзина в «Истории государства российского» книга III: «Люди слабые раскаялись; люди твердые ободрились, а между ими два человека прославились особенно ревностию: знаменитый гость, Петр Строганов, и немец греческого исповедания, богатый владелец Данила Эйлоф. Первый не только удержал Соль Вычегодскую... в неизменном подданстве царю, но и другие города Пермские и Казанские, жертвуя своим достоянием для ополчения граждан и крестьян; второго именуют главным виновником сего восстания, которое встревожило стан Тушинский... отвлекло знатную часть сил неприятельских от Москвы и Лавры» (изд. 5-е, 1843, стр. 84).

Стр. 66. *Янаушек* Ф. (1830—1904) — немецкая трагическая актриса.

*Гаррик* Давид (1717—1779) — английский актер, один из создателей реалистической манеры игры на европейской сцене; основное место в его репертуаре занимали пьесы Шекспира.

*Дависон* Богумил (1818 — 1872) — знаменитый немецкий трагический актер, выступал в Петербурге.

*Олридж* Айра (1804—1867) — знаменитый трагический актер, по происхождению негр. Впервые посетив Россию в 1858 году, Олридж затем приезжал почти каждый год с шекспировскими спектаклями, в которых играл с огромным успехом.

*...наш Василий Васильевич* — Самойлов В. В. (1813 — 1887) — артист петербургского театра.

*«О, защитите нас, святые силы неба!»* — слова Лира в трагедии Шекспира «Король Лир».

*Осип Афанасьевич* — Петров О. А. (1807 — 1878) — выдающийся русский певец-бас, создатель русской вокальной школы. Одна из его лучших партий — Бертрам в опере Мейербера «Роберт-Дьявол».

Стр. 68. *Самойлов... Ришелье этакой...* — В сезон 1865—1866 гг. Самойлов с большим успехом играл роль кардинала Ришелье в одноименной исторической драме Бульвера.

*Коломяги* — дачное место под Петербургом.

*Леонова* Д. М. (1835 — 1896) — русская оперная певица-контральто.

Стр. 70. *Анна Денман.* — Английский скульптор и рисовальщик

Джон Флаксман (1755—1826) женился в 1781 году на Анне Денман, которая оказала огромное влияние на развитие его таланта; вместе с нею он отправился в Рим, где пробыл семь лет, и первым из английских скульпторов обратился к изучению античных образцов. Как художник, Флаксман приобрел общеевропейскую известность своими иллюстрациями к Гомеру и Данте.

Стр. 71. *Спекулянты пенькового буяна.* — Пеньковый буян в Петербурге — так называлась пристань на Неве для выгрузки кож, масла, сала, пеньки и т. д.

Стр. 75. *И мир существовать; никто б не стал...* — стихи из «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина.

Стр. 78. *Канаус* — персидская шелковая ткань.

*«Трубят голубые гусары»* — первая строка стихотворения Г. Гейне («Es blasen die blaue Husaren») в переводе М. Михайлова (1858). На слова этого перевода композитором Кюи был написан романс.

Стр. 79. *«Она была достойна любви...»* — эпиграф, по-видимому сочиненный Г. Гейне в его «Путевых картинах» к разделу «Идеи — Книга Le Grand». Оттуда же взято имя Вероника и «невыплаканная слеза», о которых говорится здесь же.

*С толпой безумною не стану...* — из стихотворения Г. Гейне «Ich tanz nicht mit» в пер. М. Михайлова (1856). Цитируется с пропусками.

Стр. 82. *Баядера* — здесь — обозначение сорта сигар.

*Лабрадоровый* — сделанный из лабрадорита, цветного камня, употребляемого на изготовление ваз, колонн, памятников и т. д.

*Мариландская папироса* — папироса, сделанная из табаку, выращенного в штате Мэриланд (Мариланд) в США.

*«Не о хлебе едином человек жив будет»* — фраза из евангелия.

*...Пилат произнес свое еже писах — писах.* — По евангельскому преданию, Пилат, римский правитель Иудеи, отказался изменить надпись на кресте над распятым Христом, сказав: что я написал, то написал.

Стр. 82—83. *Он решительно утверждал, что художество отжило свой век и что искусство только до тех пор и терпимо, пока человечество еще глупо...* — Лесков имеет в виду следующие слова В. Зайцева, критика журнала «Русское слово» (1865, № 4): «...Искусство не имеет настоящих оснований в природе человека... оно не более как болезненное явление в искаженном, ненормально развившемся организме... по мере совершенствования людей оно должно падать и... заслуживает полного и беспощадного отрицания» («Эсте-

тические отношения искусства к действительности». Рецензия. В. А. Зайцев. Избр. соч. в двух томах. М., 1934, т. I, стр. 331).

Стр. 83. *...Платон предлагал увенчать всех этих бесстыдников лаврами и потом выгнать...* — Платон (ок. 428 — ок. 348 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист; в своем сочинении «Государство» предлагал изгнать поэтов из будущего идеального государства, как бесполезных для общества людей.

Стр. 84. *Канова* А. (1757 — 1822) — итальянский скульптор.

Стр. 85. *Ставленник* — кандидат на церковную должность.

*Духовная консистория* — управление при епархиальном архиерее с административными и судебными правами.

Стр. 87. *Клодтовский форматор* — формовщик, изготовитель форм для отливки скульптурных произведений. Известный скульптор П. К. Клодт заведовал литейной мастерской Академии художеств, где, очевидно, и служил форматор Арешка, о котором рассказывает натурщик.

Стр. 91. *...китайцы дерутся* — имеется в виду Тайпинское восстание — крестьянская революционная война в Китае 1851—1864 годов против феодального господства и власти Цинской династии.

*...Андерсена сказки по-русски переводятся.* — Полное собрание сказок Андерсена вышло в конце 1863 года.

*Выставка художественная будет скоро.* — По-видимому, речь идет об ежегодной академической художественной выставке 1863 года, открывшейся 13 сентября.

*Неф* Т. А. (1805—1876) — художник, придворный живописец и академик с 1832 года; с 1855 года — профессор Академии художеств, автор многочисленных картин на сюжеты «из мира ванн и купален» — как говорится у Лескова.

Стр. 93. *...имена Ниобеи, Эвридики, Психеи, Омфалы, Медеи, Елены.* — Героини древнегреческих мифов. Ниобея за соперничество с Латоной (матерью Аполлона и Артемиды) лишилась всех своих 14 детей, была обращена в камень и в вечной тоске проливала слезы о погибших. Эвридика — жена певца Орфея, который отправился за нею после ее смерти в царство мертвых, чтобы силой своих песен убедить владык этого царства вернуть ее к жизни. Психея — возлюбленная бога Амура. Омфала — лидийская царица, у которой в рабстве находился Геракл, позабывший ради нее о подвигах; одетый в женское платье, он сидел над пряжей среди рабынь. Медея — дочь колхидского царя, полюбившая Язона; при ее помощи Язон добыл золотое руно и благополучно вернулся в Грецию. Елена — жена царя Менелая, похищение которой было причиной Троянской войны.

Стр. 93. *Все слышались мне имена Гнатэны, Праксителя, Фрины мегарянки.* — Истомин читает Мане стихотворение Л. Мея «Фринэ́» (1855), цитату из которого Лесков включает в его рассказ. Гнатэна (IV век до н. э.) — гетера из Коринфа. Пракситель (IV в. до н. э.) — знаменитый древнегреческий скульптор; в древности особенно большой славой пользовалась его статуя Афродиты Книдской, изображающая нагую фигуру перед купанием. Фрина (Фринэ) — афинская гетера (IV в. до н. э.), прославившаяся своей красотой и умом; была натурщицей у Праксителя для его статуи Афродиты Книдской.

Стр. 94. *Бурнус* — верхняя одежда, род накидки.

Стр. 97. *Антигона* — по древнегреческим мифам, оставалась при своем отце в изгнании до самой его смерти.

Стр. 100. *...вздергивая на па́жи свою верхнюю юбку.* — Паж — поясок для поддержки юбки при ходьбе по улицам.

*Мать Самуила* — по библейским преданиям, Самуил (XI в. до н. э.) — вождь израильтян в борьбе с филистимлянами — был воспитан своей матерью, бедной женщиной, в духе патриотизма.

Стр. 110. *Чичер* — резкий холодный осенний ветер с дождем.

Стр. 119. *Антука́* — зонтик от дождя и солнца.

Стр. 124. *...выстрелы сигнальной пушки...* — о подъеме воды в Неве население оповещалось выстрелами сигнальной пушки в Петропавловской крепости.

*Феральный* — похоронный.

Стр. 134. *Серпинковая* — из хлопчатобумажной ткани, серпянки.

*Сакрамент* — проклятый.

Стр. 135. *Потомок Германика и Агриппины* — римский император Калигула (12—41 н. э.), сын императора Германика и его жены Агриппины.

Стр. 138. *Добрыми намерениями, говорят, весь ад вымощен* — ставшие пословицей слова из поэмы Данте «Божественная комедия».

Стр. 149. *Гернгутер* — член религиозной секты гернгутеров, или богемских братьев; учение их требовало от членов секты особенной нравственной чистоты.

Стр. 150. *Рауль Синяя Борода* — герой французских сказок, умертвивший шесть своих жен, одну за другой, за то, что они, вопреки его запрету, открывали в его отсутствие дверь в тайный кабинет.

Стр. 150. *«Парижские тайны»* (1842—1843) — роман Э. Сю, пользовавшийся общеевропейской известностью. *Дагобер* — действующее лицо этого романа, у которого была очень большая собака.

Стр. 153. *Талер* — серебряная монета, достоинством в 90 коп. — 1 рубль, принятая для обращения в 1860 годах во всех германских государствах.

*Зильбергрош* — в талере 30 зильбергрошей.

Стр. 155. *Насека* — зубило.

Стр. 159. *Пусть мертвые хоронят своих мертвецов* — перефразированное выражение из евангелия: «Предоставь мертвым хоронить своих мертвецов».

Стр. 160. *Ида Пфейфер* (1797 — 1858) — австрийская путешественница. Разведясь с мужем, она стала путешествовать с естественно-научными целями. Ею издано много описаний путешествий, переводившихся и на русский язык (например — Путешествие вокруг света. М., 1862).

Стр. 165—166. *...в таком настроении, о каком Виктор Гюго так неловко рассказывает в своем «Dernier jour d'un condamné».* — Герой повести Гюго «Последний день приговоренного к смерти» (1829) так говорит о своем душевном состоянии: «Пусть вокруг меня все однообразно и серо, зато во мне самом бушует буря, кипит борьба, разыгрывается трагедия. А неотступно преследующая меня мысль каждый час, каждый миг является мне в новом обличье, с каждым разом все страшней и кровожадней по мере приближения назначенного дня» (В. Гюго. Собр. соч., т. 1, М., 1953, стр. 235).

Стр. 166. *Катон* Утический (95—45 до н. э.) — древнеримский республиканец, покончил с собой, когда сторонники республики потерпели полное поражение.

Стр. 167. *Мычка* — здесь — борода, похожая на лен или пеньку, изготовленные для прядения.

Стр. 168. *Брем* — имеется в виду книга: А. Брем. Жизнь птиц. Для домашнего и семейного чтения. Перевод Н. Страхова. СПб., 1866.

*Иерихон* — один из древнейших городов Палестины, расположенный в долине Иордана.

Стр. 169. *Ивиковы журавли* — Ивик (VI в. до н. э.) — древнегреческий странствующий певец; по преданию, был убит недалеко от Коринфа, куда шел на общегреческие празднества. Убийца выдал себя при виде журавлей, свидетелей убийства. Легенда эта в переработанном виде изложена Ф. Шиллером в балладе «Ивиковы журавли», сделавшейся широко известной в России по переводу В. А. Жуковского (1813).

Стр. 170. *...бросился с екатерингофского берега в Неву.* — Ширина Невы в этом месте около 600 метров.

Стр. 171. *Торопиться ей не нужно...* — заключительные строки стихотворения Г. Гейне «Радость и горе» («Das Glück ist eine leichte Dirne») в пер. М. Михайлова (1853).

Стр. 183. *Корделия* — героиня трагедии Шекспира «Король Лир».

*Лавиния* — героиня приписываемой Шекспиру трагедии «Тит Андроник» (1593). Мстя за убийство своего брата, сыновья царицы Таморы убили мужа Лавинии, обесчестили ее на трупе мужа, вырвали язык и отрубили руки, чтобы она не могла назвать или указать убийцу.

*Мария Антуанетта* (1755—1793) — французская королева, за враждебную по отношению к революционной Франции деятельность арестована в 1792 году, 3 июля 1793 года разлучена с сыном и позднее казнена по приговору революционного трибунала.

*Орлеанская дева* — Жанна д'Арк (1412—1431) — героиня Столетней войны между Англией и Францией, сожженная по приговору духовного суда.

*Ксения Годунова* (1582—1622) — дочь царя Бориса Годунова. После смерти Бориса Лжедмитрий держал Ксению Годунову при своем дворе, но затем отправил в Белозерский монастырь, где она постриглась в монахини.

*Констанция* — героиня хроники Шекспира «Король Джон» (1598). Лесков цитирует слова Констанции по переводу А. В. Дружинина «Жизнь и смерть короля Джона» («Современник», 1865, т CIX, № 7, отд. 1, стр. 8—52, и Собрание сочинений А. В. Дружинина, 1865 г., т. III).

*Дарбуа* Г. (1813—1868) — католический церковный деятель, автор очень распространенной книги «Библейские женщины» (1848).

Стр. 184. *...дочь Рагуила, та несчастная красавица Сара...* — В библии («Книга Товита») рассказывается, что для того, чтобы отогнать демона, убившего семерых мужей Сары, Товия сжег сердце и печень рыбы.

Стр. 188. *...читая об этом страшном походе героев со светильниками, опущенными в глиняные кувшины...* В библии («Книга Судей») рассказывается о том, как Гедеон с тремястами воинов, у каждого из которых был пустой кувшин с горящим светильником, ночью внезапно напал на врагов и, воспользовавшись смятением в неприятельском лагере, наголову разбил многочисленного неприятеля.

Стр. 190. *...он выписывает «Московские ведомости», очень сердит на поляков, сочувствует русским в Галиции, трунит над гельсингфорскими шведами, участвовал в подарке Комиссарову и говорил две речи американцам.* — Шульц разделяет взгляды газеты «Московские ведомости», органа крайней реакции, по ряду внутриполитических вопросов; очень сердит на поляков — «Московские ведомости» требовали самого жестокого подавления польского освободительного движения и объявляли революционное движение в России польской интригой; сочувствует русским в Галиции — в 1866 году в Галиции разгорелась борьба между украинцами (или, как они тогда назывались, русинами) и польским дворянством, которое при поддержке австрийского правительства стало преследовать украинские культурные организации. «Московские ведомости» считали, что в связи с ослаблением Австрии после поражения в войне 1866 года следует добиваться присоединения Галиции к России, и поэтому поддерживали в Галиции партию «москвофилов», ориентировавшихся на реакционные круги в России против поляков; трунит над гельсингфорскими шведами — имеются в виду финны, искавшие поддержки в Швеции против России; участвовал в подарке Комиссарову — О. И. Комиссаров, костромской мещанин, случайно оказавшийся вблизи места покушения Каракозова, стрелявшего в Александра II 4 апреля 1866 года. Реакционной и буржуазно-либеральной печатью Комиссаров был объявлен «спасителем отечества», 6 апреля по разрешению царя «была открыта подписка на составление капитала для приобретения ему дома в Петербурге и имения» (Кн. В. П. Мещерский. Мои воспоминания. СПб., 1898, ч. II, стр. 26—27); говорил две речи американцам — 25 июля 1868 года в Кронштадт прибыл американский военный корабль «Миантономо», чтобы поздравить Александра II со спасением от пули Каракозова.

Стр. 192. *Оден северной саги, потерявший свой другой глаз при покушении украсть меду поэзии у Гунледа.* — В скандинавских мифах Один (Оден) изображается одноглазым.

*Смайльс С.* (1816—1900) — английский писатель-моралист; его книга «Self-Help» (1860) — в русском переводе Н. Кутейникова (1866) — «Самодеятельность» — высоко ценилась демократической журналистикой: «Для детей это книга незаменимая; она доказывает всю пользу для человека работы собственными силами и неустающей энергией, в видах постоянного улучшения его нравственного и физического благосостояния; она выясняет все почетное значение грубого физического труда, не уступающего в этом смысле самому умственно-утонченному». (Михайловский Н. К., Полн. собр.

соч., т. X. СПб., 1913, стр. 693, первоначально — «Книжный вестник», 1866, апрель.)

Стр. 192. *Руфь* — по библейскому преданию («Книга Руфь»), Руфь своей кротостью и трудолюбием расположила к себе Вооза и стала его женою.

## СТАРЫЕ ГОДЫ В СЕЛЕ ПЛОДОМАСОВЕ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений. СПб., 1890, т. VI, стр. 339—435. Первоначально опубликовано в еженедельнике «Сын отечества», 1869 (Старые годы в селе Плодомасове. Часть первая. Боярин Никита Юрьевич. № 6, стр. 71—74 и № 7, стр. 85—88. Часть вторая. Боярыня Марфа Андреевна. № 8, стр. 99—103 и № 9, стр. 113—119) и в «Русском вестнике», 1869 («Плодомасовские карлики. Картина старорусской жизни». № 2, февраль, стр. 662—684).

В сборник «Рассказы М. Стебницкого» (1869) автор включил «Плодомасовских карликов» в качестве третьего очерка в «Старые годы в селе Плодомасове», дав им общий подзаголовок «Три очерка» со следующим пояснительным примечанием перед третьим очерком: «Здесь должен чувствоваться большой перерыв в Плодомасовской хронике, потому что три очерка, касающиеся позднейшей старости Плодомасовой и воспитания и жизни «дворянина Туганова», по особым соображениям автора не включены в этот том. Наступающий очерк представляет эпоху гораздо позднейшую, когда Плодомасова уже умерла. Глубокое старчество Марфы Андреевны передается лишь устами ее фаворитного карлика Николая Афанасьевича».

В 1872 году «Плодомасовские карлики» вновь были напечатаны Лесковым с изменениями текста в составе его «Старогородской хроники» — «Соборян» в «Русском вестнике» (1872, № 5, май, стр. 258—278) как главы II—V второй части хроники. Лесков сообщал об этом в письме в редакцию газеты «Русский мир» от 7 мая 1872 г. № 119: «После выхода апрельской книги «Русского вестника», где помещена первая часть моего романа «Соборяне», распространились некоторые толки, и я получаю устные и письменные вопросы и сожаления: зачем мною изъяты отсюда «Плодомасовские карлики», с которыми читатели познакомились по отрывку, напечатанному в «Русском же вестнике», назад тому три года.

Глубоко признательный за столь мало мною заслуженное внимание известных и неизвестных мне лиц, я считаю долгом объяс-

нить им, что интересующие их «Плодомасовские карлики» отнюдь не изъяты из «Соборян» и появятся в свое время. Воспоминаемый читателями прежде напечатанный отрывок принадлежит ко второй, а не первой части романа, и затем главнейший из карликов (Николай Афанасьевич) продолжает быть действующим лицом до самого конца повествования».

Включая «Старые годы в селе Плодомасове» в VI том собрания сочинений, Лесков несколько изменил редакцию пояснительного примечания к «Плодомасовским карликам», указав, что «очерк этот частию вошел в хронику «Соборяне».

Журнальный текст «Старых годов в селе Плодомасове» и его перепечатка в сборнике 1869 года не имеют отличий. В собрании сочинений «Старые годы в селе Плодомасове» подверглись большим сокращениям и тщательной стилистической правке. В очерке «Боярыня Марфа Андреевна» из главы VI «Домашний вор» после слов *...опять начиналось то же шныряние* следовал текст, который помещен в приложении (стр. 571—579). Этот текст характеризовал домашние забавы Марфы Андреевны, и здесь впервые фигурировал Ванька Жорнов, в главе VII — «Незваные гости» оказывающийся предводителем разбойничьей шайки. В первоначальной редакции, таким образом, узнавание Ваньки Жорнова Марфой Андреевной в сцене нападения разбойников было мотивировано его появлением в предыдущей главе. Удаление этого эпизода могло быть продиктовано Лескову соображениями цензурного порядка, так как «Старые годы в селе Плодомасове» введены были Лесковым в состав VI тома Собрания сочинений, после того как этот том (в его первоначальном составе) был запрещен Главным управлением по делам печати (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова. М., 1954, стр. 576—580) по заключению духовной цензуры и сожжен.

Первое упоминание о Плодомасовской хронике в печати содержится в списке произведений, приобретенных журналом «Литературная библиотека» на 1868 год («Литературная библиотека», 1867, декабрь, книга вторая). Здесь наряду с «Божедомами» указан «очерк» «Боярыня Плодомасова». Это упоминание позволяет предположить, что замысел «Старых годов в селе Плодомасове» к концу 1867 года у Лескова уже был, а может быть, они уже и писались.

Первоначально историческая хроника была задумана Лесковым много обширнее, чем осуществлена. «Мне хотелось, — писал в 1871 году Лесков, — создать нечто вроде трилогии, т. е. написать бабушку — боярыню Плодомасову, дочь ее г-жу Туганову и внучку» (Надпись на авторском экземпляре книги «Рассказы» Стебницкого, т. II, 1869 — см. Валентина Гебель. Н. С. Лесков. В творческой

лаборатории. М., 1945, стр. 130). Ближе к реализации такого обширного исторического рассказа Лесков подошел позднее в романе «Захудалый род» (1874). Как можно судить по осуществленной части Плодомасовской хроники, Лесков ставил в ней задачу изображения хода русской истории XVIII—XIX веков, как он писал позднее, «со стороны самой легкой и поверхностной, со стороны изображения каких-нибудь неважных людей, которые, однако, самою своею жизнью до известной степени выражают историю своего времени» («Киевская старина», 1883, т. V, февраль, стр. 235. Предисловие к «Печерским антикам»). Материал для «Старых годов в селе Плодомасове» Лесков черпал в основном из собственных воспоминаний детства, из наблюдений над бытом и нравами дворянских родов Орловской губернии 1830-х — 1840-х годов, из рассказов родных и из семейной хроники. Так, эпизод неравного брака пятидесятилетнего боярина Плодомасова с пятнадцатилетней Марфой Андреевной мог быть взят Лесковым из семейной хроники: его родная тетка Наталья Петровна Алферьева в 1824 году почти еще подростком была выдана замуж за пятидесятилетнего холостяка, богатого помещика М. А. Страхова, который ее тиранил и ревновал. Лесков провел в детстве несколько лет у Страховых и позднее воспроизводил характер хозяина дома в своих произведениях.

Для Плодомасовой, по словам Лескова, он использовал многие черты характера одной из помещиц, о которой писал в статье «Пресыщение знатностью» («Новое время», 20 января 1888, № 4272): «В Кромском уезде Орловской губернии, в селе Зиновьево, жила помещица Настасья Сергеевна, рожденная кн. Масальская. Она в юности получила блестящее образование в Париже и пользовалась общим уважением за свой ум и благородный, независимый характер. Состояние у нее было среднее (500 душ), но хорошо поставленный дом ее был открыт для званых и незваных. Ее очень почитали и ездили к ней издалека, не ради пышности и угощений, а «на поклон» — из уважения. В зиновьевском доме было хлебосольно, но просто, приветно и часто очень весело. Кроме того, зиновьевский дом был также в некотором роде источником света для округа. Большинство соседей брали здесь книги из библиотеки, унаследованной хозяйкой от Масальского, и это поддерживало в окружном обществе изрядную начитанность.

Когда меня мальчиком возили в Зиновьево, Настасья Сергеевна была уже старушка, но я отлично ее помню и с нее намечал некоторые черты в изображениях «боярыни Плодомасовой» (в «Соборянах») и «княгини Протазановой» (в «Захудалом роде»). О ней говорили, что «она всем дает тон».

В Зиновьеве же был карлик. Об этом упоминается в автобиографических заметках С. П. Алферьева (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова. М., 1954, стр. 49), по-видимому послуживший прототипом для Николая Афанасьевича.

Стр. 193. *Бранка* — пленница.

Стр. 194. *В 1715 году приехали... какие-то комиссары...* — Чиновники по сбору налогов.

Стр. 195. *Петровский потешный* — потешные войска возникли из созданных в 1683 году для забавы малолетнего Петра I детских отрядов; позднее (в 1691) они были преобразованы в два полка, Преображенский и Семеновский, и стали образцом для созданной Петром регулярной армии.

Стр. 196. *Охобень* (охабень) — старинная верхняя одежда с прорезами под рукавами и с четвероугольным откидным воротом.

*Торока* — ремешки для пристежки к седлу.

*Чембур* — повод уздечки, за который водят или привязывают коня.

*Свора* — здесь — веревка.

*Положение Руслана, стремившегося отнять похищенную у него Людмилу...* — имеется в виду поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

Стр. 197. *Аргамак* — порода верховых лошадей.

Стр. 198. *Полковая либерия* — военная форма.

Стр. 199. *Аксамитная* — бархатная.

Стр. 200. *...под укрюками седельных арчаков...* — Укрюк — веревка с петлей на конце для поимки пасущихся коней; арчак — деревянный остов седла.

*Архалук* — короткая мужская одежда, род халата.

Стр. 202. *С женщинами... происходило нечто подобное тому, что, по апокрифическим сказаниям, происходило с языческими идолами при восходе звезды, возвестившей рождение Христа.* — По-видимому, имеется в виду непризнанное церковью (апокрифическое), но бытовавшее в древности на Руси «Сказание Афродитиана о чуде в Персидской земле», с которым Лесков мог познакомиться в книге Н. С. Тихонравова. Памятники русской отреченной литературы, М., 1863, т. I—II. В «Сказании Афродитиана» говорится о том, что при появлении звезды все кумиры пали ниц.

*Капище* — языческий храм.

Стр. 204. *Напóл* — долбленная из пня кадушка для хранения зерна или муки.

Стр. 206. *Она не правого ложа.* — Елизавета Петровна (1709—1761) родилась до официального брака (1712) Петра I и Екатерины I, на которой Петр женился, заставив свою первую жену — Евдокию — постричься в монахини.

Стр. 211. *Земский ярыжка* — здесь означает полицейского чиновника.

*Личарда* — ироническое наименование верного слуги; взято из «Сказки о Бове-королевиче», где Личардой зовут слугу короля Гвидона.

Стр. 212. *Я... тебе обыскных припас. Давай книгу!* — При совершении брака по православному обряду в особую книгу записывались данные о женихе и невесте (так называемый обыск), а поручители подписывались, что брак совершается по добровольному согласию.

Стр. 213. *Осил* — накидная петля.

Стр. 218. *Пóслух* — свидетель перед судом.

Стр. 219. *Большой могол* — Великий Могол — титул, данный европейцами властителям Индии в XVI—XVIII веках, здесь — безграничный властелин.

Стр. 222. *Пенелопина пряжа* — в «Одиссее» Гомера Пенелопа, жена Одиссея, во время его двадцатилетнего отсутствия объявила многочисленным своим женихам, что она выйдет замуж после того, как соткет саван для старика отца Одиссея — Лаэрта. Сотканное за день Пенелопа ночью распускала.

Стр. 223. *Вáбило* — пара птичьих крыльев, которыми машут, посвистывая, для призыва ловчей птицы.

Стр. 225. *Обык* — обычай.

Стр. 227. *Осетился* — поймался.

Стр. 228. *Меск* — мул или лошак.

Стр. 234. *Опыт* — здесь — пробный сноп.

Стр. 237. *Фортунка* — ящик с колесом для лотереи.

*...на Лысой горе на шабаше.* — По народным поверьям, ведьмы и нечистые духи со всего света слетаются 26 декабря на Лысую гору у Киева на свой праздник — шабаш и предаются там необузданному разврату.

*Номады* — кочевники, кочующие народы.

Стр. 243. *...ломать половицы... из-под взáкрой положенного венца.* — В рубленом доме концы половиц проложены между ярусами бревен (венцами), из которых сложены стены.

Стр. 244. *Окатный жемчуг* — крупный и круглый.

*Бурмистское зерно* — крупная круглая жемчужина.

Стр. 248. *Кармазин* — тонкое, ярко-алое сукно.

Стр. 252. *...с травленою распиской...* — узор по краске вытравлен кислотой.

*Камлот* — грубая шерстяная ткань.

*...в масаковом гроденаплевом салопе...* — в темно-лиловом салопе (род теплого круглого плаща) из плотной шелковой ткани.

Стр. 253. *Городки* — фестоны.

Стр. 254. *Петровки на дворе* — Петров день — 29 июня по старому стилю.

Стр. 259. *...одаряю, как виночерпий и хлебодар, что в писании* — имеется в виду библейский рассказ о виночерпии и хлебодаре, которым заключенный вместе с ними Иосиф предсказал их судьбу (книга Бытия, гл. 40).

Стр. 264. *...не друг кесарю* — имеется в виду следующее место из евангелия от Иоанна (гл. 19): «С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: если отпустишь его, ты не друг кесарю».

*...после французского замирения...* — после мира с Францией в 1815 году.

*Клопштос* — здесь в значении малыш, клоп.

Стр. 264—265. *...когда туда ждали императора после победы над Наполеоном.* — В 1817 г.

Стр. 265. *Гофреи* — мелкие складки.

*...я, знаете, как Закхей-мытарь...* — По евангельскому рассказу, Закхей, чтобы увидеть Христа, направлявшегося в Иерихон, влез на дерево и был замечен Христом.

*Князь Голицын* — Александр Николаевич (1773—1844), — министр духовных дел и народного просвещения, реакционер и мистик, лично очень близкий Александру I человек.

Стр. 270. *Роб* — платье.

*Красная горка* — так называлось первое воскресенье после пасхи, к которому обычно приурочивались свадьбы.

Стр. 271. *Синенькая* — пятирублевая ассигнация.

Стр. 272. *Аксиос* (греч.) — достоин! Слово это возглашалось при посвящении в духовный сан.

## ЗАГАДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Печатается по изданию: Н. С. Лесков. Полное собрание сочинений. СПб., 1889, т. 8, стр. 3—127.

Впервые напечатано в газете «Биржевые ведомости» (1870, № 51, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 76 и 78) под названием «Загадоч-

ный человек. Очерк из истории комического времени на Руси»), главы I — XXXII. Без подписи.

Отдельным дополненным изданием вышло в 1871 году: Н. С. Лесков-Стебницкий. Загадочный человек. Эпизод из истории комического времени на Руси. С письмом автора к Ивану Сергеевичу Тургеневу.

Непосредственным поводом к написанию книги об Артуре Бенни явились сообщения русских газет о его смерти («Санкт-Петербургские ведомости» от 7 февраля 1868 года, «Иллюстрированная газета», 1868, № 7) и отклик на них И. С. Тургенева, выступившего в защиту Бенни в письме в редакцию «Санкт-Петербургских ведомостей» (1868, № 52, от 23 февраля), в котором он писал: «Смею вас уверить, что Бенни заслуживал более сочувственного напутствия или хотя сострадательного молчания» (И. С. Тургенев. Сочинения. Л. — М., 1930, т. XII, стр. 381).

Уже в начале 1869 года Лесков просил А. П. Милюкова помочь пристроить его книгу: «Некоею порою я знал в Петербурге некоего «неразгаданного человека» Артура Бенни. Он убит при Ментане, и его интереснейшая история, мною в свое время описанная, может быть оглашена. Это вещь пряная и забористая и, кажется, очень интересная. Шуму она может возбудить множество. Я ее хотел напечатать в газете, но с газетами петербургскими совсем не имею связей» («Шестидесятые годы», М. — Л., 1940, стр. 294, письмо от 4 января 1869 года).

По-видимому, вскоре рукопись «Загадочного человека» была отправлена в редакцию «Русского вестника», так как в письме к Н. А. Любимову (от 25 мая 1869 года. Рук. отд. ИРЛИ (Пушкинский дом), фонд 269) Лесков писал: «Петр Карлович известил меня, что он передал вам, на ваш просмотр и заключение, мою небольшую рукопись «Шпион. Эпизод из истории комического времени на Руси». Таким образом, работу над «Загадочным человеком» можно датировать второй половиной 1868 года. Непринятый в «Русском вестнике» очерк Лескова уже под названием «Загадочный человек» был напечатан в феврале — мае 1870 года в «Биржевых ведомостях», а затем для отдельного издания был дополнен по статье Якоби и рассказам Боборыкина.

Включая «Загадочного человека» в текст Собрания сочинений, Лесков раскрыл некоторые сокращенные написания фамилий (Чернышевский — вместо Ч—ский) и внес некоторые стилистические исправления, не меняя общей направленности очерка.

В цитированном выше письме к Любимову Лесков так определял смысл своего очерка: «Я бьюсь из-за того, чтобы нанести удар

«предприятиям» и восстановить доброе имя оклеветанного человека». Защита Артура Бенни от несправедливого и необоснованного обвинения соединяется в «Загадочном человеке» с враждебными выпадами против тех, кого Лесков называет «предпринимателями», то есть против революционной демократии 1860-х годов. Эта направленность очерка сильно снижает его общественную ценность, хотя факты биографии «загадочного человека» изложены в основном достоверно. Письмо к Тургеневу, напечатанное в начале «Загадочного человека», и неоднократные упоминания его имени в тексте должны были, по замыслу Лескова, сделать более достоверным его «очерк».

В современной Лескову критике «Загадочный человек» был оценен отрицательно.

Буренин в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1871, № 208), В. И. Кельсиев в «Заре» (1871, № 8), анонимный автор статьи «Незагадочный писатель» в «Вестнике Европы» (1871, № 8) — единодушно обвинили Лескова в клевете на революционное движение начала 1860-х годов и в пристрастном недоброжелательстве по отношению ко всем упоминаемым в книге деятелям того времени. В. И. Кельсиев, как один из «героев» книги Лескова, возражая против определения начала 1860-х годов как «комического времени», подчеркивал серьезность и убежденность деятелей той эпохи. Учтя эти возражения, Лесков, по-видимому, снял в Собрании сочинений подзаголовок «Из истории комического времени на Руси». Но в целом книга его осталась все же памфлетным и порой тенденциозным изображением эпохи революционного подъема 1860-х годов.

Стр. 279. *...участвовал в некоторых наших периодических изданиях: «Русской речи», «Северной пчеле», «Книжном вестнике».* — «Русская речь» (1861) — умеренно-либеральный журнал. Издательница-редактор Евгения Тур (графиня Е. В. Салиас де-Турнемир); «Северная пчела» — газета, в 1860—1864 годах издававшаяся П. С. Усовым; «Книжный вестник» (1860—1867) — «журнал русской литературной деятельности, книжной торговли, книгопечатания». В 1861—1864 годах редактировался книготорговцем Н. А. Сеньковским в умеренно-либеральном духе.

Стр. 280. *...это выпустил... покойный г-н Европеус...* — Европеус Александр Иванович (1826—1885), петрашевец, позднее был близок к редакции «Современника», участвовал в подготовке крестьянской реформы. Данное замечание Лескова проверить и уточнить не удалось.

Стр. 283. *Гебраист* — ученый, специалист по древнееврейскому языку и литературе.

Стр. 284. *Иезекииль* — один из четырех важнейших пророков библии. У Лескова здесь ошибка, приводимые далее слова находятся в книге пророка Исайи, а не в книге Иезекииля.

*Рало* — плуг.

Стр. 285. *Бакунин* Михаил Александрович (1814—1876) — теоретик и руководитель анархизма, в 1861 году бежал из Сибири и прибыл в Лондон.

*Василий Иванович Кельсиев* (1835—1872) — журналист, участник изданий Герцена, эмигрант (1857—1867), предполагал поднять на восстание раскольников-старообрядцев, для этого приезжал нелегально в Россию в 1862 году; в 1867 году вернулся в Россию и заявил о полном отказе от противоправительственной деятельности, за что был прощен, и ему разрешено было жить в Петербурге и заниматься литературной деятельностью.

*Герцен Ольга Александровна* (1850—1953), вторая дочь А. И. Герцена, замужем за французским историком Моно.

Стр. 286. *...герценовского воззвания: «к топорам!»* — По-видимому, имеется в виду анонимное «Письмо из провинции» — («Колокол», № 64 от 1 марта 1860 года), в котором говорилось: «...пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь!»

*Поездки в Норвегию Герцена-сына и Бакунина...* — В 1863 году А. А. Герцен (1839—1906) — старший сын А. И. Герцена — и М. А. Бакунин пытались наладить транспортировку морем оружия и людей в восставшую Польшу. Однако из-за плохой организации дела дальше Швеции им проехать не удалось.

Стр. 287. *Один русский сибирский купец* — золотопромышленник Томашевский; его отношения с Бенни и он сам изображены у Лескова карикатурно и, по-видимому, не совсем точно; так, расстались они уже в Петербурге, а не в Берлине, как пишет Лесков.

Стр. 290. *...известному петербургскому врачу г-ну Т-му...* — имеется в виду Тарновский Вениамин Михайлович (1839—1914), специалист по кожным и венерическим болезням, с 1859 года живший в Петербурге.

*Штосс* — азартная карточная игра.

Стр. 291. *В то наивное время так верили и не в одном Лондоне.* — Взгляд на раскол, как на возможного союзника революционного движения, впервые был высказан А. П. Щаповым в его работах «Русский раскол старообрядчества, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и гражданствен-

ности в XVII веке и в первой половине XVIII века» (1858) и «Земство и раскол» (1862).

Стр. 293. *Ничипоренко* Андрей Иванович (1837—1863) — чиновник, участник революционного движения, был корреспондентом «Колокола», член тайного революционного общества «Земля и воля». В 1862 году был у Герцена в Лондоне и получил от него некоторые поручения. Привлеченный по делу «о сношениях с лондонскими пропагандистами» («Дело 32-х»), дал подробные и «откровенные» показания, но потом отказался от той части показаний, которая касалась других обвиняемых; умер в Петропавловской крепости.

Стр. 294. *Бенни впоследствии два раза писал Герцену и просил его вступиться за него...* — Имеется в виду, во-первых, письмо, которое летом 1861 года Бенни через И. С. Тургенева переслал Герцену; письмо это не сохранилось, дошел до нас только черновик ответа Герцена от 19 ноября 1861 года, врученного самому Бенни по приезде его в Лондон и, во-вторых, письмо (несохранившееся) от февраля 1862 года, о котором Бенни упоминает в своем письме к А. И. Герцену от 26 марта 1863 года: «Помилуйте, за что же мне было сердиться на вас? Что вы меня не поняли, что вы позволили наклеветать на меня и что, следовательно, я сам ошибся в моем взгляде на вас, — это было для меня совершенно ясным, и я старался объяснить вам это еще в моем февральском письме прошлого года; но ведь за ошибку в оценке человека можно только сердиться или, лучше, жалеть — самого себя, а уж никак не его» («Литературное наследство», т. 62, М., 1955, стр. 30).

Стр. 295. *Курочкин* Николай Степанович (1830—1884) — поэт-сатирик, публицист и переводчик, постоянный сотрудник сатирического журнала «Искра», был близок к обществу «Земля и воля» (1861—1863).

*В. Якушкин* — здесь у Лескова ошибка, речь может идти только о П. И. Якушкине, собирателе народного творчества (см. примечания к «Смех и горе»).

*Громека* Степан Степанович (1823—1877) — бывший жандармский офицер, в конце 1850-х — начале 1860-х годов либеральный публицист, корреспондент «Колокола» и усердный сотрудник изданий Герцена; позднее — седлецкий губернатор.

*Магазин Дациаро* — магазин в Петербурге на Невском проспекте, где продавались произведения искусства.

Стр. 297. *...был избран ментором к молодому... Телемаку.* — Имеется в виду роман Фенелона «Похождения Телемака» (1699),

в котором рассказывается о странствованиях Телемака, сына Одиссея, в сопровождении мудрого наставника Ментора, с целью отыскать Одиссея.

Стр. 297. *Мельников* (Печерский) Павел Иванович (1819—1883) — писатель, служил в министерстве внутренних дел, занимаясь преимущественно делами раскольников и сектантов.

Стр. 304. *Пальмерстон* — здесь — длинное пальто.

Стр. 305. *Холодайчик* — телогрейка.

Стр. 307. *«Долго нас помещики душили»*. — Автором этой песни считается В. С. Курочкин.

Стр. 310. *Шейгиц* — по-еврейски — мальчишка.

Стр. 311. *Чертогон* — здесь — крест.

Стр. 316. *Геркулесовы шаги* — то же, что гигантские шаги.

Стр. 319. *...как гоголевские крысы...* — имеются в виду слова городничего в «Ревизоре» Гоголя.

Стр. 320. *«Московская белая партия»* — московские либеральные круги.

*...но ему хотелось видеть... и Ивана Сергеевича Тургенева...* — Вопреки утверждению Лескова, Бенни и Ничипоренко действительно заезжали в Спасское к Тургеневу (август 1861 года), затем проехали в имение Павла и Виктора Якушкиных близ г. Новосиля Орловской губернии.

*«Экономический указатель»* (1857 — 1868) — политико-экономический журнал, издавался в Петербурге И. В. Вернадским, проводил либерально-буржуазные экономические идеи, полемизировал с Чернышевским по вопросу об общинном землевладении.

Стр. 322. *Бенни имел при себе английский журнал...* — По-видимому, у Лескова ошибка: в это время Бенни напечатал компилятивную статью о мормонах по английской книге: Реми и Бренчли. Поездка в Город Соленого озера. 1861.

*Хозяйка этого дома...* — графиня Е. В. Салиас де-Турнемир (1815—1892) — писательница и публицистка (печаталась под псевдонимом Евгении Тур).

Стр. 324. *...о денежных недоразумениях между Н. А. Некрасовым и покойною первою женою Николая Платоновича Огарева...* — Речь идет о деньгах, полученных А. Я. Панаевой, многолетней подругой Некрасова, за проданное ею, по доверенности М. Л. Огаревой, имение и ею истраченных. Позднее эти деньги по суду были возвращены. Некрасов не имел отношения к этой растрате, но не хотел и не мог назвать ее действительную виновницу — А. Я. Панаеву и поэтому остался виновным в глазах Герцена и его друзей.

Стр. 324. *...Герцен... отказался принять его.* — 3 (15) июня 1857 г. Некрасов приехал в Лондон для объяснений с Герценом по так называемому «Огаревскому делу», но Герцен отказался с ним встретиться.

Стр. 326. *Ристори* Аделаида (1821—1906) — итальянская актриса, в 1861 году с большим успехом выступала в Петербурге.

Стр. 329. *Ведь Герцен уже объявил, что он «создал поколение бесповоротно социалистическое»* — имеются в виду слова Герцена в статье «Письмо к Н. Огареву» («Kolokol», 1868, № 14—15, 1 декабря): «Что касается большей части наших самых дорогих убеждений, то мы уж сто раз высказывали их и повторяли; вокруг них образовалось неизменное ядро. Есть молодежь, так глубоко, так бесповоротно преданная социализму... что бояться нечего — *идея не погибнет»* (Полное собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. 21, М.-П., 1923, стр. 187—188, в подлиннике — по-французски). Лесков мог познакомиться с этими словами Герцена по статье Н. Ренненкампфа «Невольное объяснение с издателем «Колокола» («Русский вестник», 1869, № 1, стр. 265 — 266), в которой они цитируются.

Стр. 331. *...стал — как Елисей перед Ильею...* — по библейскому рассказу, Елисей следовал за Ильей до места его вознесения на небо на огненной колеснице (третья книга Царств). Оттуда же цитируются далее слова Елисея.

*Албион* (Альбион) — Англия.

Стр. 334. *...попросил оставить какой-то проект...* — Бенни приехал в Россию с адресом Александру II, составленным им и Н. С. Тургеневым; в этом адресе предлагалось создать в России земский собор, то есть парламент. Одной из целей поездки Бенни в Россию был сбор подписей к этому адресу, для этого он посетил Каткова и Аксакова.

*Кельсиев Иван* Иванович (1841—1864) — участник студенческого движения 1861 года, в 1862 году был заключен в Петропавловскую крепость, в 1863 году из ссылки бежал за границу, поселился вместе с братом, В. Кельсиевым, в Тульче; умер от тифа.

*Кнастер* (нем.) — крепкий курительный табак.

Стр. 335. *...свою небольшую компиляцию о мормонах...* — Статья Бенни напечатана в газете «Русская речь», 1861, № 61, с подписью: Б.

*...«что он Гекубе и что ему Гекуба?»* — слова Гамлета из одноименной трагедии Шекспира.

Стр. 338. *Мушар* — полицейский шпион.

Стр. 339. *«Русский инвалид»* — газета, орган военного минис-

терства, в 1861—1863 годах редакторами ее были Н. Писаревский и Леонтьев Владимир Николаевич (ум. в 1870-х годах) — журналист, позднее сотрудник «Современного слова» и «Голоса».

Стр. 340. *Толбин* Василий Васильевич (1821—1869) — поэт и очеркист, сотрудник «Искры».

*Усов* Павел Степанович (1828—1888) — журналист и издатель.

*Редакция «Пчелы» состояла тогда из... П. И. Небольсина, Н. П. Перозио, С. Н. Палаузова, В. В. Толбина, И. Н. Шиля, К. С. Веселовского...* — перечисленные здесь журналисты занимали в начале 1860-х годов умеренно-либеральные общественные позиции. Небольсин Павел Иванович (1817—1893) — этнограф, историк торговли; Перозио Николай Павлович (1819—1877) — писатель по экономическим вопросам; Палаузов Спиридон Николаевич (1818 — 1872) — литератор и ученый, некоторое время служил цензором; Шиль Иосиф Николаевич (ум. 1870) — экономист; Веселовский Константин Степанович (1819—1901) — академик, автор исследований по статистике России.

Стр. 341. *Шебаев* (или Шибаев) *Иван Иванович* (род. в 1835 г.) — московский купец, старообрядец-поповец; привлекался по «Делу 32-х», но за проявленное во время следствия раскаяние на год был оставлен под надзором полиции.

Стр. 342. *Николай Антипович Потехин* (1834—1896) — драматург и журналист, служил вместе с Ничипоренко и с ним же ездил в Лондон для знакомства с Герценом, но никаких поручений от Герцена не взял. Привлекался по «Делу 32-х».

*...взялся доставить какие-то важные революционные бумаги к белокриницкому митрополиту Кириллу.* — При переезде итало-австрийской границы в мае 1862 г. Ничипоренко, испугавшись, что при обыске австрийская полиция может найти имеющиеся при нем документы, бросил их под скамейку в темный угол. Позднее эти документы были найдены, переданы в австрийскую полицию и ею (в копиях) пересланы в Петербург в Третье отделение. Часть писем Ничипоренко уничтожил; возможно, что среди них были письма к Кириллу (Киприану Тимофееву), старообрядческому архиерею в Белой Кринице (Буковина), тогда входившей в состав Австро-Венгрии.

*...был при нем в качестве подначального «доброго малого и болтуна».* — В одном из писем М. А. Бакунина к Гарибальди имелась приписка, в которой о Ничипоренко и Н. А. Потехине говорилось: «Друг, о котором я вам говорю, податель этого письма, называется Андрей Ничипоренко. Он, вероятно, явится к Вам в сопро-

вождении другого русского, доброго малого, но несколько неосторожного и болтливого». (М. Лемке, Очерки освободительного движения «шестидесятых годов» СПб., 1908, стр. 88). Письмо это могло стать известным Лескову во время его допроса по делу Ничипоренко.

Стр. 345. *Хиротонисавший* — посвятивший.

Стр. 346. *Чамарка* (польск.) — однобортный длинный сюртук.

Стр. 347. *В передовой статье...* — эта статья была написана Н. С. Лесковым и напечатана в «Северной пчеле» (№ 143, 1862 г.); в ней двусмысленно писалось о виновниках пожаров: «Равнодушие к слухам о поджогах и поджигателях может быть не безопасным для людей, которых можно счесть членами той корпорации, из среды которой, по народной молве, происходят поджоги». Поэтому понятно возмущение, которое вызвала эта статья у демократической общественности.

Стр. 348. *...волонтеров для содействия огнегасительной команде.* — В статье «Слово вовремя» («Северная пчела», № 143, 1862) Бенни предлагал созвать добровольческие команды для тушения городских пожаров, но предложение это было осмеяно в печати и не получило одобрения правительства.

Стр. 351. *...репетиловски «пошуметь»* — имеются в виду слова Репетилова в «Горе от ума»: «Шумим, братец, шумим!»

*Слепцов* Василий Алексеевич (1836—1878) — писатель, участник движения за раскрепощение женщины, организатор общежития-коммуны. Изображен в карикатурном виде в образе Белоярцева в романе Лескова «Некуда».

Стр. 352. *Огрызько,* или *Огрызко,* Иосафат (ум. 1890) польский общественный деятель, служил в Петербурге в министерстве финансов, в 1858—1859 годах издавал на польском языке (в Петербурге) газету «Слово». В 1865 году арестован по обвинению в прикосновенности к польскому восстанию 1863 года и приговорен к 20 годам каторжных работ.

Стр. 353. *...другой литератор...* — В. А. Слепцов.

*...одна девица...* — Коптева Мария Николаевна, участница Знаменской коммуны, позднее ставшая женой А. Бенни и с ним уехавшая за границу.

Стр. 357. *Михрютка* — домосед, бирюк, нелюдим.

Стр. 359. *Лонгфелло* Генри (1807 — 1882) — американский поэт, сторонник освобождения негров.

Стр. 362. *...Г. З. Е<ли>сеев был у М. Н. Каткова и просил последнего принять его в число его сотрудников...* — Елисеев Григорий Захарович (1821 — 1891) — публицист, постоянный сотрудник «Со-

временника» и «Отечественных записок». Сообщение Лескова о нем не соответствует действительности.

Стр. 362. *...этого же добивался у редакторов «Московских ведомостей» и сам Н. Г. Чернышевский...* — Лесков повторил здесь какую-то совершенно беспочвенную сплетню.

*...Вас. Степ. Курочкин писал во время крымской обороны патриотические стихи...* — Подобные стихи В. С. Курочкина неизвестны.

*...Елисеев сочинил «жизнеописание святителей Григория, Германа и Варсонофия казанских и свияжских»...* — Лесков приводит название этой книги неточно: Жизнеописание святителей Гурия, Германа и Варсонофия, казанских и свияжских чудотворцев. Казань. 1847. Елисеев «сочинил» эту книгу задолго до того, как стал сотрудничать в «Современнике».

Стр. 363. *«Мечты и звуки»* (1840) — первый изданный под криптонимами Н. Н. сборник стихотворений Н. А. Некрасова, отрицательно оцененный Белинским и не перепечатывавшийся при жизни поэта. Лесков в «Загадочном человеке» был первым, кто вспомнил об этом юношеском литературном дебюте Некрасова, чтобы противопоставить его ранние, еще несамостоятельные стихи — его творчеству зрелой поры. Для этой цели Лесков приводит цитату из стихотворения «Истинная мудрость».

Стр. 364. *Поэтической просьбы же г-на Некрасова к графу Михаилу Николаевичу Муравьеву...* — После покушения Каракозова на Александра II М. Н. Муравьев был назначен председателем следственной комиссии, которая должна была выявить все нити революционного «заговора». На обеде в честь Муравьева в Английском клубе в Петербурге Некрасов, надеясь отвести угрозу от «Современника», прочел свои, до нас не дошедшие стихи Муравьеву. Впоследствии Некрасов горько раскаивался в этом поступке.

*Щербина* Николай Федорович (1821—1869) — поэт, автор стихотворений на античные темы и множества эпиграмм и памфлетов, в которых высмеивал демократическую литературу 1860-х годов. Лесков цитирует стихотворение Н. Щербины: «Наше время» (1867) в иной редакции, чем она напечатана в «Полном собрании сочинений» Н. Ф. Щербины. СПб., 1873, стр. 406 — 407. Лесков опустил строфу о Тургеневе и раскрыл все инициалы.

*Когда мог Ольхин быть судьей* — Ольхин А. А. (1839—1897) — сотрудник революционных изданий, во второй половине 1860-х годов стал мировым судьей.

*...Черняев же от дел отставлен...* — Черняев Михаил Григорьевич (1828—1898) — генерал, присоединил Ташкент к России

в 1865 г., но был отозван, так как при нем происходил разнузданный грабеж завоеванного края, ставший достоянием гласности.

Стр. 364. *...Катков преследуем судьбой...* — Каткову в начале 1866 г. угрожало закрытие его газеты за слишком резкие нападки на политику правительства в польском вопросе.

*...А Писарев зело прославлен...* — 1866 год — это время наибольшей популярности Д. И. Писарева.

*...Когда стал чином генерал Служебный якобинец С<та>сов...* — Стасов Владимир Васильевич (1824 — 1906) — художественный критик и историк искусства, был членом общего присутствия II отделения Собственной его императорского величества канцелярии и служил в Публичной библиотеке в Петербурге, в 1863 году получил чин действительного статского советника.

Стр. 365. *Дудышкин* Степан Семенович (1820—1866) — критик-либерал; фактический редактор «Отечественных записок».

*«Эпоха»* (1864 — 1865) — журнал братьев Достоевских.

*...Ф. М. Достоевский принял компиляцию Бенни...* — По указанию С. А. Рейсера (см. его книгу: Артур Бенни. М., 1933), Достоевский действительно напечатал компилятивную статью Бенни «Мормонизм и Соединенные штаты», но не в «Эпохе», а ранее — в журнале «Время» (1861, X, стр. 320 — 355).

*П. Д. Боборыкин даже предложил ему постоянные переводы в «Библиотеке».* — Боборыкин Петр Дмитриевич (1836 — 1922) — писатель, редактор «Библиотеки для чтения» (1863 — 1865), в своем журнале напечатал в переводе А. Бенни роман Диккенса «Наш общий друг».

*Страхов* Николай Николаевич (1828—1896) — критик и философ-идеалист, сотрудник журналов Достоевского.

*Воскобойников* Николай Николаевич (1838—1882) — реакционный публицист.

Стр. 366. *...мечтал о том, как бы освободить из Сибири г-на Чернышевского.* — Н. Г. Чернышевский был отправлен в Сибирь 20 мая 1864 года; планы его освобождения неоднократно возникали среди русских революционеров 1860-х—1870-х годов.

*Кормовые* — в России до 1879 года кредитор мог добиться заключения должника в долговую тюрьму в случае неуплаты им долга, но обязан был при этом вносить деньги на его содержание — кормовые.

Стр. 367. *Это выгодное мнение г-на Герцена...* — эти слова принадлежат Бакунину, а не Герцену; см. примечание к стр. 342.

*Александр Васильевич Гумилевский* (1830—1869) — и в то

время священник Христорождественской церкви в Петербурге на Песках.

Стр. 368. *...русские жандармы отвезли его на ту самую пограничную с Пруссиею станцию...* — Бенни был выслан из России в октябре 1865 года.

Стр. 369. *...подал о себе слух одною статьею, напечатанною в одном английском журнале.* — Статья эта обнаружена С. А. Рейсером и перепечатана (в русском переводе) в его книге: Артур Бенни. М., 1933, стр. 95—113. Напечатана она была в журнале «Фортнейли ревью», 1866, т. III, стр. 549—567 под названием «Русское общество» и дает верную политическую характеристику русского дворянства в пореформенную эпоху.

*...незадолго до последней попытки Гарибальди отнять у папы Рим...* — К 1867 году вся Италия была объединена, за исключением Рима, которым правил папа. Светскую власть папы защищал французский гарнизон, поставленный в Риме Наполеоном III. В середине 1867 года Гарибальди предпринял поход на Рим, но был разбит соединенными силами папской и французской армий в битве при Ментане 3 ноября 1867 года и взят в плен.

Стр. 371. *Профессор Ал—ев* — по-видимому, Алексеев Петр Петрович (1840 — 1891) — профессор (с 1868 года) химии Киевского университета, в начале 1860-х годов жил в Париже.

*...книжка Гогеля* — имеется в виду очень редкая, написанная одним из членов виленской следственной комиссии, расправлявшейся с участниками польского восстания 1863 года, Николаем Валериановичем Гогелем (1838—1870) книга «Иосафат Огрызко и петербургский революционный ржонд в деле последнего мятежа». Вильно. 1866.

*Ржонд* — правление, управа.

Стр. 380. *...видели уже занятым окончательною редакциею письма к графу Петру Андреевичу Шувалову* — это письмо Бенни (от 20 октября 1867 года) было прислано И. С. Тургеневым через П. В. Анненкова П. А. Шувалову (1827 — 1889), назначенному в 1866 году шефом жандармов и начальником Третьего отделения. Оно приведено в книге С. А. Рейсера. Артур Бенни. М., 1933, стр. 77 — 82.

## СМЕХ И ГОРЕ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений. СПб., 1889, т. V, стр. 3—222.

Первоначально опубликовано в еженедельном приложении к

«Русскому вестнику», «Современная летопись» (1871, № 1—3, 8—16) с подзаголовком и посвящением: «Смех и горе. Разнохарактерное potpourri из пестрых воспоминаний полинявшего человека. Посвящается всем находящимся не на своих местах и не при своем деле»; разбивка на главы произведена редактором «Современной летописи» П. К. Щебальским по разрешению автора; подпись: Н. Лесков. Как видно из письма Лескова Щебальскому от 7 мая 1871 года, «Смех и горе» было отправлено им в редакцию «Русского вестника» в начале 1870 года (см. «Шестидесятые годы», М.—Л., 1940, стр. 312), но публикация задержалась из-за того, что одновременно с повестью «Русский вестник» взял у Лескова роман «На ножах», начатый печатанием с № 10 «Русского вестника» за 1870 год. Лесков настаивал на скорейшем печатании повести: «Я совершенно согласен с тем, что вы говорите о печатании повести в «Летописи». Это действительно будет меледа, а не печатание, и для меня гораздо лучше видеть ее в «Русском вестнике», но только не по окончании романа, ибо в повестушке той много вещей, имеющих интерес временный... Надо печатать повесть в журнале с псевдонимом «Меркул Праотцев», или же в «Летописи» с моею настоящей фамилией, но во всяком случае немедленно, не ожидая окончания романа... Там ли, сям ли, но скорее, а то она уж и так выдыхается». («Шестидесятые годы», стр. 304. Письмо к П. К. Щебальскому от 19 декабря 1870 года). Из этого письма следует, что в это время повесть вся целиком находилась в распоряжении редакции. Во время печатания ее в «Современной летописи» Лесков неоднократно предлагал Щебальскому внести некоторые изменения в текст, однако, за небольшими исключениями, эти просьбы его не были удовлетворены. Так, в письме от 12 января 1871 года он пишет Щебальскому: «...Земно вам кланяюсь и прошу вас неотступно вложить в уста голубого купидона несколько раз слова «простенько, но мило». Так, я желаю, чтобы он, говоря о том, как устроил свою квартиру, сказал: «оно, конечно, простенько, но мило». То же самое он должен употребить, говоря о доме своей хозяйки, об исправленном им зонтике, о комнате Ватажкова и о том, как он, не имея настоящей наблюдательности, решился донесть на него «простенько, но мило». То же самое надо сделать и далее везде, где купидон подводит приятеля. Не откажитесь, пожалуйста, если только возможно, взять корректуру и добавить эти словечки в подлежащих местах по вашему усмотрению» («Шестидесятые годы», стр. 306). Этих изменений Щебальский не сделал, но другую просьбу Лескова он выполнил: «В одном месте найдете в рукописи «Смех и горе» описание комнаты генерала Перлова... Припишите,

пожалуйста, еще «в углу большой образ святого пророка Илии с обнаженным ножом и с подписью: ревнуя поревновах о вседержителе» («Шестидесятые годы», стр. 314. Письмо к Щебальскому от 19 апреля 1871 года). В первое отдельное издание повести Щебальский включил эту фразу, но без слов «с обнаженным ножом».

При подготовке первого отдельного издания «Смех и горе» Лесков ввел антинемецкие выпады в рассуждения генерала Перлова и заменил журнальное окончание, в котором Ватажкова «пырнул кинжалом под сердце какой-то испанский республиканец, принявший его по ошибке за странствующего инкогнито Монфори», рассказом о том, как Ватажкова высекли в Одессе, и его заключительным письмом к племяннику, то есть Лескову, о ссоре последнего с немцами; одной из причин, заставивших Лескова изменить окончание, было желание придать повести бо́льшую злободневность, приурочив смерть Ватажкова к началу 1871 года. Первое отдельное издание вышло с посвящением Щебальскому, снятым в последующих изданиях.

В своей сатирической повести Лесков следует манере повествования Гоголя и, в некоторой степени, очень им любимого Стерна. В духе последнего описано первое путешествие Ватажкова по России, а второй приезд героя повести в родную губернию и его встречи с местными деятелями напоминают приезд Чичикова в город и его последующие поездки по губернии.

В современных отзывах отмечалось своеобразие формы повествования, выбранной Лесковым: «...Оно («Смех и горе». — *Ред.*) не картина, а барельеф, лента с изображенными на ней фигурами. Но все эти, по-видимому отдельно друг от друга стоящие, фигуры связаны внутренним единством. В числе их нет ни героев, ни героинь, никто не поставлен в центре действия, да и действия нет никакого... и, однако, невзирая на то, какое цельное впечатление «Смеха и горя» представляют и такие рассказы» («Русский вестник», 1871, декабрь, стр. 632). «Смех и горе» является очень своеобразной попыткой подвести итоги пореформенному десятилетию. Современность сравнивается у Лескова с прошлым царствованием, которое у него изображено как эпоха всевластия «голубых купидонов» — жандармов, как эпоха всеобщего трепета и рабского страха. Современное состояние умов Лесков воссоздает главным образом на основе обобщенного изображения наиболее характерных явлений в литературе и журналистике. Так, «материалист» Отрожденский высказывает взгляды, во многом сходные с теми,

какие развивались в статьях В. Португалова, публициста радикального журнала «Дело», в рассуждениях философа-станового Васильева Лесков воспроизвел высказывания известного в то время спирита А. Н. Аксакова; монолог губернатора воспроизводит основные предположения, содержавшиеся в циркуляре Валуева (апрель 1870 года) о необходимости усиления власти губернаторов, и т. д.

«Смех и горе» появилось перед антинигилистическим романом Лескова «На ножах» (1870—1871), поэтому для современной критики оно оказалось заслонено этим романом, и безусловно прогрессивные элементы, в этой повести очень заметные, не были отмечены в современных отзывах. Позднее Лесков писал: «Я стал думать ответственно, когда написал «Смех и горе», и с тех пор остался в этом настроении — критическом и по силам моим не злобивом и снисходительном» (Письмо к А. С. Суворину от 30 ноября 1888 года, Архив ИРЛИ. Ф. 268). Доброжелательные отзывы о повести появились только в реакционной печати («Гражданин», 1872, № 3, «Русский мир», 1871, № 10, указанная выше рецензия в «Русском вестнике», принадлежащая, по-видимому, П. К. Щебальскому). Рецензент «Дела» (1871, октябрь, новые книги, стр. 39—41) назвал всю прежнюю деятельность Лескова «чисто полицейским служением», а в сатирической повести Лескова не увидел ничего, имеющего познавательно-реалистическую ценность: «Перед нами теперь последнее произведение г. Стебницкого «Смех и горе»... Это какое-то бесцветное повествование из семейной хроники степного правдодума, приправленное сатирическим элементом. Но сатира г. Стебницкого так беззуба, что не знаешь, кто кого более обличает — автор своих героев или герои автора; по прочтении книги становится горько и смешно не за героев г. Стебницкого, а за него самого».

Отзывы демократической и народнической журналистики об издании 1880 года ничем существенно не отличаются от рецензии в «Деле» 1871 года. Рецензент «Отечественных записок» (1880, № 3, март, новые книги, стр. 107 — 111) обвинил Лескова в пылкости фантазии, «весьма слабо регулируемой «холодным рассудком», а сатиру Лескова объявил «клеветой». В «Русском богатстве» (1881, февраль, новые книги, стр. 73 — 81) Лесков был охарактеризован как писатель, который «...словно нарочно, с каким-то злорадным ехидством подыскивает всякого рода несообразности, все равно, к какому бы лагерю они ни принадлежали, — и вы ни за что не разберете, что он при этом — хохочет или плачет, скорбит или радуется...» Особенно возмутила рецензента народнического журнала сцена спора Локоткова с мужиками.

Стр. 382. *...опустелого Таврического дворца* — в это время в Таврическом дворце был склад дворцовой мебели.

*Лазарева суббота* — суббота перед вербным (шестым) воскресеньем великого поста.

Стр. 384. *Шестая часть родословной книги.* — В родословные книги дворянских депутатских собраний вносились все дворяне данной губернии; в шестую часть входили дворянские роды, предки которых владели имением ранее 1685 года.

*Выкупные свидетельства* — процентные бумаги, выпущенные правительством в ходе крестьянской реформы 1861 года в качестве платежных документов, которые выдавались помещикам за отходившую к крестьянам землю.

Стр. 385. *Одиссей Лаэртид* — герой поэмы Гомера «Одиссея», Одиссей, сын Лаэрта.

Стр. 388. *Папушник* — домашний пшеничный хлеб.

Стр. 389. *Пес Дагобера* — см. примечание к стр. 150.

Стр. 390. *Папоротка* — второй сустав крыла у птицы.

Стр. 391. *...конечно, на ассигнации...* — ассигнационные, то есть бумажные рубли, выпускавшиеся в замену серебра в очень большом количестве, все время падали в цене, которая дошла в 1830-е годы до 25 копеек серебром за рубль.

Стр. 397. *Четырнадцатый класс* — по табели о рангах, введенной в 1722 году и существовавшей до 1917 года, низшим классом был четырнадцатый, к которому относился чин коллежского регистратора; носитель классного чина освобождался от телесных наказаний.

Стр. 398. *...был масоном...* — масонские ложи были закрыты в России в 1822 г.

*...рассердился на всех — на государя, на Сперанского, на г-жу Крюденер, на Филарета.* — Государь — Александр I; Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — русский государственный деятель, автор проекта буржуазных реформ, под давлением дворянства отстранен от службы и находился в ссылке (1812 — 1816), затем служил губернатором в Пензе, генерал-губернатором Сибири, в 1826 году деятельно участвовал в проведении процесса декабристов. Крюденер В.-Ю. (1764—1825) — баронесса, проповедница мистического суеверия, некоторое время имела влияние на Александра I. Филарет (Дроздов) (1782—1867) — церковный администратор и ученый богослов, крайний реакционер.

Стр. 398—399. *...можно было уставить две целые державы — Липпе и Кнингаузен* — немецкие государства: Липпе — Шаумбург — княжество, входившее в состав Германской империи, его

территория 339 кв. километров. Кнингаузен — правильнее Книпгаузен — германское государство площадью в 28 кв. километров, в 1854 г. вошло в состав Ольденбурга.

Стр. 399. *Хлысты* — религиозная секта, возникшая в начале XVIII века; на хлыстовских радениях их участники при помощи хороводных плясок, пения и самобичеваний доводили себя до состояния мистического экстаза — пророчества.

*Духоборцы* (духоборы) — религиозная секта, возникшая в середине XVIII века и ставившая своей целью защиту «служителей духа» от гнета «сынов Каина», к которым духоборы относили официальных церковников, дворян и чиновников.

Стр. 400. *Литой из золота телец* — в библии (книга Исход) рассказывается о золотом тельце, которому поклонялись евреи в пустыне после исхода из Египта. Золотой телец иносказательно — богатство как предмет поклонения.

Стр. 401. *Уголовная палата* — высшее судебное учреждение в губернии.

Стр. 402. *Термалама* — плотная шелковая ткань, употреблявшаяся на халаты.

*Гро-гро* — плотная шелковая ткань.

*Пумперлей* — здесь — пузанчик.

Стр. 407. *«Котелка»* — крендель, здесь в значении кружок, нуль.

Стр. 409. *Бранденбургия* — маркграфство Бранденбургское было ядром, вокруг которого образовалось Прусское королевство.

Стр. 417. *Фукс* — студент младшего курса.

*Голубой воротник* — по университетскому уставу 1835 года для студентов была введена форма, ношение которой было обязательно.

Стр. 420. *Горка* — небольшой застекленный шкаф для посуды.

Стр. 421. *Голубое существо* — форму голубого цвета носили солдаты и офицеры корпуса жандармов — политической полиции.

Стр. 423. *Жантильная* — жеманная, кокетливая.

*Пассия* — страсть.

Стр. 426. *Буколическая* — здесь — любовная.

*Смирна* — пахучая древесная смола, ею курили во время церковных служб.

Стр. 432. *Сбила меня с пахвей* — сбила с толку; пахвы — ремень от седла с очком, в которое продевается хвост лошади, чтобы седло не съехало коню на шею.

Стр. 435. *Вертоград* — сад.

Стр. 436. *Алгвазилы* — здесь — полицейские стражи (от испанск. — alguacil).

Стр. 436. *Лантрыганили* — шатались, плутовали.

Стр. 437. *«Думы» Рылеева.* — После восстания декабристов и суда над ними (1826) «Думы» Рылеева были запрещены к распространению, и хранение этой книги считалось политическим преступлением.

Стр. 443. *Начинаю говеть и уже отгавливаюсь...* — говение — приготовление по обряду православной церкви к причащению святыми дарами, заключающееся в посте и посещении всех церковных служб.

Стр. 444. *В новом мундире с жирными эполетами.* — Эполеты с густым шитьем носились начиная с полковничьего чина.

*Но я совсем неспособен к этой службе* — то есть к службе в жандармах.

Стр. 445. *...у нас это по реестрам видно.* — По-видимому, Ватажков был взят под секретный надзор и включен в соответствующий список — реестр.

*Разве святого Филимона не четырнадцатого декабря?* — православная церковь 14 декабря по старому стилю отмечает память святого Филимона. Лесков использовал для этого эпизода исторический факт. Князь Сергей Григорьевич Голицын (1806—1868) получил дружеское прозвище «Фирс», из-за которого испытал немалые неприятности после декабрьского восстания 1825 года. Современник рассказывает об этом следующее: «Князь С. Г. Голицын был вхож в дом генерал-адъютанта Чернышева (впоследствии графа и князя) и почти домашним человеком в его семействе. Так как он был очень милый и любезный собеседник и притом приятный певец романсов и оперных арий, то дети генерала Чернышева и прозвали его, в шутку, Тирсисом (Thyrsis, по-русски Фирс). Но как 14 декабря по русским святцам празднуется память св. мучеников Фирса и других с ним, то при производстве следствия над декабристами возникло подозрение, не имело ли прозвище Фирс какого-нибудь соотношения с событием 14 декабря 1825 г., и от князя С. Г. Голицына потребовали было объяснения, которое и оказалось единственно означенной выше детской шуткой. Но это прозвание с тех пор осталось ему на целую жизнь» («Записки князя Николая Сергеевича Голицына», «Русская старина», 1881, март, стр. 520—521).

Стр. 446. *Ночною темнотою мрачатся небеса, и люди для покоя смыкают уж глаза.* — Измененные стихи из стихотворения Анакреона в переводе М. В. Ломоносова:

Ночною темнотою
Покрылись небеса,

Все люди для покою
Сомкнули уж глаза.

Стихи эти были хрестоматийно известны и приводятся Лесковым, очевидно, потому, что далее следуют строки:

Внезапно постучался
У двери Купидон,
Приятный перервался
В начале самом сон...

в которых снова фигурирует образ «купидона», приносящего все новые неприятности герою «Смех и горе».

Стр. 446. *Вошли милые люди* — здесь иронически: жандармы.

Стр. 447. *...так мне и кажется, что под пол уходит...* — Существовало очень распространенное мнение, что в Третьем отделении полы устроены таким образом, что приведенный на допрос человек неожиданно проваливается в подвал, где его подвергают телесному наказанию.

*...с седым человеком, очень небольшого роста, с огромными усами...* — Имеется в виду генерал Л. В. Дубельт (1792—1862), управляющий Третьим отделением (с 1835) и начальник штаба корпуса жандармов (1839), один из самых жестоких душителей революционного движения и русской литературы.

Стр. 450. *По вольности дворянства, дарованной Петром Третьим и подтвержденной Великой Екатериной.* — Манифест о вольности дворянства (18 февраля 1762 года), изданный Петром III, освобождал дворян от обязательной военной или гражданской государственной службы.

Стр. 451. *«Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексевна!»* — заключительные слова Фамусова из «Горя от ума» (действие IV, явление 15).

Стр. 453. *...пред весною тысяча восемьсот пятьдесят пятого года...* — 18 февраля (по старому стилю) 1855 года умер Николай I. Его смерть воспринята была современниками как конец целой исторической эпохи в жизни России. В. С. Аксакова, дочь известного писателя С. Т. Аксакова, записала в своем дневнике под 21 февраля: «Все говорят о государе Николае Павловиче не только без раздражения, но даже с участием, желая даже извинить его во многом. Но между тем все невольно чувствуют, что какой-то камень, какой-то пресс снят с каждого, как-то легче стало дышать; вдруг возродились небывалые надежды; безвыходное положение, к сознанию которого почти с отчаянием пришли наконец все, вдруг представилось доступным изменению» (Дневник Веры Сергеевны Аксаковой. СПб., 1913, стр. 66).

Через год Герцен писал об этих надеждах, связанных со смертью Николая I: «Тогда, на другой день после похорон Николая, все увлеклось, все ожило надеждами, все смотрело вперед» (А. И. Герцен. Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 325).

Стр. 453. *Ярмо с гремушкою да бич.* — Строка из стихотворения А. С. Пушкина «Свободы сеятель пустынный» (1823), оно было впервые напечатано А. И. Герценом в его сборнике «Полярная звезда на 1856 год».

Стр. 454. *...в Лондоне теперь чудные дела делаются...* — Речь идет об А. И. Герцене и его изданиях.

*Там восходит наша звезда...* — «Полярная звезда» А. И. Герцена выходила в Лондоне с 1855 года.

Стр. 456. *...и доставить их в Лондон для напечатания в «Колоколе».* — Двухнедельный журнал, издававшийся А. И. Герценом в Лондоне с 1857 по 1865 год. «Колокол» имел много корреспондентов-добровольцев из России, даже из числа царских чиновников, посылавших ему материалы разоблачительного характера.

Стр. 458. *Влеченье, род недуга* — слова Репетилова из комедии Грибоедова «Горе от ума» (действие IV, явление 4).

*...к купине, очищаемой божественным огнем...* — Имеется в виду библейское предание о купине — о терновом кусте, который горит и чудесным образом не сгорает; из него будто бы бог говорил с Моисеем.

Стр. 459. *...провел рельсы по улицам...* — Конно-железные дороги в Петербурге начали строиться в 1868 году.

*...кучера на козлах трубки курят...* — Курение на улицах в Петербурге было разрешено в 1865 году, ранее оно строго запрещалось.

*Приказные* — чиновники.

*...теперь ведь у нас все благоразумная экономия.* — Государственный бюджет России во второй половине 1860-х годов сводился ежегодно с большим дефицитом.

Стр. 463. *Ящик Пандоры.* — Пандора получила от Зевса ящик, в котором были заперты все человеческие несчастия. Из любопытства Пандора открыла ящик и выпустила несчастия наружу.

*Макиавелли недаром говорил: лги, лги и лги, — что-нибудь прилипнет и останется.* — Макиавелли (1469 — 1527) — итальянский писатель и политический деятель, считавший, что в политике пригодны любые средства.

Стр. 464. *...давали пьесу...* — Речь идет о драме Лескова «Расточитель», поставленной в Петербурге 1 ноября 1867 года, в которой имеются следующие слова Павлушки Челночка: «Мне один

человек на Неве на перевозе сказывал: видишь, говорит, молодец, перед художеств академией две каменных собаки в колпаках лежат. Это, говорит, не собаки, а свинтусы. Из города Фив, из Египта, их привезли; с тем, говорит, их и привезли, что пока в этих свинтусах живое сердце не затрепещется, до тех пор чтоб ш-ша, чтоб ничему, значит, настоящему не быть, а будет все только как для виду» (действ. IV, явление I).

Об отрицательном отношении критики к этой драме Лескова см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова. М. 1954, стр. 192—193.

Стр. 464. *«за человека страшно!»* — Слова, которые говорит Гамлет, в переводе одноименной трагедии Шекспира, сделанном Н. А. Полевым (1837); этих слов в подлиннике нет.

*...а нынче королева Викторая...* — Королева Викторая правила в Англии с 1837 по 1901 год.

Стр. 465. *...в губернском правлении не свидетельствуют.* — В губернском правлении производилось освидетельствование сумасшедших.

*...известный православист...* — По-видимому, И. С. Аксаков, один из руководителей Славянского комитета, виднейший деятель реакционного славянофильства 1860—1880 годов, одновременно занимавший влиятельные посты (с 1869) в Московском обществе взаимного кредита — крупном банке. Издавал газеты «День» (1861—1865) и «Москва» (1867—1868).

*...никакого содействия нет* — намек на отказ в правительственной денежной субсидии.

Стр. 466. *...миллиард в тумане* — выражение, связанное с появлением статьи В. А. Кокорева («С.-Петербургские ведомости», 1859, № 5 и 6), в которой излагался проект получения 500 миллионов дохода в государственный бюджет от снижения цен на водку.

*Кудрявцева и Грановского чтит.* — Кудрявцев П. Н. (1816—1858) — профессор Московского университета (1847 — 1858), ученик Грановского, выдающийся ученый историк и замечательный лектор. Грановский Т. Н. (1813—1855) — знаменитый профессор истории Московского университета, лекции его благодаря прогрессивному содержанию и высокохудожественной форме изложения имели большое влияние на широкие круги студенчества. Имена этих замечательных деятелей русской науки — профессоров Московского университета в газетах 1869 года вспомнили в связи с инцидентом, разыгравшимся в университете в начале 1869 — 1870 учебного года. Профессор университетской клиники Г. А. Захарьин, создатель московской клинической школы, уехал за границу на год. В его отсутствие вести клинические занятия факультет пору-

чил профессору анатомии Полунину, ученому старой школы, отставшему на четверть века от общего хода науки. Студенты 4-го курса отказались слушать Полунина, и 17 человек из них были исключены из университета.

Стр. 466. *Чемерица* — пахучее лекарственное растение.

Стр. 467. *...в петербургских газетах их славно за это отжаривают.* — Об истории с профессором Полуниным во враждебном по отношению к университетскому начальству тоне писали в следующих петербургских газетах: «С.-Петербургские ведомости», «Биржевые ведомости», «Весть», «Всеобщая газета».

*И вот они опять — знакомые места и т. д.* — Лесков неточно цитирует начальные строки стихотворения Некрасова «Родина».

Стр. 468. *...господа все уехали по земским учреждениям, местов себе стараются в губернии.* — Земские учреждения (органы местного самоуправления), введенные на основании положения о земских учреждениях от 1 января 1864 года, в 1865 — 1866 годах в большинстве губерний Европейской России находились в руках дворянства, и почти все платные должности в них заняты были дворянами. «...В земство стараются попасть люди, руководимые исключительно личными интересами... Понятное дело, что быть, например, председателем губернской земской управы очень выгодная вещь. Во-первых, очень видное положение, во-вторых — великолепное жалованье (четыре или пять тысяч рублей). На эти деньги в провинции можно жить очень хорошо. Дела не особенно много. Если завели машину хорошенько, вам остается только подписывать ежедневно по несколько раз свою фамилию, а там канцелярия все сделает», — писал современный публицист В. Португалов в статье «Жизненные задачи земства» (Сборник «Недели». Русские общественные вопросы». СПб., 1872, стр. 25—26).

*Я даже знаю этого Локоткова.* — По-видимому, в образе Локоткова и в описании его ссор с матерью Лесков воспользовался некоторыми известными ему фактами из биографии П. И. Якушкина, фольклориста-собирателя 1860-х годов, сотрудника «Современника» и «Отечественных записок». Лесков учился вместе с Якушкиным, позднее много общался с ним в Петербурге и, видимо, находился в дружеских отношениях. Как доказывает В. Базанов (Павел Иванович Якушкин. Орел, 1950, стр. 57 — 64), П. И. Якушкин послужил Лескову прототипом для главного героя повести «Овцебык» (см. 1 том наст. собр. сочинений). Поведение Локоткова в деревне, хождение его в «зипуне», ссоры с матерью — все это в какой-то степени совпадает с тем, что известно о Якушкине. Высланный на жи-

тельство в имение своей матери в Малоархангельском уезде Орловской губернии в 1865 году, Якушкин в 1868 году попросил перевода в другое место из-за невозможности жить совместно с матерью. По словам официального отношения орловского губернатора Лонгинова, в имении матери Якушкину «действительно жить жутко, ибо мне хорошо известно, что ненависть ее к сыну, впрочем, вполне заслуженная, действительно невообразима» (см. В. Базанов. Ук. соч., стр. 73).

Стр. 468. *Карамболь* — в биллиардной игре удар шаром по двум другим отскоком, здесь — спор, столкновение.

Стр. 469. *Классическое воспитание* — здесь — книжное, далекое от практических потребностей жизни.

Стр. 470. *...ночью к Каракозову по телеграфу летал.* — Каракозов Д. В. (1840 — 1866) — революционер, 4 апреля 1866 года неудачно стрелял в Александра II. После каракозовского выстрела произведены были многочисленные аресты среди радикальной интеллигенции, а полицией в народе распространялись слухи, что царя хотели убить дворяне.

*...теперь закон вышел, чтоб их сокращать; где два было, говорят, один останется...* — В мае 1869 года было опубликовано распоряжение присутствия по делам православного духовенства, в котором предлагалось «в видах уравнения приходов и упразднения тех из них, которые при малолюдстве населения могут быть... соединены с другими...» («Современный листок», 1869, № 41, 21 мая), составить новое «расписание» приходских церквей по губерниям. Распоряжение это влекло за собой большое, почти вдвое, сокращение церковных штатов. После публикации этого распоряжения «как электрическая искра пробежала по нервам духовенства и привела их в лихорадочное состояние. И вот — везде слышны самые горячие рассуждения, всевозможные толки и предположения» («Современный листок», 1869, № 55. Е. Введенский. Мысли сельского священника по поводу имеющей быть реформы в среде духовенства).

Стр. 471. *...настоящий Атта Троль* — действующее лицо в одноименной поэме Г. Гейне.

Стр. 472. *...бери всяк в руки метлу да мети свою улицу...* — Перефразированные слова из «Ревизора». У Гоголя: «Пусть каждый возьмет в руки по... метле, и вымели бы всю улицу...» (д. I, явл. IV).

*Криминация* — обвинение, оговор.

Стр. 473. *Лытки* — ноги.

Стр. 473. *Петр Первый в регламенте духовном их наименовал: «оные архиерейские несытые собаки»...* — «Духовный регламент» (1721) Петра Первого — его законодательный акт, определивший полное подчинение церкви государству. В «Духовном регламенте», написанном по поручению Петра Феофаном Прокоповичем, дано не только официальное истолкование отношений государства и церкви, но и публицистическое, сатирическое изображение нравов церковной администрации и высшего духовенства.

Стр. 474. *...то кралею, то хлапом...* — Карточные термины: краля — дама, хлап — валет.

Стр. 475. *Козлякать* — делать резкие прыжки.

Стр. 478. *...сам к Гарибальди пошел.* — Гарибальди Дж. (1807—1882) — итальянский революционер, выдающийся деятель национального воссоединения Италии. В его войсках сражались русские добровольцы.

*Изнять* — извести.

Стр. 479. *Веди* — старославянское название буквы «в».

Стр. 480. *...граф Бисмарков из Петербурга адъютанта пришлет...* — Граф Бисмарк О. (1815 — 1898) — германский государственный деятель, организатор и вдохновитель франко-прусской войны 1870—1871 годов, в 1859—1861 годах был прусским послом в Петербурге; возможно, что это обстоятельство, а так же прогерманские настроения царя и его окружения имел в виду Лесков, когда заставлял своего героя говорить о приезде адъютанта «графа Бисмаркова» из Петербурга».

Стр. 481. *Рыцарь Ламанчский* — Дон-Кихот, герой романа Сервантеса «Дон-Кихот Ламанчский».

Стр. 482. *...вы меня застали за «Душою животных» Вундта.* — Имеется в виду книга В. Вундта «Душа человека и животных», СПб., 1865, т. I; второй том этой книги был задержан и против издателя возбуждено судебное дело, прекращенное сенатом в 1867 году, когда второй том был выпущен в продажу с приложением полного отчета о судебном процессе. Вундт В. (1832—1920) — немецкий философ-идеалист, один из основателей экспериментальной физиологической психологии. В указанной книге Вундт утверждал, что «то, чего мы не разгадаем в человеке, объяснится из рассматривания животной души, в которой мы увидим то же самое, только в простейшей форме». Там же Вундт применяет к жизни животных понятия о государстве, браке, истории и т. д. Поэтому далее он называется «очень односторонним мыслителем».

*Я читал «Тело и душа» Ульрици.* — Имеется в виду книга немецкого философа-идеалиста Г. Ульрици (1806—1884) «Тело и

душа. Основания психологии человека» (1866), русский перевод — 1869 года. Ульрици утверждал, что душа является невесомой жидкостью, находящейся в организме человека, деятельность которой централизована в головном мозгу.

Стр. 482. *Преосвященный Иннокентий... об этом даже писал бывшему киевскому ректору Максимовичу.* — Иннокентий (Борисов) (1800—1857) — русский церковный деятель, писатель и оратор, ректор Киевской духовной академии (1830—1836). Максимович М. А. (1804—1873) — историк и фольклорист, ректор Киевского университета (1833 — 1835). Имеются в виду «Письма о Киеве» и воспоминание о Тавриде Михаила Максимовича. СПб., 1871. В письме десятом (стр. 43 — 44) Иннокентий возражает против того, что Максимович в одной из своих лекций назвал душу животных «умирающей».

*Повисли в воздухе мартышки, и весь свет стал полосатый шут.* — У Державина эти строки читаются так:

Как вкус и нравы распестрились,
Весь мйр стал полосатый шут;
Мартышки в воздухе явились...

*Я понимаю прогресс по Спенсеру...* — Спенсер Г. (1820—1908) — английский буржуазный мыслитель, виднейший представитель философии позитивизма, применявшей понятия и закономерности естественных наук к изучению жизни общества.

Стр. 483. *Эфемериды* — насекомые, жизнь которых продолжается несколько часов.

Стр. 484. *...стою за самостоятельное начало душевных явлений.* — Здесь и далее имеется в виду книга Г. Струве. Самостоятельное начало душевных явлений. Психо-физиологическое исследование, написанное с целью получения степени доктора философии в Московском университете. М., 1870. Первоначально она была напечатана в «Русском вестнике», 1870, № 2, а затем издана отдельно. Г. Струве защищал эту диссертацию в Московском университете 13 марта 1870 года.

Публичная защита диссертации Струве вызвала оживленные споры в русской печати 1870 года. Против нее выступили и материалисты-естественники (С. А. Усов, профессор зоологии Московского университета) и идеалисты (Н. Аксаков. Подспудный материализм по поводу диссертации — брошюры г-на Струве. М., 1870). За Струве выступили «Московские ведомости» Каткова и философ-реакционер Юркевич («Русский вестник», 1870, № 4. «Игра подспудных сил по поводу диссертации г. Струве»). Усов и Аксаков,

критикуя диссертацию Струве с разных позиций, сошлись в общей ее оценке — как бездарной и невежественной компиляции. Усов доказал, что Струве не знает современной физиологии, а Аксаков установил, что весь аппарат цитат и ссылок взят Струве из вторых рук, без самостоятельного знакомства с современной физиологической и психологической литературой. Со стороны философов-идеалистов диссертация Струве вызывала обвинение в «подспудном» материализме, поскольку, признавая самостоятельное существование души, Струве характеризует ее как нечто материальное, называя «эфирным существом». В действительности диссертация Струве, претендовавшего на некий «синтез», «примирение» идеализма и материализма, представляла собой заранее обреченную на провал попытку данными физиологии доказать существование «самостоятельного начала душевных явлений».

Стр. 484. *Лудвиг в «Lehrbuch der Physiologie».* — Людвиг К. (1816—1896) — выдающийся немецкий физиолог, речь идет о его книге «Lehrbuch der Physiologie des Menschen» (2-е изд., 1857—1861) в русском переводе — «Руководство к физиологии человека». Киев, 1864, т. I.

*Фламмарион* К. (1842—1925) — французский астроном-популяризатор. Его книга «Многочисленность обитаемых миров» (1862) вышла в русском переводе в 1865 году. В ней утверждалось, что земные люди и предполагаемые обитатели других планет занимают различные ступени духовного совершенства по отношению к «высочайшему духу».

Стр. 485. *Стерн Лаврентий* (1713—1768) — английский писатель-сентименталист, в его романе «Тристрам Шенди» пародируются современные ему философско-богословские сочинения.

*...он в своем «Коране»...* — Стерн. Коран, или Жизнь, характер и чувства. С приложением описания жизни Стерна. 2 части СПб., 1809. Эта книга — подложное произведение, она появилась в 1770 году после смерти Стерна и является пародией на его роман «Тристрам Шенди»; была включена в первое собрание сочинений Стерна (1779). Автор «Корана» — Р. Гриффит.

*...тончайшие фибры Левенхука...* — Левенгук А. (1632—1723) — голландский микроскопист и биолог, при помощи микроскопа открыл красные кровяные тельца.

*Орифис* — устье, отверстие.

Стр. 487. *...как король Лир думал в своем помешательстве...* — Лир в трагедии Шекспира «Король Лир» говорит: «Нет в мире виноватых! Нет! Я знаю» (действ. IV, сцена VI).

Стр. 487. *...как сказал Монтескье.* — Монтескье Ш.-Л. (1689—1755) — французский политический писатель, историк и социолог. Приводимая Лесковым фраза взята из его основного политического трактата «Дух законов» (русский перевод. Изд. 2-е. СПб., 1862).

Стр. 488. *Да, когда отворится дверь в другую комнату. Аполлон Николаевич Майков... подметил это любопытство у Сенеки в его разговоре с Луканом в «Трех смертях»!* — Имеются в виду слова Сенеки («Три смерти». Лирическая драма, ч. 1):

...Предо мною
Открыта дверь, и вижу я
Зарю иного бытия...

Стр. 490. *...неодобренные сочинения Иннокентия и запрещенные богословские сочинения Хомякова...* — Сочинения Иннокентия, — здесь, очевидно, имеется в виду его трактат «Последние дни земной жизни Иисуса Христа», напечатанный только после смерти автора (1857), — вызывали сомнения у представителей ортодоксального богословия. Хомяков А. С. (1804—1860) — виднейший представитель славянофильства, его богословские сочинения, собранные во 2-м томе его сочинений (Прага, 1867), были допущены в Россию только в 1879 году.

Стр. 491. *Взыскание недоимки* — взыскание неуплаченных крестьянами в срок налоговых и главным образом выкупных платежей за земельные наделы, полученные ими в результате крестьянской реформы 1861 года. Основной налог, так называемая подушная подать, вырос с 1864 по 1867 год почти вдвое. А. А. Головачев в своей книге «Десять лет реформ», СПб., 1872 (первоначально в «Вестнике Европы» за 1870 год), писал: «Беспечность и потворство допускают недоимки, затем является излишняя строгость, продажа скота, и плательщики приведены в безвыходное положение. Этим путем сам по себе неравномерный налог становится еще неравномернее, потому что имущество продается за бесценок: источники государственного дохода подрываются в корне, а администраторы получают награды за успешное поступление недоимок» («Десять лет реформ», стр. 62).

*...все, что описано у Беранже...* — Приводятся несколько измененные стихи из песни Беранже «Жак» в переводе В. Курочкина «Сон бедняка» (1862), включенной в его «Собрание стихотворений», 1866. У Курочкина эти строки читаются так:

Встань, мой кормилец, родной мой, пора,
Подать в селе собирают с утра.

Стр. 492. *Лафит* — дорогое красное вино, производится на юго-западе Франции.

Стр. 495. *Епанчу из тришкина кафтана?* — Епанча — верхняя одежда в виде широкого, длинного плаща. Тришкин кафтан — намек на одноименную басню Крылова.

Стр. 498. *Самордаки* — нервы, термин употреблявшийся в древнерусских лечебниках.

*...мальчишка лакейченок в передней читает старому лакею газету «Весть», и оба ею очень довольны.* — «Весть» (1863—1870) — газета, орган дворянской реакции, требовала сосредоточения всей административной власти в руках помещиков и уничтожения земских учреждений. Прекратилась из-за недостатка подписчиков.

Стр. 499. *Сатурн* — древнеитальянский бог, покровитель земледелия.

Стр. 500. *Не мешайте... помирать.* — Сходный эпизод есть у Лескова в его романе «Чающие движения воды» («Отечественные записки», 1867, март, стр. 468—469) — старуха платит врачу за то, что он дает ей спокойно болеть.

Стр. 501. *Фалалей* — простак, разиня.

Стр. 502. *...по лечебнику Каменецкого лечит.* — Имеется в виду составленное О. К. Каменецким (1754—1823), профессором хирургии Медико-хирургической академии «Краткое наставление о лечении болезней простыми средствами, 2 ч.». Сочинено по поручению бывшим государственной медицинской коллегии членом О. Каменецким, а в 1817 г. самим сочинителем исправленное и пополненное. Изд. 9-е, 1864 (1-е изд., 1803).

Стр. 503. *Посредник.* — Для проведения в жизнь крестьянской реформы 1861 года была учреждена должность мирового посредника, в обязанности которого входило определение наделов и повинностей крестьян, установление поземельных отношений между крестьянами и помещиками, а также надзор за деятельностью крестьянских обществ и волостных управлений.

Стр. 506. *Фемиде ли вы служите...* — Фемида — древнеримская богиня правосудия; служить Фемиде — находиться на службе в судебных учреждениях.

Стр. 508. *...я полюбопытствовал, умываясь, как Чичиков...* — В 1-й главе «Мертвых душ» Гоголя Чичиков, умываясь, расспрашивает полового о губернских чиновниках и окрестных помещиках.

Стр. 510. *Проприетер* — собственник.

*Сами к ставцу лицом сесть не умеют...* — Ставец — деревянная точеная общая застольная чашка; не умеет сесть лицом к ставцу — неуч, дурак.

Стр. 511. *...всего Макария выштудировал...* — Макарий (Булгаков) (1816—1882) — русский церковный деятель и богослов, его книги «Введение в богословие» и «Догматическое богословие» неоднократно переиздавались и долгое время являлись основными богословскими руководствами.

Стр. 512. *Что твой Навуходоносор!.. коренье из земли норовит все выворотить.* — Навуходоносор II (604—561 до н. э.) — вавилонский царь, взял Иерусалим и увел евреев в плен. По библейскому преданию, Навуходоносор был наказан богом, лишен разума и ел траву.

*Пальмерстон* Г. (1784—1865) — английский политический деятель, многие годы министр иностранных дел и премьер-министр (1855—1865), проводил жестокую колониальную политику и поддерживал реакционные правительства на континенте Европы.

Стр. 516. *Конфуций* (ок. 551—479 до н. э.) — китайский философ, учивший подчинять своеволие личности интересам семьи и государства.

Стр. 517. *«Конек-Горбунок»* (1864) — балет Сен-Леона по мотивам сказки П. П. Ершова.

Стр. 520. *Сонетка* — звонок.

*...уставленной томами славаря Толя и истории Шлоссера.* — Настольный словарь для справок по всем отраслям знания (справочный энциклопедический лексикон). Составлен под ред. Ф. Толля. 3 тт., СПб., 1863—1866; из работ Ф. Шлоссера, по-видимому, имеется в виду «Всемирная история». Перевод под ред. Н. Чернышевского и В. Зайцева. СПб., 6 тт., 1861—1865.

*...копией с картины Рибейры, изображающей св. Севастиана.* — Рибера (Рибейра) (1591—1652) — испанский художник, его картина «Св. Себастиан» хранится в Государственном эрмитаже (Ленинград).

*Графиня Ченчи.* — Ченчи Б. (1577—1599) вместе с братом и мачехой убила своего отца и была казнена. Ее образ часто воспроизводился в живописи.

*Тройка Вернета* — картина французского художника О. Верне (1789—1863).

Стр. 521. *Не мечтая ни о Светланином сне, ни о «Бедной Тане».* — Светланин сон — из баллады В. А. Жуковского «Светлана» (1812); «Бедная Таня» — слова из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (глава VIII, строфа XLVII).

*...не испытуя по-гоголевски «Русь, куда стремишься ты?»* — У Гоголя: «Русь, куда ж несешься ты, дай ответ» («Мертвые души», т. 1, глава XI).

Стр. 521. *«Колокольчик динь, динь, динь, средь неведомых равнин»* — неточно приведенные строки из стихотворения А. С. Пушкина «Бесы». В подлиннике:

Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин.

Стр. 522. *Справа* — дело.

Стр. 523. *Мизерность* — мелочь.

Стр. 525. *Где у нас Дерби?* — По-видимому, имеется в виду Дерби Э. (1794—1869) — английский политический деятель-консерватор, неоднократно министр иностранных дел и премьер-министр, в последний раз возглавлял правительство в 1866—1868 годах.

*А тут обрусение, армия, споры, Бокк, Фадеев, Ширрен, Самарин, Скарятин, Катков...* — Обрусение — обсуждавшийся в русской реакционной и буржуазно-либеральной печати вопрос о положении в Прибалтийских губерниях (Лифляндская, Курляндская, Эстляндская — нынешние Эстонская и Латвийская союзные республики). В этих губерниях сохранялась власть и привилегии немецких баронов-помещиков, угнетавших латвийское и эстонское крестьянство и стремившихся его насильно германизировать. В течение второй половины 1860-х годов так называемый остзейский (прибалтийский) вопрос был предметом оживленной полемики между русской реакционно-охранительной печатью во главе с «Московскими ведомостями» Каткова и немецкими литераторами, защищавшими интересы немецких баронов. Позиция Каткова в остзейском вопросе заключалась в требовании замены немецкого языка, который был в то время государственным языком в Прибалтийских губерниях, русским языком и в уничтожении феодально-сословных привилегий немецких баронов. Особенного ожесточения достигла полемика по остзейскому вопросу после выхода книги Ю. Ф. Самарина (1819—1876), одного из идеологов славянофильства «Окраины России» (1868), напечатанной за границей и не разрешенной к ввозу в Россию, так как в окружении царя Александра II было много представителей прибалтийского дворянства, всегда верно служившего русскому самодержавию. Самарину отвечали В. фон-Бокк, издававший в Берлине на немецком языке «Лифляндские сообщения», и К. Ширрен — профессор русской истории Дерптского (Тартусского) университета, напечатавший брошюру «Лифляндский ответ господину Юрию Самарину», Лейпциг, 1869 — за год вышло 3 издания. Фадеев Р. А. (1824—1883) — русский военный писатель и публицист, противник реформ органи-

вации военного дела в России, проводившихся военным министром Д. А. Милютиным. В книге «Вооруженные силы России» (1868) призывал вернуться к порядкам, существовавшим в русской армии при Николае I.

Стр. 525. *Из Москвы пускают интригу.* — Катков в 1868 году обвинял генерал-губернатора Северо-Западного края А. Л. Потапова в сочувствии полякам и в связи с этим указывал на существование в самом правительстве полонофильской партии. 8 января 1870 года «Московские ведомости» Каткова получили от министерства внутренних дел предостережение за то, что они «изображают многие из сторон правительственной деятельности в превратном виде и тем способствуют распространению в обществе неосновательных и тревожных опасений, могущих возбудить в нем недоверие к правительству» (С. Неведенский. Катков и его время. СПб., 1888, стр. 280—281).

Стр. 526. *...я понимаю абсолютизм, конечно, не по-кошелевски...* — Кошелев А. И. (1806—1883) — публицист славянофильского направления, считал необходимым создание совещательного земского собора при царе, но был против парламентской системы.

Стр. 527. *Горчаков* А. М. (1798—1883) — русский дипломат и государственный деятель, с 1867 года — государственный канцлер.

*Возятся со славянским вопросом...* — обсуждение в русской публицистике положения славян в Австро-Венгрии и Турции.

Стр. 528. *...как леди Макбет...* — В трагедии Шекспира «Макбет» леди Макбет говорит: «Все еще пахнет кровью. Все ароматы Аравии не омоют этой маленькой руки» (действ. V, явление 1. Перевод А. Кронеберга).

Стр. 529. *...она дошла по книжке Пельтана.* — Имеется в виду книга Э. Пельтана (1813—1884), французского либерального журналиста «Хартия домашнего очага» (1864).

Стр. 530. *Почтовый люстратор* — по воспоминаниям Лескова («Нескладица о Гоголе и Костомарове (Историческая поправка)», «Петербургская газета», 1891, № 192), человека с подобной визитной карточкой он встречал в молодости в Киеве: «Статский советник Блюм. Киевский почтовый люстратор». Здесь у Лескова, по-видимому, ошибка памяти или намеренная игра слов. Люстратор — это чиновник при палате государственных имуществ в западных губерниях России (1830—1860 годы), который занимался люстрацией (переписью и учетом земельных угодий и хозяйственного инвентаря). Никакого отношения к перлюстрации (то есть к вскрытию частной корреспонденции) люстратор не имел.

Стр. 532. *Перлов* — прототипом для этой фигуры повести послужил (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова. М., 1954, стр. 115) генерал-лейтенант Степан Александрович Хрулев (1807—1870) — прославленный герой Севастопольской обороны. Чин генерал-лейтенанта получил в 1853 году за взятие крепости Ак-Мечеть в Средней Азии. В войну 1853—1856 годов отличился при осаде крепости Силистрия на Дунае. Как участник обороны Севастополя показал себя решительным и беззаветно храбрым воином. У Лескова Хрулев выведен под собственным именем в рассказе «Морской капитан с Сухой Недны» («Яхта», 1877, февраль — март) и в его переделке «Бесстыдник» (наст. изд., т. VI).

Стр. 536. *У англичан вон военачальник Магдалу какую-то... в Абиссинии взял...* — В 1868 году английский генерал Р. Непир (1810—1890) предпринял поход против императора Абиссинии Теодора, взял крепость Магдалу и разрушил ее. За это ему был дан титул Магдальского и звание фельдмаршала.

*... а этот ведь в такой ад водил солдат...* — Имеются в виду подвиги Хрулева в Севастополе — такие, как оборона Камчатского люнета и контратака батареи Жерве 18 июня 1855 года.

Стр. 537. *...позабытых в плену Зоровавелем.* — По библейским преданиям, Зоровавель был предводителем первой партии евреев, возвратившихся из вавилонского плена на родину.

Стр. 538. *...два чучела...* — Этот эпизод восходит к детским воспоминаниям Лескова, включенным в «Мелочи архиерейской жизни» (см. VI т. наст. изд.). В Орле проживал майор А. Х. Шульц, который при помощи этих кукол изображал взаимную борьбу тогдашнего орловского губернатора князя П. И. Трубецкого и архиерея Смарагда Крижановского: «На светлом окне серого домика на Полешской площади «сожженного» города Орла, в один прекрасный день, совершенно для всех неожиданно, появились два чучела: одно было красный петух в игрушечной каске, с золочеными игрушечными же шпорами и бакенбардами, а другое — маленький, опять-таки игрушечный же козел, с бородою, покрытый черным лоскутком, свернутым в виде монашеского клобука. Козел и петух стоят друг против друга в боевой позиции, которая от времени до времени изменялась. В этом и заключалась вся штука. Смотря по тому, как стояли дела князя с архиереем, то есть: кто кого из них одолевал (о чем Шульц всегда имел подробные сведения), так и устраивалась группа».

Стр. 539. *...на стене портрет царя Алексея Михайловича с развернутым указом...* — далее цитируется недостоверный, по-видимому

подложный, указ Алексея Михайловича, опубликованный в «Русской старине», 1871, № 3, стр. 393.

Стр. 539. *Вы Николая Тургенева новую книжку читали?* — Тургенев Николай Иванович (1789—1871) — декабрист, видный русский экономист. Выехал в 1824 году за границу и вынужден был проживать в эмиграции, так как в 1826 году был заочно осужден по процессу декабристов. Убежденный сторонник крепостного права, Тургенев выпустил в 1860-х годах несколько брошюр о положении и нуждах России. У Лескова, по-видимому, речь идет об анонимной книге Николая Тургенева: «Чего желать для России?», Лейпциг, 1868.

*...липким пластырем, что ли, ее, Федорушку, спеленать хотите?* — Намек на стихотворение «Федорушка», приписывавшееся А. К. Толстому и ходившее в большом количестве списков.

Стр. 540. *Нестор Васильевич Кукольник* (1809—1868) — драматург и беллетрист реакционного направления; здесь, по-видимому, он имеется в виду как автор бытовых повестей и рассказов.

*«Сон» и «Кавказ».* — «Сон» (1844), «Кавказ» (1845) — революционные стихотворения Шевченко, послужившие причиной усиленной строгости приговора; в России распространялись в списках.

*«Будем, будем резать, тату!»* — цитата из «Гайдамаков» Шевченко.

*Рухавка* (польск.) — движение.

Стр. 540—541. *В последнее повстанье...* — польское восстание 1863 года.

Стр. 541. *...веровали... что Наполеон на них смотрит...* — Руководители польского восстания 1863 года рассчитывали на вмешательство императора Франции Наполеона III и Англии в свою защиту. Однако это вмешательство свелось к дипломатической переписке и не оказало никакого влияния на ход борьбы в Польше.

*Моменты* — шутливо-презрительная кличка офицеров, окончивших Академию генерального штаба.

Стр. 542. *...пять варшавских мертвецов наделали.* — 8 апреля 1861 года по приказу С. А. Хрулева, бывшего комендантом Варшавского замка, была расстреляна мирная демонстрация поляков и убито пять человек.

Стр. 543. *...как Бирнамский лес, с прутьями пойдем...* — В трагедии Шекспира «Макбет» (действ. I, явление V—VI) воины Малькольма идут в бой, прикрываясь отрубленными ветвями Бирнамского леса.

*...там Бисмарк и Мольтке хозяйничают.* — К началу 1871 года значительная часть Франции была оккупирована немцами; факти-

ческим главнокомандующим немецкой армией был Г. Мольтке (1800—1891), занимавший должность начальника полевого штаба. Бисмарк в это время был уже канцлером Германской империи.

Стр. 544. *...смотрятся, как нарциссы, в свою чернильницу...* — Нарциссом чернильницы назвал князя А. М. Горчакова Ф. И. Тютчев.

Стр. 545. *Кеньги* — калоши.

*...при покойном императоре...* — при Николае I.

Стр. 546. *«Wacht am Rhein»* — «Стража на Рейне» — с 1871 г. государственный гимн объединенной Германии.

*Гоф-герихт* — высший суд в Риге (до 1889 г.), члены его выбирались коренным лифляндским дворянством.

Стр. 553. *Гарибальди пишет...* — Вынужденный в 1868 г. поселиться на Кремоне и отказаться от участия в политической борьбе, Гарибальди написал несколько исторических романов, направленных против папства и католического духовенства. В русском переводе напечатан был его роман «Clelia» под названием «Иго монархов, или Рим в XIX столетии» (1870).

Стр. 554. *Я проникся этим учением...* — согласно учению спиритов, возможно прямое общение с душами умерших. В России спиритизмом стали увлекаться в начале 1870-х годов.

Стр. 557. *Комплот* — преступный заговор, союз против кого-нибудь.

*Гамбетта* Л. (1838—1882) — французский политический деятель, либерал, выдающийся оратор, возглавлял республиканскую оппозицию против Наполеона III. Во время франко-прусской войны, после падения Наполеона III стал членом правительства национальной обороны и деятельно формировал новые армии. Гамбетта был противником мира на условиях, предложенных Бисмарком.

*Рошфор* А. (1831 — 1913) — французский политический деятель и публицист, принимал активное участие в борьбе республиканской оппозиции против Наполеона III, был членом республиканского правительства после падения Второй империи.

Стр. 558. *Излер и Берг* — владельцы увеселительных заведений в Петербурге.

*Дмитрий Петрович Журавский* (1810—1856) — ученый статистик, сторонник освобождения крестьян. Лесков познакомился с Журавским, когда служил в Киеве. «Журавского мне было не дивно обрисовать, — я его тоже знал, и он едва ли не первое живое лицо, которое во дни юности моей в Киеве заставило меня понимать, что добродетель существует не в одних отвлечениях» (Лесков. Письмо И. С. Аксакову от 23 декабря 1874 года; см. А. Ф. Писемский. Письма. М. — Л., 1936, стр. 696). В 1869 году Лесков

подготовил статью о Д. П. Журавском «Из глухой поры. Переписка Д. П. Журавского и два письма Л. А. Нарышкина. 1843—1847 годы» (ЦГЛА). Статья эта была тогда же отправлена С. А. Юрьеву для печатания в журнале «Беседа». «Однако, — как пишет Лесков в вышеуказанном письме к И. С. Аксакову, — Майков, или какой-то другой, ему посоветовал не заниматься такими мелочами, как Журавский, — борец de facto за права человека в России, в самую глухую пору, и Юрьев рассудил за лучшее сначала отложить, а потом совсем потерять мою статью».

Стр. 559. *...больничку в губы продернули.* — Больна или больница — губа животного, пронятая кольцом.

Стр. 560. *...«трясение ощущается».* — Бобчинский («Ревизор», действ. I, явление III) говорит: «С утра я ничего не ел, так желудочное трясение...»

Стр. 561. *...про Брюллова... про Нестора Васильевича Кукольника, про Глинку, про актера Соленика и Ивана Ивановича Панаева...* — Дружеский союз — триумвират Глинки, Кукольника и Брюллова был характерным явлением литературного быта конца 1830-х годов. Впервые в мемуарной литературе о нем подробно было рассказано в «Литературных воспоминаниях» И. И. Панаева, почему Лесков и упоминает его в этой связи. Соленик К. Т. (1811—1851) — выдающийся украинский драматический актер. Выступал в комических и характерно-бытовых ролях. Лесков мог видеть Соленика на сцене, когда жил в Киеве (с 1849 года).

*...потом про Аполлона Григорьева со Львом Меем...* — Григорьев А. А. (1822—1864) — поэт и критик славянофильско-романтического направления; Мей Л. А. (1822—1862) — поэт, драматург и переводчик, близкий славянофилам. Григорьева и Мея связывали длительная личная дружба и общность взглядов. Эпизод, подобный рассказанному Лесковым о встрече Мея и Григорьева на Невском, приводится у А. П. Милюкова («Отрывок из воспоминаний», «Исторический вестник», 1883, январь, стр. 103).

*Да вам и вольности ваши дворянские Дмитрий Васильевич Волков писал, запертый на замок вместе с датским кобелем...* — Волков Д. В. (ум. 1785), сенатор, при Петре III тайный секретарь особого совета, составитель жалованной грамоты дворянству. Лесков имеет в виду следующий эпизод, изложенный в «Некоторых выписках из бумаг М. Данилевского», напечатанных А. И. Герценом («Исторический сборник вольной русской типографии в Лондоне», Лондон, 1861): «Петр III, дабы сокрыть от Е. Р. Воронцовой, что он в сию ночь будет заниматься Куракиной, сказал громко при графине Воронцовой, что он имеет с ним (с Волковым. — *И. С.*) сию ночь пре-

проводить в исполнение известное им важное дело в рассуждении благоустройства государства. Ночь пришла, государь пошел в спальню, где была Куракина, сказав Волкову, чтобы он в эту ночь написал известный ему указ. Волков был отведен в кабинет государя и заперт с датской собакой. Не зная ни причин, ни намерений государя, не знал о чем писать, — а писать надобно. Но как он был человек умный и догадливый, то вспомнил, что государь нередко говорил с ним о даровании прав вольности дворянству. Сев, написал в ночь манифест о сем».

Стр. 562. *Ну, а теперь в рекруты пойдете* — имеется в виду подготовка к введению в России всеобщей воинской повинности.

*...можно, как слесаршу Пошлепкину и унтер-офицерскую жену, на улице выпороть и доложить ревизору, что вы сами себя выпороли...* — В «Ревизоре» Гоголя (действ. IV, явление XI) городничий говорит, что унтер-офицерша сама себя высекла.

Стр. 563. *А что сэр Чаннинг-то пишет?* — Чанниг У. (1780—1842) — английский богослов и писатель. Выступал против употребления спиртных напитков. Его книга «О самовоспитании» выходила в русском переводе дважды — в 1864 и 1870 годах.

Стр. 564. *Меня только всю мою жизнь ругают и уже давно доказали и мою отсталость, и неспособность, и даже мою литературную... бесчестность...* — Лесков говорит о критических оценках его романов и драм в демократических и буржуазно-либеральных журналах.

Стр. 568. *Трехполенный* — такое прозвище дал А. И. Герцен В. Н. Панину, министру юстиции Александра II, одному из самых реакционных деятелей эпохи, за его высокий рост.

Стр. 569. *Пихлер* А. — немец, церковный историк, служил библиотекарем в Публичной библиотеке в Петербурге (1868—1870), похитил несколько тысяч книг, осужден в 1871 году к ссылке в Сибирь, но помилован и, как иностранный подданный, выслан за границу.

*...его какой-то армейский капитан невзначай выпорол на улице, в Одессе, во время недавних сражений греков с жидами...* — С 1 по 3 апреля 1871 года в Одессе происходил еврейский погром, сопровождавшийся разрушением домов, грабежом и избиениями евреев. Погром происходил при явном попустительстве властей, когда же появились войска, то погром прекратился и началась расправа, о которой очевидец сообщает следующее: «До стрельбы не дошло, но, как известно, волнение утихло, как только толпа заметила энергический отпор со стороны солдат. Много при этом произведено было арестов, и власти немедленно принялись *сечь* аресто-

ванных. Секли на площади при огромном стечении народа, секли каждого захваченного в то время, причем, конечно, разбирать было некогда» (И. Чацкин. Из Одессы. «Современная летопись», № 14, от 26 апреля 1871 года). Эта статья могла подсказать Лескову концовку его повести.

Стр. 570. *...между тем как тебя соотечественники еще только предали на суд онемеченных и провонявших килькой ревельских чухон...* — Летом 1870 года Лесков с семьей поселился близ Ревеля (Таллин). После начала франко-прусской войны местные немцы начали враждебно относиться к русским. У Лескова на этой почве произошло столкновение с тремя немцами, угрожавшими, что скоро вся Россия разлетится «как дым»; он был привлечен к ответственности перед местным судом, действовавшим на основании особого остзейского права. Дело закончилось только в 1872 году в сенате, Лесков должен был уплатить небольшой штраф (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова. М., 1954, стр. 234—236). Перед судебным разбирательством в сенате Лесков напечатал статью «Законные вреды» («Русский мир», 1872, №№ 313 и 320, 30 ноября и 11 декабря), в которой изложил весь ход этого дела.

## СОДЕРЖАНИЕ




Н. С. ЛЕСКОВ

*Собрание сочинений, т. 3*

*Редактор П. П. Быстров. Художник Г. Д. Епифанов. Художественный редактор А. М. Гайденков. Технический редактор Л. П. Крючкина. Корректор Н. Т. Шабанова.*

Сдано в набор 21/XII 1956 г. Подписано к печати 15/II 1957 г. Бумага $84 \times 108^1/_{32}$ — 20 печ. л. = 32,8 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 33,03. Тираж 350 000 экз. Заказ № 1889. Цена 12 р.

Гослитиздат. Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 2-я типография „Печатный Двор" имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.

## ЗАМЕЧЕННАЯ ОПЕЧАТКА

| Стр. | Строка. | Напечатано. | Следует. |
|---|---|---|---|
| *635* | *7-я сверху.* | *Убежденный сторонник крепостного права,* | *Убежденный сторонник уничтожения крепостного права,* |

Зак. 1889. Н. С. Лесков, т. 3.